РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Тычина П. Г.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

М. КОЦЮБИНСКИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

●

ЛЕСЯ УКРАИНКА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

ДРАМЫ

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1968

Вступительная статья, составление и примечания
Ал. Дейча

С (Укр) 1
К 75

Иллюстрации
И. Ижакевича
Н. Лопуховой
В. Чабаника
Г. Якутовича

7—3—3
Подп. изд.

ДВА СОВРЕМЕННИКА

Каждый великий писатель творчеством своим обращен в будущее. И говорит он не только со своими современниками, но и с потомками, близкими и далекими. Следом за Тарасом Шевченко шли сквозь сумрак жестокого времени его боевые преемники, певцы Украины,— Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка... В 1908 году Коцюбинский сказал сильно и выразительно о своем собрате и современнике Иване Франко: «Вместе с верой в человека в душе Франко живет вера в светлую будущность нашей земли. Она придет, эта новая жизнь, придет в мир новое добро, надо только разбить твердую скалу неправды и пробиться к свету, хотя бы пришлось устлать костями путь к новой жизни». Образ искателя правды, пробивающегося сквозь каменную глыбу безвременья, волнует и Лесю Украинку, младшую современницу Коцюбинского. В лирическом стихотворении «Отрывки из письма» возникает огненно-красный цветок — ломикамень. Его тонкий и нежный стебель пробил крепкую породу скалы и вырвался на свободу, как бы возвещая непобедимую силу творчества и воли к жизни. Прославляя прекрасный цветок, поэтесса говорит:

Нам, поэтам, назвать бы его «ломикамень»
И уваженье воздать ему больше, чем пышному лавру.

Сама Леся Украинка всей своей жизнью напоминает стойкий цветок «ломикамень»; она упорно преодолевала свое время, мало благоприятное для свободного творчества.

Михаил Коцюбинский и Леся Украинка были художниками разных жанров: Коцюбинский по преимуществу прозаик, мастер психологической новеллы, Леся Украинка — прежде всего лирик и драматург, автор

драматических поэм. Но вместе с тем между этими двумя писателями есть много общего; единомыслие и родство идей привели их в широкое русло украинского демократического движения.

Коцюбинский родился в 1864 году и был на семь лет старше Леси Украинки. Творчество их достигло вершины в годы, примыкавшие к первой русской революции. Жизнь обоих оборвалась в 1913 году, всего за четыре года до Великого Октября. Не только хронологические рамки сближают деятельность этих корифеев украинской литературы. Можно найти точки соприкосновения в их мироощущении, в их методе познания и отражения действительности. Они были реалистами в самом высоком смысле слова. Диапазон их наблюдений, их философских обобщений был необычен для украинской литературы того времени. Может быть, только Иван Франко, благословивший Лесю Украинку на крестный путь гонимого реакцией украинского писателя, был столь же всеобъемлющ по темам и образам, по революционному размаху, по жажде общественных перемен. Естественно, что и Коцюбинский и Леся Украинка черпали вдохновение из глубоких и светлых источников украинского фольклора. 1911 год принес два родственных по духу произведения — повесть «Тени забытых предков» Коцюбинского, где отразились нравы, обычаи, сказки и предания гуцулов, и «драму-феерию» «Лесная песня» Леси Украинки, проникнутую обаянием родной волынской природы и непосредственной близостью к народной поэзии. Причудливое переплетение реального и фантастического, высокий склад мыслей настраивали читателя на романтический лад, придавали особую национальную окраску обоим произведениям.

Образы борющихся крестьян в повести «Fata morgana» сродни героям Леси Украинки — богоборцу Прометею и его потомкам «прометеидам», восставшему рабу Спартаку, людям непреклонной воли, чей девиз: «Убей — не сдамся!»

Окрыленность будущим, когда человечество не будет знать ни голода, ни нужды, ни политических и религиозных распрей, сказалась и в жизнелюбивых новеллах Коцюбинского («Что записано в книгу жизни», «Хвала жизни!»), и в лирике Леси Украинки. В одном из ранних стихотворений — «Когда я утомлюсь...» — поэтесса силой фантазии переносится в будущее, где в кругу счастливой семьи дед рассказывает страшную сказку, как жили люди в далеком прошлом, то есть во времена Леси Украинки:

Да, дети, мир наш, вольный и счастливый,
Темницею казался прежним людям,
И впрямь был этот мир тогда тюрьмою:
Народ ходил в упряжке у народа,
В цепях свободное томилось слово.
Полчеловечества людьми не звали,
Кровавою войной шел брат на брата...

Уже незадолго до смерти поэтесса набросала план драматической поэмы, героем которой должен был стать греческий мудрец — свободолюбец Теокрит. Враги свободы бросают Теокрита в темницу, но его дети спасают от уничтожения драгоценный труд отца — рукопись, в которой изложены священные принципы гуманизма. Они закапывают ее в пески пустыни и поручают охрану жизнетворному богу солнца. В их сердцах живет уверенность, что счастливые и вольные потомки, навсегда уничтожив ярмо рабства, поймут и оценят великое дело, за которое боролся и погиб Теокрит. Это устремление в будущее — одна из характерных черт творчества и Леси Украинки, и Коцюбинского.

Созвучность мыслей и чувств этих двух художников — борцов за революционное переустройство жизни не раз объединяла их творения под одной обложкой украинских журналов, альманахов и антологий. Поэтому есть все основания собрать их лучшие произведения и в этом томе.

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

«В мире идей красоты и добра — он «свой» человек, родной человек... Обо всем подумавший, он как-то особенно близок к хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра».

Так Горький определял внутренний облик Михаила Михайловича Коцюбинского. Знаменательно, что Горький подчеркивал не стихийную, идущую, так сказать, из самого сердца доброту Коцюбинского, а сознательность его доброты, вызванную историческим пониманием своего времени. Писатель вращался в кругу идей революционной социал-демократии, с юношества испытывал преследования полиции и жандармов, всегда находился под негласным надзором. Все это лишь обостряло его стремление к свободе, конечно не только для себя, но и для своего народа.

Когда читаешь и перечитываешь рассказы и повести Коцюбинского, всякий раз воспринимаешь их как бы заново. Так бывает с настоящими произведениями искусства, где образы раскрываются во всей многосторонности мыслей и чувств.

Широки и безмерны поля Кононивки, воспетые в новелле «Intermezzo». Через восприятие героя, чуткого, благородного художника и мыслителя, наделенного тонкой, нервной натурой, весь этот пейзаж выглядит как движущаяся картина, отражающая малейший душевный порыв. Это как бы непрерывно проходящая перед читателем кинолента,

каждый кадр которой создает впечатление, и все они сливаются в одно мироощущение: «Мои дни текут теперь среди степи, среди долины, по края налитой зелеными хлебами. Бесконечные тропинки, скрытые, интимные, точно предназначенные для самых близких, ведут меня по нивам, а нивы катят и катят зеленые волны и доплескивают их до самого горизонта. У меня теперь особый мир, он подобен жемчужной раковине: сомкнулись две створки — одна зеленая, другая голубая — и замкнули в себе солнце, точно жемчужину. А я там брожу и ищу покоя. Иду. За мной неотступно летит облачко мелкой мошкары. Могу подумать, что я планета, движущаяся вместе со спутниками».

В этом пейзаже все субъективно: образы зеленых хлебов, безбрежного голубого неба, того «особого мира», в котором находится герой, и к своему отшельничеству он относится явно иронически, называя себя то «жемчужиной», замкнутой в раковине природы, то планетой, окруженной толпой спутников — мошкарой. Такой крайний индивидуализм, такое копание в собственной психологии отнюдь не свойственны самому Коцюбинскому, писателю масштабного видения мира. А между тем много раз делались попытки совершенно слить героя «Intermezzo» с самим писателем, сопоставляя строки из этой новеллы с отдельными местами его личных писем. Не надо забывать, что Коцюбинский по преимуществу лирик. Не только в «Intermezzo», но и в других рассказах («Цвет яблони», «Неизвестный», «Дебют», «На острове») повествование ведется от первого лица или, во всяком случае, сквозь призму ощущений героя. Однако это вовсе не значит, что во всех этих героях надо видеть непременно Коцюбинского.

Вернемся к новелле «Intermezzo». Отрешенность героя от жизни, уход его «на природу» оказываются мнимыми. Такой волевой человек, от имени которого ведется рассказ, не может забыть людских страданий, не может не думать о том, какими средствами от них избавиться. Для поворота мысли героя нужен любой повод: вид села, «кучки убогих соломенных крыш», врывающихся резким диссонансом в красоту и безбрежность природы, и, наконец, встреча с крестьянином, вселяющим в сердце героя чувства, от которых, казалось, он отошел в своем одиночестве. Забитый крестьянин говорит о своей страшной жизни. «Он был для меня как палочка дирижера, вызывающая внезапно из мертвой тишины целую бурю звуков»,— говорит герой. Ему в душу западают признания крестьянина: «Люди хотели голыми руками землю взять, и вот добились: кто давится в могиле сырой землей, а кто копает ее в Сибири... Ему еще ничего: год бил вшей в тюрьме, а теперь раз в неделю становой бьет его по морде...» Слушая эти слова, герой рассказа повторяет как властный припев: «Говори, говори!» — и чем больше он слышит о народных горестях, тем больше сердце его наполняется гневным протестом. Раньше он хотел замкнуться «в раковине», теперь иные

желания обуревают его: «Иду к людям. Душа готова, струны тугие настроены, она уже играет...»

Так кончается «интермеццо» — музыкальный антракт между двумя великими актами — революцией 1905 года и предстоящей новой. Рассказ Коцюбинского, написанный в 1908 году, в пору столыпинской реакции, заканчивается мажорными, оптимистическими нотами. Художник, усталый и ушедший от людей, не только возвращается к людям, но и находит слова, показывающие его связь с народной судьбой, с жизнью. Обращаясь к собеседнику, он призывает его: «Растопи гневом небесный купол. Заволоки его тучами твоего горя, чтобы грянули молния и гром».

Природа, которую так нежно и тонко чувствовал Коцюбинский, полна воздействия на его героев. Она одушевлена и кажется живым существом. Море, лазурное южное море глядит в окна комнаты, и стекла «как глаза моря». Но стоит небу нахмуриться и разразиться дождем, как эти окна становятся «беловато-мутными, ослепшими», «а по бельмам стекол беспрестанно текут слезы» («На острове»).

Погожий день и ненастный — не только реальность, но и настроение, кладущее отпечаток на мысли и чувства людей, меняющее их психику и восприятие.

У отца умирает ребенок. Прошла ночь ужаса, взошло солнце, окропились росой цветы яблони, запели птицы. И все это углубило горе отца. «Я машинально срываю цветок яблони и прикладываю его, прохладный от росы, к лицу. Розовые лепестки от грубого прикосновения руки осыпаются и тихо падают. Не то же ли случилось с жизнью моего ребенка?

А природа, вопреки всему, радуется.

И что не могла сделать картина горя, вызвала своей радостью природа. Я плачу. Слезы облегчения капают вслед за лепестками, а я с сожаленьем гляжу на ненужную мне зеленую чашечку, оставшуюся в руках...» («Цвет яблони»).

А вот революционер, приезжающий в чужой город в зимний холодный день. Он — неизвестный, в городе нет знакомых, и от этого картина улицы, потока людей, случайных встреч и улыбок сохраняет отчужденно-холодный вид: «Бежали куда-то люди и лошади, бежал дым, бежал белый пар от людей и животных, словно жестокий враг гнался за ними» («Неизвестный»).

Перелистывая страницы книг Коцюбинского, находишь множество лирических пейзажей, но лишь в ранних рассказах их можно назвать «описанием природы». Коцюбинский — писатель эмоциональный, и никакое «описательство» вне психологического состояния героев ему несвойственно. Он внес в украинскую прозу и свое искусство портретиста. До него украинские писатели-реалисты тщательно выписывали облик своих персонажей: цвет волос и глаз, рост, фигуру, одежду. Не всегда

эти детали имели значение для читателей. Коцюбинский, не поступаясь реалистическим содержанием портрета, придавал ему психологическую окраску. Он умел показать человека двумя-тремя характернейшими деталями.

Примечательно, что, задумываясь над приемами писательского мастерства Коцюбинского, над его выразительными средствами, тотчас же наталкиваешься на необходимость разобраться в идее произведения. Сам писатель не раз признавался, что, берясь за перо, он прежде всего думал, для чего он будет писать и какой общественный отзвук может получить новое произведение. Уже с начала нашего века, когда талант Коцюбинского развернулся и определилась его художественная манера, он просто поражал украинских читателей свежестью и своеобразием почерка. Критики, любящие приклеивать ярлыки каждому новому литературному явлению, величали Коцюбинского и модернистом, и эстетом, и «революционным импрессионистом». Иногда это делалось, чтобы чем-нибудь скомпрометировать творчество писателя, идейно чуждого либерально-националистическому лагерю.

«Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы Коцюбинского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг, ласковые глаза»,— писал Горький. В этих немногих словах определены и гуманные цели, и глубокая демократичность Коцюбинского. Истоки его творчества связаны с жизнью украинской деревни. В 1891 году Коцюбинский, сдав экзамен на звание народного учителя, работает в селе Лопатинцы (на Подолии). Здесь он пишет ряд повестей и рассказов: «На веру», «Харитя», «Елочка», «Пятизлотник». Писатель показал, что в гуще угнетенного крестьянства, в своем большинстве неграмотного, живут прекрасные, простые люди с благородными сердцами, жадно ищущие социальной правды. Коцюбинский тогда еще не мог увидеть и изобразить во всей полноте процесс классового расслоения деревни, происходивший в связи с ростом капиталистических отношений. Все же в рассказе «Цеповяз» (1893) писатель показал этот сложный процесс на судьбе двух братьев, из которых один становился кулаком-собственником, а другой — батраком, жаждущим лучшей жизни.

Писатель полон веры в светлую природу человека. Злые, корыстные люди, обманывающие бедняков, изображены выродками на фоне народного благородства и честности.

Прочитайте рассказ «Пятизлотник», и перед вами предстанут во всем душевном богатстве и благородстве характеры простых украинских крестьян — стариков Хомы и Химы. В неурожайный год тяжелая нужда входит в покосившиеся двери их старой хаты. Им приходится думать не только о завтрашнем, но и о сегодняшнем днс, о том, чтобы раздобыть кусок хлеба или несколько картофелин. Но когда Хома и Хима узнают, что где-то в далекой и незнакомой стране люди умирают от

голода, они взволнованы этим бедствием. Без колебаний жертвуют они драгоценный «пятизлотник», неприкосновенно хранившийся много лет на дне сундука. Любовь к человеку, доброта берут верх над собственническим чувством, приводят к самопожертвованию.

Коцюбинский ведет повествование в спокойных, почти эпических тонах. Он показывает, что гуманность и благородство души — естественные человеческие свойства, и писатель выступает как певец этих светлых чувств.

Уже гораздо позднее, чем названные рассказы, Коцюбинский написал свой маленький шедевр «Что записано в книгу жизни», где еще раз воспел победу добра над эгоистической жестокостью и темными инстинктами.

Снова картина крестьянской нужды, когда старая бабка, давно ждущая смерти, становится обузой для семьи. Спокойно и деловито убеждает она сына отвезти ее в лес и оставить там. Чувство человечности заговорило в сыне, и он, уже решившись на этот страшный шаг, неожиданно возвращается в лес, чтобы взять бедную замерзшую старуху домой. Победа доброго, человечного над злым и жестоким должна быть записана в книгу жизни.

Этот трагический рассказ, который невозможно читать без волнения, не оставляет, однако, горького чувства: неизменное жизнелюбие Коцюбинского приводит к оптимистическому финалу и заставляет верить в человека, в его лучшие душевные качества.

Работая пять лет в Одесской филлоксерной комиссии, боровшейся с паразитами виноградной лозы, и живя в Бессарабии и Крыму, Коцюбинский хорошо изучил жизнь и быт виноградарей, понял их горести и радости. В рассказе «Для общего блага» отразилось разочарование Коцюбинского в деятельности комиссии по борьбе с филлоксерой. Герой рассказа — молодой энтузиаст Тихович в поисках «живой, разумной работы» поступает в эту комиссию. Но борьба с филлоксерой ведется такими жестокими методами, как сожжение виноградников, зараженных паразитами, и приносит разорение виноградарям. С любовью и теплотой изобразил писатель в этом рассказе молодого молдаванина Земфира Нерона. Трудолюбивый, проводящий все свое время на винограднике, Земфир не мыслил себе жизни без него. И когда виноградник сожгли и на его месте остался пустырь, Земфир сгорбился, глаза его потускнели, и молодой человек, веселый, гордившийся своим трудом, превратился в старика. Этот молдаванин — не выдуманный писателем образ, а живое лицо, виноградарь села Джурджулети, где Коцюбинский нашел героев для своего произведения. И теперь еще чтят в этом селе память писателя. На доме Земфира Нерона установлена мемориальная доска с надписью: «В 1893 году великий украинский писатель М. М. Коцюбинский был в Джурджулетах и написал рассказ «Для общего блага»,

в котором рисует судьбу молдаванина Земфира Нерона, жившего в этом доме».

Царская цензура запретила печатать этот рассказ, потому что «сочинение может вызвать ненависть к властям».

В других рассказах из жизни виноградарей Бессарабии и Крыма («Пе-коптьор», «Ведьма», «Под минаретами», «На камне») писатель ставил проблемы освобождения женщины от социальных и религиозных пут, выступал против нелепых и косных предрассудков и суеверий.

Исследователи, изучая жизненный и творческий путь писателя, говорят об эволюции его таланта, о разочаровании его в народнических иллюзиях и служении «малым делам», о приближении писателя к высоким идеалам революционной демократии. Все это так, но несомненно и то, что Коцюбинский всегда был верен насущным интересам своего народа и всегда был в авангарде народного движения. Он шел рядом с такими художниками слова, как Иван Франко, Леся Украинка, Василь Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина.

В жизни больших писателей часто бывает такой переломный момент, который особенно проясняет их сознание и как бы высветляет дальнейший путь.

Для Коцюбинского и его соратников-демократов водоразделом послужила революция 1905 года и наступившая вслед за ней пора реакции.

В ряде рассказов, написанных в то время, писатель дает обобщающие картины схватки двух миров: революции и реакции. Резко, решительно ополчается он против царских прислужников — полицейских, душителей революции, палачей, а заодно и против подленьких либералов, угодливо пресмыкающихся перед реакцией и при этом произносящих народолюбивые речи. В рассказе «Смех» (1906) показан один из таких либералов, адвокат Чубинский. Он выступает на митингах с дешевыми демагогическими фразами, утверждает, что служит народным интересам. Но в личной жизни он трусливый мещанин и эксплуататор, этот либерал не видит, в каких ужасных условиях живет его прислуга.

Коцюбинский был неистощим в разработке человеческих характеров. Эти характеры раскрываются в современной среде и носят на себе приметы времени. Вспомним рассказ «Persona grata» (1907). Отвратительная личность палача Лазаря и вполне реальна, и вместе с тем служит воплощением жестокости обреченного на гибель царизма. Писатель как бы противопоставляет прислужникам реакции гордых и самоотверженных людей революции. Герой рассказа «Неизвестный» — революционер, брошенный в тюрьму и обреченный на смерть. Он горячо верит в торжество своей идеи: «Я гнев народа и его кара, дыхание правдивых уст, огонь из черной тучи человеческих обид, стрела из его лука...»

Как не похожи мужественные слова революционера из рассказа Коцюбинского на бессильные и жалкие вздохи запуганных реакцией интеллигентов, отступников от революции. Рассказ «В дороге» проникнут ненавистью к таким ренегатам, превратившимся в обывателей. Иван и Мария, бывшие революционеры, постыдно бежали с поля битвы и притаились в уюте мещанства: «При свете лампы в маленькой комнате, казавшейся островом в море ночного мрака, они читали. Что-то странное, нездоровое, вычурное, с запахом мускуса — «А rebours» Гюисманса, «Сад пыток», в которых любовь гноилась, как рана, а «я» распускалось пышным ядовитым цветом; оргия духа и тела, сверхъестественные инстинкты и протест всего против всего».

Характерная картина для эпохи, когда поэты-декаденты воспевали «сердца, истомленные злом», и призывали уходить в мистику, создавать свой иллюзорный мир взамен действительного.

На этом фоне особенно отчетливо выглядели образы, рожденные жизнеутверждающим, реалистическим пером Коцюбинского и противостоящие упадочным нытикам и маловерам. Революционер Кирилл из рассказа «В дороге» тоже на время поддается колебаниям и сомнениям. Но встреча с бывшими соратниками Иваном и Марией отрезвляет его. И страх и сомнения отступают перед мыслью о возможности такого жалкого и бесславного прозябания. И тогда Кирилл как бы сбрасывает с себя цепкую паутину, которой он был окутан,— сколько душевного здоровья пробуждается в нем, и он с бодрым, жизнерадостным чувством пускается в дальнейшую дорогу.

На почве общности художественных и политических стремлений произошло сближение Коцюбинского с Горьким, перешедшее в глубокую и искреннюю дружбу. Несколько раз побывал украинский писатель на Капри, где жил тогда Горький (в 1910, 1911 и 1912 годах). О своей дружбе с Коцюбинским Алексей Максимович вспоминал: «Отношения эти с первых же дней знакомства сложились как очень дружеские и тесные. Мы читали друг другу черновики наших работ, и оба очень искренне говорили друг другу, что́ каждый думает о работе другого. Если говорить о «влиянии», оно, вероятно, было взаимным. М. М. работал на Капри мало, но очень много рассказывал о своих планах».

В 1912 году написан лучший сатирический рассказ М. Коцюбинского «Лошади не виноваты». Нет никакого сомнения в том, что этот рассказ явился плодом творческого общения с Горьким. В том же 1912 году появились «Русские сказки» Горького, и шестая сказка во многом схожа с рассказом Коцюбинского. Оба произведения посвящены одной теме: разоблачению либералов-помещиков, которые на словах признавали права крестьян на землю, а на деле вызывали карательные отряды в свои поместья для защиты от «бунтовщиков».

Главная идея произведений Коцюбинского — это современность во всех ее проявлениях. Мироощущение материалиста помогало писателю развенчивать все виды мракобесия, мистики и религиозного фанатизма. Он сочувствовал всем жертвам темного царства креста и ладана. В одном из рассказов, «В грешный мир», писатель вводит читателя в стены монастыря, где царят ханжество, лицемерие, вражда и взаимная ненависть. Четыре послушницы покидают монастырь и уходят «в грешный мир». Чем дальше они от «божьей обители», тем чище, светлее и благороднее становятся их помыслы и порывы. Сияющая южная природа Крыма, зовущая жить и работать, наполняет сердца бывших послушниц бóльшей любовью друг к другу, чем та, которая лицемерно процветала в смрадных кельях монастыря. Чисто языческое, идущее в лад с природой, ощущение жизни сменяет тупую христианскую мораль, которую прививали отшельницам.

Поэма-сказка «Тени забытых предков», написанная Коцюбинским с большим воодушевлением, вводит нас в гордый и суровый, величественный и насыщенный мифологией мир карпатских горцев — гуцулов. Увлекаясь работой, Коцюбинский писал Горькому 16 июля 1911 года: «Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды... Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов! Собираю материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

Повесть «Тени забытых предков» написана в стиле гуцульских народных сказок. Лирические, полные поэзии чувств, эпизоды гуцульской поэмы чередуются с эпическими, проникнутыми древними поверьями, картинами мягкой и грозной природы. И как во всех сказках, доброе начало берет верх над злым. Дочитываешь последние страницы и словно видишь перед собой торжествующе радостное лицо автора, который знает, что на смену невзгодам, горестям и даже смерти приходит победное утверждение жизни. Горький вспоминал, как, глядя на серые скалы Капри, покрытые богатой зеленью трав и цветов, Коцюбинский говорил: «Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески...»

В Италии писатель встречался с рыбаками и матросами, с крестьянами-виноградарями, участвовал в деревенских праздниках и восхищался весельем и жизнелюбием простых итальянцев, в глазах которых видел согласие и доброжелательство. Стоя на берегу моря, где голубая волна ластилась к его ногам, мечтательный певец людей и природы

думал, что эта волна, омывавшая африканский берег, несет ему привет единения. Эту мысль вложил Коцюбинский в уста романтической героини из рассказа «Сон»: «Смотрю на юг, на бесконечное море. Сирокко приносит ко мне из Африки зной и аромат Египта, и я мечтаю о стране белых песков и черных людей, о кактусах, пальмах и пирамидах. Катится из Африки волна и, как далекий братский привет, целует скалы. И, может быть, эта волна, омывшая ноги араба, плещет у моих ног, как символ единения...»

Есть одна тема в творческой жизни Коцюбинского, которая на многие годы захватила его внимание. Тема эта — народ и революция — была подсказана самой действительностью. В 1903 году Коцюбинский принялся за создание эпопеи о революции в деревне и назвал ее «Fata morgana». Через семь лет, когда опыт революции уже мог быть оценен и продуман, появилась вторая часть повести. А третья часть, задуманная автором, так и не была осуществлена из-за кончины писателя.

Это семилетие (1903—1910) ознаменовалось историческими событиями такого масштаба, что нужна была большая перспектива, чтобы охватить эти события и художественно их осмыслить. Коцюбинский повестью «Fata morgana» показал, что художник, живущий современностью, может откликнуться на события текущей жизни, не нуждаясь в так называемом «пафосе расстояния».

На подступах к первой русской революции, зная жизнь украинской деревни и из личных наблюдений, и из многочисленных документов, писатель вошел в мир своих персонажей как близких и хорошо знакомых людей. Он писал об этом: «Я весь среди своих героев, живу их жизнью, разделяю их горе и радость, говорю их языком и предан их интересам».

В архивах писателя сохранилась целая картотека с выписками из сообщений земских корреспондентов, где содержались интереснейшие данные о различных эпизодах аграрного движения в украинской деревне.

Во второй части повести Коцюбинский реалистически точно воспроизвел события, происшедшие 2 ноября 1905 года в селе Выхвостове, Черниговской губернии, где кулаки на сходке учинили жестокую расправу над участниками разгрома помещичьей усадьбы и винокуренного завода.

Но если бы «Fata morgana» была только документальным очерком, вряд ли ее художественная ценность была бы так высока и вряд ли повесть была бы так принята не только современниками, но и потомками. Сила повести в богатом и многостороннем раскрытии характеров и психологии действующих лиц. Повесть написана так динамично, что скорее походит на киносценарий или даже на драму. Как всегда, Коцюбинский и здесь сумел спаять эмоциональные лирические диалоги с

эпическим повествованием, насыщенным необычными образами и впечатляющими символами, очень сходными с фольклорными. Так, один из героев, Хома Гудзь, испытывающий бешеную ненависть к помещикам, огнем выжигает барское имущество. В этом он находит этическое оправдание. Огонь — светлое, очистительное начало для него: «Еще недавно лежал он в темном коробке, холодный и незаметный, как Хома среди людей, а теперь огонь мстил за мужицкие обиды».

Картина пожара помещичьих стогов сена — одна из лучших в повести — дана писателем в двух планах: реальном, как бытовое происшествие, и в высокопоэтическом, обобщенно-философском. Короткий победный смех Хомы при виде огня — это предчувствие грядущей победы революции. Крестьянский мститель в ходе борьбы станет настоящим революционером, как и его будущие сотоварищи Марко Гуща, Прокоп и Гафийка, которая из незаметной крестьянской девушки вырастает в сознательного борца, помощника Марка Гущи. Она усваивает тактику революционной борьбы, потому что вокруг нее все насыщено этой борьбой: бастуют железнодорожники, заводские рабочие, крестьяне говорят о стачке, как о способе сделать помещика сговорчивее. «Ежедневно ветер приносил свежий дым, а люди — свежие рассказы, и никто больше не удивлялся. Вчера это была сказка, сегодня — действительность,— что же удивительного в этом?» У Гафийки и Марка Гущи, возглавлявшего крестьянскую молодежь, одни мечты. Когда Марко был арестован, Гафийка продолжала его дело, вышивала по ночам красное знамя. И в должный час это знамя взвилось над сельской демонстрацией.

Коцюбинский счастливо избежал в повести публицистики и риторики. Ему помогло умение претворять в обобщающие образы разрозненные мысли и факты. Вот как он изображает нищих, обездоленных крестьян, уходящих из родного села на заработки. В нескольких строках встает впечатляющая образная картина: «Тянутся и тянутся, черные, понурые, мокрые, несчастные, словно калеки-журавли, отбившиеся от своего клина, словно осенний дождь. Тянутся и исчезают в серой неизвестности...»

Кулаки готовятся к расправе над восставшими крестьянами. Коцюбинский как бы предвещает это страшное событие: «Голая земля, исхлестанная крыльями ветра, безнадежно серела под оловянным небом. Рядами истомленных хат, будничных и неприветливых, смотрела деревня на своих хозяев, неохотно собиравшихся на сход. Шли лепивые, серые, тяжелые, точно комья тощей земли, их породившей».

У повести есть подзаголовок «Из деревенских настроений». Коцюбинский действительно чуток к настроениям, в его восприятии жизнь личности и жизнь общества сливаются в смене радости и горести, побед и поражений, взлетов и падений. Зоркий глаз и чуткое ухо художника

улавливают все эти смены, видя в них приметы времени, чувствуя его пульс.

Коцюбинский не имел возможности отдаться целиком литературе. Он вынужден был служить то в редакции житомирской газеты «Волынь», то многие годы быть скромным делопроизводителем в черниговском земстве. Это тяготило его, но и приносило обилие наблюдений, которые со страстью коллекционера собирал писатель. Впечатления от непосредственного опыта жизни всегда ложились в основу его произведений. Есть такое признание писателя: «Хочется сделать как можно больше записей, собрать возможно больше материала, ведь все это пригодится. Я в этом отношении — Плюшкин, все хочется собрать целую кучу наблюдений».

Прежде чем начать писать, Коцюбинский обдумывал произведение до мельчайших деталей, любил делиться планами с близкими, как бы проверял их реакцию, и затем уже принимался за работу. Писатель строго относился к своему творчеству, но суд времени оправдал его и сохранил для потомства. В украинской литературе на рубеже прошлого и нынешнего века Михаил Михайлович Коцюбинский — один из самых любимых писателей по широте и благородству взглядов. Он творил именем добра и справедливости.

«Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу»,— писал Горький в телеграмме по поводу смерти Коцюбинского.

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Небольшая книжка стихов озаглавлена: «На крыльях песен». Когда она вышла в 1893 году во Львове, имя автора, стоявшее на обложке: «Леся Украинка»,— было почти неизвестно. Изредка в украинских журналах и газетах печатались ее стихотворения. Сборник «На крыльях песен» открыл Лесе Украинке путь к популярности. Самое название сборника определило его песенный характер. Но особенно выделялась в нем тема мужества и стойкости. Строки Ивана Франко, посвященные первым поэтическим опытам Леси Украинки, полны подлинного восхищения перед неожиданным «чудом» жизнеутверждения, каким явились сама поэтесса и ее стихи. Он писал: «...читая мягкие и расслабленные или холодно резонерские сочинения молодых украинцев — мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими простыми, такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка — едва ли не единственный мужчина во всей современной Украине».

Биография Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач) не богата внешними событиями. Она родилась 25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском, в той части Украины, которая входила в состав Российской империи. Детские годы поэтессы протекали на Волыни, среди живописной природы. Девочкой вслушивалась она в песни волынских крестьян, впитывала в себя их легенды и сказки, их обычаи и поверья. Детские воспоминания Леся Украинка сохранила на всю жизнь и не раз возвращалась к ним в своем творчестве.

Тяжелый недуг, рано поразивший поэтессу,— костный туберкулез — лишил ее возможности получить систематическое образование. Приходится изумляться той одаренности и силе воли Леси Украинки, с какой она самостоятельно углублялась в различные сферы знания — от истории и экономики до географии и литературы. Уже в раннем возрасте она овладела немецким, французским, а также латинским и древнегреческим языками, а позднее изучила английский, итальянский, польский, болгарский и испанский языки. О широте образованности Леси Украинки можно судить хотя бы по тому, что в девятнадцатилетнем возрасте она написала для младших сестер учебник «Древняя история восточных народов». Один из известных украинских деятелей культуры Михайло Павлык, встретившись в 1891 году с Лесей Украинкой во Львове, писал: «Леся просто ошеломила меня своим образованием и тонким умом... Я думал, что она живет только поэзией, но это далеко не так. Для своего возраста это гениальная женщина. Тем печальнее, что бедняжка не живет, а мучается... Мы говорили с ней очень долго, и в каждом ее слове я видел ум и глубокое понимание поэзии, науки и жизни».

Леся Украинка росла и развивалась в высокообразованной среде. Отец ее, Петр Косач, мелкий помещик, был человеком, хорошо знавшим литературу и прививавшим детям любовь к книге. Мать — украинская писательница Олена Пчилка общалась с видными деятелями украинской культуры. В усадьбе Косачей и в их киевской квартире собирались писатели, художники, музыканты. Слушая разговоры о народных нуждах, о национальном гнете, о преследованиях царским правительством украинской культуры, Леся Украинка, не по годам развитая, рано начала задумываться над этими социальными вопросами.

Еще в девяностых годах прошлого столетия, на заре рабочего движения, она разглядела «предрассветные огни», загоравшиеся на ее родине.

Огни предрассветные, солнце пророча,
Прорезали тьму этой ночи.
Еще не вставала заря —
Они уже блещут, горя.
Их люд зажигает рабочий.

Кто не видел в рабочем пригороде на рассвете огоньков, живо мигающих в окнах домишек? Но без волшебного дара поэтического прозрения едва ли возможно придать картине раннего утра на рабочей окраине образное воплощение нарождающегося рабочего движения:

Вставайте, живые, в ком дума восстала!
Пора для работы настала!
Гони предрассветную сонь,
Зажги предрассветный огонь,
Покуда заря не взыграла.

К этому надо добавить, что поэтессе, написавшей пророческие строки, был лишь двадцать один год и что она уже страдала неизлечимой болезнью, заставлявшей ее месяцами лежать в постели или жить вдали от родины, в теплых краях. Казалось, трудно было при таких условиях загореться надеждой на близкое и светлое будущее родной земли, но в ее больном теле жил крепкий и неукротимый дух, повелевавший ей «без надежды надеяться». Именно так назвала она стихотворение «Contra spem spero!» («Без надежды надеюсь!»):

Да! И в горе я петь не забуду,
Улыбнусь и в ненастную ночь.
Без надежды надеяться буду,
Буду жить! Прочь, печальные, прочь!

Здесь уже изложена программа действия поэтессы. Она хочет быть глашатаем нового века, провозвестником грядущей свободы, новой жизни. В стихотворении «Мой путь» (1890) Леся Украинка говорит, что она «несмелым голосом» запела «ранней весной», когда едва забрезжила заря освободительного движения. И уже тогда она почувствовала слабость борца-одиночки:

Одной недолго сбиться мне с пути,
А вместе будет нам верней идти!

Поэтесса ищет друзей и соратников в трудном и благородном деле свержения устоев старого общества:

Когда ж в дороге долгой мне придется
Напев услышать радостный и вольный,—
Моя душа, как эхо, отзовется.

Не по годам серьезная и вдумчивая, Леся Украинка рано поняла глубокое значение поэта-трибуна, чье огненное слово «глаголом жжет сердца людей». Это пушкинское определение поэзии недаром сродни Лесе Украинке, и отсюда общность образов:

Сияньем молний, острыми мечами
Хотела б я вас вырастить, слова!
Чтоб эхо вы в горах будили, а не стоны,
Чтоб резали — не отравляли сердца,
Чтоб песней были вы, а не стенаньем.
Сражайте, режьте, даже убивайте,
Не будьте только дождиком осенним.
Сжигать, гореть должны вы, а не тлеть!
(«Вы, слова мои громкие...»)

Боевое слово революционного поэта сравнивается с лучом света, буйными волнами, путеводной звездой, яркой искрой, сияньем молнии, острым мечом. Это накопление образов помогает воспринять многообразие слова, призванного «сжигать», «гореть», а не «тлеть».

Поэзия для Леси Украинки — оружие, острый меч в руках народа, грозного мстителя, разящего своих палачей.

Поэтесса обращается к друзьям, заключенным в тюрьмы, с ободряющими словами привета и поддержки. В стихотворении «Зимняя весна» (1898) Леся Украинка, находясь в Крыму, вспоминает далекий Киев и своего товарища, брошенного в тесную камеру Лукьяновской тюрьмы. От этих тяжелых воспоминаний тускнеет красота «пленительной южной ночи».

В стихотворениях «Другу на память», «Товарищам», «Товарищу», «На полуслове разговор прервался...» возникают поэтические образы революционеров, которых не могут сломить никакие преследования. Это живые люди из плоти и крови, потому что поэтесса общалась с ними и жила одними мыслями и чувствами, принимала участие в их борьбе, насколько позволяли ей силы. О многом из ее революционной деятельности мы можем только предполагать и догадываться, но несомненно, что она была близка к социал-демократическому движению. Ее гражданские стихи, сильные, образные, эмоциональные, печатались в подпольных листовках и прокламациях, воодушевляя рабочую молодежь.

Красные знамена восставшего народа, революционные песни, твердая поступь рабочих отрядов на улицах городов, боевой дух трудовых масс — все это отразилось в лирике поэтессы исторического 1905 года. Она пишет политические стихи («Песни про волю», «Мечта, не предай...»), драматическую поэму «В катакомбах» — пламенный гимн неугасимому стремлению к свободе, разоблачение христианской проповеди смирения и покорности. Раб-неофит приходит в христианскую общину в поисках правды и свободы. Он вступает в спор с епископом, который старается привить новому члену общины христианскую мораль. «Когда появились на свет епископат и начало церковной иерархии,— писала Леся Украинка своему другу, ученому А. Е. Крымскому,— епископы заговорили языком моего епископа, и эта традиция сохранилась вплоть до современного архиерейства. Я не принимаю теорию Толстого и мно-

гих других, будто современное христианство является аберрацией, болезнью этой религии. Нет! В древнейших памятниках, в «Деяниях апостолов», в посланиях апостола Павла, в аутентичных фрагментах первоначальной галилейской пропаганды я вижу зерно этого рабского духа, этого узкосердого политического квиетизма, который так разыгрался потом в христианстве. Как хотите, но не случайно в притчах и везде в Евангелии так часто употребляется слово «раб» и антитеза господина и раба как единственно возможная форма отношений между человеком и его божеством».

Епископ обещает рабу небесный рай взамен земного ада. Раб-неофит не соглашается с тем, что должен стать «рабом господним» и стремиться в «царство божие», где тоже есть рабы. Он горит желанием «хоть издалека увидеть свободу»:

Чтобы мой сын, мой внук, мой дальний правнук
Дождался дня, когда само названье,
Позорное названье «раб» исчезнет.

Епископ прибегает к всевозможным уловкам, чтобы удержать в подчинении мысли и чувства раба-неофита. Спор между епископом и рабом-неофитом приводит к полной моральной победе последнего. Раб-неофит покидает катакомбы и отправляется в тайный лагерь рабов-повстанцев. Бунт раба-неофита исторически обоснован: одряхлевшую государственность античного мира расшатывали грозные восстания рабов.

Леся Украинка показывает, как постепенно проясняется сознание раба-неофита, отказывающегося от всякой религии, ибо она ведет к оправданию рабства:

Мне все равно, один ли бог на небе,
Три бога или триста, хоть мирьяды,
Ни за какого гибнуть не хочу...
С меня довольно рабства в этой жизни.
Я честь воздам титану Прометею.

Как отмечалось, образ тираноборца и богоборца Прометея служит для Леси Украинки воплощением непоколебимости и мужества. Еще до драматической поэмы «В катакомбах» она задумала создать образ древнегреческой мифической царевны Ифигении, в которой тоже хотела показать бунтарскую силу титана Прометея. Художественный замысел Леси Украинки остался неосуществленным, но в дошедшем до нас отрывке поэтесса немногими штрихами нарисовала облик смелой девушки, славящей гордый и мятежный дух человека, рвущего оковы тирании:

Ты, Прометей, оставил нам наследство,
Большое, незабвенное! Ту искру,
Что ты для нас похитил на Олимпе!
Огонь ее горит в моей душе,—
Он дышит буйным пламенем пожара...

В 1905 году написана и фантастическая драма «Осенняя сказка», которая является живым откликом на события революции.

В последний период творчества, совпадающий с годами реакции, наступившей после первой русской революции, Леся Украинка жила светлой верой в силы родного народа. В стихотворении «Эпилог» (1911) она высказывала горькое сожаление, что болезнь мешает ей деятельно участвовать в этой борьбе:

Ох, борцы, когда б вы знали,
Как томят в бессилье руки!

Как лежать в постели тяжко
Скорбным пасынкам недоли,
Положась на милость бури,
На чужой талант и волю.

Чем же тешиться такому?
Только думою своею...
Вы, борцы, ее примите,
Это все, что я имею.

Поражение революции произвело на Лесю Украинку тяжелое впечатление. Она писала Ольге Кобылянской в 1906 году: «...мы теперь все здесь нервничаем, у всех как-то «душа не на месте». Это был тяжелый, грозный и величественный год, сколько было в нем страшных контрастов, «подъемов и падений», буйных надежд и трагических разочарований, великих побед и незажитых ран... И лично для меня этот год (начиная с прошлой зимы) тоже был таким — он измерил силу моего духа, знаю теперь, что могу и чего не могу...»

Страна, где была задушена свобода, представляется поэтессе мрачным, но вместе с тем грозным лесом, над которым пронеслась буря:

Не так перед бурею жутко,
Как после бури — тоска.
(«Тихую дрему вечернюю...», 1906)

В ее стихах возникают образы костра, покрывшегося золой, под которой тлеют искры. Пока еще одинокий путник не может разжечь пламя давно затушенного костра. Но скрытая искра тлеет для того, чтобы разгореться буйным пламенем, уничтожающим все отжившее («Холодной ночью брошенный костер...», 1906). Она пишет о глубоком и темном затоне, куда не проникает луч солнца. Но придет время — и острые молнии пронзят самую глубину вод и озарят мрак ослепительным светом («За горой зарницы...», 1907).

Интимная лирика поэтессы часто приобретала черты общественной целеустремленности. Стихотворения, посвященные ее близкому другу, социал-демократу С. К. Мержинскому, долгое время покоились в рукописном фонде поэтессы и только после ее смерти увидели свет. Какая-то особая деликатность мешала поэтессе раскрыть перед читателем свои интимные переживания. Об этом она сама признавалась в письме к Ивану Франко от 13 января 1906 года по поводу его стихотворения «Из дневника»: «Я понимаю ваше чувство, что вы как бы несколько стыдитесь этих стихов, но понимаю не потому, что нахожу смысл в этой стыдливости, а только потому, что по себе знаю это чувство. Однако думаю, что наши личные мысли и чувства чего-нибудь да стоят, если нам не то страшно, не то немного стыдно выносить их на перекресток. Значит, это искреннее, острое чувство — или горячее, или до боли холодное».

Во многих лирических стихотворениях раскрывается тема настоящей, глубокой и самоотверженной любви. Обращаясь к другу, поэтесса говорит о своей преданности ему, о том, что она связана с ним общим делом. И если больной и надломленный борьбой друг представляется ей печальной, но величественной руиной, то она, как нежный и гибкий плющ, обвивает эту руину:

Им хорошо вдвоем, как нам с тобою,
Но час придет рассыпаться руине,
И плющ она укроет под собою...
Зачем он нужен здесь один, в долине?
(«Тебя, как плющ, держать в своих объятьях...»)

Разнообразию тем и сюжетов, введенных в лирику Леси Украинки, вполне соответствует и многообразие формы. Многие ее произведения даже раннего периода удивляют совершенством, легкостью, музыкальностью, гибкостью ритмов. Некоторые лирические стихотворения принимают диалогическую форму и являются как бы зародышами драматического действия.

Леся Украинка любила объединять лирические стихотворения в циклы. Часто поводом к таким объединениям служили внешние обстоятельства. Таковы путевые циклы «Крымские воспоминания», «Крымские отзвуки», «Из путевой книжки». Пребывание в Гелуане отражено в цикле «Весна в Египте». В других циклах: «Мелодии», «Ритмы», «Слезы-перлы» — собраны стихи, близкие по настроениям, вызванные определенными жизненными и общественно-политическими обстоятельствами.

Обладая способностью к перевоплощению, поэтесса легко и свободно чувствовала себя во всех веках и среди разных народов. Герои античных мифов и библейских легенд, первые христиане-неофиты,

древние греки и римляне — от знати до рабов,— средневековые рыцари, монтаньяры и жирондисты французской революции, суровые пуритане североамериканской пущи...— трудно перечислить все персонажи, которые живут, мыслят и чувствуют в обширном поэтическом мире Леси Украинки. Ее лирика, выходя за субъективные формы переживаний, соприкасается со смежными жанрами баллады, лироэпической поэмы, драматического этюда. В легенде «Трагедия», в балладе «Грешница», в этюде «Ифигения в Тавриде» властно звучат лирические мотивы, и в образах рыцаря, истекающего кровью, но не побежденного, «грешницы», осмелившейся восстать против несправедливости, в Ифигении, томящейся по родине,— всюду выступают благородные и человечные черты внутреннего облика самой поэтессы. Весь свой дар перевоплощения она обратила на то, чтобы в прошлых эпохах находить драгоценные созвучия со своей современностью и извлекать из них нужные примеры для своего поколения.

В апокрифах и легендах Леся Украинка преобразила библейских героев и героинь — Саула, Давида, Рахиль, придав им новое толкование, отличное от мистико-религиозного.

Умение глубоко и самостоятельно мыслить открыло перед поэтессой возможности *переистолковывать* давно знакомые человечеству образы и легенды. Пушкинскому «Каменному *гостю*» она противопоставила «Каменного *хозяина*», прославленному поэтическому идеалу Данте, его Беатриче, она предпочла «бедный образ» жены Данте — Джеммы Донати, разделявшей с мужем-изгнанником горечь чужого хлеба («Забытая тень»). Над общепринятой во времена Леси Украинки лицемерной моралью христианской покорности и смирения она вознесла единственно достойную человека революционную этику борьбы и восстания против тирании. Поэтесса прославила и раба-неофита, уходящего в лагерь Спартака («В катакомбах»), и художника Ричарда Айрона, отстаивающего полную свободу творчества («В пуще»), и адвоката Мартиана из одноименной драматической поэмы, живущего и борющегося во имя всеобщего блага. Самоотречение, отказ от личного, борьба и мужество — вот качества сердца, которые прославляет Леся Украинка.

Вершиной драматургии Леси Украинки стала «драма-феерия» — «Лесная песня» (1911). Украинская песня была поистине жизненной спутницей поэтессы.

Известный собиратель украинского песенного творчества К. В. Квитка писал в предисловии к сборнику песен, записанных им с голоса Леси Украинки и изданных уже после ее смерти, в 1917—1918 годах: «Эти песни Леся Украинка больше всего перенимала от народа своего родного и любимого Волынского края в детские годы и в ранней моло-

дости... Совсем маленькой, наверное пятилетней девочкой, запоминала Леся Украинка некоторые веснянки и танцевальные песни... За составлением этого сборника застала ее последняя, смертельная стадия болезни. Так ее жизненный труд, начавшийся народной песней и далеко ушедший вперед, закончился народной песней».

В письме А. Е. Крымскому от 14 октября 1911 года Леся Украинка писала: «...Я не поминаю лихом волынские леса. Этим летом, вспомнив о них, написала «драму-феерию» в их честь, и она принесла мне много радостей...» Поэтесса вводит читателя в чащу леса, населенного фантастическими существами, добрыми и злыми, живущими своей жизнью.

Среди обитателей фантастического царства есть обаятельное существо — лесная русалка Мавка. Этот образ был знаком Лесе Украинке с детства. В родном краю она часто слышала рассказы о мавках и запомнила эти рассказы на всю жизнь.

Когда мать уверяла Лесю Украинку, что фантастические образы «Лесной песни» навеяны классической литературой, поэтесса доказывала, что здесь сыграли роль не книжные влияния, а красочный и полнозвучный фольклор Волыни: «Мне кажется, что я вспомнила наши леса и затосковала по ним. И, кроме того, я давно уже эту мавку в уме держала, еще с той поры, как ты в Жаборице мне рассказывала о мавках, когда мы шли через какой-то лес с мелкими, но частыми деревцами. Потом я в Колодяжном в лунную ночь убегала одна в лес (никто из вас об этом не знал) и там ждала, что мне удастся увидеть мавку. И над Нечемным она мне грезилась, когда мы там ночевали у старого Льва Скулинского... Видно, суждено мне было ее когда-нибудь написать, а теперь почему-то наступила «подходящая пора» — я и сама не пойму почему. Зачаровал меня этот образ на всю жизнь».

В основе «Лесной песни» лежит социальная тема разоблачения мелкособственнической морали, корыстолюбия и расчета. Всему обыденному и пошлому противопоставлено высокое горение, жажда счастья и радостей.

Мавка — воплощение самоотверженной любви. Полюбив Лукаша, простого крестьянского парня, чудесно играющего на свирели, Мавка не может жить без него. Она оставляет фантастических обитателей леса и уходит к людям. Здесь ее постигает горькое разочарование: Мавке чужды и непонятны грубые, эгоистические нравы обывателей, с которыми ей пришлось столкнуться. Ее чистая, святая любовь к Лукашу оказалась оскорбленной и поруганной.

Леся Украинка вскрывала все низкое и пошлое в людях, но при этом показывала, что светлые и благородные стремления не остаются неоцененными. Как бы подкрепляя свою мысль, что не все в мире людей достойно осуждения, Леся Украинка вывела в «Лесной песне»

прекрасный образ старого дяди Льва. Мудрый и чуткий старик чувствует могучие созидательные силы природы и горячо любит ее. Он как бы оттеняет своими благородными чертами бездушие и корыстолюбие жалких обывателей — матери Лукаша и его жены Килины.

Несмотря на философскую насыщенность, «драма-феерия» не абстрактна, в ней действуют живые люди — волынские крестьяне (Лукаш, его мать, дядя Лев, Килина). Их одежда, их речь, внешний облик — все реально связано с Волынью, где развертывается действие.

«Лесная песня», написанная в тяжелые годы реакции, обличала ничтожество обывательского благополучия и в поэтической форме утверждала высокую человеческую мечту о счастье.

Тема свободы и угнетения личности постоянно занимала Лесю Украинку. В последний раз она обратилась к ней в драме «Каменный хозяин» (1912).

Поэтесса дала оригинальную трактовку средневековой испанской легенды о Дон-Жуане, обольстителе и безбожнике. Поэты и драматурги в течение трехсот лет разрабатывали эту легенду: на Западе — Тирсо де Молина, Мольер, Гольдони, Байрон, Мериме, Ленау, в России — Пушкин и А. К. Толстой.

Белинский, назвав «Каменного гостя» «лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина» [1], дал характеристику его Дон-Жуана: «Красавец собою, стройный, ловкий, он весел и остер, искренен и лжив, страстен и холоден, умен и повеса, красноречив и дерзок, храбр, смел, отважен... Для него жить — значит наслаждаться; но среди своих побед он сейчас готов умереть; умертвить же соперника в честном бою и насладиться любовью в присутствии трупа ему ровно ничего не значит» [2].

Леся Украинка сохранила эти основные черты пушкинского Дон-Жуана. В письме от 9 мая 1913 года О. Кобылянской она писала: «Что касается характеров, то я не ставила перед собой цели прибавлять нечто новое к сформировавшемуся в литературе образу Дон-Жуана, разве только подчеркнуть анархизм в его характере. Он именно должен был быть таким, каким его привыкли более или менее себе представлять...»

Новаторство Леси Украинки было в том, что она безжалостно развенчивала Дон-Жуана, как жестокосердого эгоиста, индивидуалиста, ради чувственных наслаждений готового на любое преступление.

Окружение Дон-Жуана — феодально-дворянское общество, кичащееся титулами и гербами. Олицетворением этого общества является Командор. В одном из писем Леся Украинка так объясняла идею своего

---

[1] В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х томах, т. III, М. 1948, стр. 629.
[2] Там же, стр. 630.

произведения: «...Драма... называется «Каменный хозяин», так как идея ее — победа каменного консервативного начала, воплощенного в Командоре, над раздвоенной душой гордой, эгоистической женщины — донны Анны, а через нее и над Дон-Жуаном, «рыцарем свободы».

Дон-Жуан протестует против ханжеской и лицемерной морали дворянской среды, к которой он принадлежит. Но Леся Украинка лишь иронически могла назвать Дон-Жуана «рыцарем свободы», потому что под свободой он понимал анархическую распущенность.

Новое толкование приобрел в драме образ донны Анны. Леся Украинка показала ее не беспомощной жертвой коварного обольстителя, а властной и честолюбивой женщиной, которая сама подчиняет себе Дон-Жуана. Она обещает ему титул Командора, а в будущем — королевскую корону. Дон-Жуан покоряется воле донны Анны, пробуждающей в нем честолюбивые стремления. Но в тот момент, когда он примеряет командорский плащ перед зеркалом, появляется каменное изваяние Командора, превращающего его в камень.

Поэтесса относилась с большой симпатией к созданному ею образу Долорес. Ради Дон-Жуана прекрасная и благородная девушка, лишенная кастовых предрассудков, жертвует собой, усматривая в этом свой высший принцип. «Над ней ничто «каменное» не имеет власти»,— отмечала поэтесса в том же письме к Кобылянской.

«Каменный хозяин» — единственная драма Леси Украинки, увидевшая свет рампы в дореволюционном украинском театре (если не считать неудачной постановки ее ранней пьесы «Голубая роза» труппой Кропивницкого в Киеве в 1898 году). В 1914 году крупнейший украинский актер и режиссер М. К. Садовский поставил в Киеве «Каменного хозяина» и сам исполнял роль Командора.

Последняя законченная драматическая поэма Леси Украинки называется «Оргия» (1913). В ней показано столкновение двух культур: древнегреческой, пришедшей к упадку, и культуры римской, неотесанной, жестокой, опирающейся на грубую силу солдат-завоевателей.

Основной герой драматической поэмы — греческий патриот, певец Антей, безмерно страдающий оттого, что его родная земля покорена, что мысли и чувства греческого народа заглушены.

Антей не хочет ни почестей, ни славы от иноземных захватчиков. Сотрудничество с ними он воспринимает как предательство.

Леся Украинка бичует в «Оргии» растленную теорию «всемирного господства» и исключительности той или иной расы. В уста Префекта, представителя римской военщины, вложена проповедь этих реакционных идей.

Леся Украинка поставила в своей драматической поэме проблему борьбы с идеологией захватчиков и резко осудила изменников

родины, идущих на соглашение с проповедниками идеи «всемирного господства».

Поразительны были взлеты творчества Леси Украинки. И несомненно, она создала бы еще много шедевров, если бы смерть в кавказском городке Сурами (Грузия) 1 августа 1913 года не оборвала бы ее мужественную жизнь. Ей было всего сорок два года. Они наполнены непрерывными творческими поисками и непрерывной борьбой. В некрологе, посвященном памяти Леси Украинки, большевистская газета «Рабочая правда» писала, что поэтесса, «стоя близко к освободительному общественному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. Нам надо сказать ей спасибо и читать ее произведения».

АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ

М. КОЦЮБИНСКИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

FATA MORGANA[1]

(Из деревенских настроений)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Когда Андрий Волык проходил мимо главного здания сгоревшего сахарного завода, воронье с криком взвилось над развалинами, внутри там что-то затрещало — и посыпались штукатурка и кирпич. Хотя сахарный завод, давно уже заброшенный, разрушался и зарастал травой, в пустых корпусах его время от времени слышался шум, и казалось, это гомон машин и голоса рабочих еще живут в старом помещении. Проходя мимо груды битого кирпича, белых пятен извести, полуприкрытых молодым бурьяном, мимо гнилых трухлявых желобов и черных дыр — окон, из которых будто что-то смотрело,— Андрий вспоминал прошлое. Какая-нибудь шина, блестевшая в траве, словно ползущая змея, или чугунное колесо, наполовину вросшее в землю, вызывали у него перед глазами картину шумной заводской жизни, и он видел себя у вагонеток с сахаром или у аппарата. Тогда он получал тринадцать рублей в месяц!..

— Было время, пане добродзею! [2] — говорил он громко сам себе и разглаживал седой ус.

Андрий направлялся к старому бересту на вершине холма. С него сползали заводские строения.

Налево от него серебряной рябью играл на солнце пруд, будто рыбы купались в нем, а за прудом, на другом холме, пряталась среди деревьев церковь. За берестом лежал внизу

---

[1] Мираж *(лат.)*.

[2] Сударь! *(польск.)*

широкий зеленый луг, прорезанный излучинами синей реки. Вербы и ракиты серо-зеленым туманом катились по лугу и кое-где закрывали воду. На горизонте, в дальних окрестных селах, белели колокольни.

Было солнечное воскресное утро на фоминой. По церквам звонили. Далекие колокола гудели в ясном воздухе тихо и мелодично, и казалось, это звенит золото солнца.

Андрий глядел на развалины завода и радостно покачивал головой.

— Га! Недолго так будет!.. Они как возьмут в свои руки, быстро дадут пар...

«Они» — были немцы или чехи, а может, и евреи, приезжавшие шесть лет назад осматривать сгоревший сахарный завод. Хотя потом никто уже не интересовался развалинами, но Андрия не оставляла надежда, что вот-вот неизвестно откуда наедут паны, все починят и пустят завод.

Ну, а теперь он в этом уверен, ведь панский пастух Хома Гудзь шепнул ему эту новость. Хома хоть пасет скот, а все же ближе к панам,— ведь он трется около них. Будет завод, будет!..

Иначе, пане добродзею, сущая погибель теперь человеку: заработать негде, земли отродясь не было, подати плати, кругом нужда, а есть надо! Да! Велико ли счастье — клочок земли!.. Роются на своем наделе, а сами черные, как земля... а едят не лучше тех, у которых ничего нет... Хозяева!..

Андрий с презрением сплюнул сквозь зубы.

Вот завод — другое дело. Не страшны тебе ни засуха, ни дожди. Работа чистая, постоянная. Придет срок — получай деньги...

И он тогда пил пиво... За наличные... Чистое, золотое, холодное пиво... Тьфу!.. даже слюнки текут.

Думал: «Подрастет Гафийка, наймется на завод. Где б она заработала столько!.. И скорее вышла бы замуж. А как же... Там народу много — нашелся бы и жених. Аппаратчик или слесарь... Пусть старуха не дурит головы ни себе, ни девке; хозяйский сын не возьмет бедной, не таков свет теперь. А как же...»

Его мысли текли дальше. Такие легкие, такие прозрачные, как весенний воздух...

Нет развалин. Всюду новые корпуса. Гул машин, шипение пара, множество людей — целый ад. Все движется, живет, все такое привлекательное. И он чувствует силу в руках, а во рту у него вкус холодного пива...

Последний звон замер в воздухе. Из церкви выходят. С горы до самой плотины медленно движется туча народу. Стучат деревенские сапоги, шелестят подолы, и трепещут на ветру ленты дивчат.

Вот идет Маланка. Маленькая, сухая, черная, в чистой сорочке, в старенькой свитке. Андрий не видит ее лица, но знает — глаза ее опущены вниз и губы поджаты. Мы хоть бедные, да честные. Хотя и живем трудами рук своих, но и для нас есть место в церкви. Рядом с ней Гафийка, как молодое деревце из господского сада. У Андрия под усами блуждает улыбка. Он знает, что в селе нет девушки лучше. Семнадцатый год пошел с филиппивок.

— Га-га-га! Вот где он молебен служит. Здорово!..

Грубый голос доносится снизу, и старое безусое лицо панского пастуха Хомы Гудзя показывается из-за покосившегося забора.

— А вы ж думали — где? Дай боже...

— Черта лысого сидел бы я тут — уж лучше у Менделя... Сукин сын привез свежего пива, коли не врет... Я таки сказал ему: чтоб тебе, говорю, такие болячки в печенку, и твоей Суре, и всему выводку твоему...

— Вот купите, тогда и распробуем, какое оно...

— Чтоб вы все посдыхали,— какая у вас правда, такое и пиво... А что, думаете, не куплю? Идем выпьем, бей его лихорадка...

— Купите? А с волами ж как? Сам пан присмотрит?

— Пусть они все передохнут у него... Он думает, так ему перетак,— я в проводы погоню скот пастись? Лопнешь, не дождешься... Кое-что хочу сказать вам...

— Ну, ну?

— Приходите после полудня к Менделю, скажу...

— Ну, ну!

— Поговорим, выпьем пива, стонадцать...— Конец фразы исчез за тыном.

Андрий спешил домой. Перед ним лежала дорога, пыльная уже, хотя была ранняя весна. У дороги белела его халупка, словно шла куда-то из деревни и остановилась отдохнуть. По дороге тянулись люди с палками, узелками. Вот Гафийка вынесла одному воды. Стали и разговаривают. Снова подходит группа... Еще ряд... Движутся и движутся. А тот стоит. Эге-е! Да это ж целый клин журавлиный. Идут и идут. Куда-нибудь

в Таврию или на Кубань. Вот тебе и хозяйские сыны, хлеборобы... Своя земля просит рук, а он снялся, да и... А что же делать на своем клочке? Развелось их. Нет на вас войны или холеры. Одни из села, другие в село, вроде этого Марка Гущи, которого недавно привели, как арестанта... Получал, пане добродзею, на фабрике семнадцать рублей в месяц и начал бунтовать. Мала, говорит, плата, много работы. Начальство ему одно, а он ему, вишь, другое... Ну, не хочешь, так получай: попарили нагайками, да и айда домой под караулом... Да я б такому бунтовщику...

А тот все стоит. С кем это она заговорилась? Кажись, Прокоп Кандзюба? Да, он. Вот вышла на порог Маланка, и спряталась... Пускай девка постоит с хозяйским сыном... Смотри, еще посватается! Ха!.. А как же!..

Андрий подошел к хате. Кривая, покосившаяся халупка с черной крышей и белыми стенами стояла среди покинутых, с забитыми окнами жилищ, когда-то построенных заводом для рабочих, и казалась чем-то живым и теплым среди холодных мертвецов. Возле хаты серели вскопанные грядки, от ворот к порогу вела тропочка.

Зато соседние огороды были полны мусора и битого кирпича; необработанная земля щетинилась прошлогодним бурьяном, и на черных развалинах всегда сидело воронье.

Андрий застал Маланку кроткой и ласковой, как и обычно после обедни. Значит, она будет бранить его сегодня не так, как в будни, а со сладкой улыбкой и нежными словами. Поглядывая искоса на плотно сжатые женины губы, он с неестественной поспешностью сбросил с себя свитку и расселся на лавке, как пан. Га! Разве он не хозяин у себя дома? Однако Андрий лелеял тайную надежду, что все обойдется как-нибудь и жена его не заденет.

Но как раз в это мгновение, снимая с полки миску, Маланка бросила на него взгляд.

— Нанялся?

«Вот, начинается!» — подумал он, но продолжал сидеть с невинным видом.

— Что?

— Нанялся в экономии, спрашиваю?

«Вот чертова баба: знает, что не был я там, а спрашивает».

— Да дай ты мне покой с этой экономией... не то у меня в голове теперь. Вон, говорил Гудзь, скоро сахарный завод строить будут.

— Слушай, сердце, Гудзя, слушай, Андрийко... пойдешь с сумой, да и мне доведется.

Она поджала тонкие губы и подняла глаза к потолку. Что ж! Она молчит, в праздник грех браниться, но если бы у всех, кто врет про завод, отсохли языки, то было бы очень хорошо. Завод, завод, а где он? Ну, был завод, а кому от него польза,— Менделю? Может, неправда? Может, не у Менделя оставлял он заработок? Что у них есть, чем они живы? У нее уже руки высохли от работы, она уже все жилы вымотала из себя, лишь бы не сдохнуть, прости господи, с голоду...

И она совала ему в глаза сухие, черные, словно железные, руки, голые до самого локтя.

— Ведь муж не заработает, ой, не заработает, сердце мое. Он думает о пиве, а нет в мысли, чтобы...

И пошло. Она его отчитывала, она его исповедовала, она кропила его, окуривала ладаном и сыпала чертями так осторожно, так деликатно, как только можно в воскресенье после обедни, а он, красный, как вареный рак, сперва молчал, а потом и сам пошел взвизгивать тонким надорванным голосом.

Наконец победил.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Трижды тьфу на твою землю! Пусть она провалится! Не наймусь я и не буду в земле копаться. Она отняла у меня все силы, да и пустила на старости лет голого. Тьфу, и еще раз тьфу на нее...

Тогда Маланка стала, как столб, и простерла руки к небу.

— Что ты говоришь, неблагодарный! Да ты становись на колени да целуй ее... ешь ее, землю святую, она тебя кормит... в ней тебя и похоронят, человече...

Она стояла белая как мел, в самом деле испугалась.

Тучи разогнала ласточка. Вбежала Гафийка, поспешно пряча что-то за пазуху. Этот чистый, выхоленный, будто вылизанный матерью зверек, тугой, как пружина, с круглыми бронзовыми руками и ногами в золотых волосках, эта весенняя золотая пчелка внесла в хату нечто такое, от чего белые стены под низким потолком улыбнулись, голубь перед образами повернулся на питке и казаки из красной бумаги, налепленные на стенах, подбочепились.

— Мама, давать обедать?

— Давай, давай, Гафийка...

Маланка сразу отошла.

— Да чего ты вертишься в хате, будто волчок? Так и плошки перебьешь. И в церкви все вертелась и оглядывалась...

— Да его и не было в церкви.

— Кого «его»?

— Да это я так...

— Что с тобой, девка, сегодня: едва борщ не перевернула.

— Страх, рассказывает, что делалось... Народу, говорит, как на войне, сила огромная... А конные наступают, теснят. «Расходись!» — кричат. А те: «Не пойдем, давай нам наше... мы за правду...»

— Да кто рассказывает?

— Марко... недавно пришел из Одессы.

— Гущин? Говорят, попался в краже, отсидел в тюрьме, да и привели сюда на радость старому отцу.

Гафийка вспыхнула:

— Вранье! Это люди врут. Он ничего не крал, вот ей-же-богу!

— Да замолчите! — крикнул Андрий.— Какая там кража! Мне урядник рассказывал, когда я ходил на почту. Он, Гуща этот, не крал, а народ бунтовал. Такому, урядник говорит, в тюрьме бы гнить, а не на воле быть...

— Да их там, тату, обижали.

— Что ты понимаешь... Вот только увижу, что он тут туману напускает да книги людям читает — сейчас же руки назад, да и к уряднику.

— Вот напали... не знают сами за что...

— А тебе какое дело? Ты у меня с ним, гляди, не водись, увижу, пане добродзею, так...

Но он не кончил: как раз в тот миг, когда Гафийка нагнулась, чтобы вынуть из печки горшок, у нее из-за пазухи высунулась книжка и упала на пол. Гафийка оставила горшок, схватила книжку и, вся красная, с глазами, полными слез, мгновенно выбежала в сени. Андрий перевел удивленный взгляд на Маланку.

Но Маланка была уже не святая и не божья. Она сразу забыла, что в воскресенье нельзя браниться, и сверкала на мужа зелеными глазами.

У Андрия была хорошая приправа к воскресному обеду,— тем более что, сколько ни звали Гафийку есть, она не шла уже в хату.

Ну, дал бог воскресенье, можно отдохнуть. Маланка села на завалинке и положила на колени руки. Андрий куда-то отправился, Гафийка на танцы ушла, а в хате тоска.

Солнце стоит низко так — в три человеческих роста от земли; пустые и ободранные хатки отбрасывают неровные тени. Пыльная дорога из-под Маланкиных ног бежит в поле. Вокруг пусто. Молодежь гуляет на площади; старики разговаривают у ворот, а у Маланки обычные гости — думы.

Ох, боже, боже, коротка жизнь, а как трудно ее прожить. Андрий снова не нанялся. И так каждый год. Легкого хлеба ищет. Всю, говорит, силу напрасно отдал земле, больше не хочу. Вновь станет рыбку ловить... на почту сбегает, если пан пошлет, зайца подстрелит. Люди жнут или косят, а ее Андрий идет по тропинке, кожаная сумка через плечо, бриль на затылке, и палкой помахивает...

Пылит дорога. Кто это едет так быстро? Ага, верно, паныч Леля, из соседней экономии в гости едут в усадьбу. Конечно. Вот и панна Тося... и горбатая панна Ганна, и паныч Петрусь. Летят пегие лошади, в туче пыли смеются молодые лица, кивают ей. Маланка встает, низко кланяется, будто образам, и смотрит вслед, как клубится за бричкой позолоченная солнцем пыль.

Все они выросли при ней, на ее глазах. И вдруг запах вкусного сытного борща повеял на нее откуда-то. Она ела такой борщ, служа у панов. Давно это было, а теперь вспомнилось, когда сидят на одной картошке. Маланка садится и снова кладет черные руки на колени. Вот где они почернели, эти руки: на работе у панов. Когда ей было восемь лет, помер отец, а к двенадцати годам у нее никого уже не было, кроме хозяев. После матери остался старый сундук, кое-какая рвань и заплатанный кожух, и только.

Сперва она помнит себя черной, вечно в свинарнике, около панских свиней. Потом она служила в горницах, все время била посуду, а ее била пани и не давали проходу панычи. Потом приказали ей варить еду для работников, и она варила, пока не состарилась в девках. Тихая, покорная, всех слушалась и плакала по углам. Плакала, что работает на чужих, сохнет, теряет силы и никто не сватается. Плакала потому, что любила землю, огород, поле, а вынуждена была варить целому табуну прожорливых работников. Вокруг была земля, такая черная, рыхлая, плодородная, весной пышная, осенью богатая, а никто не звал ее на эту землю, никто из хозяйских сыновей не хотел сделать ее хозяйкой. Потом вышла за Андрия. Как это случилось, что она пошла за него, вечного батрака, старого холостяка, бобыля, у которого не было даже собственной хаты,

не то что земли,— и сейчас не знает. Сошлись нужда с нуждой и родили беду. Словно знала — так плакала на свадьбе.

С одной стороны поют родственницы жениха, с другой — подруги невесты, а в хате, как в улье, в окно глядят работники...

Імберу, матінко, імберу.
Вивени рубочок з паперу... [1]

А у нее подкатилось что-то к горлу, душит, и она бьется головой об стол, голосит и умывает слезами и тогда уже черные руки.

То судьба ее плакала тогда.

Уносились годы напрасно, как листья по Дунаю.

— Кыш, треклятые... кыш!

Маланка вскочила с завалинки и швырнула комочком земли. Наседка с цыплятами рылась в грядках и, потревоженная, сердито заклохтала и нахохлилась. Желтые цыплята раскатились по грядкам, как горох. Перепуганные, снялись с соседней кровли грачи и забили крыльями над осыпавшейся соломой.

Маланка успокоилась и снова села на завалинку. Солнце опустилось еще ниже.

Эге, что-то Гафийка задержалась на танцах. Пусть погуляет. Только ей и воли, пока у матери да у отца. Да и то людям глаза колет. Говорила кузнечиха: «Держат Гафийку словно барышню, в работницы не пускают — богатеи нашлись...» Пошли тебе, прости господи, столько болячек, сколько у нас несчастий. Хорошо тебе говорить, когда у тебя полная хата девок, а у меня одна, как душа. Одно утешение на старости лет. Вынянчила, выходила, мыла и вычесывала, а теперь отдай людям! Мало того что люди надо мной натешились, всю силу взяли, всю кровь высосали, а теперь еще и ребенка отдай им... Не дождутся!..

Не такую она ей судьбу готовит, она выдаст ее за хозяйского сына. Девка здоровая, чистая, хоть воды напейся. Недаром хлопцы засматриваются. Прокоп посватается; затем и пошел в Таврию, чтоб было на что свадьбу справить... Осенью сватов пришлет, она уже видит, что, куда и к чему.

Перед глазами у Маланки встал луг — зеленый, веселый, над рекой... Они с Гафийкой коноплю дергают. Такая хорошая

---

[1] Имбиря, матушка, имбиря,
И достань бумажное полотенце...
(Украинская свадебная песня)

молодица Гафийка! Голова повязана платком. Дергает она коноплю и напевает. В колыбели дитя спит. Прокоп привез ячмень, стожок ставит. И так ей весело, старухе, так легко, словно она помолодела... Стоят огороды, словно в венках. Капустные кочаны завиваются, фасоль уже пожелтела, ветер шумит в коробочках мака, тыквы разлеглись, как откормленные кабаны, а картошки уродилось — даже ботва переплетается. Это ее черные руки поработали тут,— каждую свеколку, каждую луковку сама она посадила, сама и соберет, если господь приведет. Теперь она хозяйка. Не своя земля — так дочкина. Хоть на старости лет дождалась... И она справит себе красные сапожки, мягкие, козловые, с кисточками, как у кузнечихи. С той поры как вышла замуж,— вот уже не восемнадцать ли годков прошло,— не перестает она мечтать о таких сапожках, ежегодно откладывает деньги, но деньги разойдутся на что-нибудь другое — и сапог нет. Надеть такие сапожки и белую намитку да пойти в церковь. И чтобы так и похоронили...

— Посиживаете? С праздником.

Маланка вздрогнула. Ага! Это кузнечиха.

— А как же! И вы будьте здоровы... Дал господь праздничек — празднуй. Не трудись, не работай. Бог сказал: есть будни — трудись, а в воскресенье даже из-под поготка не выколупывай,— и это работа. Лежи, сиди, пальцем не пошевельни.

Маланка была сама сладость. Она так улыбалась, будто разговаривала с панами в усадьбе.

— А я с танцев. Только и осталось нам, что хоть посмотришь на молодежь. А ваша Гафийка все с этим, все с одесским панычом, не скажу, правду ли о нем люди рассказывают, с Марком Гущей... Все в паре, словно голубки. Сказано — молодость. Будьте же здоровы...

Маланка по-прежнему сладко улыбалась, хотя в душе у нее все кипело.

«Вишь, толстуха, трясет салом, разносит пересуды!» — проводила она кузнечиху неприязненной мыслью. И ей почему-то вспомнилась утренняя сцена с Гафийкою.

На улице тем временем удлинялись тени.

Под тынами играли девочки в посмятушку: небольшие босые ноги подбрасывали пыль трижды в одну сторону, трижды в другую. И казалось, что в пыли играет стайка воробьев. Дальние поля розовели. С низин летели в деревню аисты и поблескивали белыми крыльями. Весенний вечер навевал думы.

«Как ты прекрасна, земля,— думала Маланка.— Весело засевать тебя хлебом, украшать зеленью, убирать цветами. Весело обрабатывать тебя. Только тем ты нехороша, что не держишься бедняка. Для богатого твоя красота, богатого кормишь, одеваешь, а бедного принимаешь лишь в могилу... Но дождутся наши руки, станут обрабатывать собственные нивы, собственные огороды, собственные сады... Поделят тебя, земля, ой, поделят. Как они наедут, так и поделят. И моему дадут... Хватит тогда рыбку ловить... Хочешь не хочешь, становись, пане добродзею, за плуг... Ох, боже, боже, хоть на старости узнать такое счастье — дитя свое вывести в люди».

А на улице начиналось движение. Бежали дивчата, молодицы, дети с палками, хворостинами. Шелестели подолы, топали босые ноги, лаяли потревоженные собаки. «Степа-ан! Беги овец разбирать!..» — «Беги сама-а!..» — «Мама сказывали тебе,— чтоб тебе, черту, лопнуть!» — «Отец сказывали,— чтоб тебе сдохну-у-уть!..» — «Наших шестеро, смотри, Марийка!..» — «Не растеряй ягнят, как вчера, не то выдеру!..» — «Что-о? Где-е?» — «Тю-у! га-а!..»

Солнце садилось красное. Окна пылали, как печи, стены хат стали розовыми, по белым сорочкам разлился красный свет. Издалека шла на деревню туча пыли. Она все приближалась, росла, подымалась до неба, наконец солнце нырнуло в нее и рассыпалось розовой мглой. Оттуда доходили какие-то тревожные звуки, будто дети плакали или где-то цепы стучали на гумне,— и вдруг отара залила улицу и всколыхнула воздух нескладным блеянием. Живая масса овечьих тел терлась шерстью, дрожала и колыхалась, как студень: целый лес тонких ножек замелькал перед глазами, голые глупые морды раскрывали рты среди розовой пыли и плакали: «бе-е-е!.. ме-е-е!» В розовом тумане, словно тени, сновали люди, возникали и исчезали неясные очертания хат, в море овечьего вопля терялись остальные звуки; весь этот шум и беспорядок напоминал сон. Позади отары шел черный чабан, большой, еще более высокий от неверного освещения, подобный мифическому богу, щелкал кнутом и кричал диким, громким голосом, покрывая все:

— Гарья!.. Триш-триш!.. Гей!..

И уже ничего нет на улице, все исчезло, как сон, пыль медленно садится на землю, а вечерний воздух все еще дрожит живым аккордом замирающих звуков.

На землю глянули тихие звезды.

Синие стены, в углу барахло, залитый пивом стол. Тесно в каморке у Менделя.

— Не морочьте мне голову, Хома, говорите скорее: будет завод? Скажите — будет?

Пиво пенится в зеленых стаканах, и шумит в голове.

— Сказал же: будет.

— О! О! А зачем советуете отдать Гафийку внаймы?

— Советую. Все равно пропадет девка. Наест, напьет дома, тебе же хуже. А у нее одна судьба — наняться. Думаешь, возьмет кто бедную? Поседеет в девках. Отпускай работать, пока берут. Завтра же отведешь в Ямище к экономку: добрый панок, чтоб у него язык отсох. Что ж, будем сватами? Потому тебя и звал к Менделю.

— Не говорите мне об этом, не люблю. У меня и в мыслях не было такого.

— Посылай, Андрий!

— Оставьте, Хома! Лучше выпьем.

— Что ты чванишься? Нищие, несчастные, животы от голоду присохли к спине, а они важничают. Говорю — посылай, будешь каяться.

— Э, я этого не люблю. Чего без толку говорить!

Андрий покраснел и встал из-за стола.

— Садись, может, неправда? Думаешь, ты человек? Собака ты — и все! Какое наше житье? Собачье. Да ты сиди.

Гудзь положил Андрию на плечи свои здоровенные руки и посадил. Потом приблизил к нему безусое, красное от пива лицо, пышущее жаром.

— Ты не крути. Ты мне скажи: сколько лет прожил? Пятьдесят? Век доживаешь? А где твои молодые годы, где твоя сила, покажи свою работу. Мозоли показываешь? Покажешь еще и горб. Всю жизнь с тебя шкуру драли, а ты, вол, в плуге ходи. Наша судьба такая: трудись весь век — все не человек. Ты взгляни на меня: думаешь — Хома перед тобой? Скотина. Как пас с малых лет скот, так и сейчас пасу. Весь век со скотиной, и сам скотом стал. Всю жизнь хвосты видел вместо людей, копался в навозе, в навозе спал, на навозе ел, на навозной куче и подохну. Я забыл, как в хате спят, стонадцать чертей ему под хвост. Рубаха на тебе заскорузла, как кора на дереве, штаны перемазаны в воловьей крови, потому кровь волам пускаю. Рук не могу отмыть от навоза. Сяду с работниками обедать, каждый нос воротит — смердит. А ты думаешь, хорошо пахнет? Бегу от людей, к волам бегу. С волами разговариваю. К ним обращаюсь, тоску свою изливаю, а они

жуют, да мычат, да хвостами помахивают. Только у меня и утешения. А ты думал — жена со мной заговорит, да еще к сердцу прижмет... дети защебечут... своя хата согреет? Ха! С волами и состарился холостяком, чтоб им лопнуть. Теперь радуйся на старости, чтоб он подавился, душа из него вон, чтоб ему сдохнуть, напасть его возьми, так ему перетак... Пусть...

— Эй, что кричишь, человече, что бранишься?

— А? Что бранюсь? На душе легче; как соберутся там тучи — выругаюсь, и легче... не бранился б — сгорел. Такую злобу в себе чувствую, что душа жаром пышет... Как припечет, как припечет,— так взял бы в руку кувалду, да и перебил бы всех. Ходил бы из хаты в хату, да по голове, да по голове. Одного за то, что пьет человеческую кровь, а другого за то, что не заступается. А потом поджег бы, чтоб все огнем запылало да пеплом развеялось, чтоб только остались голая земля да ясное солнце.

Хома стоял в горнице, высокий, под самый потолок; глаза его смотрели куда-то через стены; безусое, сморщенное, как у бабы, лицо перекосилось. Он даже дрожал. Потом вдруг увял, опустился на лавку и единым духом выпил пиво.

Андрия задело за живое. Он тоже хотел, чтобы на него обратили внимание, выслушали всю его жизнь, какой она предстала перед ним тут, в тесном шинке. Дожил до седых волос, а хорошего не знал, ой, нет...

— Я так думал, Хома, если человек работает...

Но Хома опять сердился:

— Пропади ты пропадом. Одному все, другому ничего. Разве я не видел, как старая пани...

— Если человек работает, он должен что-то получать за это. А раз земля мне ничего не дает...

— Старая пани всю зиму топила печки полотном, которое от барщины осталось...

— ...Ну, а раз земля ничего не дает, на черта она мне? Все равно мне, батрак я — на своей земле или на чужой. Все равно батрак. Правду вы...

— ....Слежалось полотно в кладовых. Люди просят: дайте хоть на рубашку, пусть труд человеческий зря не пропадает. Да ты слушай.

— Слушаю, слушаю. Верно, правду вы говорите: да, собачья жизнь у нас. Из меня тоже вымотали все жилы. Ведь я всю жизнь набивал чужую глотку. Еще когда был завод, жил как-то, а как сгорел...

— Конечно, сгорело, все полотно сгорело.
— Какое полотно?
— Как какое? Я ж рассказывал.
— А, так, так. Ну, выпьем лучше. За ваше...
— А как же с Гафийкой? Отдашь в работницы?
— Да будет вам. Выпьем.
— Ну, черт с тобой, не хочешь, как хочешь.— Хома выпил единым духом пиво и ударил стаканом об пол.
На звон стекла прибежал перепуганный Мендель.

Был какой-то праздник. Гафийка сидела на завалинке перед хатой. У ног ее возились куры и кудахтали, требуя корма. На завалинке лежала раскрытая книга.
— Кыш, кыш, ступайте рыться под тыном...— гнала их Гафийка.— Ну, чего кудахчете, глупые? А ты что, пеструшка, вытягиваешь шею и заглядываешь в руки? Я уже тебя кормила. Вам бы только есть, глупые. Сердишься, что так говорю? А вот спроси Марка, послушай, что умный человек скажет. Он вам сказал бы: глупые, испокон веку глупые. Вам дают горсточку пшена, а отбирают все ваши яйца и режут вас. А ты, петух, по-глупому хлопаешь крыльями, храбришься. Если б ты был такой смелый, как Марко, не давал бы ты своих детей панам на жаркое. А может, давал? Ну, да ведь ты петух, а Марко орел. Ты послушал бы, что он говорит... Он говорит... да что ты понимаешь, ты ничего не разберешь! Был бы ты поумнее, увидел бы, что и люди те же куры. Ну что раскудахталась, беленькая? Почему смеешься? Думаешь, я не знаю, что у вас хорошо? Думаешь, любишь, кого хочешь, а я должна выходить за Прокопа, потому что мать меня за него сватает? Глупая, глупая... Да пусть меня жгут, пусть режут... пусть лучше закопают в землю! Слышишь ты, пеструшечка? Ну, ступай прочь, если не веришь и головой вертишь! Не бойся, Марко никому меня не даст... он орел... а над ним, знаете, куры, воронья, воронья... заклевать готовы. Ведь и мужики на него, и староста, и даже отец нападают... а он добра хочет людям. Не отец, а Марко... Слышите, куры, какой он добрый, Марко мой...: За это его хлопцы и дивчата страсть как любят и слушают. А ты куда, проклятый! Кыш! видишь — наследил на книжке! Что мне Марко скажет, как увидит на ней петушиные следы? Скажет, петух больше прочитал, чем ты. Ну, теперь все бегите, кыш,— мне надо читать. Подвинусь ближе к солнышку, пускай и оно заглядывает в книгу, пускай и оно читает... Ну, давай вместе!..

С погодой что-то творилось. Весна стояла сухая и ветреная. На огородах все сохло, хлеба на поле не росли, по дорогам носились облака пыли. Люди просили дождя, потому что все предвещало голод. Цена на хлеб внезапно подскочила, и это так встревожило Маланку, что она каждую ночь видела дурные сны. Зато, чем хуже было вокруг, чем больше надежды хлебопашцев увядали, тем все больше овладевали Андрием мечты о заводе. Как Маланке — дорогая мука, так Андрию снился завод. Иногда он вскакивал среди ночи и спросонья, с каким-то испугом в голосе спрашивал Маланку:

— Был гудок?

— Какой гудок?

— Ну, завод гудел? — сердился он.

— Опомнись... это у тебя в голове гудит, по ночам не спишь,— ворчала потревоженная Маланка, зевала, вздыхала и не могла заснуть до утра.

Андрия пожирало нетерпение. Он время от времени бегал на развалины, что-то соображая, прикидывал, высчитывал. Потом бегал по людям, расспрашивал, пускал слухи, и когда они возвращались к нему, значительно измененные и более решительные, он радовался, хвастался Маланке и верил. Даже к своим обычным заработкам относился он теперь легко и не искал их.

Маланка упрекала. Чем дальше, тем все труднее и труднее становилось найти какую-нибудь работу. Трава сгорела, в экономиях больше не нанимали. Подходя к печи, она просто с ума сходила, не зная, что варить. Дома ничего не было, ее вечные просьбы дать взаймы наскучили всем и даже самой Маланке. Больше всего сердце болело у нее о Гафийке. Такая молодая, единственное дитя — и должна голодать. Каким-то чудом она раздобывала для нее и приносила под фартуком горшочек ягод или свежую паляницу. Андрий редко обращал внимание на еду. Голова его была полна заводом, но иногда и он отодвигал пустую похлебку и начинал ворчать. Маланка ждала это мгновенье. Она вся закипала злорадством и бросала ему в лицо весь яд, всю накипь своего сердца.

Под одной крышей жили два врага, и хотя каждый из них уходил в собственные мысли и даже избегал другого, но довольно было какой-нибудь мелочи — и злость трясла их обоих, как лихорадка.

Одно их соединяло,— это мысли о том, что Гудзь советовал отдать Гафийку внаймы.

— А ты что ж, плюнул ему в глаза? — допытывалась Маланка, а сама, усмехаясь, думала: подожди, подожди, вот придет осень, тогда посмотрим...

— А я так рассердился, что едва не побил Хому! Ей-богу! — хвастался Андрий.— Такое выдумал!..

— Ты что тут делаешь?

Маланка вытаращила глаза и остановилась на пороге. На шестке горели щепки и кипел горшочек. Андрий смотрел на огонь: весь красный, разгоряченный. Застигнутый Маланкой врасплох, он улыбался неуверенной, глупой улыбкой. Маланка подошла к печи, придвинула горшочек и заглянула в него.

— Ты рыбу варишь? — спросила она испуганным голосом и побледнела.

Андрий как-то засуетился. Сунул горшочек обратно, обложил его жаром и молча улыбался.

— Слышишь, Гафийка, он рыбу варит! — вскрикнула Маланка.

В голосе ее слышался такой ужас, словно в горшочке варилось, по крайней мере, человеческое мясо.

— С ума сошел! Он с ума сошел. Ей-богу, с ума сошел! — кричала Маланка, бегая по хате, как на пожаре.

И вдруг остановилась перед Андрием, всплеснула руками и, так и застыв, смотрела на него удивленными, полными негодования и страха глазами.

Он рыбу варит! Линя, пойманного утром! Что весил не меньше четырех фунтов! Не отнес в усадьбу, не продал пану! Ой, светопреставление! Такого еще не бывало с тех пор, как Андрий рыбу ловит! Они еще ни разу не съели большой рыбы, которую едят паны. За такого линя можно было взять два злота, а он сварил.

Все это, плача, выкрикивала Маланка Андрию в спину, под бульканье в горшочке и потрескиванье сухих щепок.

Андрий старался все обратить в шутку.

— Не скули, старуха, садись да поешь рыбки. Нет мяса лучше свинины, нет рыбы лучше, чем...

И он поставил горшочек на стол и налил в миску ухи.

— Трескай сам, чтоб ты сдох! Мы пухнем с голоду, в хате ни крошки хлеба, а он рыбу варит!

Андрию было стыдно: Маланка говорила правду, но ему так хотелось рыбы, она так аппетитно пахла, что ноздри его трепетали и раздувались.

Сопя и отдуваясь, он засел за рыбу, и чмокал губами, и хлебал уху так громко, будто хотел заглушить женино причитание.

А Маланка бушевала. Кроме того что она горевала об испорченной рыбе, она была голодна. Она ослабела от голода, ей так хотелось чего-нибудь горячего, вкусного, необыкновенного, а запах свежего линя щекотал ноздри, перехватывал дыханье; ее даже тошнило от сильного желания поесть. Однако она понимала, что не может приступить к еде, и еще больше бранилась.

— Не грусти, жинка, вот поставят завод, тогда заработаю...

— Чтоб ты так жил, как тот завод будет!

Андрий поднял глаза, и они на мгновение остановились, он смотрел куда-то в пространство, за стену, за пределы хаты, и сразу стало ясно ему, что действительно завода не будет, что это напрасные надежды, что лучше бы он не варил рыбу, которую можно было б продать и купить хлеба. И вдруг рыба утратила вкус, желание есть пропало, и ему захотелось уйти.

Андрий взял шапку и вышел.

Остатки рыбы остывали на столе, а Маланка с дочерью молча сидели по углам и думали горькие думы в сумерках уходившего дня. Печаль стояла в хате, обнявшись с тишиной.

Потом мать и дочь вдруг поднялись, подошли, словно сговорились, к столу и молча принялись за рыбу. Они съели все до конца, обсосали косточки, выхлебали уху и, как голодные коты, вылизали даже миску.

Андрий собрался на почту: перекинул через плечо кожаную сумку, взял в руки палку. Тут вбежала Маланка. На ней лица не было. Бледная, задыхающаяся, глаза горят, и вся дрожит.

— Иди... меряют...

Андрий уставился на нее.

Она не могла говорить, держалась рукой за сердце и тяжело дышала. Другой рукой, запачканной в земле,— Маланка только что полола,— она размахивала у него перед глазами и показывала на дверь.

— Иди же, меряют...

— Кто меряет? Что?

— Паны, ох!.. Наехали, станут землю делить...

— Какую землю? Что ты мелешь?

— Всякую... между мужиками... Иди посмотри, чтоб нам отрезали недалеко, ближе к деревне, еще какое-нибудь болото получишь.

— Свят, свят, свят! Опомнись. Мне на почту надо.

Маланка позеленела.

— Ты пойдешь у меня?

Она подскочила к нему, страшная, как дикая кошка, с перекошенным ртом, с горящими глазами, бледная, как привидение.

— Ты пойдешь у меня сейчас же! — пронзительно визжала она.— Тебе, может, все равно, а мне нет. У тебя ребенок! Ты хочешь зарезать его! Ты всех нас режешь. Сейчас же у меня иди! Люди разберут, что получше. Слышишь? Ну!

И, видя, что он стоит, ничего не соображая, и смотрит на нее, она схватила с шестка валек и замахнулась.

— Иди, иначе тут тебе и смерть!..

Она готова была его убить. Андрий это видел.

— Тю, глупая! — пожал он плечами.— Видишь — иду.

Он сопел, как кузнечный мех, и едва поспевал за Маланкой.

Вечером вернулась Маланка домой веселая, почти счастливая. Она бегала по хате, как молодая, и мысли ее парили, словно белые голуби на солнце. Она улыбалась. Какие чудные паны. Ходят себе по полю да меряют. Она им в ноги: «Паны мои, лебеди, не забудьте меня, бедной, отрежьте ближе там, где пшеница родит», а они хохочут. «Иди, говорят, бабка, домой. Мы не для тебя меряем». А сами хохочут, пошли им боже всего доброго. Они думают, если она глупая баба, так уж ничего и не понимает... Постойте, постойте, может, и у нее голова не напрасно на плечах. Разве она не поняла, что они ее обманывают? Скажи мужикам сразу, что это для них землю делят, так тут бы такой содом пошел, что живьем сожрали б друг друга... Каждый бы из-за лучшего дрался. Ну, да они будут помнить бедную бабу, они ее не обидят. Вот если б еще и Андрий просил, а то стал как пень, чтоб тебе...

Не кончила проклятия, не могла браниться нынче. Она была такой доброй сегодня, ей было так весело, так жалко всех. Приготовляя ужин, она даже напевала, а трескучий огонь над сухим хворостом будто радовался вместе с ней. Андрию она подала ужин с уважением, как хозяину, у которого собственная земля и хозяйство, сама же не могла есть, не хотелось. Все, за что ни бралась, делала торжественно, будто в церкви служила, а сама улыбалась своим мыслям. На ночь

вымыла Гафийке голову щелоком, расчесала густым гребешком волосы, и они даже заблестели; сама заплела их в мелкие косички, с лентами. Чтобы голова у дочки была как солнышко. Чтобы девка ходила не хуже других.

— Может, ты новый жилет наденешь, а то старый совсем разлезся? — спросила она Андрия и достала из сундука единственную его праздничную одежду.— Потешь душу ягодками, кузнечиха дала...

Андрий давно уже не видел ее такой ласковой. Сердце ее размякло, в ней все пело. Пела колосом своя нива, пели жаворонки над ней, пел песню серп, подрезывая стебель, раздавались песни по сенокосам, наконец, пело сердце, полное надежд. Улыбалось счастье. Не только собственное, а и Гафийкино. В ногах чувствовалась крепость, в руках — сила. Черные жилистые руки были точно из железа.

С этого дня Маланка часто бегала на панское поле смотреть, как меряют паны. Они еще бродили по полям дня два, потом уехали. Но Маланка хорошо знала, к чему это клонится.

Она начала готовиться. Когда полола огород у богатого мужика, не хотела брать денег, а просила отсыпать пшеничным зерном, чтоб у нее был хороший сорт пшеницы. Это для посева, на развод. Когда ела яблоко, осторожно собирала зернышки и сушила на окне. Пригодятся. Ничто не могло ей доставить большей радости, как горсточка семян, выпрошенная у хорошей хозяйки или заработанная на поденной. Она дошла до того, что, очутившись на чужом огороде, следила глазами, что можно взять на семена, и, оглядываясь, тайком отламывала лучшую маковую головку или срывала желтый огурец и прятала за пазуху. У нее в хате завелось множество всяких узелков с семенами, больших и малых, и все время что-то сушилось на окнах.

— Куда ты все это денешь? — удивлялся Андрий.— Ведь у нас всего-навсего две грядки.

Она таинственно улыбалась и снисходительно покачивала головой:

— Не печалься... Уж это моя забота — куда.

В воскресенье она ходила в лес, где стояли готовые срубы, осматривала их, выбирала лучший материал, обдумывала и расспрашивала лесников о ценах.

Возвращалась домой задумчивая, с глазами, обращенными куда-то в пространство, гладила Гафийку по голове и порой улыбалась себе самой.

Она как-то даже была на ярмарке, а потом пошли о Маланке разговоры по деревне: наверно, у бабы есть деньги, только таится она с ними,— ведь все шаталась по ярмарке и торговала подсвинка...

Как-то вечером Маланка вышла из хаты и наткнулась на Гафийку, которая стояла, прижавшись к косяку.

— Ты что тут делаешь? — спросила она ее, но, взглянув на Гафийку, так и обомлела.

— Что с тобой?!

Гафийка не отвечала. Она стояла согнувшись, на ней лица не было, даже почернела и дрожала.

— Что с тобой? — допытывалась Маланка и взяла Гафийкину холодную руку.

Гафийка молчала и тряслась, как в лихорадке. Маланка ввела ее в хату и бросилась зажигать свет. Тусклый свет уронил еще более черные тени на ее бледное лицо; широко раскрытые от страха глаза заблестели, как стеклянные. Маланка совсем перепугалась. Посадила Гафийку на постель и начала дрожащими руками ощупывать ее лицо и голову.

— Что с тобой? Испугалась? Болит что-нибудь?

Ответа не было. Только под руками у Маланки вздрагивало холодное тело.

Маланка стала звать Андрия. Но Андрий где-то пропадал.

Маланка не могла понять, что случилось с Гафийкой. Сглазил кто? Напугал? Продуло? Куда она ходила? Где была? Что ж это, господи, случилось с дивчиной? Хоть бы что сказала, хоть бы слово вымолвила, а то молчит, как мертвая...

Стеклянные глаза и почерневшее, сразу осунувшееся лицо пугали Маланку, и она сама начала трястись над Гафийкой, крестя ее всю мелким крестом.

К счастью, возвратился Андрий. Он был весел или подвыпил, так как говорил громко и взволнованно:

— Ну, так и есть... а я что тогда вам сказал?.. Наехали и взяли...

Маланка зашипела на него:

— Где ты таскаешься?

— Где? На улице! Смотрел, как вели Марка Гущу... Наехали и взяли. Доигрался. Я б такого, пане добродзею, за шею да на веревку... Короткий разговор...

С постели донесся стон.

— Тс-с!..— накинулась на Андрия Маланка.— Видишь, за-

болела. Беги сейчас же за Марьяной... может, пошепчет, окурит, порчу отведет... Не знаю, что с ней такое. Беги скорей...

Андрий направился к знахарке.

Марьяна, наверно, помогла, потому что через два дня Гафийка поднялась. Худая, желтая, почти черная, словно вдова, печальная и молчаливая. Она все убегала из хаты, чтобы не быть вместе со стариками. Особенно избегала отца, будто боялась его. Наедине плакала. И думала, думала, даже невмоготу ей становилось от дум...

Не все горе, бывала и радость.

После долгого летнего дня, когда солнце садится, а горячая земля медленно снимает с себя золотые ризы, когда на бледном, утомленном за день небе проступают украдкой несмелые звезды, когда в последнем луче солнца справляют игрища мошки, а поразительно мягкий золотисто-розовый воздух принимает вдали сиреневый оттенок и делает просторы еще более широкими, еще более глубокими,— Маланка с Гафийкой плетутся по пыльной дороге, усталые, но довольные тем, что день окончился. Они несут домой горячее, как и земля, тело, а в складках одежды запах спелого колоса. Не разговаривают. Идут молча, помахивают серпами. Спина, наконец разогнутая, свободно опущенная рука, еще слегка дрожащая от длительного напряжения, мягкая пыль под ногами вместо жнивья — кажутся теперь счастьем. А дома ожидают отдых и сон, короткий, как летняя ночь, но сладостный, как прохладный лист для раны. Скорей бы домой... не ужинать, не сидеть, не разговаривать, а упасть на лавку, как камень в воду,— и вмиг смежить глаза.

Сонная, почти бессознательно раскладывает Маланка в печи огонь и кипятит воду, чтобы приготовить Андрию ужин. Огонь пылает и гудит, а она закрывает глаза, покачивается, и ей кажется, что это шумит колосом нива и серп шуршит по стеблю. Ой, как душно, как солнце печет. Но нет, ведь это огонь жжет, слишком близко подошла. Вот она сжала сноп и скручивает перевясло... так болит спина, трудно нагнуться. Ага! Это она тесто месит на галушки. Жни, Гафийка, жни... трудно, сердце, зарабатывать, когда жнешь за двенадцатый сноп, а нужно. Что, палец порезала, шипишь от боли? Ай, нет — это кипяток бежит...

Ест похлебку Андрий... кажется, говорит что-то... в хате или на дворе?..

— Почему не ужинаешь?

— А?

— Ужинать иди...

— Ужинай один... я потом...

Ложки надо бы по... а-а-а! помыть. Ноги такие тяжелые, будто в сапогах... а голова... голова едва на плечах держится...

Ну, наконец-то... На завалинке лучше. Ты спишь, Гафийка? Подушку взяла бы. Ну, спи и так, дитятко, если заснула. Ой, косточки мои, косточки болезные. Ой, мои рученьки, ноженьки... Иже еси на небеси. Хлеб наш насущный. А-а-а!.. звезды смотрят с неба, лягушки зовут спать. Голубой купол опускается все ниже и ниже... Наваливается на тело, опускает веки... Так сладко, спокойно. Не встал бы и на суд Страшный, не поднялся б, если бы счастье позвало... А небо все ниже и ниже... ласкает, обнимает... звезды щекочут, будто целуют. Душа растворилась в синеве, тело липнет к завалинке и тает, как воск на огне. Нет ничего... небытие... полное небытие!..

Разве это не радость!

Сразу же после жатвы стало ясно, что зима будет голодной. Все засуха да засуха. Рожь сгорела, хлеб уродился редкий и слабый. Смех и горе было смотреть на то, сколько заработали Маланка с Гафийкой, а настрелянных Андрием уток и зайцев паны съели. Еще труднее будет заработать в эту зиму, чем в прошлую, а те — мерившие землю, как ушли, так и след их простыл. Ни слуху ни духу. Андрий тоже молчит что-то о заводе.

По селу шли разговоры о Гудзе. Рассказывали, что он в ярости дубиной убил вола. Ударил по уху и расколол череп. За это пан выгнал его из усадьбы, и теперь Гудзь шляется без работы, пропивает последнюю одежду и хвалится, что и с паном будет, как с волом. Однажды Гудзь забежал и к Андрию.

— Ловишь рыбку, «пане добродзею»? — приветствовал он его с пьяным смехом.— Лови, лови, может, ею подавятся те, которые едят ее. Заводчик!.. Думает, что для него завод выстроят. Как же, беса пухлого дождешься!.. Совы да вороны там жить будут, пока не завалится все к чертовой матери. Говори — отпускаешь Гафийку? Нет? Хочешь с голоду пропасть, как рыжая мышь зимой? Ну, подыхай, сатана тебя возьми, со всем своим отродьем, мне-то что? Найдем и другую!..

Он рассердился, загремел дверью и вышел из хаты, но через минуту вновь просунулось в дверь красное упрямое лицо.

— Эй вы, заводчики! Помните одно, еще придет коза к возу и скажет «ме»... Но Гудзь покажет дулю,— вот!..

Андрий не выдержал.

— Ах ты пьянчуга, живодер, что тебе от меня нужно? — бросился он к двери, да Маланка не пустила.

— Оставь! — пронзительно завизжала она и засверкала на него зелеными, полными злорадства глазами.— Не тронь, изувечит. Тогда как на завод пойдешь?

— На завод?

— Ну да...

— На завод, говоришь?

— Слыхал же... выстроят для тебя...

Она цедила слова, будто яд.

Андрия душила злоба.

— Зудишь, болячка? Зуди, зуди, пока не почешу. Лучше скажи: засеяла поля свои? Много тебе намерили? Где ж те паны, которым ты руки лизала?

— А где ж? Завод тебе строят...

— Ты опять свое?..

Андрий побил Маланку. Она лежала на лавке и громко стонала, а он бродил по оголенным серым полям, равнодушно, без цели, лишь бы подальше быть от дома.

Гафийка плакала. Она лучше нанялась бы.

К покрову вернулся Прокоп. Шел слух, ему не посчастливилось. Сперва не мог наняться, народу нашло больше, чем нужно, и цены упали; потом заболел в Каховке и пролежал месяц, затем направился в Таврию, а оттуда попал на самое Черноморье. Вернулся ободранный, больной и без денег. Маланка не слишком верила этому. Чего только люди не наговорят! И она тайно от своих побежала, словно по делу, к Кандзюбихе. Оказалось — правда. На Прокопе лица нет, даже почернел, от ветра валится да все отлеживается, а старуха Кандзюбиха едва не плачет, рассказывая, что насилу очистила сына от вшей. Где уж ему жениться — думал заработать хоть на свадьбу, а тем временем такой год выпал, что и хлеба не хватит...

Грустная возвратилась домой Маланка и никому не рассказала, что видела и слышала. Пусть это умрет вместе с ней.

Чем ближе было к филипповкам, тем больше Маланка теряла покой. Не давала покоя и Гафийке. Дух аккуратности и порядка овладел ею совершенно — и она возилась по целым

дням: дважды побелила хату снаружи и внутри, ежедневно подмазывала печь да подводила красной глиной шесток.

Гафийке пришлось вырезать из бумаги новых казаков и цветы и наклеить их на стены от икон до самых дверей. Крылья голубков, колыхавшихся перед образами на нитке, заменены были новыми, еще более яркими, а для того, чтобы достать обоев с красными розами под образа, пошли все яйца, собранные одно к одному.

— Что ты ходишь черная! — гремела Маланка на Гафийку и заставляла ее едва ли не ежедневно менять рубашку. Сама чесала ей голову и вплетала в косы новые ленты. По осенним вечерам она рано зажигала свет, прихорашивалась, будто в праздник, и, сидя в своей прибранной хатке, часто поглядывала на дверь, тревожно прислушиваясь к лаю собак, и волновалась, будто кого-то ожидая.

Иногда днем, бросив работу, она выдвигала из угла Гафийкин сундук и рассматривала ее убогую одежу, разворачивала расшитые полотенца и переводила задумчивый взгляд на дочь. Потом поправляла на ней монисто, обдергивала рубашку, укладывала складки юбки и печально покачивала головой, смахнув украдкой слезы.

Но что она не могла равнодушно слышать — так это бубен. Как только с дальнего края села под облачным осенним небом раздавался его глухой звук, она выскакивала во двор, прислушивалась, старалась угадать, в чьем дворе справляют свадьбу, и проявляла столько любопытства, кто кого посватал, словно надеялась сама скоро выйти замуж. Она жила в вечной тревоге, ее движения стали быстрыми, нервными, а небольшие черные глаза беспокойно поблескивали.

А бубен гудел. Начиная с середины недели по улицам ходили невесты с распущенными косами и кланялись в ноги, приглашая на свадьбу, или месил грязь свадебный поезд, наполняя холодный воздух песнями. Маланка в одной рубашке выскакивала на порог, подпирала голову ладонью и жадно следила за свадебной процессией, зябла и не замечала этого. Она несказанно раздражалась.

Каждый посватавшийся парубок, каждая дивчина, подавшая полотенце, внезапно теряли в ее глазах цену, не стоили доброго слова.

— Посватался! Взял добро! — шипела она с кривой усмешкой. — Будет кормить чужих детей и жинку-недотепу... Разве никто не знает, что она и хлеба спечь не умеет, ей бы только с хлопцами ржать...

— Связалась с этим ледащим... Рябой, гнусавый, да и вор: украл в прошлом году мешок жита с гумна...

Зато, встречаясь с женщинами, у которых были взрослые сыновья, она становилась сладкой и хвасталась дочкой: слава тебе, господи, такая она у нее работящая, такая добрая, послушная, как теленочек...

Время тянулось.

Вечер за вечером просиживали они с Гафийкой в прибранной, как на пасху, хате, в чистой одежде, словно поджидали дорогого гостя, который вот-вот неизвестно откуда придет, застучит сапогами перед хатой, переполошит собак и откроет дверь. У Маланки спрятана была даже в чуланчике среди старого тряпья бутылка водки, о которой, кроме нее, никто не знал.

А вокруг раздавалась музыка, звенели бубны и тревожили ночную тишину пьяные песни. Никто не являлся. Покосившиеся стены халупки, выставив бока, моргали по углам морщинами-тенями, бумажные казаки, подбоченясь, стояли в ряд и молча смотрели на темный свет лампадки, а аккуратные голубки поворачивались перед образами, и длинные тени от их крыльев двигались на низком потолке. Неутихающая тревога, словно дерево из семечка, росла в Маланкиной душе. Неужели не придут? Неужели никто не посватается? Она перебирала в памяти всех парубков-односельчан — и богатых, и средних, и даже бедных, хотя дольше останавливалась на богатых. Соображала, прикидывала и все надеялась. Иногда она думала, что Гафийка сама виновата.

— Эй ты, недотепа! — кричала она на нее, когда Гафийка случайно роняла из рук веретено или задевала что-нибудь по дороге.— Какая из тебя хозяйка выйдет, ты ни ступить, ни сделать ничего как следует не можешь?

— Наказанье господне, не девка,— снова сердилась она.— Ты как причесалась? Кто тебя возьмет, такую неряху? Что молчишь? Говорить не умеешь?.. Увидите... Она и счастье свое промолчит... Все не так, как у людей...

Но, заметив слезы на Гафийкиных глазах, она умолкала, жалость наполняла ее сердце и вылетала продолжительным вздохом. Она уже знала, какая судьба ожидает ее дитя. Придется ей идти по материнской дорожке... Ой, придется...

С поникшей, тяжелой от горьких дум головой она прислушивалась к последним звукам замиравшей в деревне свадебной музыки, с которыми гибли и ее последние надежды, последние мечты...

Идут дожди. Холодные осенние туманы клубятся в небе и опускают на землю мокрые косы. Плывет в серую неизвестность тоска, плывет безнадежность, и тихо всхлипывает грусть. Плачут голые деревья, плачут соломенные кровли, умывается слезами нищая земля и не знает, когда улыбнется. Серые дни сменяются черными ночами. Где небо? Где солнце? Мириады мелких капель, как утраченные надежды, вознесшиеся слишком высоко, падают и, смешанные с землей, текут грязными потоками. Нет простора, нет успокоения. Черные думы, горе сердца, носятся тут над головою, висят тучами, катятся туманом, и слышишь рядом тихое рыдание, будто над покойником...

Маленькое серое заплаканное оконце. В него видно обоим — и Андрию и Маланке,— как по грязной разъезженной дороге тянутся люди на заработки. Тянутся и тянутся, черные, понурые, мокрые, несчастные, словно калеки-журавли, отбившиеся от своего клина, словно осенний дождь. Тянутся и исчезают в серой неизвестности...

Темно в хате. Цедят мрак маленькие окна, хмурятся сырые углы, гнетет низкий потолок, и плачет опечаленное сердце. Вместе с этим бесконечным движением, вместе с этим безостановочным паденьем мелких капель движутся и воспоминанья. Как капли эти,— упали и исчезли в грязи дни жизни, молодые силы, молодые надежды. Все растрачено на других, на более сильных, на более счастливых, будто так и нужно.

Будто так и нужно...

А дождь идет... Горбатыми тенями в сумерках хаты сидят старики, словно решают заданную Гудзем задачу: придет ли коза к возу?

А может, придет...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Снега выпали глубокие, и Андрий радостно разгребает от порога к воротам дорожку. Это все ж работа, да и нехорошо человеку вечно торчать дома, где сверкает пустым оком голод и нужда толчется по сырым углам. Ведь это, пане добродзею, настают последние времена: и рад бы заработать, да негде. Не знаешь, как перебиться зиму. Маланка — черная, высохла вся, кожа да кости, только взглядом жжет да колет, да кашляет в хате так, что стекла дребезжат. Память о свадьбе осталась у Маласи. А как же... Как женился паныч Леля — тот, с сосед-

ней экономии, на нашего помещика дочке, старуха словно с ума спятила: чем встречу, как будут от венца ехать,— ячменным хлебом? Она у них служила, у нее на глазах и паныч вырос... бегала по селу, вымокла, продрогла, пока не выпросила у кого-то паляницу. Верно, у кузнечихи. Правда, дал паныч Леля два злота, да один бабке Марьяне отдала: ведь как пошло у нее в груди колоть, едва душа с телом не рассталась. А теперь получай — кашляй, сердце... панскую ласку выкидывай из груди.

Андрий разогнулся и воткнул лопату в снег. Он разогрелся, от него валил пар, словно дым из трубы, его усы и брови побелели.

Село было наполовину засыпано снегом; низкие хаты осели под синим куполом неба, будто бабы в намитках опустились на колени в церкви; за деревней глаз мягко бежал по снежным полям до самого горизонта и не знал, на чем остановиться.

Андрий взялся за лопату и вновь поймал оборвавшуюся мысль. Ведь он так полагает: от судьбы не уйдешь... Старуха говорит, что знала, а он не надеялся даже. Где там! Чтобы сын хозяйский да взял бедную? Чтобы Прокоп посватал Гафийку? Ну что ж, все-таки посватал. Рождество из хаты, а сваты в хату, да ничего из того не вышло. Уперлась девка, ни с места. Ему ничего, а Маланке горе большое. И во сне и наяву видела дочку за хозяйским сыном, поле пахала, сажала огород... Хаха! Оближи губки, Малася. Девка не хочет. А не Марко ли в голове у нее? Может, уже и косточки его сгнили, может, помер где-нибудь в тюрьме. Была девка — огурчик, а стала как монашка. Похудела, молчит и на отца сердится. А он чем виноват? Разве он посадил Гущу в тюрьму? Ведь то, что он, пане добродзею, бунтарь, это правда: знали, что с ним сделать...

Хе, вот уже и устал. Совсем ослаб за зиму, харчи подвели. Еще летом ничего: свеколка, луковка, рыбки наловишь...

Ну, Прокоп не мог ждать. Другую посватал. А как же... Маланка даже плакала от злос...

— Га! Заводчик! Ишь как старается, чтоб жинка ножек не промочила. Болячка б... Здорово!

— Фу!.. Чтоб вам, Хома, как напугали... Здравствуйте... Я, знаете, теперь такой пугливый, и тени своей боюсь...

— Разве в тебе душа есть? Один заячий дух...

Хома, видно, насмехается. В морщинах старого безусого лица глубоко залегла злость.

Андрий привык уже к этому. Он знает, что с тех пор как пан прогнал Гудзя, нужда еще больше обрушилась на него, но говорит:

— Хорошо вам, Хома, вы один, а у меня три глотки в доме.

— Ха-ха... Мне? Хорошо? Пусть ему так легко подыхать, как мне жить... Угощай пивом, скажу новость.

— Где там! Я уже забыл, какое оно на вкус... Про завод? Э, не раз уже говорили...

— Не веришь? Паныч Леля ставит водочный завод.

— Да ну?

— Не ну, а в самом деле! Из старого сахарного сделают водочный, еще и дом себе отстроит Леля, чтоб он лопнул тебе на радость.

— Да что вы говорите? Откуда вы знаете?

— Не верит, чертово зелье... Бросай лопату, идем.

— Куда?

— Не спрашивай, идем.

Андрий вертел лопату в руках и недоверчиво глядел на Гудзя. Наконец воткнул лопату в снег и очутился за воротами.

— Чего лопату бросил, еще кто-нибудь стащит, ты! — услыхал он голос Маланки, но даже не оглянулся.

Брел по снегу, спешил за Хомой. Хома ставил ноги решительно, злобно, как говорил, а снег разбрасывал, точно лошадь. Андрий громко дышал, его глаза забегали куда-то вперед, навстречу каменным стенам, казалось, уже трепетавшим от живого движения рабочих, уже дышавшим трубами.

«На этот раз Хома не обманывает»,— колотилось сердце Андрия.

Шли по безлюдному селу, занесенному снегом, как по глухому лесу, который хотелось поскорей пройти, чтобы увидеть простор.

Когда же наконец на холмике перед ними зачернели развалины сахарного завода, Андрий тут же совершенно отчетливо увидел дым, услыхал знакомый шум. Правда, дым сразу исчез, но возле сахарного завода суетились люди и чернели подводы.

— Куда бежишь? Поспеешь...

Андрий только махнул рукой. Э, что там теперь Хома... Он уже видел сани с бревнами, с брусьями, лубяные короба, полные красного кирпича, словно миски с ягодами, косматых лошадей, окутанных собственным паром, согнутые спины, занесенные кнуты... Но... Эй!.. Цоб-цоб!..

На дворе стоял приказчик и среди крика и шума принимал материал.

Андрий бегал от саней к саням, ощупывал лес, постукивал по кирпичу, заглядывал всем в глаза, словно спрашивал —

правда ли? Перед приказчиком снял шапку и долго молча стоял.

Подошел к Хоме и улыбнулся.

— Будет?

— Будет...

— Винокуренный?

— Да я же сказал.

Выцветшие зеленоватые глаза Андрия блестели, как лед, таявший на солнце. Они ласкали черные, задымленные стены сахарного завода, круглые желтые бревна на белом снегу, улыбались штабелям кирпича, приказчиковой бороде, седой от мороза. Теперь, пане добродзею, уже пустят пар... Не будет человек с голоду гибнуть, а как же... придет срок — бери готовые деньги. Да, да, Малася, вот тебе и «заводчик»!..

— Что, Хома, будет завод? Смотри, смотри...

Но на Андрия шипели из глаз Хомы зеленые змейки.

— Чего радуешься? Думаешь, они водку гнать станут? Кровь из тебя гнать станут, а не водку. Хлеба захотел? А горба не заработаешь? Гляди! У кого брюхо отрастет выше носа, а из тебя жилы вытянут, пропади оно прахом...

— Подождите, Хома...

— Чтоб им сгореть да развеяться пеплом вместе с человеческой неправдой.

— Подождите же, Хома...

— Чего ждать? Он думает — водочный завод. Гроб тебе готовят, четыре доски да яму. Вот и все.

— А, какой же вы, Хома...

Но Гудзя нельзя было уже остановить. Он катился, как с горы.

— Вот взял бы — р-раз, р-раз, развалил бы все к чертовой матери, сровнял бы с землей, чтоб и памяти не осталось на веки вечные.

Хома размахивал руками и топал ногой. Каждая морщинка на его безусом лице вздрагивала, и видно было, как под старой свиткой корчилось тело, будто пружина.

Андрий со страхом смотрел на Гудзя. Он даже язык проглотил.

Что это с Хомой? И что он говорит? Надо ж чем-нибудь жить... Разве лучше вот тем, которые роются на клочке поля и не соберут, случается, даже семена. Или тому, кто закопает силу в панские поля, а придет болезнь и старость, станет калекой — сдохнет, как собака под забором? И что он говорит, господи боже!..

Но Хома понемногу отходил. Злость и проклятия внезапно перешли в хриплый, простуженный смех...

— Ха-ха! Ну, угощаешь пивом? С тебя магарыч. Айда к Менделю.

Андрий улыбнулся виновато... Почему бы не угостить? Как охотно он сам выпил бы на радостях пива, да...

— Верите, Хома...

— Ну, ну... в кармане пусто? Черт с тобой... тоже «заводчик»! Я иду...

Андрий смотрел вслед Хоме, но, прежде чем исчезла согбенная фигура, уже затихло шипение зеленых змеек, погасли обжигающие слова, и одно только звенело в Андриевой груди — винокуренный завод!

Он хотел еще раз услышать это слово. Стоял перед приказчиком и мял шапку в руках.

— Водочный будет?

— Водочный.

Вот. Теперь уже наверно. Он почувствовал гордость, самоуважение, точно не паныч Леля, а сам он оживит мертвые стены сахарного завода, пустит в ход колеса, приводные ремни машины и людскую силу.

Деревня, хлебопашцы, земля...

Какие они бедные, несчастные...

Кроты! Залезли на зиму в белые норы, а придет весна, начнут мучить землю, резать ей грудь. Прокорми, земля! А земля стонет, тощая, слабосильная, разодранная на клочки. И не кормит, кровью своей поит. Не хлеб, а куколь родит, репей, всякую сорную траву. Вот и кормись!..

А тем временем число голодных растет, множится, корчатся голодные, как змея, изрубленная на куски.

Развелось вас. Хоть бы милосердный господь сократил вас войной или мором каким. Может, легче было б на свете...

Ну, а ему что? У него нет земли! Водочный завод даст ему хлеб... Хома говорит глупости.

И ты, Малася, напрасно смеялась. Сказал Андрий Волык — будет винокуренный завод,— и будет...

Гафийка вошла в хату и приложила к печи озябшие руки.

— Забыла, что печь холодная,— виновато усмехнулась она.

Маланка обратила к ней красные глаза:

— С кем разговаривала в сенях?

— Прокоп приходил.

Прокоп! С того времени, как он женился, Маланка не могла слышать его имени.

— Что ему нужно?

— Ко мне приходил.

— К тебе? Зачем?

— Книжки приносил.

— Пускай носит жене своей, а не тебе...

Ей хотелось убить дочку взглядом, но не удалось. Навернулась слеза, обожгла, пришлось кулаками закрыть глаза.

Теперь Маланкины глаза уже сами плачут. За осень и зиму так наплакалась, что даже привыкла. Настали холод, слякоть и непогода не только в природе, а и в сердце. Облетели надежды, разметались бесследно, и там теперь голо, как в лесу. Снега теперь в сердце и волки воют. Господь не захотел показать свою правду: как была панской земля, так и осталась панской. Напрасно Маланка собирала семена, напрасно лелеяла надежды. Узелки с зерном так долго висели под образами в хате, что всем глаза намозолили. Наконец сняла и вынесла в чулан. Довольно себя обманывать. «Зачем снимаешь? Настанет весна— поля засеешь»,— это Андрий задел, как за живое.

Сухие Маланкины губы сжались от боли при одном напоминании.

Их трое — а всем суждено одно. Холод, и голод, и безнадежность. Целыми днями сидели в нетопленной хате и ничего не варили. Сверкали ненавидящим взором, грызлись кровавыми словами. Как звери. Чтобы не замерзнуть, Андрий украдкой по ночам рубил на дороге вербы или разбирал крыши на соседних пустых строениях. Если б не совесть — крал бы. Потом стало колоть в груди, привязался кашель. Все внутренности выворачивало, по ночам никто спать не мог. Вокруг пусто, грустно, Гафийка ходит словно монашенка. Молчит, ничего не говорит. Разве Маланка и так не знает?

— Вишь, книжки носит... Пошла бы за него, читали б вместе.

— Оставьте, мама.

— Кого ждешь? Гущу? Вот беда. Отец немного заработает, я больная, почернела от работы — да что из того? А Прокоп...

Ах, как это скучно, как скучно все одно слушать!

— Вы не печальтесь, мама. Я пойду внаймы.

Маланка прикусила язык.

— В усадьбу наймусь. Или к Пидпаре, он, говорят, ищет работницу.

Маланкины глаза стали испуганными, круглыми. Что-то промелькнуло на мгновение перед ними, давнее, полузабытое.

Она подняла руки, будто хотела отогнать что-то.

— Молчи уж лучше.

— Ей-богу...

Тогда Маланка вдруг размякла. Что там печалиться, все идет к лучшему. Вот переживут зиму, весна не за горами, Андрий, наверно, наймется к пану, начнут люди огороды копать, пойдут заработки.

Голос Маланки становился теплее, словно его согревало солнце, тихо садившееся перед самой хатой. Золотой горизонт обратил окно в алтарь, печка краснела от жара, будто в ней пылал огонь, речь струилась ласково, как последние лучи, и гасла медленно в вечерних тенях. До Гафийки только иногда долетали отдельные слова. Этот ласковый голос будил в ней воспоминания, навевал думы.

«Если бы знала — куда, пошла бы пешком к нему. Не думал бы, что отреклась от него. Сказала бы: я не забыла, Марко, твоей науки, ты бросил слово, а из него уродилось десять. Тебя заперли за решетку, а твое слово ходит по свету...»

— Настанет жатва, будем жать, заработаем хлеба, а осенью...

«Кто любит верно, тот хотел бы словом милого весь свет засеять... Издеваются над тобой, а я разве мало приняла муки? Гляди, какая стала. Каждый день о тебе печалюсь, каждый день мысль к тебе летит...»

— Еще посватается кто-нибудь... еще твоя доля за дверью у бога...

«Жду тебя, поджидаю. Не буду твоей — ничьей не стану. Одно у меня утешение, что разговариваю с тобой, хоть ты и не слышишь...»

Окно медленно гасло.

Земля поужинала солнцем и готовилась к ночи. Синие тени раскрывали свою глубину, принимали, как на мягкое ложе, Гафийкины мысли, надежды Маланки...

Маланка не хотела верить. Э, опять наплел Гудзь. Андрий даже менялся в лице, так сердился. Он видел собственными глазами. Не один Хома,— приказчик сказал. Усы еще белее стали на красном лице, и глаза лезли на лоб. Маланка пожимала плечами, но накинула кожушок и побежала в усадьбу. Теперь это уже ее дело. Паныч Леля должен нанять Андрия, она ж у них служила, она работала на них. Маланка долго кашляла на кухне, пока наконец не вышел паныч. Ну, паныч как

паныч, пошутил немного со старухой, но Андрия нанял. Приказчику в помощь.

Это была большая радость. Теперь уже ежедневно пылал в печке веселый огонь, вкусно пахло борщом или галушками, и когда Андрий в сумерках возвращался домой и вносил с улицы морозную свежесть, которой пахли все складки его одежды, Маланка старалась угодить ему, и степенность хозяйки была во всех ее движениях.

После ужина Андрий придвигался к печи и доставал трубку. Красный жар подмигивал ему синеватым глазом, моргал, стрелял звездами и, наконец, закутывался на ночь в шубу серого пепла. Гафийка гремела ложками, плескалась теплой водой, а Маланка, сложив руки на груди, благоговейно слушала рассказ о том, сколько привезено кирпичу, какой и почему забракован лес, что приказчик ничего не понимает и, если бы не Андрий, дело не пошло бы.

С наступлением весны, когда начались настоящие работы, разговоры стали разнообразнее и длиннее. Андрий был как в лихорадке. Ему казалось, что все идет слишком медленно, что стройке конца не будет. Это была его винокурня, это он ставил ее, и даже Маланка, заразившись его настроением, часто бегала смотреть, как подвигалась работа. Она даже забывала свои мечты о земле и жила с Андрием одной жизнью.

Наконец, однажды, так после троицы, высокая заводская труба дохнула клубами дыма, и из бывших развалин сахарного завода донесся до деревни гудок.

Андрий сорвался с места. Он наклонился вперед, вытянул шею и ловил ухом этот зов «машины», долго, торжественно, словно боялся пропустить хотя бы одну ноту.

Потом обернулся к жене, весь сияющий; лоб его сразу вспотел.

— Слышишь, Маланка?

Маланка слышала.

— Это тебе не земля, которую еще когда-то будут делить... Это тебе, пане добродзею, не шутка, а завод...

Маланка вздохнула. Она взглянула на свои черные сухие руки, просившие другой работы, и почувствовала, как ее мечты упали куда-то глубоко, на самое дно сердца.

В тот же вечер Андрий пошел в ночную смену.

Хотя с мясоеда, когда женился Прокоп, немного времени прошло, но Гафийке казалось, что Прокоп вырос и даже постарел. Он стоял перед нею и говорил, а она глядела на

его широкие плечи, спокойное лицо, на котором неожиданно как-то выросла борода и запечатлелась степенность женатого. Ей казалось, что его серые, немного холодные глаза смотрели не столько на нее, сколько куда-то внутрь, в себя, и потому все, что он говорил, было крепко и полновесно, как доброе зерно. Она тоже слыхала, что богатеи сердиты на него.

— Больше всех злится на меня Пидпара. В воскресенье кричал на сходе: «Таких, как Кандзюба, в Сибирь. Завел газеты, книжки голытьбе читает, бунтует народ. Бумажки разбрасывает». А сам, как встретит, сейчас же спрашивает: «Что там слыхать? Что про войну нового пишут?» Мать тоже попрекает: «Жжет свет, а он дорог».

— Ну, а Мария?

Прокоп взглянул на нее испытующим взглядом. Гафийка стояла крепкая, обожженная солнцем, с тонким пушком на руках и ногах, как золотая пчелка. Опустила глаза и старательно ловила двумя пальцами ноги какой-то стебель.

— Мария? Что ж, молодица как молодица... Ей лишь бы люди, лишь бы разговоры слушать да свое вставить. Не так сложилось, как думал. Мне бы товарища надо, да ты не захотела.

Стебель не давался, выскальзывал.

— Оставь, Прокоп, довольно.

— Да я ничего. Не кличешь тоски, сама приходит. Все ждешь Гущу?

Гафийка подняла на Прокопа глаза.

— Этой ночью Марко мне снился.

— Ага! Я и забыл. Дядя Панас встретил меня утром: «Приду к вам, говорит, послушать, что там умные люди советуют...»

— Снится мне, только я будто кончила разносить листки и уже последний вынимаю, чтобы засунуть Петру в сарай, кто-то меня хвать за руку. Я так и похолодела вся. Смотрю — Марко. Такой сердитый. «Я, говорит, сижу за вас в тюрьме, а ты так слова мои сеешь? Покажи руки». А мне стыдно — страх, что руки пустые, глаза поднять не смею, не смею показать ему руки. И хочется похвастать — и голос меня не слушается... Слышишь, Прокоп, когда новых дашь? У меня больше нет.

— Нет и у меня. Пойду на неделе в город, так принесу. А ты заходи.

Прокоп обнимал взором Гафийку. Упругая, сильная, чистая — она сияла на солнце, как добрая пашня, как полный колос, а глаза у нее были глубокие и темные, как колодец.

Эти глаза его очаровывали. Прокоп вздохнул.

Но — вздыхай не вздыхай — иначе не будет.

Он хотел, по крайней мере, словом облегчить душу, подобно тому как туча жаждет пролиться дождем, и говорил, что своя неудача — пустое. Мирское горе велико. Он нагляделся на него. И дома и всюду. Везде бедные внизу, богатые наверху. В долине слезы, на вершинах издевательство. Люди в пыли, как спорыш придорожный, затоптаны сильным, богатым. И некому крикнуть: подымись, народ, протяни руку за своей правдой. Сам не возьмешь — никто не даст. Не народился еще, видно, тот, кого услышат. Надо иметь сильный голос, а что можем мы? И где наш голос? Только шепотом скажешь: вставай, Иван, умой лицо. Поднимись, Петр, нас больше будет. Хотя бы удалось это сделать — нескольких разбудить, а те уж других. Запеклась неправда в каждом сердце, прикоснись к болячке — и заноет.

Что-то было тихое, покорное в этих жалобах, точно река грустно звенела по мелким камешкам.

Нет, Марко не такой. Он, как бурный поток, вырывал бы каменья, рыл берега, с корнем выворачивал бы деревья. Его слушали б все.

Теперь для Маланки настали лучшие времена. Андрий работал и хотя не весь заработок приносил домой, но все же голодными они не сидели. С Андрием она редко и виделась: он ходил в ночную смену, а днем спал или бродил где-нибудь с Хомою вдвоем. Маланка с Гафийкой тоже зарабатывали, и дни их проходили на чужой ниве. Но Маланка не знала покоя. Слухи о земле ожили с весной, будто взошли вместе с озимью и с ней разрастались. Что ж из того, что, выбросив узелки с семенами, она отказалась от своих старых надежд; они теперь снова просились к ней в сердце. Из уст в уста, от хаты в хату, из деревни в деревню катилась радость: будут землю делить. Кто сказал первый, кто последний — никто не спрашивал. Слухи ползли, как облака, сами собой, носились в воздухе, как пыльца с цветущих хлебов.

— Слыхали? Будут землю делить.

— Наделят людей. Кончатся беды.

— Земля уже наша. Скоро начнут делить.

— Даже паны говорят: отдадим землю.

— Паны? Не верьте.

— А как же!

— Известно, боятся.

У Маланки глаза блестели.

А тут еще — сама земля зовет ее.

Поет Маланке колос, смеется луг утренними росами, звоном косы, зовут огороды синей сочной ботвой, тучная земля дышит на нее теплом, как некогда материнская грудь.

А на ее зов отвечает Маланкино сердце, откликаются руки, сухие и черные, отдавшие силу земле и получившие от нее свою силу.

Иногда среди работы она останавливалась и оглядывала землю.

Катились низом нивы, стелились по холмам, полные, свежие, богатые, но все чужие. Сколько глазом окинешь — конца-краю нет. А все чужие. И даже не крестьянские, а господские. Зачем пану? Куда все денет?

Сердцу было больно смотреть на нивы, а поле потихоньку шептало и утешало:

«Не печалься... поделят... поделят...»

Думы о земле будили Маланку по ночам.

Она просыпалась вся потная, в тревоге. Ей вдруг начинало казаться, что это невозможно. Не отдаст своего добра богач мужику никогда, никогда. У богача деньги, у него сила, а что у мужика? Четыре конечности — руки да ноги. Ничего из этого не выйдет; все будет, как было; до самой смерти будет бедняк на чужом тратить свои силы, до самой могилы не увидит Маланка лучшей доли, а Гафийкина красота и молодость увянут внаймах, почернеет Гафийка, завянет на чужой работе, как ее мать. Только и земли твоей будет, что лопатой бросят на грудь.

Холодным потом обливалась Маланка, вся замирала и напряженно всматривалась в ночную тьму, словно спрашивала: что же будет? Но ночь темна, слепа, глуха: она умеет только молчать. А вместе с тем на дне души, втайне от холодной мысли шевелилась другая, теплая, маленькая и добрая. Она что-то шептала Маланке и вела за собой в поле.

Волнуется на солнце нива, это божья постель, лен цветет синим, сказал бы — небо загляделось в озерцо; на сенокосе — телега. Гафийка кормит ребенка, а другой рядом с Маланкой: «Бабушка!..» И все это — богатая нива, телега, лошади, семья — все это свое, родное, от сердца не оторвешь. «Что ж это я надела сегодня сапожки красные, как в праздник... видишь, цветут в поле, словно мак...»

Утром Маланка, кого встречала, спрашивала:

— Не знаете, будут землю делить?

Кузнечиху — и ту остановила:

— Слыхали, сердце, скоро землю нам должны давать?

— А как же, Малася, слыхала... А как же. Только у людей и разговора, одним только живут, одним и дышат. Мой еще зимою купил у пана десятину, задаток дал, а больше не хочет платить. Зачем, говорит, выбрасывать деньги, если все равно земля будет моя. Пусть пропадет задаток. А мне жалко и задатка. Вот еще! За свое да платить. И копейки не дам. Пристаю к своему, чтобы отобрал, а он не хочет. Что с воза упало, то говорит, пропало. Будут, будут делить. На вашу долю больше придется — вы безземельные. Только б справедливо делили, чтоб люди не дрались меж собой...

— Ой, дал бы милостивый... А люди, известно, божьи собаки — грызутся. Спасибо вам, сердце, на добром слове. Пусть вам господь помогает на всех путях ваших...

Маланкино сердце таяло, как воск. Ей даже странным казалось, что с кузнечихою они так часто ссорятся.

Мария всплеснула руками.

— Глядите, и дядя Панас пришли послушать!

— Разве нельзя! Разве тут что плохое говорят?

Приземистый человек остановился на пороге, переставил длинную палку с неободранной корой в хату и, опершись на нее, щурился. Казалось, пень вытащил из земли свои корни и приковылял к людям — крепкий, битый непогодой, пропахший землей, на которой рос. Старая Кандзюбиха приглашала брата:

— Заходи, заходи в хату.

Все повернулись к Панасу, а чужой вдруг замолчал, положил руки на стол и заморгал.

Панас все еще присматривался.

— Что-то у вас свет плохо горит, сразу не разберу, кто тут есть.

Но он уже всех разглядел. Рядом с Гафийкой сидел Олекса Безик, которого в деревне называли «Полтора Несчастья». У него было столько детей, как маковых росинок, и ни клочка земли. В углу подпирал стены высокий Семен Мажуга, с впалой грудью и долгорукий, весь как складной нож. Он только и жил тем, что на колченогой кобыле возил евреев на вокзал. Были тут Иван Короткий да Иван Редька, Александр Дейнека да Савва Гурчин — все безземельные, либо такие, которые не могли прокормиться на своей земле.

Тогда Панас переставил через порог сапожищи, в которых, наверно, больше места занимали портянки, чем ноги, и устроился рядом с Марией.

— А кто ж тот чернявый, за столом?

— Из Ямищ,— объяснила Мария и с любопытством посмотрела на чужого.

— Рассказывайте дальше,— попросила она.

Тот перестал моргать. И все повернулись к нему.

— Ну, значит, собрались мы к сборне, староста с нами, так и так, пишите приговор. Мы, ямищане, согласились на том, что никто из нас не будет работать у пана по старой цене. Теперь пеший работник — рубль, а конный — два. Рабочий день должен быть короче на четверть...

— Ого!

— Тише! Пусть говорит...

— Жать за шестой, а не десятый сноп, молотить за восьмую, а не тринадцатую меру...

Вот это хорошо! Головы по углам закивали, а долгорукий Мажуга в знак полного согласия складывался и раскрывался, как перочинный нож.

— А если пан не согласится?

Старая Кандзюбиха протиснулась сквозь толпу и осторожно убавила в лампе огонь.

— А правда, что будет, коли пан не согласится?

Человек из Ямищ помолчал минутку, взглянул вокруг и отрубил:

— А не согласится — забастовка.

Мария всплеснула руками.

— Заба-стов-ка! Господи милосердный!

Панас Кандзюба качнулся, словно верба на ветру.

— Забастовка? Как это так?

— А так. Пан зовет косить — хорошо, рубль в день. Не хочешь — коси себе сам. Никто на работу не выйдет. Настали жнива — давай нашу цену; не согласен — надевай сам постолы и айда с серпом в поле.

— Ха-ха! Вот ловко!

Смех прокатился по хате из угла в угол. Целые ряды колыхались от него. Люди ложились от смеха, как трава под косой. Пан в постолах! Ха-ха!

Полтора Несчастья даже взопрел, представя себе это: его потная лысина ловила и отражала свет лампы. Пан в постолах. Человек из Ямищ все говорил.

Перед глазами Панаса неотступно стояла смешная физиономия толстого пана в постолах, одна среди поля, неловкая и беспомощная. И не легкое веселье играло в Панасовом сердце, а давняя мужичья ненависть, которая наконец нашла свое слово.

Обуть пана в постолы!

В этом слове заключалась целая картина, роскошный план, справедливость человеческая и небесная.

Обуть пана в постолы!..

Но как это сделать?

Да, как это сделать? Пан не дурак. Свои не захотят, чужих позовет. Панское всегда берет верх.

При одной мысли, что чужие могли бы помешать, пошли бы против общества, загорелись глаза.

Заговорили все разом.

Мажуга поднял руку, будто оглоблю.

— Чужих не пускать! Разогнать! Кольями!

Ого-го! Такой не пустит.

Мария всплеснула руками.

— А что им, если не послушаются,— бить.

— Ведь уже некуда дальше, все одно погибать. Хоть в могилу, хуже не станет. Народ изголодался, а никто не позаботится, есть никто не даст. Ни за что не даст!.. Хочешь есть — пей воду... Отведал беды, так напейся воды... Один роскошествует, а другой... Беда прежде роскоши родилась. Обуть пана в постолы...

Однако понемногу фантазия Панаса увядала, будто червь точил ее. Где там! Разве так легко спорить с паном!

Пан уже не хотел надевать постолы, не хотел сам жать. Он снова был сильным и хитрым врагом, с которым трудно было бороться, который всех победит. Лучше подальше от пана и от греха. Разве ему, Панасу, земский не выбил зуб?

Панаса никто не слушал.

Тогда он застучал палкой.

Что ему нужно?

Нет, пана не запугаешь. У него сила. Нагонит тебе полное село, и у кого сзади было гладенько, узорами разукрасит. Теперь кричат, а тогда что? В стае и беззубая собака зла. Захотели голыми руками ежа убить. Не убьешь, уколет.

Старая хозяйка снова убавила огня. Когда там что будет, а керосин дорогой.

Иван Короткий хотел знать, все ли подписались.

Человек из Ямищ не мог ничего сказать из-за крика.

— Тише, тише, пускай говорит...

Известно, не все подписались. Богатеи отказались.

— Чего захотели! Один черт, что пан, что богатый мужик.

Все ж к ним присоединились деревни Пески, Береза, Веселый Бор...

— Вот! Слышите? Слышите, сколько присоединилось. Теперь наша очередь. Постоим за них, они за нас постоят.

Подписать! Подписать!

В хате становилось душно. Дым стлался по хате, как низкие облака, и синие волны, смешанные с криком, тянулись к раскрытым окнам.

Разве кто заставляет работать у пана? Не хочешь, не иди. Пусть увидит, что не в богатстве сила, а в черных руках. Надо присоединиться. Всем.

Панас Кандзюба шел против общества.

Он не согласен. Это будет бунт.

— Тю! Какой бунт?

— Такой бунт. За это не похвалят. Лучше ждать прирезки.

— Жди, дождешься.

— Скоро будут землю делить.

Мария всплеснула руками.

Разве она не говорила!

На Панаса насели. Кто будет делить? Может, паны?

Однако Панас крепко стоял на своем. Твердый и серый, как груда земли, в тяжелых сапожищах, он знал одно:

— Будут землю делить.

— Да хорошо, хорошо, а покамест...

— Это будет бунт.

Еще там загнать лошадей к пану на поле, увезти тайком бревно из лесу, поставить верши на панском пруду — одно, а бунтовать против пана всем селом, на это нет согласия. Достаточно и одного зуба, выбитого земским.

— Вот видишь... вот!

Раскрыл рот и тыкал пальцем, грубым и негнущимся, как обрубок с корою, в черную дырку на бледных деснах.

— Видите!.. Вот!

Так Панаса и оставили.

Гром все грохочет, рыжая туча левым крылом обнимает небо. Всюду от капель пузыри на воде, а по оврагам текут потоки и подмывают сено. Погибло сено! Маланка подоткнула подол и лезет в воду, и как раз тогда Гафийка говорит:

— Мама, кто-то стучит в окно.

В окно? какое там окно?

Верно, стучат.

Маланка слезает с лавки, нащупывает стены, а в окно кто-то барабанит.

— Кто там? Кто стучит?

Маланка открывает окно.

— Идите на завод. Несчастье. Андрию руку попортило.

— Несчастье... — повторяет за ним Маланка.

— Сильно попортило?

— Не знаю. Кто говорит — оторвало руку, а кто—пальцы.

— Боже мой, боже...

Маланка мечется в темноте, как мышь в западне, а что хотела сделать — не помнит. Наконец Гафийка подает ей юбку.

Вот тебе и гром!

Какая бесконечно длинная деревня. Там, на винокуренном, несчастье, Андрий умер — может, он лежит, длинный и недвижимый, а тут эти хаты, сонные и тихие, одну минуешь, другая встает, и нет им конца. За тыном тын, за воротами ворота... Слышно, как скот в хлевах тяжело сопит да Гафийка неровно дышит рядом с Маланкой. А завод еще далеко.

Только теперь замечает Маланка, что за ней бежит хлопец с завода.

— Ты видел Андрия?

Кто-то чужой спросил, а хлопец сейчас же говорит.

Нет, он не видел, его послали. Рассказывает что-то нудно и долго, но Маланка не слушает.

Вот уже дохнуло ночной сыростью с пруда, и вдруг, за поворотом, ряд освещенных окон резанул сердце. Завод выбрасывает клубы дыма и весь дрожит, яркий, большой, живой среди мертвой ночи.

Во дворе группа людей, горит свет. Андрий помер. Она кричит и всех расталкивает.

— Молчи, старуха!..

Сердитый голос ее останавливает, она внезапно замолкает и лишь покорно, как побитая собака, переводит взгляд с одного на другого.

Ей объясняют:

— Он, видите, был в аппаратной...

— У машины, значит...

— У машины,— говорит Маланка.

— Держал масленку, а шестерня вдруг и того... и повернулась...

— И повернулась,— повторяет Маланка.

— Он тогда правой хвать, чтоб удержать масленку, а ему четыре пальца так и отхватило.

— По самую ладонь.

— Жив? — спрашивает Маланка.

— Жив... там фершал.

На землю ложится свет, а что там делают, как Андрий — Маланка не знает. Только теперь услыхала, что стонет. Значит, жив.

Наконец тот же сердитый голос кричит:

— Тут жена? Ну, старуха, иди...

Рабочие дают ей дорогу. Она видит что-то белое, вроде подушки, и, только подойдя ближе, замечает желтое, как воск, лицо, какое-то ссохшееся, маленькое, темное, перекошенный рот.

— Андрийко, что ты наделал?

Молчит и стонет.

— Что с тобой, Андрий?

— Откуда мне знать... Калекой стал... Собери мои пальцы.

— Что ты говоришь, Андрийко?

— Собери мои пальцы, закопай... Я ими хлеб зарабатывал. Ой... боже мой, боже...

Подошли двое рабочих и увели Андрия. Не дали Маланке поголосить.

В аппаратной Маланка искала Андриевы пальцы. Три желтых в масле обрубка валялись на полу, у машины, четвертого так и не нашла. Она завернула их в платок и захватила с собой.

Утром Андрия отвезли в больницу, в город, а Маланку позвал сам паныч Леля. Он долго сердился, кричал на нее, как на Андрия, но, спасибо, дал пять рублей.

Через три недели Андрий вернулся. Худой, желтый, поседел, рука на перевязи.

— Болят у меня пальцы,— жаловался Маланке.

— Да где те пальцы?

— Как пошевелю ими,—а пошевелить хочется,— так и заболят. Ты их закопала?

— Как же. В огороде. Что будем делать? — жаловалась Маланка.

— Как что? Пойду на завод, пусть поставят на другую работу.

Но в конторе сказали, что калек не принимают. К панычу Леле и не пустили.

— Хорошее дело! — кричал Андрий.— Работал, пане добродзею, на сахарном двенадцать лет,— не чужой он был, твоего же тестя; теперь у тебя руку при машине испортил, а ты меня выбрасываешь, как хлам...

Потом ходила Маланка. Просила, умоляла — не помогло. И так, говорит, большие расходы: за больницу платили, пять рублей дали, а сколько возни было...

— Вот тебе, Андрийко, и винокуренный завод,— шипела Маланка, отводя душу.

— Мама... что я вам скажу...

— А что, Гафийка?..

Гафийка в нерешительности молчала.

— Да говори уж, говори...

— Пойду я в работницы.

Маланка подняла руки. Она опять свое!

Все ее сердят, раздражают, хоть помирай.

— Вы не печальтесь, мама. Так было бы лучше. Тато уже не смогут зарабатывать, куда им! А придет зима...

— Молчи! Что ты пристала! Я уже и так похожа на тень.

Гафийка замолкла. Ей было досадно. Мать плачет, а кто знает почему?

Долго Маланка сморкалась и вытирала слезы.

Гафийка подумала вслух:

— Как раз Шпара ищет девку.

Маланка упорно молчала.

Так ничего и не вышло, как всегда.

А Андрий злился. Голос его стал еще более визгливым, бабьим. Когда он сердился, краска заливала ему лицо, отчего усы становились совершенно белыми.

— Богачи! заводчики! сделали из меня калеку, а тогда и прогнали. Отняли силу, выпили кровь, и стал ненужен.

Каждому встречному Андрий совал искалеченную руку.

— Вот посмотрите, что со мной сделали. Двенадцать лет выматывали жилы, двенадцать лет их кормил... Разве такая должна быть правда на свете? Так тебе перетак...

Андрий у Хомы перенял брань.

Он говорил:

— Это им даром не пройдет, чужая обида вылезет боком.

Разговор этот дошел до пана, и он перестал посылать Андрия на почту. Теперь на почту ходил уже другой.

«Что ты сделаешь ему, толстому? — думал Андрий.— У кого сила, у того и правда. Мы как скот у пана. Да где там! Он скотину пожалеет скорей, ведь за нее деньги плачены. Правду говорил Гуща...»

Гафийка взглянула на отца дружелюбно. Вот когда он вспомнил про Гущу...

О наймах не было больше разговора, но все знали: придется Гафийке служить. Маланка хворала, сразу осунулась и не каждый день выходила из хаты. Гафийка отправлялась на работу одна. Старая беда снова возвратилась. Горько было Маланке.

Вот вырастила дитя, берегла, заботилась о нем, готова была для него все сделать, звезду с неба достать, а теперь отдай людям на поругание.

Она знала, что значит служить. Это хорошо знали ее натруженные руки, ее душа, заглушенная наймах, как цветок сорняками.

Одно утешало Маланку: вот-вот будут делить землю. Тогда Гафийка оставит работу и вернется домой.

А как пришлось отводить Гафийку к Пидпаре, Маланка была будто с креста снятая. Кланялась и просила не обижать ребенка.

У Пидпары Гафийка работала с утра до вечера. Хозяйка была больной, немощной женщиной, которая все стонала и едва шаркала по полу истоптанными башмаками на босу ногу. Вся домашняя работа легла на Гафийку, а больше всего хлопот доставляли ей свиньи. Кабаны лежали в свинарнике, а боровы, матки и поросята рыли двор. Утром, пока Гафийка готовила им еду, все это визжало, верещало, хрюкало и тыкалось пятачками в дверь. А над головой надоедливо стонала хозяйка, скрипел ее голос, и шаркали ее башмаки по полу. Гафийка радовалась, когда наконец попадала к свиньям. Свиньи, назойливые и прожорливые, сразу набрасывались на нее, рвали из рук, оглушали визгом и едва не сбивали с ног. Она ничего не могла сделать и только смотрела, как свиньи опрокидывали пойло, месили ногами корм и гадили. Те, которых откармливали, вели себя лучше. Чистые, тяжелые, они не хотели тревожить свой зад и только приподымались на передние ноги. Их надо было просить есть. Они не хотели. Щурили сонные маленькие глазки, подымали вверх чистые кругленькие рыльца и так нежно стонали: ох!.. о-ох...— будто хозяйка. Гафийка почесывала им животы, такие розовые, полные; тогда они отставляли еще и заднюю ногу, а завитой хвостик, словно живое колечко, все время вздрагивал... Ох... о-ох!..

Сюда любил заходить и сам Пидпара. Когда его высокая фигура появлялась в дверях и на загородки падала тень, Гафийка вздрагивала. Она боялась Пидпары. Он был неприветливый, суровый; вечная озабоченность таилась у него под густыми бровями, блестела серебром в черных волосах. Он тыкал

палкой в кабанов, заставлял их подыматься и щупал хребты. Не глядя на Гафийку, говорил ей строго:

— Смотри у меня, девка, чтобы чисто ходила за свиньями... Божья тварь любит, чтобы о ней заботились.

Кроме Гафийки, было еще два работника. Пидпара выжимал из них все соки. Ему все было мало работы. Он сам работал за двоих. Когда голодные работники ели много, он ворчал жене: «Как есть, так взопреет, а за работу примется — зябнет... Бряк-стук, лишь бы с рук...» Когда же еда была плоха и работник откладывал ложку, Пидпара сердился: «Нищие! Чем они кормились дома? Водой да картошкой!»

Гафийке казалось, это он про нее говорит.

Особенно ненавидел Пидпара бедных. Сдвигал густые брови и с презрением цедил сквозь зубы: «Голытьба, что у него есть... Работал бы лучше, лентяй, так и было бы у тебя. А он только на чужое зарится...»

Одно было хорошо, что хозяин редко сидел дома. Он вечно был в поле, на сенокосе, в клуне, у свиней. Всюду от его высокой фигуры падала тень — и там, где она падала, работа, казалось, шла быстрее.

Иногда, в воскресенье, Пидпара снимал с вешалки жупан и подпоясывался широким поясом.

После ухода Пидпары хозяйке становилось не по себе, будто она умирала.

— Пошел на сход... ох, ох... что-то колет в груди... Моего люди слушают очень... Что скажет, так и будет... Страх как уважают. Хотели старостой выбрать, да мой не хочет. Чтобы не быть добру без хозяйского глаза... Ох, мое горенько... ох!

Но было так, да не так.

Пидпара возвращался сердитый.

— Черт его знает, что сталось с народом,— жаловался жене.— Прежде что скажешь, всяк тебя слушает, а теперь хоть молчи... такая распущенность. Уж эти мне главари, голытьба! Тьфу!..

Под его бровями ложилась тень.

Иногда собирались гости. В праздник, когда спадала жара, приходил Скоробогатько Максим, староста сельский, которого дразнили «волчком», и тесть Пидпары, Гаврила. Они располагались во дворе, на вольном воздухе, а Гафийка, выносила из хаты сало и рыбу. Хозяйка, хотя было тепло, натягивала на плечи кожух и тоже присоединялась к компании.

Они ели и обсуждали, где что выгоднее продать, кто сколько чего собрал, кто кого и как обманул. У рыжего Мак-

сима была привычка собирать со стола все крошки в щепотку и бросать в рот, а после сала он облизывал пальцы. И не потому, что был голоден, а чтобы не пропадало. Он беспокойно моргал, вечно смеялся и поворачивал во все стороны широкое лицо, густо усеянное веснушками. Он любил перевести степенный разговор на скользкие темы.

— Вот скоро начнет голытьба землю делить... Ха-ха!.. Зачем богатым столько земли? Чтобы, значит, «всем по семь»... Ха-ха... у тебя сколько? Тридцать? Вот двадцать три и отрежут. Ха-ха!..

Пидпара не любил шуток. Но Максима не легко было остановить. Он уже подмигивал Гавриле:

— А вам, кум, не грех и больше отдать. К чему вам, в самом деле, вы уже старые, пусть голытьба своего добьется — покушает хлебца.

— Конечно! Что миру, то и бабе,— криво усмехался Гаврила.— Еще придется на старости за сноп работать.

— Ой-ой! Еще и как! Разве уже забыли, как жнут?

Пидпара сердился.

Черта лысого возьмут. Он ничего не даст. Что деды-отцы кровью добыли, то нерушимо. А что приобрел — то его труд, и всякие лодыри пусть помалкивают.

— Уложил бы на месте, как собаку, если бы кто решился, не побоялся б греха.

Пидпариха куталась в кожух и стонала:

— Ты хоть бы ружье получше купил. Ох, ох... боже милостивый. Твое негодное, бечевкой перевязываешь...

— И такого хватит... зачем деньги тратить...

«Ну, этот и клочка земли не выпустит из рук, пока жив»,— качала головой Гафийка.

После таких разговоров Пидпара хмурился еще больше. Готовясь ко сну, он поправлял на стене ружье и клал рядом с собой топор.

Гафийке делалось страшно.

С неба сквозь густое сито сеется мелкий дождик, а Мажуга накрыл плечи мешком и ходит по деревне. Сгибается, разгибается, как складной ножик.

— Слыхали, пан не хочет прибавить цену?

— Откуда ты знаешь?

— Только что Прокоп с людьми был у пана.

— А что пан?

— Как было до сих пор, так, говорит, будет и дальше. Дороже не даст.

— Так. Что же нам теперь?

Мажуга подымает руку, будто оглоблю, сжимает кулак, и слова вырываются из впалой груди, будто из бездны:

— Бастовать будем.

— Не захотим мы, наймут ямищан.

— Ямищане не пойдут. Они тоже подняли цену.

Олекса Безик выходит со своего двора, а за ним по грязи скачут ребятишки, словно цыганята.

Он на все согласен. Забастовка так забастовка. Хуже не будет.

Мажуга идет дальше. Его фигура в сетке дождя становится то длиннее, то снова короче, будто рыба в неводе бьется.

Маланка спрятала руки под фартук и злобно сверкает глазами.

— Так, мужички, так. Лезьте в ярмо, жните за тринадцатый сноп. Послужите пану.

И поджала сухие, увядшие губы.

— Не дождется. Пускай сам жнет.

— Да ведь жнивье колется...

Александр Дейнека сквернословит. Тяжелая брань гремит всюду, как цеп на току.

Дейнека мокнет, а в хату не идет. В толпе ему легче.

— Уперся пан, будем держаться и мы.

— Против общества ничего не сделает.

— Не заставит жать.

— Понятно.

— Бастуем, и все,— решает Полтора Несчастья.

А Мажуга уже на другом конце села людей подымает.

— Слыхали?

— Да, слыхали.

— Ну что ж?

— Как мужики?

— Бастуют.

— Раз бастуют, и мы с ними.

А панская нива дремлет, как море, в серо-зеленом тумане, и снится ей серп.

Хома сидит на холме, Андрий рядом. Солнце печет. Плывет марево над селом, над нивами, и танцуют в нем — налево завод, направо усадьба.

Голос у Андрия тонкий, плаксивый. Словно милостыню просит, заглядывает в глаза Хоме.

— Видите, Хома, что со мной сделали?

Но глаза у Хомы мутные, точно мыльная вода. Уставились куда-то в пространство, и только изредка, как на мыльном пузыре, мигнет в них зелено-красный огонек.

— Куда я теперь? На что я годен без рук?

— Х-ха!

— Им такие не нужны. У них есть здоровые.

Хома молчит.

— Что ж мне — пропадать?

— И пропадешь.

— Где ж правда на свете?

— Молчи, Андрий. Молчи и гибни.

— Живой не хочет погибать.

— Теперь он плачет, а прежде радовался: винокуренный завод! Диво какое!.. Тряси того лихорадка, кто его ставил!

Андрий сразу гаснет и уже скорей для самого себя говорит:

— Съели меня, пане добродзею... Взяли да и съели...

— А ты думал — они пожалеют? Гляди сюда!

Хома берет Андрия за плечо и поворачивает налево.

— Видишь тех, кто там! — Потом поворачивает его направо.— И тех, кто здесь, богачей, князей... Они на людей капканы ставят, как на волков. Попался — сдерут с тебя шкуру, освежуют начисто, а то, что им не нужно, выкинут на свалку.

— Правду вы говорите, Хома, ой, правду...

— Ты думаешь, завод ставят, фольварк строят? Они цепи куют людям, ставят ловушку, чтобы человеческую силу поймать, кровь человеческую выточить, чтоб вас черви источили, как шашель балку...

Андрию душно. Старые слова говорит Гудзь, а они режут сегодня душу, как острый нож, будто бельма с глаз снимают. На мгновенье его взор проник сквозь стены завода, сквозь стены панской усадьбы и смотрит вглубь по-новому...

— Испоганили землю, точно парша,— слышит Андрий.— Сколько их — горсточка, а смотри, как насели земле на грудь, как далеко протягивают руки. Задушили они деревню своими полями, будто петлей шею, загнали в щель,— видишь, вон лежат деревни, как кучи навоза на панском поле, а над ними дымят сахарные и водочные заводы да людскую силу перегоняют в деньги...

Андрию удивительно, что он впервые сегодня заметил, какие действительно небольшие затерянные в полях деревни. Будто кто-то обронил на площади немного соломы с воза.

И еще ему удивительно, что панский пастух словно вырос сразу вот тут, перед ним. Сидит рядом, врос в землю, точно дуб, и к его ногам покорно катят желтые волны поля, и даже солнце покорно стелется низом!

Андрий забыл свои жалобы. Он только смотрит и слушает.

— Погляди на меня, а я на тебя. Ты мне седой волос покажешь, свое увечье, а я тебе что? Может, душу свою, которую зарыл в навоз, когда пас панскую скотину! Я в навозе все зарыл, чем горела душа, а ты и другие смотрели и молчали, чтоб у вас языки отсохли, кроты слепые...

Вот это так! А что смог бы Андрий? Чем виноваты люди?

Хома вонзает в Андрия свои мутные глаза. Резкий, колючий смех высекает из них искры, и в серо-желтой глубине их начинает все кипеть.

Андрий не может моргнуть, ему не по себе.

Хома молчит, но Андрий слышит, что смех клокочет в Хоме, как вода в котле.

Смех вырвался наконец, и потемнело солнце.

И вдруг большое горячее лицо придвинулось близко, к самому уху Андрия, дохнуло жаром. Слова полетели так быстро, что он их едва ловил:

— Не смог бы? Врешь, смог! Видишь — поля... пшеница, как море... панское богатство... А ты взял спичку — одну из коробка спичку — и полетел в небо дым, а на земле остался только пепел... Видишь — дома, дворцы, полно скота, добра... а ты пришел — маленький, серый, как мышиная тень,— и за тобой одни головешки...

Хома говорит все быстрее и быстрее, комкает слова, свистит и клокочет.

— От пана к пану... с винокуренного завода на сахарный... от одного панского логова к другому... всюду, где людская неправда гнездо себе свила, пока не станет голой земля...

У Андрия глаза лезут на лоб, по спине мурашки.

— Слышишь? — свистит Хома.— Одна голая земля да солнце...

Хома сумасшедший. Что он говорит?

Андрию надо что-то ответить, но его язык, трусливый, как заяц, прячется куда-то в горло.

Наконец дар речи вернулся, но выходит совсем не то, что нужно.

— Бог с вами, Хома. Разве это можно?

Хома глядит молча, потом цедит высокомерно, будто в глаза плюет:

— Хам ты... Червяк... Гибни, пропадай, чтоб и следа от тебя не осталось, будто ты никогда и не жил...

— Вот это так! Какие же вы, Хома...

Но Хома не слушает. Встает, высокий, злой, и входит в пшеницу, как в воду, а Андрий прилип к земле, словно прошлогодний гнилой лист.

Эконом стоит без шапки перед паном, и на бронзовом лице, по которому всегда бродило солнце, пан видит какую-то тревогу.

— Что такое, Ян?

— Про́шу пана, сегодня нельзя начинать жать.

— Это почему? Разве Ян не распорядился вчера?

— Все село обегал, прошу пана, да никто на работу не вышел. Не хотят жать по нашей цене.

— Как так не хотят?

Пан вздрогнул. Забастовка? У него?

Пан оскорблен. Ему известно, что по деревням были забастовки, но чтобы бастовали у него,— ведь он всегда был добр к хлопу, прощал ему потравы, а жена его никогда не отказывала больным в порошке хины, касторке и арниковой примочке... Он хочет услышать еще раз:

— Ян говорит — не хотят?

— Да, прошу пана.

Обычное дело. Хлоп — что волк, как его ни корми, все в лес глядит.

Пан смотрит в окошко. Солнце только что встало.

— Ну, хорошо. Вот что... сейчас же на лошадь, и одним духом в Ямища. Нанять ямищан. Не захотят — набавь цену!

— Слушаю пана.

— Лодыри!

Но еще не успела утренняя тишина поглотить цокот конских копыт, как со двора влетает в дом глухой шум, и только высокий женский голос разрывает его, как пламя дым.

Что там?

Пан открывает окно.

Все работники на дворе. Пастухи даже. Дивчата с кухни на бегу шуршат юбками... Какие-то чужие люди.

— Что там за крик? Что за люди?

Пан запахивается, закрывая грудь, и старается понять, что случилось, но на него не обращают внимания.

— Максим! Эй, кто там? Максим!

Максим наконец бежит, какой-то неуверенный, с испуганными глазами, за ним другие.

— Это, прошу пана, не наша вина... Жизнь дороже службы... Искалечат, что тогда дети будут делать...

— Что такое? Ну! Говори!

Работники отвечают хором:

— Как что? Забастовка. Не оставим работу — побьют... Да что тут говорить, идем... Эй, хлопцы, айда!.. Это, пан, не наша воля...

Кровь заливает мозг пану.

— Куда вы! Сто-ойте!..

Заскрежетал злой голос, как железо о камень, и вдруг сорвался. Пан слышит, что упал его голос, разбился, и нельзя слова сказать. Да это и не поможет. Работники уже у ворот. Сбились в них, как серая отара, которую гонят на луг. Из домов выбегают дивчата и только мелькают красным на солнце. Со скотного двора, опоздав, спешит, один среди опустевшей усадьбы, пастушок. Поднял полы, картуз надвинул, кнут извивается за ним по земле, точно змея, и оставляет кривой след.

— Куда ты? Шельма! — топает ногой пан.— Назад!

Пастушок только прибавляет шагу. Пан стоит минуту и смотрит на опустевшую усадьбу.

— Бестии! Хлопы!

Поспешно натягивает штаны и выбегает во двор.

Пусто.

Идет вдоль строений. Странно. Не его усадьба. Будто чужая.

Заходит на людскую кухню, толкает ногой дверь и кричит:

— Марина!

Никого.

— Олена!

Тихо.

На людской кухне — как в кузне. Закопченные стены, выбитый пол, а кислый запах пота и закваски, как кот ленивый на печи, прочно залег на кухне. Охапка дров около печи, начали чистить картошку. И все это брошено как попало.

Пан идет дальше. По двору разбежались гуси; гусята переваливаются с боку на бок, словно ветер гонит по мураве желтый пушок. Не погнал, значит, пастись. Пан качает головой. Коровы так и остались в хлеву. Ворота каретного сарая открыты, и черная пустота глядит оттуда, как из беззубого

рта. Бричка стоит на дворе, а около нее валяется упряжь. Ах ты скотина, быдло! Пан берет упряжь, чтобы отнести в сарай, но сейчас же бросает. Неужели никого нет и на конюшне?

— Мусий! Эй!

Снова тихо.

— Мусий! Ты тут?

Странно падает голос в окрестную пустоту и без ответа исчезает.

Пан складывает руки на животе и осматривает двор... Что ж это такое?

Сон это или действительность?

Вот только что усадьба была как сердце, которое бьется и гонит по телу кровь; теперь все замерло, остановилось, и каждая закрытая дверь, каждая черная дыра — будто загадка.

Собаки увидели пана и с визгом кидаются ему под ноги, скачут на грудь.

Прочь!

А, бестии, хлопы!

Возвращается в дом. И там всюду пустота. Жена еще спит. Он проходит через пустые комнаты, заглядывает в столовую, ищет горничную — ни души. Злоба душит его. Хлопает дверьми, опрокидывает стулья и хочет так крикнуть, чтобы по всем комнатам запрыгала пока еще сдерживаемая брань.

А, бестии, быдло!

Где Ян?

Останавливается и прислушивается.

Ян! При этом слове сразу зашумели вокруг него поля, заволновалась спелая пшеница. А жать нельзя!

Где Ян?

Вот и получай. Сам же он послал Яна в Ямища жнецов нанимать. Ямищане, конечно, придут, и все кончится. Но эти хлопы!

Пан не может усидеть дома. Его тянет во двор. У этого мертвого двора какая-то притягательная сила. Пан еще раз проходит по нему из конца в конец, одинокий и беспомощный, мимо запертых сараев, мимо раскрытых темных конюшен, мимо влажных и блестящих коровьих глаз.

А Ян, обливаясь потом, весь в туче пыли, скачет обратно. Лошадь тяжело дышит, и тяжело дышит эконом, трясясь в седле.

Его встречают криком:

— Что, панский холуй, нанял ямищан?..

— Где твои жнецы, много их? Ха-ха!

Ян скачет, не оглядываясь, и только молча грозит нагайкой в поднятой руке.

Село ушло в себя, ждет. Глаза его всё видят, уши всё слышат. Усадьба посреди деревни — как мертвец, хоть все в ней тихо и недвижимо, а возбуждает тревогу.

Известие, что ямищане не хотят наниматься, мчится скорее, чем лошадь экономa.

День рабочий, а все дома. У ворот группы людей, двери хат настежь. На огородах остановилась работа. Стоят люди между грядами, скрестив руки, и разговаривают с соседями через плетни.

— Слыхали? Ни души в усадьбе. Ушли все.

— Они давно бы уже присоединились, ждали только, пока мужики начнут.

— Что ж это будет?

— Начнет сыпаться зерно — набавит цену.

— Смотрите, чтоб не наняли чужих.

— Где там, не пустят. Наши не пустят чужих.

Прокоп уговаривает:

— Держитесь. Будем друг дружки держаться — и одолеем.

Его слушают, глядя ему прямо в рот.

— А как же, гуртом, говорят, и отца бить сподручно.

Богачи ворчат. Они по колени вошли в землю, им тяжело.

— Забастовка! Будет вам забастовка... не один почешется... вот черт знает что.

Впрочем, не очень боятся.

Молодежь смеется.

— Ловко?

— А ловко.

К полудню дети приносят весть: пан пошел на завод. Из окон, с огородов, из-за плетней движутся вслед за паном сотни глаз. Пан идет, и на него, как звезды с неба, смотрят глаза.

— Пошел на завод к зятю.

— Обедать пошел, дома ничего нет.

— Не наварилось.

Даже Панас Кандзюба вкусно чмокал губами:

— Обуть бы тебя в постолы...

Вскоре опять новость: паныч Леля послал в усадьбу рабочих с завода.

— Наши побили рабочих.

— Неправда. Никто их не бил. Не пустили — и все.

— Пусть сам пан за скотом смотрит.

— Мы не запрещаем.

Прокоп просит Дейнеку и двух хлопцев стать на страже и никого не пускать в усадьбу.

Немного погодя из усадьбы выезжает пани на лошадях, присланных с завода Лелей.

День тянется долго, будто год. Кажется, что пшеница на поле сыплется, что пан не выдержит,— вот-вот позовет жать, согласится на требования мужиков.

После полудня снова сломя голову скачет по деревне эконом. Стегает лошадь и подпрыгивает в седле, будто хочет коня обогнать.

Едва успеваешь увидеть круп конский да спину эконома.

— Понесло куда-то в Пески.

— Не разживется и там. Не наймет.

— А что?

— Бастуют.

Тихо садится солнце на зеленом небе,— должно быть, к ветру. Что-то гнетущее, тревожное незаметно растет. Рдеют, как угли, окна, и рев скота разрывает густой воздух.

Хоть бы накормил кто скотину.

— Разве она виновата... Стоит, бедная, не евши, не пивши...

На небе, как всевидящее око, всходит вечерняя звезда.

Скотина в усадьбе все громче ревет. Коровы не мычат уже, а хриплым скрипучим рыком, полным отчаянья и муки, зовут на помощь. Лошади сердито ржут. Неистовствуют в стойлах, бьют землю копытами, ноздри их раздуваются от гнева.

Женщины в тоске выбегают из хат.

— Ой, слушать не могу, как плачет скотина.

— Ей-богу, сама побегу кормить...

— Тоскливо как, господи... У меня дети даже плачут.

Смеркается. Тени выползают из своих убежищ и тайком, исподтишка ложатся земле на грудь.

А из усадьбы упорно и нестерпимо катятся в деревню волны дикого рева, точно корабль гибнет на море и в предсмертном отчаянье надрывает горла сирен.

Тогда Прокоп посылает хлопцев в усадьбу.

Скот не виноват.

Пан молчал — и люди тоже. Ходили на поле, жали свой хлеб и посмеивались злорадно, когда панский эконом ни с чем возвращался из соседних деревень. Солнце пекло, пшеница

сохла и готова была течь. Приезжал становой. Почтовые колокольчики, лай собак, грубая брань и крики — все это пронеслось, как туча в летнем небе. Так и уехал ни с чем. Только Хому взяли,— он станового напугал.

А пшеница текла.

Тогда эконом стал податливей. Ставил водку и все уговаривал. Кто выругается, а кто и выпьет. Пили водку — почему не выпить? А работать не шли. Может, кое-кому и хотелось, да боялся. А пшеница текла.

Маланка пошла в поле. Припала ухом к безбрежной ниве, словно чайка грудью к морю, и слушала, как тихо сыплется зерно перезревшего колоса, мягко капает на землю, точно плачет нива золотыми слезами. Ей жалко, как ребенка, хотя и панское. Становится на колени, раздвигает колосья и собирает красные зерна так осторожно, нежно, любовно, точно младенца вынимает из купели. Хлебец святой!..

Кое-кто из постоянных работников вернулся к пану. А жатва не начиналась. Наконец через неделю пан набавил цену. Не такую, как люди хотели, а все же значительно бóльшую, чем прежде.

— Становиться?

— Станем.

Прокоп тоже советовал:

— Пора.

Люди сразу припали к господскому полю, как к воде в зной, наставили копен, скирд.

А Хому Гудзя скоро отпустили. Он возвращался как раз господским полем. Только взглянул на жнецов и криво усмехнулся.

Низко стелются тучи, растут, сбиваются в груду и опадают. Ветер будто сено сгребает в ночном небе, ставит копны.

На лугу тяжело дремлют черные стога, будто пасутся сытые волы. Они расплываются и исчезают в темноте, но Хома видит их всюду: вот тут, с правой стороны, позади и слева над головой. Сено такое скользкое, гладкое, так хорошо пахнет, что хочется засунуть в него руку, расшевелить мертвые стебли и выпустить на волю приглушенный запах душицы, горошка и донника.

Острый, колючий смешок шевелится в груди у Хомы, подкатывается к горлу. Ха-ха!..

Поработали руки, походили ноги, пока собрали такое богатство.

И вот один миг...

И не кончает. Он будто видит: ставят стога. Пан прохаживается, как аист. Нагнулся, сунул нос в сено: «Хорошо сенцо?» — «Как золото чистое...» — «Убирайте же, мужики, убирайте, чтобы дождь не смочил...» — и поглядывает на небо. Засунул руки в карманы, штаны на нем черные, а куртка белая, и вновь зашагал по лугу, как аист.

И смех танцует в груди.

Хома лениво засовывает руку в карман и не вынимает. Зачем торопиться? Успеет.

Ветер шумит среди стогов, пьяный от запаха сена, тучи ложатся на луг, ночь — будто озеро в берегах неба, а Хома снова видит: стоит перед паном эконом, арапник — сбоку. «В этом году у нас больше сена».— «Да, прошу пана, хватит на зиму, будет и на продажу».

«Будет на продажу»,— говорит себе Хома.

Он осторожно надергал сена и встряхнул им. Потом достал из кармана спички.

Ветер гасит огонь, но Хома нагнулся, прикрыл огонек ладонями и загляделся, как лепестками розы заалели его руки.

Сено не хочет гореть. Потрескивает и дымит прямо в глаза. Это сердит Хому. Однако огонь делает свое.

Тогда деловито, спокойно Хома отходит к другому стогу. Сверкнет на миг и снова погаснет.

Кончил наконец.

Теперь он хочет смотреть.

Ложится на живот в отаву, кладет голову на ладони и ждет.

Стога отчетливо чернеют, даже закрыв глаза, Хома их видит; потом покрываются дымом и становятся легкие и подвижные.

Маленькие огоньки начинают играть под ними, как дети в красных юбочках. Они скачут по бокам и лезут вверх, а черная масса то пригибается под ними, то вырастает вдруг, словно старается сняться и полететь.

Голова Хомы тяжело лежит на ладонях. Удивительное спокойствие наполняет его, только глубоко где-то, на самом дне, в груди, червячком извивается смех.

Стога тем временем растут. Дым расправляет крылья и увлекает за собой огонь. Это уже не дети в красных юбочках, а что-то огромное, упорное, сердитый зверь, который хочет сбросить с себя груз. Протягивает из-под стога лапы в синих жилах, сжимает и подминает под себя, будто медведь. Раскрывает кровавую пасть и пожирает. Рвет зубами и злобствует.

Враг сдался, а он все еще брызжет звездами, как кот слюной, все дышит синим огнем, плещет пламенем в берега черной ночи.

Хома тихонько смеется. Смешок вырвался из его горла и покатился по морщинистому лицу, а от этого Хоме легче на сердце. Пришел огонь и словно выжег в груди больное место.

Огонь! Красный, веселый, чистый!

Еще недавно лежал он в темном коробке, холодный и незаметный, как Хома среди людей, а теперь огонь мстил за мужицкие обиды.

Гори, гори...

Глаза Хомы тоже мечут искры. Если б могли, все сожгли бы, все превратили в пепел — сено, хлеб господский, постройки, самую землю предали б огню.

Ведь все это грешное... Все грешное на проклятой земле... Все грешное, один огонь святой. Только один огонь. Сам бог в гневе бросает огонь на землю.

Ты наживаешься на поте и слезах, на мужицком горе, а огонь упал — и где это все? Ищи в облаках, ройся в пепле... Ха-ха!..

Злобная радость наполняет сердце Хомы. Ему хочется встать, крикнуть, захохотать. Но что-то его держит, что-то сливает с огнем, и кажется, если встанет или не будет смотреть, стога погаснут, перестанут гореть.

Стога наконец увядают. Послушные, тихие, они равномерно пылают, как свечи в церкви. Низкие тучи розовеют в небе, а даль трепещет черными крыльями, как летучая мышь.

Сено дотлевает понемногу. И лишь иногда вырвется с треском сноп искр, либо ветер выхватит обгоревший клок сена и размечет звездами.

В селе слышен далекий шум. «Верно, бегут спасать»,— равнодушно думает Хома.

Ему не хочется вставать. «Все равно. Поймают? Пусть...»

Голоса все ближе. Уже слышно, как тяжело дышат люди, как взлетает земля из-под копыт!

Тогда Хома подымается наконец. Потягивается, разминаясь, и лениво, медленно, взъерошенный и черный, уходит в темноту.

Убирали позднюю гречиху, когда вернулся Гуща. Его не сразу узнали. Он оброс бородой, стал старше и казался каким-то чужим. Гущу приняли хорошо. Крепко и долго хлопцы

жали ему руку, как-то по-новому смотрели в глаза. Даже Андрий был уже не тот. Потрепал по плечу, подмигнул хитро и засмеялся:

— Что, отсидел?

Мол, знаем за что.

Его спрашивали — как? Что? Что слышно о земле, что люди говорят. Он должен все знать.

Гафийка услыхала про Марка от Пидпары. Он сердито жаловался:

— И так от голытьбы житья не стало, а тут еще Гущу выпустили.

Гущу?

У Гафийки остановилось сердце. Хорошо ли она расслышала? Едва дождалась сумерек и побежала домой.

Но по пути наткнулась на Гущу.

— Марко!

Не помня себя, протянула к нему руки.

Они горячо обнялись.

Случилось все так неожиданно и просто, будто только вчера расстались.

Гафийка смеялась звонким, отрывистым смехом, будто монисто низала. Сама не знала, почему смеется. Рука Марка тепло лежала на ее талии. Борода щекотала лоб.

— Смотри, а у него борода, как у старика...

Они отошли под вербы.

Марко глядел на Гафийку. Она была какая-то новая, прозрачная, казалась старше.

— Ты меня не забыла?

— Нет, не забыла.

— Ждала?

— Ждала.

— И тем временем листовки разбрасывала?

Голос ее дрожал — теплый и тихий, как ветер весной, когда цветут деревья.

— Тебе откуда известно? Конечно, разбрасывала. Знаешь, Марко, не те теперь люди стали. И у нас была забастовка.

— Ого!

Гафийка была страшно горда.

— А как же. Богатеи так испугались, так испугались. Мой хозяин ходил как ночь, даже есть перестал. Положит ложку — не могу, говорит. И все боится.

— А отцу твоему и до сих пор обидно, что я не в Сибири?

Гафийка вся встрепенулась.

— Где там! Как стряслась с отцом беда — изменился совсем. «Правду, говорит, сказывал Гуща...» Хорошо, что ты вернулся. Теперь нам легче будет...

— Кому это нам?

Тогда Гафийка рассказала Марку, как они целую зиму собирались вместе, как Прокоп приносил из города книжки и листовки, сколько к ним присоединилось народу. Даже Прокопов дядя, Панас. «Расскажите, говорит, про этих демократов...»

Гафийка рассмеялась, вспомнив дядю Панаса.

— Такой потешный!..

Марко взял ее руку в свою.

— Хорошая ты.

Гафийка зарделась, даже ночью видать было.

— Что — я...

Вокруг Гущи скоро стала собираться молодежь. От него впервые услыхали, что деревни всюду организуются в союзы. Долгими осенними вечерами велись бесконечные беседы и споры. В своей небольшой группе он завел новшество — общую работу. Вместе пахали и молотили — и все выходило лучше и скорее, чем у других. Почему-то сами собой прекратились в деревне пьяное озорство хлопцев, драки и ночная гульба. Те, которые недавно бесчинствовали, теперь втянулись в работу, в общее чтение. Даже старики хвалили Гущу. Они ходили к нему узнавать, скоро ли будет нарезка. Он, наверно, знает. Марко смеялся. Никто по доброй воле земли не отдаст. Как! Не будут землю делить? Что ж тогда будет? Что им делать?

Только у господского пастуха Хомы на все был готовый ответ:

— Как что делать? Бить. Не оставлять и на семена их...

Андрий из-за плеча Хомы подымал искалеченную руку, грозил ею и взвизгивал:

— Бить и жечь! Хочешь, пане добродзею, отведать меду — выкури пчел...

Кого им слушать?

Гуща говорил о союзе, Прокоп — о воле, а Хома советует бить и жечь.

Панас Кандзюба, тяжелый и серый в своей свитке, как земля, которую отвалил плуг, тоскливо спрашивал глазами: куда идти? где правды искать?

Он никому не верил.

— Разве мужик знает?

Если б пришел кто-нибудь другой, понимающий, протянул руку, указал путь.

А мужик? Что знает мужик? Одна на нем шкура, да и та в заплатах.

Каждую ночь теперь пожары. Как только стемнеет и черное небо укроет землю, далекий горизонт сейчас же расцветает красным заревом и до самого утра осенние тучи как розы. Иногда зарево дальнее, едва заметное, чужое, будто луна там всходит, а иногда вспыхнет под самой деревней, даже хаты розовеют и рдеют окна.

Выйдет Маланка из хаты, спрячет руки под фартук и заглядится на пожар. Что горит? Где? Люди не спят, хотя пора б уже им спать. Стоят у ворот, читают небесные знаки. Раздаются голоса из темноты, кто знает — чьи, и замолкают во тьме.

— Пан в Переорках горит.

— Где там! Ближе — вроде как в Млинищах или в Рудке.

— Поджог, видно...

Собаки воют по дворам, и уныло и страшно осенней ночью.

— Вчера горела экономия в Гуте.

— А позавчера клуню кто-то поджег...

— Сгорела, рассказывают, дотла... один пепел...

Случалось, огонь подавал весть огню. Как только займется где-нибудь небо — с другой стороны встает сейчас же красный туман и расправляет крылья. Тогда черная деревня — как остров в огненном море. Ветер иногда доносит чад, далекий набат, тревогу.

Что делается, господи боже!.. Горят всё господа, генералы, важные особы, к которым прежде и подступиться нельзя было,— и никто остановить не может...

Бродили ночью люди как тени, плакали дети, и скот отвечал им из хлевов. Огонь то подымался, то опускался, будто дышала грудь, вставал снопом, расплывался туманом, и цвели тучи на небе, будто розы.

Маланка трепетала.

— Иди спать,— сердился Андрий.

— Страшно, Андрий...

— Чего там страшно! Так им и нужно.

Но Маланка не могла спать. Еще долго раздавался топот ног на улице, слышались чьи-то слова, светились маленькие окна и тоскливо выли собаки.

Утром дым кочевал над деревней и щекотал ноздри. Люди дышали гарью и смотрели на панскую усадьбу.

Лукьян Пидпара даже почернел. Каждую ночь снимает со стены ружье и идет в поле к своей клуне. Ходит страшный, высокий, за ним волочится его тень, которую отбрасывает он, озаренный пожаром. Пидпара все слушает. Из-под косматых бровей вдаль кидает взгляд, а уши чутко прислушиваются к малейшему звуку. Вот обошел он вокруг риги и вдруг останавливается: что-то чернеет в поле.

— Кто там?

Поле молчит, обессиленное летом, спит мертвым сном, рыжее, ободранное.

Пидпара снова ходит. Оттуда, из огненного моря, идут на него все страхи, все тревоги, а он крепко сжимает ружье и бросает в пасть ночи:

— Кто идет? Буду стрелять.

Стоит крепкий, как из железа, и целится в темноту.

Нет никого или притаились?

Стреляет.

«Ох-ох-ох...» — стонет тьма над полем, и громче завывают собаки в деревне...

А Пидпара снова ходит, стережет ригу, суровый, бесстрашный, готовый защищать свое не ружьем только, а и зубами.

Дожди шли ежедневно. Выскочит солнце на миг на голубую полянку, чтобы обсушиться, глянет на себя в лужу, и снова ползут на него тяжелые растрепанные тучи. Какие-то желтые мутные дни рождались после неспокойных ночей, а люди прятались под свитку и под рядно, выворачивали шапки козьим мехом вверх и месили грязь. Прежде непогода загоняла их в хату, теперь что-то гнало их оттуда к людям. Каждый хотел видеть человеческое лицо, услышать голос. Мало спали по ночам. Одни не могли оторвать глаз от далеких пожаров, другие выгоняли скот на панское поле и не спали, чтобы быть наготове. Правда, после того как эконом едва убежал с поля в разорванной одеже, никто уже не решался задерживать лошадей, и они с аппетитом грызли молодые всходы, омытые дождями.

Люди словно забыли свою ежедневную работу. Свое поле интересовало мало. Оно казалось таким небольшим, жалким, недостойным внимания и лежало запущенное, незасеянное, даже невспаханное.

В сборне было тесно: свитки так жались к свиткам, что от мокрой одежды валил пар. Вести и слухи, неведомо откуда

появившиеся, соединялись в одно, росли на глазах, как тесто в квашне. Сухие бессонные глаза глядели каждому в рот, уши внимательно ловили каждое слово. Что будет? Как будет? Всюду подымается народ, бунтует, хочет чего-то, рабочие бастуют, бросают заводы, чугунка не ходит. Что же им сидеть сложа руки, ждать, чтобы о них кто-нибудь позаботился?

У сборни толпились пришедшие позже и старались попасть в дверь.

— О чем они там кричат? Надо, чтобы все слышали.

— Видите ж — тесно. Не поместятся все...

Когда проходил кто-нибудь из богачей, Мандрыка или Пидпара, те, которые мокли у крыльца, зубоскалили на их счет.

— Заходи, услышишь, как твою землю делят.

— Не слушай, похудеешь с досады.

— Ничего с ним не будет. Бедный работу клянет, а у богача брюхо растет.

— Бедный теряет, богач подбирает.

— Ничего. Все переменится. Доведется и свинье глянуть на небо...

— Как станут смолить.

Мандрыка невесело усмехался и семенил ногами, избегая сборни. Будто забывал, что он староста сельский. Пидпара хмурился и бранился.

Гуща часто где-то пропадал. Возвращался весь в грязи, мокрый, но веселый. Гафийка встречала его за огородом Пидпары.

— На станции был. Бастуют. Уже второй день машина не ходит. Рабочие собрались и советуются. Ну и народ. Надо и нам собирать людей.

— Собирайте. И Прокоп советует.

— Нельзя терять времени.

— А где?

— Может, в лесу, по ту сторону балки.

— Ямищан зовите.

— Позовем всех.

Марко хотел уходить.

— Постой, я что-то покажу...

Гафийка вдруг покраснела, она стояла в нерешительности.

— Что там? Показывай.

Гафийка отвернулась от Гущи и что-то вытащила из-под корсетки.

— Держи.

Он взял за один конец, а она развернула красную китайку. «Земля и вол...»

— Еще не кончила вышивать...

Она застыдилась, даже слезы выступили на глазах.

— Я так... может, понадобится... Марийка распорола новую юбку и вышила тоже, еще лучше...

И вдруг замолчала.

Виноватые глаза несмело искали глаз Марка.

Неспокойно было в селе. С той ночи, когда собрались в лесу и постановили отобрать господскую землю, прошла целая неделя, а люди колебались. Все напряженно ждали, а чего именно — никто хорошенько не знал. Одни одно говорили, а другие другое,— и эти разговоры плелись, как сеть, без начала и конца. Бастовала чугунка, бастовали рабочие, всюду было глухо, мутно, пусто как-то, и только грачи черной цепью крыльев связывали с остальным миром деревню.

Что-то творилось вокруг. Будто приближалась грозовая туча, а откуда придет, где выпадет град и что побьет — неизвестно. Тяжело, тревожно дышалось всем в эти хмурые дни, и беспокойно проходили длинные осенние ночи. Если бы кто-нибудь крикнул на помощь, раздался б неожиданно набат или прорезали густой воздух ружейные выстрелы, люди выбежали бы из хат и бросились очертя голову друг на друга!

Гафийка не могла спать по ночам. Как только смеркалось, Пидпара запирал дверь в сени, долго пробовал, крепки ли запоры, и, прежде чем ложиться, снимал ружье, клал возле себя топор. Гасили свет, но Гафийка знала, что хозяин не спит. Слыхала, как он беспокойно шевелился на лавке, тяжело сопел, садился и прислушивался. Потом снова ложился и лежал, притаившись, но вдруг вскакивал и шарил по полу рукой, пока не находил топора. Наступала тишина, под лавками пищали мыши, уже перебравшиеся на зиму в хату, да тараканы шелестели по полкам. Но Пидпара не спал. Гафийке казалось, что она видит его открытые глаза, вонзенные в темноту.

Наконец Пидпара вставал и выходил. У Гафийки колотилось сердце, и в такт его ударам раздавались шаги Пидпары около сарая, возле стожков, хрустели на подмерзших лужах под стенами хаты.

Хозяин иногда выбирался на ночь в поле, под клуню. Тогда хозяйка снова бродила всю ночь, боялась, стонала, охала и шаркала башмаками от окна к окну.

Гафийке иногда становилось так тяжело, что она просилась на ночь домой.

Маланка поздно ложилась. Андрий вечно был где-то на людях и возвращался поздно, а Маланка весь вечер мечтала. Что-то будет. Придет что-то прекрасное и переменит жизнь. Что-то вдруг случится — не сегодня, так завтра — чудо какое-то. Ей не хотелось ничего делать, и, сложив руки, как в воскресенье, она вышивала словами хитрые узоры. Вместе с Гафийкой она становилась на пороге в сенях и долго смотрела, как всюду светятся окна по деревне. Там в каждой хате чего-то ждут, готовые вспыхнуть, как сухой хворост, который осталось только поджечь. В каждой хате цветет надежда, растут ожидания.

И, наверно, никогда еще так много не уходило керосину, как в эти длинные тревожные осенние ночи.

Ветер прыгал с разбегу, рвал голоса и выл, а бледное и скудное солнце высыпало из-за туч на землю свое последнее золото.

Гафийка ловила белье, разметанное ветром по двору, как стадо белых гусей. Хозяйская рубашка, надувшись, катилась круглая, будто беременная, и ловила рукавами землю. Ветер свистел Гафийке в уши, ей казалось, что ее зовут.

Нет, в самом деле зовут. Она оглянулась.

У ворот ей махал Прокоп.

— Чего ты?

Она не расслышала, что он говорит.

— Что там такое?

— Неси твой флаг.

За воротами было полно народу. Тут и Маланка со своими высохшими руками, и неуклюжий Панас Кандзюба, и дети, скакавшие под плетнем, как воробьи.

— Быстрее выноси!

— Что случилось?

Гафийка бросилась в хату.

Несколько рук протянулось к Гафийке, но Прокоп взял сам.

Он уже привязывал красную китайку к древку.

Народ нетерпеливо гудел. Все-таки дождались. Пришел манифест. Підпара стоял на пороге хаты, черный, как тень, подпер плечом косяк и молча глядел.

Наконец флаг подняли. Красная китайка затрепетала на ветру, и запрыгали на ней слова, будто живые.

«Земля и воля!»

Все подняли глаза, и что-то прокатилось по толпе, словно вздох.

И двинулись дальше. Гафийка забыла о белье. Она шла вместе с толпой точно во сне. Что-то произошло. Ожидаемое, правда, желанное, но неясное. Какой-то манифест.

Рядом с ней Прокоп; ей казалось, что он сразу вырос. Его большие натруженные руки спокойно держали древко, ноги ступали твердо.

Из неясного гомона толпы вырывались отдельные слова:

— Слава богу, дождались люди...

— Всем хватит, всем хватит! — звенела Маланка.

Ветер рвал эти слова и бросал назад:

— Всем хватит, наша земля...

— Теперь, пане добродзею, отольются волку овечьи слезы.

На красном лице Андрия седые усы белели, как два голубя.

Панас Кандзюба сиял:

— Обуем, Андрий, пана в постолы!..

— А как же!

У плетней красные детские ноги разбрызгивали грязь. Дети забегали вперед и пищали:

— Земля и воля! Земля и воля!

Знамя развевалось, словно огонь на ветру.

Из хат высыпали люди. Они снимали шапки, крестились и присоединялись. Встречные заворачивали назад.

— В сборню! Там манифест!

Народ затопил дорогу.

Было в людях что-то новое. Глубокие глаза горели на серых лицах, как свет в церковном сумраке. Гафийке казалось, что она понимает каждую душу и каждую мысль, как свою собственную. Что-то торжественное было в трепете знамени, в тихой грусти осеннего солнца, в взволнованно-светлых лицах. Словно в темную весеннюю ночь таяли восковые свечи в руках и хором плыло к звездам: «Христос воскрес».

Внезапно передние остановились.

Из-за угла показался другой поток и преградил дорогу. И там красное знамя было впереди.

Прокоп высоко поднял свое знамя.

— Земля и воля!

— Земля и воля! Поздравляем с праздником.

— И вас также...

Все смешались.

Маланка уже обнимала кузнечиху.

— Кумушка, кума...

Не могла говорить.

Они целовались. Сухие Маланкины руки тряслись на толстых боках кузнечихи.

— Слава тебе, господи, слава...

Ветер сорвал у кузнечихи слезу с кончика носа.

Двинулись дальше. Теперь два знамени, соединившись, поплыли вместе. Они волновались, они извивались, как окрыленное ветром пламя.

Народ облепил сборню так густо, что свитки слились в одну общую массу и нечем было дышать. На крыльце что-то читал Гуща. Он уже устал, охрип, но пришедшие позже тоже хотели слышать. Дальние вытягивали шеи, прикладывали ладони к ушам. Передние не хотели никого пропускать, чтобы еще раз услышать. А люди все шли и навалпивались друг другу на плечи.

— Что ж он читает — воля, свобода, а где же земля?

— Разве не слышишь? Он только про землю и читает.

Низенькую Маланку совсем затерли. В тепле, в испарениях человеческих тел ей совсем хорошо. Она не слушает. Зачем? И так известно. Это уже все знают, что землю отдали людям. Лучше б, чем тут стоять, пойти всем вместе на панское поле, пустить по нему плуг. Посмотреть скорее, как он взрезает немереные поля, отваливает пласт, наделяет людей. Вот твое, а это мое... Чтобы поровну всем. А они тут стоят! Смотрите! Даже Андрий поднял искалеченную руку, показывая ее мужикам, чтобы не забыли про него. А давно ль проклинал землю? Ну, это дело прошлое. Теперь она добрая, зла не помнит, не сердится на Андрия. Сама земля улыбается ей, говорит с нею. Вон как играет на солнце рыжим жнивьем.

У сборни собрался весь мир.

Село опустело. Одиноко извивались между хатами грязные дороги, словно ползли черные змеи, ветер выдергивал солому по стрехам, а на разрытые огороды спускались тучи воронья.

Какая-то старуха, выбравшись из хаты, держалась за стены и сердито кричала в пустоту:

— Где люди? Горит что? А!

Никто не отвечал ей. Только ветер стучал дверями покинутых хат, коровы блуждали по дворам да грызлись собаки в ворохах сухих листьев.

Народ понемногу возвращался из сборни.

Двое идут:

— Слыхал? Свобода, воля, а какая воля?

— Откуда я знаю? Бить панов.

— А я понял сразу. Дадена воля, чтобы черный народ истребил панов. Которых, значит, мужики кормят.

Бабы:

— Как будут отбирать экономию у пана, я возьму только рыжую корову.

— А мне б только пару гусей на развод. Такие хорошие гуси...

— Будет что взять. Не возьмем мы — возьмут чужие, а пан-то ведь наш...

— Известно. Не дадим никому своего.

Парубки вдруг наполнили улицу песнями.

Около хат богатеев они останавливались, подымали в воздух знамя и во весь голос выкрикивали:

— Земля и воля!

Если попрятались, пусть хоть услышат. Это им — как перец собаке...

Гущу и Прокопа едва не разрывали. Как же это будет? Скоро начнут делить землю? А купленную землю отберут?

Марко хрипел, едва успевая отвечать на все стороны, а Прокоп был спокоен, как всегда.

Маланка ловила его за полы:

— Прокоп, слушай меня... Это я, Маланка... Подождите ж, мужики, дайте сказать. Слышишь, Прокоп, слышишь, чтоб мне отрезали поближе, там, где пшеница родит... Смотри, не забудь... Слышишь, Прокоп, а?

Она все кланялась, сухая и маленькая, охваченная одним непреодолимым желанием.

Каждый день приносил какую-нибудь новость. Там экономию разобрали до основания, там сожгли водочный или сахарный завод, а в другом месте рубили панские леса, пахали землю. И ничего за это не было. Паны бежали, исчезали перед лицом народа, как солома в огне. Ежедневно ветер приносил свежий дым, а люди — свежие рассказы, и никто больше не удивлялся. Вчера это была сказка, сегодня действительность,— что ж удивительного в этом? Правда, винокуренный завод паныча Лели, экономия пана,— мозолили глаза. Чего еще ждут?

— Разве мы хуже людей? Ведь решили.

Недовольные были, но брали верх Гуща и Прокоп.

Однако по вечерам кое-кто запрягал лошадей и порожняком украдкой выезжал на ночь из села. Ходили и пешком. Засовывали топор за пояс, брали мешок под мышку и тянулись по полю в соседние деревни за панским добром. Ночью по грязным дорогам беспрестанно катились фуры, нагруженные

мешками с зерном, картошкой, сахаром. Пешие возвращались конными, верхом на панских лошадях, или гнали перед собой корову. На другой день спали до полудня, и только по колесам, запачканным в навозе, соседи угадывали, что тот или другой ездил ночью за добычей. Иногда дети играли новыми игрушками — осколками пузырьков, дверными ручками, или молодица шила на зависть другим роскошный очипок из материи, которой паны обивали мебель.

Ходила и Маланка.

Она едва приволокла мешочек муки, тяжело дышала и стонала.

Андрий уписывал вкусные паляницы да все похваливал, но Маланка не ела.

— Почему не ешь? — удивлялся Андрий.

— Не могу. Чужое оно.

— Зачем же ты брала?

— Все брали, взяла и я.

Мука мешала Маланке, как покойник в хате. Она не знала, куда ее деть.

Богатеи притаились. Их точно и вовсе не было в селе.

— Что-то наших верховодов не слыхать, испугались, сидят по хатам,— смеялись люди.

Но там, где их было много, они не молчали.

Панас Кандзюба, вернувшись от сестры из Песков, рассказывал:

— Прихожу в село, будни, а люди — в церковь. Остановили и спрашивают — кто и почему, зачем пришел, к кому. Осматривают, будто я вор. Ну, хорошо. Зять тоже в церкви. Глянул на сестру, а она едва на ногах стоит, а глаза красные и мутные. Ах, боже... «Что с тобой, говорю, больна?» А она в плач. «Не больна, говорит, боюсь. От бессонницы извелась. Пятую ночь не спим, не гасим огня, опасаемся, как бы не задремать. Ждем поджигателей».— «Кого ждете?» — «Голытьбу. Передавали — ждите нас, будем жечь. Чтоб не было ни бедных, ни богатых, одни средние». Страх берет людей. Днем еще ничего, видно — кто идет, кто едет, а приходит ночь — бережемся. Вчера вышел мой на улицу, уже солнце садилось, и скачет кто-то верхом. Мой на колокольню, ударил в набат. У меня сердце так и упало. Это ж поджигатели. Сбежались люди, стащили верховых с лошадей, связали, повели в сборню. «Жечь хотите нас? Бей их!» Те кричат: «Мы сами гонимся, говорят, за поджигателями». Никто не верит. Да уж церковный староста спас. Если б не узнал, тут бы им и конец».

Рассказывает сестра, а сама вся трясется. Ах, боже... А тут зять пришел из церкви. Синяки под глазами,— видно, уморился. Ну, хорошо. «Какой у вас праздник нынче?» — спрашиваю. «Праздника нет, а люди молебен служили, чтоб отвратил бог беду. Одна надежда на бога».

Сидим, разговариваем о том, о сем, а зять нет-нет и клюнет носом — дремлет. Сестра тоже едва продерет глаза, чтобы слово вымолвить. Ну, хорошо! Уже смерклось,— какой теперь день! — поужинали, свет горит. Пора бы и спать — не спят. Вышел я из хаты — по селу огни, никто не ложится... Ах, боже... Так как-то не по себе стало мне, страшно. А наши сидят. Заскребется под лавкой мышь, а они уже навострили уши. Поздно, уже все сроки прошли ложиться, не спят. Слышим, петухи поют, а в окно видно, как среди ночи всюду мигает свет по селу. Когда вдруг что-то — бах! Стрельнул кто-то из ружья. Так по селу и покатилось. Ну, хорошо. Сестра застыла на месте, только руками схватилась за грудь, а зять вскочил — и в сени. Схватил железные вилы — и дальше. А я за ним. Бегу и вижу, из хат выскакивает народ, кто с чем. Ах, боже... Куда бежать? Где? Кто стрелял? Выбежали за село, какие-то люди стоят. Не спрашивая, бросились бить. Били смертным боем, куда попало, пока не отогнали. До самого рассвета никто уже не спал, а утром пошли смотреть. Восемь лежало готовых, один был еще теплый, стонал...

Назначено было сойтись на площади к сборне. Гуща пришел раньше. Он беспокойно бродил под крыльцом и все посматривал. Прокоп уже был здесь.

— Не сходятся что-то,— тревожился Марко.

— Еще рано, придут.

Однако и Прокоп волновался. Нелегко было утихомирить народ. Вокруг были погромы, пожары, пронесшиеся по деревням огненным ветром, всё захватившие своим вихрем. Люди не хотели отличаться от других, от соседей, и немало требовалось труда, чтобы остановить их. Но Гуща и Прокоп победили. Они доказали людям, что не надо жечь и разрушать народное добро. Не пан ставил дома. Мужичьи руки укладывали бревно к бревну, балку к балке, и все это должно было теперь служить мужикам. Сегодня должно было решиться, кто победил,— они или Хома, подбивавший все уничтожить, все жечь.

Народ понемногу собирался. Вот показался Семен Мажуга во главе целой толпы. Панас Кандзюба тоже вел мужиков.

Площадь наполнилась и начинала шуметь. Марко пожимал всем руки, ему было душно, что-то подкатывалось к горлу, и, услыхав свой голос, он его не узнал.

— А знамя принесли?

— Вот оно! Есть,— откликнулся Мажуга и, развернув, поднял.

— Больше не придут?

— Должно быть, все.

Можно было выступать. Но не выступали.

Только когда знамя качнулось и тихо поплыло в воздухе, зашевелились и пошли. Ноги шлепали по грязи, словно раки в мешке шептались, а кособокие халупки, бедные, оборванные, как-то недоуменно глядели на этот поток.

Панская усадьба дремала, сонная и пустая. Там будто никого не было. Только псы заворчали и попрятались. Народ влился через ворота во двор, словно вода сквозь горлышко бутылки. Из конюшни показался кучер. Гуща велел позвать пана.

— Пана нет.

— А где же он?

— Сбежал ночью.

Волна прошла по народу.

Сбежал? Ну, хорошо. Пускай выйдет приказчик.

Ян вышел из конторы бледный и без шапки. Его холодные глаза тревожно заметались по людям. Он бессознательно отступил назад. Но Гуща остановил его, вытащил из кармана бумагу и начал разворачивать. Среди необычайной тишины слышалось только, как шелестели листочки. Казалось, что Гуща слишком медленно это делает. Наконец он кашлянул, выпрямился и высоким, будто чужим голосом приступил к чтению. Все уже знали этот приговор, но теперь он казался новым, торжественным, как слова, слышанные в церкви. Так, так. Уже знали, что с нынешнего дня земля не панская, а мужицкая, что народ берет ее назад, в свою собственность. Ниву, освященную трудом дедов и внуков.

Все слушали молча, затаив дыхание.

Гуща кончил и обратился к Яну:

— Ты нам не нужен. Укладывайся и убирайся.

Ян хотел что-то сказать, но не мог. И только беззвучно шевелились его побелевшие губы да чего-то искали дрожащие руки.

Он пошатнулся и, как пьяный, направился в контору.

Но там не остался. Через минуту выскочил, испуганно взглянул на толпу и хрипло крикнул:

— Мусий! Запрягай бричку!..

Панаса Кандзюбу это взорвало:

— Бричку! А телеги навозной не хочешь? Слышите, мужики, он хочет бричку!

Народ словно проснулся. Послышался смех.

— Вишь, пан. Чего захотел. Прошло его время...

— Не давать бричку.

— Готовь, Мусий, телегу.

— На которой навоз возят.

Мусий бросился к телеге.

Но Ян не захотел.

— Не надо лошадей. Пустите, пойду пешком.

— С богом!..

Эконом надвинул шапку и как-то боком прошел сквозь толпу. Его глаза, будто захваченные врасплох мыши, с ужасом встречали каждое лицо, руки готовы были защищаться, но никто его не тронул. Наконец, когда Ян очутился за воротами, всем стало легче, точно соринка выпала из глаза.

Надо было принимать экономию.

— Как будем принимать?

— Выберем троих. Пускай хозяйничают. Там будет видно.

— Довольно троих. Прокопа, Гущу и Безика, может...

— Нет, лучше Мажугу...

— Пишите приговор.

Олекса Безик вынес на середину двора стол, Гуща примостился за ним.

Стояло серое осеннее утро. Все было серым. Небо, далекое поле, голый вишняк за домом, постройки и мужики. Дух конского навоза и свежих яблок крепко держался в воздухе.

Стлался шум. Маланка никому не давала покоя. Надо б написать, чтоб скорее делили землю. Чего ждать? И так довольно ждали. Пусть каждый уже знал бы, что принадлежит ему и где. Ее глаза горели, и она всем надоедала. Запах яблок щекотал ноздри. Почему бы не отведать? Хотя оно и народное добро, как говорит Гуща, но в доме, наверно, много любопытных вещей. Наливок, мягких подушек, посуды да всяких чудных безделушек, которых мужику и видеть не приходилось. Неужели все это останется там? Молодицы заглядывали в окна. Ключница будто догадалась, вынесла из погреба две корзины яблок и всех угощала.

Тем временем Гуща кончил. Народ подходил долго, и долго тяжелые рабочие руки выводили каракули или ставили крест, чтобы было крепче.

Прокоп созвал всю челядь, отобрал ключи.

— Кто не хочет служить обществу, может уходить из усадьбы.

Не захотели ключница и кучер. Их не удерживали.

Усадьба понемногу опустела. Остались только те, кого выбрали — Прокоп, Гуща, Мажуга.

Панская усадьба перешла к народу.

Никто так искренне не заботился о народном добре, как Прокоп. По целым дням он бегал от гумна к конюшне, от скотного двора к току, выдавал работникам харчи, лошадям овес, зерно птицам. Всюду сам смотрел, наводил порядок. И все записывал в книжку, чтобы знали, что куда и сколько пошло. Качал головой и удивлялся: какой беспорядок! Нет, все-таки пан плохой хозяин. Гибло добро без хозяйского глаза. Надо хлеб молотить, а машина до сих пор неисправна. Плуги заржавели, нет лемехов, на лошадях порванные шлеи. Все требует труда и денег, а денег не было. Тогда посоветовались все вместе, и Прокоп повез продавать пшеницу.

Все трое поселились в конторе, в тех комнатах, где жил эконом. Жена требовала, чтобы Прокоп ночевал дома, ей было чудно́ без хозяина в хате, но он и слушать не хотел: его выбрали, и тут его место.

По ночам ему не спалось. Выходил из конторы, погружался в темноту осенней ночи и прислушивался, как сторож колотил в доску. Было странно и радостно вместе с тем. То, что недавно видел лишь в мечтах, теперь осуществлялось. Жизнь повернулась лицом к мужикам. Справедливость взглянула в глаза. Не будет больше ни бедных, ни богатых. Земля всех накормит. Народ сам выкует себе счастье, лишь бы не мешали. Вот эти дома, панские покои, по которым прежде бродил один ненасытный, жадный человек, теперь пойдут под школы. Тут станут собираться мужики, там будут чтения. Ему рисовалась новая жизнь, ночь расступалась, сияли огнями окна, голоса раздвигали стены, распрямляли грудь...

Еще не светало, а Прокоп будил работников, звенел ключами.

В руках у него вечно белела книжка. Он заносил в нее каждую народную копейку, каждый колос.

Из села приходили люди.

— Ну, как там экономия наша?

Всем было интересно, как ведется хозяйство, что управители делают, что лучше — разделить ли землю между людьми или, может, сообща обрабатывать поля и тогда уже делить

хлеб. Маланка едва ли не во весь голос кричала, чтобы скорее делили. Им объясняли, водили на ток, на скотный двор, советовались, как использовать постройки.

— Тут бы стоило школу устроить,— говорил Прокоп.

Но Гуща шел дальше:

— Школа уже есть, лучше откроем народный университет.

Люди соглашались на все — на школу и на университет. Пусть учатся мужики, не все же одним панам.

Панас Кандзюба смотрел на поле, начинавшееся у ворот и упиравшееся в горизонт, и все вздыхал. Ему было досадно, что пан сбежал, что не придется увидеть «пана в постолах».

А в поле вечно бродили какие-то фигуры и чернели на сером небе. Это нетерпеливые мерили землю, чтобы узнать, сколько придется на душу.

Маланка, подоткнув юбку и согнувшись, переставляла, как цапля, ноги по глинистой пашне.

Хома смеялся, и нехорошо смеялся:

— Стережете панское добро? Ха-ха! Смотрите, смотрите, чтоб не пропало. Поблагодарит пан, когда вернется. А как же...

Зеленоватые глаза его прыгали, как лягушки на болоте.

— Вы думаете, пан сбежал, так уже и конец ему? Как раз! Такой не пропадет. Нагонит казаков полное село, да и шасть в теплый дом. Спасибо вам, мужики, что сберегли. На твоей спине запишет благодарность. Нет, если хочешь делать, делай так, чтоб у него не было охоты возвращаться, чтоб ему глядеть тошно было. Выкури дымом и огнем... Сровняй все с землей, чтобы было голо, точно ладонь...

Хома тыкал грубым пальцем в ладонь:

— Вот!.. Как ладонь.

Те, которым снились панские коровы, породистые гуси и другое добро, ловили слова Хомы.

Верно. Если бы не выдумал Гуща, у них все было б, как у людей. Станут ли еще делить землю или нет, кто его знает, а тем временем какая польза мужикам?

Андрий подымал изувеченную руку:

— Где ж правда? С нами так, а мы что же им за это?

И посматривал на винокуренный завод. Его раздражало, что он еще стоит, гордо подымает трубу, из которой весело валит дым, будто издевается.

— Пан убежал, а паныча Лелю на развод оставили. Пусть гонит, пане добродзею, водку. Хе-хе!

Хома сердился и тяжело дышал.

— Ясно. Так и будет стоять, что с ним сделаешь?

Но Хома знал, что делать. У него разговор короткий:

— Сжечь.

И это «сжечь», как ветер, со свистом вырывалось у него сквозь зубы.

Казалось чудом, что завод еще стоял. Только мозолил глаза. Всюду по селам покончили с панами, всюду дымились развалины, а тут винокуренный завод. Куда ни посмотришь — он. То труба бросится в глаза, то дым, как черный косматый змей, трепещет в воздухе. Ночью гудит гудок, и горят окна, как волчьи глаза, и ничего не изменилось на заводе, будто ничего и не произошло. Что за напасть! Теперь мужицкое право, не панское. Всюду разгромили панов — и все обошлось хорошо. Даже чужие смеются. Если б не Прокоп да не Гуща — давно б уже был всему конец. А паныч Леля? Какая польза от него? Как сосал народную кровь, так будет и дальше сосать. Андрия обидел, неужели ждать, пока и с другими то же приключится?

Андрий, как и прежде, жаловался, но теперь его рука стала сигналом:

— Смотрите, что делают с нами на заводе!

Брали его руку и внимательно рассматривали беспалую культяпку, будто видели впервые.

Панский пастух шатался всюду, и везде, где он появлялся, его зеленые глаза расшевеливали народ.

Даже сторонников Гущи.

— Чем мы хуже других?

В среду знали уже, что это будет в четверг. Хома ходил от хаты к хате:

— Как ударят в колокол — выходи. Кто не выйдет — сожгу.

Он был на все готов; видно было, не шутит.

Поздно под пятницу горел свет, как в пасхальную ночь. Люди молча готовили топоры, колья, железные лопаты. Детские глаза следили с печи за каждым движением старших.

Иногда, когда звенела лопата, задетая кем-нибудь, или падал лом,— все пугались. Что, уже? Среди напряженного ожидания и тишины иногда вздрагивал воздух, словно гудел набат.

— Тс! Тише!

Прислушивались и, не веря самим себе, открывали дверь в сени или высовывали головы за порог. Холодная мелкая изморось сеялась с неба. Было сыро, неприветливо и тихо. Казалось, конца этому не будет. Пусть бы уже наконец подали знак, если это неминуемо. А может, Хома солгал, испугался и ничего не будет? Возвращались в хаты, бродили из угла в угол и еще раз осматривали приготовленное оружие.

Однако набат неожиданно раздался. Медь всколыхнула осенний туман и рассыпалась повсюду. Наконец! Всем стало легче. Выходили из хат, соединялись в группы и спешили. Внезапно разбуженные от холодного сна, колокола хрипло кричали и гнали вперед узловатые фигуры, искривленные непомерной работой, сливающуюся с темнотой массу тяжелых, мешковатых тел, кривых ног, крепких, как кувалды, рук.

Перед заводом толпа остановилась. Большой каменный дом, где жил паныч Леля и помещалась контора, тяжело серел на черном небе, холодный, темный, и только одно оконце неясно светилось, как полураскрытый глаз. Зато завод смеялся рядом красных окон и гордо попыхивал дымом.

Хома ходил среди людей, еще нерешительный, будто не знал, с чего начать. А около дома уже было движение. Кто-то бежал под стеной, подымался по лестнице, и слышно было, как хлопнула дверь. Потом окно погасло — и снова осветилось. Звуки набата колебали редкий туман, бились, разрывались, а в темноте колыхалась толпа. Внезапно открылась дверь, и оттуда послышалось тревожное:

— Кто там? Что вам надо?

Это паныч Леля... Леля.

— Что вам надо?

Хома вышел из толпы.

— Ага! Это ты? Нам тебя и надо. Иди сюда! — И скверно выругался.

Небольшая, одинокая на серой стене, фигура Лели отступила.

— Не подходи. Буду стрелять.

И сейчас же под домом блеснул, точно спичка, огонь, сухо треснуло что-то и раскололо тяжелым раскатом ночь.

Толпа замерла и отхлынула. От волнения на миг заколотились сердца. Но Хома поднял упавший дух.

— Го-го! Он еще стреляет? Бей его... бей!..

Это «бей» обожгло тело, как кнутом, оторвало ноги от земли, погнало, лишая соображения, вперед — в общем движении и

дыхании, под натиском силы, вдруг пробудившейся от дремоты, подобно тому как подо льдом пробуждается река.

Темная прихожая застонала от топота ног, и под тяжестью тел, сбившихся в груду, задрожала лестница.

Где Леля? Никто не знал. Тут ли он или, может, убежал, бьют его или только ловят. Тело наваливалось на тело и чувствовало позади себя горячее дыхание, гнавшее вперед. У дверей произошла давка, а снизу все напирали. Двери были заперты. Хома старался их высадить плечом, и в густой темноте, в которой не видно было лица соседа, раздавались глухие удары, трещали сухие доски. Вдруг дверь подалась, и оттуда пахнуло, будто из бездны. Люди бросились вперед — в черную пропасть.

— Постойте, сейчас! — крикнул Хома.

Прошла минута.

И произошло чудо, короткий сон, ослепивший всех. Электрический свет внезапно залил большую комнату, словно кто-то махнул серебряным крылом, и отразился на паркете, в ряде больших зеркал, в золоте рам. Белые занавеси, как облачка на весеннем небе, слегка покачивались на окнах, зеленые деревья склонялись над шелком мебели, этажерки с безделушками блестели, как царские врата, а трехногий рояль, словно черный сказочный зверь, открыл широкую пасть и — освещенный — скалил блестящие белые большие зубы. Эта перемена была так неожиданна, что взволнованная толпа застыла, и лица, заполнив все зеркала, едва помещались в рамах.

Но Хома одним махом смазал картину.

Он схватил кол, размахнулся и опустил на рояль. А-ах!..

Трехногий зверь треснул и взревел дикой гаммой струн от жалобных до грозных. А высокие комнаты подхватили этот рев и разнесли по всему дому. Люди очнулись, ожили, зашевелились. Волна хлынула сквозь двери в комнату и ударила в стены. Тогда вдруг упали колья на тихие воды зеркал, и со звоном брызнули на пол вдребезги разбитые лица, в них отраженные.

А дом все наполнялся новыми людьми. Ослепленные светом, оглушенные звоном стекла, они лезли из прихожей, словно осы из гнезда, и набрасывались вслепую на все, что попадалось под руки.

Бей все!

И набрасывались на все. Старались разодрать стулья за ножки, а когда не удавалось, били стульями об пол, наваливались на них грудью, как на живое существо, молча стиснув

зубы. Колья сметали фарфор с этажерок дождем черепков, стекла под ударами молотков сыпались из рам, как цвет с дерева. Все больше пьянели. Хотелось слышать только звон, стук, треск, предсмертный хрип каждой вещи, так же тяжело умиравшей, как и живое существо.

Про Лелю забыли.

А рояль не давался Хоме. Черные блестящие бока его трескались и куда-то проваливались при каждом взмахе кола, но он все еще держался на ногах и только выл дико, как зверь, истекающий кровью.

Потревоженная пыль, до сих пор покоившаяся в мебели, теперь дымилась, клубилась в воздухе, отчего свет становился желтым и мутным. Все слилось в одном безумии. Люди пили его друг у друга из глаз, теряя рассудок от предсмертного страха искалеченных вещей, от криков стекла и металла, от стона струн. Все эти отломанные ножки, оторванные спинки, черепки под ногами, клочки бумаги, пустыня разрушения пробуждали еще большую жажду уничтожать, ломать, бить; и ноги исступленно топтали уже сломанное, а руки искали нового.

Андрий одной рукой ломал ветки живых растений, рассыпал землю из вазонов. Ага! Ты растешь! И упивался хрустом горшков под каблуками.

Хома, с перекошенным ртом, весь мокрый, блестел от пота.

— Гуляйте, дети! Пришел наш день.

Панас Кандзюба старался поднять большой шкаф, но не рассчитал своих сил. Шкаф навалился на него и придавил. Панас вертелся под ним, кряхтел, волок к окну. Ему помогли другие. Шкаф лег на окно, задрал ножки, и белый низ покачнулся и исчез. Панас высунулся в окошко, чтобы услыхать, как шкаф треснется грудью о землю.

Во дворе, в беспросветной мгле, кишели люди, как гусеницы.

— Чего стоите? Идите помогать. Теперь нам воля.

Комната наполнилась новыми людьми, едва пролезавшими через груды обломков. Люди рассыпались повсюду, по всему дому, и каждую комнату наполняли криком. Гремели колья и молотки, точно в большой кузнице, трещала мебель и двери, скрежетало железо, а стекло звенело и звенело беспрестанно и сыпалось вниз, как груши с дерева в бурю.

Весь дом трясся от вопля, кричал о помощи в пустые проемы окон, в черный туман, окружавший его.

Отодвигались комоды, и оттуда выбрасывались тонкие сорочки, такие чудные и легкие, словно пушинки, со свистом раздирались куски материи, летали, как паутина, кружева.

У кузнечихи глаза горели, она трясла жирными боками, рылась в грудах и все кричала:

— Не рвите всего! Оставьте мне...

И сдирала с изломанной мебели шелк — желтый, красный, блестящий.

Панас Кандзюба бегал по комнатам, как сумасшедший. Из-за пазухи у него торчала тонкая женская сорочка без рукавов, а руки осторожно держали и прижимали к груди коробку со старым, ржавым железом. Он сам не знал, куда ее деть.

Олекса Безик сиял. Он спас от разгрома банку с вареньем и прижимал ее к сердцу, точно ребенка.

Комнаты были уже ободраны, разбиты, переполнены пылью, как дымом, простиравшим руки к холоду за окнами. На окнах колыхались от ветра разодранные белые занавески, словно перебитые крылья. Только лампы и канделябры уцелели и упорно заливали все это разрушение светом, нестерпимо ярким.

Грязные, растерзанные люди остановились и смотрели, что бы уничтожить еще, но ничего не было. Голые стены умирали, дыша последним дыханием содранных обоев.

В углу Хома старательно ломал обыкновенный кухонный табурет, грязный, в помоях, наполовину сгнивший.

Андрий прикоснулся к плечу Хомы.

— Ну, а завод?

Хома поднял на него бессмысленные глаза.

— Коль бить, так бить все.

И приканчивал недоломанный табурет.

— Довольно, оставьте! — кричал Андрий.— Пора жечь.

Хома пришел в себя. Жечь? Его глаза на мгновение остановились, и в них как бы мелькнул отдаленный отблеск пожара.

— Жечь? Давай.

Они сложили в кучу под лестницей обломки мебели, ножки стульев, обрывки бумаги и подожгли.

— Бегите из дому, горит! — кричал Андрий.

Люди, как мыши, покинули комнаты и в дыму прыгали по ступенькам.

Андрий вынул из канделябра свечу и поджег занавески. Огонь охотно полез по кисее, и черные проемы окон в красных подвижных рамах стали еще глубже. Две Андриевы тени заметались на прощанье по стенам и вместе с ним исчезли.

Андрий искал Хому.

— Теперь завод. Слышите, Хома? Завод, говорю.

Они последними выбежали из дома.

Ночь стояла глухая, еще более черная после света. Но внизу она шевелилась, жила, двигалась и волновалась волнами черного народа, невидимым прибоем тел.

Только завод блистал рядом освещенных окон и вздрагивал от хода машин, словно в огромной каменной груди, ожидая чего-то, тревожно колотилось сердце.

Рабочие оставили работу и чернели около стен и дверей. Свет из окон играл по лужам нитями золотого ожерелья.

Толпа и завод стояли друг против друга, словно мерились силами, словно еще решали, кто победит.

Между ними вдруг возникла тяжелая, корявая фигурка Хомы:

— Чего ждете? Жгите!

Окна панского дома дымились. Огонь полз по занавескам, проворный, веселый, и уже облизывал оконные рамы со стороны двора.

Безликая в темноте толпа вздрогнула и пошла на завод. Андрий бежал впереди. В левой руке держал какую-то железину, а правая, беспалая, высоко поднималась над головой, будто кому-то грозила.

Вот аппаратная. Теплая, вся в витых железных трубах, колесах, машинах, точно внутренность живота, она тряслась, как в лихорадке, и молниеносно сверкала широким приводным ремнем. На миг ноздри Андрия уловили знакомый запах масла, пара, сухого жара огненной печи — и перед ним возникла его рабочая жизнь, его увечье. Вот как встретились они — машина и ее жертва. Андрий ощутил отрезанные пальцы, и злость затуманила его мозг. Он бросился на приводной ремень и сбил его сразу. Заколыхавшись, приводной ремень со свистом упал, плавно и лениво, как мертвая змея. Аппаратная в последний раз вздрогнула и застыла, а маховое колесо заходило, завертелось так неистово, что казалось, подхватит с собой и машину. Паровик тепло и тяжело дохнул, полный сил. Черные блестящие бока его раздражали Андрия. Ему хотелось бить эту сытую, толстую скотину, услыхать, как она застонет, крикнет, начнет умирать, испустит последний вздох. Он сбил манометр и ударил железиной в бок. Потом пустил пар в гудок. И когда паровик крикнул тем же самым криком, который будил Андрия едва ли не всю жизнь, криком, казавшимся вблизи пронзительным и острым, как шило, ярость лишила его памяти, разума и соображения. Он бил машину изо всех сил, помогал левой руке правой, сворачивал гайки и ломал все, что удавалось сломать. Забыл даже про опасность. Он не видел, что делалось вокруг, не

видел всех этих свиток, желтых кожушков, бород и волос, склеенных потом, горящих, полусумасшедших глаз, израненных рук, не слыхал, как ударялось железо о железо в этой адской кузнице, которая все перековать хотела в ничто, которая работала, как неутомимый дух разрушения, и наполняла отзвуками на тысячу звуков высокие стены завода.

Хома был всюду. Он, казалось, забыл человеческий язык и лишь, как шлак сгоревшей души, выбрасывал из себя:

— Бить! Жечь!..

Где только ни появлялось его лицо старой бабы, глубоко вспаханное плугом жизни, на что только ни падал взгляд зеленых глаз, властный и неумолимый,— там дух разрушения заставлял напрягаться жилы, и силы людей становились нечеловеческими.

Хома не чувствовал утомления. Его руки, точно железные клещи, сворачивали медные трубки, и чем неподатливее они были, тем больше разгоралось желание их победить. Ободранные, в ранах, его руки давно обливались кровью, но он даже не замечал этого. Знал только, что должен разбить и поджечь.

Наконец! Крышки с дребезгом упали с цистерн, огонь коснулся спирта, и легкое голубое облачко заколыхалось над ним. Люди сбежались смотреть. Синеватый огонь, такой легкий и невинный, что, казалось, ожечь не может, мягко изгибался и выпрямлялся, будто плавал на спирте, и только иногда подымалась волна с красным гребнем.

Недовольный шепот прошел по толпе.

Это же горит спирт. Настоящий спирт.

Было досадно. При одной мысли жгло в горле, разливалось тепло в груди. Зачем было поджигать, не дав даже попробовать! Теперь ни панычу, ни людям. Огонь пожирает.

Олекса Безик едва не плакал. Неужели погибнет?

Он решил спасти спирт. Ему пришло в голову — нельзя ли зачерпнуть снизу. Ведь горело лишь сверху. Он нашел ковшик и протиснулся сквозь толпу.

— Куда ты?

Его хотели остановить.

Но Безик уже не мог остановиться и сунул руку прямо в огонь.

Синее пламя качнулось, плеснуло в черные края цистерны и упало на пол несколькими огненными клубами.

— Ой, братцы, печет! — крикнул Олекса.

У него горел рукав.

Это была попытка, правда, неудачная, но, казалось, не

безнадежная. Огонь лишь сверху; внизу чистый, хороший спирт, надо только достать.

Толпа заволновалась.

Тц! Тц! Сколько добра пропадает! Сколько водки...

Во рту сохло, душа просила хоть окропить ее спиртом, хоть разок глотнуть, хоть обмочить губы, сухие от жажды. Разбить посудину? Пробить сбоку? Запах спирта щекотал ноздри, и горло, сводимое спазмами, глотало слюну.

Горящие глаза ощупывали цистерну, готовые влить в себя, осушить всю посудину, прочную, неприступную, покрытую огнем. Толпа даже затихла от сумасшедшей жажды, единая в своих желаниях и мыслях. А перед ней все выше и шире пылали чаши, полные огня, как жертвы неведомому богу.

Внезапно сзади раздался крик:

— Расступитесь! Дайте дорогу!

И не успели расступиться, как сквозь толпу пролетело что-то мокрое, все в жидкой грязи, забрызгало всех и кинулось прямо к огню. На мгновение только мигнула перед глазами черная фигура, поднятая рука и уже протянула людям ведерко огня, дымившееся, как сердце, только что вырванное из груди.

— Пейте!

Но как пить?

— Лей воду! Дайте воды...

Кто-то принес и плеснул ее в ведерко.

Огонь затих, согнулся, испустил последний вздох и умер.

— Ура! Водка!

Руки подымались и тянулись — дрожащие, но настойчивые — с одним непреодолимым желанием быстрее добыть, выхватить и оторвать от чужих уст теплое противное пойло.

— Давай! Сюда! Оставьте мне! Хватит, нам дайте...

Стоявшие ближе к дверям не надеялись получить водки. Им надо было самим ее раздобыть. Они выбегали во двор, бросались в лужу, как были, в одежде, и катались в грязи в каком-то лихорадочном беспамятстве, чтобы лучше вымокнуть и без боязни прыгнуть в огонь.

Из густого осеннего тумана беспрестанно врывались на завод и лезли в огонь, точно ночные бабочки на свет, дикие, получеловеческие фигуры, мокрые, покрытые корой жидкой грязи, из-под которой блестели одни глаза.

Голубые огни все разрастались и уже цвели на гребнях красным цветом, как тучи на закате. По лицам разлились мертвые, синеватые тона. А среди отброшенных сломанными трубами и машинами теней, в ужасе бившихся по стенам, черные от

грязи люди скакали в диком танце и черпали огонь из пылающих чаш.

— Кто хочет? Пейте!

Дом, где жил Леля, уже догорал. Падали балки в пропасть проемов и рассыпались снопами трескучих искр. Завод ровно пылал, весь налитый огнем, истекая пламенем через окна и двери, как рана кровью.

Широкие крылья осенних туч рдели тихо над ним, простершись в бездне ночи.

На другой день всюду было тихо. Люди ходили вялые, опустошенные будто, ленивые. Черная, закопченная труба торчала на холме вместо завода; невольно она привлекала взор, и было странно, что глаз не упирался, как до сих пор, в стены, а устремлялся куда-то дальше, в пустоту поля и рыжих холмов.

Андрий пошел осматривать развалины. На еще дымившемся пожарище попадались любопытные. Белый дымок лениво вился над завалившимися стенами, точно пар в холод из ноздрей скота. В широких проемах окон белели кафельные печи, словно зубы в челюстях скелета. Босые дети рылись в теплой земле, находя всякие обломки и мелкие полуистлевшие вещи. Дети ссорились и дрались, как воробьи.

Андрий вошел внутрь. При темноватом свете серого дня, лившегося сквозь дыры окон и через потолок, все казалось чужим, странным, непохожим на то, что было вчера. Вчера тут были машины — теплые, живые, крепкие аппараты, которые упирались и не давались, когда их били. Сегодня они лежали сломанные, пустые, согнутые вдвое, с пробитыми боками, рыжие, облезлые. Медные трубки бессильно протягивали согнутые концы, сплющенные, смятые, точно раздавленные кишки, и красная ржавчина от огня выступала на них кровавым потом.

Андрий удивлялся. Неужели это он одной рукой смог нанести железу такие глубокие раны? Он переводил глаза от своих рук на машины и только пожимал плечами. Неужели это он? Уже не чувствовал злости, как прежде, она куда-то исчезла в одну ночь. Ему даже жаль стало этих аппаратов, он так долго ухаживал за ними, точно нянька за ребенком.

Андрий тихо вздохнул и вдруг почувствовал, что рядом кто-то шевелится.

Панас Кандзюба стоял среди обломков, тяжелый и серый, как груда перегоревшего кирпича.

— Начисто все сломали,— откликнулся Андрий.

— Разве это мы?

Андрий удивился.

— Как же не мы? А кто ж?

— Нечистая сила.

В глазах Кандзюбы была такая уверенность и такой ужас, что мороз прошел по коже у Андрия.

— Никто как нечистая сила.

К заводу подъезжали подводы и отъезжали, полные железа, кирпича, обгоревших балок.

— Разберем все, сровняем с землей,— говорили друг другу мужики, но уже оглядывались, какие-то неуверенные, и в занесенных над лошадьми кнутах, и в поспешном грохоте колес чувствовалась тревога.

Под вечер по селу разнеслось, что идут казаки. Кто пустил слух, откуда он взялся, никто хорошо не знал. Рассказывали только, что станут обыскивать и у кого что-нибудь найдут — тому не миновать расстрела.

По-видимому, это дело паныча Лели. Выпустили живым, а теперь людям беда. Надо было сразу убить, а тогда и поджигать. Да уже поздно. Не поможет.

Что делать? Как спасаться?

Беда так внезапно подкралась и так неожиданно разразилась, что никто даже не решался думать, как предотвратить ее. Известие принимали как что-то предрешенное, как нечто неминуемое, словно смерть больного.

Некоторые надеялись спастись. Они тайком бросали в пруд взятое железо или зарывали его в землю, что у кого оставалось. Да разве это поможет? Разве, случись что, не выдадут?

Однако ночь прошла спокойно, а ясный холодный день и совсем успокоил село.

Кто-то выдумал, видно. За что же будут наказывать, если вокруг то же самое. Всюду сожгли и разгромили панские усадьбы,— ведь такое право настало.

Прошло с полдня, а в селе тихо, ничего не произошло.

Прокоп хозяйничал на панском поле, пахал под яровое, кончал поздний сев. Работа шла своим порядком — пан не возвращался отбирать землю, у паныча Лели тоже, видно, не было охоты смотреть на пожарище. Всюду было спокойно, и слухи глохли. Никто им больше не верил.

Прошла и другая ночь. Выбросившие добро в пруд теперь жалели.

Однако весть грянула как гром среди ясного неба. Теперь уже точно. Олекса Безик ездил в местечко, но с дороги

вернулся. В деревню Тернивку прибыли войска. Согнали людей, кого расстреляли, кого зарубили, остальных забрали в город. Обыскивают, вяжут, бьют.

— Ждите и к нам. Теперь и нам не миновать.

Теперь неминуемо. Это было ясно.

Панас Кандзюба упорно почесывал за ухом:

— Значит, и нас перестреляют?

Его испуганные глаза, полные недоумения, тщетно искали помощи.

Олекса Безик будто ничего не знал. Он пожимал плечами:

— Я не жег, мне ничего не будет.

— Разве ты с нами не был?

— Я? Сохрани боже. Я сидел дома.

— Вот как. А я тебя видел собственными глазами.

— Кого? Меня? Лопни у того глаза, кто меня видел. Сам поджигал, а говорит на других.

— Я поджигал? А ты докажешь?

— Я докажу.

Виноватых не было. Одни сваливали вину на других, а те на следующих. Выходило так, что все были дома, а если и забегали на завод, то так только, поглядеть. Кто же не смог отрицать своего участия, тот всех обвинял. Село виновато, село и ответит. Но село не хотело отвечать. Упреки и ссоры подымали старую вражду, всплывали забытые обиды и грехи. Наиболее сдержанные всех успокаивали. Замолчите. Ничего не будет. Теперь наша сила и наше право.

В полдень от проезжих услыхали про Осьмаки. Там казаки подожгли деревню, потому что мужики не хотели выдать виновных. Деревня горит.

Тогда пошли нарекания. За что всем пропадать? Разве не Хома подговаривал? Не он созывал народ? Хома и Андрий. Не миновать беды и за панскую землю. Пока не было Гущи, в селе было спокойно. Что тут говорить. Гуща и Прокоп взбунтовали народ, они во всем виноваты. Говорили: народное право, наша земля, а теперь — казаки.

Панас Кандзюба волновался больше всех.

— А что? По-моему вышло. «Обуть пана в постолы»... Вот и обули!

Под вечер в селе появился Пидпара. С того времени, как вышел манифест, его никто не видел, он будто исчез. Теперь шел спокойный, высокий, хмурый, словно немного постарел. Его не задевали. Наоборот, провожали завистливым взглядом.

— Такому ничего не будет. Он сидел тихо.

Его считали хитрым, умным и осторожным.

Что ж теперь делать?

Тревога охватила село. Пересудам не было конца. Рассказывали, что в Осьмаках от пуль казацких полегли не только взрослые, но и дети. Недобитых складывали на телеги, как снопы, и так везли в тюрьму. Сквозь щели в телеге всю дорогу капала кровь. Женщины голосили так громко, что слышно было на далеком шляху. От поджогов сгорели скот и хлеб. Ужас рисовал картины одна другой страшней. Встревоженные люди не могли усидеть дома. Что делать? Как спастись? Кто знает? Беды не миновать. Виделись огонь, развалины и кровь. Дети следили за дорогой, которая вела в село, малейший шум возбуждал тревогу.

Известно, такие, как Хома и Андрий, могли не бояться. Что с них возьмешь? Ни кола ни двора. Оборванцы, нищие, довели до беды и попрятались. Сегодня сожгли завод, а завтра подожгут у кого-нибудь хлеб. Не зря говорит Пидпара: не жди добра от поджигателя.

Олекса Безик советовал вернуть пану землю. Все же будет меньше вины.

— Ну, а завод?

Правда, его не выстроишь заново. Черные развалины угнетали, как нечистая совесть.

Одни спрашивали, не лучше ли было б выйти навстречу войскам с хлебом и солью, упасть в ноги, покориться.

Другие советовали драться, не пускать казаков.

Но все это было не то.

Один только Пидпара спокойно ходил среди людей и прислушивался, а его глаза, глубокие и суровые, что-то таили под шатрами бровей.

Всем казалось, что Пидпара что-то знает.

Но Пидпара молчал.

От кого пошла эта мысль, кто первый ее подал, трудно было сказать. Может, Пидпара посеял ее своим суровым взглядом, а может, она сама родилась и осела глубоко в сердце, как камень на дно. Довольно того, что люди молча ее приняли, как последнюю надежду, как единственное спасение. Пусть лучше погибнет несколько мужиков, чем вся деревня. Тяжелое тайное согласие воцарилось между людьми. На миг открылся тайник, что-то выпустил и закрылся вновь. И в нем, как семя в

женском чреве, росло что-то, и зрело, и падало тенью на лица замкнувшихся в себе людей.

В осенней пустоте, обнимавшей село, ощущалось зловещее дыхание какого-то несчастья, нечто неумолимое, неминуемое, жестокое, требовавшее жертв.

У Пидпары перед образами горела лампадка. Иконы создавали праздничное настроение, и оно отражалось на лице Пидпары. Он говорил медленно, тяжело, будто отсчитывал деньги, и перед мужиками был снова прежний Пидпара. Народ толпился в горнице и в сенях. К нему пришли, он снова был нужен. В то время как страх отнял у остальных разум, ослепил их, только один Пидпара не боялся ничего. Он был как скала среди растревоженных волн, надеявшихся остановить около нее свой бег и найти равновесие. Он знал, что посоветовать.

Панас Кандзюба утвердительно кивал. Так, так. Пусть приходят войска, когда все уже будет кончено. Виноватых нет. Само общество их покарало. Тогда не за что будет карать других. Не село бунтовало, одни главари. Если б не они, все было бы спокойно. Кто объявил забастовку? Они. Кто захватил господскую экономию? Они. Кто завод сжег? Тоже они. И всем гибнуть из-за них? Лишиться хаты — да что там хаты, может, и жизни!..

Он волновался.

Пидпара нахмурил брови.

— Теперь он панское берет, а подождите немного, возьмет и ваше. У тебя, скажет, есть десятинка лишняя, отдай. Тот скопил какую-нибудь сотню — лишайся денег. Возьмет у меня, у тебя, Максим, а тогда и у того, кто победней. От них житья не будет.

Гаврила, Пидпарин тесть, запустил в седую бороду желтую костлявую руку:

— Что там! Перестрелять, и точка.

Жестокое слово, брошенное впервые, звякнуло, как нож, среди тишины.

Горница тяжело замолчала. В молчаливом согласии, замкнувшем уста, страх рождал подлость.

Как бы не было чего за это?

Тогда рыжий Максим, староста сельский, вытащил из кармана бляху и прицепил на грудь.

— Я отвечаю. Вот бумага. Приказ стрелять всех бунтарей. За это ничего не будет.

Одной рукой он хлопал себя по карману, другой поправлял бляху.

И все блестело у него: рыжие волосы, частые веснушки, начищенная кирпичом медь.

А если так, чего ж ждать? Созывайте сход. Пусть рассудят...

Голая земля, исхлестанная крыльями ветра, безнадежно серела под оловянным небом. Рядами истомленных хат, будничных и неприветливых, смотрела деревня на своих хозяев, неохотно собиравшихся на сход. Шли ленивые, серые, тяжелые, точно комья тощей земли, их породившей. Несли свое оружие — дедовские ружья, перевязанные бечевками, тяжелые ржавые колуны, палки, колья. Всех их гнал страх, привычка слушаться начальства. На сход созывали весь «мужеский пол», а кто не придет, того ждала смерть. Жены провожали мужей с плачем, с воплем, как на тот свет. Кто знает, что будет?

Маланка не пускала Андрия:

— Не ходи, чтоб еще чего, упаси боже, не случилось.

Андрий не слушал.

— Мне, пане добродзею, знак отличия выдан паном, я своих не боюсь.

— Хвались, хвались, Андрийко, увечьем, очень оно нужно кому-нибудь,— шипела Маланка, но и сама пошла за ним.

И снова площадь зачернела от народа. Посередине мужчины, вокруг, до самой канавы, женщины.

Смешанный гул заглушал слова Пидпары. Видно лишь было, как он, высокий, в праздничном жупане, махал рукой и сводил острие бровей. Дуло ружья торчало у него сбоку.

— Ой, боже, что-то будет! — пугалась Маланка.

— Погромщиков станут судить...

— А кого именно?

— Показывают люди на Хому Гудзя, на Гурчина Савву... Смотрите, чтоб не было чего и Андрию...

— Господь с вами,—ужаснулась Маланка.— Мой так же был на заводе, как и ваш. Ведь так полсела пришлось бы судить.

А сама оглядывалась: где Андрий?

Максим Мандрыка, с бляхой на груди, ходил среди народа.

— Все пришли?

— Все.

— Не пришел Безик Олекса.

— Я тут...

— Надо всех переписать.

Но только приспособился, как к сборне подъехал верхом

на панском коне Семен Мажуга. Привязав копя, он протянул руку Мандрыке:

— Здорово, Максим, у меня дело к тебе.

Староста взглянул на него:

— Недостоин ты моей руки. Вот тебе, получай!..

И ударил Семена по лицу.

Семен оторопел:

— За что ты ударил? Меня общество выбрало.

Мандрыка не успел ответить, как Пидпара стал между ними и поднял ружье:

— Расступитесь там, поскорей!

Народ отхлынул назад, словно плеснула волна, и одновременно ахнули люди и ружье.

Окутанный кисеей белого дыма, Семен согнулся и схватился за бок.

— Ой, братцы, за что же мне такое?

Он шатался и безумными глазами искал страшной разгадки на серых лицах, живой стеной нависших с обеих сторон.

Там не было разгадки и не было надежды. Тогда животный страх заставил его подняться, и он бросился бежать, ничего не видя перед собой, истекая кровью, которая красила ему пальцы и стекала по штанам на землю.

Олекса Безик догнал Семена и ударил сзади колом. Высокое тело сломилось пополам, как складной нож, и повалилось на землю.

Панас Кандзюба уже был тут. Беспомощное тело, еще теплое, которое так покорно легло к его ногам, всколыхнуло в нем ненависть, какой он не испытывал к живому. Его охватило непреодолимое желание заставить страдать, втоптать в землю, уничтожить. Без надобности он выстрелил в Семена и уже хотел ударить тяжелым сапожищем в грудь.

— Довольно, готов! — откликнулся Безик.

Они взяли за ноги тело Семена, оттащили к канаве и бросили в воду.

Все произошло так неожиданно и быстро, что люди окаменели.

Кровь была пролита. Одна только минута отделяла прошлое от только что случившегося, а казалось, что промелькнула вечность, что прошедшее внезапно упало в пропасть и что-то оборвалось и освободилось от пут.

Из толпы решительно отделились Иван Короткий, Дейнека и еще несколько человек и стали рядом с Пидпарой, готовые на все.

Пидпара вытянулся во весь рост:

— Хома Гудзь тут? Выходи!

Головы повернулись, и тревожно-жестокие взоры скрестились, как мечи.

— Где Хома Гудзь?

— Нет. Не пришел.

На минуту легла тишина и натянулась, как струна. Кого теперь? Чье последнее дыхание вылетит из уст, на чью голову упадет смерть, как камень? Было слышно, как дышала толпа.

— Прокоп Кандзюба!

— Как? Прокоп Кандзюба? А его за что? Его ж выбрало общество?

Староста объяснил:

— Я за ним послал. Он сейчас будет.

— Хорошо. А пока... Андрий Волык! Ведите!

— Волык... Андрий...— прокатилось эхо.— Тут... вот он...

— Ой, боже, в чем он перед вами виноват? — кричала Маланка.— Не трогайте его!

Ее голос заглушило тонкое, резкое, неумолкаемое верещание, похожее на визг поросенка под ножом, и только изредка вырывались отдельные слова. Не хотелось верить, что это человеческий голос.

Толпа тем временем двигалась, кипела и выбросила из себя, как похлебка пену, сухую, растрепанную фигуру калеки.

— Иди... иди... вот он... вот тут... Не поможет.

Его толкнули, и он упал на колени перед Максимом, бледный, весь измятый, беспомощный, как чучело в конопле, с культяпкой вместо руки.

У него на губах еще бился крик:

— Смилуйтесь... мужики... я ни в чем не виноват.

Он поклонился, коснувшись лбом земли.

Максим поставил Андрия на ноги.

— Крестись.

Андрий сейчас же послушно поднес ко лбу искалеченную руку.

— Бейте его.

Так он и упал. С ним покончили сразу.

И снова по кровавой дороге потащили тело к воде.

Но сейчас же принуждены были бросить. Их остановил шум. Толпа содрогнулась от глухого стона ужаса, от шума поднятых рук.

— Смотрите... вон там... вон там... встает... он еще жив... Семен... Семен...

В канаве из воды поднялась спина, как островок, на мгновение поднялась рука, словно ловила воздух, и снова упала. Еще два-три движения, колебания — и длинная фигура разогнулась медленно и закачалась на нетвердых ногах, как привидение в черной сетке стекающих вод. Большие Семеновы руки, будто рачьи клешни, напрасно искали, за что бы ухватиться.

— Он выйдет!.. Он сейчас выйдет из воды!..

Те, которые волокли тело Андрия, вскочили в воду и одним ударом топора уложили Семена назад на место.

И снова тишина сдавила сердце в кулак, снова болезненная жажда кровавого слова превратила минуту в вечность. Чья теперь очередь? Кого позовет смерть? Каждое новое имя давало остальным возможность передохнуть во время короткой отсрочки.

Однако напряженную тишину ничто не нарушало. Пидпара шепотом советовался с Максимом, и только за плечами толпы билось и разрывалось причитанье Маланки да женский плач.

Внезапно все встрепенулось, ожило. Толпа вздохнула огромной грудью, и словно рябь пробежала по ней, как по воде.

— Ведут! Прокоп идет!

Прокоп подходил спокойный и деловитый, как всегда. Так же, как всегда, аккуратно лежала на нем одежда; как обычно, медленны были его движенья. И невероятным казалось, что этот человек идет на смерть. Вот сейчас подойдет, остановится, достанет из кармана засаленную тетрадку и прочитает обществу, сколько вспахал, засеял и что продал. Иначе не могло и быть.

Все глаза вонзились в него. А он спокойно приближался. Ему попалось под ноги пятно свежей крови. Он заколебался на мгновенье, точно боялся вступить на кровавую дорогу, побледнел и поднял глаза. Они остановились на ружьях, вилах, топорах, на Пидпаре и группе людей, уже стоявших наготове. Он понял.

Однако поздоровался.

Пидпара махнул на него остриями бровей.

— Почему сам не пришел? Еще посылать за тобой... Готовься. Дашь ответ перед богом.

— Разве ты поп? Я дам ответ обществу. Оно выбирало меня.

— Поздно уже, братику. Сейчас помрешь.

— За что?

— Некогда разговаривать с тобой. Сам знаешь. Быстрее говори, что хочешь сказать.

— Общество так присудило?

— Общество.

Прокоп взглянул вокруг. Рядом с Пидпарой стояли Олекса Безик, Иван Короткий, Александр Дейнека, дядя Панас. Все единомышленники.

— И вы против меня? Что я сделал?

Они молчали.

Спасенья не было.

Дядя Панас прикоснулся к его плечу:

— Может, позвать Марию?

Прокоп безнадежно махнул рукой.

— Позовите.

Она едва протиснулась сквозь толпу — в новом жестком кожухе, в который кутала ребенка, и сейчас же упала на оба колена на мокрую от крови землю.

— Помилуйте нас, пан староста, и вы, честной мир... Если б его не выбрали, он бы там не был.

Она кланялась низко, вместе с ребенком, то в одну, то в другую сторону.

— Довольно, Мария... вставай...— останавливал ее Прокоп.— Слушай, Мария...

И на минуту замолчал. Забыл все сразу.

— Слушай, Мария... Вот что... лошадь продайте... зачем она вам...

— Ой боже! — голосила Мария.

— Молчи. Из тех денег отдай десятку Пилипу, я у него брал... хлеб, как намолотишь, не продавай, своя мука... мою одежу оставь сыну, вырастет — сносит...

— Скорей там,— торопился Пидпара.

— Ой! — голосила Мария.

— Кланяйся маме... пусть простят... ну и все. И ты прости.

Он трижды, как перед говением, поцеловался с нею, приложил холодные губы ко лбу ребенка.

— Готов? — спрашивал Максим.

— Еще у меня деньги общественные... ключи.

Он полез за голенище и вытащил оттуда тряпицу.

— Посчитайте... Тридцать восемь рублей и двенадцать копеек.

Потом вспомнил:

— Еще две копейки.

И вынул из кармана вместе с ключами.

Максим взял.

— Чего хочешь еще?

— Позвольте спять жупан.

Он расстегнулся и остался в одной сорочке.

Вокруг него сочувственно шумели:

— Добрый жупан!

— Жаль было б запачкать кровью.

Пидпара забивал патрон в ружье, остальные ждали наготове.

— Стойте! — остановил их Панас Кандзюба.— Я сам.

Он все еще топтался около Прокопа.

— Крепись, сынок. Служил до сих пор миру, послужи ему напоследок. Страшно нам... войско идет... не всем быть в ответе... тебе заплатит бог... Перекрестись.

Прокоп перекрестился.

Мария все голосила и рвала на себе кожух. Ее оттащили в толпу.

— Прощайся, сынок...

Прокоп поклонился на все четыре стороны.

— Простите меня, мужики... Может, перед кем в чем провинился. Прощайте...

— Бог простит... Прости и нам...

Панас Кандзюба снова прикоснулся к племяннику:

— Куда тебе стрелять?

— Стреляйте в рот.

Белый, как сорочка на нем, он старался раскрыть рот, но не мог. Нижняя челюсть тряслась, твердая и неподвижная, точно деревянная.

Панас приставил ружье почти к самому лицу и выстрелил.

А в ответ на выстрел лицо плюнуло струйкой крови и залило Панасу руки и грудь.

Прокоп упал на колени. Пидпара добил его сзади.

Народ пьянел от запаха крови, смертного крика, запаха пороха. А Гуща? А Хома Гудзь? А Иван Редька? Как! Он еще жив.

Однако ни Хомы, ни Гущи не было. Они куда-то исчезли. Пидпара послал желающих искать их.

Старавшихся потихоньку скрыться за спинами остальных уводили в сборню. Оттуда их выпускали поодиночке между двумя рядами, и пуля или кол их приканчивали. Так погибли

Редька-младший с братом и Савва Гурчин,— последний за то лишь, что когда-то разбил окна у Гаврилы, тестя Пидпары.

Трупы мокли в канаве, точно конопля, и кровью окрашивали воду, а над народом протянулись полосы синего дыма, будто руки упыря искали жертвы.

Короткий день кончился. Ветер развеял дым, рассеял последнее теплое дыхание убитых, разогнал тучи. С черного поля он несся дальше в черную безвесть и колыхал звезды, сверкавшие, как мелкое монисто, в кровавых водах канавы...

Маланка едва дотащилась до своей хаты. Упала впотьмах на лавку и опустила на колени бессильные руки. Весь день была на ногах, весь день вбирала в себя муки и кровь и стольких людей похоронила в сердце, что оно наполнилось мертвецами, как кладбище. Даже онемела. Нет ни страха больше, ни жалости, она вся странно опустошенная, лишняя на свете и ненужная. Хорошо еще, что темно, ведь глаза ее не могли больше ничего вместить. Она ничего не хочет. Лишь бы темно было, как сейчас, и тихо.

Все от нее бежит, все отвернулись от нее. Был у нее Андрий—весь век бранилась с ним, а теперь нет уж и Андрия. Лелеяла мечту о земле, а земля восстала против нее, враждебная, жестокая, взбунтовалась и ушла из рук. Как марево, поманила и, как марево, исчезла. Лежит холодная и сосет теперь кровь...

Маланке ничего не нужно. Лишь бы темно было и вечно длилось молчание, как в могиле.

Скрипнула дверь.

— Кто там?

— Я.

Странно. Прожила жизнь, а она вдруг провалилась в бездну. Хотя бы след оставила, хоть бы память какую. Все охватил мрак. Все черно. Даже нынешний день отодвинулся далеко, так далеко, что кажется давним, давно забытым сном. Было ли это сегодня, или ничего не было? Одно только отчетливо светлеет в темноте: отрезанные пальцы Андрия. Три желтых обрубка в машинном масле с налипшим песком. Искала, где-то должен был быть четвертый, и не нашла. Что бы поискать лучше!..

— Где ты была?

А пальцы извивались перед глазами, как черви. Синие ногти мутно блестели, как мертвый глаз, пожелтевшая кожа

сморщилась, и между морщинами чернела грязь от работы... Маланка их похоронила, только забыла где. Голова у нее начала болеть оттого, что не могла вспомнить.

— Где ты была?

— Марка спасала.

— Убежал?

— Убежал.

— А отца убили...

Больше не было слов. Ничто уже не будило черной тишины, вливавшейся сквозь окна в хату.

Тяжелым холодным сном спала за хатой земля, а высоко над ней трепетали звезды, точно в аквариуме неба играли золотые рыбки.

На рассвете казаки вступили в село...

Сентябрь 1910 г.
Чернигов

НА КАМНЕ

Акварель

Из единственной на всю татарскую деревню кофейни хорошо было видно море и серые пески берега. В открытые окна и двери на длинную с колонками веранду так и врывалась ясная голубизна моря, уходящая в бесконечную голубизну неба. Даже душный воздух летнего дня принимал мягкие голубоватые тона, в которых тонули и расплывались контуры далеких прибрежных гор.

С моря дул ветер. Соленая прохлада привлекала гостей, и они, заказав кофе, устраивались у окон или садились на веранде. Даже сам хозяин кофейни, кривоногий Мемет, предупредительно угадывая желания гостей, кричал своему младшему брату: «Джепар... бир каве... эки каве» [1],— а сам высовывался за дверь, чтобы освежиться влажным холодком и снять на миг с бритой головы круглую татарскую шапочку.

Пока красный от духоты Джепар раздувал жар в печи и постукивал по кофейнику, чтобы вышел хороший «каймак» [2], Мемет вглядывался в море.

— Будет буря! — проговорил он, не поворачиваясь.— Ветер свежеет — вон на лодке убирают паруса.

Татары повернули головы к морю.

На большом черном баркасе, который, казалось, поворачивал к берегу, действительно убирали паруса. Ветер надувал их, и они вырывались из рук, как большие белые птицы; черная лодка наклонилась и боком легла на синюю волну.

— К нам поворачивает,— отозвался Джепар,— я даже узнаю лодку — это грек привез соль.

---

[1] Одна чашка кофе, две чашки кофе. *(Прим. автора.)*

[2] Кофейная пена. *(Прим. автора.)*

Мемет тоже узнал лодку грека. Для него это имело значение, так как, кроме кофейни, он держал лавочку, также единственную на все селение, и был мясником. Значит, соль была ему нужна.

Когда баркас приблизился, Мемет оставил кофейню и отправился на берег. Гости поторопились допить свой кофе и двинулись за Меметом. Они пересекли крутую узкую улицу, обогнули мечеть и по каменистой тропе спустились к морю.

Синее море волновалось и пеною кипело у берега. Баркас подпрыгивал на месте, плескался, как рыба, и не мог пристать к берегу. Седоусый грек и молодой батрак — дангалак [1], стройный и длинноногий, выбивались из сил, налегая на весла, однако им не удавалось пристать к берегу. Тогда грек бросил в море якорь, а дангалак начал быстро разуваться и закатывать выше колен желтые штаны. Татары переговаривались с берега с греком. Синяя волна молоком закипала у их ног, а потом таяла и шипела на песке, убегая в море.

— Ты уже готов, Али? — крикнул грек дангалаку.

Вместо ответа Али перекинул голые ноги через край лодки и прыгнул в воду. Ловким движением он принял от грека мешок с солью, положил на плечо и понес на берег.

Его стройная фигура в узких желтых штанах и синей куртке, здоровое, загорелое от морского ветра лицо и красный платок на голове прекрасно вырисовывались на фоне синего моря. Али сбросил на песок свою ношу и снова вернулся в море, погружая мокрые розовые икры в легкую и белую, как взбитый белок, пену, а потом обмывая их в чистой синей волне. Он подбегал к греку и должен был ловить миг, когда лодка становилась вровень с его плечом, чтобы удобно было принять тяжелый мешок. Лодка билась на волне и рвалась с якоря, как пес с цепи. Али все бегал от лодки к берегу и назад. Волна догоняла его и бросала ему под ноги белую пену. Порой Али пропускал удобный момент и тогда хватался за борт лодки и поднимался вместе с нею вверх, словно краб, прилипший к борту корабля.

Татары собирались на берегу. Даже в деревне, на плоских кровлях домов, появлялись, несмотря на жару, татарки; с берега они казались яркими цветами на клумбах.

Море все больше теряло спокойствие. Чайки срывались с одиноких прибрежных скал, грудью припадали к волне и плакали над морем. Море потемнело, переменилось. Мелкие волны

---

[1] Гребец *(татар.)*.

сливались и, словно глыбы зеленоватого стекла, незаметно подкрадывались к берегу, падали на песок и разбивались в белую пену. Под лодкой клокотало, кипело, шумело, и она подскакивала и прыгала, будто куда-то неслась на белогривых зверях. Грек часто оборачивался и с тревогой поглядывал на море. Али еще быстрее бегал от лодки на берег, весь забрызганный пеной. Вода у берега начала мутиться и желтеть; вместе с песком волна выбрасывала со дна моря на берег камни и, убегая назад, волочила их по дну с таким шумом, будто там что-то огромное скрежетало зубами и ворчало. Спустя какие-нибудь полчаса прибой уже перескакивал через камни, заливал прибрежную дорогу и подбирался к мешкам с солью. Татары вынуждены были отступить назад, чтобы не замочить чувяк.

— Мемет!.. Нурла!.. помогите, люди, а то соль подмокнет!.. Али! иди же туда,— хрипел грек.

Татары зашевелились, и, пока грек танцевал вместе с лодкой на волнах, тоскливо поглядывая на море, соль была перенесена в безопасное место.

Тем временем море наступало. Монотонный, ритмичный шум волн перешел в грохот. Сперва глухой, как тяжелый храп, а потом сильный и короткий, как далекий выстрел орудия. В небе серой паутиной проносились тучи. Взволнованное море, уже грязное и темное, налетало на берег и покрывало скалы, по которым стекали потоки грязной, пенистой воды.

— Ге-ге!.. будет буря! — крпчал Мемет греку.— Вытаскивай лодку на берег.

— А, что говоришь?..— хрипел грек, силясь перекричать шум прибоя.

— Лодку на берег! — крикнул что есть силы Нурла.

Грек беспокойно завертелся и среди брызг и рева волн начал распутывать цепь, связывать веревки. Али кинулся к цепи. Татары снимали чувяки, закатывали штаны и спешили на помощь. Наконец грек поднял якорь, и черный баркас, подхваченный грязной волной, окатившей татар с ног до головы, двинулся к берегу. Кучка согнувшихся мокрых татар среди клекота пены с криком вытаскивала из моря черный баркас, будто какое-то морское чудовище или огромного дельфина. Но вот баркас лег на песок. Его привязали к колу. Татары отряхивались и взвешивали с греком соль.

Али помогал, хотя иногда, когда хозяин увлекался разговором с покупателями, поглядывал на незнакомое селение. Солнце стояло уже над горами. По голому серому выступу скалы лепились татарские домики, сложенные из дикого камня, с

плоскими земляными кровлями, один над другим, будто сложенные из карт. Без оград, без ворот, без улиц. Кривые тропки вились по каменистому склону, исчезали под кровлями и появлялись где-то ниже у каменных ступенек. Все было черно и голо. Только на одной кровле каким-то чудом выросла тонкая шелковица, а снизу казалось, она подымает темную корону в синеве неба.

Зато за деревней, в далекой перспективе, открывался волшебный мир. В глубоких долинах, зеленых от винограда и полных седой мглы, теснились каменные громады, розовые от вечернего солнца или синеющие густыми лесами. Круглые лысые горы, словно гигантские шатры, отбрасывали от себя черную тень, а далекие вершины, серо-голубые, казались зубцами застывших туч. Тем временем солнце спускало из-за туч на дно долины косые пряди золотых нитей, и они опутывали розовые скалы, синие леса, черные тяжелые шатры и зажигали огни на острых вершинах.

Рядом с этой сказочной панорамой татарская деревня казалась грудой дикого камня, и только вереница стройных девушек, с высокими кувшинами на плечах возвращавшихся от чишме [1], оживляла каменную пустыню.

На краю деревни, в глубокой долине, между волошскими орехами пробегал ручей. Морской прибой остановил его бег, и вода разлилась между деревьями, отражая в себе их зелень, пестрые халаты татарок и голые тела детворы.

— Али,— крикнул грек,— помогай ссыпать соль!..

За ревом моря Али едва услышал хозяина.

Над берегом от мелких брызг висел соленый туман. Взбаламученное море свирепело.

Уже не волны, а буруны вставали на море, высокие, сердитые, с белыми гребешками, от которых с треском отрывались длинные лоскуты пены и взлетали вверх. Буруны шли неустанно, подминали под себя встречные волны, перескакивали через них и заливали берег, выбрасывая на него мелкий серый песок. Всюду было мокро, стояли лужицы, в ямках задерживалась вода.

Вдруг татары услышали треск, и в тот же миг вода полилась им в чувяки. Это сильная волна подхватила лодку и бросила ее на кол. Грек подбежал к лодке и ахнул: в лодке была дыра. Он кричал от горя, бранился, плакал, но рев моря покрывал его стенанья. Пришлось еще дальше вытягивать лодку

---

[1] Фонтан. *(Прим. автора.)*

и снова привязывать. Грек был так опечален, что, хотя наступила ночь и Мемет звал его в кофейню, он не пошел в деревню и остался на берегу. Словно привидения, блуждали они с Али среди водяной пыли, сердитого грохота и крепкого запаха моря, которым они пропахли насквозь. Месяц давно уже взошел и перепрыгивал с тучи на тучу; при его свете линия берега белела от пены, будто покрытая первым пушистым снегом. Наконец Али, соблазненный огнями деревни, уговорил грека пойти в кофейню.

Грек один раз в год развозил соль по прибрежным крымским селениям и обычно оставлял ее в долг. На другой день, чтобы не терять времени, он приказал Али чинить лодку, а сам горной тропой пошел по деревням собирать долги. Прибрежная тропа была затоплена, и со стороны моря деревня была отрезана от мира.

Уже с полудня волна начала спадать, и Али принялся за работу. Ветер трепал красный платок на голове дангалака, а он работал около лодки и мурлыкал монотонную, как прибой, песню. В соответствующий час, как добрый мусульманин, он расстелил платок на песке и благоговейно стал на колени. Вечером он разложил у моря костер, сварил плов из подмоченного риса, который оставался в лодке, и даже собирался ночевать у лодки, но Мемет позвал его в кофейню. В ней лишь раз в год, когда наезжали покупатели винограда, было трудно найти место, а теперь — свободно и просторно.

В кофейне было тихо. Джепар дремал около печи, увешанной сверкающей посудой, а в печи дремал и подергивался пеплом огонь. Когда Мемет будил брата криком: «Каве!» — Джепар вздрагивал, срывался, хватал мехи, чтобы разбудить огонь. Огонь в печи скалил зубы, метал искры и поблескивал на медной посуде, а по дому распространялся душистый запах свежего кофе. Под потолком гудели мухи. За столами, на широких, обитых кумачом скамьях, сидели татары: в одном месте играли в кости, в другом — в карты, и всюду стояли маленькие чашечки с черным кофе. Кофейня была сердцем деревни, где сосредоточивались все интересы жителей, все то, чем жили люди на камне. Там заседали самые знатные гости — старый суровый мулла Асан, в чалме и длинном халате, который мешком висел на его костлявом, одеревеневшем теле. Он был темный и упрямый, как осел, и за это его все уважали. Был здесь и Нурла-эффенди, богатырь, у которого была рыжая корова, плетеная арба и пара буйволов. Был и зажиточный юзбаш (сотник), владелец единственной на все село

лошади. Все они были родичи, как и все обитатели этой маленькой заброшенной деревни, хотя это не мешало им разделиться на два враждебных лагеря. Причиной их вражды был небольшой источник, который бил из-под скалы и стекал ручейком как раз посредине деревни, между татарскими огородами. Только эта вода давала жизнь всему, что росло на камне, и если одна половина деревни пускала ее на свои огородики — другая с болью в сердце глядела, как солнце и камень губят их лук. У двух самых богатых и наиболее влиятельных жителей селения были огороды на разных сторонах ручья: у Нурлы — на правой, у юзбаша — на левой. И если последний пускал воду на свою землю, Нурла запруживал поток выше, отводил его к себе и давал воду своему участку. Это злило всех левобережных, и они, забывая родственную связь, отвоевывали право на жизнь для своего лука и разбивали головы один другому. Нурла и юзбаш стояли во главе враждующих партий, хотя партия юзбаша будто бы брала верх, так как на ее стороне был мулла Асан. Эта вражда сказывалась и в кофейне: если сторонники Нурлы играли в кости, то юзбашевцы, с презрением глянув на них, садились за карты. В одном враги сходились: все пили кофе. Мемет, у которого не было огорода и который, как коммерсант, стоял выше партийных раздоров, все ковылял на кривых ногах от Нурлы к юзбашу, успокаивал и мирил. Его круглое лицо и бритая голова лоснились, как у освежеванного барана, а в хитрых глазах, всегда красных, мелькал неспокойный огонек. Он вечно был чем-то обеспокоен, о чем-то вечно думал, вспоминал, что-то подсчитывал и все время бегал то в лавку, то в погреб, то снова к гостям. Иногда он выбегал из кофейни, задирал вверх лицо к плоской кровле и звал:

— Фатьма!..

И тогда от стен его дома, подымавшегося над кофейней, отделялась, словно тень, женщина, завернутая в покрывало, и шла по кровле к самому ее краю.

Он бросал ей наверх пустые мешки или что-либо приказывал резким, скрипучим голосом, коротко и властно, как слуге хозяин, и тень исчезала так же незаметно, как появлялась.

Али один раз видел ее. Он стоял возле кофейни и следил, как тихо ступали желтые туфельки по каменной лестнице, которая соединяла дом Мемета с землей, а ярко-зеленый фередже[1] складками спадал по стройной фигуре от головы до

[1] Паранджа *(татар.)*.

красных шаровар. Она сходила тихо, не спеша, неся в одной руке пустой кувшин, а другой придерживала фередже так, что только большие продолговатые черные глаза, выразительные, как у горной серны, мог увидеть посторонний. Она остановила взор на Али, потом опустила веки и пошла дальше тихо и спокойно, как египетская жрица.

Али показалось, что эти глаза пронзили его сердце, и он понес их с собою.

Над морем, починяя лодку и мурлыча свои дремотные песни, он глядел в эти глаза. Он видел их везде: и в прозрачной, как стекло, и, как стекло, звонкой волне, и в огромном, сверкающем на солнце камне. Они смотрели на него даже из чашечек с черным кофе.

Он часто посматривал на деревню и часто видел на кофейне под одиноким деревом неясную фигуру женщины, стоявшую лицом к морю, будто искавшую свои глаза.

К Али в деревне скоро привыкли. Девушки, возвращаясь от чишме, как бы случайно открывали лица, когда встречались с красавцем турком, краснели, шли быстрее и шептались между собой. Мужской молодежи нравился его веселый нрав. Летними вечерами, тихими и свежими, когда звезды висели над землею, а месяц над морем, Али вынимал зурну, привезенную из-под Смирны, присаживался у кофейни или еще где-нибудь и разговаривал с родным краем печальными, хватающими за душу звуками. Зурна созывала молодежь, конечно, мужскую. Им понятна была восточная песня, и скоро в тени каменных жилищ, затканной синим светом, начинались развлеченья: зурна повторяла одну и ту же мелодию, монотонную, нехитрую, бесконечную, как песня сверчка; даже становилось тошно, под сердцем начинало болеть, и одуревшие татары подхватывали в такт песне:

— О-ля-ля... о-на-на...

С одной стороны дремал таинственный свет черных великанов-гор, с другой — лежало спокойное море, и вздыхало сквозь сон, как маленький ребенок, и трепетало под месяцем золотой дорогой...

— О-ля-ля... о-на-на...

Те, кто смотрел сверху, из своих каменных гнезд, видели иногда протянутую руку, на которую падал луч месяца, или дрожащие в танце плечи и слушали однообразное, назойливое сопровождение зурны:

— О-ля-ля... о-на-на...

Фатьма тоже слушала.

Она пришла с гор. Из далекой горной деревни, где жили иные люди, где были свои обычаи, где остались ее подруги. Там не было моря. Пришел мясник, заплатил отцу больше, чем могли дать свои парни, и забрал ее с собой. Противный, неласковый, чужой, как все люди здесь, как этот край. Здесь нет семьи, нет подруг, доброжелательных людей, это — край света, отсюда нет даже дорог.

— О-ля-ля... о-на-на...

Нет даже дорог, потому что когда море рассердится, то отнимет единственную прибрежную тропу... Здесь только море, всюду море. Утром слепит глаза его синева, днем качается зеленая волна, ночью оно дышит, как больной человек... В хорошую погоду раздражает спокойствием, в бурю плюет на берег, и бьется, и ревет, как зверь, и не дает спать... Даже в дом проникает его острый запах, от которого становится тошно... От него не убежишь, не скроешься, оно везде, оно наблюдает за ней... Порой оно дразнит, покрывается туманом, белым, как снег в горах; кажется, его нет, пропало, а в тумане все-таки бьется, стонет, вздыхает, вот как сейчас,— о!..

Бу-ух!.. бу-бух!.. бу-ух!..

— О-ля-ля... о-на-на...

Бьется под туманом, как ребенок в пеленках, а потом сбрасывает их с себя... Лезут вверх длинные, рваные клочья тумана, цепляются за мечеть, окутывают деревню, заползают в дома, давят на сердце,— даже солнца не видно... Да вот сейчас... вот сейчас...

— О-ля-ля... о-на-на...

Теперь она часто выходит на крышу кофейни, прислоняется к дереву и глядит на море... Нет, не моря она ищет, она следит за красной повязкой на голове чужеземца, словно надеется увидеть его глаза — большие, черные, горячие, какие ей снятся... Там, на песке у моря, зацвел ее любимый цветок — горный шафран.

— О-ля-ля... о-на-на...

Звезды висят над землей, месяц — над морем.

. . . . . .

— Ты издалека?

Али вздрогнул. Голос шел сверху, с крыши, и Али поднял глаза.

Фатьма стояла под деревом, тень от которого укрывала Али.

Он вспыхнул и начал заикаться:

— Из-п-под... Смирны!.. Далеко отсюда...

— Я с гор.

Молчание.

Кровь зашумела у него в голове, как шумит морская волна, и он не мог оторвать глаз от татарки.

— Зачем забрался сюда? Тебе здесь грустно?

— Я бедняк — ни звезды на небе, ни былинки на земле... Батрачу...

— Я слышала, как ты играешь...

Молчание.

— Весело... У нас в горах тоже весело... музыка, девушки веселые... у нас нет моря... А у вас?

— Близко нету...

— Иохтер? [1] И ты не слышишь в доме, как оно дышит?

— Нет, у нас вместо моря — песок... Несет ветер горячий песок, и растут горы, будто верблюжьи горбы... у нас...

— Тсс!..

Она будто случайно показала из-под фередже белое выхоленное лицо и приложила палец с крашеным ногтем к полным и розовым губам.

Вокруг было безлюдно. Синее, словно второе небо, глядело на них море, и только возле мечети мелькнула какая-то женская фигура.

— Ты не боишься, ханым [2], разговаривать со мною? Что сделает Мемет, если нас увидит?

— Что захочет...

— Он нас убьет, если увидит.

— Если захочет...

* * *

Солнца еще не было видно, хотя некоторые вершины уже розовели.

Темные скалы были мрачны, а море лежало внизу под серою дымкою сна. Нурла спускался с Яйлы и почти бежал за своими буйволами. Он торопился, ему было так некогда, что он даже не замечал, что копна свежей травы съезжала с арбы на спины буйволов и рассыпалась по дороге, когда высокое колесо, зацепившись за камень, подбрасывало на ходу плетеную арбу. Черные низкорослые буйволы, шевеля мохнатыми горбами и большими головами, свернули в деревню к своему

---

[1] Нет? *(Прим. автора.)*

[2] Госпожа. *(Прим. автора.)*

двору, но Нурла спохватился, повернул их в другую сторону и остановился у самой кофейни. Он знал, что Мемет там почует, и рванул дверь.

— Мемет, Мемет, кель мунда! [1]

Мемет, заспанный, вскочил на ноги и протирал глаза.

— Мемет! Где Али? — спросил Нурла.

— Али... Али... где-то здесь...— И он окинул глазами пустые лавки.

— Где Фатьма?

— Фатьма?.. Фатьма спит...

— Они в горах.

Мемет вытаращил глаза на Нурлу, спокойно прошел по кофейне и выглянул во двор. На дороге стояли буйволы, обсыпанные травою, и первый луч солнца ложился на море.

Мемет возвратился к Нурле.

— Что тебе надо?

— Ты сумасшедший... Я тебе говорю, что твоя жена убежала с дангалаком... Я видел их, когда возвращался с Яйлы.

Глаза Мемета полезли на лоб. Дослушав Нурлу, он оттолкнул его, выбежал из дому и, шатаясь на своих кривых ногах, полез по ступенькам лестницы.

Он обежал свои комнаты и выскочил на крышу кофейни. Теперь он действительно был как сумасшедший.

— Осма-ан! — крикнул он хриплым голосом, приложив ладони ко рту.

— Са-ли!.. Джепар!.. Бекир! Кель мунда! — Он поворачивался во все стороны и сзывал, как на пожар: — Усе-ейн!.. Мустафа-а!

Татары просыпались и появлялись на плоских кровлях. Тем временем Нурла помогал внизу.

— Асан! Мамут! Зекерия-а-а!..— кричал он не своим голосом.

Тревога летела над деревней, поднималась выше, к верхним домам, скатывалась вниз, прыгая с кровли на кровлю, и собирала народ. Красные фески появлялись отовсюду, сбегая крутыми тропами к кофейне.

Нурла объяснил, что случилось.

Мемет, красный и почти в беспамятстве, молча водил глазами по толпе. Наконец он подбежал к краю кровли и прыгнул вниз ловко и легко, как кот.

---

[1] Иди сюда. *(Прим. автора.)*

Татары гудели. Всех этих родственников, которые вчера еще, споря из-за воды, разбивали друг другу головы, объединяло теперь чувство оскорбления. Была затронута не только честь Мемета, но и честь всего рода. Какой-то паршивый, презренный дангалак, батрак и пришелец... неслыханное дело! И когда Мемет вынес из дому длинный нож, которым резал овец, и, сверкнув им на солнце, решительно сунул за пояс,— род был готов следовать за ним.

— Веди!

Нурла двинулся вперед, за ним, хромая на правую ногу, спешил мясник и вел за собой длинную цепь возмущенных, решительных родичей.

Солнце уже поднялось и жгло камень. Татары поднимались в гору хорошо знакомой им тропою, вытянувшись в линию, как ползущие муравьи. Передние молчали, и только позади соседи изредка перекидывались словом. Нурла шел, напоминая движениями гончую собаку, которая уже чует дичь. Мемет, красный и мрачный, стал заметнее хромать. Хотя еще было рано, серые камни накалились, как в печке. По их голым выпяченным бокам, то круглым, как гигантские шатры, то острым, как застывшие волны, стлались мясистые листья ядовитого молочая, а ниже, туда, к морю, сползал меж синей груды камней ярко-зеленый каперс.

Узкая тропка, едва заметная, как след дикого зверя, порой пропадала среди каменной пустыни или пряталась за выступом скалы. Там было влажно и холодно, и татары снимали фески, чтобы освежить бритые головы. Потом они снова входили в раскаленную печь, душную, серую и залитую слепящим солнцем. Они упорно лезли на гору, подав туловище несколько вперед, слегка покачиваясь на выгнутых дугою татарских ногах, или обходили узкие и черные ущелья, задевая плечом края скал и ставя ноги на край бездны с уверенностью горных мулов. И чем дальше они шли, чем труднее было им преодолевать препятствия, чем сильнее припекало их сверху солнце, а снизу камень, тем больше упорства отражалось на их красных и потных лицах, тем все больше вылезали их глаза на лоб от упрямства. Дух этих диких, бесплодных, голых скал, которые умирали на ночь, а днем были теплы, как тело, ободрял оскорбленных, и они шли защищать свою честь и свое право с непоколебимостью суровой Яйлы. Они торопились. Им нужно было перехватить беглецов, пока те не добрались до соседней деревни Суаку и не скрылись в море. Правда, Али и Фатьма были здесь чужими людьми, не знали

тропинок и легко могли запутаться в их лабиринте, и на это рассчитывала погоня. Однако, хотя до Суаку оставалось немного, их нигде не было видно. Становилось душно, так как сюда, в горы, не долетал влажный морской ветер, к которому они привыкли на берегу. Когда они спускались в ущелье или влезали на гору, мелкие колючие камни сыпались у них из-под ног, и это раздражало их, вспотевших, усталых и злых: они не находили того, что искали, а тем временем каждый из них оставил в деревне работу. Задние немного отставали. Но Мемет рвался вперед с затуманенными глазами и головою, как у разъяренного козла, и, ковыляя, то вырастал, то становился меньше, как морская волна. Они начинали терять надежду. Нурла опоздал — это было очевидно. Но все же шли. Несколько раз извилистый берег Суаку блестел перед ними серыми песками и исчезал...

Неожиданно Зекерия — один из передних — свистнул и остановился. Все посмотрели на него, а он, не говоря ни слова, протянул вперед руки и показал на высокую каменную косу, вдававшуюся в море.

Там из-за утеса на один миг мелькнула красная головная повязка и исчезла. У всех заколотилось сердце, а Мемет тихо зарычал. Они переглянулись; им пришла в голову одна мысль: если бы удалось загнать Али на косу, то его можно будет взять голыми руками. У Нурлы уже был план; он приложил палец к губам, и когда все замолчали, разделил их на три группы, которые должны были окружить утес с трех сторон, с четвертой стороны скала круто обрывалась в море.

Все сделались осторожными, как на охоте, только Мемет кипел и рвался вперед, сверля скалу жадными глазами. Но вот вынырнул из-за камня край зеленого ферадже, а за ним поднимается в гору, словно вырастает из скалы, стройный дангалак. Фатьма шла впереди, зеленая, как весенний куст, а Али, в тесно облегавших длинные ноги желтых штанах, в синей куртке и красной повязке на голове, высокий и гибкий, как молодой кипарис, казался на фоне неба великаном. И когда они остановились на вершине, с прибрежных скал поднялась стая морских птиц и покрыла синеву моря дрожащей сеткою крыльев.

Али, видимо, заблудился и советовался с Фатьмою. Они в тревоге осматривали обрыв, стараясь найти тропу. Вдалеке виднелась спокойная бухта Суаку.

Вдруг Фатьма испугалась и вскрикнула. Ферадже сдвинулось с ее головы и упало, и она с ужасом уставилась глазами

в налитые кровью безумные глаза мужа, которые глядели на нее из-за камня. Али обернулся, и в тот же миг со всех сторон полезли на скалу, цепляясь руками и ногами за острые камни, и Зекерия, и Джепар, и Мустафа — все те, которые слушали его музыку и пили с ним кофе. Они уже не молчали, из их груди вместе с горячим дыханием вырывалась волна смешанных звуков и шла на беглецов. Бежать было некуда. Али выпрямился, уперся ногами в камни, положил руку на короткий нож и ждал. Его красивое лицо — бледное и гордое — дышало отвагой молодого орла.

В это время за ним, над обрывом, билась, как чайка, Фатьма... С одной стороны было ненавистное море, с другой — еще более ненавистный, нетерпимый мясник. Она видела его бараньи глаза, злые синие губы, короткую ногу и острый нож, которым он резал овец. Ее душа перелетела через горы. Родная деревня. Завязанные глаза. Играет музыка, и мясник ведет ее оттуда к морю, как овечку, чтобы зарезать. Она в отчаянии закрыла глаза и потеряла равновесие... Синий с желтыми полумесяцами халат скользнул за скалу и пропал среди крика испуганных чаек.

Татары ужаснулись: эта простая и неожиданная смерть отвлекла их от Али. Али не видел, что произошло позади него. Как волк, водил он вокруг глазами, удивляясь, почему они медлят. Неужели боятся? Он видел перед собою блеск хищных глаз, красные, ожесточенные лица, раздутые ноздри и белые зубы — вся эта волна ярости разом бросилась на него, как морской прибой. Али оборонялся. Он проколол Нурле руку и задел Османа, но в ту же минуту его сбили с ног, и, падая, он видел, как Мемет поднял над ним нож и всадил ему между ребрами. Мемет колол куда попало, яростно, как смертельно оскорбленный, и равнодушно, как мясник, хотя грудь Али больше не поднималась, а красивое лицо обрело покой.

Дело было кончено, честь рода спасена от позора. На камне, под ногами, валялось тело дангалака, возле него — затоптанное и порванное феред же.

Мемет был пьян. Он шатался на кривых ногах и размахивал руками: его движения были нелепы и ненужны. Оттолкнув любопытных, столпившихся над трупом, он схватил Али за ногу и поволок.

За ним двинулись все. И когда они возвращались назад теми же самыми тропами, спускаясь вниз и карабкаясь на гору, прекрасная голова Али, с лицом Ганимеда, билась об острые камни и обливалась кровью. Порой она подскаки-

вала на неровных местах, и тогда казалось, что Али с чем-то соглашается и говорит: «Так, так».

Татары шли за ним и бранились.

Когда процессия наконец вошла в деревню, все плоские крыши покрылись пестрыми группами женщин и детей и казались садами Семирамиды.

Сотни любопытных глаз проводили процессию до самого моря. Там, на песке, совершенно белом от полдневного солнца, лежал, слегка накренившись, черный баркас с пробитым боком, будто дельфин, выброшенный в бурю. Нежная голубая волна, чистая и теплая, как грудь девушки, бросала на берег тонкое кружево пены. Море сливалось с солнцем в радостной улыбке, и она скользила вдаль — по татарским селениям, по садам, по черным лесам и согретым громадам Яйлы.

Все улыбалось.

Без слов, без сговора татары подняли тело Али, положили его в лодку и, сопровождаемые, как стоном морских чаек, тревожными женскими криками, доносившимися из деревни с плоских кровель, дружно сдвинули лодку в море.

Прошуршала по камешкам лодка, плеснула волна, качнулся на ней баркас и — остановился.

Он стоял, а волна играла вокруг него, плескала в борт, брызгала пеной и тихо, едва заметно, относила в море.

Али плыл навстречу Фатьме...

Январь 1902 г.

В ГРЕШНЫЙ МИР

Новелла

Там, за горами, давно уже день и сияет солнце, а здесь, на дне ущелья, царит еще ночь. Простерла синие крылья и тихо укрыла вековые боры, черные, хмурые, неподвижные, которые обступили белую церковку, словно монахини малое дитя, и взбираются кольцом по скалам все выше и выше, один за другим, один над другим, к клочку неба, такому маленькому, такому здесь синему. Бодрый холод наполняет эту дикую чащу, холодные воды стремятся по серым камням, и пьют их дикие олени. В синих туманах шумит Алма, и сосны купают в ней свои косматые ветви. Спят еще великаны-горы под черными буками, а по серым зубцам Бабугана, как густой дым, ползут белые облака.

На дне ущелья тихо, пасмурно. Лишь слабые, жалобные звуки монастырского колокола печально раздаются в долине...

Монастырь уже не спит. Из кельи матушки игуменьи выбежала келейница и металась по подворью как угорелая. Сестра Аркадия, скромно опустив ресницы над постным лицом, спешила к матушке с букетом роз, еще мокрых от росы; ее провожали недобрые взгляды встречных монашенок. Из летней кухни столбом валил дым, и послушницы в темных одеждах бродили по двору, ленивые и заспанные. В белой часовенке, где в каменную чашку стекала чистая, целебная вода, ровно горели, словно золотые цветы, свечи, зажженные кем-то из богомольцев.

Две послушницы гнали коров на пастбище. Старый монах, оставшийся на приходе с того времени, как монастырь был превращен в женский, худой, сгорбленный, иссохший, точно вырытый из земли, тащился в церковь. Еле передвигая дрожащие ноги и стуча по камням посохом, который ходуном ходил

в его сухой руке, он метал на коров последние искры из потухших глаз и бранился:

— У-у, проклятые!.. нагадили... женского пола!..

И тыкал вслед им посохом.

Послушницы посмеивались.

Из окна матушки казначеи выглянуло бледное, виноватое лицо с большими глазами, окруженными синевой, с растрепанными волосами, без клобука.

— Опять матушке Серафиме видение было,— тихо сказала младшая послушница, переглянувшись со старшей.

Синие глаза у старшей грустно улыбнулись.

Гнали стадо высоко, к вершинам, на горное пастбище. Слегка покачивая рыжими боками, взбирались по крутым тропинкам коровы, за ними шли сестры. Впереди младшая — Варвара, крепкая, коренастая девка, за ней Устина, тонкая, хрупкая, в черной одежде, совсем как монахиня. Лес обступал их — холодный, печальный и молчаливый. На них надвигались черные буки, одетые трауром теней, седые туманы со дна обрывов, росистые травы, холодные скалы. Над головами катились волны холодной черной листвы. Даже синие колокольчики сеяли холод на травы. Каменная дорожка, словно тропа дикого зверя, петляла по склонам горы туда и сюда, все выше и выше. Пестрые мраморные стволы буков сползали с дороги вниз, точно обваливались, и расстилали темную крону уже у самых ног. Цепкие корни сплетались в клубки и ползли по горам, как змеи. Монашенки шли дальше. С одного места им удалось увидеть дно ущелья, маленькую церковку и белые домики, где жили сестры. В церковке пели. Женские голоса, чистые, высокие и сильные, словно ангельские хоры, тянули священную песню. Она так странно звучала вверху, под черным куполом.

Устина остановилась. Затихшая, просветленная, слушала пение.

— Пойдем,— сказала Варвара,— уже поздно... Матушка игуменья велела малину собирать, когда возвратимся из лесу...

Устина вздохнула.

— Когда-то и я так пела... пока голос не пропал от простуды...— грустно сказала она.

И понесла в груди дальше, в черную тишину леса, напевы, которых не могла уже извлечь из слабого горла.

А тишина, правда, стояла немая. Камешек, скатившись из-под копыта коровы, сухая ветка, задетая ногой, издавали такой треск, словно что-то огромное рушилось в горах и

рассыпалось. Эта тишина раздражала: хотелось вскрикнуть, зашуметь, хотелось ее спугнуть.

Дальше попадались уже сосны, старые, рыжие, косматые. Их длинные ветви спускались в пропасти, как руки. По сухим иглам скользила нога. Сосновые шишки, большие и пустые, катились под ноги или глядели из травы десятками глаз на поникшие головки синих колокольчиков.

— А матушка игуменья и сегодня сердитая,— сказала Варвара.— Давно ли помирилась с матушкой казначеей... плакали, целовались, и снова подняли шум... Зовет вчера к себе матушку Серафиму: «Ты, говорит, снова за свое? Ты снова против меня бунтуешь сестер? А-а! я знаю, они тебя больше любят, чем меня,— я, видите ли, деспот, мучу всех, на работе изнуряю, голодом морю... Я лучше ем, я себе рыбу покупаю, я все варенье с чаем съела... я... я... Я всем покажу! Я здесь игуменья... Всех прогоню, расточу мерзкое племя, рассею по свету...» А сама пожелтела, палкой стучит об пол, и клобук, прости господи, съехал набок... Ну, матушке Серафиме сразу ясно стало, чьих рук это дело. Она и говорит: «Это все Аркадия наплела...» Зовут Аркадию. Та — глаза в землю, голову набок — и я не я... это, верно, Секлета... Зовут Секлету... Та плачет, клянется... Потом Секлета при всех сестру Аркадию лгуньей и шпионкой назвала... Чуть не подрались...

— Да слышала... Сестра Секлета дурно поступила... Для бога все надо стерпеть...

Устина закашлялась.

— Не очень ли быстро идем?.. Надо терпеть... Не стерпишь, если Аркадия на всех плетет матушке игуменье! Та за работой стояла, а эта ленится, та есть не хочет за трапезой, отдельно в келье свое ест... а эта матушку ключницу судила,— скупая, мол... Ну, матушка ключница гневается, а обеды еще хуже, отощаешь на работе... Перессорятся все, перегрызутся, огнем друг на друга пышут, все злые... Слова не промолвят друг другу... Вот как Секлета с Мартой... Полгода не разговаривают... враги лютые... По целым дням кипит у нас, как в пекле,— господи, прости прегрешения мои! — а матушка игуменья... Ах! Как здесь хорошо!

Послушницы остановились.

Пока они взбирались наверх, ущелье все глубже и глубже уходило у них из-под ног, врастало в землю, в черную пропасть, а горы тем временем росли, вырастали и разворачивались. Из-под сосен, как будто из окон, виднелись далекие и близкие горы. Словно острова в море тумана. Уже начало

рассветать. Воздух стал прозрачным и чистым, и буки зазеленели в нем, как рута. А там, где солнце коснулось верхушек деревь, листья вспыхнули золотисто-зеленым огнем и стали прозрачными, как стекло. Казалось, они звенели. Рядом курилась туманом тяжелая гора, поросшая соснами, задымленная, вся спаленная огнем, который лизал еще красным языком верхушки стволов. А там снова буки и грабы, залитые синей тьмой ночи, словно увитые грезами, сбегали, как лестница Иакова, с неба в долину и сливались с далекими тенями гор, прозрачными и легкими, как дым кадильниц. И вся эта гармония линий и красок, этот предутренний сон неба, эта песня тишины поднимали душу в небо.

— Какая красота, господи! — вздохнула Варвара.

— Хорошо... а осенью лучше,— ответила Устина.

Она любила осеннюю пору, когда воздух так прозрачен, что горы, казалось, сдвигаются и стоят, как стены храма. Лес одевался тогда желтой и красной листвой, а солнце обращало ее в золото и огонь. Устине казалось тогда, что это сонмы священников, в золотых ризах, с зажженными свечами в руках, совершают богослужение, а купы черных сосен, словно сестры-монахини, благоговейно склонившись, слушают святые слова. Она слышала тогда песнопения.

Она любила холодные осенние ночи, полные лунного света, когда ревели в далеких горах олени и вели смертельные битвы, а горные леса, как море, катили черные валы, по которым плыла, словно лодочка с парусом, белая церковка.

Так страшно было в такие ночи.

Послушницы двинулись дальше, а за ними двинулись и горы, меняя формы и краски.

Коровы зашли уже далеко вперед, и надо было догнать их. Лес становился все гуще, чернее. Всюду громоздились сосны, буки уже не встречались. Тропинка делалась круче. Усыпанная хвоей, от которой шел прелый дух, она преграждалась подчас огромным деревом, вывороченным с корнем, сухим и колючим. Травы пахли чабрецом и ясенцем.

Вдруг в чаще леса что-то мелькнуло и тут же исчезло. Словно ожили ветки. Это промчались стройные, тонконогие серны. И снова все тихо. Снова черный купол и влажный холод.

— Ты говоришь: терпи...— начала снова Варвара.— А где же правда? Вот хотя бы и ты. Такая тихая, спокойная, уже рясофорная, а ведь есть враги... Все знают, что ты больна, не можешь есть нашу пищу. А матушке игуменье говорят, что ты

привередничаешь... Кто на задних лапках стоит, льстит ей, тот и в милости, на тяжелую работу не ходит. А тебя посылают...

Устина молчала.

Коровы заревели,— должно быть, почуяли стадо. Пастбище было уже близко. Надо было спешить. И в самом деле.

Лес вдруг поредел. Сосны будто расступились и окружили поляну, свежую, хмурую, куда, как на ложе, падали синие росы. Древний дуб, посаженный посреди поляны святым Косьмою, черный, косматый, словно заменив святого, издали приветствовал гостей, просил отдохнуть.

Коровы бродили по пастбищу, а черные буйволицы, маленькие и горбатые, оставив еду, повернули к гостям свои мохнатые шеи и смотрели на них красными, злыми глазами.

Под дубом варил что-то на костре пастух.

Теперь можно было возвращаться домой. Но послушницам не хотелось. Разгоряченные крутыми тропинками, опьяненные воздухом гор, они были веселы.

— Поднимемся дальше наверх,— просила Варвара.

Она вся раскраснелась, ощутила вкус свободы и совсем забыла о малине.

Устина не противилась.

Вверху лес был гуще и еще чернее. Горы куда-то исчезли. Настала ночь. Косматые ветви, словно черные медвежьи лапы, протягивались над ними, ловили за спины и били по лицу. Варвара с Устиной то и дело кланялись им, точно принимали благословение. Запыхались, вспотели, едва переводили дух и все же карабкались дальше. Проходили мимо полян со свежевытоптанной травой, где еще этой ночью лежали олени; проходили мимо невиданных в долине цветов, серых мхов, которыми, как косами, обросли деревья. Карабкались все дальше. Еще немного... вот уже скоро... еще...

И вдруг остановились. Ослепли. Море света залило им глаза. Дрожащие, взволнованные, они раскрыли глаза. Перед ними лежал тот далекий, грешный мир, из которого они бежали когда-то в тихую, черную яму,— заманчивый, веселый, весь в сиянии, как мечта, как сам грех! Далекое море открыло широкие объятия зеленой земле и радостно трепетало, словно живая небесная лазурь. А земля млела и смеялась в объятиях, словно женщина, упоенная страстью, и блестели на солнце ряды белых домов, как мелкие зубы ее, а зеленые долины стлались, как косы. И весь этот чудный край плыл куда-то в море теплого света в широком, беспредельном голубом просторе... С левой стороны грузно лежал на земле угрюмый Ча-

тырдаг, а с правой громоздилась на небо чертова лестница Бабугана, нагретые скалы, серые, голые, в чем мать-земля родила.

Послушницы застыли, как очарованные. И в то время как Варвара слушала какие-то голоса, сладкие, искусительные, какие-то призывы грешного мира, душа Устины раскрывалась в синем воздухе и пела молитву тем чистым голосом, какой не могло уже издать ее слабое горло.

Варвара опомнилась первая.

— А наша малина! — вскрикнула она испуганно, и этот возглас сбросил их внезапно с горы в долину, к белой церковке и тесным кельям.

Снова черная тьма, снова море листвы, та же дорога. И пока послушницы мчались по крутым тропинкам, как дикие серны, соседние горы, залитые уже солнцем, зеленые и черные, высокие и чуть пониже, скакали за ними, росли и падали, исчезали и вновь появлялись, чтобы гнаться за ними. Варвара и Устина добежали до церкви.

Слоняются по подворью монахини, словно лунатики. Туда и сюда. Из кельи в кухню, из кухни в келью. Словно ищут то, чего не теряли. Солнце уже припекает. Стоят богомольцы. Одна монашенка кричит другой:

— Сестра Макрина, неси самовар гостям...

— Неси сама...

И обе исчезают.

Горбатая сестра Анфиса сидит уже в лавке среди икон, злая, надутая, чем-то недовольная, словно паук вся опутанная паутиной злости, и следит недобрыми глазами за богомольцами.

Богомольцы ждут. Сбились в кучу. Высокая, черная, важная, плывет в часовенку к чаше с водою сестра казначея. В руках у нее сачок на длинной палке, весь в крестах,— она будет ловить им не рыбку, а деньги, которые набросали в воду богомольцы. Даже денежный мешок на поясе защищен у нее святым крестом.

Останавливает Варвару:

— Что же вы делаете? Почему малину до сих пор не собираете?.. Да ведь матушка игуменья...

Молчат, виноватые, хотят броситься бежать.

Матушка Серафима опускает очи долу и тихо говорит:

— В эту ночь снова мне видение было...

Теперь уже нельзя бежать. Матушка казначея любит поделиться с младшими. Те ее больше понимают.

Она сначала вздыхает, потом устремляет окруженные синевою глаза куда-то в пространство, в лесную тьму, и шепчет:

— Только задремала — слышу, снова он стоит надо мной. Раскрываю глаза, а он — такой благолепный, кудри вьются по плечам, щеки румяные, глаза как свечи... положил свою руку мне на плечо и говорит: «Зачем лежишь тут на моем ложе? Это моя келья, я жил здесь долго, спал здесь, молился...» А мне страшно, огонь идет по телу... Не сатана ли это в образе прекрасном, посланный из ада во искушение?.. Свят, свят, свят... А он наклонился так, что кудри щекочут... «Вставай, Серафима...»

— Матушка, нельзя ли нам самовар? — перехватывают богомольцы какую-то монашенку.

— А вы бы сестре Марии...— и проходит дальше.

Сестра Анфиса появляется в дверях лавки.

— Вот так... друг на друга и сваливают... уж и ленивые, господи! — закидывает она сеть.

— А вам какое дело?

— А такое... Дух лености побеждается духом трудолюбия.

— А о духе сквернословия забыли?.. Прочитайте лучше сами себе... Недаром о вас говорят...

— Пусть господь простит тому, кто говорит дурное. А кто говорил? Что говорил? Дармоедки, лгуньи, трещотки... Вот я матушке игуменье скажу...

— Говорите!.. про вас все знают...

Из кухни выбегает сестра Мария. Глаза заплаканные, красные.

— Ссорились? — любопытствует сестра Анфиса.— Ах, и грех же!..

— Помирились... Три дня молчали. Даже тоска взяла.

— Надолго ли?

— А господь его знает...

— Тут богомольцы самовар просят. Чаю хотят попить.

— Самовар? Вот бы сестра Секлета... Да где же это Секлета?.. Секле-та! Секлета-а-а!..

Напрасно разносился этот зов по мертвому двору, напрасно бился о лес, о стены церковки, которая тихо дремала на солнце, вся белая, как вишня в цвету. Никто не откликнулся.

Тихо журчала в часовенке, стекая в чашу, целебная вода, а над нею пылали свечи, как огненные цветы.

— Сижу я, дрожу вся,— тянет свое матушка Серафима,— стыдно так мне, удивительно, а он наклонился и гласом

таким сла-адким, таким певу-учим... Вы смеетесь? — вдруг резко спрашивает она монашенок, наморщив лоб и вся побелев.

— Да нет, матушка... господи!..

— Вы смеетесь, я вижу... Да ведь это же был инок, инок, говорю вам, монах, не кто-нибудь... У-у! маловерные, у вас на на уме один только грех... Марш сейчас же малину собирать! Прочь! Не надо мне никого... ничего... У-у!..

И, бросив на послушниц гневный, болезненный, как у мученицы, взгляд, матушка казначея подняла вверх длинный сачок, как защиту от напасти, и пошла к часовенке.

На ходу она слегка покачивалась и гнусавым голосом бубнила:

— Святые бессребреники и чудотворцы Косьма и Дамиан, посетите и исцелите немощи наша, туне приясте, туне дадите...

Золотые кресты на ручке сачка блеснели на солнце...

В малиннике тихо. Хотя сестра Секлета вместе с сестрой Мартой и собирали там ягоды, но они уже полгода не разговаривали друг с другом.

— А тут была матушка игуменья,— окликнула подошедших послушниц Секлета,— о вас спрашивала. Сердится, что мало собрали малины...

Варвара с Устиной принялись за работу. Они тоже притихли: сама ведь матушка игуменья сердится!..

Как будто еще тише стало в малиннике. Молчали сестры, молча стояли зеленые стены гор, тишиной оделась глубокая долина, мягко устланная зеленым буком, налитая золотом солнца: семь черных вершин молча глядели в глубину, а по склонам их спускались рядами сосны, словно крестные ходы монахов. И только глубоко на дне ущелья, прыгая со скалы на скалу, ревела и шумела быстрая Алма и расплескивала холодные воды по каменистому ложу.

Так тоскливо стало. Игуменья сердится!.. Все эти четыре монашенки, молча бросавшие спелую малину на дно корзин, испытали уже гнев матушки игуменьи. Все они были наказаны еще этой зимой. Устине вспомнилась эта памятная зима... По целым дням и ночам сыпал и сыпал снег и наконец засыпал ущелье. Засыпал дороги, засыпал леса, долины и Алму... От всего мира отрезал... А когда тучи разорвались и осели на горы, пал с неба холод, словно гнев божий... Трещали в испуге деревья, трещала церковь, и вянули сестрички. Солнце спряталось за горы и ходило где-то там в короткие дни, а в ущелье осталась ночь... Долгая, бескрайная и печальная,

как плащаница. По целым дням горел в кельях свет, дремали над коврами сестры, гнули спины и портили глаза... Начались ссоры, росла распря, тянулась вражда — долгая, упорная, как эти дни-ночи. Когда же гасили свет и грешное тело шло на покой, сон бежал от глаз и замерзал где-то в келье. Нельзя было заснуть... Так было холодно...

По целым ночам дрожали сестрички, а дров не давали... Матушка не велела. И вот они согрешили. Она, Варвара, Секлета и Марта, да еще две монашенки... Тайком, по ночам, проваливаясь глубоко в холодный снег, они собирали в лесу сухие сучья и согревали кельи. Дозналась матушка — из монастыря прогнала. Всех шестерых... Пошли они с плачем по снегу и холоду, в худой одеже... Стыдно было, обидно... Но с дороги их вернули. Смилостивилась игуменья матушка... Две не захотели, ушли в мир... С тех пор и голос пропал у нее, как простудилась.

— Где-то теперь Ганна, та, что не захотела вернуться? — подумала вслух Устина.

— Я видела ее, когда ездила в город,— отозвалась Марта.— Замуж уже вышла. Муж слесарь, она лавочку держит. Такая веселая, здоровая... Вспомнить, говорит, не могу...

— А вот Мария умерла... царство ей небесное...— вздохнула Варвара.

Все тоже вздохнули и замолкли.

— Одни говорят, что с горя, а другие — что простудилась, когда брела по глубокому снегу,— бросила Секлета.

Никто не ответил ей.

Снова стало тихо. Только гнулись стебли малины и в корзину дождем падали ягоды.

— Отчего это, скажите мне, сестры,— спросила Варвара и даже сделала большие глаза,— когда раньше люди спасались, то добро другим делали... а теперь...

— Все от бога... Не судите, и вас не осудят,— строго сказала Устина.

Все понимали, на что Варвара намекает.

— Да будет вам! — крикнула веселая Секлета.— Лови, Варвара! — и бросила спелую ягоду.

Варвара раскрыла рот, но ягода не попала.

— Ну, теперь ты! — И малина полетела в рот Секлеты.

— Хороша малинка? — послышался сбоку знакомый голос.

Как из-под земли выросла сестра Аркадия, с постным лицом, с набожно сложенными на животе руками.

Никто не откликнулся.

— А я еще не кушала... Дух чревоугодия побеждается...— И, видя, что ее не слушают, сестра Аркадия криво усмехнулась и тихонько пошла дальше.

— Христа продала бы! — сказала Секлета.

Они уже кончали работу, когда прибежала келейница.

— Несите скорей малину... и идите все к матушке игуменье. Зовет...

«Ну, что-то будет!» — подумали сестрички.

* * *

Зигзагом вьется белая дорога из святого монастыря в грешный мир. Вздымаются над нею горы, шумят старые буки, клокочет в долине Алма...

Солнце было уже низко. Зелеными огнями горели на нем вершины буков, блестели, как серебряные колонны, стволы, и блуждали под ними их легкие тени. А там, где солнца уже нет, громоздились в небо темные стены, а с них, глубокие и черные, глядели сумерки.

Шли по дороге монашенки. Поникшие головы, красные глаза, узелки за плечами, палки в руках. Впереди Варвара, за ней Устина, а там и две другие, что собирали малину. Брели из рая в грешный мир, так и не опомнившись, не придя в себя. Так быстро все это стряслось! Беда застигла их, как дождевая туча. Устина до сих пор еще дрожала, перед глазами у нее все еще стояла высокая, черная матушка игуменья: желтые мешки скачут под злыми глазами, палка трясется в руке, золотой крест скачет на груди. «Где малина?.. Сожрали?! Малина моя где!.. Распутницы!.. Вон отсюда!..— Сестра Аркадия с постным лицом подает матушке святой водицы, просит напиться...— Прочь с глаз моих... Вон отсюда!.. Всех разгоню... я... я...» Льется на пол вода, палка ходуном ходит, крест скачет на груди, и скачут мешки под глазами...

Потом хаос, что-то смутное, чего и не вспомнишь... убогие узелки с убогими пожитками... дрожащие руки... слезы монашенок... Слова утешения украдкой, тайком, чтобы старшие не видали,— и под ногами дорога, долгая, постыдная... А в мозгу точно топором рубит: «Сожрали?.. Вон отсюда!..» Даже деревья шепчут в черных вершинах: «Сожрали? Вон отсюда!..»

Щеки у Устины пылали, и раскаяние жгло грудь. Какая-то малина!..

Сестра Варвара шагала твердо, упрямо, будто рвала цепи. Сдвинула брови, сжала губы и стучала палкой о землю.

Ни разу не остановилась, не оглянулась. Вся фигура говорила: прочь от рая, ближе к грешному миру!

Позади — враги. Шли молча, одинокие, словно разделенные стеной. Даже тени их врозь плыли по дороге.

Сестра Устина была подавлена. Она не в силах была ничего забыть. Не забыла своей кельи, тесной и тихой, как могила... Вечерних теней, трепещущих от света лампадки... маленького оконца, вмещавшего в себе высокие горы, и чистое небо, и ясное солнце... прекрасный мир божий... Ее душа не могла оборвать вдруг священные мелодии, чистые и прекрасные, как ангельские хоры. Забыть сладкие молитвы на каменном полу в углу темной церкви... Черных сестричек, идущих рядами... Всего, к чему привыкла. Что с нею будет? Куда деваться? В широком, чужом мире, от которого она отвыкла? Куда ведет эта белая дорога, петляющая в горах — чужих, неизвестных, холодных?

А лес молчал. Молча шли сестры, и каждая отдельно несла свои думы.

Вдруг что-то послышалось ей... Нет, только послышалось... Так обидно, так грустно, душа исходит слезами.

— Сестра Секлета, где заночуем?

Ласковый голос... Кто это сказал? Тепло, сердечно, словно солнце вечернее. Это послышалось ей?

— Сестра Секлета, где заночуем?

— Сестричка Марта!..

Неужели это враг обратился к врагу?

Даже Варвара вздрогнула и остановилась.

Они оглянулись.

Сестра Секлета лежала на груди у Марты, и черные плечи ее сотрясались от плача.

— Прости!

— Бог простит!

Устина взглянула на Варвару, бледные губы у нее дрожали, как у маленького ребенка.

У Варвары из глаз текли слезы...

Что-то тяжелое, мучительное подкатило Устине под сердце и вдруг пропало. Стало так легко, так радостно, как никогда. Она стояла и шептала безотчетно:

— Сестричка... сестра...

И это маленькое слово, сказанное так искренне врагами здесь, на пути в грешный мир, слово, которое она прежде там, в монастыре, тысячи раз повторяла холодными устами,—

вдруг приобрело для нее какую-то необычайную красоту, какое-то особое тепло и пело в душе, как песня.

Она словно впервые произнесла:

— Сестра... сестричка...

Оно соединило их лучше, прочнее, чем раньше... От него расступились черные боры, и нестрашным стал этот неведомый, далекий, этот грешный мир...

Всем стало легко. Все обнимались.

— Сестра Секлета!..

— Сестричка Марта...

Всем им хотелось как можно чаще произносить это слово — новое, только что найденное, простое и родное.

Всем им хотелось взяться за руки и идти так дальше, в мире и покое.

— Сестра Устина...

— Сестра Варвара...

Солнце пряталось за горами, и черный мрак вставал из мертвого бора. Но им было все равно. Они все знали, что там, в долине, куда они идут, еще светит солнце и бьется волна живой жизни.

Август 1904 г.
Чернигов

СМЕХ

Рассказ

Бледная, невыспавшаяся пани Наталя приоткрыла дверь из спальни в столовую, где Варвара уже вытирала пыль. Застегивая на ходу белую утреннюю блузу, она тихо и как будто со страхом спросила:

— Вы еще не открывали ставен?

Варвара бросила тряпку и собралась было бежать.

— Сейчас открою.

— Нет... нет, не надо... пусть будут закрыты весь день!..— быстро и испуганно приказала она прислуге.

Коренастая Варвара удивленно подняла на нее свое широкое, землистого цвета лицо.

— Сегодня, пожалуй, неспокойно в городе. Недобрые люди то и дело ходят теперь по улицам. Как бы еще к нам не забрались. Не ходите сегодня на базар. Найдется у нас что-нибудь приготовить?

— Мяса нет.

— Ничего. Обойдемся... Готовьте, что есть. А на улицу не выходите и в квартиру никого не пускайте. Нас нет дома... понимаете? Все уехали. Разве кто-нибудь из знакомых, тогда другое дело.

Пани Наталя говорила эти слова приглушенным голосом, почти на ухо Варваре; светлые близорукие глаза ее при этом беспокойно блуждали.

Когда Варвара вышла, пани Наталя посмотрела вокруг. В комнате стоял полумрак, и только желтые полоски света пробивались сквозь щели закрытых ставен и разливались в воздухе мутными струйками. Пани Наталя подергала железные болты ставен, поправила гайки и тихо пошла в другие комнаты, сгорбленная, белая, как привидение. Осматривая все

ставни со стороны улицы, она приникала иногда ухом к окну и напряженно слушала. Оттуда неслись какие-то неясные, смешанные звуки, которые казались ей иной раз необычными и тревожными.

Она думала о нынешнем дне. Чем-то он кончится? Мало давили людей казацкие кони, недостаточно пролили крови штыки и пули — понадобилось еще натравить темный народ на интеллигенцию. Сколько она просила мужа: уедем куда-нибудь на это время, заберем детей,— не захотел... и вот теперь дождались... Ах, боже мой! И за что же?

Она невольно вспомнила грязные, бессмысленные, грубые воззвания, которыми вот уже несколько дней засыпан был город. Призывали бить и резать всех врагов правительства... Там ясно стояла и их фамилия... Да, адвокат Валерьян Чубинский... Эта фамилия была ненавистна полиции, и теперь она стояла в списках...

В соседней комнате послышался детский смех и крик.

Пани Чубинская бросилась туда.

— Тс! Тише!.. Ах, боже мой! Да перестаньте же кричать!..

Она отчаянно махала широкими белыми рукавами, как птица крыльями, а вокруг бледных губ легли у нее складки невыразимого страдания. Она успокаивала детей и озиралась на окна, словно боялась, что эти живые голоса долетят сквозь них на улицу.

На помощь пришла Варвара. Спокойные движения, с какими она сновала по комнате, собирала платье и натягивала детям чулочки, уверенные, тяжелые шаги босых ног, серьезное лицо — от всего этого веяло на пани Наталю покоем. С таким верным, рассудительным человеком было как будто бы безопаснее.

— Варвара, вы были на улице? — спросила пани Наталя.

— Нет, не была. Постояла немного у ворот.

— Что же там... спокойно?

— Да так... Приходили какие-то люди, спрашивали пана.

— Люди приходили? Какие же это... люди?

— А кто их знает... люди...

— Что же у них... было что-нибудь в руках?

— В руках? Палки были.

— Палки?

— Я сказала, что пана нет... все уехали.

— Хорошо сделали, Варвара, хорошо... Так помните, Варварушка, дома, кроме вас, никого нет... Ах, боже!..

— Варвара! Варвара!..— послышался из столовой раздраженный голос Чубинского.— Почему до сих пор ставни не открыты?

Пани Наталя задержала рукой Варвару и бросилась в столовую.

Там стоял ее полуодетый муж и щурил подслеповатые глаза. Он еще не успел надеть очки, плохо видел, и лицо его, обрамленное русыми волосами, казалось растерянным и помятым.

— Валерьян, милый, пусть так будет. Это я велела... Ты знаешь, какой сегодня день! Я тебя сегодня никуда не пущу!..

— Вот глупости. Пусть сейчас же откроют ставни.

— Ах, боже мой... Ну, я тебя прошу... Ради меня... ради наших детей...

У пани Натали выступили на скулах красные пятна.

Пан Валерьян сердился. Что за выдумки! Все равно никуда не убежишь. Но в глубине души он чувствовал, что жена поступила правильно.

Вскоре Варвара внесла самовар. Все сели за стол.

В комнате было темно и как-то странно. Желтые зайчики света трепетали на стенах и на буфете, ветер рвал ставни и стучал ими. Дети — мальчик и девочка,— удивленные необычной обстановкой, перешептывались друг с дружкой, пан Валерьян раздраженно барабанил по столу пальцами. Стакан чаю стыл перед ним, а он нетерпеливо закусывал свою русую реденькую бородку и смотрел куда-то поверх очков. Уже несколько дней он замечал каких-то подозрительных людей, которые следили за ним, куда бы он ни пошел. По ночам под окнами маячили какие-то темные фигуры и жались к заборам, когда на них обращали внимание. А вчера, проходя по улице, он отчетливо услышал позади себя ругательство, которое, наверное, относилось к нему. «Оратор, оратор»,— злобно шипел какой-то здоровенный черный мужик и сверкнул на него глазами, когда он обернулся. Пан Валерьян ничего не сказал об этом жене, чтобы не волновать ее, и вдруг перед глазами у него промелькнуло целое море голов... головы, головы, головы... потные, разгоряченные лица и тысячи глаз, которые смотрят на него из тумана сизых испарений. Он говорил. Какая-то горячая волна била ему в лицо, врывалась с дыханием в грудь. Слова вылетали из груди, как хищные птицы, отважно и метко. Речь, кажется, удалась ему. Ему удалось так просто и ярко обрисовать противоположность интересов тех,

кто дает работу, и тех, кто должен ее брать, что даже самому этот вопрос стал яснее. И когда ему рукоплескали, он знал, что это аплодирует разбуженное сознание... Да, но что будет сегодня? В самом деле, что будет сегодня?

Чубинский взглянул на жену. Она сидела выпрямившись и прислушивалась. На бледном лице застыло выражение испуганной птицы.

Эти закрытые окна и впрямь раздражают. Что там, за ними, на улицах, на этих неведомых реках, по которым плывет чужой тебе народ, готовый каждую минуту разлиться морем страстей и затопить берега.

Вдруг кто-то постучал в ставню.

Пани Наталя даже подпрыгнула на стуле.

На минуту все окаменели.

— Ну, чего ты пугаешься? — рассердился пан Валерьян.— Вероятно, дети шалили и задели ставню, как это часто бывает, а ты сразу же бог знает что подумала...

Из кухни прибежала Варвара.

— Что случилось, Варвара? — испугалась пани Наталя.

— Паныч Горбачевский пришли... Они через двор зашли в кухню.

— А-а!.. пусть заходит, пусть...— Студент Горбачевский уже показался из-за спины Варвары.

— Что там слышно, рассказывайте!..— приветствовал его хозяин.

— Кажется, скверно. У Микиты, говорят, всю ночь был черносотенный митинг. Пили и советовались, кого бить. Прежде всего будто бы решили уничтожить «раторов» и «домократов».

— Ах, боже!..

— Вы не пугайтесь, пани Наталя, может быть, ничего и не будет. На улицах какое-то подозрительное движение. Бродят кучками по три-четыре человека... Лица сердитые, суровые, а глаза, недобрые, злые, так и сверкают огнем, как увидят интеллигента... Дайте мне чаю...

Пани Наталя дрожащими руками налила стакан чаю и, расплескивая по дороге, подала студенту.

— Ну, что же дальше? — спрашивал пан Валерьян, срываясь с места и бегая по комнате.

— Спасибо. Прошел через базар. Народу много. Там раздают водку. Идут какие-то таинственные совещания, но о чем говорят — трудно сказать. Слышал только несколько фамилий: Мачинского, Залкина, вашу...

— Ах, боже!..

— Вы не пугайтесь. В воскресенье обычно больше народу и пьют водку... Нельзя ли попросить хлеба? Спасибо. А все-таки удивляюсь, почему вы не уехали на это время из города. Бегу сейчас к вам — вижу: ставни закрыты, значит, никого нет; забежал только спросить, куда и надолго ли, а вы, оказывается, сидите себе здесь... Вы рискуете, вы очень рискуете...

— Вот видишь... Не говорила ли я, не молила ли я — уедем куда-нибудь, возьмем детей...— чуть не плакала пани Наталя, прижимая руки к груди и глядя на гостя умоляющими глазами, как прежде на мужа.

— А, да что теперь об этом говорить! — раздраженно крикнул пан Валерьян и продолжал бегать по комнате. Он курил папиросу за папиросой и разбивал головой облака синего дыма, которые ползли за ним длинными волнами, как туман в горах.

— Ах, что творится... что только творится...

Это говорил кто-то другой высоким женским голосом. Все обернулись к дверям в кухню, откуда, впуская на мгновение свет, влетела в столовую маленькая кругленькая женщина. Шапочка съехала у нее набок, рыжие волосы растрепались и пылали, точно она принесла на них пожар с улицы.

— Ах, как тут темно. Где вы?.. Где вы?..— Она ни с кем не поздоровалась, подбежала к столу и упала на стул.— Милые мои, дорогие мои... вы еще живы? А я думала... Уже началось... Толпа ходит по улицам с царским портретом. Я только что видела, как били Сикача.

— Которого?

— Младшего, студента... Не снял шапки перед портретом. Я видела, как его, уже без шапки, красного, в изодранной тужурке, согнув вдвое, бросали с рук на руки и все били. Глаза у него такие огромные, красные, безумные... Меня охватил ужас... Я не могла смотреть... И знаете, кого я видала в толпе? Народ... крестьян... в серых, праздничных свитках, в больших сапогах,— простых, почтенных хлеборобов... Там были люди из нашего села, тихие, спокойные, трудолюбивые...

— Это худший элемент, Татьяна Степановна,— отозвался студент Горбачевский.

— Нет, не говорите, я их знаю, я уже пять лет учительствую в этом селе... А теперь сбежала оттуда, потому что меня хотели избить! Это старая дикая ненависть к господам, кто бы они ни были. У нас всех разграбили. Ну, пусть бы еще богатых... Но вот кого мне жаль, это нашу соседку. Старушка, вдова, бедная. Один сын в Сибири, другой в тюрьме сидит...

Только и осталось что старый домишко да сад. И вот уничтожили все, разобрали дом по бревнышку, сад вырубили, книги сыновей изодрали... Она не хотела просить, как другие. А некоторые выходили навстречу толпе с образами, с маленькими детьми, становились на колени в грязь и молили целыми часами, руки мужикам целовали... И тех помиловали...

— Ах, ужас какой! — шепнула как-то механически пани Наталя.

Она все еще сидела выпрямившись, напряженная, словно чего-то ожидала.

— Тс... тише...— нетерпеливо перебила она разговор.

С улицы донесся крик.

Все смолкли, повернулись к окнам и, вытянув шеи, замерли, прислушиваясь.

Шум как будто приближался. Было в нем что-то подобное далекому ливню, глухому рыку зверей. А-а-а... а-а-а...— отражали высокие стены смешанные звуки, и вот, где-то недалеко, послышался топот ног по камням улицы.

— А, подлость... подлость... Я иду на улицу...— встрепенулся Чубинский и забегал в поисках чего-то по комнате.

Но на него набросились все. Они кричали приглушенными, изменившимися голосами, что он не должен выходить, потому что его только и ищут, что там он ничего не сделает, что нельзя оставлять жену и детей. Жена говорила, что умрет без него.

Тем временем крик все замирал и скоро утих.

Только напуганные дети плакали в углу, всхлипывая все громче.

— Варвара! Варвара! — кричал пан Валерьян.— Возьмите детей в другую комнату, утихомирьте как-нибудь...

Вошла Варвара, грузная, спокойная, с красными, голыми по локоть руками, и заговорила с детьми так, что они сразу замолкли. Она обняла их этими грубыми голыми руками и забрала к себе.

В столовой тоже стало спокойнее.

— Какие вы счастливые,— сказала Татьяна Степановна,— у вас такая славная прислуга.

Пани Наталя обрадовалась, что среди этих страшных событий нашлась хоть одна светлая точка, на которой можно отдохнуть.

— О! Моя Варвара золотой человек... Это наш настоящий друг... Спокойная, рассудительная, верная. И, представьте себе, мы платим ей всего-навсего три рубля в месяц.

— Характер у нее хороший,— добавил пан Валерьян.— Четвертый год служит... Мы к ней привыкли, и она к нам... И детей любит...

Поговорив на эту тему, гости стали прощаться, но тут Татьяна Степановна вспомнила, зачем она, собственно, пришла. Ей кажется, что пану Валерьяну после его речей на митингах опасно сидеть дома. Лучше переждать этот тяжелый день где-нибудь у соседей, в надежном месте.

Горбачевский возражал. Напротив, лучше сидеть дома, не появляться на улице. Квартиры их хорошо не знают, потому что они недавно переехали сюда, а когда увидят закрытые ставни, подумают, что дом пустой.

— Нет, нет, я останусь дома... Будь что будет...— успокаивал их на прощанье Чубинский.

Муж и жена остались одни. Он бегал по комнате среди облаков дыма, словно хотел прогнать тревогу.

Пани Наталя сидела подавленная.

Наконец Чубинский сел рядом с женой.

— Ну, не волнуйся же так,— заговорил он с ней, стараясь сохранить спокойствие.— Никто нас не тронет... Покричат немного, да и разойдутся...

— Я... я уже успокоилась... Ты не обращай внимания... так, нервы немножко... Я тоже думаю, что ничего не случится.

Она едва сдерживала дрожь.

— Я уверен, что хулиганов мало, народ не пойдет за ними...

— Да, конечно, хулиганов...

— И ведь не дойдет же до кровопролития...

— Ах, боже!.. Конечно, не дойдет...

Теперь, когда они остались одни, без людей, в этой темной комнате, окруженной чем-то неведомым и грозным, и пытались в разговоре скрыть друг от друга свои мысли и свое беспокойство, тревога росла, собиралась вокруг них, как гремучий газ.

Разве может он оказать сопротивление слепой злобе дикой массы, которая не ведает, что творит,— он, безоружный!

Она это знала.

Ну, а если придут к ним?

Что ж, если придут, они заставят двери мебелью и будут защищаться до конца. Они забаррикад...

Динь-динь-динь... динь-динь-динь!

Сильный, резкий звонок раздался в передней.

Чубинский даже подскочил.

— Не ходи... не открывай,— умоляла пани Наталя, заламывая руки.

А звонок плясал, хрипел, бесился.

Чубинский бросился в кухню.

— Варвара! Варвара!

— Тс... не кричи так...

Но Варвары не было.

Что же делать? Надо что-то делать!

Где же эта Варвара?

Вбежала наконец Варвара.

— Это пан доктор звонят... Сейчас идут через кухню...

Доктор влетел в комнату. Высокий, большой, он махал руками, как ветряная мельница крыльями, и еще на ходу кричал:

— Сидите себе, голубчики, и не знаете, что творится... Бьют, убивают... Перережут, говорю вам, как цыплят... Разбили квартиру доктора Гарнье, уничтожили все его инструменты. Жену таскали за косы, а Гарнье забрали с собой: носит теперь портрет во главе хулиганов. Вот вам раз.

— Ах, боже!

— Иваненко стащили с извозчика и проломили ему голову. Вот вам два. Зализко должен был принести присягу самодержавию, потому что был жестоко избит... Вот вам три. Акушерку Рашкевич, говорят, убили насмерть. Полиции нет, пропала. Нас отдали пьяной голытьбе... Надо всем защищаться. Надо всем собраться на площади у думы. Слышите? Сейчас же. Сейчас же надо собираться и отбиваться с оружием в руках.

Доктор кричал так громко, точно на площади перед народом.

Пани Натале этот крик разрывал грудь. «Ах, тише... тише... услышат...» — молили ее глаза и страдальческое выражение лица.

Она прижимала к груди руки и все с ужасом шептала:

— О пан доктор... пан доктор... будьте добры... Ах, боже...

Но доктор не слушал.

— Берите револьвер,— кричал он,— и идем сейчас же!

— У меня нет револьвера! — сердито крикнул Чубинский.

— Фью-ю! — даже свистнул доктор.— Как, у вас нет оружия? Так мы умеем только с речами выступать, а как придется... Не-ет, голубчики, так нельзя. Так нельзя... Сидите же тут, пока вас не накроют, как курицу решетом, а я пойду...

— Куда? — кричал, в свою очередь, пан Валерьян.— Это же бессмысленно, вы ничего не сделаете.

Но доктор замахал руками и с криком выбежал из комнаты.

На Чубинского напал теперь страх. Постыдный, подлый страх! Он это понимал. Что же делать? Куда деваться? Он не хотел погибнуть такой бесславной, страшной смертью. Спрятаться? Не одному, нет, а всем,— это очевидно. Он посмотрел вокруг. Жена стонала почти в беспамятстве и сжимала руками голову. Варвара топталась у стола. Бежать? Куда? Десятки планов вспыхивали в его мозгу, как блуждающие огоньки, и сразу же гасли. Нет, не то... не то... Животный страх гнал его по комнате, от двери к двери, а он старался подавить его и весь дрожал. «Не теряйся... Не теряйся...» — говорило что-то в нем, а мысли так и бегали, как у зверя, попавшего в западню. А? Что такое? Чего она хочет? Что-о?

— Завтрак подавать?

Ах, это Варвара.

Это немного привело его в себя.

— Что вы говорите?

— Подавать ли, спрашиваю, завтрак?

— Завтрак? Не надо. Вы же слышали?

— Почему не слышала... Х-ха!

Это «х-ха!» остановило его посреди комнаты. Он заметил, как дрогнуло лицо у Варвары, точно спокойная вода от всплеска рыбы, и одна из волн докатилась до него.

— Панов бьют...— жалобно пояснил пан Валерьян и с удивлением увидел, что грузное тело Варвары трясется, точно от сдерживаемого смеха.

— Чего вы?

— Я та-ак...

И вдруг смех этот прорвался:

— Ха-ха!.. Бьют... и пусть бьют!... Ха-ха-ха! Хватит! Побарствовали!.. Ха-ха-ха! Слава тебе, господи, дождался народ...

Она перекрестилась.

Лицо у нее налилось кровью, глаза сверкнули, она подперла бока красными, голыми по локоть руками и тряслась от смеха, как пьяная, так что большие груди ее ходуном ходили под засаленным платьем.

— Ха-ха-ха! а-ха-ха!..

Она не могла сдержать смех, непобедимый, пьяный, клокотавший в груди и только, как пену, швырявший отдельные слова.

— Ха-ха-ха!.. всех... искоренить... ха-ха-ха!.. чтоб и на развод... всех... а-ха-ха!..— Она даже всхлипывала.

Этот дикий хохот один плясал по комнате, и было от него так больно и страшно, как от безумного танца острых ножей, блестящих и холодных. Словно дождь молний сыпал этот смех: что-то убийственное, смертельное, наводящее ужас было в его раскатах.

Чубинский ухватился за стол, чтобы не упасть.

Этот смех бил ему прямо в лицо. Что она говорит? Что-то невозможное, бессмысленное...

Пани Наталя первая сорвалась с места.

— Вон! — крикнула она тонко и пронзительно.— Вон! Она еще мне детей перережет! Гони ее вон!..

Варвара уже не смеялась. Только груди у нее все еще ходили ходуном, а голова низко склонилась. Она поглядела искоса на барыню и, собрав посуду, тяжелыми шагами направилась в кухню.

Босые ноги шлепали по полу.

Чубинскому стало душно. Он весь дрожал. Сделал несколько шагов вслед за Варварой и остановился... Что-то невозможное... непонятное... Какой-то кошмар...

Побежал на кухню и открыл двери.

Там было светло.

Увидел Варвару. Она стояла у стола, сгорбленная, увядшая, спокойная, и что-то вытирала.

— Вар...

Хотел говорить и не мог.

Только смотрел. Большими глазами, испуганными, острыми и необычайно зоркими. Охватывал ими всю картину и мельчайшие подробности. Увидел то, мимо чего ежедневно проходил, как слепой. Эти босые ноги, холодные, красные, грязные и потрескавшиеся, как у скотины. Тряпье на плечах, не дававшее тепла. Землистый цвет лица... синяки под глазами... «Это мы всё съели, вместе с обедом...» Синий чад в кухне, твердую лавку, на которой спала... среди помоев, грязи и чада... едва прикрытую. Как в берлоге... Как зверь... Надломленную силу, которая шла на других... Печальную, тусклую жизнь, век в ярме. Век без просвета, век без надежды... работа... работа... работа... и все для других, для других, чтобы им было хорошо... им, только им... А он хотел еще привязанности от нее.

Не мог говорить. К чему? Все так ясно и просто.

Выбежал из кухни назад в столовую.

— Ты видела? — набросился на жену.— Не видела? Поди посмотри...

— Почему она не бастует? — кричал каким-то необычным голосом.— Почему она не бастует?

Бегал по комнате, точно кто-то стегал его кнутом; ему было душно, нечем было дышать.

Подбежал к окну и, не сознавая, что делает, начал отвертывать гайку. Быстро и нетерпеливо.

— Что ты делаешь? — кричала насмерть перепуганная жена.

Не слушал. Толкнул что было силы болт. Железный болт со звоном ударился о ставню, так что эхо отдалось под высоким потолком. Окно отскочило, ударилось половинками о косяки, и в комнату влился желтый, мутный свет. Осенний ветер швырнул внутрь целую тучу мелкой холодной пыли и каких-то неясных хаотических звуков.

— Почему она не бастует!

Ловил грудью холодный воздух и не замечал даже грозного клокотания улицы.

А улица стонала.

А-а-а...— неслось откуда-то издали, как от прорвавшейся плотины.

А-а-а...— катилось ближе нечто дикое, и слышались в нем и звон стекла, и отдельные крики, полные ужаса и отчаяния, и топот ног огромной толпы... Скакал по улице извозчик, и гнался за ним грохот колес, как безумный... Осенний ветер мчал желтые тучи и сам бежал из города.

А-а-а... а-а-а...

Февраль 1906 г.
Чернигов

ОН ИДЕТ

Набросок

Приметы были плохие. Становой, кажется, не удовлетворен был взяткой, и, хотя обещал, что не допустит погрома, ему верили мало. Хуже всего было то, что никто наверно не знал, отменят ли крестный ход с образом спаса, который должен был состояться завтра после церковной службы. Об этом с тревогой говорили в местечке, и лавочники, забыв о покупателях, оставляли свои лавки на волю божью, а сами собирались кучками на площади, посреди местечка. Здесь приглушенными, таинственными голосами, тревожно озираясь вокруг, передавали друг другу о каких-то подозрительных чужих людях, которые появились недавно в местечке, о панках-черносотенцах, которые были бы рады погрому, и о том, что их «пурицы», купцы побогаче, с раннего утра начали убегать из местечка со своими женами и детьми. Иногда разговор становился горячим и бурным, слова гремели, как возы с железом, и белые руки лавочников то и дело мелькали перед рыжими бородами. Но когда раздавался вдруг грохот колес по мостовой и большая бричка балагулы подкатывала к одному из домов побогаче, всеми окнами глядевшему на площадь, разговоры стихали, и все хмуро и злобно смотрели, как выносят поспешно из дверей всякий скарб, сундуки и подушки и бричка до краев наполняется женщинами и кудрявыми детьми. Когда же бричка исчезала наконец в облаках серой пыли, разговоры снова оживлялись и переходили в крик. Извозчик Иосель, крепкий, высокий мужчина, метался по базару с кнутом в грубых, узловатых руках и хвалился, что уже отправил все три своих фургона. Он уверял, что к вечеру в местечке не будет ни одной подводы.

Солнце еще не зашло, однако лавки уже начали закрываться. Всюду скрипели железные засовы, бренчали замки и ключи, гремели двери, заслоняя черный зев,— и в одно мгно-

вение серые древние стены рынка выбросили вон всех людей. Площадь на минуту ожила, стала людной. Старые балабусты собрали со столиков булки и баранки, покрытые пылью, весь свой жалкий товар. Они охали, стонали и, сгибаясь под тяжестью корзин, спешили домой. Черные кучки понурых, охваченных волнением людей растекались с базара по тесным улочкам,— и на площади стало так пусто и тихо, точно весь гомон жизни обратился вдруг в серый камень.

Приближался вечер. Солнце росло, пламенело и медленно опускалось вниз. Красный туман поднимался на западе, и словно кровавые призраки надвигались оттуда на город. Сначала робко, поодиночке, а потом сплошными рядами. Беззвучной процессией прошли они между опустевшими стенами, оставляя на камне горячие красные следы и отражаясь в окнах своими кровавыми лицами. Древние стены дрожали от ужаса всеми своими морщинами, и только красные маки, которые росли вверху по карнизам, приветствовали гостей смехом. А когда солнце село и пришла ночь, как черная дума земли, красные гости исчезли и местечко совсем замерло.

В доме старого шойхета Абрума, при свете сальных свечей, шло совещание. Там собрались одни старые, почтенные люди, с морщинами опыта на бледных лицах, с белыми бородами, как у далеких предков. Все говорили разом, ибо всех одно волновало. Одни хотели собрать еще денег для станового, другим приходила в голову мысль просить защиты у попов. Иные же советовали собраться в синагоге и в молитвах провести ночь. Великий бог, который вывел израильтян из пустыни и доныне не дал им утонуть в волнах зависти других народов, еще раз отвратит от них руку врага. Все это было хорошо, но не могло ни объединить, ни успокоить. Когда же извозчик Иосель, у которого была крепкая грудь, перекричал всех и заявил, что молодежь решила защищаться, что она будет стрелять, и вытянул перед собой кнут, как револьвер,— ужас сковал всем уста и белые бороды, как увядшие, упали на грудь. Потом поднялся шум. Старый шойхет Абрум, который на своем долгом веку спокойно перерезывал горло тысячам кур и гусей, побелел и закричал: «Как! Они хотят стрелять! Эти сумасшедшие, эти безумцы! Эти политики! Они хотят пролить кровь, которая падет на наши же головы. Они накличут месть, и месть, как волк, пожрет наших детей, весь мирный народ!.. Ай-ай!..»

И все кричали вместе с Абрумом, кричали беззубые рты, кричали морщины мудрости и опыта, тряслись бороды и

белые худые руки. И от возмущения и крика всем стало душно, и все почувствовали облегчение, как будто криком они прогнали из дома тревогу.

Это яростное возмущение скоро, однако, прошло, и крики понемногу затихли. Снова возник все тот же вопрос: что же делать? Время шло, и каждая минута, умирая навеки, рождала другую, а та приближала страшную неизвестность. Никто уже ничего не советовал. Все чувствовали усталость. И чем яснее становилось, что ничем не поможешь, что нельзя даже бежать, потому что нет лошадей, люди начали верить в чудо. Случится что-нибудь такое, что отвратит беду, крестный ход пройдет спокойно и не затронет никого. Может, не так уж все плохо? Может, ничего не случится?

Кому-то пришла в голову мысль: что скажет слепая Эстерка? Ведите сюда Эстерку!.. Она все предугадает...

И все пожелали услышать, что скажет Эстерка.

Извозчик Иосель и зять Абрума поднялись, чтобы привести слепую.

Она еще не спала. На пороге темной, как и хозяйка, хаты она сидела черной глыбой и, казалось, пела. Тихие жалобные звуки, словно плач дитяти, шли снизу, от черной глыбы, и так удивительно и страшно было слушать эту песню, что Иосель остановил своего товарища и не решался окликнуть старуху. Он не мог разобрать, поет ли она или плачет. Наконец решился и тихонько позвал:

— Бобе!.. Бобе Эстерка!..

Внизу дрожали все те же звуки.

— Бобе!.. Послушайте, бобе!

Пение стихло, и послышалось продолжительное жалобное сморкание. Когда они рассказали ей, зачем пришли, она молча встала и простерла во тьму дрожащие руки, ища опоры. Ее взяли под руки и повели. Двери темной хаты остались открытыми настежь.

Всюду, где они проходили мимо освещенных окон и открытых дверей, к ним присоединялись женщины и мужчины; дети неслись за ними, как пыль. Все шептали друг другу, что слепую Эстерку, которая предугадала смерть своих детей и потом выплакала по ним глаза, ведут к шойхету.

В комнате у Абрума набилось столько народу, что стало трудно дышать. Когда же открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, свет упал на целое море напряженных, взволнованных лиц, и в окно влетела стоокая тревога.

И все увидели Эстерку, ее окаменевшее от горя лицо и красные глаза, из которых непрестанно стекала слеза. Словно ветер овеял все лица. Ай-ай!

Абрум хотел ее посадить, но она не села. Только оперлась руками о подлокотники стула. Ее спрашивали, ей говорили, но она не слышала. Что ей было до этого? Она, носившая в сердце великое горе, которое не могло там уместиться и лилось из слепых глаз, видела только своих сыновей, о них говорила. Она описывала все подробности, которых никогда не видала, потому что была далеко, рисовала картину так, точно она была выжжена на ее красных веках, закрывавших глаза. И голос ее звучал, как у ветхозаветных пророков.

— Я вижу зверей... всюду звери... В глазах у них огонь, а на зубах кровь... человеческая, красная... А в сердцах их волчья жадность... Они несут своего бога, и на кольях, которые они держат, кровь... кровь сыновей моих бедных. Ай-ай!

— Ай-ай! — вырвался тихий вздох из десятков грудей в доме и под окном.

— А их попы поют и черными устами возносят хвалу господу богу, а на ризах у них кровь... человеческая кровь... И рычат с попами кровавые звери и разбивают о камень головы деточек малых... Ай-ай!

— Ай-ай! — Вздох трепещет вокруг, и свет от него меркнет в доме.

— Вот под ногами у меня кровь... Черная, запекшаяся... большие черные лужи. Лежат женщины, белые как мел, и глядят их мертвые глаза на мужей... на трупы детей... И скачут по детям опьяневшие звери и ревут: смерть! смерть!

— Ай-ай! — стонут в доме и плачут на улице.

— Огонь и смерть!.. Я вижу руки, я вижу глаза, они просят пощады... Я слышу крик... Рушатся стены... стреляют... Ад... Ох, душно мне... Ох, мое сердце... А теперь слышите? Ша! Бегут по лестнице... ломают двери... А там мои дети... мои сыны милые... Ай-ай!.. Спасите! Не бейте... Лежит мой Хаим... лежит мой Лейба, они же кормили старенькую маму... и больше не встанут... Ой-ой! ай-ай!..

— Ай-ай! ай-ай! — подхватывают люди вопль, и становится тоскливо и страшно, как в Судный день.

А бобе Эстерка все говорила, и слезы все текли из ее слепых глаз. Разбитый старческий голос иногда звенел, как голос пророка, и тогда тишина воцарялась вокруг и люди, затаив дыхание, на дно сердца слагали каждое слово старухи,

как тяжкую скорбь. Может, это не Эстерка говорит, а сама их судьба, и красный туман, который навис над ними сейчас, обратится завтра в действительность. Может, дети, которые сейчас прижимаются теплыми личиками к материнским коленям, завтра будут валяться на улицах мертвые, и их будут топтать тяжелые сапожищи пьяной толпы... Ай-ай!..

Народ навис над окном и все прибывал. Какая-то растрепанная, в одной рубахе, женщина пробивалась сквозь толпу поближе к дому и прижимала к груди кривой семисвечник из старого серебра, быть может, единственную ценность семьи. Толстые жилы на ее руках голубели на свету. Испуганные дети начинали реветь, женщины их успокаивали и вытирали слезы руками. Крайние вздыхали; и всю эту скорбь, и все эти слезы собирала синяя ночь и громоздила в тучу, которая поднимала уже чело на ночном небосклоне.

Когда же Эстерка замолкла и ее, поникшую, опустошенную, вывели под руки из дома, народ расступился, заговорил и двинулся за ней к ее хате.

Гости шойхета разошлись, унося с собою в ночь тревогу.

Неспокойную ночь переживало местечко перед христианским праздником. До утра светились в домах огни и суетились люди, готовясь к завтрашнему дню, как к пожару. Вязали узлы и прятали все, что только можно было спрятать. И стояли повсюду плач и стон.

А когда солнце взошло, ему улыбнулись лишь красные маки с карнизов рынка да еще дороги, обросшие маком, которые растекались, словно кровавые реки, меж зеленых хлебов от стен местечка. Дома были хмуры, все в тенях, и тени легли у людей под глазами. Старая мечеть, наполненная сейчас зерном, как некогда правоверными при владычестве турок, была черна от черных воспоминаний о кровавых событиях, миновавших, казалось, навеки, а серый рынок стоял хмурый, весь в морщинах, как старик, который все уже видел и утратил надежды.

Местечко было безлюдно. По опустевшим улицам блуждали лишь козы. Когда солнце поднялось высоко, колокол ударил на колокольне, качнул воздух и, как нож, проник в сердце. Стали появляться люди, сперва изредка, как изредка раздавался и звон. Но когда все колокола, качнувшись разом, пустились в пляс, большие, средние, маленькие, и замелькали в воздухе, как метель, отовсюду высыпали люди, точно звон притягивал их к себе. И сотни испуганных глаз смотрели вслед им сквозь стекла окон.

Бледный, невыспавшийся шойхет Абрум тоже слушал звон колоколов, хотя они давно уже смолкли. Его била дрожь, и он сам удивлялся, что у него так прыгают челюсти, так трясутся руки и ноги. Ведь еще неизвестно, пойдет ли крестный ход или нет, будет ли что-нибудь или не будет. Но ведь он важное духовное лицо и не может быть лишь свидетелем народного бедствия. Наконец он решился и переступил порог своего дома. Мелкими неверными шагами, озираясь и оглядывая каждого «гоя» так, точно впервые встретился с ним, он пошел сначала по боковой улице, безлюдной сейчас, а затем свернул к площади. Из окон и дверей на него смотрели его единоверцы; и он приветливо кивал им головой и кривил в улыбку свои бледные губы. Он даже пробовал что-то говорить хриплым, сдавленным голосом, но всякий раз замолкал — таким удивительным и странным казался ему собственный голос. Да и вообще ему казалось, что это не он идет, а кто-то чужой, незнакомый, так странно ступает трясущимися ногами по какой-то странной, как будто легкой земле. И он даже видел, как тот, «чужой», идет. По дороге он встречал молодежь, бежавшую с площади, от церкви. Ему казалось, что он спрашивает, но он только стоял и молча смотрел встречным в глаза. И ему рассказывали. На ходу, торопясь, коротко, отрывисто. Много народа... из сел... и с окраин. Идут к церкви... собирают камни... кладут за пазуху... Кто-то видел топор... под полой... И бежали дальше.

На одной улице, где народ в тревоге высыпал из домов, он видел, как круглолицая кудрявая девушка (чья она?) металась с хорьковой шубой между людьми и всех умоляла спрятать ее. Девушку встречали болезненной улыбкой и отказывали, но своими молящими, почти безумными глазами она сеяла ужас.

Абрум пошел дальше. Мимо него проехал становой, слегка подпрыгивая на мягких рессорах. Абрум поднял руки и что-то закричал, чтобы остановить его. Но тот даже не оглянулся. Блеснул на солнце белым мундиром и золотом погон и исчез. И вдруг шойхет ощутил в сердце жгучую ярость. Его даже дрожь проняла. Теперь он пришел в себя и мог говорить. Он перехватывал встречных и всем кричал, что так нельзя... Надо защищаться. Надо стрелять из револьверов и всех перебить... Забросать поленьями, бить кольями, резать ножами... Поднял страшный крик. Запуганные люди выбегали из домов и умоляли его замолчать.

— Тише, реб Абрум, тише... ша!

Но он не мог успокоиться.

Бледный, с пеной у рта, со страшными глазами, он кричал на всю улицу, словно хотел заглушить криком собственный ужас:

— Зачем молчать? И до каких пор молчать? Мы всё молчали...

— Реб Абрум... ну, успокойтесь же... ша... Реб Абрум...

Те, кто не знал, отчего поднялся крик, думали, что уже началось. Они выбегали из домов наготове, с женами, с детьми, с узлами в руках, и задворками, через огороды, убегали в поле, в высокую пшеницу.

Около Абрума собирался народ. К нему простерлись руки, его окружали бледные, пожелтевшие лица, красные от бессонной ночи глаза. И все молили: ша... тише... не накликай беды... Абрум замолк. И в тишине ему стало страшно. Здесь, в этом местечке, где он родился и вырос, где столько лет, до самой старости, провел, трудясь для себя и других, он оказался как в море на корабле, который вот-вот потонет, а вокруг бушуют волны и ревет ветер в черном просторе. И нет ниоткуда спасения. Абрум обвел всех глазами. Тревожные блестящие глаза, с которыми встретился он, сказали тоже: нет спасения...

Все тело у него странно напряглось, и он сердцем услышал тот крик отчаяния, который глубоко таился в сердце его народа, даже вырваться опасаясь оттуда.

Ему стало страшно... страшнее здесь, среди людей, чем в своем доме...

И вдруг Абрум услышал, как что-то рухнуло на него и мелкими мурашками разбежалось по телу. Это среди молчания обрушился на голову звон колоколов и помчался по городу, приплясывая и хохоча. От площади несся топот и слышался крик: уже идет... уже идет...

Может, там бьют, может, там кровь... Он ничего не знал. Может быть, там грабят и режут... Он только сознавал, что все вокруг него пришло в движение и какая-то сила вдруг подхватила его; что его со всех сторон толкают, что над ним тяжело дышат, что он бежит и слышит вокруг себя тяжелый топот ног и чувствует, как молотом бьет сердце в груди. Нечто огромное, стоногое, пышущее жаром бежало с ним вместе, а он видел перед собой лишь длинные полы чьего-то халата, которые смешно разлетались на ветру. За ним кто-то гнался. Он мчался по тесным улицам, месил ногами глубокую пыль, пробегал мимо домов, сворачивал в сторону, и пот заливал ему

глаза. Вот дом Мойше Цвейлибе, а вот хата убогой Ханы. Снова какая-то улица... еще один дом — чей это дом? Чей же это дом? А там уже поле... Только бы добежать, только бы добежать... Вот уже и дорога. И на ней кровь? Две длинные реки с обеих сторон? Ах нет, это ведь маки, такие страшные, красные... как человеческая кровь... Если бы добежать, если бы спрятаться, чтобы не слышать больше звона колоколов, красного звона, который мчится вдогонку, бьет в самое сердце, приплясывая и хохоча, как безумный.

Местечко опустело. Все, кто только мог, бежали в поле или в лес. Осталась только слепая Эстерка, которую забыли взять с собой, да голодные некормленые козы, бродившие вокруг нее с жалобным плачем. А в странной мертвой тишине местечка плясали колокола. Большие, средние, маленькие. Солнце смеялось и устилало дорогу звоном, как ковром.

Эстерка сидела на пороге своей хаты, закрыв лицо руками. Она знала, что ее бросят, слепую, ненужную, одну на все местечко. Она одна встретит то, от чего все бежали, что там, в Одессе, отняло у нее сыновей. Но она не чувствовала страха. Чего бояться, когда самое страшное огнем пронзило ей сердце и выжгло там все? Не страх, а ненависть закипала в ее груди, когда она слушала колокольный звон. Эстерке казалось, что это не звуки, а сотни кровавых рук простерлись от колокольни и жадно трепещут над домами своими длинными пальцами. И ей хотелось вступить в бой с этими руками и собственным телом отвести от людей беду. Она встала с порога, простерла вперед руки, подняла лицо, по которому текли слезы из слепых глаз, и пошла навстречу звону. Сгорбленная фигура старухи с простертыми руками, сухая и решительная, казалась страшной среди безлюдья. Она шла и жадно ловила звуки, обращая их в ненависть.

Вдруг Эстерка среди звона колоколов услышала нечто иное. Сначала как бы тихий плач, а затем будто вой ветра. С течением времени эти звуки становились грубее, хрипели, обращались в рычание. Словно скотина ревела в загоне или градовая туча мчалась по небу.

Это шел крестный ход.

Тысячи ног били землю, тысячи тел колебали воздух, шелестели на просторе хоругви, и грубыми, нечеловеческими голосами ревели толстые попы, как из бочки, а длинные пряди их волос, развеваясь на ветру, бились о жесткие золотые ризы. Высоко над ними хмурился почернелый лик убогого спаса, едва высовываясь из кованых богатых риз, тяжелых и неудобных.

И играли богу славу колокола, и пели ее от полного чрева жирные попы.

Эстерка сначала не понимала, откуда все эти звуки. Быть может, это туча, страшная и черная, надвигается над головой и хлынет дождь? Но потом, когда крестный ход был уже близко, она услышала знакомый напев и поняла. И вдруг вскипела от злобы: недоброй радостью налилось ее сердце.

— Ага! Он идет! Он идет!.. — кривились в усмешку ее губы, даже слезы перестали литься из глаз. Она спешила навстречу.

Крестный ход все приближался.

Когда же наконец ее овеяло духом человеческой массы и охватили страшные для нее голоса, слепая Эстерка стала, подняла руку, словно хотела остановить ряды, и закричала. Слова сливались у нее в горле в неясный крик. Она потрясала руками и стояла так, с открытым ртом. Сильное возбуждение, гнев отняли у нее речь. Она кричала что-то неясное, а ей казалось, что она говорит и извергает всю свою боль, все горе и всю ненависть.

— Слушай, ты, еврейский сын! — кричала она слова, которые оставались у нее в горле.— Ты снова идешь? Ты, отнявший моих детей! Моего Лейбу и моего Хаима. Ты снова благословишь проливать кровь твоего народа!.. Слушай, отдай мне моих сыновей... Это я говорю тебе, я... слепая Эстерка, выплакавшая глаза... я, мать сыновей моих бедных... Слушай, куда ты идешь, остановись... Хватит крови...

И она трясла кулаками и кричала слова, которые оставались глубоко в груди. Слезы, стекая из незрячих глаз, наполняли старый черный рот с двумя пеньками желтых зубов.

А мимо нее топотали тысячи ног, дышали тысячи грудей, ревели басы и плясали, как безумные, колокола. Большие, средние, маленькие...

Август 1906 г.

...К чему? и откуда желания? Жизнь осталась там, за каменной оградой, а здесь, в серых, холодных стенах, со мною замкнулась смерть. Я не боюсь ее. Я звал ее на правое дело, и она пришла. Взяла жертву, а потом, как благодарный пес, прилегла у моих ног... Теперь она со мною... Что же, смотри оттуда, из черных углов, на мою тень, подстерегай меня кровавым глазом... Это тебе награда.

Но я еще жив. Чувствую под собой жесткий тюремный матрас, вижу свое тело, вытянутое на постели, свои длинные ноги, обутые в башмаки, свои руки, которыми я... В углу мерцает лампочка, а над ней нависла серая и влажная враждебная тишина. Но я не хочу видеть этого... не хочу... Зажмуриваю глаза. Огненные круги. Пляшут и мечут искры... А теперь... теперь уже течет река жизни. И что из того, что меня заперли в этот холодный погреб, ведь весь пышный мир, все краски, весь ход жизни здесь, во мне, в голове, в сердце... Ах, как мне хочется полными пригоршнями черпать золотой воздух... как мне хочется взять перо, обмакнуть его в небесную синеву, в бурные воды, в кровь своего сердца и все описать, в последний раз описать, что видел, что чувствовал. Клочок бумаги, лишь клочок бумаги... Эй вы, тюремщики! Нельзя? Что? Человеку, который обречен на смерть? Ха-ха!.. Ну, что ж! Может, так лучше. Буду лежать и низать, как ожерелье, нить своих мыслей, без слов, без чернил и без бумаги. Ведь мысли быстры и легки, как птицы, а слова — как силок, в который их ловишь: одну поймаешь, а остальные упорхнут... Это будет мое творение, быть может, самое прекрасное из всех, что читали люди, это будет повесть для единственного читателя, самого благодарного и чуткого. И это будет нить, соединяющая смерть с жизнью, и пока она прядется, я еще жив.

Как зазвучали вдруг все голоса... как хлынул вдруг поток жизни в эту могилу... Ах, как все теснится вокруг!.. Нет, не могу.

Подождите. Дайте припомнить. Ага!

Все были такими серьезными, такими бледными и решительными, когда спросили: кто возьмет на себя? «Я». Это из моей груди жгучим льдом вырвалось «я». И сразу встала стена между мною и товарищами, между мною и жизнью. Щелкнул замок, и в сердце замкнулась решимость. Объятья и поцелуи, а через несколько часов я уже ехал, тот «неизвестный», который... и т. д. Я был без имени, роду и племени, и только моего товарища каждый мог бы узнать. Он звался кратко: браунинг.

Было необычайно холодное утро, когда я приехал. Да, было холодно. С севера поднялся лютый враг, сверкающий и острый, как меч, и светил ледяным глазом, и гнал своим дыханием дым по небу, а его черные тени — по снегу. Солнце стояло какое-то робкое и беспомощное. Боялось даже моргнуть. Утоптанный снег плотно прилегал к земле, гладенький, покорный. Бежали куда-то люди и лошади, бежал дым, бежал белый пар от людей и животных, словно жестокий враг гнался за ними. Мне не было страшно. Скорее — любопытно. Осматривал город, теперь ставший мне близким, как могила, город, в котором дома сбились в кучу, как овцы в стужу; от мороза мужчины казались седыми, а лица женщин цвели, как мак.

В тот же день отправился бродить. Смешался с толпой и ходил. Серый, чужой, неизвестный. Вдоль неизвестных улиц. Молчал, хоть надо было расспрашивать, хоть надо было много знать. Где он живет? Когда выходит и где бывает? Когда ест, спит, все его привычки. Какая у него внешность?.. Но постепенно. Не все сразу. Плана не было. Где? Как? Когда?.. Вернее, были тысячи планов, которые кружились и гасли в мозгу, как снопы искр от паровоза в темноте поля... Была лишь уверенность, твердая, как скала: он будет *мой*. И я нашел дом, где он живет. Желтый, большой, холодный. Казенная будка и казенный сторож, который согревал руки и скрипел по снегу взад и вперед, как пес на цепи.

— Ага!

Сказал я это?

Нет, только подумал.

Я сел на бульваре напротив дома, и дом враждебно глядел на меня рядами черных, холодных окон. Мне хотелось глазами разрушить стены, чтобы увидеть его, по вине которого дымились деревни и истекали кровью люди, как затравленные звери. Ведь и он, и те деревни, и люди, и я, и браунинг были звеньями

одной цепи. И чем дольше сидел я против этого дома, тем больше жгла мое сердце холодная льдина решимости.

— Так нужно.

Сказал я это?

Нет, только подумал.

И снова вокруг меня люди, снова поток. Какое сегодня голубое небо, какое высокое и чистое! А золотой смех солнца! От лошадей валит пар, куда-то бегут люди, а мороз высекает искры. И весело оттого, что на молодых лицах торчат молочные усы, как в маскараде, а лошади белые и мохнатые, словно ягнята. Дзень-дзелень-дзень... Роняют колокольчики прозрачные звуки, а за быстроногой лошадкой плывут саночки. Бежит навстречу девушка. Щеки пылают, глаза горят и ловят мой взгляд с таким жаром, с таким порывом, на какой способны лишь те, что встречаются на мгновение, а расстаются навсегда. И этот роман на миг, прекрасный и короткий, подобен падающей звезде. Я благодарен тебе. Ты бросила цветок в мое сердце, а я поймал его и сохраню, быть может, до самой могилы. До могилы? Какой могилы? Ах, правда...

Теперь я всегда среди людей, серый, чужой, неизвестный. Вбираю в себя, как земля капли во время засухи, все, что мне нужно. Откуда? Здесь, там, в воздухе. Ведь все его знали, ведь всем он ненавистен, всем вредил, и все на него ворчали, как трусливые собаки, которые боятся укусить. По утрам он иногда гуляет. Ага!.. Но не один, при нем охрана. В двенадцать он принимает у себя, но незнакомых обыскивают. Я уже знал, что у него есть дочь, любимая дочь, но еще больше он любит театр. Знал его привычку — оглаживать бороду, и другую привычку — прятать кулак за спину. Знал, наконец, когда он ест, ложится спать, встает, знал все, что было нужно, и даже ненужное. Знал, словно собирался писать биографию или некролог. Самого не видел, однако театр привлек мое внимание. Стоял у столбов, читал афиши, старался угадать, чем может прельстить Фифи, какова из себя Сесиль и кто из них красивее. Побывал даже в театре, Фифи видел, видел Сесиль — его не было.

И снова бродил. Одинокий, серый и неизвестный, словно далекая, бледная тень.

Наконец увидел. Однажды... помню... Утром шел снег. Ровный, густой и теплый. Маленькие существа, почившие в небе, слетали на землю для вечного упокоения на тихое кладбище. Ряды домов, ряды деревьев белыми тенями уходили куда-то вдаль и расплывались в тумане. Белый потоп. Все звуки шли снизу, будто из-под воды. Глухо гудел соборный колокол, долго

и жалобно плакали затопленные звуки. Шур-шур... шур-шур... — мерно шуршали шаги. Словно какой-то великан жевал под водой, жевал и проглатывал звуки. И все, что двигалось в тумане, становилось тенью, исчезало навсегда.

Вдруг в эту тишину ворвалось что-то дикое и бессмысленное. Как безумный промчался казак, припав к шее лошади, и, казалось, хрипел вместе с ней. Потом лошади, блестящие, черные, промчали карету, а в чистом окне, как в раме, отразился красивый восковой профиль, нависшие брови и белая борода. И пока я всматривался в этот образ, все исчезло, расплылось и стало тенью... Что? тенью? Да... Тенью...

Мама!... Тс... тише... я неизвестный... Ха-ха! Разве кто-нибудь услышит тот голос, что кричит в сердце, глубоко в сердце? Разве будет кто-нибудь знать, что ты моя мама, а я твой сын? Мама, не плачь. Твой сын пойдет на смерть с поднятой головой и чистым сердцем. Ведь в его сердце сгустилась невинно пролитая кровь, ведь в нем слились все человеческие слезы и пламенем вспыхнул народный гнев... Убивай меня, палач. Ты убиваешь народ...

...Никогда прежде не думал, что мир так прекрасен, что клочок неба, дерево, смех, человеческий голос приносят глубокую радость и, как воздух, нужны людям. Словно обедневший богач, который поднимает с земли и целует кусочек хлеба, когда-то брошенный собакам. Вот теперь вижу — и сердце этому радуется — горит в придорожной луже во время оттепели огонь фонарей, а снег весь черный, словно прокопчен дымом. Каплет с крыш, и каждая капля, летя на землю, играет огнями и звенит. Сияют, как жемчуга, матовые стекла магазинов, и над городом стоит серебристый нимб, как над святым. Святой, потому что мученик.

А я ходил — не мог сидеть в комнате,— и мои мысли все шли за ним, шаг за шагом, ревниво и неотступно. Я его видел. Вот он завтракает, прикрыв салфеткой широкую грудь и распустив по ней мягкую белую бороду. Его глаза улыбаются дочери и розовой редиске, которую он тоже любит. Деликатно берет восковыми пальцами редиску за белый хвостик, и ему так приятно, что все красиво, чисто, так вкусно, что в доме тепло и тихо, возле него красавица дочь и сам он красивый и важный. Он отдыхает... Подают рыбу — и он вдыхает ароматный пар и кладет на тарелку большой кусок. Как бы не подавился какой-нибудь глупой костью! Я так боюсь...

Вот кабинет. Нахмурил брови и углубился в чтение, а у глаз собираются и сердито скачут морщинки. На звонок прибегает

чиновник, и как же он се́рдит начальство! Не случилось бы несчастья... я так боюсь... боюсь случайности, внезапной смерти, ведь все возможно... Ну, слава богу, день окончился благополучно...

Спальня. Мягкий зеленый свет ласково ложится на тяжелое тело, белую бороду и барский старческий профиль. Сон приходит не сразу, мысли блуждают, и глаза что-то видят там, в темноте... может быть, меня? Спи. Доброй ночи... быть может, до завтра?

Все больше и больше привыкаю к нему. Чувствую, что он врастает в меня, как корень в землю, становится все более нужным для меня. Даже не отделяю себя от него. Не могу. Что-то таинственное, непонятное заключается в нашей связи, словно один из нас — тень другого: пока один из нас живет, другой тоже должен жить. И даже браунинг прячет две пули рядом: одну — для него, другую — для меня.

По ночам он снился мне, красивый, величественный старик с восковым лицом. А днем в груди бурлила тревога. Что-то дразнило, что-то сосало сердце, чего-то не хватало. Теперь уже знаю. Мучило желание услышать голос. Я *должен* был услышать его.

А время тянулось.

...Я снова встретился с ней. Той, что бросила цветок в мое сердце. Окинула меня таким приветливым, нежно-внимательным взглядом, что цветок ожил, и я вновь почувствовал его аромат. И сразу настала весна, ожили солнце, радость и смех... мне хотелось схватить в объятия встречного с суровым лицом и прижать к сердцу: брат!.. Увидел тебя, моя мама, как ты чинишь свое черное платье при свете лампы... добрая и бедная... милая и бедная... и слушал, словно музыку, шум жизни... Счастливый и снова свободный сын земли, а не гнев народа...

Исчез с моих глаз противный профиль... Что? Исчез? Долой все из сердца! Я неизвестный...

Теперь я здесь, в этих стенах, как зверь в капкане... Это ты, слепой глаз, что следишь за мной сквозь дырку в дверях... Это ты напомнил... Как? погибнуть здесь... в этом мешке, когда там свобода, работа... товарищи... Где? ха-ха!.. Окно высоко?.. высоко... А сделать подкоп?.. под стены?.. Это же невозможно. Разбить голову об стену? Один... одинешенек... как тяжко, как тоскливо... А может? Нет...

. . . . . .

Как странно, как необычайно странно. Я слышу, звонят где-то там, вверху. Обмерзшие деревья, тонкие веточки, покрытые льдом. Сверкающим льдом, прозрачным стеклом. Старый

звонарь-ветер собрал вместе тысячи нитей и качает ветки и звонит... Дзень-дзелень-дзень... дзень-дзелень-дзень... И скачут огни по веткам — зеленые, красные, синие. Где я слышал это? И когда слышал? В детстве? когда же я слышал? Ах, правда, это же было недавно... дня три, четыре... Дзень-дзелень-дзень...

. . . . . .

Жжет меня стыд при одном воспоминании. Однажды... да, однажды — и больше никогда. Однажды я оглянулся, потому что почувствовал на спине след чужих глаз, скользкий, холодный. Что-то двигалось за мною. Какое-то пальто. Я свернул. Оно. Пошел медленнее. Оно тоже. Стал у дерева... Кажется, стало... Оглянуться? Нет. Я пошел быстрее. Как будто бежало. Быть может, это мое сердце? Кто его знает... Это раздражало. Набрался смелости, повернул назад, прямо на него. Встретились глазами. Мои безразличные, невинные, спокойные, а его острые, как иглы, и лукавые. В уголках смех. Ну, хорошо. Что же дальше? Ты хитер, я не меньше. Натянул нервы, как снасти в бурю, и иду. Кажется, отстало. Оглянуться? Нет. Насвистываю. Безразлично. Что я насвистываю? Неужели марсельезу? Скорее — вальс... Зачем ходить? Не лучше ли сидеть дома, в одиночестве, и не привлекать к себе внимания? Кажется, отстало, я оглянулся. Никого. Значит, безопасно. Пошел налево, в какой-то переулок... и наткнулся прямо на него... на острый, холодный взгляд, как на штык... Ага! Ты следишь!... Ты уже выследил, кого тебе нужно, и зовешь на помощь, идешь к нему... Ага! Ты ловишь?.. И вдруг снизу пошел холод и покатился вверх, как ртуть, к сердцу, к горлу, к кончикам пальцев... надавил на мозг и вытолкнул из черепной коробки... Стрелять? Бежать? Куда? Через забор? Все равно, лишь бы бежать... И стал я легким, пустым и мчался без оглядки, несся, как клочок грязной бумаги в бурю, через чужие огороды, через заборы, по глубокому снегу, а за мной что-то гналось, свистело, кричало и протягивало ко мне руки... Это был мой страх. И только когда прошла опасность, когда мозг заполнил черепную коробку, а в теле ожила кровь, я осознал свою подлость... вспомнил, что по дороге бросил браунинг... не задумываясь, как что-то враждебное и опасное... Назад! Жгучий стыд вернул меня через заборы, чужие огороды, по глубокому снегу, назад к нему, хотя бы там и была сама смерть...

И до сих пор противно... при одном воспоминании... и сознание, что во мне живет подлый, трусливый зверь, выжигает рану в моем сердце...

...Восковой профиль с белой бородой... Он словно бунтовал во мне, будто гневался на то, что вместе с моим разумом вылетел хоть на минуту из головы. Он разрастался в моей груди, занимал весь мозг, угнетал, душил, и так хотелось избавиться от него. «Ага, ты думал я — твой, а ты теперь мой...» — злорадно смеялся во мне и дразнил. Ведь что он для меня? И в чем наша связь? Я гнев народа и его кара, дыхание правдивых уст, огонь из черной тучи человеческих обид, стрела из его лука...

...Да, как будто знал... Так жадно впивал я воздух, так вольно дышала грудь, так широко глядели глаза, словно в последний раз. Иней... лег на землю иней, и спустилась ночь, тихая, настороженная, глубокая. Цвели деревья холодными цветами, белые и легкие, как невесты... Одно стояло все в кружевах, стройное и трепещущее, словно невеста, идущая под венец, ожидающая, что придет юноша, возьмет за руку и поведет. Среди свадебных гостей, в лазурной тишине, между огней. А небо чистое, темное и ароматное, словно из фиалок. И там свадебные гости. Пришли все звезды, даже малютки, что не выходят в сырую ночь, собрались в кучки, стали рядами, разместились поодиночке, бледные, тихие, скромные, и — пышные, блестящие, наглые, каждую минуту меняющие свой цвет. Из далеких улиц плыла музыка человеческого говора и заливались колокольчики, чистые, нагие, словно из купели... То была свадебная ночь, моя свадебная ночь... Цвел в сердце цветок, и обольщал надеждой знакомый взгляд — кто знает откуда — с переменчивых звезд, с цвета деревьев... Первая и последняя ночь... Будто так и знал.

В театре должно было идти что-то интересное, туда шли люди. Веселые, оживленные, с жужжаньем, словно рои летели в улей. Нагло смеялся холодный свет, и хлопали двери. Всюду плыли сани, дышали лошади со свистом и храпом и осыпали снегом. «Вам билет?» — «Вот...» — и я среди роя. Чье-то боа щекочет щеки... теплый запах духов... холодный, быстрый взгляд... картавое: pardon! Перед глазами серая шинель, а сзади кто-то дышит в затылок... Почему все эти мелочи врезались в мозг? Почему в него, как колючки, впились эти воспоминания, а самое главное — конец, начало и середину сразу как будто поглотила память. Я помню только, что задрожал. Потому что вышел из меня гнетущий профиль... восковой профиль и стал неподалеку. Гладил бороду и прятал за спину кулак. И я услышал его голос. И теперь этот голос, липкий, тягучий, живет в моих ушах, опутал мозг... Стрелял ли я? Ни одного звука. Гробовая тишина. Крыльями поднялись нависшие брови, вышли из орбит печаль-

ные глаза, покорные, встревоженные, как у щенка, и стали тенью... Великий гнев, живший во мне, вырвался наружу для своего дела. А в опустевшую грудь мигом ворвался холодный ветер, в самую жгучую рану... Только на мгновение. Потом ничего. Не знаю, что было... минута или вечность...

. . . . . .

...Моя щека была прижата к холодному полу, перед глазами я видел сапог, большой, мокрый, а на мне лежала тяжесть — колени, руки, так, что дух захватывало... Сразу раздался шум, крик... бежали по лестнице, хлопали двери, и что-то пищало тонко, как муха... Потом — мороз, свежий воздух, и всюду люди, любопытные, посторонние, чужие мне люди. Не люди, а куклы из игрушечного магазина... Потом?

Потом — волчья нора, и в ней мы оба: я и моя смерть... Что же, дожидайся, подстерегай меня кровавым глазом... оттуда, из черных углов... Ты заслужила себе награду.

Что? уже идут? и ты встаешь с ними... из черных углов? Надо быть спокойным... спокойным надо быть... Таким спокойным, чтобы сердце сделалось сталью, чтобы гордость сковала голову, чтобы вздрогнуло даже серое утро и ужас испепелил сердца палачей...

Я ухожу без сожаления — так было нужно.

Как прекрасна моя дорога... последний короткий путь... прекрасное утро, белое, мглистое, как погребальный саван... Бряк... за плечами бряцают ружья, и люди, несущие их, топчут ногами свои серые взгляды... Уже? Так близко?.. Свершилось. Не нужно... я сам... чтобы видели глаза... И свой последний вздох... Мама! Ты ли это в сугробах... плывешь в сугробах, как серая тень страдания, чтобы принять в теплые руки последнее дыхание... вздох, отданный другим, а не тебе? Не слушай, мама, и не смотри...

«Пли!»

. . . . . .

«Пли»? Это мне показалось? Я еще жив? Щупаю стены... да, стены, твердые, холодные... и вижу ноги свои в башмаках... могу двинуться, встать, полной грудью вдохнуть воздух...

Окно высоко? Высоко... А сделать подкоп? Что, невозможно?

А может быть?..

Февраль 1907 г.

Посвящаю Конотопским полям

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Моя усталость.	Кукушка.
Поля в июне.	Жаворонки.
Солнце.	Железная рука города.
Три белые овчарки.	Человеческое горе.

Осталось лишь упаковаться... Это было одно из тех бесчисленных «нужно», которые так утомили меня и лишали сна. Не важно, значительное это «нужно» или ничтожное — существенно то, что оно всякий раз требует к себе внимания, что уже не я им, а оно мною владеет. Фактически становишься рабом этого многоголового чудовища. Хотя бы на время избавиться от него, забыться, отдохнуть. Я устал.

Ведь жизнь безостановочно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. Не только моя собственная, но и чужая. А в конце концов — разве я знаю, где кончается моя жизнь и начинается чужая? Я чувствую, как чужое бытие входит в мое, словно воздух в окна и двери, словно воды притоков в реку. Я не могу разминуться с человеком. *Я не могу быть одиноким.* Признаюсь,— искренне завидую планетам: у них свои орбиты и ничто не становится на их пути. В то время как на своем я постоянно встречаю человека.

Да, ты становишься на моем пути и считаешь, что имеешь на меня право. Ты повсюду. Это ты одел землю в камень и железо, это ты из окон зданий — тысячи черных ртов — вечно дышишь смрадом. Ты ранишь священную тишину земли скрежетом фабрик, грохотом колес, грязнишь воздух дымом и

пылью, воешь от боли, радости, злости. Как зверь. Повсюду я встречаю твой взгляд; глаза твои, любопытные, жадные, вонзаются в меня, и сам ты, во всем разнообразии своих цветов и форм, застреваешь в моем зрачке. Я не могу разминуться с тобой... я не могу быть одиноким... Ты не только идешь рядом со мной, ты влезаешь в меня, в нутро. Ты бросаешь в мое сердце, как в собственный тайник, свои страдания и свои боли, разбитые надежды и свое отчаяние. Свою жестокость и звериные инстинкты. Весь ужас, всю грязь своего существования. Какое тебе дело до того, что ты меня терзаешь? Ты хочешь быть моим повелителем, хочешь овладеть мною... моими руками, моим разумом, моей волей и моим сердцем... Ты хочешь высосать меня, всю мою кровь, как некий вампир. И ты это делаешь. Я живу не так, как хочу, а так, как говоришь мне ты своими бесчисленными «нужно», бескопечными «должен».

Я устал.

Меня утомили люди. Мне опротивело быть постоялым двором, где вечно толкутся эти создания, кричат, сердятся и сорят. Распахнуть окна! Проветрить помещение! Выкинуть вместе с мусором и тех, кто сорит. Пусть войдут в дом чистота и спокойствие.

Кто даст мне радость одиночества?

Смерть? Сон?

Как я ждал их порою!

А когда являлся этот прекрасный брат смерти и уводил меня к себе, люди и там подстерегали меня. Они сплетали свое существование с моим в один причудливый узор, старались наполнить мои уши и мое сердце тем, чем сами были полны... Слушай-ка, слушай! Ты и здесь несешь ко мне свои страдания? Свою мерзость? Мое сердце не может больше вместить. Оно полно до краев. Дай мне покой...

Так бывало по ночам.

А днем я содрогался, если чувствовал за спиной тень человека, и с отвращением слушал ревущие потоки человеческой жизни, мчавшиеся мне навстречу, как дикие лошади, изо всех городских улиц.

* * *

Поезд летел, полный человеческого гама. Казалось, город протягивает в поле за мной свою железную руку и не отпускает. Меня раздражала трепетавшая во мне неуверенность: разожмет ли рука свои железные пальцы, отпустит ли меня? Неужели я убегу от этого вопля и войду в безлюдье зеленых просторов?

Они сомкнутся за мной и тщетно будут лязгать суставы железной руки? И будет кругом и во мне тишина?

А когда все это произошло так просто и так незаметно, я не почувствовал тишины: ее заглушали чужие голоса и слова, мелкие и ненужные, как щепки и солома в вешних потоках...

...одна почтенная дама пятнадцать лет страдала болезнью сердца... трах-тарах-тах... трах... тарах-тах... дивизия наша стояла тогда... Трах-тарах-тах... Вы куда едете?.. Прошу билеты... трах-тарах-тах... трах-тарах-тах...

Какой-то зеленый хаос бушевал вокруг меня и хватал бричку за все колеса, а неба здесь было так много, что глаза тонули в нем, словно в море, ища, на чем бы задержаться. И были беспомощны.

Наконец мы у себя. Белые стены дома возвращают мне сознание. Как только бричка вкатилась в широкий зеленый двор, закуковала кукушка. Тогда я вдруг ощутил великую тишину. Она заполняла весь двор, таилась в деревьях, залегала в глубоких голубых просторах. Так было тихо, что мне стало стыдно биения собственного сердца.

* * *

Десять черных комнат, налитых мраком по самые края, обступают мою комнату. Я закрываю двери, точно боюсь, что свет лампы вытечет весь сквозь щели. Вот я и один. Вокруг ни души. Тихо и безлюдно, и все-таки я что-то там чувствую, за стеной. Оно мне мешает. Что там?

Я чувствую твердость и формы погруженной на дно черного мрака мебели и скрип половиц под ее тяжестью. Ну, что же, стой себе на месте, отдыхай спокойно. Я не хочу о тебе думать. Я лучше лягу. Потушу лампу и сам утону в черном мраке. Может быть, и я превращусь в неодушевленный, ничего не чувствующий предмет, в «ничто». Так хорошо быть «ничем», безгласным, ненарушимым покоем. Однако там, за стеной, что-то есть. Я знаю, если войти внезапно в темные комнаты и чиркнуть спичкой, все бы сразу бросилось на свои места — стулья, кушетки, окна и даже карнизы. Почем знать, не удалось ли бы моему взору уловить образы людей, бледные, неясные, как на гобеленах, всех тех, кто оставил свои отражения в зеркалах, свои голоса в щелях и закоулках, формы — в мягких волосяных матрасах, а тени — по стенам. Кто знает, что делается там, где человеку не дано видеть...

Ну, вот! экие глупости! Ты хотел тишины и безлюдья — теперь ты их получил. Качаешь головой? Не веришь в безлюдье?

Разве я что-нибудь знаю? Разве я знаю... Разве я могу быть уверен, что дверь не приоткроется... вот так, чуть-чуть, с легким скрипом, и из неведомого мрака, такого глубокого и бескрайнего, не начнут выходить люди, все те, что укрывали в моем сердце, как в собственном тайнике, свои надежды, гнев и страдания или кровавую жестокость зверя. Все те, с которыми я не могу разминуться, которые утомили меня... Что ж удивительного, если они явятся еще раз... Вот я их уже вижу. Ого, ого! Как вас много... Это вы, чья кровь вытекала в маленькую дырочку от солдатской пульки, а это вы... сухие препараты: вас завертывали в белые мешки, качали на веревках в воздухе, а потом складывали в едва засыпанные ямы, откуда вас вырывали псы... Вы смотрите на меня с укоризной — и вы правы. Знаете, я раз читал, как вас повесили, сразу двенадцать человек... Сразу двенадцать... и зевнул. А в следующий раз сообщение о целом ряде белых мешков закусил спелой сливой. Этак взял, знаете, пальцами чудесную спелую сливу... и почувствовал во рту приятный, сладкий вкус... Вы видите, я даже не краснею, лицо мое бело, как и у вас, так как ужас высосал из меня всю кровь. Во мне не осталось уже ни капли горячей крови и для тех живых мертвецов, среди которых вы идете кровавыми призраками. Проходите! Я устал.

А люди идут. За первым — второй и третий, и так без конца. Враги и друзья, близкие и дальние — и все кричат мне в уши криком своей жизни или своей смерти, и все оставляют в душе моей следы своих подошв. Заткну уши, запру свою душу и буду кричать: сюда вход воспрещен!

...Открываю глаза и вдруг вижу в просветах окон глубокое небо и ветви берез. Кукует кукушка. Бьет молоточком в большой хрустальный колокол: ку-ку! ку-ку! — и сеет в травах тишину. Представляется вдруг зеленый двор — он уже поглотил мою комнату,— я вскакиваю с постели и кричу в окно кукушке: «Ку-ку... ку-ку... Добрый день!»

Ах, как всего много: неба, солнца, веселой зелени.

Бегу во двор. А там лязгают железные цепи и неистово беснуются собаки. Большие белые овчарки прыгают, встав по-медвежьи на задние лапы, и подпрыгивает на них длинная косматая шерсть. Подхожу ближе. Ну, чего ты, собачка... как звать тебя? Ну, хватит уже, Оверко... Не слышит, не видит. Прыгают красные глаза, скачут широкий лоб и белые меховые штаны. Рвется из глубокой пасти и не может вырваться вся до конца зубастая злость и лишь подкидывает вверх копну шерсти. Ну, что же ты, Оверко? Отчего горят твои красные глаза и в их огне

сплавлены воедино страх и ненависть? Я не враг тебе и тебя не боюсь. Ты можешь, в лучшем случае, вырвать кусок из моего тела или вцепиться зубами мне в икры... Ах, какие это пустяки! Какие пустяки, если б ты знал... Ну, молчи же, собака, молчи. Правда, я понимаю, цепь... Может быть, ты больше зол на нее, чем на меня... Ведь это из-за нее твои передние лапы обречены хватать воздух, это она душит тебя за горло и вгоняет в него твою огненную ярость. Подожди немного. Сейчас будешь на воле. Что-то тогда ты мне сделаешь? Ну, стой же спокойно, не беснуйся, пока с тебя снимают цепь... а теперь айда! Куда же ты, куда? Ха-ха! Вот глупый пес. Глаза зажмурил, голову набок, прыгнул — без памяти мчится вслепую. Рвет когтями траву, отбрасывает от себя, и летят за ним вдогонку сбившиеся на заду космы. Ну, а как же я? забыл?

Теперь — волчком... волчком... еще раз... вот так... У, благородный пес: тебе воля дороже, чем удовлетворенная злоба.

Тем временем мне отрекомендовывают Паву, почтенную матрону, и ее второго сына. Это страшный Трепов. Если Оверко чистейший сангвиник и на все набрасывается вслепую, словно его красные глаза вечно застилает розовый туман,— Трепов солиден и рассудителен. Он вполне солидно, словно обдуманно, перекусит вам горло, и каждое движение его сильных ног, которые наступят вам на грудь, будет проникнуто сознанием собственного достоинства. Даже когда он спокойно лежит и вычесывает блох на розовом животе, его обрезанные уши насторожены, лобастая голова думает, и так солидно свисает мокрый язык из клыкастой пасти.

* * *

Мои дни текут теперь среди степи, среди долины, по края налитой зелеными хлебами. Бесконечные тропинки, скрытые, интимные, точно предназначенные для самых близких, ведут меня по нивам, а нивы катят и катят зеленые волны и доплескивают их до самого горизонта. У меня теперь особый мир, он подобен жемчужной раковине, сомкнулись две створки, одна зеленая, другая — голубая, и замкнули в себе солнце, точно жемчужину. А я там брожу и ищу покоя. Иду. За мной неотступно летит облачко мелкой мошкары. Могу подумать, что я планета, движущаяся вместе со спутниками. Вижу, как синее небо раскроили надвое черные машущие вороньи крылья. И от этого синей небо, черней крылья.

В небе солнце — посреди нив я. Больше никого. Иду. Глажу рукой соболий мех ячменя, шелк колосистой волны. Ветер

набивает мне в уши клочья звуков, смешанный разнообразный шум. Такой он горячий, такой нетерпеливый, что так и кипят от него сереброволосые овсы. Иду дальше — кипят. Тихо течет голубыми реками лен. Так тихо, спокойно в зеленых берегах, что хочется сесть в челнок и поплыть. А там ячмень клонится и ткет... ткет из тонких своих усов зеленую кисею. Иду дальше. Все ткет. Колеблет кисею. Тропинки змеятся глубоко во ржи, глаз их не видит, их ловит сама нога. Васильки смотрят в небо. Они хотели быть как небо, и стали как небо. Теперь пошла пшеница. Твердый безостый колос бьет по рукам, а стебель лезет под ноги. Иду дальше — все пшеница и пшеница. Когда ж этому конец будет? Бежит по ветру, как стаи лисиц, и блестят на солнце волнистые спины. А я все иду, такой же одинокий на земле, как солнце на небе, и так мне хорошо, что не ложится между нами тень кого-нибудь третьего. Прибой колосистого моря катится сквозь меня куда-то в неизвестность.

Наконец останавливаюсь. Меня задерживает белая пена гречихи, душистая, легкая, точно взбитая крыльями пчел. Прямо под ноги легла певучая арфа и гудит всеми струнами. Стою и слушаю.

Полны мои уши этого дивного гомона поля, этого шелкового шелеста, этого неустанно льющегося, как бегущая вода, пересыпания зерна. И полны глаза солнечного сияния, ибо каждый стебелек берет от него и возвращает обратно отраженный блеск.

Внезапно все гаснет, замирает. Вздрагиваю. Что такое? Откуда? Тень? Неужели кто-то третий? Нет, только тучка. Одно мгновенье темного горя— и сейчас же улыбнулось справа, улыбнулось слева — и золотое поле размахнуло крылья до самых краев синего неба. Будто хотело взлететь. Тогда только предо мной встала вся его безбрежность, теплая, живая, непобедимая мощь. Овсы, пшеница, ячмень — все это слилось в одну могучую волну; она все заливает, все забирает в плен. Молодая сила дрожит, трепещет и рвется из каждой жилки стебля; клокочет в соках надежда и та великая жажда, чье имя — плодородие. Я лишь теперь увидел село — кучку убогих соломенных крыш. Оно едва заметно. Его обняли и сдавили зеленые руки, протянувшиеся к самым хатам. Оно запуталось в ниве, как мошка в паутине. Что значат перед такой силой эти хатки? Ничего. Сомкнутся над ними зеленые волны и поглотят. Что значит для них человек? Ничего. Вот показалось в поле маленькое беленькое пятнышко и утонуло в нем. Оно кричит? поет? и делает движение? Немая безбрежность просторов поглотила все это. И снова ничего. Даже следы человека стерты и скрыты: поле

спрятало тропинки и дороги. Оно лишь катит да катит зеленые волны и доплескивает их до самого горизонта. Над всем господствует только ритмичный, сдержанный шум, спокойный, уверенный, точно пульс вечности. Точно крылья тех ветряков, что чернеют над полем: равнодушно и безостановочно совершают они в воздухе оборот, словно говорят: так будет вечно... так будет вечно... in saecula saeculorum... in saecula saeculorum [1].

* * *

Я возвращался домой поздно. Приходил, овеянный дыханием полей, свежий, как дикий цветок. В складках одежды приносил ароматы полей, как ветхозаветный Исав. Спокойный, одинокий садился где-нибудь на пороге пустого дома и смотрел, как созидалась ночь, как она возводила легкие колонны, оплетала сеткой теней, сдвигала и поднимала вверх шаткие, дрожащие стены, а когда все это крепло и темнело, смыкала над ним звездный купол.

Теперь я могу спокойно спать, твои крепкие стены встанут между мною и целым миром. Спокойной ночи вам, нивы. И тебе, кукушка. Я знаю, завтра, с лучом раннего солнца, влетит ко мне в комнату твое контральто: ку-ку!.. ку-ку!.. И сразу хорошее настроение принесет мне твое приветствие, моя самая близкая приятельница.

* * *

Трепов! Оверко! Пава! Четыре пальца в рот — и дикий степной свист. Бегут. Как три белых медведя. Может быть, они меня разорвут, а может быть, примут мое приглашение в поле. Хо-хо! Этот Оверко не может без шуток. Прыгает, как глупый теленок, и косит на меня красный глаз. Трепов гордо несет свою шерсть и расставляет ноги, как белые колонны. Он прядает подрезанными ушами. Пава ступает важно, меланхолично, подрагивает задом и отстает. Я иду за ними и вижу легкое покачивание трех широких спин, мягких, покрытых шерстью и по-звериному сильных.

Им, кажется, слегка не по вкусу слишком жаркое сегодняшнее солнце, которое превращает их в такие яркие пятна, но я полон благодарности к солнцу и иду прямо на него, лицом к лицу. Повернуться к нему спиной — упаси боже! Какая неблагодарность! Я полон счастья, встречаюсь с ним тут, на просторе, где никто не заслонит от меня его лица, и говорю ему:

[1] Во веки веков *(лат.)*.

— Солнце! Я благодарен тебе. Ты бросаешь в мою душу золотой посев — кто знает, что взойдет из этих семян? Может быть, огни?

Ты дорого мне. Я пью тебя, солнце, твой теплый целительный напиток, пью, как ребенок молоко из материнской груди, такой же теплой и дорогой. Даже когда ты жжешь, охотно вливаю в себя огненный напиток и пьянею от него.

Я тебя люблю... потому что... слушай.

Из тьмы «неведомого» появился я на свет, и первый вздох и первое движение мое — во мраке материнского лона. И доныне этот мрак властвует надо мной,— все ночи, половину моей жизни,— стоит он между мной и тобой. Его слуги — тучи, горы, темницы — закрывают тебя от меня, и все трое мы знаем твердо, что неминуемо наступит время, когда я, как соль в воде, растворюсь в нем навеки. Ты лишь гость в жизни моей, солнце, желанный гость, и, когда ты уходишь, я стараюсь удержать тебя. Ловлю последний луч на тучах, продолжаю тебя в огне, в лампе, в фейерверках, собираю с цветов, со смеха ребенка, из глаз любимой. Когда же ты гаснешь и убегаешь от меня, творю твое подобие, даю ему имя «идеал» и прячу в своем сердце. И он мне светит.

Смотри же на меня, солнце, и опали мою душу, как опалило тело, чтобы стала она недоступной для комариного жала... (Я ловлю себя на том, что обращаюсь к солнцу, как к живому существу. Неужели это значит, что мне уже не хватает общества людей?)

Мы идем посреди поля. Три белые овчарки и я. Тихий шепот плывет перед нами, дыхание молодых колосков сгущается в голубой пар. Где-то сбоку влажно бьет перепел, звонко дрогнула во ржи серебряная струна кузнечика. Воздух трепещет от зноя, и в серебряном мареве танцуют далекие тополя. Широко, хорошо, спокойно.

Собакам душно. Легли на меже, как три копны шерсти, свесили языки и носят боками с коротким свистом. Я присел возле них. Слышно только наше дыхание. Тихо.

Время остановилось или течет? Может быть, пора?

Лениво поднимаемся, лениво переступаем с ноги на ногу и бережно несем домой покой. Проходим мимо черных паров. Тепло дохнула в лицо пушистая черная пахота, полная спокойствия и надежды. Приветствую. Отдыхай тихо под солнцем, ты так же утомлена, как и я. Я тоже пустил свою душу под черный пар...

* * *

Никогда раньше так ясно я не ощущал своей связи с землей, как здесь. В городах земля одета в камень и железо и недоступна. Здесь я стал близок ей. Свежими утрами я первый будил сонную еще воду колодца. Когда пустое ведро с плеском ударялось донцем о ее грудь, она гулко ухала спросонок в глубине и лениво вливалась в него. Потом дрожала, сизая на солнце. Я пил ее, свежую, холодную, еще полную снов, и плескал ею себе в лицо.

После этого было молоко. Белый ароматный напиток пенился в стакане, и, поднося его к губам, я знал, что это вливается в меня мягкая, как волосы ребенка, вика, на которой только вчера еще сидели целыми роями фиолетовых мотыльков цветы. Я пью экстракт луга.

Или этот черный хлеб из непросеянной муки, который так чудесно, по-деревенски пахнет. Он мне близок, как ребенок, который вырос на моих глазах. Вот бежит он по полям, словно дикий косматый зверь, и выгибает спину. А на краю поля стоят, точно капканы, ветряки, скалят зубы, чтобы перетереть зерно в белую муку. Я все это вижу, и просты и непосредственны мои отношения с землей.

Я здесь чувствую себя богатым, хотя у меня ничего нет. Ибо, помимо всяких партий и программ,— земля принадлежит мне. Она моя. Всю ее, огромную, роскошную, сотворенную уже,— всю я вмещаю в себе. Там я творю ее заново, вторично,— и тогда кажется мне, что у меня на нее еще больше прав.

* * *

Когда лежишь в поле лицом к небу и вслушиваешься в многоголосую тишину полей, то замечаешь, что в ней что-то есть не земное, а небесное.

Словно что-то сверлит там небеса, будто строгают металл, а вниз падают только мелкие, просеянные звуки. Нивы шумят рядом и мешают слушать. Гоню от себя полевые голоса, и тогда меня дождем окропляют небесные. Тогда я узнаю. Это жаворонки. Это они, невидимые, бросают с неба на поле свою сверлящую песню. Звонкую, металлическую и такую капризную, что ухо ловит и не может поймать ее переливы. Может быть, поет, может быть, смеется, а может быть, захлебнулась в плаче.

Не лучше ли тихонько сесть и зажмурить глаза? Я так и делаю. Сажусь. Вокруг меня темно. Вспыхивают лишь острые, колкие звуки, и мелкой дробью сыплется на металлическую доску смех. Хочу поймать, записать их в памяти — и не выходит. Вот, вот, кажется... Тью-и, тью-и, ти-и-и... Нет, совсем не так. Трийю-тих-тих... И не похоже.

Как они это делают, интересно мне знать? Бьют клювами в золото солнца? Играют на его лучах, как на струнах? Просеивают песню сквозь частое сито и засевают ею поля?

Раскрываю глаза. Теперь я уверен, что из этого посева взошла серебряная сетка овсов, выгибается и сверкает, как сабля, длинноусый ячмень, струится текучая вода пшеницы.

А сверху сыплет и сыплет... вытряхивает душу из колокольчиков, строгает серебряные доски и сверлит сталь, плачет, рыдает и просеивает смех сквозь частое сито. Вот сорвался один ясный звук и упал среди поля красным куколем.

Я уже больше ничего не в состоянии слушать. В этой песне есть что-то отравляющее. Она возбуждает жадное желание. Чем больше слушаешь, тем больше хочется слушать. Чем больше стараешься уловить, тем труднее поймать.

Теперь бегаю в поле и часами слушаю поющие в небе хоры, играющие там целые оркестры.

Ночью просыпаюсь, сажусь на постели и напряженно слушаю, как что-то сверлит мой мозг, щекочет сердце, трепещет возле уха чем-то неуловимым.

Тью-и, тью-и, ти-и... Ну, совсем не так.

Любопытно мне знать, как они это делают?

Наконец все-таки подглядел.

Серая, маленькая, как комок земли, пичужка низко висела над полем. Напряженно, часто трепыхала на месте крыльями и тяжело тянула вверх невидимую струну от земли до самого неба. Струна дрожала и звенела. Затем, закончив, падала тихо вниз, тянула вторую — с неба на землю. Соединяла небо с землей струнами и играла на этой звучной арфе симфонию поля.

Это было прекрасно.

* * *

Так протекали дни моего intermezzo среди безлюдья, тишины и чистоты. И благословен я был между золотым солнцем и зеленой землею. Благословен был покой моей души. Из-под ветхой страницы жизнь выглядывала новая, чистая — и неужели мне хотелось бы узнать, что на ней будет написано? Неужели не задрожал бы я опять перед тенью человека и не

ужаснулся бы мысли, что, может быть, горе человеческое притаилось где-то и подстерегает меня?

Если произойдет такое чудо — это будет ваша заслуга, зеленые нивы с шелковым шумом, и твоя, кукушка. Твое печальное «ку-ку» наплывало, как слезы на плакучей березе, и смывало мою усталость.

* * *

Мы все-таки встретились на поле и молча постояли с минуту — я и человек. Это был обыкновенный крестьянин. Не знаю, каким я ему показался, но сквозь него я увидел вдруг кучу черных соломенных крыш, затертых нивами, девушек в облаке пыли, возвращающихся с работы на чужом поле, грязных, некрасивых, с обвислыми грудями, костлявыми спинами... бледных женщин в черных порванных юбках, клонившихся, как тени, над коноплей... сифилитических детей вперемежку с голодными псами... Все, на что смотрел и чего словно не видел. Он был для меня как палочка дирижера, вызывающая внезапно из мертвой тишины целую бурю звуков.

Я не бежал; наоборот, мы начали разговор, точно старые знакомые.

Он говорил о вещах, наполнивших меня ужасом, так просто и спокойно, как жаворонок бросает на поле свою песню, а я стоял и слушал, и что-то трепетало во мне.

Ага, человеческое горе, ты все-таки ловишь меня! И я не бегу? Уже натянулись ослабевшие струны, уже чужое горе может играть на них!

— Говори, говори...

Что говорить? В этом зеленом море ему принадлежит капля. В чей дом пришла горячка и задушила детей, тому легче... Иного бог жалеет. А у него целых пять ртов, как ветряных мельниц, которым надо что-то бросить на жернова.

«Пятерых деток голодных почему-то не унесла горячка».

— Говори, говори...

Люди хотели голыми руками землю взять, и вот добились: кто давится в могиле сырой землей, а кто копает ее в Сибири... Ему еще ничего: год бил вшей в тюрьме, а теперь раз в неделю становой бьет его по морде...

«Раз в неделю человека бьют по лицу».

— Говори, говори!..

Как только воскресенье — люди в церковь, а он «на явку» к становому. А все-таки меньшая обида, чем от своих. Боишься слово сказать. Был тебе приятелем и единомышленником, а

теперь, может, продает тебя исподтишка. Отрываешь слово, как клочок от собственного сердца, а он его — псам...

«Самый близкий человек готов продать».

— Говори, говори...

Ходишь среди людей, как среди волков. Знаешь одно — остерегаться. Везде настороженные уши. Везде протянутые руки. Бедный у нищего рубаху с плетня ворует, сосед у соседа, отец у сына.

«Среди людей, как среди волков».

— Говори, говори...

Людей едят сифилис, нужда, водка, а они в темноте пожирают друг друга. Как нам еще светит солнце и не погаснет? Как мы можем так жить?

— Говори, говори! Растопи гневом небесный купол. Заволоки его тучами твоего горя, чтобы грянули молния и гром. Освежи небо и землю. Потуши солнце и зажги в небе другое. Говори, говори...

* * *

Город вновь протянул ко мне свою железную руку в зеленые поля. Покорно дал взять себя и, пока железо тряслось и лязгало, я еще раз, напоследок, впитывал покой равнины, синюю дрему дальних просторов. Прощайте, нивы. Катите шум на своих позлащенных солнцем спинах. Может быть, кому-нибудь он пойдет на пользу так же, как мне. И ты, кукушка, на вершине березы. Ты тоже настраивала струны моей души. Они ослабели, истерзанные грубыми пальцами, но теперь натягиваются вновь. Слышите? Вот они даже прозвенели... Прощайте. Иду к людям. Душа готова, струны тугие настроены, она уже играет...

Сентябрь 1908 г.

Пришлось бабке слезть с печи: внучка захворала, и понадобилось ей тепло. А на лавке в тесной хате места не было, вот и устроилась бабка на полу. Сын и невестка будто и не заметили. Там она и осталась.

Из угла между дверью и посудной полкой, где на полу лежала она — старая, забытая смертью мать,— все представлялось необычным. До сих пор годами валялась на печи и привыкла смотреть сверху вниз. Тогда внуки казались маленькими, слепнувшие глаза отдыхали на русых головках или ловили сердитые, отмеченные печатью нужды, лица невестки и сына, проплывавшие мимо нее от двери к печи. И уже из-за печи доносились их голоса.

Теперь все внезапно выросло. Дети, тянувшиеся над ней к полке и осыпавшие хлебными крошками и соринками, сапоги сына — старые, с налипшим снегом, тяжелые, как горы, и босые ноги невестки, которые возникали у самого лица и закрывали весь мир. Теперь она видела проворный огонь в печи, пожиравший топливо, но умиравший от голода, черные углы под лавками, разевавшие беззубые рты и дышавшие гнилой сыростью. Порой, когда открывалась дверь и облако белого пара, словно туман, стлалось по полу, закрывая все, казалось — такой должна быть и смерть, мутная, безглазая, леденящая ноги.

Где же она? Почему не приходит? Не дозовется бабка. Бродит смерть вокруг, а бабку забыла. Мужа взяла, задушила семерых детей, вот-вот — не заметишь — за внучкой явится. Всюду косой прошлась, выкосила целые луга, а о бабке забыла. И странно и страшно, что так трудно умереть.

Долгими днями и еще более долгими ночами, когда мыши бегают по гнилой картошке и по телу бабки, а тараканы шуршат рядом, как возле старой тряпицы, тихонько лежит бабка,

и время от времени вылетает из ее высохшей груди жалобный стон, тонкий, как будто скулит слепой щенок.

— Ох-ох!.. Где это смерть моя запропастилась!..

— Нет на вас конца! Спать не даете...— сердито ворчит невестка, и под ней скрипит лавка.

— Не-ет,— говорит бабка в тон невестке и облизывает десны, где когда-то были зубы, и лижет высохшие, ввалившиеся губы.

Бабке хочется кисленького, капустки или огуречного рассолу, а в дремоте сливаются сны и действительность: обрывки сказок, «Отче наш», тяжелые, как горы, сапоги сына, оставляющие мокрые следы.

Затем сон внезапно исчезает, будто его смыло, и бабка чувствует свое маленькое тело, которому твердо и холодно лежать на жиденькой подстилке, в сыром углу.

Зачем она живет? Кому нужна? Жизнь выела из нее силу и, как шелуху от картошки, бросила в угол. А душа крепко ухватилась за эту оболочку и не хочет ее оставить.

Мало места занимает бабка на свете,— угол под полкой для посуды, а всем мешает, мало хлеба съест, а когда в хате нужда — и это много. И вновь шелестят увядшие уста, как сухие листья:

— Ох!.. смертонька моя... где ты?

Тело порой требовало своего. У этих костей и кожи, у этого высохшего живота, пустых грудей возникало непреодолимое, фантастическое желание и заглушало разум:

— Мо-лоч-ка!

Тогда на невестку нападал смех. Ничего не говорила, только тряслись от смеха ее груди, лицо и живот, она смеялась так, что даже виднелись за ее искривленными губами белые зубы.

Бабке было очень обидно. Не дают молочка... Молочка не дают...

Она от огорчения морщилась, ворчала, ей до слез молочка хотелось, хотя знала,— его не видит даже больной ребенок.

Невестка наконец хватала веник, и бабка исчезала в облаке пыли.

— Ноги уберите! Вымету в сени вместе с мусором!..

Бабка убирала ноги и долго — невидимая — кашляла под полкой.

Днем ее обседала детвора, как пятеро желторотых воробушков. Детские глаза глядели бабке в рот...

— Расскажите сказку.

Рот открывался, как пустой кошелек, и шипели слова, что-то о царевиче, золоте, дорогих кушаньях. Но язык высовы-

вался, слизывал начатое, и бабка кончала другим,— о лошадиной голове или злой мачехе. Она употребляла старинные слова, непонятные детям. Им становилось скучно.

— Бабо! Когда вы помрете?

Они расправляли кожу на бабкиной шее, сморщенной, как старое голенище, рассматривали два мешочка грудей, между которыми застрял медный крест, подымали запаску и трогали ноги, сухие, черные, жилистые, как сучья, которыми мать растапливала печь.

Они хотели бы увидеть, как вылетит из бабки душа.

— Бабо! Душа птичкой вылетит из вас?

Потом тянулись к полке, топтались у бабки на груди и засыпали глаза крошками.

О смерти говорили и невестка с сыном, громко, со злостью, как о невнесенной подати.

— Помрет, на что похоронишь?

Сын лишь сопел и бросал сердитый взгляд в угол, и бабка тогда боялась звать смерть: а ну как придет, где тогда взять денег на похороны! Попу плати, доски дороги, а люди сколько съедят да выпьют...

Одно было развлечение у бабки. Как только забывали закрыть дверь, из сеней влетала пестренькая курочка и стремглав бежала к старухе. Вытягивала короткую шею, косила круглым глазком, подымала лапку и ждала. И только протянет бабка сухую ладонь с хлебными крошками, пеструшка начнет клевать в ладонь, пощипывать бабку.

Ну и доставалось же курице! Ее били по спине так, что она приседала, выгоняли обратно в сени, желали ей:

— Чтоб ты сдохла, проклятая!

Лучше бы бабке этого пожелали. Может, скорее померла бы.

Бабка что-то обдумывала. Дни и ночи, тайно, в одиночестве. Причмокивала, глядела куда-то в глубь себя, уже готова была вымолвить слово и в нерешительности замирала. Порой шептала: «Сынок»,— и сейчас же испуганно умолкала, оглядываясь, не услышал ли? Тогда ослабевшие руки и ноги покрывались каплями пота и прилипали к рубахе, а бабка лежала, как неживая.

Наконец решилась.

— Сынок!..

Он что-то чинил и, наверно, не слышал.

— Потап!

— Чего?

— Иди сюда.

— Чего там?

— Сядь около меня.

Он нехотя поднялся и сел на лавке под полкой.

Огромный мокрый сапог стоял у самых ее глаз, и его тень закрывала лицо.

— Пора умирать.

— Снова попа звать? Говорили, умру-умру, а я только деньги попу напрасно отдал.

Потап раздражался и не смотрел на нее.

— Эх, бабо... мамо,— поправился он.

Жесткие складки легли и застыли у его рта, и то, чего он не сказал, скрывалось в них.

— Не надо попа... Бог простит и так. А вот не могу умереть.

— Слыхал. Говорили.

— Забыла про меня смерть... Нет конца... Хоть бы ты помог.

Бабка зашевелилась в своем логовище. Он слышал, как стукнулись одна о другую ее ноги — кость о кость, как удушье зашипело в груди и с враждебностью и тоскою грубо вырвалось у него из горла:

— Ну?

Но бабка уже тихо лежала и спокойно что-то говорила сама с собой, как сквозь сон.

— ...взял сын розвальни, положил старика, да и отвез в овраг...

Потап поднял брови.

— Что вы сказали?

Но бабка очнулась.

— Я так... не нужна стала, лишняя. Место занимаю... ох, ох, хлеб ем, а он детям нужен... Всем тяжело со мной, и мне тяжело... Отвези меня в лес...

Он не понял, только искоса глянул на мать...

— Помоги, сынок... отвези в лес... Теперь зима, быстро замерзну. Разве старухе много надо? Раз-другой вздохнула, да и все...

Чем-то повеяло на него от этих странных слов, будто давний, забытый сон задел крылом мозг и исчез.

Не хотел слушать, а слушал.

— Греха не будет... В лесу чисто и бело... деревья — как свечи в церкви... Засну, и проснусь, да и скажу: «Матерь

божья, не осуди сына, осуди нужду человеческую...» А с тем не считайся, что люди скажут. Как беда придет, где тогда люди?.. Нет их... Погибай в одиночку...

Слова матери падали, как зерно на готовую пашню; он чувствовал это, и в нем закипал притворный, чужой, неискренний гнев.

Наконец встал с лавки и крикнул сердито, скорей себе, чем матери:

— Не болтайте зря! Дал господь жизнь — пошлет и смерть... Спали бы лучше.

А когда погасили свет и легли, его мысли заметались по хате, тяжелые, бесформенные, темные, как клубы туч, и лишь иногда что-то светлое разрывало их.

Бог?

Ты глядишь с неба? Гляди.

Злобны и холодны были проблески мысли.

Грех?

Вся земля в грехе. Разве его голод — не грех сытых?

Он гнал от себя мысли, особенно подсказанные старухой. А вместе с тем, как нарочно, возникало в памяти полузабытое, о чем слыхал от матери или от бабки своей,— как некогда, еще в старину, дети убивали родителей. Вывозили в лес или поле и оставляли там дожидаться смерти. Зачем жить старому? Старому умирать, молодому жить. Так все на свете. Старый лист опадает, молодой вырастает. Зима исчезает с приходом весны, зерно гниет в земле, чтобы дать росток. Так повелось испокон веку.

Пожила старая, а умереть не может. Просит смерти — не дает бог. Разве грех помочь?

И снова что-то темное подымалось в нем, как пар над гнилым болотом, заволакивало мысли, заставляло тело неметь, обдавало холодным, зудящим потом. Тьфу! тьфу! Господи боже! Живую мать выволочь из хаты...

Глубокая ночь всей тяжестью налегала на грудь и не давала дышать, а мысли вновь робко касались мозга, шевелились и крепли.

Сгинь! Пропади!.. Как будет, так и будет... Что люди скажут? Люди! Они осудят. Когда от голода погибаешь с малыми детьми, когда от беды воешь, как собака, когда тебя жжет и режет,— людей нет. Нет на свете страшней пустыни, чем та, что зовется людьми. Люди! Ха-ха!..

Потап не мог заснуть, вертелся на лавке, приподнимал голову, прислушивался,— что там — в углу под полкой. Там было тихо.

И вдруг ему показалось: все уже позади. Мать в лесу, в хате просторней, не слыхать стонов, нет лишнего рта, нет постоянной заботы, где взять денег на похороны. Ему даже легче стало.

Но вот заскреблись мыши, завозились под полкой, и оттуда донесся жалобный скулящий голос:

— Ох, смертонька моя... где ты?

Встал поздно.

День был тихий, гнетущий. Серое тяжелое небо сдавило землю, а по ней, как неприкаянные души, бродил туман.

Надо было возить навоз. И Потап возил, тяжело ступая рядом с санями, сам серый, как сгустившийся туман, и все смотрел в глубь себя, где что-то за ночь осело и утвердилось.

Почему-то оставил работу рано, еще было светло. Зашел в хату, потоптался молча и вышел. Вернулся, стал у порога, но не смотрел под ноги. Что-то хотел сказать и не находил слов.

Мать молчала.

Тогда он бросил туда, где она лежала, с трудом, полусердито:

— Одумались?

— Что говоришь? А?

— Забыли вчерашние глупости?

— Ох... помоги мне, сынок...

— Опять свое?

— Отвези в лес...

Тогда он вдруг присел на корточки, и его лицо оказалось так близко, что старуха почувствовала горячее дыхание сына, зашептал со свистом:

— Скажите, сами захотели?

— Сама.

— Хорошо подумайте: сами?

— Сама.

Он резко поднялся и сел за стол. Хотел отрезать хлеба, но не отрезал и снова положил на место.

Не глядел ни на кого, но хорошо понимал — все уже знают.

Не удивился, когда жена спокойно сказала:

— Надо воды согреть.

Значит, сейчас будут обряжать бабку перед смертью.

Тогда он равнодушно начал смотреть на приготовления.

Видел, как деловито засовывали в печь солому, как дети шептались в углу и словно радовались, что «тато отвезут бабку в лес», как старуха протягивала руку из-под полки.

— Рубаху чистую достаньте.

— А свечки, кажется, нет у нас!..— звонко закричала жена, и он сам полез под образа, где привыкли хранить вербную свечу.

Ему не следовало глядеть, как обряжают мать, и он вышел.

А когда вернулся, она с крестом на груди — сухая, маленькая, как выпотрошенная курица, лежала уже обряженная на лавке и чистые пятки торчали из-под черной шерстяной запаски, как у покоїнницы.

«Кончили?» — хотел он спросить, но не спросил,— увидел, только его и ждут.

Он подошел к лавке.

— А может, вы того...

Она закачала сухоньким личиком, на котором легли уже новые тени.

Тогда он решительно подошел ближе, поцеловал руку и в губы, а она благословила его сухими, как осенние сучья, руками.

Теперь подходили все, молодица и дети, и целовали бабку.

А бабка легонько покрякивала — ей нравилось, что ее губ касаются теплые губы.

Невестка даже всхлипнула, но тотчас же замолчала, когда Потап спросил о дерюге.

— На что тебе?

— Надо б укрыть...

— Гляди же назад привези.

Потап взял мать на руки и вынес. Открылась дверь, холод пошел по хате, и сразу же в черный мрак сеней ворвался детский плач.

В сенях было сенцо. Потап подложил его бабке под бока, укрыл ее дерюгой и, берясь за вожжи, спросил:

— Хорошо вам, бабо?

«Опять «бабо»,— подумал, но не решился поправиться.

— Не забудь же дерюжку...— вновь напомнила жена, когда он садился в сани.

Лошаденка дернула — и бабка поплыла.

Ехать было версты три полем, начинавшимся тут же за хатой. Сразу же упала ночь и поглотила дали. Белели одни ближние снега, и туман на ночь одевал деревья в иней.

Молчали. О чем было говорить? Нужда давно замкнула ему уста, и говорило в нем только сердце, а потом нечто таинственное и пугливое встало между живым телом в санях и тем, чего не решался отогнать словом.

Внимательно следил за тем, как кобыла вертела мохнатым задом, на котором уже оседал иней, и думал, что следует приготовить сечки, прикидывал, когда лучше обмолоченные снопы свезти на соломорезку: сегодня ли, возвратясь, или, может, завтра. Потом вспомнил, что забыл рукавицы, что не вымыл рук и теперь они покрыты навозом, как корой.

Ему показалось, что старуха о чем-то скрипит. Обернулся и крикнул:

— Чего хотите? А?

Он насилу разобрал. Она спрашивала, не едут ли они Микитиным полем.

— Микитиным? Га-га! Микита давно помер. Уже и поле сыновья продали.

— Кому продали?

— Тут целая история была.

Он оживился, оборачивался назад, кричал, чтобы мать слышала, стучал кнутовищем по саням, махал руками, радуясь, что может прогнать криком то таинственное, пугающее, что встало между ними.

Сани раскатывались на разъезженных местах и ударялись полозьями, а он выставлял ногу и упирался в твердый край дороги, как привык делать, когда возил навоз. Хлестал кобылу... Но-о! И вновь оборачивался к матери.

Они радовались оба, что снова живут общей жизнью, как еще в те времена, когда старуха могла ходить.

Бабка жадно ловила новости. Она ничего этого не слыхала. Что можно услышать, валяясь где-то под полкой для посуды? А этот Микита сватался к ней... Хе-хе!

Не заметили даже, как обступил их лес.

Потап остановил лошадь.

— Не озябли? — подошел он к бабке.

— Нет.

— Приехали уже.

Бабка сейчас же попробовала подняться, но упала навзничь.

— Подождите еще, полежите.

Глубоко проваливаясь в снег, он отошел в глубь леса, чтобы выбрать место. Отыскал под дубом, где было повыше и ровней, и вслух сказал:

— Тут хорошо будет.

Потом посмотрел вокруг.

В глубокой тишине деревья плели белое кружево ветвей, будто собирались закинуть невод в глубокие воды неба, где туманно трепетали звезды золотой, как рыбки, чешуей.

«Лучше, чем в церкви»,— подумал он.

Наносил сюда сена, устроил для матери постель и положил старую лицом к небу.

Хотел укрыть дерюгой ноги, а она не позволила.

— Не надо... возьми домой, в хозяйстве пригодится.

«А пригодится»,— подумал он и отложил дерюгу в сторону.

Но сейчас же передумал и укрыл мать до самой головы.

Она покорно вытянула руки поверх дерюги, а он сложил их на груди, как покойнику. Потом зажег свечу и вставил между пальцами.

«Что бы еще сделать?» — подумал.

Стал на колени, прямо в снег, и ткнулся лицом в сложенные руки.

Теплый дух таявшей и оплывавшей свечи поднял у него в груди что-то горькое и мутное, чего нельзя было выразить. Припав к этим жестким рукам, которые скоро будут свидетельствовать перед богом о своих трудах, хотел рассказать вот здесь, среди тишины, где деревья стояли, как свечи в церкви, всю свою жизнь, все свои обиды, а только вымолвил:

— Простите меня, мамо...

— Бог простит...

И второй раз и третий...

Хотел уже подняться, чтобы покончить с этим, но услыхал: мать что-то шепчет.

Перевел взгляд на ее лицо, казалось, таявшее, как желтый воск свечи.

— Что, мамо?

Она по-старчески зачмокала, рот ее перекосился так, что стали видны синеватые десны, и простонала:

— Не режьте пестренькой курочки... она будет нестись.

Из полупогасшего бабкиного глаза скатилась слеза.

Он обещал. Зарезать курицу!.. Разве курица — мужицкая еда?

Теперь уже все? Он поднялся, поклонился и побрел по снегу.

Грузно упал в сани и ударил лошаденку. Кобыла дернула и понесла, колотя санями о пни и подбрасывая на всех ухабах.

А когда во время этой скачки он оглянулся, свеча спокойно и ровно горела между деревьями, будто звезда опустилась вместе с инеем и отдыхала на снегу.

И сразу стало легко. Тяжесть внезапно свалилась с плеч. Вдохнул в себя морозный воздух, ощутил пустоту в груди, наполнил эту пустоту диким, злобным криком:

— Но-о! Стер-ва!

Покачивался в санях, как пьяный, будто с ярмарки ехал, хорошо угостившись, все ему казалось нипочем, ничто не страшило, море было по колено.

Лошаденка вынесла в поле и, устав, поплелась шагом.

Тогда вспомнился ему один день его детства.

Было воскресенье. Всю хату наполняло солнце. Ему не терпелось поскорей к ребятам, и он не хотел снимать будничную одежду. Но мать поймала, надела чистую и белую холодную рубашку. Расчесала волосы и уже на пороге положила за пазуху горячий пирог. Пирог обжигал ему грудь, но Потап вынул его только на улице, когда уже был среди ребят. Ему нравилось, что все смотрят, как он откусывает от пирога и пальцем выколупывает из него сливы.

Больше ничего не мог вспомнить.

Еще было хорошо, когда отец помер. Собралось много народу, ели капусту, кутья пахла медом, и, как мухи,— чернели в ней изюминки.

Тогда он наелся.

Он ехал вперед, все дальше в поле. Лошаденка так побелела, что сливалась со снегом, зато небо стало чистым и черным...

Микитино поле... «Сватался ко мне Микита...» Хе-хе!

По небу, как тень голубиных крылышек, плыло одинокое беленькое облачко.

Отвел глаза от облачка, съежился весь. Что-то холодное защекотало в груди. Может, это не облачко, а душа матери плывет?

И мысли устремились назад. Лежит в лесу одна, на холодном ложе, как подстреленная птица, смотрит сквозь слезы на небо. Только свеча плачет над ней и горячий воск каплет на сухие, как у покойника сложенные руки.

Нужно ж было отвозить... Послушался, сама захотела, а могло быть иначе. Могло быть...

Как очарованный, он потерял поле, небо, лошаденку. Одна картина завладела его воображением, заслонив все.

...Только что вынесли мать на кладбище, с хоругвями, с попами,— по-христиански. В хате народ. Вкусно дымится еда. «Выпейте, сват, за упокой души...», «Царствие ей небесное...» Водка обжигает горло и желудок... Гомон вокруг... Теплом дышит честной мир, и дышит в миске вареное мясо... Выпьем еще... «Хорошая была женщина покойница...» Стучат ложками о миску, причмокивают от удовольствия лоснящимися губами,

сытая душа, открытая для всех, возносится, как пар, хочется плакать или петь... «Та нема гі-ірш нік-о-му...» — «Выпьем, кумонька дорогая, за души усопших...»

Ему стало душно.

— Половину огорода можно было бы заложить,— сказал вслух и даже вздрогнул.

Кто это сказал?

Посмотрел вокруг. Лошаденка едва передвигала ноги, откуда-то вновь взялся туман, вверху закрыв небо, внизу — поле, и сеял что-то унылое и беспросветное.

Надо было отогнать лукавое видение. Он старался вспомнить, что говорил поп в церкви, что обычно говорят в таких случаях люди. Думал о грехе, о душе, о церковных молитвах, христианских обычаях. «Чти отца твоего и матерь твою...» Но все это было холодно и мгновенно таяло от тепла привлекательных картин, нарисованных воображением.

«Одна у нас мать и одна смерть»,— говорил он себе и вместе с тем слышал: «Угощайтесь, кума... выпьем за души усопших...» Он одно слышал, одно ощущал — гомон и тепло голосов, вкус жирной еды, праздник и радость живого тела.

Уже виднелись хаты.

Тогда он вдруг поднялся в санях, поглядел вперед, оглянулся назад и круто повернул лошаденку.

— Но-о, стер-ва!

И понесся в туман, среди взлетавших из-под копыт снежных комьев, назад — к бабке.

Декабрь 1910 г.

Иван был девятнадцатым ребенком в гуцульской семье Палийчуков. Двадцатым и последним была Аннычка.

Кто знает, вечный ли шум Черемоша и жалобы горных потоков, наполнявших одинокую хату на высокой кычере[1], или печаль черных пихтовых лесов пугали дитя, только Иван все плакал, кричал по ночам, плохо рос и глядел на мать таким глубоким старчески умным взором, что она в тревоге отводила от него глаза. Не раз она со страхом думала даже, что это не ее ребенок. Не «береглась» баба, рожая, не обкурила хаты, не зажгла свечи, и хитрая бесовка успела подменить ее дитя своим бесенком.

Плохо росло дитя, а все же подрастало, и не успели оглянуться, как пришлось шить ему штаны. Но оно было по-прежнему странным. Глядит прямо перед собой, а видит что-то далекое и неведомое никому или без причины кричит. Гачи[2] с него спадают, а оно стоит среди хаты, закрыв глаза, разинув рот, и верещит.

Мать тогда вынимала трубку изо рта и, замахнувшись на ребенка, сердито кричала:

— Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Подмененный! Пропади ты пропадом, исчезни с глаз моих!

И он исчезал.

Катился по зеленым царынкам[3], небольшой, белый, словно шарик одуванчика, бесстрашно забирался в темный лес, где пихты шевелили над ним ветвями, как медведь лапами.

Оттуда смотрел на горы, на ближние и дальние вершины, голубевшие в небе, на черные пихтовые леса с их синим дыха-

---

[1] Лысая гора. *(Прим. автора.)*

[2] Штаны. *(Прим. автора.)*

[3] Огороженный сенокос у села. *(Прим. автора.)*

нием, на ясную зелень царынок, блестевших, словно зеркала, в рамах деревьев. Под ним, в долине, кипел холодный Черемош. По далеким холмам дремали на солнце одинокие селенья. Было тихо и грустно, черные пихты беспрестанно поверяли грусть свою Черемошу, а он разносил ее по долинам и вел свой рассказ.

— Иван!.. Э-эй! — звали Ивана домой, но он этого не слышал, собирал малину, щелкал листьями, делал дудочки или пищал в травинку, подражая голосам птиц и всем звукам, которые слышал в лесу. Едва заметный в лесной зелени, собирал цветы и украшал ими свою кресаню (соломенную шляпу), а утомившись, ложился где-нибудь под сеном, которое сохло на остреве[1], и пели ему, убаюкивая, и пробуждали его своим звоном горные потоки.

Когда Ивану минуло семь лет, он уже глядел на мир иначе. Он уже знал многое. Умел находить целебные растенья — валерьяновый корень, красавку, луговую герань, понимал, о чем кричит коршун, откуда взялась кукушка, и когда рассказывал об этом дома, мать неуверенно поглядывала на него: может быть, это «тот» с ним беседует. Знал, что на свете владычествует нечистая сила; что аридник (злой дух) правит всем; что в лесах полно леших, пасущих там свою маржи́нку:[2] оленей, зайцев и серн; что там бродит веселый чугайстыр, приглашает первого встречного потанцевать и разрывает мавок; что живет в лесу голос топора. Выше, на безводных далеких педеях[3], мавки ведут свои бесконечные пляски, а в скалах прячется черт. Мог бы рассказать и про русалок, выходящих в погожие дни из воды на берег, чтобы петь песни, придумывать сказки и молитвы, об утопленниках, которые после захода солнца сушат бледное тело свое на речных камнях. Всякие злые духи населяют скалы, леса, ущелья, хаты и огороды и подстерегают христианина или маржину, чтобы причинить им вред.

Не раз, проснувшись ночью среди враждебной тишины, он дрожал, объятый страхом.

Весь мир был как сказка, полная чудес, таинственная, влекущая и страшная.

Теперь у него уже были обязанности — его посылали пасти коров. Гнал в лес своих Жовтаню и Голубаню, и когда они утопали в волнах лесных трав и молодых пихточек и уже от-

---

[1] Сухая пихта с сучьями, на которой сушится сено. *(Прим. автора.)*
[2] Скот. *(Прим. автора.)*
[3] Дикие вершины гор. *(Прим. автора.)*

туда откликались, как из-под воды, печальным звоном своих колокольцев, он садился где-нибудь на склоне горы, доставал денцивку (сопилку) и наигрывал немудреные песни, которым научился у старших. Однако эта музыка не удовлетворяла его. С досадой бросал дудочку и слушал иные мелодии, жившие в нем, неясные и неуловимые.

Снизу подымался к Ивану и заливал горы глухой гомон реки, а в него по временам капал прозрачный звон колокольцев. Сквозь ветви пихт глядели грустные горы в печальных тенях, отброшенных облаками, постоянно стиравших бледную улыбку царынок. Настроение гор ежеминутно менялось: когда смеялась царынка — хмурился лес, и как трудно было ребенку уловить фантастическую мелодию песни, которая вилась, шевелила крылышками у самого уха и не давалась.

Однажды он оставил своих коров и забрался на самый грунь (вершину). По едва заметной тропинке поднимался все выше и выше, среди густых зарослей бледного папоротника, колючей ежевики и малины. Легко перескакивал с камешка на камешек, перелезал через упавшие деревья, продирался сквозь кусты. За ним поднимался из долины вечный шум реки, росли горы, и уже вставало на горизонте голубое виденье Черногоры. Длинная плакучая трава покрывала склоны, колокольчики коров казались далекими вздохами, все чаще попадались большие камни, образовавшие дальше, на самой вершине, хаос разрушенных скал, разрисованных лишаями, сжатых змеиными объятиями пихтовых корней. Под ногами у Ивана каждый камень покрывали рыжеватые мхи, густые, мягкие, шелковые. Теплые и нежные, они таили в себе позолоченную солнцем воду летних дождей, мягко уходили под ногой и обнимали ее, как пуховая подушка. Кудрявая зелень брусники и черники запустила свои корешки в глубину мхов, а снаружи рассыпала росу красных и синих ягод.

Здесь Иван сел отдохнуть.

Нежно звенела над ним хвоя пихт, и шум ее смешивался с шумом реки, солнце налило золотом глубокую долину, зазеленели травы, где-то курился синий дымок ватры [1]. Из-за Игреца бархатным гулом катился гром.

Иван сидел и слушал, совсем забыв, что должен стеречь коров.

И вот внезапно в этой звонкой тишине услыхал он тихую музыку, которая так долго и неуловимо вилась около его уха,

[1] Костер. *(Прим. автора.)*

что даже причиняла ему боль. Застывший, недвижимый, он вытянул шею и с радостным напряжением ловил удивительную мелодию песни. Так люди не играли, он, по крайней мере, никогда не слыхал. Но кто же играл? Вокруг только лес, не видно ни живой души. Иван оглянулся и окаменел. Верхом на камне сидел «тот» — черт, скривив острую бородку, пригнув рожки, и, зажмурясь, дул в свирель. «Нет моих коз... Нет моих коз...» — разливалась печально свирель. Но вот рожки поднялись, щеки раздулись и раскрылись глаза. «Есть мои козы... есть мои козы...» — запрыгали радостно звуки, и Иван со страхом увидел, как, раздвинув ветки, затрясли головами бородатые козлы.

Он хотел бежать и не мог. Сидел, прикованный к месту, и кричал немым криком от холодного ужаса, а когда наконец вернулся к нему голос, черт взвился и вдруг исчез среди скал, а козлы обратились в корни деревьев, поваленных ветром.

Иван несся теперь без памяти вниз, словно слепой, разрывал предательские объятия ежевики, ломал сухие сучки, скатывался по скользким мхам и со страхом слышал, что за ним кто-то гонится. Наконец упал. Сколько лежал — не помнил.

Очнулся и, увидев знакомые места, успокоился немного. Удивленный, прислушивался некоторое время. Песня, казалось, уже звенела в нем самом. Он достал денцивку. Сперва не выходило, мелодия не давалась. Начинал играть сызнова, напрягал память, ловил какие-то звуки, и когда, наконец, нашел то, что давно искал, что не давало ему покоя,— и по лесу поплыла странная, никому еще не известная песня, радость проникла в его сердце, залила солнцем горы, лес и травы, заклокотала в потоках, заставила Ивана вскочить, и он, забросив денцивку в траву и подбоченясь, закружился в пляске. Перебирал ногами, легко поднимался на цыпочки, бил босыми пятками о землю, откалывал разные фигуры, вертелся и приседал. «Есть мои козы... есть мои козы...» — что-то пело в нем. На солнечном пятне полянки, закравшемся в хмурое царство пихт, прыгал русый хлопчик, словно мотылек порхал со стебля на стебель, а обе коровы — Жовтаня и Голубаня,— раздвинув головами ветки, ласково глядели на него, жуя жвачку да изредка позванивая колокольцами в такт его танцу.

Так нашел он в лесу то, что искал.

У себя дома Иван не раз был свидетелем тревог и несчастий. На его памяти уже дважды около хаты трубила трем-

бита [1], оповещая горы и долы о смерти: однажды, когда брата Олексу придавило деревом в лесу, а второй раз, когда братчик Василь, славный веселый хлопец, погиб в битве с вражеским родом, зарубленный топориками. Это была старая вражда между их родом и родом Гутенюков. Хотя вся его семья кипела отвагой и ненавидела тот дьявольский род, но никто не мог обстоятельно рассказать Ивану, откуда пошла вражда. Он тоже горел желанием отомстить и, готовый броситься в битву, хватался за тяжелый еще для него отцовский топорик.

Это одни разговоры, что Иван был девятнадцатым у отца, а Аннычка двадцатой. Их семья была небольшая: стариков двое да пятеро детей. Остальные пятнадцать покоились на погосте у церкви.

Все они были богомольны, любили ходить в церковь, особенно на престольный праздник. Там можно было увидеться с дальним родом, осевшим в окрестных селениях, да и представлялась возможность отплатить Гутенюкам за смерть Василя, за кровь Палийчуков, которая была пролита уже не раз.

Вынимали лучшую одежду, новые красные штаны, расшитые овечьи безрукавки, украшенные гвоздиками, пояса и сумки, затканные канителью запаски, красные платки шелковые и даже пышную белоснежную свитку, которую мать бережно несла на палке за плечом. Иван тоже получал кресаню и большую сумку, бившую его по ногам.

Седлали лошадей, и по огороженным горным тропинкам, по зеленому хребту двигался пышный поезд и украшал тропу словно красными маками.

По горам, по долам, по вершинам тянулись празднично одетые люди. Зеленая отава лугов вдруг расцветала, вдоль Черемоша двигался разноцветный поток, а где-то высоко, на черном покрывале пихт, жарко горел на утреннем солнце красный гуцульский зонт.

Вскоре увидел Иван встречу враждующих родов.

Они уже возвращались из церкви, отец немного выпил. Внезапно на узкой дорожке между скалой и Черемошем произошла давка. Повозки, конные и пешие, мужчины и женщины остановились и сбились в груду. В яростном крике, поднявшемся тотчас же, как вихрь, неведомо отчего, блеснули железные топорики и замелькали перед самым лицом. Как кремень и огниво, встретились друг с другом роды — Гутенюки с

[1] Деревянная труба длиною в сажень. *(Прим. автора.)*

Палийчуками, и, прежде чем Иван успел опомниться, отец замахнулся и ударил кого-то плашмя топориком по голове, из которой брызнула кровь, залила лицо, сорочку и пышную безрукавку. Охнули женщины, кинулись растаскивать, но человек с лицом, таким же красным, как его гачи, уже бил врага по голове, и зашатался Иванов отец, как подрубленная пихта. Иван бросился в битву. Не помнил, что делает. Что-то влекло его вперед. Но взрослые отдавили ему ноги, и он не мог пробиться туда, где дрались. Все еще разгоряченный, охваченный злобой, он с разбегу наскочил на маленькую девочку, дрожавшую от страха около самой повозки. Ага! Это, наверное, Гутенюкова девчонка! И, не раздумывая долго, ударил девочку по лицу. Ее лицо перекосилось, она прижала руками рубашку к груди и пустилась бежать. Иван нагнал ее у реки, дернул за сорочку и разорвал. Из-за пазухи выпали новые ленты, а девочка с криком бросилась их защищать. Он вырвал их у нее и бросил в воду. Тогда девочка, наклонившись, поглядела на него исподлобья каким-то глубоким взглядом черных матовых глаз и спокойно сказал:

— Ничего... у меня есть другие... те даже лучше.

Она точно утешала его.

Удивленный ее кротостью, мальчик молчал.

— Мне мама купила новую запаску... и постолы... и чулки с узорами... и...

Он все еще не знал, что сказать.

— Я оденусь красиво и стану как взрослая...

Тогда ему завидно сделалось.

— А я умею играть на денцивке.

— А наш Федор сделал такую хорошую свирель... и как заиграет!

Иван надулся.

— А я черта видел.

Она недоверчиво поглядела на него.

— А зачем ты дерешься?

— А ты зачем у воза стояла?

Она подумала немного, не зная, как ответить, и начала искать что-то за пазухой.

Наконец достала большую конфету.

— Смотри-ка!

Половину откусила, а другую медленным, полным доверия движением подала ему:

— На!

Он колебался, но взял.

Теперь они уже сидели рядышком, забыв про вопли, битвы и сердитый шум реки, а девочка рассказывала, что зовут ее Маричка, что она уже пасет овец, что какая-то Марцынова — кривая — украла у них муку... и многое другое; обоим все это было интересно, близко и понятно, а взгляд ее черных матовых глаз мягко проникал в Иваново сердце...

И в третий раз затрубила трембита о смерти в одинокой хате на высокой кычере: на другой день после битвы умер старый Палийчук.

Трудные времена настали для семьи Ивана после смерти хозяина. Свил гнездо беспорядок, уходили достатки, продавались царынки одна за другой, и маржина таяла, как горные снега весной.

Но в Ивановой памяти смерть отца не так долго жила, как встреча с девочкой, которую он напрасно обидел, а она движением, полным доверия, протянула ему конфету. В его давнюю и беспричинную грусть влилась новая струйка. Она бессознательно влекла его в горы, заставляла бродить по соседним кычерам, лесам и долинам в надежде найти Маричку. И он увидел ее наконец: она пасла ягнят.

Маричка его встретила так, как будто давно ждала; он будет с нею пасти овечек. И верно! Пускай Жовтаня и Голубаня звенят колокольцами и мычат в лесу, он будет с нею пасти ягнят.

И как они их пасли!

Белые ярки, сбившись в тень, под пихту, глядели глупыми глазами, как катались по мхам двое детей, звеня в тишине молодым смехом. Утомившись, они забирались на белые камни и робко заглядывали оттуда в пропасть, из которой стремительно подымалось в небо черное виденье горы и дышало синью, не желавшей таять на солнце. В расщелине между горами летел в долину поток и тряс по камням седой бородой. Так было тепло, одиноко и жутко в вековечной тишине, хранимой лесом, что дети слышали собственное дыханье. Ухо упорно ловило и бесконечно увеличивало всякий звук, живущий в лесу, иногда казалось им, что они слышат тайные шаги, глухие удары топора, тяжелые вздохи таинственных лесорубов.

— Слышишь, Ива? — шептала Маричка.

— Почему бы не слыхать? Слышу.

Они оба знали, что это бродит по лесу невидимый топор, стучит по деревьям и тяжело дышит утомленной грудью.

Страх гнал их оттуда в долину, где поток бежал спокойнее. Они разгребали камни в потоке, чтобы было глубже, и, раздев-

шись, болтались в нем, как два лесных звереныша, не знавших, что такое стыд. Солнце отдыхало на их светлых волосах, било в глаза, а ледяная вода потока щипала тело.

Маричке первой становилось холодно, и она начинала бегать.

— Стой,— кричал ей Иван,— откуда ты?

— Я из Я-во-рова,— стучала зубами посиневшая Маричка.

— А чья ты?

— Ковалева.

— Будь здорова, Ковалева,— щипал ее Иван, и они бегали оба до тех пор, пока, усталые, но согревшиеся, не падали в траву.

В тихой заводи ручейка, над которым горела мать-и-мачеха солнечным светом и синел борец кистью башмачков, жалобно кумкали лягушки.

Иван наклонялся над потоком и спрашивал лягушку:

— Кума-кума, что варила?

— Бурак-борщ. Бурак-борщ. Бурак-борщ...— квакала Маричка.

— Бураки-ки-ки!.. Бураки-ки-ки!.. Бураки-ки-ки!..— кричали оба, зажмурившись, даже лягушки удивленно замолкали.

И так они пасли, что не раз теряли овечек.

Когда они старше стали, игры их изменились.

Теперь Иван был уже хлопец — стройный, крепкий, как пихточка, мазал кудри маслом, носил широкий пояс и пышную кресаню. Маричка тоже уже ходила с заплетенными косичками, а это означало, что она готовилась стать невестой. Уже не пасли вместе ягнят, а встречались лишь в праздник или в воскресенье. Сходились у церкви или где-нибудь в лесу, чтобы родители не знали, как любятся дети враждующих родов. Маричке нравилось, когда он играл на свирели. Задумчивый, устремлял глаза куда-то мимо гор, словно видел, чего не видели другие, прикладывал резную дудку к пухлым губам, и странная песня, которую никто не играл, тихо лилась на зеленую отаву царынок, где спокойно стлали свои тени пихты. В холод бросало, и мороз шел по коже, когда вылетали первые свистящие звуки. Словно снега лежали на мертвых горах. Но вот из-за горы уже встает бог-солнце и слушает, приложившись ухом к земле. Зашевелились снега, пробудились воды, и зазвенела земля от пения потоков. Рассыпалось солнце цветочной пыльцой, легкой поступью ходят в пляске по царынкам мавки, а под ногами у них зеленеет первая трава. Зеленым духом дохнули пихты, зеленым смехом засмеялись травы, во всем

мире только два цвета: в зеленом — земля, в голубом — небо... А внизу Черемош мчится, гонит зеленую кровь гор, тревожную и шумную...

Трембита!.. Туру-рай-ра... туру-рай-ра...

Заиграло сердце у пастухов, заблеяли овцы, почуяв свежий корм... Шумит трава на холодных пастбищах, а из диких буреломов, из берлоги поднимается на задние лапы медведь, пробует голос и уже видит заспанным оком свою добычу.

Бьют плóвы[1] весенние, грохочут громом горные вершины — и злой дух холодом веет с Черногоры...

А тут внезапно появляется солнце — праведный лик божий — и уже звенит косами, под которыми ложится на землю трава. С горы на гору, от родника к роднику порхает коломийка, такая легкая, прозрачная, что слышно, как у нее за плечами трепещут крылышки:

Ой прибігла з полонинки
Білая овечка —
Люблю тебе, файна любко,
Та й твої словечка...

Тихо звенит хвоя пихт, тихо шепчут в лесу холодные сны летней ночи, плачут колокольцы коров, и гора беспрестанно поверяет грусть свою потокам.

С шумом и стоном валится куда-то в долину срубленное в лесу дерево, даже горы вздыхают в ответ — и снова плачет трембита. Теперь уже о смерти... Опочил кто-то после тяжелого труда. Куковала кукушечка около Менчила... вот теперь и песенка чья-то опочила...

Маричка отвечала на игру свирели, как голубка дикому голубю, песнями. Она их знала множество. Откуда они брались — не могла рассказать. Они, должно быть, качались вместе с ней еще в зыбке, плескались в купели, возникали в ее груди так, как самосевом всходят цветы на лугах, как пихты растут по горам. И что бы на глаза ни попалось, что бы ни случилось на свете: пропала ли овца, полюбил ли хлопец, изменила ли девушка, заболела корова, зашумела пихта,— все выливалось в песню, легкую, простую, как эти горы в их старом, первобытном бытии.

Маричка и сама умела придумывать песни. Сидя на земле, рядом с Иваном, она обнимала свои колени и тихо покачивалась в такт. Ее круглые икры, обожженные солнцем и голые

[1] Дожди. *(Прим. автора.)*

от колен до красных онучей, темнели под краешком рубашки, и особенно милым становился изгиб полных губ, когда она начинала:

Зозулька ми закувала сива та маленька.
На все село іскладена пісенька новенька...

Песня Марички рассказывала о хорошо знакомом, еще свежем событии: как околдовала Андрия Параска, как он умирал от этого и учил не любить чужих молодиц; или о горе матери, сын которой погиб в лесу, придавленный деревом. Песни были печальные, простые и такие трогательные, что за сердце хватали. Она их обычно заканчивала так:

Ой, кувала ми зозулька та й коло потічка.
А хто ісклав співаночку? — Йванкова Марічка.

Она давно уже была Иванкова, еще с тринадцати лет. Что же в этом удивительного? Когда пасла скотину, видела часто, как любятся козел с козой, баран с овечкой,— все было так просто, естественно, существовало с начала мира, и ни одна нечистая мысль не засорила ей сердце. Правда, у коз и овец рождались после этого козлята и ягнята, но людям помогает ворожея. Маричка не боялась ничего. За поясом на голом теле она носила чеснок, над которым шептала знахарка, ей теперь ничто не повредит. Вспомнная об этом, Маричка лукаво улыбалась себе самой и обнимала Ивана.

— Сердце мое, Иванко! Будем мы парою?

— Как бог даст, моя миленькая.

— Эй, нет! Большую злобу затаили в сердцах родители наши. Не миновать нам беды.

Тогда его глаза темнели и топорик уходил в землю.

— И не надо их согласия. Пусть делают, что хотят, ты будешь моей.

— Ой, дружок-дружок! Что ты говоришь?

— Что слышишь, душечка.

И, словно назло семье своей, он на танцах так отплясывал с девушкой, что даже постолы трещали.

Однако не все складывалось так, как думал Иван. Хозяйство его разваливалось, уже не хватало на всех работы, и надо было идти внаймы.

Печаль грызла Ивана.

— Придется идти в пастухи, Маричка,— грустил он заранее.

— Что ж, иди, Иванко,— покорно говорила Маричка.— Такая уж наша судьба...

И она песнями скрашивала их разлуку. Ей было жалко, что надолго прекратятся их встречи в тихом лесу. Обнимала Ивана и, прижимаясь к его лицу русой головкой, тихо пела над его ухом:

Ізгадай мні, мій миленький,
Два рази на днину,
А я тебе ізгадаю
Сім раз на годину.

— Будешь вспоминать меня?

— Буду, Маричка.

— Ничего! — утешала она его.— Ты должен, бедняжка, овец пасти, а я сено сгребать. Взберусь на копну, да и посмотрю на горы, на лужок, а ты мне затруби... Может быть, услышу. А как пойдут мелкие дожди сеяться по горам, сяду, да и заплачу, что не видать милого. А как в погожую ночь вызвездит, взгляну, которая звезда над полониною,— ту видит Иванко... Только петь перестану...

— Зачем? Пой, Маричка, не теряй веселости своей, а я скоро вернусь.

Но она только грустно качала головой.

Співаночки мої милі,
Де я вас подію?
Хіба я вас, співаночки,
Горами посію,—

тихо обращалась к нему Маричка:

Гой ви мете, співаночки,
Горами співати,
Я си буду, молоденька,
Сльозами вмивати.

Маричка вздохнула и еще печальнее запела:

Ой, як буде добра доля,
Я вас позбираю,
А як буде лиха доля,
Я вас занехаю...

— Вот так и я... Может быть, и забуду...

Иван слушал тонкий девичий голос и думал, что она давно уже развеяла по горам песни свои, что их поют леса и

покосы, вершины и луга, ими звенят потоки, их напевает солнце... Но придет пора, он вернется к ней, и она снова соберет песни, чтобы было чем отпраздновать свадьбу...

* * *

Теплым весенним утром пошел Иван на пастбище.

Леса еще дышали тенями, горные воды шумели на порогах, а плай[1] весело поднимался вверх среди изгородей. Хотя Ивану и тяжело было покидать Маричку, однако солнце и шумящий зеленый простор, поддерживавший вершинами небо, вливали в него бодрость. Он легко перескакивал с камня на камень, словно горный поток, и приветствовал встречных, лишь бы услыхать собственный голос:

— Слава Иисусу!..

— Во веки веков слава!

На далеких холмах одиноко стояли тихие гуцульские дворы, вишневые от пихтового дыма, которым они насквозь прокурились, острые крыши оборогов[2] с пахучим сеном, а в долине кудрявый Черемош сердито поблескивал сединой и мерцал под скалою недобрым зеленым огнем. Переходя поток за потоком, минуя хмурые леса, где иногда звякал колоколец коровы или белка осыпала с пихты шелуху от шишек, Иван подымался все выше. Солнце начинало печь, и каменистая тропинка натирала ноги. Теперь уже хаты попадались реже. Черемош серебряной нитью протянулся в долине, и шум его сюда не доходил. Леса уступали место горным лугам, мягким и пышным. Иван брел среди них, по озерам цветов, нагибаясь иногда, чтобы украсить кресаню пучком красного мха или бледным венком из ромашек. Склоны гор уходили в глубокие черные чащи, где рождались холодные потоки, куда не ступала человеческая нога, где нежился только бурый медведь — страшный враг скота — «вуйко». Вода встречалась реже. Зато как припадал он к ней, когда находил родник, этот холодный хрусталь, омывавший где-то желтые корни пихт и даже сюда доносивший гомон леса! Около такого родничка какая-то добрая душа оставляла горшок или кружку ряженки.

А тропка вела все дальше, куда-то в бурелом, где гнили друг на дружке голые колючие пихты без коры и хвои, словно скелеты. Пусто и дико было на этих лесных кладбищах,

---

[1] Горная тропа. *(Прим. автора.)*

[2] Навес для сена. *(Прим. автора.)*

забытых богом и людьми, где только глухари токовали да извивались змеи. Тут царили тишина, великий покой природы, строгость и грусть. За плечами у Ивана уже виднелись горы и голубели вдалеке. Орел подымался с каменных шпилей, благословлял их широким размахом крыльев, слышалось холодное дыханье пастбища, и ширилось небо. Вместо лесов теперь стлался по земле можжевельник, черный ковер ползучих пихт, в котором путались ноги, и мхи одевали камень в зеленый шелк. Далекие горы открывали одна за другой свои вершины, изгибали хребты, вставали, как волны в синем море. Казалось, морские валы застыли как раз в то мгновенье, когда буря подняла их со дна, чтобы кинуть на землю и залить мир. Уже синими тучами подпирали горизонт буковинские вершины, окутались синевой ближние Синицы, Дземброня и Била Кобыла, курился Игрец, колола небо острым шпилем Говерля, и Черногора тяжестью своей давила землю.

Полонина! Он уже стоял на ней, на этой горной поляне, покрытой густой травой. Голубое море волнистых гор обступило Ивана широким кругом, и казалось, что эти бесконечные синие валы движутся на него, готовые упасть к ногам.

Ветер, острый, как наточенный топор, бил ему в грудь, дыханье Ивана сливалось с дыханьем гор, и гордость обуяла его душу. Он хотел крикнуть изо всех сил, чтобы эхо прокатилось с горы на гору до самого горизонта, чтобы заколебалось море вершин, но вдруг почувствовал, что его голос затерялся бы в этих просторах словно комариный писк...

Приходилось спешить.

За холмом, в долинке, где ветер не так досаждал, он нашел стаю [1], закопченную дымом. Дыра для выхода дыма чернела в стене холодным отверстием. Овечьи загородки стояли пустые, и пастухи возились там, устраиваясь, чтобы было где ночевать возле овец. Старший пастух был занят добыванием живого огня.

Приладив между дверью и косяком палку, двое тянули ремень поочередно, каждый в свою сторону, отчего палка вращалась и скрипела.

— Слава Иисусу! — поздоровался Иван.

Но ему не ответили.

По-прежнему жужжала палка, и двое, сосредоточенные и

---

[1] Дощатый шалаш, в котором живут овчары и приготовляют сыр (брынзу). *(Прим. автора.)*

строгие, тем же движением тянули ремень, каждый к себе. Палка стала дымиться, и вскоре небольшой огонек выскочил из нее и запылал с обоих концов. Старший пастух благоговейно поднял горящую палку и воткнул в костер, разложенный у дверей.

— Во веки веков слава! — повернулся он к Ивану.— Теперь у нас есть живой огонь, и пока он будет гореть, ни зверь, ни сила нечистая не тронут маржины, да и нас, крещеных...

И ввел Ивана в шалаш, где от пустых бочек, кадушек и голых лавок пахло запустеньем.

— Завтра пригонят скот, если б помог господь бог возвратить его людям в целости,— откликнулся старший и рассказал, что Иван должен делать.

Было нечто спокойное, даже величественное в словах и жестах хозяина пастбища.

— Мико!..— крикнул он в дверь.— Разложи костер в стае...

Стройный кудрявый Микола с круглым женственным лицом внес в шалаш огонь.

— Ты ж кто, братчик, будешь,— овчар? — поинтересовался Иван.

— Нет, я спузар,— показал свои зубы Микола.— Мое дело стеречь ватры, чтоб не гасли все лето, не то случится беда!..— Он даже с ужасом посмотрел вокруг.— Да ходить за водой к роднику, да в лес за дровами...

Тем временем ватра на лугу разгоралась. Полным значительности движением, как древний жрец, подбрасывал старший в нее сухую пихту да свежую хвою, и синий дым легко поднимался, а затем, подхваченный ветром, цеплялся за скалы, опоясывая черную полосу лесов, стлался по далеким голубым вершинам.

Пастбище начинало свою жизнь живым неугасимым огнем, который должен был его защищать от всего злого. И, словно зная это, огонь гордо извивался, как змея, и дышал все новыми клубами дыма...

Четыре сильные овчарки, расстелив в траве свои шубы, смотрели задумчиво на горы, готовые в один миг вскочить, оскалить зубы, ощетиниться.

День уже угасал. Горы меняли свое голубое убранство на розовые с золотом ризы.

Микола звал ужинать.

Тогда сошлись в стаю все пастухи и расположились вокруг живого огня, чтобы вкусить свою первую кулешу на пастбище...

* * *

Какая же она веселая, эта полонина, весной, когда бегут на нее овечки из каждого селенья!..

Высокий старший пастух, словно дух пастбища, обходит с огнем овчарню. Лицо у него серьезное, как у жреца, ноги ступают твердо, шаг его широк, а головня шипит над ним, как крылатый змей. Около ворот овчарни, там, где должны проходить овцы, старший оставляет огонь и прислушивается. Он слышит ход стада не только ухом. Он сердцем слышит, как из глубоких долин, где кипят реки и рвут берега, из тихих селений и царынок катится вверх, на зов весны, живая волна скотинки, и под ногами у нее радостно дышит земля. Он чует далекое дыханье отары, мычанье коров и едва уловимые песни. А когда, наконец, показались люди и подняли длинные, позолоченные солнцем трембиты, чтобы приветствовать полонину среди синих вершин, когда заблеяли овцы и шумным потоком залили все загородки, старший упал на колени и простер руки к небу. За ним склонились на молитву пастухи и люди, пригнавшие маржину. Они просили бога, чтобы у овцы было такое горячее сердце, как горяч огонь, через который она переступала, чтобы господь милосердный защитил христианские стада на росах, на водах, на всех переходах от всякой напасти, зверя и случая. Как помог господь собрать скот в стадо, чтобы так же помог его людям вернуть...

Ласково слушало небо чистосердечную молитву, добродушно хмурился Бескид, а ветер, пролетая, старательно причесывал травы на пастбище, как мать детскую головку...

* * *

Полонинка, верховинка, ты чему так рада, не тому ли, что гуляет по лужайке стадо?

«Гись! Гись!» — подгоняет пастух. Овцы лениво подгибают колени, дрожат на тонких ножках и трясут руном. Гись! Гись!.. Голые морды, со старческим выражением скуки, открывают слюнявые губы, чтобы пожаловаться бог знает кому: бе-е... ме-е... Два пастуха идут впереди. Красные гачи мерно разрезают воздух, от движенья кланяется на кресане цветок. Выр! Выр!.. Овчарки нюхают ветер и одним глазом, искоса, поглядывают на овец — все ли в порядке. Трется руно о руно, белое о черное, колеблются пушистые спины, как в озере мелкие волны, и трепещет отара. Птруа!.. Птруа!.. Гортанный

оклик постоянно возвращает крайних в отару, держит разлив в берегах. Горы синеют вокруг, как море, ветер громоздит в небе облака. Дрожат курчавые овечьи хвосты, а головы все наклонились, и белые плоские зубы подгрызают под самый корень сладкий шафран, будяк, розовую кашку. Быр! Быр! Под ноги отаре стелет пастбище свой ковер, а она его накрывает движущимся рябым кожухом. Хрум-хрусь... бе-е!.. ме-е!.. хрусь-хрусь... Тени облаков бродят по ближним холмам, передвигают их с места на место. Кажется, ходят горы, как валы в море, и только дальние неподвижно синеют, застыв на месте. Солнце залило овечье руно, разостлалось на нем радугой, зажгло травы зеленым огнем, за пастухами движутся длинные тени. Птруа!.. Птруа!.. Хрум-хрусь... хрусь-хрусь... Неслышно ступают пастухи в постолах, мягко катится шерстяная волна по лугу, а ветер начинает играть на далекой изгороди. Дзз...— поет он тонким голосом, задевая расколотую жердь: назойливо жужжит, как муха. Дзз...— вторит громко другая изгородь, наводя тоску. Облака растут, они уже закрыли полнеба, гаснет далекий Бескид и чернеет и хмурится под тенью, словно вдовец, а полянка еще молода. И ветер, жалобно поющий в изгороди, спрашивает: «Почему не женишься, высокий Бескид?» — «Зеленая полянка за меня не пойдет»,— печально вздыхает Бескид. Голубое небо измазано серым, море гор потемнело, поляна погасла, и отара ползет по ней, как серый лишай. Холодный ветер расправляет крылья, бьет прямо в грудь, проникая под безрукавку. Так трудно дышать, что хочется повернуться к нему спиной. Пусть хлещет... Тонко затягивает песню изгородь, как муха в паутине, ноет боль нестерпимая, плачет одинокая грусть... Дзз... дззы-ы... Без передышки, без конца. Выматывает жилы и режет, как ножом, сердце. Хотел бы не слушать, и нельзя, хотел бы убежать, да где там? «Гись-гись!.. А ты куда? Чтоб тебе лопнуть! Быр-быр!.. Мурка!» Но Мурка уже бросилась вперед. Обгоняет овцу, ветер поднял на собаке шерсть, и овчарка уже поймала зубами овцу за загривок и бросила в отару. Дзы-ы-ы... Дззи-и-и... Так зубы болят однообразной и нестерпимой болью. Стиснул бы зубы и замолчал. Выматывай душу, ни дна тебе, ни покрышки. Что это плачет? Видно, это «тот» виноват, чтоб ему с места не сдвинуться! Вот так, кажется, упал бы на землю без сил, закрыл бы уши руками и заплакал... Ведь совсем измучился... Дззы-ы-ы!.. Дзи-и-и... Ой!..

Иван достает свирель и дует в нее изо всех сил, но тот, сумасшедший, сильнее его. Летит с Черногоры, как конь, не

знающий узды, бьет копытами травы и разбрасывает гривой звуки свирели. А Черногора, словно ведьма, подмигивает бельмом — снеговым полем из-под черных растрепанных косм и пугает. Дзз-ы... Дзи-у-у...

Закатились овцы в долинку, и здесь тише.

На сером небе показалось лазурное озерцо. Острая луговая трава сильнее запахла. Озерцо в небе выступило из берегов и уже широко разлило свои воды. Снова заголубели вершины, а все долины налились золотом солнца.

Иван смотрит вниз. Там, где-то между горами, где люди, по зеленой отаве ходят белые ноги Марички. Ее глаза обращены к пастбищу. Поет ли она свои песенки? А может быть, и впрямь развеяла их по горам, песни взошли цветами, а Маричка замолкла.

Ой, як будуть вівчарики
Білі вівці пасти,
Будуть мої співаночки
За кресаню класти...

Вспоминается ему милый девичий голос, и он срывает цветок и украшает им свою кресаню.

Птруа... Птруа... Солнце печет. Становится душно. Катятся овцы, фыркают на ходу, вытягивают старческие губы, чтобы легче было сорвать сладкий будяк, и оставляют за собой свежие орешки. Хрусь-хрусь... хрум-хрум... Трется руно о руно, белое о черное, колеблются спины, как в озере мелкие волны... Бе-е... ме-е... А собаки всё держат отару в берегах.

Утомились овчарки. Они ложатся, раздуваются их бока в траве. На длинный красный язык, свисающий между клыками, садятся мухи. «Быр! Быр!» — сердито кричит Иван, и собаки уже около овец.

Далеко, на полянке, под густым лесом, пасутся коровы. Бовгар [1] в задумчивости оперся на длинную трембиту.

Как медленно тянется время! Горный воздух прополоскал грудь, хочется есть. И как одиноко! Стоишь тут маленький, как былинка в поле. Под ногами зеленый остров, заливаемый голубыми водами далеких гор. А там, на суровых диких вершинах, куда нога человеческая не ступала, откуда вести не доходят, гнездится всякая нечисть, вражья сила, с которой трудно бороться. Одно остается — беречься...

Гись-гись! Трусят овцы зеленым полем, и мягко ступают по траве постолы... Тишина такая, что слышно, как кровь

[1] Коровий пастух. *(Прим. автора.)*

течет в жилах. Одолевает дрема. Кладет мягкую лапку на глаза и на лицо и шепчет на ухо: спи... Овцы тают перед глазами... Вот уже они обратились в ягнят, а вот — ничего нет. Движутся травы, как зеленая вода. Приходит Маричка. Ой, не обманешь, милая, ой, нет... Иван знает — это лесная русалка, а не Маричка, это она манит его. Что-то увлекает его за ней! Не хочет, а уже двигается, как движутся травы зеленым потоком...

И вдруг дикий, предсмертный рев коровы пробуждает его. Что? Где? Бовгар как стоял, опершись на трембиту, так и застыл. Рыжий бык ударил ногами оземь, пригнул отвислую шею и поднял хвост. Он уже мчится на этот вопль, высоко скачет и рвет ногами траву. Режет ногами воздух. Бовгар встрепенулся и спешит за ним к лесу. Бахнул в лесу выстрел. Бах-бах-бах... Загремели из ружей вершины. Бах-бах-бах...— откликнулось вдали, и все немеет. Тишина.

«Наверно, «вуйко» зарезал корову»,— думает Иван и пристально осматривает свою отару.

Птруа!.. Птруа!.. Солнце словно заснуло, ветер затих и перенесся с земли на небо. Он уже громоздит там тучи, такое же взволнованное море вершин, которое видел вокруг пастбищ. В бесконечных просторах исчезло время, и не знаешь, течет ли день, или остановился он...

Внезапно до слуха долетает долгожданный призыв трембиты. Он приносит запах кулеши и дыма, протяжным мелодичным трепетом повествует, что овчары ждут овец...

«Гись-гись...» Мечутся псы, блеют овцы и льются пестрым потоком в долину, тряся выменем, отяжелевшим от молока...

* * *

Уже третьи сутки сеется на полонине мелкий-мелкий дождик. Закурились вершины, закуталось небо, и в сером тумане исчезли горы. Овцы едва двигались, тяжелые, полные воды, словно губки; одежда на пастухах стала холодной и заскорузла. Только и отдохнуть можно было под навесом в струнке [1] — во время доенья.

Иван сидит, прислонившись к доске, а ногами сжимает подойник. Рядом с ним черный косматый козар [2], за каждым его словом следует брань, а тут еще овчары. Нетерпеливые овцы, у которых прибывает молоко, протискиваются из заго-

[1] Шалаш для доенья овец. *(Прим. автора.)*

[2] Козий пастух. *(Прим. автора.)*

родки в струнку, чтобы их скорее подоили. Подождите, бедняжки, так дело не пойдет... надо по очереди.

«Рыст!» — сердито бросает сзади погонщик в овечье блеяние и хлещет мокрым прутом. «Рыст!.. Рыст!..» — подбадривают пастухи и отодвигают колени от отверстия, через которое вскакивает в струнку овца. «А! Чтоб тебя...» — бранится козар и не кончает: как же, скажешь в такое время!

Привычным движением Иван хватает овцу за хребет и тащит ее задом к широкому подойнику. Покорно стоит овца, неуклюже расставив ноги, такая глупая, и слушает, как журчит молоко в подойник. «Рыст!» — хлещет задних погонщик. «Рыст! Рыст!..» — покрикивают пастухи. Овцы, которых уже подоили, словно одурели, падают в загородке на камень, кладут голову на ножки и вытягивают голые старческие губы. «Рыст! Рыст!..» Ивановы руки беспрестанно мнут теплое овечье вымя, оттягивают сосцы, а по рукам у него течет молоко, пропахшее жиром, и поднимается из подойника густой сладкий пар. «Рыст! Рыст!» Вскакивают овцы, как ошалелые, расставляют над подойником ноги, и десять пастушьих рук мнут теплое вымя. Жалобно плачет мокрая отара по обе стороны струнки, падают в загородке ослабевшие овцы, а густое молоко звонко журчит в подойник и затекает теплой струйкой даже за рукав. «Рыст! Рыст!..»

Козар улыбается одними глазами своим козам. Они не такие, как овечки, у них горячее сердце. Они не падают замертво, как слабые овцы, а твердо стоят на тонких ногах. С любопытством подняли рожки и смотрят в туман, словно видят что-то, и так бодро трясутся их редкие бородки...

* * *

Опустели овчарни. Тишина и запустенье. Может быть, там, где-то в глубоких долинах, откуда горы начинают расти, и раздаются смех человеческий и голоса, но в это верится плохо. Здесь, на пастбище, где небо закрывают безлюдные просторы, живущие в одиночестве, только для себя,— здесь вековечная тишина.

Лишь в стае потрескивает неугасимый огонь и все провожает свой синий дым в далекий путь. Парное молоко остывает в деревянной посуде, над ним склонился старший пастух. Он уже его заправил. Из-под подры [1], где сохнут большие круги

[1] Полка под крышей. *(Прим. автора.)*

сыра, дует на старшего ветер, но не может прогнать из стан запах угля, сыра и овчины. Ведь точно так же пахнет и сам старший. Новые кадушки и бочки безмолвствуют в углу, но достаточно постучать по ним — и откликнется голос, в них живущий. Холодная жентыця [1] поблескивает в ушате зеленым глазом. Старший сидит среди своего хозяйства, как отец среди детей. Все оно — черные лавки и стены, костер и дым, сыр, кадушки и жентыця,— все такое близкое, родное, на всем почила его теплая рука.

Молоко уже густеет, но время его еще не настало. Тогда старший достает из-за пояса связку деревянных брусков и начинает читать. Там вырезано все, в этой деревянной книге,— у кого сколько овец и что кому принадлежит. Забота сдвигает ему брови, и он упорно читает... «У Мосейчука четырнадцать овец, и ему следует...»

За стеной шалаша спузар выводит:

Питається у баранця
Круторіжка вівця,
Ци ти вробиш, баранчику,
Зеленого сінця?

— Распелся! — сердится старший и снова пересчитывает зарубки.

Не знаєш ты, круторіжко,
Яка буде зима,
Ци ти вийдеш, ци не вийдеш
З полонинки жива...—

кончает спузар в сенях и входит в стаю.

Закопченный, черный, склоняется над огнем, а белые его зубы блестят. Огонь тихо потрескивает.

Молоко в ушате желтеет и становится густым. Старший наклонился над ним, сосредоточенный, даже суровый. Медленно расстегивает обшлага и по локоть погружает в него свои голые волосатые руки. И так застывает над молоком...

Теперь должно быть тихо в шалаше. Дверь заперта, и даже спузар не смеет кинуть взгляд на молоко, пока там творится что-то, пока старший колдует. Все будто застыло в немом ожиданье. Кадушки затаили в себе голос, притаились сыры на полках, заснули черные стены и лавки, огонь едва дышит, и даже дым стыдливо убегает в окно. Только по легкому

[1] Сыворотка. *(Прим. автора.)*

движению жил на руках старшего заметно, что на дне посудины происходит что-то. Руки оживают понемногу, то поднимаются, то опускаются, закругляются локти, руки чем-то плещут, что-то взбивают и гладят там, внутри, и вдруг со дна посудины, из-под молока, поднимается круглое тело сыра, рожденное каким-то чудом. Оно растет, поворачивает плоские бока, купается в белой купели, само белое и нежное, и, когда старший его вынимает, зеленые воды звонко стекают в посудину...

Старший с облегчением вздохнул. Теперь и спузар может уже взглянуть. Славный родился сыр, старшему на утешенье и на пищу людям...

Настежь распахивается дверь, ветер дует из-под подры под крышей, ватра от радости лижет черный котел, в котором поет коломийки сыворотка, и среди дыма и огня блестят зубы спузара.

А когда солнце заходит, старший выносит из шалаша трембиту и трубит победно на все пустынные горы, что день окончился в мире, что сыр ему удался, кулеша готова и струнки ожидают нового молока...

* * *

За время пребывания на пастбище было у Ивана немало приключений. Однажды он видел чудесную картину. Должен был уже гнать овец в стаю, когда случайно оглянулся на близкую вершину горы. Туман опустился и окутывал лес, а лес стал легким и седым, как привидение. Только полянка зеленела под ним да чернела одинокая пихта. И вот эта пихта задымилась и начала расти. Растет и растет — и вышел из нее какой-то человек. Стал на полянке, белый, высокий, и крикнул в сторону леса, и сейчас же вышли из лесу олени, один за другим, а у каждого нового оленя рога все красивей, все лучше. Стадом выбежали серны, постояли, дрожа на тоненьких ножках, да и принялись щипать траву. А как только рассыплются серны по сторонам, так медведь и завернет их в стадо, как овец овчарка. А тот, белый, пасет да еще покрикивает на скотинку. Тут внезапно поднялся ветер, и стадо это как разбежится кто куда, так и пропало. Вот так — словно дохнуть на стекло, оно запотеет, а потом исчезнет все, точно ничего и не было. Он показывал другим, но те удивлялись: «Где? Один туман».

В течение двух недель «большой»,— так пастухи шепотом называли медведя,— зарезал еще пять коров.

Нередко негура[1] заставал овец на пастбище. В густой мгле, белой, как молоко, все исчезало: небо, горы, леса, пастухи. «Ге-ей!» — кричал Иван. «Ге-ей!» — отвечало глухо на его зов, как из-под воды, а где был тот, что отвечал, неизвестно. Овцы седым туманом катились у самых ног, а дальше исчезали и они. Иван шел, сам не зная куда, протянув руки вперед, словно боясь на что-нибудь наткнуться, и кричал: «Гей!..» — «Где ты?» — откликалось уже позади, и Иван должен был останавливаться. Стоял беспомощный, растерянный, в липком тумане, и когда прикладывал к губам трембиту, чтобы ответить, то противоположный конец трубы расплывался во мгле, а сдавленный ее голос тут же на месте падал ему под ноги. Так они потеряли несколько овечек.

«Вуйко» задрал еще две коровы, но это было в последний раз: подбирался он ночью к стае, да и наткнулся на кол. Теперь его шкура сушится на жердях, и на нее брешут собаки.

По временам шумели на пастбище ливни. Илья-пророк воевал с «этими» — ни дна им, ни покрышки! Так сверкал мечом и так гремел из ружья,— свят еси господи! — что лопалось небо и падало на горы, и как лопнет, так сейчас же что-то черное каждый раз замечется туда-сюда — и шасть под камень... Он, нечистый, чтоб ему пропасть, глумится над богом, кажет ему свое гузно, а пастуху беда: страху не оберешься, да еще и промокнешь до нитки.

К петрову дню выпал снег — и такой глубокий, что трое суток не сходил. Тогда заболело много овец...

Изредка приходили люди из долины. Их обступали, спрашивая наперебой:

— Что нового в деревне?

И, как дети, слушали бесхитростные рассказы о том, сколько люди скосили сена, что бурышки[2] нет, что кукуруза реденькая, а Мочарникова Елена померла.

Потом все вместе пили за здоровье маржинки. Гости накладывали в бочонки брынзу и снова мирно спускались в долины.

По вечерам у шалаша пылали огни. Пастухи сбрасывали с себя одежду и отряхивали над огнем вшей или, собравшись вместе, соскучившись за лето без женщин, вели нескромные разговоры. Их хохот покрывал сонные вздохи скота.

---

[1] Туман. *(Прим. автора.)*

[2] Картофель. *(Прим. автора.)*

Иван, прежде чем ложиться спать, звал к себе Миколу, любившего попеть и поговорить:

— Мико!.. Иди сюда, дружок!..

— Подожди, друг Ива, я сейчас! — кричал спузар, стоя у шалаша, и еще оттуда долетала до Ивана его песня:

Чорногора хліб не родить,
Не родить пшеницю,
Викохує вівчариків,
Сирок і жентицю...

Микола был сиротой и вырос на пастбище. «Нянчили меня овцы»,— говорил он о себе, приглаживая непокорные кудряшки.

Управившись, ложился спузар рядом с Иваном, весь черный, закопченный и освещаемый огнем костра, блестел молодыми зубами, Иван придвигался к Миколе близко, обнимал его и просил:

— Расскажи, дружок, сказку какую-нибудь, ты их много знаешь...

С черного неба капали звезды, и текла по нему белой пеной небесная река.

Над долинами дремали горы.

— Растут,— говорил, точно сам с собой, Иван.

— Кто?

— Горы.

— Прежде росли, теперь перестали...

Микола замолкает, но потом добавляет тихо:

— Сначала не было гор, только вода... Такая вода, словно море без берегов, и бог ходил по воде. Но раз он увидел, что на воде кружится пена. «Кто ты есть?» — спросил. А она говорит: «Не знаю. Живое есмь, а ходить не могу». А это был Аридник. Бог о нем не знал, ведь Аридник был, как бог, испокон веку. Дал ему бог руки и ноги, и ходят уже вместе, побратимами. Вот надоело им все по водам ходить, захотел бог землю создать, а достать со дна морского глины не умеет, ведь бог знал все на свете, только ничего не умел. А Аридник все хорошо умел, да и говорит: «Я бы туда нырнул».— «Ныряй». Вот он нырнул на дно, сгреб в горсть глины, а остальную спрятал в рот, про запас. Взял бог глину, вокруг разбросал. «Больше нет?» — «Нет». Благословил бог эту землю, да и стала она расти. А та, что во рту у сатаны, растет тоже. Растет да растет, уже и рот расперло, нельзя Аридныку дышать, глаза на лоб лезут. «Плюй!» — советует бог. Начал тот плевать, и где плюнет — вырастают горы, одна выше другой,

до самого неба доходят. Они бы и небо пробили, если бы бог не остановил их. С тех пор перестали горы расти...

Странно Ивану, что горы такие красивые, такие веселые, а сотворил их нечистый.

— Рассказывай, дружок, дальше,— просит Иван, а Микола снова начинает:

— Аридник мастер был на все руки, что надумал,— сделал. А бог, если хотел что достать, должен был хитростью выманить у него или украсть. Наделал Аридник овец, сделал скрипку и играет, а овцы пасутся. Увидел бог, да и выкрал, и уже оба пасту́шат. Все, что есть на свете — ученость, мудреная штука всякая,— все от него, от сатаны. Где что есть — повозка, лошадь, музыка, мельница или хата,— все выдумал он... А бог только крал да отдавал людям. Так-то...

Раз Аридныку холодно стало, и, чтоб согреться, выдумал он ватру. Пришел бог к ватре и смотрит на огонь. А нечистый уже знает, куда бог смотрит. «Все ты, говорит, у меня украл, а этого не дам». Но видит Аридныk, что бог уже разводит ватру. Так ему стало досадно, что он взял да и плюнул в божую ватру. А из этой слюны и поднялся над огнем дым. Первая ватра была без дыма, чистая, а с тех пор костры дымят...

Долго рассказывает Микола, а когда ненароком вспомнит черта, тогда Иван крестит грудь под безрукавкой. Микола же сплевывает, чтобы нечистый не имел над ним власти...

* * *

Заболел Микола, и Иван вместо него стережет ватры. Против огня, на лавке, спит старший пастух, а там, в углу, где колеблются тени кадушек, стонет больной. В черном котле кипит вода, дым сбивается вверху, под крышей, вылетает в щели между досками. Нечистый иногда дунет в щель, тогда дым валит вовсю и ест глаза, но это хорошо — нельзя заснуть. А сон одолевает. Чтобы отогнать его, Иван устремляет глаза в живой огонь. Он должен сторожить огонь, эту душу пастбища, ведь кто знает, что произошло бы, если б не уберег он его. Уголья тлеют, и даль улыбается Ивану из-под тяжелого навеса и внезапно исчезает. Перед глазами уже плывут зеленые пятна, превращаются в царынки, в пихтовый лес. По царынке ступают белые ноги Марички. Она бросает грабли и протягивает к нему руки. И в то мгновенье, когда Иван вот-вот почувствует мягкое тело Марички у своей груди, из лесу, рыча,

выходит медведь, а белые овцы бросаются в стороны и отделяют его от Марички. «Тьфу, ни дна им, ни покрышки!.. Неужели заснул!» Огонь ватры подмигивает ему, старший храпит, а под черным покрывалом подвижных теней стонет Микола.

«Не пора ли варить кулешу пастухам на завтрак?»

Иван выходит из стаи.

Тишина и холод охватывают его. Где-то в загородках дышит скотинка, сбились в груду овцы, слабо поблескивают у пастушьих шалашей ватры. Овчарки обступили Ивана, вытягиваются, разгребают землю и трутся у ног. Черные горы залили долину, как огромная отара. Они проводят свою жизнь в такой тишине, что слышат даже дыхание скота. Над ними расстелилось небо, этот луг небесный, где пасутся звезды, как белые овечки. Существует ли еще что-нибудь на свете, кроме этих двух полонин? Одна разостлалась внизу, другая вверху, а между ними, как малое пятнышко, чернеет пастух.

А может быть, нет ничего. Может быть, ночь уже залила горы, может быть, сдвинулись горы, раздавили все живое и одно Иваново сердце глухо колотится под безрукавкой в бесконечных мертвых просторах? Одиночество, подобное зубной боли, тянет за душу. Что-то огромное, враждебное давит его — это окаменевшая тишина, равнодушный покой, этот сон небытия. Нетерпенье стучит в его виски, за горло хватает беспокойство, и вдруг, встрепенувшись, он с криком, улюлюканьем и воплем бросается на пастбище, чтобы среди гама овчарок дико ревущим клубком нарушить тишину, разбить ночь вдребезги, как камнем стекло. «Ов-ов-ов!..» — откликаются пробужденные горы... «Га-га-га...» — повторяют в тревоге дальние вершины, и снова сомкнулась разбитая тишина. Овчарки возвращаются, скалят зубы и машут хвостами.

Но стало еще печальней, тоскливей. Захотелось солнца, веселого шума реки, теплого запаха хаты, беседы. Грусть завладела сердцем, сладкая тоска. Воспоминания охватили Ивана и заволновались перед его глазами... И вдруг услыхал он тихое: «Ива-а!» Кто-то его звал. Вот снова: «Ива-а!..»

Марічка? Откуда она взялась? Пришла на пастбище? Ночью? Заблудилась и зовет? Или ему померещилось? Нет, она здесь. Сердце колотится в Ивановой груди, но он колебался еще. Куда идти? И снова в третий раз долетает до него откуда-то: «Ива-а!..» Марічка... она... конечно... Он бежит напрямик, без тропинки, туда, откуда слышится голос, но встречает лишь пропасть, и здесь нельзя ни спуститься вниз, ни подняться на пастбище. Стоит и глядит в черную бездну. Тогда

ему становится ясно, что его зовет лесная русалка. И, крестясь и оглядываясь испуганно, он возвращается к стае.

Пора варить кулешу. В кипящий котел он сыплет муку режет ее крест-накрест, и ароматный пар вскоре смешивается с запахом дыма. Старший потягивается... Рассвет. Но кто звал Ивана? Может, это была все же Маричка?

Его тянет взглянуть еще раз, теперь, когда стало светлее. Идет на пастбище. Холодная роса ложится на его постолы. Небо закраснелось, и побледнели звезды. Иван поднимается выше и вдруг холодеет. Где он? Что с ним? Куда девались горы? Воды залили все пастбище, затопили вершины, и луг плывет одиноко в бескрайнем море. С Черногоры подул ветер, полые воды волнуются тихо, чувствуется, как пока еще невидимое солнце растет в глубине, а вот выступила из моря вся седая вершина, с которой стекает вода. Сильнее задышал холод, растут валы на море, а вершины одна за другой пробиваются сквозь белую пену. Мир будто возродился. Воды стекли с вершин и ходят уже под ногами, а солнце подняло в небе свою корону и вот-вот покажет лицо, а из стаи доносится печальный голос трембиты и пробуждает от сна полонину.

* * *

Так проводил Иван лето на пастбище до той поры, пока оно не опустело. Поплыла маржинка назад в долины, разобранная хозяевами, оттрубили трембиты, лежит измятая трава, а ветер осенний причитает над ней, как над мертвецом. Остались только старший и спузар. Они должны ждать, пока не погаснет огонь, этот огонь пастбищ, который сам родился, точно бог, сам должен и опочить. А когда и их уже не стало, на опечаленное пастбище приволоклась всяческая нечисть и шарит в шалаше и в загородках — не осталось ли чего-нибудь для нее.

* * *

Напрасно Иван спешил с пастбища: он не застал Марички в живых. Накануне его возвращения, переходя Черемош, она утонула. Неожиданно поднялась вода, злые габы [1] сбили Маричку с ног, бросили в гоц [2] и понесли между скал в долину.

---

[1] Волны. *(Прим. автора.)*
[2] Водопад. *(Прим. автора.)*

Марічку несла река, люди, смотрели, как вертят ее габы, слышали крики и мольбы и не могли спасти.

Иван не верил. Конечно, это шутки Гутенюков. Узнали про их любовь и спрятали Марічку.

Но, слыша со всех сторон одно и то же, решил искать тело. Должно же было прибить его где-нибудь к деревянной обшивке берегов, где-нибудь должны были выловить люди. Пошел вдоль реки, полный жгучего гнева, ненавидя ее вечный шум, кипящую ярость.

В одной деревне все же нашел тело. Его уже вытащили на прибрежную гальку, но Иван не узнал Марички. Это не Марічка была, а какой-то мокрый мешок, синяя кровавая масса, размолотая речными камнями, как на мельнице...

Великая тоска овладела сердцем Ивана. Сперва ему захотелось броситься со скалы в водоворот: «На, пожри и меня!» Но затем щемящая печаль погнала его в горы, дальше от реки. Зажимал уши, чтобы не слышать предательского шума, принявшего в себя последнее дыхание его Марички. Блуждал по лесу среди камней, среди бурелома, как медведь, зализывающий раны, и даже голод не мог прогнать его в селенье. Находил ежевику, бруснику, пил воду из родников и этим жил. Потом исчез. Люди полагали, что он погиб от великой тоски, а дивчата сложили песни про их любовь и смерть. И те песни разлетелись по горам. Шесть лет не было вести о нем, на седьмой год внезапно явился. Худой, черный, много старше своих лет, но спокойный. Рассказывал, что пастушил на венгерской стороне. Еще год так походил, а потом женился. Надо же было хозяйничать.

Когда замолкли выстрелы пистолетов и свадебные песни, а жена пригнала к загородке овец и коров, Иван был даже доволен. Его Палагна была из богатого рода, надменная, здоровая дивчина, с грубым голосом и зобастой шеей. Правда, она любила пышное платье, и шли толки, что немало денег будут стоить Ивану шелковые платки и дорогие мониста. Но это были сплетни. Поглядывая на овечек, блеявших в загородках, на свой пестрый ботей (стадо), на коров, звеневших по лесным лужайкам, он не горевал.

Теперь ему уже было о чем заботиться. Не стремился к богатству — не для того гуцул живет на свете,— самый уход за маржинкой наполнял радостью сердце. Как для матери — дитя, так для него была скотинка. Все время, все мысли занимала забота о сене, о довольстве маржинки, чтобы не заболела, чтобы не сглазил кто, чтобы овцы счастливо ягнились,

а коровы телились. Всюду все грозило опасностью, и надо было хорошо стеречь маржину от гада, зверя или ведьм, которые всячески старались выдоить коров и губили скотинку. Надо было много знать, окуривать, ворожить, собирать целебные травы и творить заговоры. Палагна ему помогала. Она была хорошей хозяйкой, и свои вечные заботы он делил с нею.

— Ну и соседей дал нам господь бог! — плакалась она мужу.— Вошла в хлев Хима, глянула на ягнят да как всплеснет руками: «Ой! Какие они красивые!» Вот получай, думаю себе. Не успела с порога сойти, как два ягненка завертелись на месте — да тут им и конец... Чтоб тебе пусто было, ведьма!..

— А я иду ночью,— рассказывал Иван,— мимо ее хаты, да и смотрю: катится что-то круглое, словно клубок. Да и светится, как звезда. Остановился и гляжу, а оно по царынке через изгородь да прямо в Химины двери... Здорово живешь!.. Догадался бы — снял с себя штаны, может, ведьму и поймал бы, а так ничего не вышло...

С другой стороны, на ближнем холме, соседом был Юра. О нем люди говорили, что он подобен богу. Всеведущ и всемогущ, этот заклинатель града и злой знахарь. В своих крепких руках держал он силы небесные и земные, смерть и жизнь, здоровье маржины и человека, его боялись, но в нем нуждались все.

Случалось, что и Иван обращался к нему, но каждый раз, встречая взгляд черных, обжигающих глаз знахаря, сплевывал незаметно: «Чтоб тебе ослепнуть!»

Но больше всего докучала им Хима. Старая льстивая баба, всегда такая приветливая, она по вечерам превращалась в белого пса и шныряла по соседским загородкам. Не раз Иван запускал топор в нее, швырял вилами и прогонял.

Рябая корова на глазах худела и все меньше давала молока. Палагна знала, чьих рук это дело. Она поглядывала, нашептывала, по нескольку раз на вечер бегала к коровам, вставала даже ночью, раз подняла такой переполох, что Иван бросился в загородку, как сумасшедший, и должен был сгонять с порога большую жабу, старавшуюся пролезть в хлев. Но жаба внезапно исчезла, а из-за изгороди уже скрипел Химин голос:

— Добрый вам вечер, соседушки хорошие!.. Хе-хе...

Бесстыдница!

Что только не вытворяла эта прирожденная ведьма! Обращалась в полотно, белевшее в сумерки у леса, ползла ужом или катилась по холмам прозрачным клубком, наконец гасила месяц, чтобы было темно, пока она ходит к чужому скоту.

Не один божился, что видел, как она трепалку доит: забьет в нее четыре колка и начнет доить — и надоит полный подойник.

Сколько хлопот было у Ивана! Он не имел даже времени ни о чем другом подумать. Хозяйство требовало вечной работы, жизнь маржины так тесно сплеталась с его собственной жизнью, что вытесняла все другие мысли. Но иногда, совсем неожиданно, когда он бросал взгляд на зеленые царынки, где отдыхало в копнах сено, или на полный задумчивости лес, тогда долетал до него оттуда давно забытый голос:

Ізгадай мні, мій миленький,
Два рази на днину,
А я тебе ізгадаю
Сім раз на годину...

Тогда он бросал работу и где-то пропадал.

Надменная Палагна, которая привыкла шесть дней в неделю работать и только в праздник отдыхать, чванясь красивыми нарядами, сердито упрекала Ивана за его причуды. Он сердился:

— Заткнись. Знай свое дело, а меня оставь в покое...

Он сердился на самого себя: «Зачем все это?» И виновато шел к коровам.

Приносил им хлеба или горсточку соли. С доверчивым мычаньем тянулась к нему его Биланя или Голубаня, высовывала теплый красный язык, слизывала соль, лизала руки. Влажные блестящие глаза приветливо глядели на него, а теплый дух полного вымени и свежего навоза снова восстанавливал утраченное спокойствие и равновесие.

В овчарне его заливало целое море овец, таких маленьких, круглых. Они знали своего хозяина, эти бараны и овцы, и с радостным блеянием терлись у его ног. Он запускал пальцы в их пушистую шерсть и с отцовским чувством брал на руки ягненка — и дух пастбища веял тогда над ним и звал в горы. Становилось спокойно и тепло на сердце.

В этом была Иванова радость.

Любил ли он Палагну? Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он — хозяин, она — хозяйка. И хотя детей у них не было, зато была скотинка — чего больше? Хозяйство шло хорошо, и Палагна раздобрела, стала толстой и красной, курила трубку, как Иванова мать, носила пышные шелковые платки, а на зобастой шее блестело у нее столько бус, что женщины лопались от зависти. Они ездили вместе в город или на храмовый праздник. Палагна сама седлала свою лошадь

и вдевала в стремя ноги в красных постолах так гордо, точно все горы принадлежали ей одной. На храмовом празднике собирались разные люди, пенилось пиво, лилась водка, слетались всякие новости с дальних гор. Иван обнимал молодиц. Палагну целовали чужие мужья,— подумаешь, невидаль какая! — и, довольные, что так хорошо провели время, они возвращались к повседневным заботам.

К ним тоже приезжали хорошие хозяева в гости.

— Слава Иисусу! Как жинка, маржинка, здоровы ли?

— Здоровы, как вы?..

Садились за резной стол, тяжелые в своей овчинной одежде, и угощались свежей мамалыгой и ряженкой, такой острой, что от нее облезал язык.

Так шла жизнь.

Для работы — будни, для ворожбы — праздник.

В сочельник Иван был всегда в странном настроении. Будто преисполненный чего-то таинственного и священного, он все делал серьезно, словно службу божью правил. Раскладывал Палагне живой огонь для ужина, стелил сено на стол и под столом и, полный веры, мычал при этом, как корова, блеял овцой и ржал лошадью,— лишь бы плодился скот. Окуривал ладаном хату и кошары, чтобы отогнать зверя и ведьм, а когда красная от суеты Палагна сообщала наконец, что готовы все двенадцать кушаний, он, прежде чем сесть за стол, нес ужин скотине. Она первой должна была попробовать голубцов, чернослива, бобов, кутьи, которые так старательно приготовила для него Палагна. Но это было не все. Еще следовало созвать на тайную вечерю все враждебные силы, которых он остерегался всю жизнь. Брал в одну руку миску с едой, в другую — топор и выходил во двор. Зеленые горы, нарядившиеся теперь в белые свитки, чутко прислушивались, как звенело в небе золото звезд; мороз сверкал серебряным мечом, рассекая звуки в воздухе, а Иван простирал руку в это скованное зимой безлюдье и приглашал на тайную вечерю к себе всех чернокнижников, злых духов, звездочетов всяких, волков лесных и медведей. Он приглашал бурю, чтобы не отказала в милости прийти к нему и отведать обильной пищи и водки, приглашал на святой ужин, но они были милостивы, и никто не приходил, хотя Иван просил трижды. Тогда он творил заговор, чтобы они не появлялись вовсе,— и с облегчением вздыхал.

Палагна ожидала в хате. Огонь в печи лежал утомленный, тихо дремал жар, кушанья отдыхали на сене, рождественская тишина всплывала из темных углов, голод влек к еде, но они

еще не смели сесть за стол. Палагна бросала взгляд на мужа — и в согласии они вместе опускались на колени, прося бога, чтобы допустил к ужину души, никому неведомые, пропадающие без вести, на бутынах [1] побитые, дорогами изувеченные, водами потопленные. Никто о них не вспомнит, ни поднимаясь с постели, ни ложась, никто не вспоминает, дорогой идучи, а они, бедные души, горестно пребывают в пекле, ожидая сочельника...

И, так молясь, Иван был уверен, что за плечами у него плачет, склонившись, Маричка, а души преждевременно умерших невидимо рассаживаются по лавкам.

— Обдуй, прежде чем сесть! — требовала от Ивана Палагна.

Но он знал это и без нее. Старательно обдувал место на лавке, чтобы не придавить какую-нибудь душу, и садился ужинать...

Под Новый год к маржине в загородку приходил сам бог. В высоком небе ясно горели звезды, яростно трещал мороз, а седой бог шел босиком по рыхлому снегу и тихо отворял дверь овчарни.

Проснувшись ночью, Иван прислушивался и, казалось, слышал, как нежный голос спрашивал маржинку: «Хорошо ли ты, скотинка, накормлена, напоена ли хорошо? Бережет ли тебя хозяин?» Радостно блеяли овцы, веселым мычанием отвечали коровы — хозяин ходит за нами хорошо, совестливо, поит, кормит и даже нынче вычесывал шерсть. Теперь господь бог, наверно, подарит его новым приплодом.

И бог давал приплод. Овечки мирно ягнились, дарили ягняток, коровы счастливо телились.

Палагна всегда была занята своей ворожбой. Раскладывала ватру среди маржины, чтобы она блестела и красивой была, как божий свет, чтобы к ней не приступил нечистый. Она делала, что только могла, чтобы скотинка была такой тихой, как корень в земле, так обильна молоком, как потоки водою. Она ласково говорила скотинке:

— Ты будешь кормить меня и моего хозяина, а я тебя буду почитать, чтоб тебе легко спалось и редко плакалось, чтобы домовые не узнали, где ты ночевала, где ты стояла, чтоб тебя кто-нибудь не сглазил...

Так шла жизнь, жизнь скота и людей, сливающаяся вместе, как два родничка в горах,— в один поток.

---

[1] На работах в лесу. *(Прим. автора.)*

* * *

Завтра большой праздник. Теплый Юрий отобрал от холодного Дмитра ключи мира, чтобы править землей. Полые воды, на которых плавает земля, вознесут ее выше к солнцу. Юрий украсит леса и царынки, овца обрастет шерстью, как летняя земля травой, а луга отдохнут от скотины, обильно покрываясь зеленью. Завтра весна — день радости и солнца, и уже сегодня горы цветут огнями и синий дым закрывает пихты прозрачной завесой. И когда солнце снизилось, отцвели ватры и дым их отлетел в небо, радостным криком откликнулась скотина, которую перегоняли через жар, чтобы она была сильной летом, как ватра, чтобы множилась, как множится от огня пепел.

Поздно ложились спать накануне Юрия люди, хотя рано должны были подниматься.

Палагна проснулась, как только начало светать.

— Не рано ли? — подумала вслух, но сейчас же вспомнила, что сегодня праздник и надо идти на царынку. Сбросила теплое одеяло и встала. Иван еще спал. Печь вздыхала в углу черным зевом, а под ней уныло трещал сверчок. Палагна расстегнула сорочку, сбросила ее с себя, постояла голая среди хаты и, боязливо оглядываясь на Ивана, пошла к двери. Скрипнула дверь, и утренний холод обвеял ее тело. Горы еще спали. Еще спали пихты — как монахи, строгие; спали поседевшие за ночь царынки и седые шпили, расплывавшиеся в тумане. Холодная мгла подымалась с долины и простирала белые мохнатые лапы к черным пихтам, а под еще бледным небом рассказывал свои сны Черемош.

Палагна шла по мокрым травам и слегка дрожала от утреннего холодка. Она была уверена, что ее никто не увидит, а если и увидит, так что? Конечно, жалко было, если бы ее ворожба оказалась напрасной. О другом не думала. Еще на благовещенье она зарыла в муравейник соль, булку и монисто, и теперь следовало все это оттуда достать. Понемногу привыкла к холоду. Ее упругое тело, еще не знавшее материнства, свободно и гордо плыло по молодым травам царынки, такое розовое и свежее, как позолоченное облако, полное теплым весенним дождем. Наконец остановилась под буком, но, прежде чем разрыть муравейник, подняла руки к небу и с удовольствием потянулась всем телом, хрустнув косточками. И вдруг почувствовала, что теряет силы, что ей как-то нехорошо. Опустила беспомощно руки, взглянула перед собой и внезапно как бы провалилась в черную огнистую бездну, не отпускавшую ее от себя.

Юра-знахарь стоял за изгородью и глядел на Палагну.

Она хотела крикнуть на него — и не могла. Хотела закрыть грудь руками — но у нее не было сил их поднять. Старалась убежать — и врастала в землю. Обомлев, стояла бессильная и упорно смотрела на два черных уголька, лишивших ее силы.

Наконец в ней шевельнулась злость. Ни к чему ее ворожба! Она сделала над собой усилие, чтобы разжечь эту злобу, и сердито крикнула ему:

— Чего уставился? Не видел?

Не спуская с нее глаз, сковавших ее, Юра блеснул зубами.

— Такой, как вы, Палагна, ей-богу, не видел.

И закинул ногу через изгородь.

Она видела хорошо, как плыли к ней эти два горящие уголька, испепелившие ее волю, а все же стояла и не могла пошевельнуться, то ли в сладком, то ли в страшном ожиданье.

Он уже был близко. Видела узоры его безрукавки... Раскрытый рот, блестящие зубы... приподнятую руку... Теплое его тело задышало рядом с ней, а она все еще стояла.

И только когда железные пальцы стиснули ее руку и привлекли к груди, она с криком вырвалась и бросилась домой.

Знахарь стоял, раздувая ноздри, и смотрел, как тело Палагны белело, изгибаясь, над травами, будто волны Черемоша.

Затем, когда Палагна уже исчезла, он перелез через изгородь и снова начал сеять по выгону пепел вчерашней ватры, чтобы корова и мелкая скотинка, которые будут здесь пастись, обильно плодились, чтобы каждая овца приносила по два ягненка...

Палагна прибежала домой злая. Хорошо, что хоть Иван ничего не видел. Ну и соседушка славный, чтоб ему сгореть! Не нашел другого времени... Чтоб тебе!.. А то, что ее ворожба была напрасной, так этого уже не поправишь. Колебалась, рассказывать про Юру Ивану или не тревожить его. Еще драка выйдет или ссора, а знахаря только задень! Вот надо было бы дать ему пощечину, да и все... Но Палагна знала, что она не в состоянии поднять на него руку. Даже при одной мысли об этом ощущала слабость во всем теле, в руках и ногах какое-то сладкое изнеможение. Ощущала словно паутину на всем теле от горячего взгляда черных глаз, от жадно раскрытого рта, от блеска зубов. И что б она ни делала в тот день, взгляд знахаря ее сковывал.

Около двух недель прошло с того времени, а Палагна не говорила Ивану о встрече с Юрой. Она только присматривалась к мужу,— что-то давило его, какая-то тоска томила Ивана и делала слабым, что-то старческое, водянистое светилось в его усталых глазах. Заметно худел, становился равнодушным. Нет,

Юра лучше. Если бы захотела любовника, выбрала бы Юру. Но Палагна была гордой, ее силком не возьмешь. Да к тому еще была сердита на знахаря.

Однажды они встретились у реки. Палагне на мгновение показалось, что она голая, что тонкая паутина окутала все ее тело. Она точно сквозь сон услыхала:

— Как спали, Палагночка-душечка?

На языке у нее вертелся ответ: «Хорошо, как вы?» Но она удержалась, надулась, высокомерно подняла голову и прошла мимо, словно не заметила его даже.

— Как здоровье? — услыхала сзади во второй раз.

Но не оглянулась.

«Ну, теперь жди беды!» — подумала со страхом.

И верно, едва вернулась домой, как Иван встретил ее известием, что сдохла овца. Но удивительно, ей совсем не было жалко овечки. Даже злилась, что Иван так убивается из-за овцы.

Юра больше не переходил Палагне дорогу. Однако ее мысли все чаще обращались к нему. С любопытством, охотно прислушивалась Палагна к рассказам о его силе и удивлялась как много он может, этот горячий Юра, который не видел никого лучше Палагны! Он был могучий, сильный, все знал. От его слова вмиг гибла скотина, сох и чернел, как дым, человек; он мог наслать смерть и подарить жизнь, разогнать тучи и остановить град, огнем черного глаза испепелить врагов и зажечь в женском сердце любовь. Он был земным богом, этот Юра, хотевший Палагну, простиравший к ней руки, в которых он держит силы мира.

Иногда ей было жаль коров и мужа, они все таяли, как туман, на мгновенье оседавший на пихтах. С тоской она шла на царынку под бук и там чувствовала на своей груди теплое дыхание Юры, железные его пальцы. Она стала бы его любовницей, если бы он появился в эту минуту.

Но он не появлялся...

Был знойный день. Игрец ушел во мглу. Над землей стоял пар, а от Черногоры беспрестанно бежали тучи и лились дожди, освещенные с одной стороны солнцем. Так парило, что Палагна ни за что не полезла бы на вершину, если бы не приснился ей сон, предвещавший скотине недоброе. Она хотела проведать коров в лесу. Вокруг нее горы дымились во мгле, словно закипели горные потоки, и от них валил пар. Внизу шумел Черемош. Ему жестко было лежать на скалах, и он перескакивал с камня на камень. Но едва успела Палагна взобраться наверх, как с Черногоры махнул крылом ветер и закачались деревья. «Не было бы бури» — подумала она и обратилась лицом к ветру.

Ну, так и есть... Там клокотала тяжелая сине-белесая туча. Казалось, сама Черногора поднялась в небо, готовая опуститься на землю и все раздавить. Ветер бежал впереди нее и расталкивал пихты, а горы и долины почернели сразу, как после пожара. Нечего было и думать идти дальше. Палагна спряталась под шатром пихты. Пихта скрипела. Издалека мягко катился гром; тени стремительно бежали по горам, смывая краски, а высокие пихты сгибались вдвое на далеких вершинах. «Еще град выпадет»,— пугалась Палагна, плотно запахивая безрукавку.

А над головой уже шумело. Там, на Черногоре, где-то по замерзшим озерам колдуны кололи лед, и души казненных собирали его в мешки и мчались с ними по тучам, чтобы рассыпать лед над землей. «Погибнут покосы, засыплет их льдом, и заплачет голодная скотинка»,— думала горько. Но не успела окончить мысли, как ударил гром. Зашатались горы, пихты склонились до самой земли, земля поднялась, и все завертелось в вихре. Палагна едва успела ухватиться за ствол и, словно сквозь туман, увидела вдруг, как карабкался на гору какой-то человек. Боролся с ветром, расставлял ноги, хватался руками за камни и все лез наверх. Вот уже он близко, согнулся вдвое, бежит и, наконец, стал на вершине. Палагна узнала Юру.

«Наверно, за мной...» — испугалась Палагна.

Но Юра, по-видимому, ее не заметил.

Стал лицом к туче, одна нога вперед, и скрестил руки на груди. Запрокинул бледное лицо и вонзился хмурым глазом в тучу. Стоял так долгое мгновенье, а туча шла на него. И вдруг резким движением он бросил кресаню на землю. Ветер сейчас же сдул шляпу в долину и подхватил длинные волосы Юры. Юра тогда поднял к туче палку, которую держал в руке, и крикнул в синее клокотанье:

— Стой! Я тебя не пускаю!..

Туча подумала немного и метнула в ответ огненную стрелу.

— Ой! — закрыла Палагна глаза рукой, когда рассыпались горы.

Но Юра твердо стоял, и кудри извивались над его головой, как змеи в гнезде.

— Ага! Ты так! — крикнул Юра туче.— Тогда я сотворю заговор. Я заклинаю вас, громы великие и малые, тучи и облака, я приказываю тебе, непогода, уходи налево, на леса и воды... Иди, разлетись, как ветер по свету... Разбейся и рассыпься, силы твоей тут нет.

Но туча только презрительно моргнула левым крылом и начала поворачивать направо, к царынкам.

— Несчастье! — сжала руки Палагна.— Начисто погубит сено...

Однако Юра не думал сдаваться. Он только больше побледнел, только потемнели его глаза. Когда туча двигалась направо — и он шел направо,— туча — налево, и он — налево. Он бегал за нею, борясь с ветром, размахивая руками, грозил палкой. Он вился, как вьюн по горе, заставляя тучу повернуть, мерился силой с нею, спорил... Вот-вот, еще немного, еще с этого края... Ощущал в груди силу, метал глазами молнии, вздымал руки в небо и творил заклинанья. Ветер развевал на нем безрукавку и хлестал его грудь, туча ворчала, расплескивала гром, била в глаза дождем, вздрагивала над головой, готовая упасть, а он, весь в поту, едва переводя дыханье, метался по вершине в неистовстве, страшась потерять последние силы. Чувствовал, что уже слабеет, что в груди пусто, что буря рвет голос, дождь заливает глаза, туча побеждает, и уже с последним усильем поднял к небу короткую палку:

— Стой!..

И туча внезапно остановилась. Удивленно подняла край, встала, как конь, на дыбы, заклокотала от скрытого гнева, отчаяния, бессилия и уже просила:

— Пусти! Куда мне деться?

— Не пущу.

— Пусти! Погибаем! — жалобно кричали души, сгибаясь под тяжестью переполненных градом мешков.

— Ага! Теперь ты просишь!.. Я тебя заклинаю, ступай в безвесть, в пропасть, где конь не ржет, корова не мычит, овца не блеет, куда ворон не долетает, где христианского голоса не слыхать... Туда отпускаю тебя...

И удивительное дело — туча подчинилась, покорно повернула налево и развязала мешки над рекой, засыпав частым градом каменный берег. Белая завеса закрыла горы, а в глубокой долине что-то клокотало, ломалось, глухо шумело. Юра упал на землю и тяжело дышал.

А когда солнце разорвало тучу и мокрые травы вдруг улыбнулись, Юра словно сквозь сон увидел, что к нему бежит Палагна. Она вся приветливо сияла, как солнце, склонясь над ним, взволнованно спрашивая:

— Не случилось ли с тобой, Юрчик, чего злого?

— Ничего, Палагночка, душечка! Ничего, иди сюда. Я отвратил бурю...

И простер руки к ней.

Так Палагна стала любовницей Юры.

* * *

Иван удивлялся Палагне. Она и прежде любила пышно одеваться, а теперь будто что-то на нее нашло: даже в будни носила шелковые платки, дорогие, затейливо расшитые, носила блестящие, затканные канителью запаски, а тяжелые украшения из монет сгибали ей шею. Иногда исчезала из дому и возвращалась поздно, красная, растрепанная, будто пьяная.

— Где ты шляешься? — сердился Иван.— Смотри, хозяйка!

Но Палагна только смеялась:

— Ого! Мне уже и погулять нельзя... Хочу жить в свое удовольствие. Один раз живем на свете...

Что правда, то правда — жизнь наша коротка, блеснет и погаснет. Иван сам так думал, но Палагна заходила слишком далеко. Ежедневно она пила в корчме с Юрой, знахарем, при людях целовалась и обнималась с ним, не скрывая даже, что имеет любовника. Разве она первая? Испокон веку не было того, чтобы одного держаться.

Все говорили о Палагне и Юре; слыхал и Иван, но принимал все равнодушно. Знахарь так знахарь. Палагна цвела и веселилась, а Иван тосковал и сох, теряя силы. Он сам удивлялся такой перемене. Что случилось с ним? Силы оставляли его, глаза, какие-то растерянные и водянистые, глубоко ввалились, жизнь потеряла для него смысл. Даже маржинка не доставляла прежней радости. Быть может, на него напустили порчу или сглазил кто? Не тосковал по Палагне, даже обиды не чувствовал, хотя дрался из-за жены с Юрой.

Не со злости, а оттого, что так «полагается». Если бы не Семен, его побратим, заступившийся за Ивана, может быть, ничего и не было бы.

Потому что, встретившись однажды в корчме с Юрой, Семен ударил его по лицу.

— Ах ты бездельник, зачем тебе Палагна, мало своей жены!

Тогда Ивану стало стыдно. Он подскочил к Юре.

— Смотри за своей Гафией, а мою не тронь! — И затряс топориком перед носом Юры.

— Ты купил ее на базаре? — вспыхнул Юра.

Его топорик так же мелькал перед глазами у Ивана.

— Чтоб тебя холера взяла!..

— Ах ты разбойник!..

— На, получай!

Иван ударил первый, прямо в лоб. Но Юра, умываясь

кровью, успел рубануть Ивана между глаз и окровавил ему лицо и шею. Ослепли оба от волны горячей крови, залившей глаза, но все высекали огонь топориком о топорик, все наносили друг другу удары в грудь. Они танцевали смертельный танец — эти красные маски, которые дымились горячей кровью. У Юры уже была покалечена рука, но счастливым ударом он внезапно переломил надвое Иванов топорик. Иван пригнулся, ожидая смерти. Но Юра мгновенно укротил свою ярость и прекрасным величественным жестом отбросил в сторону топорик.

— На безоружного с топором не иду!..

И они снова взялись за топорики.

Их едва растащили.

Ну что ж. Иван обмыл свои раны, окрасив Черемош кровью, да и пошел к овцам. У них нашел он отдых и утешенье.

Однако драка не помогла. Все шло по-старому. Палагна так же не держалась своего дома, так же сох Иван. Его кожа почернела и натянулась на костях, глаза ввалились еще глубже, его пробирали лихорадка, раздраженье и беспокойство. Он даже утратил вкус к еде.

«Не иначе как знахаря дело,— горько думал Иван,— злое задумал против меня, хочет со света сжить, да и сушит».

Он ходил к ворожее, та старалась отвратить от него беду — не помогло: видно, знахарь был сильней.

Иван даже удостоверился в этом. Как-то, проходя мимо хаты Юры, он услыхал голос Палагны. Неужели она? У него сперло дыхание.

Прижав сердце рукой, Иван приложил ухо к воротам. Не ошибся. То была Палагна. Отыскивая щель, в которую можно было бы заглянуть, Иван тихо двигался вдоль забора. Наконец ему удалось найти какое-то отверстие в заборе, и он увидел Палагну и знахаря. Юра, нагнувшись, держал перед Палагной глиняную куклу и пальцами тыкал в нее от ног до головы.

— Забиваю колок тут,— шептал зловеще,— и сохнут руки и ноги. В живот — мучится животом,— не может есть...

— А если бы в голову вбил? — с любопытством спрашивала Палагна.

— Тогда гибнет тотчас же...

Ведь это они о нем сговаривались!..

Сознанье этого туманом залило голову Ивана. Вот перескочить через забор и убить обоих на месте. Иван стиснул топорик, смерил глазами забор, но внезапно увял. Слабость и равнодушие снова обняли все его тело. Зачем? Для чего? Такая уж, видно, его доля. Ему сразу стало холодно. Бессильно опустил

топорик и пошел дальше. Шел опустошенный, не чувствуя земли под ногами, потеряв тропинку. Красные круги носились перед глазами и расплывались по горам.

Куда он шел? Не мог даже вспомнить. Блуждал без цели, карабкался на горы, спускался и поднимался, куда ноги несли. Наконец заметил, что сидит над рекой. Она клокотала и шумела под ногами у него, эта кровь зеленая зеленых гор, а он глядел, ничего не соображая, в стремнину, пока в его утомленном мозгу не загорелась первая ясная мысль: здесь когда-то брела Маричка. Тут ее взяла вода. И воспоминания уже сами начали возникать одно за другим, наполнять пустую грудь. Он снова видел Маричку, ее милое лицо, ее открытую доверчивую ласку, слушал ее голос, песни ее: «Ізгадай мні, мій миленький, два рази на днину, а я тебе ізгадаю сім раз на годину...» И вот теперь ничего этого нет. Нет, и не вернется уже, как никогда не возвращается речная пена, уносимая теченьем. Тогда Маричка, а теперь он... Его звезда уже едва держится на небе, готовая скатиться. Ведь что наша жизнь? Вспышка в небе, цвет черешни... хрупкая и короткая...

Солнце скрылось за горами, и в тихих вечерних тенях задымились гуцульские хаты. Синий дым проникал сквозь щели кровель и окутывал хаты, и они, расцветавшие на зелени гор, казались большими голубыми цветами.

Печаль наполняла сердце Ивана, душа тосковала о лучшем, хотя и неведомом, влеклась к другим прекрасным мирам, где можно было бы отдохнуть.

А когда подошла ночь и черные горы замигали светом одиноких селений, как чудовище злыми глазами, Иван почувствовал, что силы враждебные сильнее его, что он уже сломлен в борьбе.

* * *

Иван очнулся.

— Вставай,— будила его Маричка.— Вставай, и идем.

Он взглянул на нее и совсем не удивился. Хорошо, что Маричка наконец пришла.

Встал и пошел за нею.

Они молча подымались на гору, и, хотя была уже ночь, Иван ясно видел при свете звезд ее лицо. Перелезли через изгородь, отделявшую лужок от леса, и вступили в густую чащу пихт.

— Отчего ты так исхудал? Ты болен? — спросила Маричка.

— По тебе, душенька Маричка... по тебе тосковал...

Не спрашивал, куда идут. Ему было так хорошо с нею.

— Ты помнишь, сердце Иванко, как встречались мы в этом лесу: ты мне играл, а я обнимала тебя и целовала кудри милые?

— Ох, помню, Маричка, и век не забуду...

Он видел перед собой Маричку, но это ему казалось странным, потому что он вместе с тем знал, что это не Маричка, а нявка. Шел рядом с ней и боялся пустить Маричку вперед, чтобы не увидеть сквозь кровавую рану на спине, сердце и желудок, как это бывает у нявок. На узких тропинках он жался к Маричке, лишь бы идти с ней, не остаться позади, и ощущал ее теплоту.

— Давно я хотела тебя спросить: за что ты ударил меня по лицу? Тогда, помнишь, когда дрались роды наши, а я, видя кровь, дрожала у повозки...

— Потом ты побежала, а я бросил твои ленты в воду, а ты дала мне конфету...

— Я тебя полюбила сразу...

Они все углублялись в лес. Черные пихты добродушно протягивали свои мохнатые лапы, точно благословляя; кругом царила строгая, замкнутая тишина, и только в долинах с шумом разбивалось пенистое своеволие потоков.

— Однажды я хотела тебя испугать и спряталась. Легла в мох, зарылась в папоротник и лежала тихонько. Ты звал, искал, чуть не плакал. А я лежала, стараясь не смеяться, а когда ты наконец нашел меня, что ты со мной сделал?

— Ха-ха!

— Ах ты... бесстыдник!

Мило надула губы и так лукаво поглядела на него.

— Ха-ха! — смеялся Иван.

— Ха-ха! — смеялись оба, прижавшись друг к другу.

Она напомнила ему все их детские игры, купания в ледяных потоках, шутки и песни, страхи и радости, горячие объятия и муки расставанья. Все эти милые мелочи, согревавшие им сердца.

— Отчего ты так долго не возвращался с пастбища, Иванко? Что ты там делал?

Ивану хотелось рассказать, как голосом Марички звала его лесная русалка, но он избегал этого воспоминания. Сознание его двоилось. Чувствовал, что около него Маричка, и знал, что Марички нет на свете, что это кто-то другой ведет его к бездне, на дикие вершины, чтобы погубить. И все же ему хорошо было, он шел вслед за ее смехом, за ее девичьим щебетаньем, не боясь ничего, легкий и счастливый, каким был когда-то.

Все его заботы и тревоги, страх смерти, Палагна и злой знахарь — все куда-то исчезло, все отлетело, точно никогда этого не было. Беспечальная молодость и радость снова вели его по этим безлюдным вершинам, таким мертвым и одиноким, что даже лесной шепот не мог удержаться там и спускался в долину пеной потоков.

— А я все глядела, не идешь ли ты, все ждала, когда с пастбища вернешься. Не ела, не спала, песни растеряла, свет стал мне не мил... Пока мы любились, сухие дубы цвели, а как мы разлучились, и живые засохли...

— Не говори так, Маричка, не говори, милая... Теперь мы уже вместе. Никогда не разлучимся...

— Никогда? Ха-ха...

Иван вздрогнул и остановился. Сухой зловещий смех резанул ему сердце. Недоверчиво посмотрел на нее.

— Смеешься, Маричка?

— Что ты, Иванко. Я не смеялась. Тебе почудилось. Ты уже устал? Тебе трудно идти? Пройдем еще немного. Идем!..

Она умоляла, и он пошел дальше, крепко прижавшись плечом к ее плечу, желая одного — идти так, чтобы не остаться позади и не увидеть, что у Марички вместо одежды, вместо спины... Ах, что там... не хотел думать.

Лес становился все гуще. Гнилой дух прелых стволов, запах лесного кладбища шел к ним из чащи, где гнили мертвые пихты и гнездились дурные грибы — огромные поганки, ядовитые сыроежки. Большие камни ходили под скользким мхом, голые корни пихт опутывали тропинку, устланную ковром сухой хвои.

Они шли дальше и дальше, забирались в холодную и неприветливую глубь лесистых вершин.

Пришли на полянку. Здесь было светлее, пихты точно оставили за собой черноту глубокой ночи.

Маричка вдруг вздрогнула и остановилась. Вытянула шею, прислушалась. Иван заметил, что тревога скользнула по ее лицу и она подняла брови. Что случилось? Но Маричка нетерпеливо прервала его вопросы, приложила палец к губам, в знак того, что он должен молчать, и вдруг исчезла. Все это произошло так неожиданно и странно, что Иван не успел опомниться.

Почему она испугалась, куда и зачем убежала? Он немного постоял на месте, надеясь, что Маричка вернется сейчас же, но ее долго не было, и он тихо позвал:

— Маричка!..

Мягкое покрывало пихтовых ветвей поглотило этот зов, и снова стало тихо.

Иван встревожился. Хотел искать Маричку, но не знал, в какую сторону идти, так как не заметил, куда она исчезла. Еще заблудится где-нибудь в лесу или сорвется в пропасть. Не разложить ли костер? Увидит огонь и будет знать, куда вернуться.

Иван набросал сухих сучьев и поджег их. Костер потрещал немного и задымился, а когда дым заметался над огнем, заметались и тени косматых пихт и наполнили полянку.

Иван сел на пенек и огляделся. Поляна была полна гнилыми стволами, колючей сеткой простирались острые сучья, среди которых вилась дикая малина. Нижние ветки пихт, тонкие и сухие, свисали вниз, как рыжие бороды.

Снова охватила Ивана тоска. Он опять был один. Маричка не шла. Закурил трубку и смотрел в огонь, чтобы как-нибудь скоротать ожиданье. Должна же была наконец прийти Маричка. Ему даже казалось, он слышит ее шаги и треск веточек под ногами. О! Наконец она... Хотел встать и пойти ей навстречу, но не успел.

Сухие веточки тихо раздвинулись, и из лесу вышел какой-то человек.

Он был без одежды. Мягкие темные волосы покрывали все его тело, обрамляли его круглые добрые глаза, переходили в клинышек бородки и свисали с груди. Он положил на большой живот заросшие шерстью руки и подошел к Ивану.

Тогда Иван сразу его узнал. Это был веселый чугайстыр, добрый лесной дух, защищающий людей от нявок. Он был смертью для них: поймает и разорвет.

Чугайстыр добродушно улыбнулся, лукаво подмигнул Ивану и спросил:

— Куда побежала?

— Кто?

— Нявка.

«Это он о Маричке,— с ужасом подумал Иван, и его сердце заколотилось в груди.— Вот почему она исчезла!..»

— Не знаю. Не видел,— равнодушно ответил Иван и предложил чугайстыру: — Садись!

Чугайстыр присел на пенек, отряхнулся от сухих листьев и протянул ноги к огню.

Оба молчали. Лесовик грелся у костра и поглаживал свой круглый живот, а Иван упорно думал, как бы подольше задержать чугайстыра, чтобы Маричка как можно дальше успела убежать.

Но чугайстыр сам пришел ему на помощь. Подмигнул Ивану лукавым глазом и сказал:

— Давай потанцуем?

— Почему бы и нет? — радостно поднялся Иван.

Подбросил в костер хвои, взглянул на постолы, обдернул на себе рубашку и приготовился к танцу.

Чугайстыр уперся косматыми руками в бока и уже покачивался.

— Ну, начинай!..

Что ж, начинать так начинать.

Иван топнул, выставил ногу вперед, тряхнул всем телом и поплыл в легком гуцульском танце. Перед ним смешно изгибался чугайстыр. Он жмурился, причмокивал, тряс животом, а его ноги, косматые, как у медведя, неуклюже топтались на месте, сгибались и разгибались, будто толстые ободья. Танец, по-видимому, его горячил. Он уже подскакивал выше, приседал ниже, подбадривал себя веселым ворчаньем и отдувался, словно кузнечный мех. Пот каплями выступал вокруг его глаз, стекал струйками со лба ко рту, подмышки и живот были у него в мыле, как у лошади, а чугайстыр совсем разошелся.

— Гайдук раз! Еще раз! — кричал он Ивану и колотил пятками о землю.

— Да хромой!.. Да слепой!..— поддавал жару Иван.— Гого!.. Танцевать так танцевать!

— Пусть будет так! — хлопал в ладоши чугайстыр, и приседал, и вертелся вокруг самого себя.

— Ха-ха-ха! — хлопал себя по бедрам Иван.

Разве он не умеет танцевать?

Ватра разгоралась веселым огнем и отбрасывала от танцующих тени, бившиеся и корчившиеся на залитой светом полянке.

Чугайстыр уставал. Ежеминутно подносил ко лбу пальцы с грязными ногтями, вытирая пот, уже не скакал, а только мелко трясся косматым телом на месте.

— Может, довольно? — задыхался чугайстыр.

— Э, нет... еще немного.

Иван и сам едва не падал от утомления. Вспотел, был весь мокрый, у него болели ноги, а грудь едва ловила воздух.

— Я еще сыграю, чтобы ты танцевал,— подбадривал он чугайстыра и выхватил свирель из-за пояса.— Ты еще такого не слыхивал, дружок...

Он заиграл песню, подслушанную им у нечистого в лесу: «Есть мои козы!.. Есть мои козы!..» — И чугайстыр, воодушевленный звуками песни, снова подбрасывал пятки выше, жмурился от удовольствия и, казалось, забывал об усталости.

Теперь Маричка могла быть спокойна.

«Беги, Маричка... Не бойся, душка... Твой враг танцует»,— пела свирель.

Шерсть прилипла к телу чугайстыра, точно он только что вылез из воды, слюна текла струйкой изо рта, открытого от удовольствия. Чугайстыр весь блестел у огня, а Иван поддавал жару веселой игрой и, словно в беспамятстве, в изнеможении и забытьи, бил о камень поляны ногами, с которых уже слетели постолы...

Чугайстыр наконец изнемог:

— Будет, не могу...

Упал на траву и, закрыв глаза, тяжело дышал. Иван повалился на землю рядом с чугайстыром. И оба они тяжело дышали.

Наконец чугайстыр тихонько хихикнул:

— Ну, и наскакался я сегодня здорово...

Удовлетворенно помял круглый живот, кряхтя, разгладил на груди волосы и начал прощаться...

— Покорно благодарю за танец...

— Будьте здоровы.

— Счастливо оставаться.

Раздвинул сухие веточки пихты и нырнул в лес.

Полянку снова обняли мрак и тишина. Ватра, дотлевая, мигала во тьме одиноким красным глазом.

Но куда же скрылась Маричка?

Иван еще хотел многим с ней поделиться. Ему хотелось рассказать ей всю свою жизнь, рассказать о тоске по ней, о безрадостных днях, одиночестве среди врагов, несчастливой женитьбе... Но где она была? Куда убежала? Может быть, налево? Ему казалось, что он видел ее в последний раз слева.

Иван направился налево. Тут была чаща. Пихты сбились так тесно, что трудно было пролезть между их шершавыми стволами. Сухие нижние веточки кололи ему лицо. А он шел. Брел в густой темноте, едва не падал и беспрестанно натыкался на стволы. Иногда ему казалось, что кто-то его зовет. Останавливался затаив дыхание и прислушивался. Но лес наполняла такая глубокая тишина, что шелест сухих веток, которые он задевал плечом, казался ему шумным паденьем дерева, подрубленного топором. Иван шел дальше, протянув руки, словно слепой, который ловит руками воздух, боясь наткнуться на препятствие.

Внезапно до его слуха донеслось тихое, едва уловимое дыханье:

— Ива!..

Голос слышался где-то сзади, долетал откуда-то из глубины, словно пробивался сквозь море хвои.

Значит, Маричка была не тут.

Надо было вернуться. Иван спешил, ударялся коленями о пихты, отводил руками ветки и закрывал глаза, чтобы не наколоться на иголки. Ночь как бы хватала его за ноги и не хотела отпускать, а он волочил ее за собой и рассекал грудью. Блуждал уже долго, а все не находил полянки. Земля под ногами у него начинала теперь спускаться в долину. Огромные камни преграждали путь. Он обходил их, скользя каждый раз на мхах, спотыкался, задев цепкие корни, хватался за траву, чтобы не сорваться.

И снова из ущелья, из-под его ног, дошел до него слабый зов, заглушенный лесом:

— Ива-а!..

Он хотел откликнуться на голос Марички, но не смел, опасаясь чугайстыра.

Теперь уже знал, где надо ее искать. Пойти направо и спуститься вниз. Но здесь было еще круче, и казалось странным, как могла спуститься здесь Маричка. Мелкие камни сыпались из-под ног у Ивана, с глухим шумом падая в черную глубь. Но он, ловкий, привычный к горам, умел останавливаться на краю кручи и снова осторожно искал упора для ног. Чем дальше, тем все труднее становился спуск. Раз едва не упал, но ухватился за выступ скалы и повис на руках. Не знал, что там, под ним, но почувствовал холод и зловещее дыханье бездны, разевавшей навстречу ему ненасытную пасть.

— Ива-а!..— стонала Маричка где-то в глубине, и звучал в ее голосе призыв любви и муки.

— Иду, Маричка! — бился в Ивановой груди ответ, страшась вылететь оттуда.

Он уже забыл об осторожности. Скакал по камням, как дикий козел, едва ловя дыхание открытым ртом, раня руки и ноги, припадая грудью к острой скале; почва иногда уходила у него из-под ног, и сквозь горячий туман желанья, которым он был охвачен, скатываясь в долину, Иван слышал только, как его торопит дорогой голос:

— Ива-а!..

— Я тут! — крикнул Иван и внезапно почувствовал, что его увлекает бездна. Обхватила, перегнула назад. Хватал руками воздух, ловил ногами сорвавшийся камень и чувствовал, что летит вниз, полный холода и странной пустоты. Черная тя-

желая гора расправила крылья пихт и вмиг, как птица, взлетела над ним в небо, а острое смертельное любопытство обожгло мозг. Обо что ударится головой? Чувствовал еще, как трещат кости,— острую нестерпимую боль, которая свела ему тело,— и все расплылось в красном огне, и этот огонь сжигал его жизнь.

На другой день пастухи нашли едва живого Ивана.

* * *

Печально вещала трембита горам про смерть.

Ведь у смерти здесь свой язык, на котором она говорит с одинокими кычерами. Били копытами лошади по каменным тропам, постолы шуршали в темноте ночи, а из логовищ людских, затерянных в горах, спешили соседи на поздние огни. Преклоняли перед телом колени, клали мертвецу на грудь деньги на помин души и молча садились на лавки. Седые волосы рядом с огнем красных платков, здоровый румянец — с желтым воском сморщенных лиц.

Погребальный свет плел сеть однообразных теней на мертвом и на живых лицах. Тряслись зобы богатых хозяек, тихо сияли глаза стариков, хранящих уважение к смерти; мудрый покой соединял жизнь и смерть, и жесткие, натруженные руки тяжело лежали у всех на коленях.

Палагна оправляла полотно на покойном, а пальцы ее ощущали холод мертвого тела, в то время как теплый сладковатый запах воска, стекавшего по свечам, вызывал в груди жалость, спиравшую горло.

Трембита плакала под окном.

Желтое лицо Ивана спокойно лежало на полотне, затаив что-то, только ему известное, а правый глаз лукаво глядел из-под чуть приподнятого века на медяки, лежащие на груди, на сложенные руки, в которых горела свеча.

У изголовья смертного ложа невидимо отдыхала душа; она еще не смела вылететь из хаты. Палагна обращалась к ней, к этой одинокой душеньке мужа, сиротливо жавшейся к недвижимому телу.

— Почему не заговоришь со мной, почему не взглянешь, не исцелишь ран моих? И уж не встретить мне тебя, муженек, на той дорожке, по которой тебя провожаю! — голосила Палагна, и грубый голос ее срывался на жалобных нотах.

— Хорошо голосит...— кивали головами старые соседки и слышали ответные вздохи, расплывавшиеся в шуме людских голосов.

— Мы вместе пастушили на пастбище... Раз как-то пасли овец, да и поднялся студеный ветер, будто зимой... Такая метель, света не видать, а он, покойник...— рассказывал хозяин-сосед соседям. И губы их шевелились при этих воспоминаниях, ведь полагалось утешить печальную душу, разлученную с телом.

— Ты ушел, а меня одну оставил... С кем же мне теперь хозяйничать, с кем скотиноньку обряжать? — вопрошала мужнину душу Палагна.

В раскрытые двери, прямо из темной ночи, вступали в хату все новые гости, преклоняли перед телом колени, и снова бросали на грудь Ивану деньги, и опять пододвигались на лавках люди, чтобы дать место вновь прибывшим.

Толстые свечи медленно таяли, обливаясь воском, словно слезами, бледное пламя лизало душный воздух, и синий чад смешивался с печальным запахом воска и испарениями тел, висел над глухим гомоном в хате.

Становилось тесно. Лицо склонялось к лицу, теплое дыханье смешивалось с дыханьем, потные лбы отражали блеск погребальных свечей, который зажег переменчивые огни на затканных канителью запасках, на поясах и сумках. А хата все наполнялась новыми гостями, уже толпившимися за порогом.

Тело зашевелилось. Белесые пятна, как лишаи, ползли по нему едва заметной тенью.

— Муж мой сладчайший, на беду ты меня оставил...— причитала Палагна.— Не будет кому в город пойти, и принести, и дать, и взять, и привезти...

А за окном скорбно повествовала об этом трембита, умножая ее горе.

Не достаточно ли уже причитаний для бедной души?

Эта мысль, по-видимому, таилась под тяжестью гнетущей печали, потому что у порога уже начиналось движенье. Еще несмело топали ноги, толкались локти, лишь временами гремела скамья, голоса рвались и смешивались в глухом гомоне толпы. И вот внезапно высокий женский смех рассек тяжелые покровы печали, прежде сдерживаемый шум вырвался, как вырывается пламя из-под шапки черного дыма.

— Эй, ты, носатый, купи у меня зайца! — басил молодой голос, и в ответ ему покатился подавляемый смех:

— Ха-ха! Носатый!..

— Не хочу.

Начиналась забава.

Сидевшие ближе к двери повернулись спиной к телу, готовые присоединиться к игре. Веселая улыбка разгладила их ли-

ца, за минуту перед тем искаженные печалью, а заяц переходил все дальше и дальше, захватывал круг все шире и шире и уже добирался до самого мертвеца.

— Ха-ха! Горбатый!.. Ха-ха! Хромой!..

Пламя свечей колыхалось от этого смеха, в горнице стоял чад.

Один за другим гости вставали с лавок и расходились по углам, где было тесно и весело.

На лице у мертвеца все разрастались пятна, словно затаенные мысли заставляли его шевелиться, беспрестанно меняя выражение. В поднятом уголке губ словно застыла горькая дума: что наша жизнь? Вспышка в небе, цвет черешни...

В сенях уже целовались.

— А кого выбираешь?

— Аннычку чернявую.

Аннычка будто бы не соглашалась и упиралась, но десятки рук выталкивали ее из толпы, и горячие уста прибавляли ей смелости.

— Иди, девонька, иди...

И Аннычка обнимала того, кто ее выбрал, и звонко целовала в губы при общих радостных криках.

О покойнике забыли. Только три старухи остались при нем и скорбно глядели стеклянными глазами, как по желтому застывшему лицу ползла муха.

Молодицы спешили принять участие в игре. С глазами, в которых не успел еще угаснуть огонь смерти и стереться образ мертвеца, они охотно шли целоваться с чужими мужьями, равнодушные к своим мужьям, также обнимавшим и прижимавшим к себе чужих жен.

Звонкие поцелуи раздавались в хате и соединялись с плачем погребальной трембиты, не переставшей извещать дальние горы о смерти на одинокой кычере.

Палагна не голосила больше. Уже было поздно, и хозяйке надлежало принять гостей.

Веселье все разгоралось. Становилось душно, люди прели в овчинных безрукавках, дышали испареньями, чадом теплого воска и запахом трупа, который уже начинал разлагаться. Все говорили громко, будто забыли, почему они здесь, рассказывали о своих приключениях и смеялись. Размахивали руками, хлопали друг друга по спинам и подмигивали женщинам.

Не вместившиеся в хате разложили костер на дворе и совершали вокруг него веселые игрища. В сенях погасили свет, дивчата визжали, а хлопцы давились от смеха. Игра со-

трясала стены хаты и волнами вопля билась о спокойное ложе мертвеца.

Желтый огонь свечей затмился в густом воздухе.

Даже старики приняли участие в забаве. Беспечный хохот шевелил их седые волосы, расправлял морщины и открывал гнилые пеньки зубов. Они помогали молодым ловить женщин, расставив дрожащие руки. Звенели мониста у молодиц на груди, женский визг раздирал уши, гремели скамьи, сдвинутые с места, ударялись о лавку, на которой лежал мертвец.

— Ха-ха!.. Ха-ха!..— катилось из красного угла до порога, люди сгибались от смеха вдвое, держась за животы.

Среди давки и тесноты нестерпимо трещала «мельница» деревянным треском.

— Что будешь молоть? — упорно выкрикивал мельник.

— Кукурузу...— проталкивались к нему дивчата, и ссорились между собой ряженые, с длинными бородами из пакли.

Тугой жгут, свитый из полотенца, мокрый и размашистый, со свистом хлестал по спинам направо и налево. От него убегали, опрокидывая среди хохота и крика встречных, подымая пыль и портя воздух. Пол дрожал от тяжести молодых ног, и тело на лавке подпрыгивало, и тряслось желтое лицо, на котором все еще играла загадочная улыбка смерти.

На груди тихо бренчали медные деньги, брошенные добрыми людьми на перевоз души.

Под окнами скорбно рыдали трембиты.

Октябрь 1911 г.
Чернигов

— Савка! Где мой одеколон?

Аркадий Петрович Малына высунулся в окно и сердито кричал на своего лакея, помогавшего выпрягать из фаэтона взмыленных лошадей.

Стоял вспотевший, в одной сорочке, расстегнутой на груди, и нетерпеливо смотрел, как Савка в своей синей с галунами ливрее бежал по двору.

Одеколон был здесь, на туалетном столике, но Аркадий Петрович его не заметил.

— Вечно куда-нибудь засунешь!..

Он кисло буркнул, взял из рук Савки флакон, скинул сорочку и принялся обтирать одеколоном белое, желтеющее от старости тело.

— Ух... Как приятно освежает! — Потер ладонью грудь, на которой серебрились тонкие волоски, освежил под мышками, сбрызнул лысину и тонкие, старчески дряблые руки с сухими пальцами. Потом достал из шкафа свежую сорочку.

В сущности, он был в чудеснейшем настроении, как всегда после беседы с мужиками своего села. Ему было приятно, что он, старый генерал, которого соседи считали «красным» и неблагонадежным, всегда оставался верен себе. И в это тревожное время он по-прежнему отстаивал взгляд, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. «Пора нам уже распрощаться с барством»,— подумал Аркадий Петрович, застегивая левую манжету и принимаясь за правую. При этом вдруг вспомнил, как радостно загудел сход, когда он разъяснил права народа на землю.

Это, как всегда, взволновало его, и после такого разговора он почувствовал бодрость и аппетит.

Когда он уже заправлял сорочку в брюки, скрипнула дверь, и на него бросилась Мышка, любимая собачка, породистый фокстерьер.

— Где ты, шельма, была? — нагнулся к ней Аркадий Петрович.— Говори, где ты, шельма, была? — Он любовно щекотал ей шею и уши, а она морщила носик, вертела обрубком хвоста и ловчилась лизнуть его в лицо.— Где ты шлялась, негодная?

В окно вливался поток полуденного света, и видно было, как сплошным морем плыли куда-то еще зеленые нивы, девятьсот десятин панской земли, которая то спускалась в балку, то вновь поднималась, подобно волнам.

Аркадий Петрович сделал гребнем пробор на редких волосах, расчесал усы с пожелтевшими концами и долго любовался сухим высоким лбом и благородным барским лицом, отражавшимся в синеватых отливах туалетного зеркала.

Серые, немного холодные глаза уже потускнели, на белках виднелись красные жилки, и это беспокоило его: «Надо опять класть примочку!..» Сбоку на носу он заметил прыщик, достал из несессера кольдкрем, помазал и припудрил.

— Есть!

Ему хотелось есть, как молодому, двадцатилетнему, и это его радостно волновало. Как все зашевелится в доме, когда узнают, что он голоден! Как заахает жена, его старая хлопотливая Соня, засуетится Савка, и все будут смотреть ему в рот. У него так редко бывает аппетит...

Но Савка не приходил с докладом.

Аркадий Петрович выдвинул ящик комода и достал оттуда аккуратно сложенную блузу из серой шерсти, à la Толстой.

Приятно вздрагивая освеженным телом, натягивая рукава, он чувствовал себя демократом, другом народа, которому нечего бояться. С тех пор как он оставил свое министерство и поселился в деревне, мужики его полюбили. Еще бы! Он крестил и венчал, прощал потравы, давал советы, и все даже звали его «отцом». Он с удовольствием думал обо всем этом, а также и о том, что к обеду будут шампиньоны, которые утром Палашка несла в фартуке с огорода.

И тут же Савка, просунув в двери руки в белых перчатках, почтительно доложил, что обед подан.

Аркадий Петрович, похожий в своей широкой блузе на колокол, вошел в столовую.

Тотчас же задвигались кресла, и над ним склонились, целуя руки,— с одной стороны его лысеющий сын Антоша, а с

другой — дочь, белокурая Лида, двадцатипятилетняя вдова. Они еще не виделись сегодня: Антоша недавно приехал с фермы, а Лида спала до полудня.

Софья Петровна — Соня — в свежем летнем капоте, уже держала в руке серебряную разливательную ложку. Перед ней стоял горячий борщ. Стол был накрыт на девять персон.

Аркадий Петрович опустился в широкое кресло, возглавлявшее стол, и похлопал рукой по соседнему креслу.

— Мышка! Сюда!..

Фокстерьер посмотрел на него закисшим глазом, вскочил на кресло и сел на свой обрубленный хвостик.

— А где Жан? Позовите Жана! — обратился ко всем и ни к кому в отдельности Аркадий Петрович.

Но в тот же момент открылись двери, и слепой Жан, брат жены, адмирал в отставке, вошел под руку со своим «миноносцем», как он называл лакея.

Высокий, крепкий, похожий на грот-мачту, плохо выбритый, Жан нащупывал грубой палкой пол и едва сгибал колени, одеревенелый и неповоротливый из-за слепоты.

Его долго и шумно усаживали на место, а «миноносец» стал сзади за креслом.

— Добрый день, Жан! — приветствовал его Аркадий Петрович со своего почетного места.— Что снилось?

Все улыбнулись этой ежедневной шутке, а Жан охотно, как ни в чем не бывало, начал рассказывать, обратив бельма куда-то в стену — через стол:

— Приснился город. Не те уродливые коробки, что вы зовете домами. Это была не куча грязи и мусора, не логовище людской нужды... словом, мне приснилось не то, что вы называете городом.

Он даже поморщился.

— Я видел прекрасный, невиданный город. Все, что люди создали в архитектуре, шедевры прошлого, настоящего и будущего, красота и удобства, храм, достойный человека... Только ваши потомки...

— Жан, твой борщ остынет!

— Ах, прости, Соня!.. Ну, мой «миноносец номер семнадцать», подвяжи салфетку...

— Есть,— встрепенулся «миноносец № 17» (по порядку лакеев, которых Жан часто менял). Он уже давно держал наготове салфетку.

— Я думаю, что-о... — благосклонно отозвалась Лида, склонив набок белокурую головку мадонны.

— Начали возить сено, Антоша? — заинтересовался Аркадий Петрович.

Антоша не слышал. Он накладывал своему легавому псу Нептуну, сидевшему рядом с ним на стуле кости на тарелку, и все видели только его макушку с редкими волосами.

Софье Петровне было неприятно смотреть, как неопрятно ест Жан, оставляя на усах куски свеклы, и она обратилась к сыну:

— Антоша, тебя отец спрашивает о сене.

— Ах, прости...— поднял он загорелое лицо и засюсюкал: — Вместо двенадцати возов привезли только десять. Артем съездил два раза и бросил, говорит, что его Ксенька напоролась ногой на железные грабли и надо звать фельдшера,— врет, конечно... А Бондаришин еще зимой взял деньги, а теперь крутит...

Антоша вспотел и раскраснелся от борща и хозяйственных забот. На его белом лбу густо проступил пот, а глаза посоловели.

Он знал все, что происходило в селе. У него было не меньше десятка детей от сельских дивчат, и не раз он мерился силой с самыми крепкими парубками, несмотря на офицерский чин.

— Все они таковы! — сердито вздохнула Софья Петровна и погладила таксу, сидевшую возле нее на стуле с важно выпяченной рыжей грудью, похожей на жилет.

— Вы придираетесь, дети мои,— благодушно отозвался Аркадий Петрович, кончая с борщом.— У мужика есть свои потребности, так же как и у нас, грешных.

Он был в прекрасном настроении после сегодняшнего схода.

— Безусловно, мне кажется, что отец...

Лида снова благосклонно наклонила головку мадонны и кисло растянула широкие бледные губы.

Но тут Антоша рассердился. Вечно эта Лида! Ее напели, как граммофонную пластинку, либеральные студенты, и она повторяет всякую чушь...

— Мужик останется мужиком, что ни говорите... Ты его медом, а он...

Отставной адмирал («броненосец», как он себя называл) почуял опасность от такого разговора. И пока Савка, ловко двигая руками в белых перчатках, собирал тарелки у господ и у собак, он начал рассказывать свой второй сон.

Он будто был в концерте. Это была музыка новых поколений, неслыханные сочетания звуков, нечто такое, перед чем Бах, Гайдн и Бетховен — пигмеи.

Антоше стало скучно. Он уже наслушался дядиных снов и предпочел заняться своим Нептуном.

Отрезал ломтик хлеба и положил его собаке на нос.

— Тубо!

Нептун сидел важно и недовольно щурил глаза.

На минуту в столовой затихло.

— Пиль!..

Только Лида вытянула длинную открытую шею и учтиво наклонилась в сторону дяди.

Но ее Мильтончик, стриженый пудель с боа на шее, как у дамы, и с голым задом, тронул лапой ее руку, прося еду.

Она обернулась к нему, поправила на собаке бант, такой же голубой, как ее платье, и дала Мильтону тартинку с маслом.

Хозяйка ждала, чтобы подали жаркое.

— Теперь действительность удивительнее снов! — повела она плечами и посмотрела на потолок.

А Антоша подхватил:

— Что правда — то правда. Такое творится вокруг, что не знаешь, чем и кончится. Вчера, говорят, земли барона Клейнберга запахали. Вышли в поле с плугами всей деревней и прогнали батраков барона.

— Как? Уже захватили?

— Фью-ю! — свистнул Антоша.— Нет больше у барона поместья, да и сам он бежал... Ужас что творится повсюду, а тут еще вы, папа, со своим либерализмом.

— Ах, ах! — вздохнула хозяйка дома.

— Ну, нам не придется бежать,— засмеялся Аркадий Петрович.— Нас не тронут. Правда, Мышка, нам ничего с тобой не будет? Правда, собачка? — Он щекотал ей морду, а она раскрывала розовую пасть, слегка брала его палец в зубы и вертела обрубком хвоста.— Мне нет нужды скрывать свои мысли.— Он вынул палец и держал его на отлете.— Ну, вот. Мужики имеют право на землю. Не мы обрабатываем землю, а они. Ну, вот. Я и твержу об этом всегда...

— Аркадий!.. Laissez donc... Le domestique écoute! [1]

Софья Петровна с перепугу заговорила басом.

Однако это нисколько не помогло.

— А ты, душенька, вечно барствовать хотела бы. Довольно. Побарствовала, и хватит. Надо же и другим. Не бойся, всей земли не отберут, оставят немного и нам... так, десятин пять... Я на старости буду огородником. Надену широкополую шля-

[1] Оставьте... Слуга слушает! *(франц.)*

ну, отращу бороду до пояса. Я буду сажать, ты собирать, а Антоша — возить в город... Ха-ха!..

— Он еще шутит!

Софья Петровна сердито обвела взглядом всю семью и четырех собак, сидевших за столом, но сочувствовал ей только Антоша.

В знак протеста он налил себе рюмку водки, выпил ее залпом и, откинувшись в кресле, заложил руки в карманы своих офицерских брюк. Жан спокойно жевал жаркое под защитой «миноносца», Савка сделал вид, будто его нет в комнате, а Лида растянула губы и нагнулась к отцу.

— Я была уверена, что-о...

Но Антоша не дал ей окончить:

— Шутить хорошо дома, в семье, но зачем же отец проповедует это мужикам? Они так настроены, что каждую минуту чего-то ждешь..

— Я не шучу. Пора отбросить предрассудки. Если хочешь есть, работай, душа моя. Ну, вот.

Он был весел, продолжал развивать свой план и с возросшим аппетитом набирал на тарелку целую кучу салата, не замечая даже, что бедная забытая Мышка, не спуская с него глаз, беспрестанно облизывается и вертит хвостом.

— Лида в своем прекрасном платье, которое, кстати, ей так идет, каждое утро будет выгонять корову, а вечером доить, подоткнув подол... Ха-ха!..

— Что касается меня, то я...

— Ну, вот и отлично...

Подавали сладкое. Савка гремел ложечками и просовывал руки в белых перчатках между локтями господ и собачьими мордами. Жан испачкал сметаной адмиральскую тужурку, и «миноносец» старательно вытирал салфеткой пятно. Такса Софьи Петровны лизала тарелку, а Мильтончик, забыв приличие, повизгивал потихоньку, чтобы обратить на себя внимание.

— Аркадий! Положить тебе еще крему?

— Положи, положи, ma cherie [1], я сегодня голоден.

Нет, действительно он ощущал бодрость после сегодняшнего схода, на котором решительно отстаивал права народа на землю.

— Блажен, иже и скоты милует... — ответил цитатой на свои мысли молчаливый Жан и бельмами осветил свое щетинистое лицо.— «Миноносец»! Дай папироску...

---

[1] Моя дорогая *(франц.)*.

— Есть!

— Браво, Жан, браво!.. — рассмеялся Аркадий Петрович.— То ведь скоты, а то люди...

Ну, пошли тексты из Священного писания. Антоша терпеть их не мог. Он бросил в угол комнаты скомканный платок, а Нептун соскочил и принес его. Забавно было смотреть, как Нептун на бегу хлопал отвислым ухом и держал белую поноску под черным холодным носом.

— Нептун! Ici!..[1]

Он осторожно вынул изо рта собаки мокрый от слюны платок.

Но Нептун вдруг застыл. Поднял голову вверх и громко два раза залаял. Забеспокоились и другие собаки, а Мышка бросилась к двери и, подвернув под себя короткий хвостик, залилась колокольчиком.

— Кто там? Посмотри, Савка.

Савка вернулся и доложил, что пришли мужики.

— А, мужики... Зови их сюда.

— Аркадий, может, ты кончил бы сперва обед? Они подождут.

Аркадий Петрович ни за что не соглашался... Он уже кончил.

Мужики вошли и столпились у порога. Был среди них и Бондаришин, который взял деньги и не выехал сегодня за панским сеном.

— Что скажете, добрые люди?

Люди молча топтались на одном месте, белые, как овцы, в своих полотняных одеждах, и поглядывали на блестевший посудой стол, за которым восседали господа и собаки.

— По какому делу пришли?

Рыжий Панас подмигнул седому Марку, а тот подтолкнул локтем Ивана. Иван же считал, что лучше всех скажет кум Бондаришин, и все в знак согласия заморгали на него. Бондаришин не решался выйти из тесной группы и оттуда поклонился милостивому пану.

— Пришли к пану поговорить о земле.

— Очень рад. О какой земле?

Бондаришин замолчал и оглянулся на кума. Тогда Иван выручил:

— О панской, прошу позволения...

— Что теперь такие, значит, времена пошли... — прибавил Марко.

---

[1] Сюда!.. *(франц.)*

— Да и пан сами нам говорили... — не стерпел Панас.

А Бондаришин закончил:

— Вот общество и порешило... Отберем землю у пана...

— Что?

Аркадий Петрович неожиданно вскрикнул.

Он встал из-за стола и приблизился к ним с салфеткой в руках.

Но люди были такие спокойные, словно пришли посоветоваться насчет обычных хозяйских дел.

Седой Марко тоже низко поклонился и покорно зашамкал:

— Мы не хотим обидеть пана... пусть будет все мирно, по-божески...

— Молчите, пусть говорит кум Бондаришин,— отвел деда рукой рыжий Панас.

Теперь уже вся семья — Софья Петровна, Антоша и Лида — вскочила со своих мест и стала за спиной хозяина дома.

Только слепой Жан остался сидеть, устремив бельма на собак, лизавших тарелки.

А Бондаришин продолжал так же покорно и как будто безразлично:

— Боже сохрани... оставим и пану немного земельки: на какую-нибудь грядку, на лук, значит, чтоб было чем суп заправить... да на крокет...

— Ах, ах! — сделалось дурно Софье Петровне, и, пока Лида подавала ей воду, Антоша заложил руки в карманы офицерских брюк и процедил сквозь зубы:

— Вот негодяи!..

— Мы так потому, что пан был добрым для нас, спасибо пану,— кланялся Бондаришин.

— Еще бы... Грех что-нибудь сказать... все люди пана «отцом» называют... — гудели за ним.

— Ну, хорошо,— сдержал обиду Аркадий Петрович.— Не отказываюсь от своих слов... Если так решило общество...

Его голос стал ледяным.

— Аркадий! Что ты говоришь?.. Да как вы смеете! — волновалась Софья Петровна.

Антоша порывался что-то говорить, и синие жилы напряглись у него на белом лбу.

— Так вот, папе... через два дня будет праздник, тогда общество и разделит землю. А пока пусть пан обдумает, где оставить на грядки... у дома или в поле.

— Конечно, возле дома... унавожено лучше... и удобнее будет...— посоветовал рыжий Панас.

— За два дня пан сам обдумает... Мы не хотим сразу... потому что вы у нас добрый, спасибо милостивому пану и вашей пани... Они нас никогда не забывали...

— А как же... насчет порошка там какого или мази... кто же, как не наши паны... Оставайтесь здоровы...

И пока выходили мужики, все стояли как заколдованные, только Аркадий Петрович теребил рукой салфетку.

Но Софья Петровна быстро опомнилась:

— Аркадий! Ты с ума сошел! Ты не имеешь права отдавать землю. У тебя дети!..

— Этого нельзя оставить! Тут нужно принять меры!.. — горячился Антоша и так толкнул Нептуна, что собака взвизгнула у него под ногами.

Только Лида все еще сочувственно наклоняла к отцу открытую шею и растягивала в улыбку, правда бледную, широкий рот.

— Ах, оставьте меня в покое! — раздраженно вскрикнул Аркадий Петрович.— Поймите наконец, что я иначе не могу...

Скомкал салфетку, бросил на стол и выбежал из комнаты.

Среди суеты и шума, поднявшихся после этого, Жан неожиданно пробасил:

— Ну, «миноносец», разводи пары. Пора нам отправиться в дальнее плавание...

— Есть! — встрепенулся «миноносец».

Но плавание не состоялось.

Все решили, что сейчас же необходимо посоветоваться, и пригласили Жана.

А чтобы прислуга не слышала, взяли его под руки и вышли из столовой вместе со всеми собаками.

Только Мышка куда-то исчезла.

* * *

Мышка наконец отыскала своего хозяина в кабинете. Стоял он у стеклянной двери, выходившей на террасу, и следил, как с назойливым жужжанием билась о стекло муха. Мышка ткнулась носом в его сапог, но он ее не заметил. Тогда она начала прыгать на дверь, чтобы поймать муху, но не поймала, утомилась и легла в углу на подушку.

Сквозь стекло виднелись белые колонны террасы, а за ними цветник. На клумбах горели маки, а ранние левкои едва начинали распускаться. Аркадий Петрович ежедневно видел цвет-

ник, но только сегодня он привлек его взгляд. Отворил дверь и подставил солнцу лысину. Потом тяжело сошел по ступенькам и наклонился над цветами.

Но они уже не занимали его. Он чувствовал какую-то тяжесть и не хотел признаться, что это была обида. Разумеется, они имеют право на землю, он всегда держался этого взгляда и всегда высказывал его, но чтобы у него... Вот тебе и добрые «соседские» отношения! Вспомнил все свои советы и помощь, крестины и сельские свадьбы, на которых был посаженым отцом. У этого самого Бондаришина он, кажется, крестил... А теперь все это забыто!

— На грядку луку и на крокет... Ха-ха!..

Солнце напекло ему лысину. Оно непреодолимо и беспрестанно обжигало лучами цветник и поля, бегущие с холма на холм до горизонта.

Вернулся в дом, надел картуз и, вместо того чтобы отдохнуть, по привычке, на кушетке после обеда, отправился во двор. Широкий двор зеленел муравой. Кучер возился с фаэтоном, а Савка вертелся возле него. Наверное, уже толкуют о новостях. Аркадий Петрович хотел приказать оседлать коня, но как-то не решался, словно очутился в чужом хозяйстве. Молча прошел он мимо них в ворота и вышел в поле. Рожь уже зацветала. Желтые пыльники тихо колыхались на волосинках вдоль колоса, и незаметная пыль золотилась на солнце. Детские глаза васильков мелькали в хлебах. Мышка вдруг зашелестела во ржи и побежала по тропинке вперед. Нивы то постепенно спускались в долину, то вдруг поднимались на отлогие холмы, словно земля в сладкой истоме выгибала спину, а Аркадий Петрович, отдавшись воле зеленых волн, старался ни о чем не думать и только вглядывался в таинственную глубину густых зарослей ржи, только ощущал под ногами нежную мягкость межи. Правда, с поля поднимались какие-то голоса, что-то говорили ему, но он не хотел слышать этого. Хотел покоя и одиночества. Но чем дальше уходил он в поле, тем явственнее становился голос земли, мягкий, искушающий, и спорил с ним. И тут он впервые ощутил всем существом, что это взывала к нему его земля, что он с ней так свыкся, как с женой, сыном, дочерью. Что здесь, где он проходит, ступали ноги отца и деда, и над полями раздавался их голос, голос целого рода Малын, что все, чем он гордится и что ценит в себе — его ум, вкус и культуру, даже его идеи,— все вскормили, все взрастили эти поля.

Но Аркадий Петрович уже смеялся над собой:

— Ха-ха!.. Заговорила дворянская кровь!..

Усилием воли он отмахнулся от этих мыслей и побрел дальше.

Слева, у сырой долины, кончалась рожь и начинался луг. Здесь паслись коровы и жеребята. Пастушок Федька, увидев пана, снял рваный картуз и стоял так, босой, с сумками через плечо.

— Надень картуз! — крикнул Аркадий Петрович.

Пастух не расслышал и побежал к нему.

— Картуз... картуз надень!..

Коровы разбрелись по лугу, жирные, тучные, как и трава. Жеребята подняли головы навстречу хозяину и ждали, напрягая жилы на крепких шеях, готовые вспрыгнуть и помчаться по лугу на тонких упругих ногах.

Подошел к любимому Ваське и начал почесывать ему шею, а Васька положил морду на его плечо, мечтательно смягчив выражение пугливых глаз. И так они долго стояли в какой-то животной приязни, и обоим было хорошо —одному почесывать, а другому принимать эту ласку.

«И это отнимут»,— горько подумал Аркадий Петрович, продолжая путь.

Он шел по свежей траве, влажной в низинах, а солнце зажгло зеленым огнем конский щавель и стебли чертополоха.

Было сегодня что-то пленительное, что-то особенное в его земле, как в лице покойницы, с которой прожил всю жизнь, а теперь должен расстаться навеки. Какие-то цветы и растения, бывало, незаметные, тихая ласковость контуров, ароматы трав и земли, теплые родные просторы.

Высокие вербы шумели надо рвом, и небо между ними синело, словно эмаль. Перепрыгнул через канаву, искупавшись в материнке и полыни, и снова вышел на тропинку. По одну сторону волновалась рожь, по другую желтел глинистый обрыв, пестревший красными маками. Как красиво! Ему казалось, что он здесь впервые. Не чужое ли это все? Нет, он шел по своей земле. Удивительно, как он мало знает поместье. Мухи жужжали в цветах. Мышка рылась в глине и обнюхивала ямку. Тропинка постепенно поднималась в гору, местами теряясь в густых лопухах. Теперь поле все шире расправляло свои плечи, все дальше расстилало свои одежды, и, когда он взобрался на холм, перед ним открылись во всей красе его нивы, зеленое пятно заливного луга, далекая полоска леса... И здесь, стоя в центре своей земли, он скорее почувствовал, чем подумал, что никому ее не отдаст.

— Стрелять буду, если придут...

Это так неожиданно прозвучало, что он удивленно оглянулся.

Неужели это он?

Но вокруг только нивы катились с холма на холм.

Ему сделалось стыдно. Фу, какое свинство!.. Снял картуз и вытер на лбу пот. Неужели он мог дойти до этого? Разумеется, нет. Разве он может пойти против себя, против всего, во что он верил, чего не скрывал. Таких, как он,— горсточка, и что они значат в великом процессе жизни? Несколько засохших листочков на зеленом празднике весны. Ясно, грядкой лука не проживешь, придется служить под старость. Две маленькие комнатки на окраине. Жена сама будет готовить обед. Он — ходить с корзинкой на базар. Ставь самовар, Аркадий!.. В самом деле, сумеет ли он поставить самовар? Надо научиться. Антоша и Лида заработают на хлеб, они молоды. А тебе, Мышка, придется забыть кремы и вкусные косточки...

Глупая Мышка будто обрадовалась такой перспективе. Прыгала ему на ногу и вымазала землею брюки. Но что там брюки! Ему даже приятно было воображать себя бедным, забытым, уничтоженным великим процессом. Он мученик и добровольно несет свой крест. Ощущал, как его тело приятно покрывается испариной, дыхание становится чистым и легким, а жалость к себе возбуждает аппетит. Такой молодой аппетит, такой здоровый, что просто чудо! Догадаются ли только приготовить к ужину молоденькие шампиньоны так, как он любит: целенькие, густо политые сметаной и освеженные зеленым лучком... Надо было сказать Мотре... Черт побери! Всегда эти истории разжигают его кровь, заставляют ее играть. Но, собственно говоря, что же случилось? Какая-то невероятная похвальба, глупые угрозы. Они развеются тотчас, стоит только поговорить с селом. Все будет по-старому, тихо и мирно — ведь кто бы осмелился отобрать у него землю?.. У него? Ха-ха!

— Мышка, avanti! [1]

Однако дома и не думали подавать ужин.

Софья Петровна ждала его на террасе, и не успел он снять картуз, как она напустилась на него:

— Аркадий, у тебя есть дети!

Под глазами у нее чернели круги.

— Ну, есть, душенька.

— Тут не до шуток. Ты должен ехать к губернатору...

---

[1] Вперед! *(итал.)*

Аркадий Петрович пожал плечами и отвернулся.

— Надо просить, чтобы он сейчас же прислал казаков.

— Прости, Соня, ты мелешь вздор.

— А что же, дожидаться, чтобы мужики землю отобрали?

— Ну, и отберут. Земля принадлежит им.

— Ты помешался на либеральных идеях. Если ты упрямишься, я их сама позову.

— Я не потерплю казаков у себя.

— Без них не обойдешься.

— А я устрою скандал и не знаю, что сделаю... в тюрьму пойду... в Сибирь...

— Аркадий, голубчик...

— ...на каторгу пойду, а не допущу...

— Пойми же, Аркадий.

Но он не хотел понимать. Расшумелся, как самовар, который вот-вот побежит. Кричал, весь красный и мокрый, топал ногами и так махал руками, будто перед ним была не жена, а ненавистные казаки.

Так из разговора ничего и не вышло, только ужин ему испортили. Тем более что забыли приготовить шампиньоны.

— А где же Антоша?

Его не было за ужином. И по тому, как смутилась Софья Петровна, сочиняя небылицы, по тому, как Лида сжала губы, он догадался, что от него что-то скрывают.

Но ничего не сказал.

Наутро Аркадий Петрович проснулся в отвратительном настроении. Уже в том, как Савка внес воду и с грохотом поставил на умывальник, а выходя, стукнул дверью, он почувствовал неуважение к себе.

«Знает, шельма, что мужики завтра отберут землю, а с голодранцем нечего церемониться...»

Позавтракал без аппетита и отправился по хозяйству. Обошел сад, запертые амбары, у которых Мотря, подоткнув подол, кормила гусей, пустые хлевы, откуда из глубоких черных отверстий шел едкий запах.

Кучер во дворе мыл фаэтон.

Потом заглянул в конюшню. Там топтались лошади и жевали овес, а у дверей лежала большая куча старого навоза. Возле нее, уронив оглобли в траву, покоилась мокрая бочка с водой.

— Ферапонт, сейчас же перебрось навоз за конюшню! Набросал перед дверьми, словно напоказ...

Кучер разогнул спину и стоял, держа мокрую тряпку в красных руках.

— Слушаюсь.

«А ведь ни к чему это,— подумал Аркадий Петрович,— но раз велел...»

Мимо ворот проходил Бондаришин и, увидев пана, поклонился ему.

«Вишь, едва приподнял бриль,— вскипел Аркадий Петрович.— Что я им теперь? Я им уже не нужен...»

— Хам! — бросил сквозь зубы, глядя вслед Бондаришину.

Спустившись с крыльца, отправлялся в ежедневное «плавание» слепой адмирал под руку со своим «миноносцем». Они прошли мимо, даже не заметив его.

«И этот сегодня ведет себя иначе»,— подумал Аркадий Петрович о «миноносце».

«Радуется поди, бестия, что больше не будет панов...»

Аркадий Петрович отправился в поле, как-то так, бесцельно. Надвинулась туча. «А ведь сено возят!» — вспомнил он с тревогой. Крупные капли упали уже на картуз, на руки и на лицо. Запахло рожью. Думал, что надо вернуться, и не возвращался. И вдруг теплые небесные воды щедро пролились на нивы из недр сизой тучи, но сейчас же, где-то неподалеку, солнце зажгло радугу, и дождь прекратился. Тяжелые капли повисли на колосьях, легкий пар поднялся над нивами. Аркадий Петрович тоже почувствовал испарину. Но он не обрадовался: ему уже больше хотелось туч и дождя, чем солнца. Черт побери сено, пусть пропадет!

Так же, не задумываясь — зачем, вернулся во двор. Кучер все еще возился с фаэтоном. Куча навоза, почерневшая от дождя, так же лежала у дверей конюшни, над ней стоял пар.

Аркадий Петрович даже задрожал от злости.

— Ферапонт! Что я велел? Десять раз тебе повторять? Пошел сейчас же к навозу!..

Он поднял палку и, потрясая ею, тыкал, указывая на конюшню, пока удивленный кучер лениво брался за вилы.

«Это он нарочно,— думал Аркадий Петрович.— Что будет завтра — увидим, а сегодня я еще хозяин».

В кабинете он немного успокоился. Снял верхнюю одежду и в сорочке лег на кушетку.

«Глупости. Стоит ли так волноваться? Не все ли равно, где будет лежать навоз?»

Ему стало немного стыдно перед Ферапонтом.

Полежал молча, зажмурив глаза.

«А теперь что?»

Открыл глаза и посмотрел на потолок.

Ответа не было.

В венецианское окошко широким потоком лилось солнце, в его сизой мути кружились пылинки, в столовой гремела посуда. Накрывали на стол. Аркадий Петрович невольно прислушивался, как там стучали чьи-то каблуки, передвигались стулья тонко звенело стекло. Все было по-старому, жизнь шла будничным, обычным ходом, и странно было думать, что произойдет какая-то перемена. Однако она должна была произойти. Это вносило двойственность в его настроение. Снова собирал всякие тревожащие мелочи — наглый вид Савки, упрямство Ферапонта, неуважение к нему встречных крестьян,— и ему хотелось, чтобы неизвестное «завтра» пришло наконец и повело игру, острую и опасную. Как он будет завтра держаться? Станет ли стрелять и защищаться или спокойно отдаст мужикам землю? Не знал. И в том, что он пока этого не знал,— помимо всяких рассуждений,— таилось любопытство к неизбежному «завтра».

Вынул часы и посмотрел.

— Без десяти двенадцать,— сказал громко. И подумал: «Значит, осталось меньше суток».

Завтра... Вдруг представил себе завтрашнее утро... С криком сойдется во двор все общество, тонко завизжат бабы, ссорясь из-за клочка земли... дети станут заглядывать в окна и лазить по террасе, будто у себя дома.

Снова вынул часы.

Прошло четыре минуты.

Фу-у-у!..

Поднялся с кушетки на разбитых старческих ногах и подошел к окну.

Далеко, до самого горизонта, волновались на ветру нивы, равнодушные к тому, кто будет владеть ими, издавна привыкшие лишь к мужицким рукам.

За обедом Антоши не было.

И опять кабинет. Опять сказывалась «дворянская кровь», говорил рассудок, мучила совесть, каждый по-своему, а под всем этим — только острое любопытство к тому, что будет и как оно будет. Наполнил комнату дымом сигары, избороздил пол петлями шагов, насытил воздух мыслями, а все же завтрашний день сидел в нем, как пуля, которую не разрезав тело, никак не извлечь.

По двору промчался Антоша в пыли, на взмыленной лошади, и слышно было, как он прошел прямо в комнату к Софье Петровне, а в столовой тем временем стали собирать для него обед.

«Уж немного осталось... ночь и несколько часов»,— поглядывал на часы Аркадий Петрович.

Тени росли... Солнце собиралось садиться за конюшней. Пастух пригнал с поля стадо. Коровы важно несли в загон свое голое розовое вымя и крутые рога. Жеребята прыгали по зеленому двору.

«Неужели завтра и это станет не моим?» — с грустью подумал Аркадий Петрович и вдруг услышал, что Лида говорит:

— Ты не волнуйся, папа, но...

— Что такое? — быстро обернулся он к дочери.

Она стояла в дверях с бледным лицом мадонны и скорбно растягивала губы.

— Не надо слишком волноваться... пришли казаки...

— Как... казаки?

— Губернатор прислал... Стоят на дороге.

Аркадий Петрович даже отшатнулся. Кровь вдруг бросилась ему в лицо, зажгла лысину, и среди этого пожара выделялись желтые усы и сердито плавали глаза — серые, поблекшие, как два замерзших озерка.

— Что же это такое? Я не просил... А, понимаю, это заговор против меня!.. Черт!.. Я не допущу... Позвать Антошу!

Он даже поднял руку, сухую, барскую белую руку, будто собирался побить Антошу.

— Я думаю, что... — в испуге сказала растерянная Лида.

Она что-то хотела добавить, чтобы успокоить отца, но он бегал, как разъяренный петух, бьющий себя крыльями и вытягивающий шею перед решительным боем.

— Подать Антошу!

Запыленный и потный, на разбитых седлом ногах, появился в дверях Антоша. За его спиной пряталась встревоженная мать.

— Ты привел казаков?

— Я или не я, это, папа, не важно,— засюсюкал Антоша, расставив ноги в офицерских брюках.

— Ага! Не важно... Ну хорошо, так я же вам покажу!.. Я их быстро прогоню... Пустите! — кричал он на всех, хотя его никто не держал, и бегал по комнате, словно совсем потерял рассудок.

— Аркадий... успокойся, Аркадий!.. — молила Софья Петровна, расставляя руки в дверях.— Ты же видишь — ночь, люди столько прошли, утомились, голодны; мужики их не принимают... Как же так можно?..

— А что мне люди... хорошие люди! У меня — и вдруг казаки!.. Пустите меня сейчас же...

— Но, папа, мне кажется, что... — вмешалась Лида.

— Прогнать нетрудно,— перебил Лиду Антоша, — только что же из этого выйдет?.. Корма в селе теперь не достанешь, да мужики и не дадут добровольно... разве грабить начнут... Если ты этого хочешь, прогони!..

— Ах, бедные лошади,— вздохнула Лида,— разве они виноваты?..

— Что ты сказала? — остановился против нее Аркадий Петрович, поднял брови.

— Я говорю, папа, что лошади не виноваты...

— Их можно бы поставить на ночь под навесом возле конюшни,— отозвался Антоша.

— И дать овса... не обеднеем от этого...—прибавила Софья Петровна.

— Оставьте, пожалуйста, ваши советы при себе! Мне они не нужны... — носился по комнате Аркадий Петрович, хватаясь за голову.— Я и сам знаю, что лошади не виноваты,— остановился он возле дочери.— Это ты правду сказала. Лошади здесь ни при чем... ну и что же из этого?

Но тон уже был неуверенный. Аркадий Петрович словно увял. Кровь у него отхлынула, усы слились с лицом, глаза утратили твердость холодного льда, в них уже светилось что-то покорное и виноватое, когда он взглянул на сына.

Поколебался минуту и неожиданно спросил:

— А хватит у нас овса?

— Уж раздобуду!.. И сено есть свежее.

Не ожидая дальнейшего, Антоша исчез в сенях.

— Привести казаков!.. — вскинул плечами Аркадий Петрович, снова зашагав по комнате.— Я и казаки!.. Кто бы этому поверил?..

В его движениях не было таких острых, как раньше, линий.

Гнев сорвался, как морская волна, что мигом поднялась в зеленой злобе, потом опала и с легким шипением поползла пеной по песочку.

Сквозь открытые двери доносилось ржание голодных лошадей, въезжавших во двор, и бряцание оружия на казаках.

«Страшный день» начинался совсем не страшно. Под окнами возились и чирикали воробьи, солнце встало такое веселое, что смеялись все окна, стены и даже постель, на которой спал Аркадий Петрович. Еще не одевшись, он подбежал к окну. Теплый воздух мягко коснулся его груди, а глаза сразу остановились на длинном ряде блестящих конских крупов. Дюжие казаки, в одних цветных рубахах, чистили лошадей, и солнце играло на их обнаженных по локоть руках, на загорелых шеях, в разлитой кругом воде.

Он глядел на солнце, на свои нивы, на множество ног, конских и казачьих, одинаково громко топавших по земле, вбирал в себя птичьи голоса, фырканье лошадей, грубую солдатскую брань и вдруг почувствовал, что он голоден.

— Савка! — крикнул он на весь дом.— Подавай кофе!..— И нырнул обратно в постель, чтобы еще хоть немного понежить старческое тело.

А когда Савка принес кофе, он с любовью взглянул на ароматный напиток, понюхал теплый еще хлеб и выругал Савку за то, что на сливках чересчур тонкая пенка.

Мышка сладко спала, свернувшись клубочком в ногах на постели.

Март 1912 г.
Капри

Прошло немного более года с тех пор, как землетрясение превратило прекрасную Мессину в груду камней. Была весна, море было спокойное и синее, и небо — тоже; солнце заливало померанцевые сады на холмах, и, глядя с парохода на серый труп города, я не мог себе представить той страшной ночи, когда земля в грозном гневе стряхнула с себя величественный город с такой легкостью, как пес стряхивает воду, вылезши из речки.

Вступив на землю, я ожидал найти тишину и холод большого кладбища и был поражен, когда увидел осла с полными корзинами на спине, который осторожно переступал через камни размытой мостовой, держась тени, падавшей от разрушенных стен прибрежных домов.

За ним бежал парень и с сицилийским жаром кричал:

— Cipolla! Cipolla! (Лук! Лук!)

Кому он кричал? Кому хотел продать? Не тем ли камням, что раньше были спаяны в сплошную стену, а теперь снова начали жить отдельной жизнью?

Однако подходили люди. Неожиданно из улиц, из хаотической груды камней, выплывали черные фигуры и бесшумно ступали по горячей земле. Группами и поодиночке. Шли какие-то дамы в длинных черных вуалях, с мертвыми застывшими лицами, угрюмые рабочие, и их скорбный вид словно завершали костюмы, черные вплоть до самых галстуков из крепа. Тонкий железный столб фонаря неестественно наклонялся над ними, как будто приглядывался сверху стеклянными глазами. С одной стороны ласково плескалось море, с другой — нависли треснувшие стены дворцов, без окон и крыш, с дверьми, до половины заваленными щебнем. И снова двигались черные мужчины, и тихие, точно монахини, женщины, шли как провожающие на похоронах отдать кому-то последний долг. Чем дальше я продвигался, тем чаще встречал этих людей в

трауре, тем яснее чувствовал, как меня охватывает какое-то беспокойство. Я должен был обходить целые горы щебня, балок, извести и камней, наваленных тут же среди улиц, перепрыгивать расщелины в земле, похожие на жадно раскрытые рты, перелезать через мраморные колонны и заглядывать в окна, откуда смотрело на меня опустевшее жилище. И снова из-за угла тихо выплывала черная фигура и встречалась со мной молчаливым взглядом. Тогда я наконец понял, что меня беспокоит. Глаза! Эти страшные, черные, испуганные глаза, в которых запечатлелся весь ад рождественской [1] ночи, больше уже ничего не могут видеть. Может светить солнце, быть лазурным море и небо, смеяться радость, а эти глаза в больших орбитах, расширенные и мертво блестящие, все будут глядеть в глубь себя и, как безумные, всматриваться в расшатанные стены, в огонь и трупы самых близких. Мне казалось, если бы сфотографировать их, на пластинке вышли бы не человеческие глаза, а картина разрушения.

Боковые улицы были уже немного расчищены. Зато с обеих сторон рухнувшие стены фасадов образовали толстый слой спрессованных балок, матрасов, книг, извести, железных кроватей и человеческих тел. Там, где стены еще стояли, они едва держались, и сквозь широкие трещины виднелось синее небо. Иногда в выбитых дверях видны были одинокие ступени, ведущие неведомо куда, ступени, на которые уже никто не станет. Где-то высоко под небом в пятиэтажном доме обрушилась только передняя стена, и середина дома стояла открытая, точно на сцене. Веселенькие обои, железная кровать, через спинку которой свисает полотенце, фотография на стене, образ мадонны в изголовье постели. И эта интимность чужого жилья, где еще как будто сохранилось тепло человеческой руки, производила на меня более сильное впечатление, чем совсем мертвые серые руины.

Я знал, что этот город — кладбище, что из-под развалин его еще не откопано около сорока тысяч трупов, что в этой окружающей меня спрессованной массе лежат в разных позах раздавленные дети, женщины и мужчины.

Шли раскопки. Группа рабочих то наклонялась, то выпрямлялась над грудой щебня, и мерно поднимались кирки и ломы. Где-то высоко на стене, согнувшись, сидел полицейский в пелерине, на козырьке его фуражки блестело солнце. Внезапно он встал, приложил руку к фуражке и почтительно за-

[1] Мессина разрушена на рождество. *(Прим. автора.)*

стыл. Я подошел. Рабочие вытащили из-под балок женскую рубашку. Потом вынули ноги и положили в медный таз. За ногами шло туловище, живот и грудь — все складывалось в медный таз. Я отошел. Мне захотелось взглянуть на небо, но тут я вдруг увидел повсюду среди развалин, выше и ниже, такие же группы рабочих. И ежеминутно полицейский вставал и прикладывал руку к фуражке.

На площади перед собором было так тесно, что негде было и повернуться. Вся она была завалена старым мрамором церкви, обломками пилястр, орнаментами амбразур. Мозаичные боги без голов с половинками лиц валялись тут же, в пыли под ногами. Старинный фонтан пострадал мало, но с той ночи он высох, словно выплакал слезы над чужим горем. Сухие рты тритонов умирали от жажды.

— Синьор осматривает наши руины?

Я оглянулся. Около меня стоял какой-то черный господин с бледным лицом, видимо еще недавно полный. Желтые мешки под глазами и на щеках свисали так же свободно и ненужно, как и его одежда, широкая, потертая, словно чужая. В левой руке он стыдливо сжимал пучок лука. Я встретился с его глазами. Ах, опять эти глаза!

— Да, да, signore, вот что осталось от нашего прекрасного города. Кто не слыхал — представить себе не может той адской ночи. Такая была пальба, такая канонада, словно все силы небесные, земные и морские вместе палили из своих пушек. У меня и поныне шум в ушах... Я был богатым и счастливым, signore, у меня была жена, четверо детей и банкирская контора. Теперь семья и все богатство лежат под обломками, а я вот чем принужден питаться!..

И аффектированным движением истинного сицилийца он поднял руку и потряс луком так, что зелень его пересекла серые руины и зазеленела на лазурном небе.

— Мои дома стояли недалеко отсюда. Может, синьор желает осмотреть?

Вокруг его рта легла горькая складка.

Я поблагодарил и пошел дальше.

В узких улочках, как в коридоре, было безлюдно и уныло. Справа и слева тянулись бесконечные спрессованные массы дерева, кирпича, бумаги, одежды, ламп, мебели и человеческих тел. Казалось, все несчастья, которые ютились в этих людских закоулках, сложили баррикады, чтобы не допустить помощи. Над головой ощетинились разрушенные стены, готовые вот-вот упасть. Внизу, в тени развалин, сидела женщина в трауре,

с черными непокрытыми волосами, а на коленях у нее играл ребенок. Ее печальное лицо и погасшие глаза заставили мою руку полезть в кошелек, но на мое движение женщина не ответила ответным движением. Она лишь покачала отрицательно головой. Тогда я понял, это одна из тех, которые привыкли подавать, но еще не научились принимать.

Изредка проходил какой-нибудь рабочий, заложив руки в карманы, его лицо с тонкими губами выражало презрение к этой земле, которая не умела уважать человеческий труд... Сквозь выбитые стекла смотрело на меня пустое жилище, забытые гардины в паутине, висячая лампа на треснувшем потолке. Я продвигался дальше.

Сейчас мое внимание занимала как бы застывшая фигура старика, которая одиноко чернела в высоте на развалинах домов. Я видел сутулую спину, старый помятый цилиндр и руки, сложенные на коленях. Только кончик седой бороды белел из-под цилиндра на черной груди, плотно застегнутой на все пуговицы. И когда я приглядывался к этому неподвижному пятну печали и отчаяния, под ногами у меня глухо заворчала и качнулась земля, словно спина коровы, которая хочет подняться. Землетрясение! Я сразу понял. Я стоял, оцепенев, и смотрел, как сдвинулись стены, будто живые, как они зашатались над головой; и пока я ждал, что вот-вот они упадут на меня, вся моя жизнь в одно мгновение пронеслась перед глазами, и — странная вещь — я не спускал глаз с унылой фигуры старика. Через минуту земля затихла, стены опять отвердели, сбросив с себя только камешки, а согбенный старик не поднял даже головы: так же склонялся цилиндр, скрывая бороду до половины, горбилась спина и руки неподвижно лежали на черных коленях.

Не помню, как я очутился на улице S. Martino. Здесь были люди, была какая-то жизнь. Они уже успели поставить тесные деревянные ларьки, точно коробки из-под макарон, и торговали фотографиями для «форестьеров» [1], хлебом и фруктами. Порой неприятное впечатление производила витрина, где новый черный бархат был покрыт часами, брошками, шпильками и кольцами. Все это было потертое и старое, со следами рук хозяев, теперь уже мертвых, и этот потускневший металл скрывал в себе немало историй.

В одном месте собралась толпа, преимущественно женщин. Они облепили повозку, как черный пчелиный рой. Какой-то

[1] Так называют в Италии иностранцев. *(Прим. автора.)*

представительный господин, стоя на повозке, возвышался над ними. Я издали видел его белую манишку, фрак и рыжие баки на лице министра. Он что-то говорил толпе. Вздымал руки к небу, простирал их людям, его голос гудел с убеждением и вдохновением. Я решил, что это проповедник, который говорит о тленности всего живого перед жестоким лицом природы, перед неумолимостью смерти. И я подошел к толпе.

Но как же я был поражен, когда увидел, что весь передок повозки уставлен красивыми баночками с золотыми этикетками, а важный господин поднимал над толпой к небу как раз эти блестящие баночки.

— Синьоры и синьорины! — выкрикивал он из глубины груди, от самого сердца.— Синьоры и синьорины! Вы видите здесь одно из настоящих чудес современной косметики. Эта помада — самое верное средство сохранить молодость и красоту. Легким слоем вы покрываете ею лицо на ночь и утром встаете свежими, как роза от росы... Каждая баночка — четыре сольдо... [1]

Он совал их в руки женщин, брал новую баночку и поднимал ее над головой толпы в блеске полуденного солнца.

— Синьоры и синьорины! Молодость и красота — только четыре сольдо!

А черные женщины в траурном крепе теснились вокруг повозки, и эти страшные, мертвенно блестящие глаза, которые не вмещались в орбитах, которые вобрали в себя расшатанные стены, огонь, трупы самых близких и могли бы дать фотографию катастрофы, следили жадно за каждым движением рыжеволосого шарлатана и ловили ухом, еще полным грома адской ночи и криков смерти, его вдохновенную речь:

— Синьоры и синьорины!.. Вы видите одно из настоящих чудес... Только четыре сольдо за молодость и красоту...

Я перевел взгляд в долину. Где-то вдали, с грохотом и тучами пыли, ломали наиболее опасные стены домов, то тут, то там среди серого щебня и руин вставал полицейский и прикладывал руку к фуражке, отдавая честь мертвому. Но это меня уже не поражало. Я вдруг увидел далекие зеленые горы, залитые радостным солнцем, померанцевые сады, бесконечный шелковый простор голубого моря, и душа моя пропела над этим кладбищем хвалу жизни...

Май 1912 г.
Чернигов

---

[1] Мелкая монета около двух копеек. *(Прим. автора.)*

Едва закрываю глаза — комната (она только что стала моей) вдруг исчезает; ее вытесняет рогатое фиолетовое пятно и плывет на зеленоватых волнах, как гигантская тень корабля.

Таким представляется мне остров, на который сегодня вступил я и где буду жить.

И тут же слышу мелкое цоканье подошв о камень, тех звонких деревянных подошв, которые отбрасывают от себя круглые женские пятки. Словно кто-то сыплет грецкие орехи на жесть. Трах-тах-тах-тах...

На фоне вечернего неба проплывают четыре женщины с корзинами на головах наподобие античной вазы. Правая рука согнута кольцом между корзиной и плечом, а левая свободно опущена и то выставляет, то прячет ладонь.

Трах-тах-тах-тах...— цокает о камень дерево подошв.

Серая стена.

Растопырив негнущиеся ноги, около нее стоит ослик. Он скучает, как английский лорд, повидавший весь свет. Глаза в белых мохнатых кольцах, как в очках, и гной длинной полоской тянется до самого беловатого носа. Не болен ли ты, бедный ослик? Вата торчит в твоих ушах, а хвост так покорно прикрывает кургузый зад.

На piazz'e еще белеют колонны, и, наклонившись над морем, черные силуэтики перерезают линию неаполитанских огней.

Трах-тах-тах-тах...

На башне бьют часы: два раза тихо и шесть я насчитал тяжелых и полнозвучных.

С улиц исчезают люди, магазины гаснут, двери и окна смежают глаза, и остров слепнет.

А море внизу шумит.

И снова ослик, видимо, последний. Его уши еще издали покачиваются, как пальмы на ветру.

Заполнил улочку грохотом огромных колес и мчится мимо меня, а я встречаю, как уже хорошо знакомые, те же очки, нос, мышиный белый живот и нескладно обтесанный зад с прижатым крепко хвостом.

Теперь я иду одинокий, между домами, словно по коридору. Две стены, как почетная стража, молча пропускают меня вперед, над головой порою блеснет фонарь. Нет, я не один. Моя тень, как невольник, расстилается у ног и показывает дорогу. Потом она вдруг отбегает назад и, уцепившись за меня, покорно ползет по камням между двумя онемевшими стенами...

Трах-тах-тах-тах...— звонко сыплются грецкие орехи на твердый камень, но где — впереди, позади или надо мной,— не знаю...

Просыпаюсь в непонятной тревоге и сажусь на постели. Знаю, что теперь ночь, но что случилось? Телефон звонит сильно и упрямо. Может быть, какое-нибудь несчастье, потоп, землетрясение? Звонки не дают прийти в себя. Часто, визгливо, как истеричный смех, льются беспрестанно и тревогой наполняют дом. Встать и спросить, кто звонит? Крикнуть телефону в глотку, заткнуть ее сердитым: кто звонит? Но я не встаю. Слышу в своей комнате какие-то тревожные шумы, что-то ходит по ней, затаив стоны, шелестит во тьме бумагой, толкает стены и дребезжит стеклами. А телефон бьется в истерическом припадке, усиливает смех, как безумный, и уже сливает его в текущий поток плача.

Тогда я догадываюсь: буря.

Это она так раскачивает море и скалы; сдвинула остров, понесла по волнам, а сама в бешенстве кричит в телефон.

Мне кажется, что покачнулась кровать, покачнулись стены — и я плыву. Ну что ж, плыть так плыть. Засовываю голову под подушку и сплю.

Встаю уже поздно, бегу неодетый к окну и отворяю обе половинки. Эге-ге! Хотя солнце и ослепляет, но я вижу, что мы все-таки плывем. Море вспенилось и кипит, а ветер надул сосны на вершинах скал и мчит остров на этих черных парусах, как корабль.

Море поблескивает злой голубизной, водяная пыль бьет его белым крылом.

Изогнулось, поднялось крыло вверх и, пронзенное солнцем, упало. А за ним летит второе, третье.

Кажется, что неведомые голубые птицы налетели вдруг на море и упорно бьются грудью, подняв широкие белые крылья.

Одеваюсь. Выхожу. Куда там! Нечем дышать. Ветер загоняет дыханье обратно в грудь. Взял деревья за чубы, гнет их к земле. Сам стонет, и стонут деревья. Злобно воют узкие проходы, виноградники и дома. Качается земля под ногами, как палуба корабля, и, чтобы не упасть, хватаюсь за стены. Согнувшись, надутый ветром, словно парус, вижу сквозь прищуренные глаза ползущих на четвереньках «пассажиров».

— Buon giorno! [1] — кричу.

Не слышат. Ветер сорвал мое приветствие и кинул в море. Вот несется оно в сбитой крыльями пене и сияет на солнце.

А может быть, и меня приветствовали, но ветер точно так же стер улыбку с их губ и швырнул в море.

Все согнулось на острове-корабле, который несется по морю на черных ветрилах: пассажиры, скалы, дома и солнце — как капитан: веселое, бодрое, уверенное в себе.

Весь день мы куда-то плыли, и всю ночь напролет выло море, как пес.

А на другой день словно никогда ничего и не было.

Море так невинно голубеет под стенами скал, и солнце так ласково светит, что даже камни смеются.

Земля помолодела сразу. Фундаменты террас скалят зубы солнцу, а тени от виноградных лоз густыми узорами заткали золотые ризы садиков.

— Buon giorno!

Виноградарь, наклонившись, копается в тучной земле.

Вот он поднялся, и красный берет загорелся цветком на синеве моря. На фоне перекрученных лоз, капусты и финиковых пальм сияют глаза.

— Buon giorno, signore!.. [2]

Мы встречаемся впервые, но какое это имеет значение? Он вытащил тяжелую мотыгу из земли и, не успев разогнуть спину, обтереть лоб, стал делиться со мною своим удовлетворением и радостью. Он говорит мне, что погода чудесная, что повеял сирокко и можно ожидать дождика. Я добавляю, что сегодня, среди зимы, пахнет весной,— и наши глаза, как четыре старых знакомых, полны согласия и доброжелательства.

Передо мной — тропинка, зеленый бархат замшелых стен.

Позади снова вгрызается в землю кирка, и красный берет то кланяется черной земле, то пылает на фоне моря.

---

[1] Добрый день! *(итал.)*

[2] Добрый день, господин!.. *(итал.)*

Солнце бродит среди инкрустации теней.

А я смотрю на небо. Оно сегодня тихое, синее, глубокое и так щедро ниспадает, что рождает уверенность: это оно наполняет море голубизной.

Откуда идет тишина — от меня или входит в меня? Не знаю. Дремлют скалы, и черные зонты пиний застыли в тишине. Кажется,— мы все растворились в ней. Опуститься бы на камни и вот так же пить солнце, как и они, так же купать свой взор в небе. Приятно было бы дремать, подобно террасам, каменным корзинам виноградных садов! Стать вот такой жилистой лозой, как будто ввинченной глубоко в землю, и тянуть оттуда золотистый сок, чтобы налить им гроздья.

Солнце бродит среди инкрустации теней — черной по золотому,— и я слышу тихий ропот голого винограда, ответные вздохи земли и вижу жилистые руки, подобные лозам, бронзовые лица, которые нагибаются то и дело, а порой бросают мне сердечное золото приветствия:

— Добрый день... добрый день...

Перегибаюсь через стену и смеюсь ребенку. Он кудрявый, с грязным носом, на солнце золотятся голые коленки, и, посасывая померанец, он улыбается мне.

Ах, как хорошо собирать улыбки и отдавать их другим!..

Я люблю свою комнату. Белую, словно снегурочка, с букетом ирисов на столе и с Боттичелли на стенах. Но наибольшую радость доставляет мне окно. Целый день в него глядит море. От восхода до захода солнца голубеют в моей комнате стекла, как глаза моря.

Теперь не то.

Как они горько плачут сегодня, беловато-мутные, ослепшие, привыкшие видеть красоту синего моря! Померкли мои стены и мебель, расплылся Боттичелли, а по бельмам стекол беспрестанно текут слезы.

Ощущаю беспокойство. Кто знает — отчего? Беспрестанно встаю, хожу по комнате и опять тяжело сажусь. Мне тесно в моей одежде, неудобно в стенах дома. Глухая тревога стучится в сердце, словно хочет туда войти. Перекладываю все на столе, без надобности передвигаю книжки и раздражаюсь, что потерялся карандаш. Где карандаш? Ощупал стол, разворошил бумагу, перемешал книги. Кто взял карандаш? Знаю, что он мне не нужен, этот куцый огрызок, но знаю, что от того, найду ли карандаш, зависит мой покой.

Стекла все так же рыдают.

Все, чего ни коснутся мои руки, влажное, дряблое или липкое. Все насытил своим дыханием сирокко. Отяжелела одежда, отсырел табак, и страницы книг будто вышли из бани. Где же карандаш?.. Ага! Вот он, негодный... И швырнул его так, что он сломался.

Что творится там, за окном? Тревога своего добилась. Мечусь по комнате, как шмель на окне, и чувствую потребность переставить мебель, передвинуть шкафы, стол, стулья — все по-новому, все иначе; раздвинуть стены или совсем их обрушить...

Что творится там, за окном? Не успел распахнуть, как теплый сирокко кладет мокрую лапу мне на лицо и наполняет влажным дыханием всю комнату. У меня ли на глазах бельма, или в самом деле ничего не видно? Серые воды густо плывут с серого неба на посеревшую землю. Они уже смыли все краски, полиняло море, скалы, деревья. Monte Solaro плавает тенью в мутных просторах, а Castiglione — как привидение: показалось и исчезло. И все постепенно исчезает: море, скалы, земля. Только из ниоткуда густо стремятся в никуда серые небесные воды и тяжело дышит сирокко.

Затворяю окно и в отчаянии сажусь за стол.

Стены погасли, расплылся Боттичелли, по бельмам стекол стекают слезы, и меня охватывает желание раствориться тенью.

Не пойти ли в город? Еще издали с радостью замечаю розовые плиты городской площади, желтые стены funicolare и башню. Никому не известный, сажусь на скамью, слушаю и удивляюсь. Сквозь белые колонны синеет море, по Monte Solaro ползет туман. Подо мной с подземным гуденьем движется на берег вагон.

На башне бьют часы: три раза тонко и десять басисто.

Проходят люди, вперед и назад. Какие-то черные фигуры, матовые лица и красная гвоздика в петлице. Сошлись в кучку, потом цепочкой оперлись на барьер, словно галки на телеграфной проволоке.

Толстый портье, неуклюжий, как слон, и паралитик, будто врос в желтую стену. Его кротовые руки лежат на коленях. Вот он тяжело поднялся и переставил стулья, которые сдает внаймы желающим. Концы плетенки торчат в них из-под сиденья. Мой парикмахер, сдвинув на затылок котелок, со скучающим видом — так изо дня в день — разглядывает витрину

электрических приборов. Стоит долго, упорно, как изо дня в день, зевает и отходит.

На башне бьет одиннадцать.

Худощавые молодцы из отелей, с галунами и в новеньких костюмах, пока нет парохода, постукивают каблуками по розовым плитам. «Hôtel Royal» толкнул «Hôtel Pagano». «Hôtel Faraglioni» закурил папироску.

Согнувшись и налегая на толстую палку, портье шаркает ногами, подает кому-то стул.

Жалкий щеголь поднер плечом белую колонну. Потрепанные штаны, порыжевший пиджак — все бесцветно. Словно он долго валялся в известковой яме. Креп на рукаве, а из бокового кармашка торчит кончик розового платка.

Снова вечность отбивает пятнадцать минут.

Взад и вперед снуют черные фигуры.

Море шумит.

Желтые спинки фиакров, стоящих в ряд, блестят на солнце.

По Monte Solaro ползет седой туман.

Парикмахера снова привлекает витрина. Котелок съехал на шею, а он упорно разглядывает электрические принадлежности, как и ежедневно.

Голубые факкино (носильщики) в широких блузах расхаживают, заложив руки в карманы: еще нет парохода.

Старик портье зевает истерически, словно осел. Короткие, как у крота, руки лежат на коленях.

Проходят американки. Безобразные, худые, широкоротые, все в белых вязаных куртках и в желтых туфлях.

— Shall we have time before breakfast? [1]

— O, yes!.. [2]

Холодные глаза скользнули по всему, словно льдинки.

Дети гоняют по piazz'e собаку. Собака скачет и попадает кому-то под ноги.

Из-за белых колонн выплывает пароход — две голые мачты и черная труба.

Скучающие люди сбились в кучку и перегнулись через барьер. Всем интересно.

Дымок от папироски вьется в воздухе.

На башне часы отбивают еще раз.

В море всплывают и тотчас исчезают пенистые волны,

---

[1] Не пора ли нам завтракать? *(англ.)*

[2] О да!.. *(англ.)*

словно утопают рыбацкие челны, погружаясь в воду белым парусом.

Полицейский в черном плаще — щеки синие и нос красный — сонно машет прутиком в воздухе и, может быть, в тысячный раз поглядывает на эти дома.

Купы белого, словно лысого, кокорника расстилают зеленую листву под навесом магазина.

Портье накрепко врос в желтую стену.

Прошли две девушки, полногрудые, с красными платками на плечах.

Осел с грохотом огромных колес привозит на piazz'у полную повозку капусты, а толстая женщина, подергиваясь, делая непринужденные движения, какие бывают только у рыбы в воде, что-то выкрикивает.

Подо мной с подземным гулом проползает снизу вагон, и появляются в дверях пышные жандармы в треуголках, с плюмажами и с густым серебром на мундирах.

Первый извозчик примчал пассажиров: молодцы из отелей налетают на него, как воробьи.

Женщины-носильщики поднимают на головы чемоданы из желтой кожи.

Свободный факкино поет.

По Monte Solaro ползет седой туман.

Кони фиакров бьют подковами о камень.

Портье жует что-то, и его полное лицо ходит над жирным подбородком, будто плавает на волнах.

За проливом сизый Везувий придавил берег, словно смертный грех.

Возвращаются обратно полногрудые девушки.

На башне пробило двенадцать.

Люди снуют во все стороны — кто знает, куда и зачем, а все это похоже на театр марионеток, в котором режиссер перепутал порядок пьесы.

Не так ли и в жизни?

В отелях глухо гудят гонги, созывая на завтрак. Площадь постепенно пустеет. Остаются только розовые плиты мостовой да колонны белеют на фоне синего моря.

На Monte Solaro медленно вползает туман...

Я каждый день прохожу мимо пустынного, заброшенного сада. Две-три зеленые террасы и группа олив. Больше ничего. Внизу горят травы собственным огнем, над ними поблескивают серебром седые кроны.

Мимо проходят люди, топает по тропинке осел, а садик одинок, запущенный и позабытый, и лишь прохожие скользят глазами по немятым травам да солнце ходит вокруг, передвигая тени. Вот они мягко разостлались, такие же фантастические и кривобокие, как оливы, будто отразились в воде.

Опираясь о стену, часами наблюдаю, как бесшумно бродят тени с места на место. Они перерезывают первую террасу и бросают сетку на другие. Травы между ними горят. Или начинают менять форму: там укоротили ветку, а там слились воедино и подобрались черным клубочком под корень.

Два белых мотылька один за другим слетают откуда-то на тихую траву, как черешневый цвет; то сверкнут на солнце, то станут серыми в тени. Трепещут крыльями, коснется самец самочки, и начинается ухаживанье.

Серебряные кроны позванивают листьями вверху.

Иду дальше.

На Punta Tragara сажусь и словно погружаюсь в море. Его нежная лазурь вливается в меня сквозь глаза и наполняет до края. Солнце растапливает скалы, а само на небосклоне загляделось в зеркало моря и подожгло воду.

От нестерпимого блеска закрываю глаза. Тогда слышу, что под ногами шумит. Там море разрывает свою синюю одежду об острые скалы на белые клочья и забрасывает ими весь берег. Даже сквозь веки вижу этот белый клекот, пронизанный солнцем. Поистине чертова кухня, где вечно кипит и сбегает молоко.

Подходят люди и треском чужеземных слов заглушают море.

Тогда возвращаюсь назад.

Опираюсь о стену и опять с удивительным спокойствием гляжу на одинокий садик. На зелень террасы, на оливы. Тени вытягивают свои суставы, ложатся на другой бок, и вырастает на земле другой, лежащий садик.

Седые кроны позванивают вверху, под ними целый день тихо светятся травы.

Пташка порой попрыгает в ветках, повертит хвостом. Почистит носик...

Старый Джузеппе вечно поет. Что из того, что ему семьдесят лет и у него черный беззубый рот: он всегда открыт у него для песни.

Седая щетина топорщится дико на щеках, берет на макушке, а обнаженные руки никогда не знают отдыха. Еще

море спит, а он уже скрипит подошвами по прибрежному песку и гремит железом на тяжелых дверях рыбачьего склада. Предутренний свет оттесняет тьму назад, в дальние уголки склада,— и первым улыбается ему залатанным боком баркас. Потом посмеиваются неводы и канаты, старая парусина и поплавки, удилища и весла. Все они дышат солью и йодом.

Джузеппе втягивает в себя этот запах, облизывает губы, вечно соленые, выносит на берег ведерко краски и тотчас начинает напевать. Он будит море. Правда, в его песне есть немножко от Везувия — серы — и немного ослиного крика, но — ничего. Море это любит. Еще беловатое, словно покрытое на ночь рядном, оно потягивается слабо и в сонном оцепенении нежно выбрасывает на берег первые волны.

А Джузеппе поет. Помешивает, наклонившись, краску и посылает на море крылатые слова. Как она прекрасна — его страна, когда цветет виноград! Когда ветер несет над садами золотистую пыльцу с цветов, солнце пьянит, как хорошее вино, а тебе нет еще и двадцати лет!

Пузатые барки — белые, зеленые, голубые,— бесконечным рядом всосавшиеся в прибрежную гальку, и те, что уткнулись носом в воду,— единственные слушатели Джузеппе. Да еще разве море. Оно уже пробудилось, встрепенулось, заголубело, звонко плещет в порожние бока лодок и расстилает под ноги Джузеппе шипящую пену. А он красит низ барки синим, каким бывает море в полдень, занимает у волн зеленое на окантовку и белит борта, подобно пене, которую море стелет ему под ноги.

Седая щетина, первобытная, торчит у него на щеках, берет пылает, как дикий мак, а он кричит на весь берег и на все море.

Что же было дальше? Отцвели черешни, а теперь — ягодки. А дальше? Милая приставляет лестницу и рвет ягодки. Свежие ягодки на черешне, а еще свежее у милой икры. А дальше? Лестница подломилась, и милая у него на руках... Ах, хорошо, когда солнце пьянит, как вино, а тебе нет еще и двадцати лет!..

Джузеппе облизывает губы, соленые от моря, а его голые по локоть руки кладут тем временем на лодку краски, играющие так же, как и морские.

Солнце уже показалось. Черные тени от барок густо усыпали берег. Каменные стены Marin'ы понемногу оживают. На балконах и между арками появляются полуодетые люди и развешивают белье и постели на белых от соли стенах. Открыва-

ются рыбацкие склады, темные и сырые, словно пещеры, скрипит под ногами галька, и рыбаки выносят на барки тяжелые бронзовые сети, точно пышные волосы русалок. Пахнет канатами, рыбой, йодом. Море так бодро хлопает о лодки, что даже слушать приятно. Около мола выгружают капусту. Осел захлебывается от рева. Лавочники открывают винные лавки и магазины. Появляются дети.

— Добрый день, дедушка Джузеппе!

Куда там! Не слышит! Голые руки в желтых жилах купает на солнце, в черном рту скрипит неподмазанная песня, будто он хочет перекричать осла.

Кладу ему руку на согретую уже спину. Тогда он на полуслове обрывает песню. Разве он забудет, с чего ему снова начать?

Поднимает голову и показывает со смехом покалеченный палец.

Что случилось?

А это он вчера ловил мурену. Закинул среди камней приманку и посвистывал потихоньку. Бестии, любят музыку. Вот они и танцуют около приманки да разевают рты. Гляди только, как бы дернуть леску вовремя. Блеснет змеиное тело на мгновение в воздухе, и уже готово. Бей о камень изо всей силы, а то укусит, как собака. А он вот не уберегся...

Опять показывает палец и подхватывает песню на том самом месте, где прервал.

Я достаю из кармана и ставлю на гальку бутылку вина, сыр, померанцы. Тогда Джузеппе перестает петь. Он охотник до таких вещей.

Славный вышел завтрак у нас на песочке, между морем, которое хлюпает у самых ног, и боком барки!..

Женщины мимо нас таскают на головах камни. Они здороваются с дедом. Рыбаки сталкивают в воду лодки, полные грязноватых сетей, и кричат что-то Джузеппе. А он наливает себе вина, прищуривает глаз и ловит красный свет в стакане.

— Да благословит вас мадонна!..

Бритый патер в мохнатой шляпе, словно стриженый пудель, подбирает черную сутану, блестящую на сытых чреслах, чтобы перескочить через лужу. Джузеппе ставит на землю вино и набожно снимает берет. Дышит ветерок. Далекие барки распускают паруса. Весла поблескивают. А море так задорно плещет о берег, так маняще звенит о борта лодок!..

Джузеппе смеется. Он уже знает, чего я хочу.

Зашуршала барка по мокрому песочку и закачалась.

— Куда?

— Прямо на солнце!

Пылает берет, обветренные руки на веслах, а весла — как крылья в лазури. Мы летим. Таково, по крайней мере, мое ощущение, может быть, от синевы, все вокруг окутавшей: она над нами и под нами, позади и со всех сторон. Даже воздух кажется голубым. Не был ли я некогда птицей?

Весла несут нас, как крылья, соленый ветер вздувает легкие, кто знает — в море или в небе — журавлиным клином вылетают навстречу паруса барок, вольных, как птицы. Я чувствую крылья у себя за плечами.

Джузеппе поет. Он здесь больше хозяин, чем на земле. Он, вероятно, подумает прежде, чем скажет, от кого родился: от женщины или от морской волны. Старик отдал морю сына и внука, зато сколько поднял из его глубины! Кто сосчитает?.. Море било и грызло его, как прибрежную скалу; он стал шершавый, как губка, просолился, как канат, но душа у него голубеет, как море в ясную погоду, и глаза скрывают лучи солнца. Он знает все восемь ветров, как братьев родных, понимает язык неба и моря и собирает рыбу — словно сеятель хлеб в поле, словно сам он засеял этой рыбой морскую глубину.

Мы часто выходили вдвоем за рыбой. Днем и ночью. Скольким уловкам научил меня Джузеппе! Мы брали горшок, полный камней и приманки, и спускали на веревке на дно. Только поплавок оставался наверху. Там вскоре угнездится, как дома, небольшое восьминогое чудовище — спрут, и когда его вытаскивают, он обвивает щупальцами руку, присасывается к ней и пожирает нас разъяренным глазом. Но Джузеппе зубами перегрызает ему шею — и конец: на дне лодки остается только противная, как кисель, масса. Мы ловили неводом, удочкой, на крючки. Вытаскивали красных колючих чертиков, голубых морских вьюнов, плоских петухов и рыбу-иглу, блестевшую на солнце, как остро наточенная коса.

Когда море рябило, Джузеппе капал в него масло. Тогда мы смотрели сквозь желтое пятно, как в оконце, до самого дна. Видели белый песок, таинственное покачивание морских водорослей, жизнь ежей, ленивое ползанье крабов, подводные пещеры, игры, отдых и драки рыб. Ежеминутно светились радужно рыбьи глаза, как самоцветы, всевозможными красками играли хребты и разевались пасти, всегда голодные. Все это была добыча Джузеппе.

Он даже как-то оживлялся, когда рыбачил. Кривым ножом, своим верным товарищем, отковыривал ракушки от скал,

высасывал перламутровую слизь и жмурил от удовольствия глаза. Глотал живых креветок, мелкую рыбешку и откусывал ноги у молодого спрута, хотя тот не давался и хватал за язык. Все это были его любимые «фрукты». Подзадоривал и меня, но я еще не дошел до этого.

Теперь он поет. Красное вино играет в его жилах, берет пылает на солнце, а руки слились с веслами и, как крылья, режут голубые просторы. Мы летим. Под нами синяя глубина, над нами такая же высь. Далекий остров залег облаком в небе. Свежий ветер щиплет щеки, надувает легкие. Мы летим...

Она приехала с утренним пароходом, час тому назад, может быть, не больше. Иначе я уже видел бы ее.

А подумал об этом я потому только, что мы встретились глазами.

До сих пор наши глаза отдыхали на море, чужие, далекие друг другу, как две параллельные линии, что прошли по свету без надежды встретиться.

Под нами бежали к морю цветущие лимоны, а померанцы, точно звездами, облепили черные кроны. Солоно дышало море.

Я еще раз взглянул на нее...

Свежий матовый профиль повернулся медленно, и снова ее глаза утонули в моих.

Француженка или англичанка? Нет, наверное, американка.

Пузатые немецкие бочки, налитые пивом, со значками туристов и с пылью на ногах, отделяли меня от нее. Захожу с другой стороны и становлюсь ближе. Вижу, как ветер треплет голубой конец вуали по серым камням, замечаю дорожный мешочек и золотые пряди за ухом.

Взглянет или нет?

Целая вечность проходит. Не пошевельнулась.

И правда, что ей до меня или мне до нее? Поворачиваюсь спиной и разглядываю Monte Solaro, поросшую кустарником. Надо как-нибудь забраться туда. Пешком или на осле?

Какие глаза у нее? Не успел разглядеть.

Неужели не увижу?

Мне кажется, что она пошевельнулась, собирается уходить.

Кидаюсь в толпу, слишком поспешно, и наступаю кому-то на ноги.

— Ах, простите!..

Протискиваюсь плечом и встречаюсь с нею.

Словно фиалки после дождя!

Темные, мягкие, блестящие. Взглянула и закрыла.

Теперь — конец. Иду за нею. Куда она — туда и я.

Делаю равнодушную мину, будто разглядываю дома, но вижу только голубую вуаль, золотистые волоски на шее и маленькие каблучки из-под юбки.

Оглянется или нет?

На повороте останавливается, рассматривает какое-то растение и оборачивается ко мне...

Теперь мы опять над морем, и опять наши глаза бродят по синей пустыне, но во мне рождается уверенность, что они и там могут встретиться.

Потому что я хочу заглянуть в них.

Не поддается. На левой щеке вспыхивает легкий румянец, но глаза устремлены в море.

Теряю терпение. Я должен их видеть.

И вдруг всей тяжестью они ложатся в мои с нетерпеливым вопросом:

— Чего ты хочешь?

— Люблю...— уверяют мои.

Ее глаза не знают, что ответить, и мечтательно начинают ласкать скалы, берег, лазурь.

Тем временем я разглядываю нежную линию шеи, мягкий вырез на груди, изгиб руки, такой чистый и нежный. Знаю, что пальцы в перчатках — как лепестки розы. Все это укладывается во мне, врастает, словно я годами это видел и любовался.

И когда, будто невзначай, обращает на меня свои влажные фиалки, мои глаза настойчиво бросают в них:

— Ты моя.

Она еще не знает — «чья», колеблется немного.

Но я не колеблюсь и жду лишь, когда мы посмотрим друг на друга.

— Ты моя.

Тогда ее глаза вдруг раскрывают свою лучистую бездну, готовую меня поглотить, и твердо говорят:

— Твоя.

— Навеки?

— Навеки!

И разве может быть иначе? Стоим на одной и той же земле — едва десять шагов между нами, одно солнце связывает нас, те же пейзажи входят в нас, и даже тени наши сливаются.

Мы то погружаем глаза в море, то глаза в глаза...

Нас только двое на свете. Что нам до других? Но откуда-то появляется третий. Как облачко, откуда-то взявшееся, погасило солнце.

Мерит землю тонкими ногами в туфлях, перебрасывает около нее на перила свой английский костюм и вынимает бинокль.

Что-то говорит ей, точно старый знакомый, передает бинокль.

Она взяла!.. Она взяла!..

Приложила мои фиалки к тому самому месту, где за минуту до того были глаза чужого, словно ничего не произошло.

Нет, я не могу быть спокойным.

— Милостивый государь!

Нет, это просто возмутительно. Я уже киплю.

— Милостивый государь! Кто вам дал право так обращаться? Соображаете ли вы, что это с вашей стороны наглость?..

Он, вероятно, понимает язык моих глаз, потому что оборачивается ко мне и бросает удивленный взгляд. Потом равнодушно отводит его назад. Ну, черт с ним!

Но она? Ведь недавно клялась мне: навеки!.. Достаточно было появиться каким-то тонким ногам и английскому костюму... Вот она — верность женская.

Чувствую, что я ревную. Поворачиваюсь к ней боком и даю себе слово, что между нами все кончено. Любуйся своим британцем... Даже не взгляну. Меня больше интересует красота природы,— вечная, она не изменит. Не обернусь ни за что. Хотя бы ты плакала, хотя бы ты умоляла. Ни за что...

Чувствую взгляд на шее. Он меня влечет. А может быть, это только кажется... Они, вероятно, так увлеклись друг другом, что я для них не существую. Разве обернуться вдруг и накрыть голубков? Но какое мне дело до чужой любви?..

Впрочем, оборачиваюсь, совершенно холодный, и встречаюсь с ее глазами.

Такие покорные, умоляющие и невинные.

Тогда я от всего сердца все прощаю и забываю.

— Любишь?

— Обожаю!

Теперь опять хожу за нею. Куда она — туда и я неотступно. На британца — ни тени внимания.

Он не существует для меня. Иду поодаль, за голубой вуалью, или навстречу, чтобы заглянуть в глаза. Она выбирает открытки, я тоже покупаю. Уже полны карманы. Разглядывает

витрину — я стою рядом. А все для того, чтобы поймать взгляд, брошенный тайком, лукаво, через головы людей. Так солнце порой бросает свой луч сквозь дождь.

Уже день кончился, засветилась ночь, а я еще на ногах. Где она — там и я. Она уже устала, пора бы ей отдохнуть. Напоследок, при свете звезд, заглядываю ей в глаза.

— До завтра? — спрашивают мои.

— До завтра...— отвечают фиалки.

— Моя?

— Навеки.

А завтра, еще не рассвело хорошо, бегу на вчерашние дорожки. И вдруг, не дойдя, останавливаюсь. Меня задерживает запах пароходного дыма. Я знаю... я уверен, что ее уже нет. Она уехала утренним пароходом. Вон он едва сереет на сером море, даже дым уже развеялся.

Стою на дороге и втягиваю в себя этот легкий запах.

Это все, что осталось от моего романа...

Всегда волнуюсь, когда вижу агаву: серую корону крепких листьев, зубчатых по краям и острых на конце, как обтесанный кол. Расселась по террасам, венчая скрытую силу земли.

Цветок же ее — высокий, похожий на мачту зеленый ствол с венком смерти наверху.

Такова тайна агавы: она цветет, чтобы умереть, и умирает, чтобы цвести.

Вот она — та, что вечно меня волнует, что только однажды расцветает цветком смерти. Сизая сердцевина крепко свернулась и в муках, стиснув зубы, отрывает от сердца листок за листком. Окаменела на каменистой почве и прислушивается с ужасом, как растет, зреет и рвется из нее душа.

И так годами.

Там, где-то глубоко, под серым куполом корня, что-то созревает таинственно, вытягивая силу из сердца земли, а агава в отчаянии складывает листья, точно чувствует, что роды принесут смерть.

И на каждом листе, который с болью отрывает от сердца, остается след от зубов.

Всему своя пора, для всего приходит свой час.

И для агавы. То, что таилось в ней, прорывается наконец сквозь тесные объятия и выходит на волю, как исполин, неся на могучем теле, которое можно сравнить разве с сосной, цветок смерти.

Овеянная ветром, близкая к небу, агава видит теперь то, чего не видела прежде. Она видит море и скалы, первая встречает восход солнца, последняя ловит багряный закат, а ветер шумит вокруг нее так же, как и в кроне деревьев.

Сизые листья вянут тем временем, склоняются, как больные, по ним текут дожди, синие зубы мертво блестят на солнце, крона сохнет, становится мягкой, как тряпка, а цветок на высоком стволе приветствует солнце и море, скалы и далекие влажные ветры гордым и безнадежным приветом обреченных на преждевременную смерть.

Отворяя утром окно, я каждый раз вижу ряд цветущих агав. Стоят стройные и высокие, с венцом смерти на челе, и приветствуют далекое море:

— Ave, mare, morituri te salutant!..[1]

1912

[1] Здравствуй, море, идущие на смерть тебя приветствуют!.. *(лат.)*

ЛЕСЯ УКРАИНКА

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ДРАМЫ

НАДЕЖДА

Ни доли, ни воли мне жизнь не дала,
Одна лишь, одна мне надежда мила:
Увидеть опять Украину мою
И все, что мне любо в родимом краю,
На Днепр голубой поглядеть еще раз,
А там все равно — пусть умру хоть сейчас,
Взглянуть еще раз на курганы в степях,
Вздохнуть напоследок о пылких мечтах.
Ни доли, ни воли судьбой не дано,
Одной лишь надеждой мне жить суждено.

1880. Луцк

* * *

Порою, едва лишь примусь за работу,
Кончаю ли дело свое,— отчего-то,
Как будто в осенние дни облака,
Находит на душу глухая тоска.

Вдруг горькая мысль остановит мне руку,
Что вижу вокруг я страданье, и муку,
И слезы... И в сердце сомненья растут:
Да нужен ли он — незаметный мой труд?

Не справились с горем и долей унылой
И лучшие люди. Что ж я с моей силой?
И с горечью я оставляю свой труд,
И думы иные мне силы дают:

А может быть, все-таки я своей песней
Утешу того, кто безвестных безвестней,
От сердца пропетою песней моей
Зажгу утомленные души людей.

А может, мы с песней не лишними будем,
Мой труд пригодится на что-нибудь людям,–
И вновь исчезают сомненья и грусть,
И с ясной душой я за дело берусь.

<1888>

CONTRA SPEM SPERO![1]

Прочь, осенние думы седые!
Нынче время весны золотой.
Неужели года молодые
Беспросветной пройдут чередой?

Нет, я петь и в слезах не устану,
Улыбнусь и в ненастную ночь.
Без надежды надеяться стану,
Жить хочу! Прочь, печальные, прочь!

Я цветы на морозе посею,
В грустном поле, в убогом краю
Те цветы я горючей своею
И горячей слезой окроплю.

И тогда, может, снега не станет,
Ледяная растает броня,
И цветы зацветут, и настанет
День весны, озарит и меня.

---

[1] Без надежды надеюсь! *(лат.)*

На кремнистую гору крутую
Буду камень тяжелый нести,
Но, терпя даже муку такую,
Буду с песней веселой идти.

Непроглядной ночною порою
Не позволю глазам отдыхать,—
Я звезду за туманом и мглою
Путеводную буду искать.

В темноте и глухой и унылой
Не позволю я сердцу заснуть,
Хоть бы тяжко мне на сердце было,
Хоть бы смерть налегла мне на грудь.

Смерть наляжет на грудь тяжелее,
Свет суровая мгла заслонит.
Ну, а сердце забьется сильнее,—
Может, лютую смерть победит.

Да! И в горе я петь не забуду,
Улыбнусь и в ненастную ночь.
Без надежды надеяться буду,
Буду жить! Прочь, печальные, прочь!

2 мая 1890 г.

МОЙ ПУТЬ

Я вышла в путь свой раннею весною
И робко песню тихую запела,
И кто встречался на пути со мною —
Тех сердцем я приветствовала смело:
Пути мы в одиночку не найдем,
Вернее путь, коль вместе мы пойдем!

Ох, долог этот путь и очень труден,
Трудней всего для тех, кто одинокий!
Но этот путь тяжелый не безлюден,
И не одна иду я в свет широкий.
Одной недолго сбиться мне с пути,
А вместе будет нам верней идти!

Иду вперед и песни я слагаю;
В них не ищите мудрых прорицаний —
Я громким голосом не обладаю!
Но если звуки слышу я рыданий,
Я молвлю: «Брат мой, плачу я с тобой!»,
С рыданьями сливаю голос мой.

От разделенных мук не так ведь больно...
Когда ж в дороге долгой мне придется
Напев услышать радостный и вольный —
Моя душа, как эхо, отзовется.
Тогда тоской, от всех ее тая,
Не отравлю свободной песни я.

Коль взор я поднимаю к небосводу,
Светил там новых не ищу, тоскуя;
Увидеть братство, равенство, свободу
Сквозь пелену тяжелых туч хочу я —
Те золотые три звезды, чей свет
Сияет людям много тысяч лет...

Когда кому-нибудь блеснут те звезды в очи
И он их встретит гимном вольным, шумным,—
Пусть мне ничто не светит в мраке ночи,—
Не назову певца того безумным,
Затем что ясный, светлый луч подчас
Дорожной пылью скрыт от наших глаз...

И тернии ли встречу я в пути,
Или цветок увижу я душистый,
Удастся ли до цели мне дойти,
Иль раньше оборвется путь тернистый,—
Хочу закончить путь — одно в мечтах,—
Как начинала: с песней на устах!

22 мая 1890 г.

F A

Сонет

Фантазия! Ты чарами полна,
Ты сотворила мир в пустующем просторе,
Ты свет звезды зажгла в ночном дозоре
И мертвых будишь от немого сна.

Ты указала цель волне, бурлящей в море,
К тебе моя душа обращена:
Фантазия, ты мне сказать должна:
Как облегчить людское злое горе?

Как новый мир из старого воздвигнуть?
Как чувства равнодушному постигнуть?
Как мысль живую в спящий ум вдохнуть?

Как время, что упущено, вернуть?
Как в безнадежности поверить целям ясным?
Фантазия! Скажи, как в мире жить несчастным!

<1890>

* * *

— A quoi penses tu?
— A l'avenir.

V. Hugo, «93» [1]

Когда я утомлюсь привычной жизнью,
Привычным горем, что вокруг я вижу,—
Тогда я мыслью улетаю в дали,
В стране мечты мои блуждают взоры.
Что ж вижу я в далеком этом мире?
Я будущее вижу, век грядущий.
Мне представляется: в кругу семейном
Старик своим внучатам в поученье
Правдивые рассказывает сказки
О том, что было некогда на свете.

---

[1] — О чем ты думаешь?
— О будущем. В. Гюго, «93-й год» *(франц.)*.

Семья любовно деда окружила,
Тут сыновья, и дочери, и внуки;
Одни ему торжественно внимают,
Другие наяву о чем-то грезят,
А самый младший внук сел возле деда
И взора пылкого с него не сводит,
Следя за каждым словом и движеньем.
Дед произносит медленно и важно:
«Как счастливы, что родились вы, дети,
В спокойное и радостное время.
Внимаете вы, словно страшной сказке,
Рассказу моему о диком прошлом.
Да, дети, мир наш, вольный и счастливый,
Темницею казался прежним людям;
И впрямь был этот мир тогда тюрьмою:
Народ ходил в упряжке у народа,
В цепях свободное томилось слово.
Полчеловечества людьми не звали,
Кровавою войной шел брат на брата.
Войной — вам неизвестно это слово? —
Тогда братоубийство называли
Во имя правды, воли, веры, власти;
Кровопролитие звалось геройством;
Гражданским долгом звали равнодушье,
Патриотизмом — злобу к чужеземцам,
И набожностью — ярый фанатизм,
Там смерть голодная звалася нищетою,
Все, что награблено,— богатством звали,
Любовью к людям — барскую забаву;
Тьму без просвета звали простодушьем,
Ученостью — неверное блужданье,
Безудержное мщенье — правосудьем,
Насилье деспотическое — правом.
Надменным, чванным честь была и слава,
Обиженным, униженным — презренье.
Погиб бы, верно, род людской несчастный,
Когда б угасла маленькая искра
Любви и братства, что и в эту пору
В сердцах у некоторых пламенела.
Она не угасала, эта искра,
И возгорелась пламенем могучим,
И осветила темень черной ночи,—
Власть света воцарилась в нашем мире!..

Все это старые поведали мне люди,
Я ж сам не знал такого лихолетья».
Так говорил старик; и самый младший
Из всех внучат смотрел светло и ясно,
Уста улыбкой нежной трепетали,
Глаза горели жаждой идеала.
И дед заметил и спросил у внука:
«Куда, скажи, дитя мое, ты смотришь
И что в далеком видишь ты просторе?»
«Ты страшные рассказывал нам сказки,
И рад я, что не видел лихолетья;
Но я страну в просторе дальнем вижу
Горящую, как светоч идеала,
Как светоч вечной правды... Дед мой милый!
У нас на свете нет такого рая!
Ты спрашиваешь, что вдали я вижу?
Я будущее вижу, век грядущий!»

10 июля 1890 г.

* * *

Повсюду плач и стон глубокий,
Несмелы возгласы, смутны
Судьбе напрасные упреки.
Печально лица склонены.

Над старым горем Украины
Горюем-тужим всякий час
И ждем, рыдая, той годины,
Когда спадут оковы с нас.

И растравляем раны снова,—
Зажить им слезы не дают.
Заржавеют от слез оковы,
Но все же сами не спадут!

Что пользы плакать в мире гнета?
Для нас возвратных нет путей.
Возьмемся лучше за работу,
Добьемся новых, светлых дней!

1890

Из цикла
«КРЫМСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

Посвящается брату Михаилу Обачному

ЗАПЕВ

Край солнечный! Ты так теперь далеко,
Ты за горами от меня крутыми,
За долами просторными, за морем,
Которое туманами густыми
Покрылось, бурное... Но думы
Мои не устрашатся непогоды
На Черном море. Ведь быстрее чайки
Они перенесутся через воды,
Они перелетят в тот край любимый,
Где небо по-весеннему синеет,
Где виноград в долине зеленеет,
Где солнца луч все так же пламенеет.
Туда я быстрой полечу мечтою,
Привечу ясный край, где я бывала,
Где дней когда-то провела немало,
А счастья ни минуты не знавала...
Не брошу укоризненного слова
За это я тебе, мой край прекрасный!
Не виноват ты в том, что нет мне доли,
Не виноват ты в том, что я несчастна.

<1891>

БАХЧИСАРАЙ

Как зачарованный стоит Бахчисарай.
Сияет месяц золотистым светом,
Белеют стены в дивном блеске этом.
Уснул весь город, как волшебный край.

Серебряным деревьям, минаретам,
Как часовым, доверен сонный рай;
Среди кустов таинственным приветом
Плеснет фонтан во мраке невзначай.

Природа дышит сладостным покоем.
Над сонной тишью легкокрылым роем
Витают древние мечты и сны.

И тополя, вершинами кивая,
Неторопливо шепчут, вспоминая
Седые были давней старины...

<1891>

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ДВОРЕЦ

Хоть не разрушен он, во всех углах сурово
Таится пустота, ушедшие года.
Как будто только что промчалась тут беда,
Сметая грозной бурей след былого.

Фонтан чуть слышное во мгле лепечет слово,
По камню медленно журчит, бежит вода,
Роняет капли слез, не молкнет никогда.
То плачет сам дворец средь сумрака дневного.

Жилище ханских жен — развалины одни.
Вон башня и сады, где в те былые дни
Гарема пленницы красу свою губили.

Здесь сила грубая с неволею царили.
Но сила умерла, погребена в руинах,
Неволя ж властвует и до сих пор в долинах.

<1891>

БАХЧИСАРАЙСКАЯ ГРОБНИЦА

Бросает солнце стрелы без пощады
На кладбище, где мирно опочили
Под камнями тяжелыми, в могиле,
Сыны аллаха, ждущие награды.

Ни дерева, ни розы, ни ограды...
Как страж, лишенный тени и прохлады,
Стоит гробница. Те, кто в ней почили,
Навеки имя под плитою скрыли.

Чужих краев певцы здесь побывали
И тени милой пленницы искали,
Но призрак здесь иной встает кроваво.

Нет, тут не отыскать красы гарема,
Марии грустной, пламенной Заремы.
Бахчисарая здесь почила слава.

<1891>

«СЛЕЗЫ-ПЕРЛЫ»

Посвящается Ивану Франко

I

О милая родина! Край мой желанный!
Зачем все умолкло в тебе, онемело?
Лишь пташка в лесу отзовется несмело,
Предчувствуя бури порыв ураганный,
И снова умолкнет. Как глухо, как тихо!
Ой, лихо!

Ой, где же ты, воля? Звездой неприметной
Зачем не сойдешь ты с дороги воздушной?
Порадовать землю несчастную нужно!
Ты видишь: все скрыто здесь тьмой беспросветной
И правда бессильна с неправдою в споре.
Ой, горе!

О бедный народ мой! Страдая невинно,
В цепях мои братья почти бездыханны.
Увы, незажившие страшные раны
Горят на груди у тебя, Украина!
Кто тяжкое иго разбить нам поможет?
Ой, боже!

Когда ж это минет? Иль счастья не стало?
Проклятье рукам, онемевшим в бессилье!
Зачем и родиться, чтоб жить как в могиле!

Уж лучше б смертельною мглою застлало
Печальные очи, чем жить нам в позоре!
Ой, горе!

II

В слезах я стою пред тобой, Украина...
О, горе мое! Для чего эта мука?
Чем может помочь тебе тяжкая эта кручина?
Она — небольшая услуга!

Да разве такой я желала б работы?
Мирилась бы разве с твоими цепями?
Достаточно в сердце отваги, немало охоты...
Да скована я кандалами!

Ой, слезы, они мне всю душу спалили,
Следы огневые оставили с детства,
Те горькие жалобы сердце мое сокрушили!
И нет от страдания средства.

А мало ль нас плачет такими слезами?
Как можем мы, дети, утешиться снова,
Коль мать и в нужде и в неволе горюет над нами?
Где ж тут раздобыть нам веселое слово?

И снова тяжелые эти рыданья
В груди у меня закипают.
Ужели не кончатся горькие эти страданья,
Что бедное сердце терзают?

Молва говорит о слезах материнских,
Что будто каменья они прожигают:
Неужто кровавые слезы детей украинских
Бесследно, упав, исчезают?

III

Все наши слезы мукой огневою
Падут на сердце — сердце запылает...
Пускай пылает, не дает покоя,
Пока душа себя превозмогает.

Когда ж не хватит силы, если мука
Ударит в сердце бешеным ударом,
Тогда душа воспрянет от недуга
И ото сна пробудится недаром.

Она размечет все свои преграды,
Она заснуть, как прежде, не сумеет,
Она бороться будет без пощады,
Она погибнет или одолеет.

Победа или славная могила —
Одно из двух перед душой предстанет...
Какой бы путь нам жизнь ни присудила —
Восстанем мы, когда душа восстанет.

Так будем плакать, братья! Знать, бесчестье
Еще душа, томясь, превозмогает:
Пусть сердце рвется, требуя возмездья,
Пусть не дает покоя, пусть пылает!

<1891>

* * *

Как придет грусть-тоска, и не думай, что с ней
Распростишься на гульбищах шумных,
За столом средь хмельных и веселых друзей,
Что пируют при кликах безумных.

Не ходи в пышный дом, где веселье гремит,
Где под музыку пары кружатся,—
Еще больше там сердце твое заболит,
Тучи-мысли грознее сгустятся.

Не ищи многолюдной толпы, суеты
Стоголовой толпы, что, как море,
Разливаясь, шумит,— в ней потонешь и ты,
Не потонет одно только горе.

Лучше выйди весной в лес зеленый, густой
Или в поле, где ветер смелеет,
На приволье поспорь, потягайся с бедой,—
Может, там ее ветром развеет.

Или громкую песню запой веселей,
Чтоб само засмеялося лихо,
И тогда разлучишься с тоскою своей —
И на сердце опять станет тихо...

<1891>

ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ОГНИ

Глубокая ночь изнемогших в бессилье
Под черные спрятала крылья.
Повсюду погасли огни;
Все спят в этой черной тени,
Всех властная ночь покорила.

Кто спит, кто не спит — покорись темной силе!
Блажен, кого сны посетили!
Тем снам не витать надо мной...
Вокруг все окутано тьмой.
Вокруг все молчит, как в могиле.

Дурные виденья мне душу терзали,
Казалось — не встать от печали...
Вдруг, ясным сияньем маня,
Лучи разбудили меня,—
Огни вдалеке заблистали!

Огни предрассветные, солнце пророча,
Прорезали тьму этой ночи.
Еще не вставала заря —
Они уже блещут, горя.
Их люд зажигает рабочий.

Вставайте, живые, в ком дума восстала!
Пора для работы настала!
Гони предрассветную сонь,
Зажги предрассветный огонь,
Покуда заря не взыграла.

<1892>

Из цикла
«МЕЛОДИИ»

* * *

Ночь была и тиха и темна.
Я стояла, о друг мой, с тобою.
На тебя я глядела с тоскою.
Ночь была и тиха и темна...

Ветер замер печально в саду.
Пел ты песню, я молча сидела,
Песня в сердце тихонько звенела,
Ветер замер печально в саду...

Вдалеке полыхнула зарница.
Что-то дрогнуло в сердце моем!
Словно острым пронзило ножом.
Вдалеке полыхнула зарница...

* * *

Этой песни не пойте, не надо,
Не терзайте мне сердце, друзья!
Тихо дремлет печаль в моем сердце,
Не тревожьте ее забытья.

Не узнать вам, о чем я мечтаю,
Молчалива, бледна, в тишине.
Так же горестно, так же глубоко
Эта песня рыдает во мне.

* * *

Горит мое сердце — горячая искра
Печали зажглась, опалила меня.
Так что ж я не плачу, так что же слезами
Залить не спешу ее злого огня?

Душа моя плачет в тоске неизбывной,
Но слезы не льются потоком живым.
До глаз не доходят горючие слезы.
Печаль осушает их зноем своим.

Хотела бы выйти я в чистое поле,
К земле припадая, прижаться бы к ней
И так зарыдать, чтоб услышали звезды,
Чтоб мир ужаснулся печали моей.

* * *

Вновь весна, и вновь надежды
В бедном сердце оживают,
Снова зыбкие мечтанья
Сны о счастье навевают.

О весна! Мечты-подруги!
Сны, что вечно живы!
Я люблю вас, хоть и знаю,
Как мне неверны вы!..

* * *

Гляжу я на ясные звезды,
И смутно в душе у меня,
Смеются бесстрастные звезды,
Немыми лучами маня.

Вы, звезды, бесстрастные звезды,
Не те вы сегодня, не те,
Что сладкую лили отраву,
Моей отвечая мечте.

* * *

Стояла я и слушала весну.
О, как она мне много говорила,
То пела песню звонкую одну,
То мне тихонько-тихо ворожила.

Она мне напевала про любовь,
Про молодость, про радость и печали,
Она мне все перепевала вновь,
Что мне мечты давно уж рассказали.

* * *

Я песнею стать бы хотела
В тот миг, что сияет светло,
Чтоб вольная песня взлетела,
Чтоб эхо ее разнесло.

Под самые звезды бы взвиться
Напевам звенящим моим,
На волны бы им опуститься
И слиться с простором морским.

Пускай бы звенели мечтанья
И счастья заветные сны —
Яснее, чем звезд трепетанье,
Звучнее, чем рокот волны.

* * *

Эта тихая ночь-чаровница
Покрывалом спокойным, широким
Распростерлась над сонным селом.
В небесах просыпалась зарница,
Будто в озере тихом, глубоком
Лебедь всплескивал белым крылом.

С каждым всплеском тех крыл лебединых
Сердце билось, в тоске сиротело,
Замирало в тяжелой борьбе.
Истомил меня злой поединок,
И мне песню пропеть захотелось —
Лебединую песню себе.

* * *

В ненастную тучу кручина моя собралась.
Огнями-зарницами грусть моя в ней разгулялась,
Ударила молнией в сердце,
И крупным дождем полились мои слезы.
Промчалась та непогодь-буря грозой надо мною,
Но все ж не сломила меня и к земле не пригнула.
Я гордо чело подняла.
И взором, омытым слезами, теперь я взглянула яснее,
И в сердце моем зазвучали победные песни.
Весенняя сила в душе заиграла,
Ее не сломили морозы суровой зимы,
Ее не пригнуло туманом тяжелым к земле,
Ее не разбила весны перелетная буря.
Пускай собираются новые грозные тучи,
Пускай угрожает мне огненным, острым оружьем,—
Я выйду одна против бури
И встану — померяем силу!

<1893—1894>

«НЕВОЛЬНИЧЬИ ПЕСНИ»

МАТЬ-НЕВОЛЬНИЦА

Был ясный и веселый день весенний,
К нам в комнату, в распахнутые окна,
Врывался шум потоков говорливых,
Что вниз бежали улицей нагорной,
И ветерок влетал, и, как ребенок,
Бросал он на пол со стола бумаги.
А вслед за ним влетала стая звуков,
Та песня города, что всем знакома,
Но в ней уже иные были ноты,
Весенние... Они звучали не для нас,
И не было веселья в нашем сердце,
А та весна, что за окном смеялась,

Нам принесла нерадостные слухи
И новости тюремные: в неволе
Сидит один, а тот сошел с ума,
А тот недавно вышел, но,— больной
Душой и телом,— был он арестован
Как раз в расцвете сил, надежд, мечтаний;
Над нами тоже тучей грозовою
Нависли темные угрозы власти.
Такой была для нас в тот год весна.
Сидели мы вдвоем и говорили;
Я с грустью слушала рассказ своей подруги
И бахрому рассеянно сплетала
На скатерти (подруге эту скатерть
В остроге мать когда-то вышивала).
Рассказ тот был отрывистым и тихим,
А голос от печали приглушенным;
Он скоро оборвался, как струна.
Все стихло в комнате, лишь было слышно,
Как в ней играл малыш моей подруги
И маленьким похлестывал кнутом,
На стуле сидя,— трогаясь в дорогу.
Я, глядя на него, тогда сказала:
«Ну, что же делать? Не печальтесь, друг мой,
Что, может, мы свободы не увидим,
Зато ребенок ваш ее увидит.
Что скажешь мне ты, маленький философ?»
Ребенок на меня взглянул разумно
И ясно любопытными глазами,
А мать его сказала торопливо:
«Молчите, пусть он этого не знает.
Мне помнится, еще ребенком часто
Я слышала от матери покойной:
«Как вырастешь, свободной будешь, дочка».
Она так весело и твердо говорила,
Что я поверила тогда в судьбу иную,
И верила, пока не подросла...
Так говорят и моему ребенку...
Иди играй, мой маленький, иди же!»
Ребенок вновь к игре своей вернулся,
Подруга села шить, а я — за книжку,
Наш разговор на этом был окончен...

<1895>

* * *

И все-таки к тебе лишь мысль стремится,
Край горемычный, сторона родная!
Тебя лишь вспоминая,
От скорби сердце ноет и томится.
Мои глаза видали лишь насилье
И горе, но такого не видали,
Они б над ним рыдали,
Да стыдно слез, что льются от бессилья.

Моя земля их много проливала —
В них вся страна могла бы захлебнуться.
Довольно! Пусть не льются,—
Что слезы там, где даже крови мало?!

<1895>

ВРАГАМ

(Отрывок)

...Уж те глаза, что издавна привыкли
Взор потуплять и тихо слезы лить,
Сверкают молниями, искры мечут,—
Ужель их дикий блеск вас не пугает?
И та рука, не знавшая оружья,
Что так была доверчиво открыта,
Искала только дружеской руки,
Теперь в кулак сжимается от злости,—
Ужель вам эти не страшны угрозы?
Уста, что сладко пели, что так нежно
Слова твердили кротких, тихих жалоб,
Теперь шипят от ярости, и голос
Охрипший их похож на свист гадюки.
Что, если жалом станет их язык?..

<1895>

ТОВАРИЩАМ

Как позабыть в далекой стороне
Дом неродной, что ближе был родного,
Где часто приходилось слышать мне
Всей правды обжигающее слово.

Суровые вопросы там впервые
Передо мной вставали без прикрас;
Там говорили мне борцы передовые:
«Довольно нам, надеемся на вас,
Приходит ваш черед — безвестной молодежи...
Да только кто вы, где? Скорей ответьте нам!
Ужели голоса, что так на плач похожи,
Принадлежат не слабым детям — вам?
Вы, может быть, на вызовы событий
На все хотите дать один ответ,—
Стонать, и плакать, и мечтать хотите.
А сил у вас для твердых действий нет?
Быть может, так?..» Упреки принимая,
Как у позорного столба, тогда
Стояла я, безмолвная, немая,
Не зная, что ответить от стыда...
Зачем молчите вы? Довольны ли собою,
И горькие слова не будят вас, не жгут?
Или раздавлены унылою судьбою?
Или пути иные вас влекут?
Утешьте стариков. Пускай укажет дело,
Что можем мы идти их боевым путем.
А если нет, тогда не бойтесь прямо, смело
Сказать седым бойцам: «Не ждите, не придем».

1895. София

ДРУГУ НА ПАМЯТЬ

Кто знает, милый друг, как скоро доведется
К беседам нашим возвратиться нам,
Пока от них еще так сердце бьется,
Я мысли грустные спешу доверить вам.

Припомнить прошлое — так иногда бывает —
Вы пожелаете когда-нибудь.
Ваш взгляд рассеянный мои стихи узнает,
И прихоть вам придет в них заглянуть.

Вы лето вспомните, и сад, и звезд паденье,
Высокое крыльцо, ночной наш разговор,
И наше пение, а в заключенье
Отрывистый, горячий, пылкий спор.

Признаться, не боюсь, что вспомнить вам случится
Жестокой ненависти ярый пыл.
Что ж! — ненавидеть только тот боится,
Кто никогда глубоко не любил!

Когда вы вспомните, какие муки
Борцам за правду принесли враги,—
Ведь разве не сожмутся наши руки
От жажды мщенья в кулаки?

Нет, одного боюсь,— смирится, к сожаленью,
Душа невольничья, и мстить не станет раб.
Когда б не угасала воля к мщенью,
Тогда счастливей жизнь у нас была б!

Голубки кротость, взор лучистый, ясный,
Патриция покой к лицу ли крепостным?
Бар вразумить не сможет раб несчастный
Словами — красноречием своим.

Так, мы — рабы, рабов печальней нету!
Феллахи, парии куда счастливей нас,—
В них разум не развит, их мысль не рвется к свету,
А в нас огонь титана не погас.

Мы — паралитики с горящими глазами,
Наш дух могуч, но плотью мы слабы,
Хоть крылья гордые за нашими плечами,
Но мы к земле прижаты, как рабы.

Мы собственного не имеем дома,
У нас открыто все тюремным сторожам:
И нам, оборванным и жалким, незнакома
Святая заповедь: «Мой дом — мой храм!»

У нас наука — клад, но он зарыт глубоко,
Дар — крепостной актер в театре у господ,
Смеется, шутит раб, душой скорбя жестоко,
Чтоб барский гнев смягчить, поклоны бьет.

Религия у нас известна темной славой:
Невежество и гнет жрецов Египта в ней.
Устав тюремный — вот с чем схоже наше право,
Связь родственная — нитки не прочней.

Народ наш как дитя, слепое от рожденья,
И солнца никогда он не видал,
Он для врага в огонь готов без рассужденья,
Своих вождей он палачам отдал.

Отвага наша — меч, он залит кровью,
Давно заржавевший, бряцает в ножнах он.
Так кем же увлекаемым любовью
Он может быть достойно обнажен?

Мы носим имена невольников продажных,
Не знающих стыда,— пускай и так! —
Но как же называть воителей отважных,
Которых собирал в свои войска Спартак?..

Позорно мучиться и гибнуть молчаливо,
Когда в руках у нас, хоть ржавый, все же меч,
Нет, лучше уж врагу отпор дать горделиво,
Да так, чтоб голова слетела с плеч!

17 июля 1896 г.

МИНУТА ОТЧАЯНИЯ

О, горе тем, что родились в темнице!
Что мир увидели в тюремное окно.
Тюрьма — кольцо проклятой чаровницы,
Не разомкнется никогда оно!

О, горе тем глазам, привыкшим видеть сроду
Поросший плесенью, сырой тюремный вал!
Весь мир им сер, как небо в непогоду,
Весь мир для них, как двор тюремный, мал.

О, горе узникам, приученным в неволе
Носить тяжелый ржавый груз оков,—
На волю вырвутся, но грубые мозоли
Напомнят каждому, кто он таков.

О, горе тем, с душой прямой и честной!
Когда еще им вера дорога,
Пускай попросят милости небесной:
«Пошли нам, боже, честного врага!»

О, горе нам! Пусть совести и чести
Лишимся мы, зато падет стена,
Хотя бы под обломками без вести
Пропали мы и наши имена!

16 сентября 1896 г.

* * *

О, знаю я, немало прошумит
Метелей над моею головою,
Надежд немало в сердце облетит
Зеленой, вихрем сорванной листвою.

Не раз меня обнимет, как туман,
Как чад, неверия отравное дыханье —
И в то, что мне талант судьбою дан,
И в то, что вообще есть у людей призванье.

Не раз в душе наступит перелом,
И очи глянут в бездну роковую,
И я увижу над любви челом
Изношенную шапку шутовскую.

Не раз еще в томленье упаду
Перед покрытой статуей Изиды,
Не раз я с кораблем на дно пойду,
Пока достигну новой Атлантиды.

Не раз мой голос дико прозвучит,
Как вопль среди безмолвия пустыни,
И я подумаю, что все, что взгляд манит,
Пустой мираж и нет нигде святыни.

И, может быть, не раз в проклятом сне
Напитком страшным смерть наполнит чару,
И вновь придется дни и годы мне
Не жить, а жизнь свою влачить, как будто кару.

Я знаю это и в тоске ночей
Жду: вспыхнет пламя в тех священных горнах,
Где закаляется железо для мечей
И сталь куется для боев упорных.

И если сделаюсь я сталью в том огне,
Скажите: новый человек родился;
А если я сгорю, не плачьте обо мне:
Клинок непрочный все равно б сломился!

7 сентября 1896 г.

FIAT NOX![1]

«Да будет тьма!» — сказал наш бог земной.
И стала тьма, и хаос все покрыл,
Как перед сотвореньем мира. Нет, он гуще
Был, этот хаос, и блуждали в нем
Живые души, их давила тьма.
И призраки из хаоса вставали:
Болезни злые, бедность, голод, страх,
Необычайный страх знобил всем душу,
И самым смелым становилось жутко
От воплей и голодного стенанья,
Что подымалось, как со дна морского,
Из темной и большой толпы. Казалось
Частицей хаоса толпа людская
И голосом его. Порою раздавались
Во тьме глубокой крики: «Света! Света!»
И слышался в ответ могучий голос
Земного бога с возвышенья трона:
«Да будет тьма!» И хаос вновь царил.

О, не один потомок Прометея
Живую искру с неба добывал,
И много рук тянулось к этой искре,—
Она звездой казалась путеводной,—
И рассыпалась та большая искра
На маленькие искорки другие,

---

[1] Дословно — «Да будет ночь!» *(лат.)* Леся Украинка переводит это выражение: «Да будет тьма!»

И каждый прятал искру, будто клад,
И с давних пор хранил в холодном пепле.
Она не гасла, тлела, как в могиле,
И не давала ни тепла, ни света.
А доблестный потомок Прометея
Наследовал удел печальный предка:
Изгнанье, муки, тягостные путы,
Смерть раньше срока в диком отчужденье...

И нынче так, друзья! И нынче тьма!
Эй, отзовитесь! Страшен этот хаос.
Отважный, вольный слышала я голос,
Он раздавался, как лесное эхо,—
Теперь умолк. И тишина страшнее,
Мне кажется, вдруг стала, чем была.
Друзья мои, потомки Прометея!
Нет, не орел грудь гордую терзал вам,—
То в сердце змеи лютые впились.
Вы не прикованы к той крутизне кавказской,
Что издали челом сияет снежным
И весть о Прометее подает!
Нет, вы схоронены в землянках, и оттуда
Не слышно звона кандалов, не слышно стона
И непокорных слов...

О ночи царь!
Наш самый лютый враг! Недаром ты боишься
Цепей кандальных музыки железной!
Боишься ты, что грозные те звуки
Пронзят собой и каменное сердце.
А чем же заглушишь ты дикий голос
Сплошного хаоса, и голод, и беду,
И те отчаянные вопли: «Света! Света!»?
На них всегда, как будто эхо в далях,
Отважный, вольный голос отзовется.
«Да будет тьма!» Но этого ведь мало,
Чтоб хаос заглушить, чтоб умер Прометей.
И если ты силен безмерной силой,
Последний дай приказ: «Да будет смерть!»

25 ноября 1896 г.

ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ ЛИСТКА, СОЖЖЕННОГО ДРУЖЕСКОЙ РУКОЙ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ

Горяча ты была, моя песня,
В дни, когда я впервые запела.
Очи ярким пылали огнем,
Пламя в сердце горело моем,
Я укрыть тебя в сердце хотела —
Только в нем тебе было бы тесно.
Горяча ты была, моя песня!

Так была ты тогда горяча,
Что подруга услышала зов.
Словно роза, она запылала,
И рука у нее задрожала
От встревоженных песенных слов,
Загорелась душа, как свеча...
Так была моя песнь горяча!

С давних пор моя песня простая
Горяча... Что же с нею вдруг сталось?
Слово вспыхнуло, как уголек,
И спалило заветный листок,
Только горсточка пепла осталась.
Ой, гляди, искра, вспыхнет, блистая!
Горяча моя песня простая!

26 ноября 1896 г.

* * *

Слово мое, почему ты не стало
Твердым, как сталь боевого кинжала?
О, почему ты не яростный меч,
Головы вражьи срубающий с плеч?

Верный клинок, закаленное слово,
Я из ножон тебя вырвать готова.
В грудь ты вонзишься, да только в мою,—
Вражьих сердец не пробьешь ты в бою.

Выточу, высветлю сталь о точило,
Только бы воли и силы хватило.
Будет сверкать мой клинок на стене
Всем напоказ, укоризною — мне.

Слово, оружье мое и отрада,
Вместе со мной тебе гибнуть не надо,
Пусть неизвестный собрат мой сплеча
Метким клинком поразит палача.

Лязгнет клинок, кандалы разбивая.
Гулом ответит тюрьма вековая.
Встретится эхо с бряцаньем мечей,
С громом живых, не тюремных речей.

Пусть же в наследье разящее слово
Мстители примут для битвы суровой.
Верный клинок, послужи смельчакам
Лучше, чем служишь ты слабым рукам!

25 ноября 1896 г.

* * *

Когда умру, на свете запылают
Слова, согретые моим огнем,
И пламень, в них сокрытый, засияет,
Зажженный в ночь, гореть он будет днем.

И тот придет, о ком я так мечтала,
Чей образ дорог сердцу моему.
«Она тебе огонь свой завещала»,—
Его узнав, так скажут все ему.

Он гордо скажет: «Нет!»—и гордо взгляд подымет,
И гордо прочь пойдет, не посмотрев назад.
Как и всегда, он и теперь не примет
Притворных слов, что люди говорят.

Летите, песни вольные, далеко,
Летите вслед за ним в ночи и днем,
Побудьте с ним в жилище одиноком
И все, как есть, поведайте о нем.

Когда любимый с гордостью былою
И в одиночестве откажется от нас,

Тогда, о песни, пусть в гробу со мною
У сердца моего схоронят вас.

Когда ж с печалью он и с горькими словами
Припомнит прежнюю, забытую любовь,
Тогда, о песни, мы навек простимся с вами,
Расстанемся, а вы к нему летите вновь.

28 декабря 1896 г.

ТОВАРИЩУ

Вы меня вспоминаете ль в нашей тюрьме,
Как я вас вспоминаю, больная?
Мы, подобно растеньям в тумане и тьме,
Оба вянем, простора не зная.

Ох, судьбы моей тягостен мне произвол,
А приятель меня утешает,
Говорит, что мой случай «не так уж тяжел,
Что с другими похуже бывает».

Хоть советчики искренни — скучны они,—
Их унылые речи напрасны.
Им ли знать, как без солнца убийственны дни,
Как безлунные ночи ужасны!

И вернее болезни, неволи вернее
Эта страшная мысль убивает,
Хоть и тешит она, убеждая людей,
«Что с другими похуже бывает»,

Если б слезы мы пили из чаш круговых,
Если б чашами мерили горе,
Хоть бы выпили тысячи кубков таких,
Слез осталось бы целое море.

Если б тысячи тысяч венков мы сплели
Для работников слова и дела
И на эти венки ветки терна пошли,
Все бы роща его уцелела.

19 января 1897 г.

* * *

Упадешь, бывало, в детстве,
Руки, лоб, коленки ранишь,—
Хоть до сердца боль доходит,
А поморщишься и встанешь.

«Что, болит?» — большие спросят.
Только я не признавалась.
Я была девчонкой гордой —
Чтоб не плакать, я смеялась.

А теперь, когда сменилась
Фарсом жизненная драма
И от горечи готова
С уст сорваться эпиграмма,—

Беспощадной силе смеха
Я стараюсь не поддаться,
И, забыв былую гордость,
Плачу я, чтоб не смеяться.

2 февраля 1897 г.

Из цикла

«КРЫМСКИЕ ОТЗВУКИ»

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА

Не сетуйте, друг, что стихом отвечаю ленивым.
Рифмы, дочери трудных ночей, покидают меня,
Смутной волною размер набегает,
О преграду ничтожную вдруг разбиваясь внезапно,—
Не ищите вы в нем понапрасну девятого вала,
Могучей волны, что качается в такт с океанским теченьем.
Раздумье теперь навевает мне Черное море —
Дико, неверно оно, ни закону, ни ладу не знает.
Все играло-шумело вчера
При ясной, спокойной погоде,

Сегодня же тихо и ласково шлет к берегам свои волны,
Хоть ветер и гонит неистово тучи седые.
Так вот всегда и лежала б я рядом с живою водою.
Смотрела б, как щедро бросает она жемчуга-самоцветы
На прибрежные камни;
Как тени цветные от туч золотистых
Идут, серебрясь, голубою равниной
И вдруг исчезают;
Как белая пена слегка розовеет,
Как будто красавицы облик стыдливый;
Как горы темнеют, покрытые белою дымкой;
Они так спокойно стоят,—
Ведь их стережет колоннада немых кипарисов,
Высоких и важных.

. . . . . .

Я только что вновь прочитала
Ваш сильный, как будто бы сталью окованный,
Вооруженный ваш стих.
Чем заплатить я могу вам теперь за него?
Сказку хотя б расскажу, а «мораль» выводите уж сами.

Торной дорогой крутой
Мы поднимались на взгорья Ай-Петри.
Вот уж проехали мимо садов виноградных кудрявых,
Что, как прекрасный ковер, все подножье горы покрывают,
Вот уже лавров, любимых поэтами,
Пышных магнолий не видно,
И ни прямых кипарисов, густо обвитых плющом,
И ни шатрами нависших платанов.
Только встречали мы ветви знакомые белой березы,
Яворов, темных дубов, к непогоде и к бурям привычных.
Но и они уж остались далеко за нами.
Чертополох, да полынь, да терновник росли у дороги.
Скоро их тоже не стало.
Мел да песок, красноватые, серые камни
Висли над нашей дорогой, бесплодны и голы,
Будто льдины на северном море.
Сухо, нигде ни былинки, все камни кругом задушили,
Словно глухая тюрьма.
Солнце горячие стрелы на мел осыпает.
Пылью швыряется ветер.
Душно... Ни капли воды... Словно это дорога в Нирвану,
Страну побеждающей смерти...

Но вот в высоте
На остром, на каменном шпиле блеснуло вдруг что-то
как пламя,—
Свежий, прекрасный, большой цветок лепестками
раскрылся,
И капли росы самоцветом блестели на дне.
Камень пробил он собой, тот камень, что все победил,
Что задушил и дубы,
И терновник упрямый.
Этот цветок по-ученому люди зовут Saxifraga,
Нам, поэтам, назвать бы его «ломикамень»
И уваженье воздать ему больше, чем пышному лавру.

1897. Ялта

МЕЧТЫ

В раннем детстве нас прельщают
Чудеса и необычность.
Я любила в раннем детстве
Были рыцарского века.

Только странно, что не принцы,
Окруженные загадкой,
Не прекрасные принцессы
Разум мой очаровали.

Был мне дорог на картинках
Не надменный победитель,
Что, соперника повергнув,
Грозно требует: «Сдавайся!»

Нет, мой взгляд спускался ниже,
На того, кто, распростертый,
Рыцарским копьем пронзенный,
Говорил: «Убей — не сдамся!»

Не казался мне прекрасным
И отважный пышный рыцарь,
Добывающий оружьем
Неприступную красотку.

Очаровывали сердце
Пленниц смелые ответы:
«Можешь ты меня прикончить —
Жить меня ты не заставишь!»

Дорогие годы детства
Пронеслись водой весенней,
Только шум воды весенней
Не забудется вовеки.

Он бессонными ночами
Надо мною раздается,
Так причудливо сплетаясь
С жарким бредом лихорадки.

Потолок над головою —
Как готические своды,
А на окнах — как решетки,
Веток призрачные тени.

Сквозь отверстия решетки
Красноватый свет пробился;
Что там — уличное пламя
Или отблески пожара?

Что шумит, не затихая,
Беспорядочно и глухо?
То в крови шумит горячка
Иль то битва за степами?

Я сама ли застонала
От внезапной лютой боли?
Или стонет пленник рыцарь,
Изнывающий от раны?

«Эй, откликнись! Кто тут в замке?
Чье живое сердце бьется?
Другом будь, взойди на башню,
Погляди на поле битвы.

Погляди на поле битвы
И скажи: за кем победа?
Все ли вьются над полками
Наши славные знамена?

Если нет — сорву повязки!
Пусть ручьями кровь польется,
Шлю проклятье жалкой крови,
Не за родину пролитой!

Нет, я слышу наши клики!
Вот они звучат все громче...
Завяжите туже раны!
Жалко кровь терять напрасно!..»

Так ребяческая греза
Бушевала в лихорадке.
А теперь?.. Прошла горячка,
Но мечты не исчезают.

Мне не раз еще приснится,
Будто я в плену постылом
И невидимой рукою
Я окована цепями.

Будто верный меч не сломан,
Будто он в руках остался,
Только тяжкие оковы
Не дают рукою двинуть.

А вокруг темно и тихо,
Не шумит горячка в жилах,
И не слышен издалека
Дикий гомон с поля битвы.

Так и хочется мне крикнуть,
Точно рыцарь детской грезы:
«Жив ли кто? Взойди на башню,
Посмотри вокруг далеко!

Посмотри: видны ли в поле
Наши честные знамена?
Если нет, то жить не стоит —
Пусть же мне откроют вены!

Пусть ручьями кровь польется,
Пусть умру я тут, на камнях,
Шлю проклятье жалкой крови,
Не за честный стяг пролитой!»

18 ноября 1897 г. Ялта

ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ

(Драматическая сцена)

Действие происходит в Тавриде, в городе Партените, перед храмом Артемиды Тавридской. Местность у моря. Море образует залив у скалистого берега. Побережье оголено и покрыто дикими серо-красными скалами; выше, по склонам гор, буйная растительность: лавры, магнолии, оливы, кипарисы, образующие целую рощу. Высоко над обрывом небольшой полукруглый портик. Всюду по склонам гор между деревьями белеют лестницы, которые спускаются к храму. Слева, на самой сцене, большой портал храма Артемиды с дорической колоннадой и широкими ступенями. Недалеко от храма, между двумя кипарисами,— статуя Артемиды на высоком двойном пьедестале: нижняя часть пьедестала представляет собой большой выступ в виде алтаря, на выступе горит огонь. От храма к морю идет дорожка, выложенная мрамором. Она спускается к морю лестницей. Из храма выходит хор девушек тавридских в белых одеждах и зеленых венках. Девушки несут цветы, венки, круглые плоскодонные корзины с ячменем и солью, амфоры с вином и маслом, чаши и фиалы. Девушки украшают пьедестал статуи цветами, венками и поют.

Хор девушек

Строфа

Богиня таинства, благая Артемида,
Хвала тебе!
Хвала тебе, недостижимо ясной,
Как свет луны!

Антистрофа

Горе тому, кто увидеть отважится
Гордой богини нагую красу,
Горе тому, кто руками нечистыми
Тронуть одежды богини дерзнет,—
Тени, сплетенные лунным сиянием,
Будут прекрасней, чем образ его,
Скорбная мать, на него поглядевшая,
Сына родного не сможет узнать.

Строфа

Могучая защитница Тавриды,
Хвала тебе!
Хвала тебе, неумолимо-сильной
Богине стрел!

Антистрофа

Горе тому, кто словами бесчестными
Грозной богине обиду нанес,
Горе тому, кто не склонит в покорности
Гордую голову, падая ниц.

Лунному свету добраться немыслимо
До глубины океанского дна,
Но Артемиды стрела неизбежная
Сердце безумца сразит наповал.

Из храма выходит Ифигения в длинной белой одежде с серебряной диадемой на голове.

Строфа

Идет любимая богини жрица —
Поем ей честь!
Поем ей честь! Ее сама богиня
Нам привела.

Антистрофа

Из неизвестного края, далекого
Нам Артемида ее привела,
Все в этой девушке тайной окутано —
Род ее, племя и имя само.
В роще священной мы в ночь Артемидину
Жертвенный там совершали обряд,
И показала нам в лунном сиянии
Девушку эту богиня сама.

Тем временем Ифигения берет большую чашу у одной девушки и фиал у другой; третья девушка наливает в чашу вино, четвертая — масло в фиал. Ифигения выливает вино и масло в огонь, потом посыпает алтарь священным ячменем и солью, беря их из корзин, которые подают девушки.

Ифигения
(принося жертву)

Чутко внемли мне, богиня,
Слух свой ко мне обрати!
Жертву вечернюю я приношу, благосклонно прими!
Ты, что выводишь на путь мореходов по волнам бушующим,
Наши сердца освети!
Пусть же, тебя прославляя, предстанем мы,
Сердцем, и телом, и мыслями чистые,
Перед твоим алтарем!

Хор

Слава тебе!
Сребропрестольная
И осиянная,
Дивно-могучая,
Слава тебе!

Ифигения

Ты, победившая, стрелами ясными
Ночи враждебную тьму разогнавшая,—
Нам свою милость пошли!
Темные чары, Эребом рожденные,
Нам помоги побороть!

Хор

Слава тебе!
Сребропрестольная
И осиянная,
Дивно-могучая,
Слава тебе!

Ифигения отдает девушкам чашу и фиал, делает знак рукой, и девушки уходят в храм. Ифигения ворошит костер на алтаре, чтобы он горел ярче, поправляет на себе украшения.

Ифигения
(одна)

Ты, Артемида, богиня-охотница,
Чести девичьей защитница верная,
Помощь свою нам пошли!..
(Падает на колени перед алтарем и в отчаянии простирает руки к статуе.)
Прости меня, великая богиня!
Устами я произношу слова,
А в сердце нет их...
(Встает, отходит от алтаря и смотрит на море.)
В сердце только ты,
Единственный, родной мой, край любимый!
Все, все, чем красен век людской короткий,
Осталось далеко, в моей Элладе.
Любовь и молодость, семья и слава
Покинуты за дальними морями,
А я одна чужая на чужбине,
Как тень, давно забытая родными,
Блуждающая по полям Гадеса,
Печальная и призрачная тень...
(Поднимается по ступеням портала и прислоняется к колонне.)
Одно пристанище — холодный мрамор!
Я, помню, часто голову склоняла
На лоно матери моей любимой

И слушала, как ровно билось сердце...
Я так любила обвивать руками
Высокий юношеский стан Ореста,
Золотокудрого родного брата...
Латоны дочь, сестра родная Феба!
Прости воспоминания рабыне...
О, если б ветры принесли мне вести,
Как там живет мой царственный отец,
Как мать родная... А сестра, Электра,
Повенчана, наверно. А Орест?
Должно быть, он на играх олимпийских
Венки стяжает. Как блестит красиво
Оливы серебристая листва
На златокудрой голове Ореста!
Наверно, ты не в беге победитель —
В метанье диска... Ахиллес всегда
Награду брал за состязанье в беге.
Он жив, мой Ахиллес!.. Теперь не мой,—
Там эллинка иль пленная троянка
Зовет его своим... О Артемида,
Спаси меня ты от меня самой!

(Спускается по лестнице и садится на последней ступени, под кипарисом.)

Как грустно зашумели кипарисы!
Осенний ветер... Скоро будет зимний
По этой роще зверем завывать,
Закружится метелица над морем,
И небо с морем в хаосе сольются!
Я у огня скупого стану греться,
Недужная душой, больная телом,
А там, у нас, в далекой Арголиде,
Где расцветает вечная весна,
Там девушки аргосские пойдут
Фиалки собирать и анемоны,
И может... может, песни пропоют
О славной Ифигении, что рано
Погибла за родимый край... О Мойра!
Зачем тебе, суровой, грозной, надо
Глумиться так над бедными людьми?
Стой, сердце, ты безумно! Стихни, гордость!
Не нам же, смертным, на богов идти?
Не нам бороться против грозной силы
Карателей земли и громовержцев?

Из глины мы сотворены... Но кто же
Вложил в нас душу и святой огонь?
Ты, Прометей, оставил нам наследство,
Большое, незабвенное! Ту искру,
Что ты для нас похитил на Олимпе!
Огонь ее горит в моей душе,—
Он дышит буйным пламенем пожара,
Он осушил мои девичьи слезы
В тот час, когда я смело шла на жертву
За честь и славу родины — Эллады.
Вы, эллинки, что слезы проливали,
Когда пришлось меня на смерть вести,
Теперь не плачете, что ваша героиня
Напрасно и бесславно угасает?

(Становится перед алтарем.)

Зачем же ты спасла меня, богиня,
В далекую чужбину завела?
Кровь эллинки была тебе потребна,
Чтоб загасить твой гнев против Эллады,—
Но кровь мою пролить ты не дала,
Возьми ее — она твоя, богиня!
Пускай не обжигает жил моих!

(Достает из-за алтаря жертвенный нож, отбрасывает плащ и заносит нож над сердцем, но быстро опускает его.)

Так поступить потомку Прометея?
О нет! Кто мог идти на смерть отважно,
Тот должен все с отвагою принять.
Когда для славы родины, Эллады,
Нужна такая жертва Артемиде,
Чтоб Ифигения жила в изгнанье
Без имени, без славы, без семьи,—
Пусть будет так.

(Печально опустив голову, идет к морю, останавливается на верхней ступени лестницы, ведущей к морю, и некоторое время смотрит вдаль.)

Аргос! В родных стенах
Я б умерла охотней во сто крат,
Чем здесь томиться! Водами Стикса, Леты
Не угасить мечты о родине моей!
Да, тяжело наследство Прометея!

(Спокойной и медленной поступью удаляется в храм.)

15 января 1898 г. Villa Iphigenia

ЗИМНЯЯ ВЕСНА

Тихо, тепло. Неужели и вправду весна?
Небо порой загорается отблеском ясного лунного света,
Золотом и серебром озаряются тучки;
Только прозрачная тучка окутает месяц —
Сразу он в ней засияет, как радуги отблеск далекий.
Звезды меж тучками водят свои хороводы,
Снег на вершине горы ослепительно блещет,
Так что мне кажется, будто огни маяка засветились;
Залиты крыши домов серебристым сияньем,
Резкою тенью очерчен балкон с балюстрадой,
А кипарисы стоят у балконов, как башни высокие замка;
Словно литые, тяжелые листья магнолий
Скованы сном, недвижимы;
Тени латаний на мраморный пол прихотливо упали.
Лавры стоят зачарованно, как неживые молчат.
Тихо в саду, затихает и город, уж поздно.
Редкие окна домов городских еще светят
Золотом красным. Вокруг все затихло;
Горный поток в темноте, словно мельничный жернов, шумит;
Еле доносится песня далекая и замирает...
Редко по улице люди проходят беззвучно, как тени;
Море далекое ластится нежной мечтою.
Легкий туман кисеей укрывает уснувшие долы.
Тихо... тепло... Не могу я ни спать, ни работать.
Все по балкону хожу своему. Он высокий и длинный,
Как пароходная палуба. Вижу я горы,
Неба широкий простор и далекое море.
Мыслям отсюда легко разлетаться по свету...
Так и ходила я взад и вперед; мои мысли сновали,
Словно на ткацком станке, когда нить оборвется и снова
сплетется.
Часто летели мечты мои в край дорогой и родимый —
Снегом покрытый, закованный льдами, лежит он вдали,
за горами.
Горы иные привиделись мне. Там дома, переулки,
Та же луна освещает сейчас этот город сиянием ясным.
Кто там спит? Кто не спит? И чьи светятся окна?..
Вспомнилось вдруг почему-то мне старое мрачное зданье,
Тяжкий замок на воротах, и стража у крепкой ограды,
А за оградою — вы, мой товарищ, в каморке тюремной.
Может быть, спать не удастся вам в эту минуту?

Может быть, та же луна освещает холодные стены
Светом тоскливым и бледным? Вы, может, в окно посмотрели
И при луне увидали дома, переулки и горы...
Нет, не могу я ни спать, ни работать. Как ночь и ясна и длинна!
Быстро ушла я с балкона и крепко захлопнула двери.
Тяжко мне стало в саду, зачарованном ночью.
Дрогнули звезды внезапно, и небо померкло,—
Может, туман их закрыл, или взор у меня помутился...

1898. Ялта

* * *

(Памяти С<ергея> М<ержинского>)

...На полуслове разговор прервался,
И в сердце — словно лопнула струна,
Но все еще трепещет. Звук отдался.
Могильным холодом душа полна.

Тоска, тяжелыми отгрезив снами,
Встает огромная, как туча пред грозой,
Зажглась печаль, и яростное пламя
Взвилось пожаром, бурей огневой.

Пожар тот мог бы силу дать народу,
Казнить тиранов, сжечь Бастилию и трон
И вырвать из оков прекрасную свободу,—
Во мне слова, слова рождает он!

Товарищ! Не могу хранить молчанье,
Отмечена таким проклятьем я:
Встречаю словом каждое страданье,
Звонка тоскующая мысль моя.

Не заглушат часы глухонемые
Звучащих дум, они звенят, звенят...
Так руки узников подвижны, чуть живые,
Когда на них оковы загремят.

Там, где на всех устах лежит печать молчанья,
Где скованы проклятья и хулы,
Там, где удушены и песни и рыданья,
Глухих и спящих будят кандалы.

Пускай гремят они слышней, жесточе,
Не буду заглушать. О, если бы могли
Они в сердца людей ударить что есть мочи,
В сердца людей, что мохом поросли.

Чтоб услыхали все о тех, кто носит цепи,
Кто терпит лютые побои палачей,
Кто, замурованный в острожном склепе,
Проклял безлюдье каменных ночей;

О, если б звон оков мог поразить, могучий,
Те заспанные, вялые сердца,
Покрыть стыдом чело, не ведавшее тучи,
Напомнить всем, что ждет оружие борца.

О, если б поднялось оружие для боя
И загремело так, чтоб дрогнула земля,—
Умолк бы звон кандальный сам собою
И слов таких бы не сказала я...

14 июля 1898 г.

ЗАБЫТАЯ ТЕНЬ

Суровый Дант, изгнанник флорентийский,
Встал предо мной из тьмы средневековья.
Как время то, его суровы песни.
Он их нашел в мистическом лесу,
Средь хаоса чудовищных видений.
Чей дух за ним бы следовать решился
По темным дебрям, если бы средь терний
Там не росли роскошные цветы?
Собрал певец рукою их любовной,
Сплел их в венок, душистый несказанно,
Росой небесной окропил его
И положил на раннюю могилу
Прекрасной Беатриче Портинари,
Что раз ему когда-то улыбнулась,
А раз прошла, не кинув даже взгляда,
А в третий раз, когда ее он видел,
Она в гробу недвижима лежала...
Но для него она была как солнце,

Что щедро льет и свет, и жизнь, и радость,
Не ведая, кому дарует их.
И хоть навек певцу погасло солнце,
Он не забыл его ни в тьме подземной,
Ни дома, у семейного огня:
Она одна царит в его терцинах,
Ибо в краю, где он витал душою,
Он не нашел себе иной подруги.
Он увенчал ее такою славой,
Какой не знала ни одна из женщин,
Века живет ее нетленный образ,
И смерть могучая над ним бессильна.
Зачем же ты, мое воображенье,
Передо мной упорно вызываешь
Иную тень, неясную, как сон?
Над нею нет сиянья, нет венца,
Ее лицо окутано туманом,
Как серым покрывалом... Кто она?..
Молчат о ней художников созданья
И песни звонкие поэтов. Где-то,
На самом дне истории, лежит
О ней немая память. Кто она?..
Кто?.. Дантова жена. Лишь это имя
Осталось нам, как будто от рожденья
Другого имени она не знала.
Она ведь не была звездою путеводной,—
Она сама, как тень, пошла за тем,
Кто был вождем «Италии несчастной»,
Делила с ним тяжелый «хлеб изгнанья»,
Его очаг домашний охраняла
В скитаньях на чужбине. И не раз
Его рука усталая ложилась
К ней на плечо, ища опоры. Слава
Поэта дорога была ей, но
Она ни разу рук не протянула,
Чтоб взять себе хотя бы луч один.
Когда ж погас огонь в очах поэта,
Она закрыла их благоговейно.
Она жила. Но где же жизнь ее,
Ее печали, радости, томленья?
История молчит. Но в мыслях вижу
Я много дней тоскливых, одиноких,
Исполненных тревоги ожиданья,

И тьму ночей, бессонных, как забота,
И горьких, как нужда. Я вижу слезы.
По тем слезам, по той росе жемчужной
Прошла к престолу славы Беатриче.

25 октября 1898 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мечта далекая, надежда золотая —
Моя страна, к тебе стремлюсь душой,
Страшусь и радуюсь, высоко залетая...
Так птицы возвращаются домой.

Не кажется ли им, что в край родной с собою
Они иные песни принесут,
Что песни новые над темной их землею
Светлее молний в небе расцветут?

Уже бывало так...: Уже не раз бывало:
Искала я надежд в стране чужой —
На родине моей их слишком не хватало,
И силы не хватало молодой.

И все же вновь и вновь о миге возвращенья
Я грезила в далекой стороне,
Но долгожданные, желанные мгновенья
Одни лишь тернии дарили мне:

Я стражу видела, оружие блестело,
Была граница хмурой каждый раз...
И сердце вновь и вновь задать вопрос хотело:
«К родным мы едем иль ссылают нас?»

Вокруг опять была знакомая сплошная
Родной неволи старая стена.
И мысль свободная, как будто крепостная,
Бледнела вдруг, на скорбь обречена.

И мести ангел злой, суровый дух темницы,
Глазами жгучими пронзал меня,
Высокие мои мечтания орлицы
Своим неправедным мечом гоня.

Обезображены мои напевы были,
Те песни, что манили новизной,
И мысли в ужасе метались и скользили,
Как бабочки ночные над свечой.

Как в голой роще в дождь, не раз мне было скверно,
Мне было горестно и тяжело,
Я содрогалась вся, как в темноте безмерной.
И сердце слезы вновь и вновь лило.

И на чужбину я мечтала возвратиться.
Там — вечная весна, казалось мне.
Так перелетная в неволе грезит птица
В дни осени о юге и весне.

5 июня 1899 г.

* * *

Как я люблю часы моей работы,
Когда кругом все затихает вдруг,
Все сковано очарованьем ночи,
И только я одна, непобедима,
Торжественную службу начинаю
Перед моим незримым алтарем.
Летят минуты — я им не внимаю,
Вот полночь бьет — работы лучший час,—
Так звонко бьет, что тишь затрепетала,
Быстрей в моих руках забегало перо.
Идут часы. Куда они несутся?
И ночь осенняя мне кажется короткой;
Ночное бденье не страшит меня,
Оно мне не грозит, как некогда грозило
Неверною и черною рукою,
А манит ласково, как юное виденье,
И сладко так, и сердце счастьем бьется,
И мысли расцветают, как цветы.
Как будто кто-то надо мной склонился
И говорит волшебные слова,
И сразу будто вспыхнет пламя,
И молниями мысли озаряет.

Перед рассветом ночь еще чернее,
Пора и свет гасить, чтобы его
Рассвет не пристыдил своим сияньем.
Погаснет лампа, но глаза пылают.
Когда же сумерки в окно тихонько
Заглядывают серые и вещи
Вдруг начинают выступать из мрака,
Меня внезапно побеждает сон.
А утром в зеркале своем я вижу
Глаза усталые и бледное лицо,
И в памяти тревожно промелькнет
Знакомая мне с детских лет легенда
Про «перелесника». Бывало, говорила
Нам, малым детям, старая бабуся:
«Жила-была беспечная девица...»
Про девушку беспечную, что долго
За прялкой перед праздником сидела
И не молилась, просьбам не внимая,
И не ложилась спать. И вот за то
К ней по ночам являлся «перелесник»,
Не призраком являлся и не бесом,—
Влетал в окно падучею звездою
И превращался в стройного красавца,
Пленявшего речами и глазами.
Он дорогие приносил подарки,
Дарил ей ленты, убирал цветами,
Невестой звал и косы расплетал ей,
Речами нежными он отравлял ей сердце,
И поцелуями он душу вынимал.
Чуть раздавался возглас петушиный,
Вдруг исчезал коварный «перелесник»,
И девушка, в цветах вся, засыпала
Сном каменным. А после целый день
Ходила бледная, как привиденье,
И все ждала, чтоб вновь настала ночь,
Чтоб с «перелесником» опять вести беседу,
А те беседы кончились бедой...
— Да кто ж, бабуся, был тот «перелесник»? –
Старуху спрашивала я. Она
Всегда крестилась только, повторяя:
«Да не в дому и не при малых детях,
Не при святом бы хлебе называть.
Не думай на ночь ты о нем,— приснится!»

И я тебя послушалась, бабуся,
И никогда не думаю я на ночь
Про «перелесника», лишь зеркало мое
Мне про него напоминает утром.

19 октября 1899 г.

Из цикла
«НЕВОЛЬНИЧЬИ ПЕСНИ»

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

I

В дни, когда был Израиль врагами пленен,
Сыновей его в рабство угнал Вавилон
И, поникнув главою, былые борцы
Шли в цепях — победителям строить дворцы.
Эти руки, что храм охраняли святой,
Напряглись исполински в работе чужой.
Эта мощь, что в сраженьях тщетной была,
Несказанные стены твердынь возвела.
Все, кто знали какое-нибудь ремесло
И могли хоть лопату держать иль тесло,
Многобашенных стен воздвигали венец...
Только арфу на иве повесил певец.

2 декабря 1899 г.

II

Йеремия, зловещий провидец в железном ярме!
Видно — бог твое сердце из твердого создал кристалла:
Ты провидел, что гнить будет брат твой во вражьей тюрьме,—
Как же сердце твое жалость лютая не растерзала?

Как дождаться ты мог, что исполнится слово твое?
Стрел кощунственных облако вдруг над святыней взлетело,–
Верно — чарами ты защитил тогда сердце свое,
Так что вражьи на нем изломались каленые стрелы!

И когда на развалинах храма сидел ты один,
Капли слез твоих камень холодный насквозь прожигали...
Эхо стоном своим отвечало средь скорбных руин,
Так что дальние внуки их отзвук живой услыхали.

Иеремия, печаль твоя в тысячелетьях поет...
Как же сердце твое жалость лютая не растерзала?
Ведь горячий источник утесы гранитные рвет,—
Значит, сердце твое из алмазного было кристалла!

2 декабря 1899 г.

ЭПИЛОГ

Печально вас иль радостно читать,
Великой драмы скорбные рассказы?
То хочется над вами зарыдать,
То, вне себя, и петь и плакать разом.

Как будто шел блестящий карнавал,
Свободы пиршество границ не знало,
Казалось, налетел девятый вал
И море бурею загрохотало.

Девятый грозный вал! А в глубине —
Вздыхало море всею бездной черной,
Но гребни ввысь вздымались на волне,
Дыша огнем и силой необорной.

Сплошным пожаром вал на гору наступал,
Упрямой глыбою гора стояла,
Холодной и немой. Разбился вал,
Утихла буря, и валов не стало.

Осталась только пена здесь и там,
Да камешки бессильно тарахтели.
Несчастные! Прибрежный этот хлам
Ни море, ни гора принять не захотели.

Девятый вал... То не вода была,
Стекающая каплями по глыбе,—
То соль земли, то молодость ушла
На смерть свою, на верную погибель.

Живою в гроб ложилась молодежь,
Бесстрашия улыбку обнаружив.
Не так ли в Индии и ты, вдова, идешь
В огонь костра вслед за умершим мужем?

Поднявши чару, молода, хмельна,
Идешь в огонь ты к мужу на свиданье.
Ведет тебя огонь иль просто чад вина
На огненное бракосочетанье?

О, как искристо было то вино,
Что молодых героев опьяняло!
По жилам разливалося оно
И с непривычки кровь воспламеняло!

Оно пьянило буйною мечтой,
Святою верой, молодости пылом.
Кто б не пошел, его отведав, в бой,
Кого б кипенье волн не захватило?

Что — слезы иль венки должны нести мы вам,
В расцвете сил погибшие герои?
О, если б было суждено и нам
Сжечь молодость свою и лечь на поле боя!

Удел наш был иным. Былые дни
Своей весны встречали мы уныло;
Тогда как раз погасли все огни
И море пена белая покрыла.

А камешков однообразный зов
Лишь навевал усталость и досаду;
Час оргий минул, не было венков,
И для вина не стало винограда.

Мечи давно заржавели, других
Не выковали молодые руки,
Все мертвые — в земле, а у живых
Не боевой учились мы науке.

Смолк карнавал; от тех, кто пил вино,
Для нас осталось тяжкое похмелье.
Нам, рыцарям незнатным, суждено
Свой пир справлять без шума и веселья...

О вы, что жизнь свою сложили тут
В предутренние ранние морозы,—
Потомки вам на гроб венков не принесут,
Вам не цветы к лицу, а только слезы!

18 августа 1900 г.

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА

Я помню, что тогда семь лет мне миновало,
А ей, наверно, было двадцать лет.
Сидели мы в саду. Цвело все, расцветало,
С каштанов осыпался белый цвет.

Ничем она меня тогда не забавляла,
Мне все забавы были далеки.
Мне б только с нею быть,— она же знала
Одну забаву лишь — плести венки.

Я подавала листья ей, цветы и травы,
От рук ее не отводя очей.
Казалось, что плела она не для забавы,
А чтоб оправу сделать для речей.

В ее речах слова, как волны, набегали,
Как слезы о ее замученных друзьях,—
Казалось, что цветы, бледнея, увядали,
И скорбные слова немели на устах.

И вновь срывались с губ, как гневные угрозы,
Как приговор всем тем, кто пролил кровь,
И дикие в венке, как кровь, пылали розы,
И, как цветы, слова пылали вновь.

Шумел зеленый сад, а голос пел любимый
О воле золотой весенним днем,
И ряст в венке цвел красотою дивной,
И песни золотым лились дождем...

Давно уже прошло все, что когда-то было,
Тех слов призыв горячий отзвучал.
Наверно, и она о них забыла:
Кто помнит о венках, что в юности сплетал?

И я забыла их, не вспомню даже слова
Из тех бесед в далекие года,
Лишь цвет, звучанье их нежданное, мне снова
Волнует кровь теперь, как и тогда.

Те звуки не умрут, не онемеют,—
Всегда, как только лист от ветра зашумит
Или цветы на солнце запестреют,
Мелодия внезапно зазвучит.

Как будто звуки те на страже встали.
Чтоб душу каждый миг будить от сна,
Чтоб только розы в сердце не увяли,
Покуда вновь не зацветет весна.

9 июля 1900 г.

ВЕЧЕ

И старость не пришла еще, а часто
Минувшее встает перед глазами;
И всматриваюсь я в него, как будто
Боюсь, что я уж больше не увижу
Моих воспоминаний светлый сад,
Что красовался пестрыми цветами,
В лучах мечты, как при закатном солнце,
И вновь встает воспоминанье детства,
Зовет меня: «Взгляни еще хоть раз!»

Мы во дворе разрушенного замка
Сошлись на вече важно и степенно,
Все гладкие, кудрявые головки
И возрастом не маленькие: если б
Сложить все годы — вышло бы столетье,
Мы собрались все вместе, все двенадцать,
Мы были осмотрительны и знали,
Что мы живем в небезопасный век:
И у ворот поставили мы стражу,
Чтоб, если кто придет, предупреждала.
Совет держали мы. Союз наш тайный
Закладывали мы, куда совсем
Не получили доступа большие.
Торжественно мы дали обещанье,
Что до конца хранить мы будем тайну.

Какую ж цель себе союз поставил?
Какую цель? «Большим» не обойтись бы,
Наверно, без нее; у нас, однако,
Той цели не было, была отвага,
Решительность, а может, героизм,—
И с нас довольно было. Вместе с нами
Была и маленькая Жанна д'Арк:
Вся тоненькая, беленькая, голос
Звенел звоночком, а ее глазенки
Зарницы голубые рассыпали,
И золотые кудри развевались,
Как орифламма. Мы ее считали
Оратором необычайной силы.
Она сидела в замковой бойнице,
Как будто в нише, и вокруг нее
Весеннего так много было неба
В той раме каменной; венцом лучей
Ее головку золотило солнце,
Она держала речь, и в ней так много
Больших по смыслу, важных слов звучало:
Свобода, братство, равенство, наш край...
Вот так все это было. Дальше речь
Сменил напев, и сразу все собранье
Его единодушно подхватило.
А песни были «красные» такие,
Каких еще не слышал старый замок

И в дни, когда кровь красная ему
Не раз окрасила седые стены,
«Каленые ножи» в тех песнях были,
А в сердце у певцов была любовь
Ко всем «большим», что малыми считались
На жизненном пиру. Напев летел
За стены за зубчатые, катился
Зелеными лугами, прямо к речке,
Как будто плыть хотел он по теченью
К тем бедным селам, что вдали виднелись...

От стен высоких замка тень с зубцами,
Все удлиняясь, двор собой накрыла,
В бойнице небо стало темно-синим,
Не стало и веночка золотого
На голове малютки Жанны д'Арк.
А мы все пели... Вдруг нам наша стража
Знак подала: «Домой спешите, гуси.
Волк за горой!» И все затихло мигом:
«Большие» шли!.. А мы, к стене прижавшись,
Смотрели, как нескладные фигуры,
Шатаючись и пишучи «мыслете»,
Блуждали долго во дворе у замка,—
«Большие» расходились из гостей.
Ой, видно, долог был и труден путь,
Что во дворе они заночевали...

И тайный сход наш разошелся тайно;
Шагали ножки маленькие тихо
В вечерней тьме; никто не отзывался,
Сжимали руки на прощанье молча
И за стеной все порознь разошлись...

Где вы, мои товарищи былые?
Мы разошлись, как по лесу тропинки.
И разве не припомнится вам замок,
Все наши речи, песни, наша тайна?
Иль, может, вам, «большим» и мудрым людям,
Теперь уже не до ребячьих грез?

10 августа 1901 г.

«РИТМЫ»

1

Вы, слова мои громкие, где вы теперь,
Что без вас мне немая печаль?
Разбежались вы звонкой весенней водой
По оврагам, по рощам, по балкам.
Что не встанете вы, как морские валы,
И отважно не крикнете в небо,
Не заглушите грусти прибоем своим,
Не развеете горькой печали моей
Сильным, яростным натиском бури?
Я не затем, слова, растила вас
И кровью сердца своего поила,
Чтоб вы лились, как вялая отрава,
И разъедали души, словно ржа.
Лучом прозрачным, буйными волнами,
Звездой летучей, искрой быстролетной,
Сияньем молний, острыми мечами
Хотела бы я вас вырастить, слова!
Чтоб эхо вы в горах будили, а не стоны,
Чтоб резали — не отравляли сердца,
Чтоб песней были вы, а не стенаньем.
Сражайте, режьте, даже убивайте,
Не будьте только дождиком осенним.
Сжигать, гореть должны вы, а не тлеть!

26 августа 1900 г.

2

Иль молниями только им носиться,
Словам моим, что родились в печали?
А почему бы не взлететь им к небу
Серебряною жаворонка песней?
И не рассыпаться, дрожа, над черной пашней,
Как звонкий дождь, просвеченный лучами?
Зачем не закружиться хороводом,
Как будто листья, что срывает буря,
Как будто вьюжные алмазные снежинки?
Иль только тем ясней звезда сияет,

Чем ночи тьма вокруг нее чернее?
Иль только в сказке из людей убитых
Калина вырастает и чарует
Сердца живых чудесною свирелью?
Иль только в сказке лебедь умирает
Не с криком смертным, а с прекрасной песней?..

26 августа 1900 г.

3

Когда бы солнца ясные лучи
Могли бы чудом в струны превратиться,
Я сделала бы золотую арфу;
И все в ней было б светлым — струны, звуки;
Любая песня, что на прочих струнах
Звенит, как голос непогожей ночи,
Звенела бы на золотистой арфе
Той песней, что звучит лишь только в снах
Детей счастливых. Грусть бы улетела
От звуков тех и уплыла бы вдаль,
Как солнцем озаренные туманы,
Что издали, как золото, сияют
И кажутся не тучей, а мечтою,
И, слитые в гармонию печали,
Запели бы, как хоры в эмпиреях...

14 сентября 1900 г.

4

ADAGIO PENSIEROSO[1]

Уплыть бы мне хотелось по теченью
Офелией, украшенной цветами,
Мои бы песни плыли вслед за мной,
Как и вода спокойная, качаясь,
Все дальше, дальше...
Легкими волнами
Меня б вода укрыла понемногу
И как ребенка бы запеленала,

[1] Медленно, задумчиво *(итал.;* музыкальный термин).

Качала бы, как нежное мечтанье,
Так тихо, тихо...
Я ж, совсем покорна,
Дала б нести себя и убаюкать,
Плыла бы с тихой, еле слышной песней
И опускалась в голубую воду
Все глубже, глубже...
А потом остался б
Лишь только отзвук на волнах чуть слышный
Моих напевов, как воспоминанье
Баллады старой и давно забытой,
Как смутный сон, печальный и кровавый.
Да как припомнить? Песня та звучала
Давно, давно...
Потом и звук исчез бы,
И на воде бы колыхались только
Мои цветы, что не пошли со мною
На дно реки. Они бы плыли дальше,
Пока в залив спокойный не прибились,
У лилий белых водяных не встали б,
Склонились бы над сонною водою
Плакучие березовые ветви,
И там в затишье ветер бы не веял;
На лилии спускался б только с неба
И на цветы, что я рвала в безумье,
Покой, покой...

3 декабря 1900 г.

5

PRESTO APPASSIONATO[1]

...Нет! Я покорить ее, видно, не в силах,
Безумную песню, что встала из грусти,
Ни маски надеть на нее не умею,
Ни светлой одеждой ее приукрасить,—
Бьет черным крылом, словно хищная птица,
И ранит, как только хочу я насильно
Ее укротить. Эй, безумная песня!
В кого удалась ты такой непокорной?
Смотри, я смеюсь, когда сердце рыдает,

[1] Быстро, страстно *(итал.*; музыкальный термин).

И взгляд мой, и голос мне стали покорны,
И я так спокойна. А ты? — словно ветер,
Безудержна ты. И тебе все равно,
Что, встретив, раздуешь огонь до пожара,
Что волны, столкнувши, разгонишь до бури,
Что темные тучи запутаешь в хаос,
Что домик убогий, приют мой последний,
Тяжелой лавиною в бездну ты свергнешь.
Тебе все равно! Тот пускай и поплачет,
Кто искру опасную бросил в дороге,
Что челн ненадежной доверил воде,
Кто темною полночью вышел в дорогу,
Кто домик убогий, приют свой последний,
Поставил высоко, у края обрыва.
Ты стала крылатой — должна ты лететь!

Да, песня, песня вольная! Не знаю,
На счастье иль на горе эта воля,
Но я еще оков ей не сковала;
Не знаю я, где взять для них железа
И на каком огне они куются.
Да, верно, уж ковать иль не ковать их
Придет пора — и сами распадутся.
И встрепенется песня на свободе,
И вырвется из плена, как рыданье,
Что долго, приглушенное, таилось
В темнице сердца.
Не просите смеха
Вы все, кому от этой песни грустно,
Вы утешенья не найдете в ней,
Рожденной от отчаянья и скорби.
За горе скрытое она отмщенья хочет
Огнем, отравою, тоски мечом разящим.
Коль страшно вам — идите прочь с дороги!
Пускай промчится песня одиноко,
Как через море ледяное вихрь.
Не надо ей ни слез и ни сочувствий,
Ей надо лишь свободы и простора.
Безумный так свободу добывает,
Чтоб до конца стремиться в неизвестность...
Летит в безумье песня — берегитесь!
Скорбь жалости не знает, как и смерть!

1 февраля 1901 г.

6

Когда б вся кровь моя вот так же уплыла,
Как и слова! Когда бы жизнь моя
Исчезла так же вдруг, как исчезает
Вечерний свет!.. И кто меня поставил
На страже посреди руин и грусти?
Кто обязал меня, чтоб на земле я
Будила мертвых, тешила живых
Калейдоскопом радостей и горя?
Кто гордость мне вложил вот в это сердце?
Кто даровал отваги меч двуострый?
Кто взять велел святую орифламму
Мечтаний, песен, непокорных дум?
Кто приказал мне: не бросай оружья,
Не отступай, не падай, не томись?
Зачем должна я слушаться приказа?
Зачем уйти не смею с поля чести
Иль, наконец, упасть на меч свой грудью?
И что мне не дает промолвить просто:
«Да, ты, судьба, сильней,— я покоряюсь».
Зачем при мысли о таких словах
Сжимаю я незримое оружье,
А в сердце зреют кличи боевые?..

6 июня 1901 г. Кимполунг

7

Как тяжело идти мне той дорогой
Широкой, битой, пылью сплошь покрытой,
Где люди мне напоминают стадо,
Где нет цветов, где не растет бурьян!
Зовет и манит издали вершина,
Что так пылает золотым пожаром!
Там, на высотах, непреодолимо
Я жажду знамя красное поставить.
Где сам орел гнезда не смеет свить!

Меня влечет горячее желанье
Пойти туда песками и кустами
И там послушать горной чащи гомон,
И заглянуть в таинственную бездну,
И с быстрыми потоками поспорить,

И между льдов пробиться самоцветных,
И эхо песней разбудить в горах!
Проводником пускай мне служит знамя,
Пускай поддержит на дороге скользкой,
Пока меня не выведет к вершине,
Преодолев свирепый горный ветер.

Когда ж меня на полдороге встретит
Лавина тяжкая, судьбой обрушась
На голову мою,— я упаду,
Как на постель, на белый свет нагорный.
Пусть обо мне колокола не плачут,
Пускай поет лишь вольный, звонкий ветер.
Пускай метель веселая кружится
И звезды снежные вокруг роятся
И поцелуями холодными закроют
Мне пылкие доверчивые очи...

16 августа 1901 г.

8

Зачем я не могу взлететь к высотам,
Туда, к вершинам ясным, золотым,
Туда, где тучка под луной сияет?
Я видела, как тучка та рождалась,
Как из потока звонкого возникла
Туманом белым, чуть заметным паром,
Как поплыла неслышно над водою,
Глубокими оврагами, все выше,
И тихо поднялась, с трудом как будто,
И устремилась вверх. Она цеплялась
За зеленеющие гребни сосен
И за уступы оголенной кручи,
За шалаши пастушьи, там, на склонах,
Как человек, что, силы напрягая,
Взойти стремится на гору. И вышла,
И улыбнулась месяцу с вершины,
И так стояла девушкою светлой —
И засияла легкой и прозрачной,
Как ясная мечта. Кто в ней узнает
Ту влажную безрадостную тучу,
Что двигалась так тяжко по долине?..

Ой, горы, горы, золотые кручи!
И отчего я к вам так порываюсь?
И отчего люблю вас так печально?
Ужели мне не суждено подняться
На ваши заповедные высоты?
Когда мне мощных крыльев не дано,
Чтоб я могла туда взлететь орлицей,
Туда, на высочайшие вершины,—
То жажду я пролить потоки слез,
Горячих слез, безудержных, внезапных,
Что рвутся из глубин сокрытых сердца
Источником живительной воды.
Пускай из них душа моя восстанет
И с мукою тяжелой устремится
На ту вершину, что сияет вечно
И кажется глазам издалека
Такой же неприступной, как и горы,
К которым я взлетаю лишь мечтою.
Тогда, быть может, дух мой, словно тучка,
На высоте внезапно изменился б,
Нагорным, чистым светом озаренный.

4 августа 1901 г. Буркут

Из цикла
«МГНОВЕНИЯ»

* * *

Талого снега платочки раскиданы...
Реденький дождик да неба свинец,
В робкой траве первоцветы чуть видные,
Это весна, это счастья венец!

Небо глубокое, солнце лучистое,
Пурпур и золото вялых ветвей,
Поздние розы, все в росах, душистые —
Осени вестники... Может, моей?

Что ж, не страшусь я прихода осеннего,
Радует душного лета конец;
Лишь не напомнили б часа весеннего
Реденький дождик да неба свинец.

11 августа 1900 г.

* * *

Гей, пойду в зеленые я горы,
Где шумит сосновый бор, как море,
Понесу туда я свое горе,
Кину его в горные просторы.
Я свою кручину
На сосну закину,
В бор пущу свою тоску я —
Пусть найдет другую.

19 июня 1901 г. Кимполунг

* * *

Туча, дождь, а радуга дугою.
Что же это, девушка, с тобою?
Пашешь горе, сеешь грусть-кручину...
Перестань! что толку, сиротина?

Те поля не рутой
Порастут густой,
А отравой лютой,
Горем да бедой.

Пусть тебя печаль бы окружала,
Знай свою пшеницу бы ты жала,
А в пшенице маки с васильками
Меж колосьев пестрели-мелькали.

Заняла полоску —
Жни, не отставай,
А нагрянет туча —
Дела не бросай.

12 августа 1901 г. Буркут

* * *

Ой, как будто не печалюсь, все же я не рада,
Что-то смутно-неприютно, на сердце досада.

Я откину ту досаду прочь на бездорожье,
А она взошла, красуясь, словно мак над рожью;

А я мак тот посрываю да сплету веночек,
Кину красный тот веночек в быстрый ручеечек:

Плыви, плыви, мой веночек, до самого моря,
Если буря не утопит, не избуду горя.

Ой; не утопила буря красный тот веночек,
От него ж волна морская покраснела очень.

Горька вода в синем море, горько ее пить;
Как бы мне свою досаду в море утопить?

20 августа 1901 г. Буркут

* * *

Ой, пойду я в бор дремучий, где сосна сухая,
Разожгу костер высокий — пусть заполыхает!

Загорелась, запылала елка смоляная,
И горит моя досада, как хвоя сухая.

И огонь разбушевался, и досада вторит,
Рассыпает, словно звезды, искры на просторе.

Упадет, сверкая, искра звездочкой падучей,
Да как раз вонзится прямо в сердце, неминуче!..

Ну, лежи, досада, в сердце, если так уж вышло,
Буду я тебя баюкать, колыхать чуть слышно.

И прижмешься ты к сердечку, как дитя родное,
В колыбели теплой сердца будешь век со мною.
От толчка горячей крови колыбель качнется,
Спи, дитя, и днем и ночью, пока сердце бьется!..

20 августа 1901 г. Буркут

---

* * *

Тебя, как плющ, держать в своих объятьях,
Укрыв от света, хочется порою;
Не собираюсь жизнь твою отнять я,
Как плющ руину, я тебя укрою.

Обняв ее, он жизнь ей возвращает,
Хранит от непогоды камень голый,
Но и руина тоже охраняет
Товарища, чтоб не упал он долу.

Им хорошо вдвоем, как нам с тобою,
Но час придет рассыпаться руине,
И плющ она укроет под собою...
Зачем он нужен здесь один, в долине?

Ужель затем, чтобы, томясь в разлуке,
Упасть измятым, раненным, без силы,
Иль к тополю прижаться в тяжкой муке
И для него страшнее быть могилы?

<16 октября (?) 1900 г.>

* * *

Уста твердят: ушел он без возврата,
Нет, не покинул,— верит сердце свято.
Ты слышишь, как струна звенит и плачет?
Она звенит, дрожит слезой горячей

Здесь, в глубине, трепещет в лад со мною:
«Я здесь, я здесь всегда, всегда с тобою!»

И в песнях ли хочу избыть я муку.
Иль кто-нибудь сожмет мне нежно руку,
Иль задушевный разговор ведется,
Иль губ моих губами кто коснется —
Струна звенит, как эхо, надо мною:
«Я здесь, я здесь всегда, всегда с тобою!»

Спущусь ли я в таинственные бездны,
В мир образов знакомых иль безвестных.
Видений темных, призраков, кошмаров,
Томящих душу, наводящих чары,
Вновь голос твой, овеянный тоскою,
Звенит: «Я здесь всегда, всегда с тобою!»

Минутный сон смежит мне тихо вежды,
Уставшие от мыслей безнадежных,—
И сквозь тяжелый полог сновиденья
Я слышу голос милого виденья.
Звенит, овеян тайною тоскою:
«Я здесь, я здесь всегда, всегда с тобою!»

И каждый раз, как слышу голос вещий,
В глубинах сердца те цветы трепещут,
Что для тебя с любовью я растила,
Что взять с собой ты не хотел в могилу —
Они дрожат и вторят в лад со мною:
«Пусть нет тебя, но я всегда с тобою!»

7 июня 1901 г.

КАЛИНА

Казак умирает, а девушка плачет:
«Ты возьми меня в могилу, она горе спрячет!»
«Ой, коли ты вправду верная подруга,
Будешь славною калиной на могиле друга:
Упадут ли росы рано на покосы,
Не на гроб мой станут падать, а на твои косы...
Станет жгучим солнце, дунет знойный ветер —

Пусть костей моих не сушит, сушит твои ветви».
«Разве тебе будет, милый, веселее,
Если я в моей печали ярко заалею?
Разве тебе будет, милый мой, отрадней,
Если в горьком моем горе буду я нарядней?
Станут ли милее гроб с могильной тьмою,
Если я зазеленею калиной немою?»
«Ой, и мать не станет так тужить о сыне,
Как ты, моя калиночка, в девичьей кручине...»
Ой, еще над милым трава не взрастала,
А уж бедная подруга калиною стала.
И дивятся люди и малые дети,
Что вовек еще такого не было на свете.
«Чья это могила,— спрашивают люди,—
Что над нею цвет калины и мороз не студит,
Что на той калине и листья кудрявы,
А меж белыми цветами ягоды кровавы?»
Шумела калина над холмом родимым:
«Ой, что ж я стою немою над моим любимым?
Дерева не тронешь — слова не проронит,
А ножом его порежешь — запоет, застонет,
А кто ветвь срезает, на дудке играет —
Тот калиновой стрелою грудь себе пронзает».

20 июня 1901 г. Кимполунг

* * *

Острым блеском вдруг волны заискрились
После бури в прозрачную ночь,
Будто войско мечами булатными
Хочет снять вражьи головы прочь.

Блеск оружия, рокот раскатистый...
Будто встал возмущенный народ.
Будто сила народа могучая
Непреклонно на приступ идет.

Каждый меч — луч светила небесного,—
Вниз упав, снова блещет во мгле,
Каждый звук — отзвук силы бунтующей,
Изменяющей жизнь на земле.

Море, море, людское, народное,
Из чего ж ты оружье скуешь?
Что же будет, что станет на пустоши,
Вместо мира что ты разобьешь?..

8 октября 1902 г. San Remo

ДЫМ

«И дым отечества нам сладок и приятен»,—
Землею итальянской проезжая,
Я мысленно все время повторяла
Знакомые слова, и мне казалось,
Что вижу я далекие селенья:
Идут и песню девушки поют,
Хозяйки хлопотливые встречают
Своих коров и пастушка с отарой,
Хозяева, не прибавляя шагу,
Степенно возвращаются с работы,
Тайком поглядывают на дымок,
Что вьется над трубою невысокой,
И думают: «Ну, вот уже и ужин...»
Мне виделись росистые луга
Волынские: вдали чернеет лес
Зубчатою стеной, и нависает
Над ним туман безмолвным, серым морем.
Эй, вы, в лесу иль в поле, берегитесь,
То вероломно движется трясучка!
Но не страшит поехавших в ночное
Туман в лесу, где манит их дымок:
Там развели товарищи костер,
Там сухо и тепло, роятся искры,
Как золотые пчелы, пляшет пламя...
«Скорее — на дымок!..»
А я смотрела
На итальянские бездымные селенья
(Огня так мало нужно для «поленты»)
И на поля, на страшные «ризацца» [1],
Где невидимкой реет малярия,
Ни дыма не боясь и ни огня,—
И в каждом стуке мчащихся вагонов
Одно мне слово чудилось: «Чужбина».

[1] Рисовые поля *(итал.)*.

Туннель! И дым влетел ко мне в окно
Прогорклой тучей,— нехороший дым.
Иль нехорош был уголь итальянский?
Так не душил и дым в курной избе
В моем Полесье... Как там славно пели
На свадьбе дружки,— хата вся звенела,
Был чистым звон, без хрипоты, хотя
Едва виднелись лица в туче дыма;
Тот горький дым нам выедал глаза.
А все ж не так, как этот: потому ли,
Что он древесный был — и наш, родной?
...«Sampierdarena!» [1] Слава тебе, боже!
Уж скоро Генуя, а там и отдых,
И море, и веселый небосклон,
И древний город гордой красоты
Отважного, свободного народа...
«Вот Генуя»,— куда-то вдаль рукою
Показывает старый господин.
А я смотрю — не вижу: мгла закрыла.
«Скажите, сударь, часто ль тянет с моря
Такой туман?» — я задаю вопрос.
«Туман? То вовсе не туман, а дым.
Он здесь всегда. Да поглядите сами!»
И вправду: там, у пристани громадной,
Во мгле седой похожие на мачты,
Вздымались трубы тонкие,— и сколько
Их было! Целый лес! «Да, здесь растет
Богатство наше!» — важно молвил спутник,
Но не были хрустальны окна фабрик.
Из окон то богатство не сияло,
Там, в окнах, что-то темное гнездилось...
Я вспомнила тогда приморский город.
Не итальянский, а другой, и третий,
Четвертый,— у иных, родных морей,
И город не у моря,— у реки
Стремительной, гудящей на порогах,
Как рейнская скала, где гул воды
Какие-то колеса заглушают...
А там — и села, даль полей, кудрявых
От свекловицы... И повсюду трубы
Высокие-высокие, как сосны

[1] Сампирдарена — последняя станция перед Генуей. *(Прим. Леси Украинки.)*

На горных кручах — разве что без веток...
Мы въехали в предместье. Там стояли
Задымленные, черные дома,
Угрюмо сгорбившись. К печальным окнам
Белье приникло, как сама нужда:
Не выгнать,— хоть в окно гони, хоть в дверь.
Выглядывали призраки из окон —
Невольничьи, измученные лица,
И плыл над ними дым, легчайший дым:
Не душит он, глаза не выедает,
А только небо прячет от людей.
И солнышко у них крадет, и пьет
Людскую кровь, и гасит свет в глазах,
И все цвета из-за него седеют.
Никто его не видит, но всегда,
И днем и ночью, каждое мгновенье,
Отчетливо, хоть скрытно и беззвучно,
Он говорит: «Я здесь, всегда я здесь».
Тот итальянский дым проник мне в сердце,
И дрогнуло оно, и онемело,
И больше не твердило мне: «Чужбина».

21 января 1903 г. San Remo

НАДПИСЬ В РУИНЕ

«Я, царь царей, я, солнца сын могучий,
Гробницу эту выстроил себе,
Чтоб прославляли многие народы,
Чтоб помнили во всех веках грядущих,
Чтоб знали имя...» Дальше сбита надпись,
И даже самый мудрый из потомков
То имя царское прочесть не может,
Кто сбил ее — завистливый властитель
Иль просто время мощною рукою,
Никто не знает. Росписью узорной
Под нею слов начертано немало
Про славу безыменного владыки,
И царские показаны деянья:
Вот царь сидит высоко на престоле,
Народы с драгоценными дарами
Идут покорно, головы склоняя.

А он сидит, как истукан из камня,
Над ним цветные перья опахал.
Лицо его похоже на Тутмеса,
И на Рамзеса, и на всех тиранов.
Вот ухватил он за волосы сразу
Одной рукою несколько повстанцев,
И меч кривой над ними он занес.
Лицо его похоже на Тарака,
На Менефта, как и на всех тиранов.
С лицом все тем же львов он убивает,
Левиафанов ловит, птиц он бьет,
Полями едет по телам убитых,
И веселится по своим гаремам.
И подданных на битву посылает,
И мучит он работой свой народ,
Той страшною египетской работой,
Что имя царское должна прославить.

Народ идет, как волны в океане,
Без краю, без числа, на поле битвы,
Коням тирана стелется под ноги.
А кто в живых из тех людей остался,
Тот гибнет на египетской работе.
Царь хочет для себя на их могилах
Построить памятник — да сгинет раб!
И раб копает землю, тешит камень,
Кирпич для стройки делает из глины,
Возводит стены, статуи большие,
Сам на себе, запрягшись, возит, строит
И создает великое навеки,
Прекрасное творит неповторимо —
Резьбу и роспись, статуи, узоры.
И каждая колонна и рисунок,
Резьба и статуя, и даже камень
Незримыми устами произносят:
«Меня творил египетский народ».
Давно в могиле царь с лицом тирана,
И от него осталась только надпись,
Певцы ученые, мечтая, не старайтесь
Найти царя исчезнувшее имя:
Судьбою создан из его могилы
Народу памятник — да сгинет царь!

28 августа 1904 г. Зеленый Гай

* * *

I

Когда мне очи милого сверкают,
В душе цветы, сияя, расцветают,
В душе цветы и звезды золотые,
Но на устах слова не те, другие,
Совсем, совсем не те, что снятся мне,
Когда в ночи лежу я в полусне.
Наверно, нет и языка такого,
В котором было бы такое слово.
Я плачу и смеюсь, дрожу и млею.
Но вслух тех слов промолвить не умею.

II

Как жаль, что не дано мне струн живых,
О, если бы уметь играть на них,
Могучую бы песню я играла,
Она бы собрала богатств немало,
Сокровища, что спят в душе на дне,
Сокровища, что не видны и мне,
Но сердцу дороги, неоценимы,
Как те слова, что непроизносимы.

III

Когда б я всеми красками владела,
Я их перемещала бы умело
И рисовала б ярким самоцветом,
Как солнца луч рисует жарким летом.
Договорили б опытные руки,
Чего договорить не могут звуки,
Ты видел бы горящий в сердце свет...
Ох, красок, струн и слов у сердца нет...
И то, что тайно в нем цветет весною,
Умрет, наверно, заодно со мною.

2 ноября 1904 г. Тифлис

* * *

Не погибли золотые терны,
Только почернели.
Не засохли в чистом поле маки,
Только побледнели.

Приди, солнце, под мое оконце,
Свети, свети ясно,
Чтобы черные сверкали терны
Позолотой красной.

Загорись и ты, мое сердечко,
Запылай пожаром,
Коль ношу в тебе цветок кровавый,
То пускай недаром!

2 октября 1904 г.

«ПЕСНИ ПРО ВОЛЮ»

I

Люди идут и знамена вздымают,
Словно огни. Словно дым, наплывают
Толпы густые. Колышется строй,
«Песни про волю» звенят над толпой.

«Смело, друзья!» Что ж так песня рыдает?
«Смело, друзья!» Как на смерть провожает.
Страшно, какой безнадежный напев,
Кто с ним на битву пойдет, осмелев?

Нет, не про волю та песнь! Про неволю
Плачет с какой-то неслыханной болью
Голос печальный, значение слов
Плач погребальный скрывает, суров.

«Смело, друзья». Провожая на плаху,
Брату ль поют, чтоб не ведал он страху?
Плачут бессильно, рыдая над ним,
Будто его зарывают живым.

В страшное время мы жить начинали,
Шли мы на бой в предрассветные дали,
Нам эта песня твердила, звеня:
«Нет, не дождаться вам светлого дня!»

Что вам до этого? Вы молодые,
Ныне к лицу вам и песни иные.
С вашею волей живется вольней,
Рано вам петь панихиду по ней.

Пусть расцветает она, величава!
Что вам далась эта песня-отрава?
С этою песней мириться нельзя,
Новую песню слагайте, друзья.

Так, чтоб она засияла лучами,
Так, чтобы ясное красное знамя,
Следом за нею взлетев в небеса,
Реяло гордо, творя чудеса.

1 июля 1905 г. Колодяжное

II

Откуда льется гимн Марселя?
Неужто славы день настал?
Неужто цепи отзвенели?
Ужель насильник с трона пал?

Где наше оружье?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

Ведь это песня батальона,
Который в смертный шел поход,

Который под свои знамена
Скликал бестрепетный народ.

А наши где ружья?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

Ужель разбиты казематы
В твердыне царской вековой?
Коль слышны звуки канонады —
Ужель последний грянул бой?

А где наши ружья?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

Быть может, вражьи челядинцы
Спешат свободу обуздать?
Иль то решили украинцы
За волю дружно постоять?

Так где ж наши ружья?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

Ужель средь вражеской оравы
Не реют больше бунчуки?
И пред царем свои булавы
Уже не клонят казаки?

Взгляните ж, где ружья?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

Нет, от Москвы и до Варшавы
Жупаны алые кругом,—
Казаки «добывают славы»
Нагайкой, саблей и штыком.

В кого ж из ружей
Прицелился строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

У нас же льется гимн Марселя,
Как будто славы день настал,
Как будто цепи отзвенели
И враг поверженный упал.

Где наше оружье?
Где воинский строй?
Чьей кровью обрызган
Наш путь боевой?

1 июля 1905 г. Колодяжное

III

«Нагаечка, нагаечка!» — поет иной подчас
И с присвистом и с топотом в лихой несется пляс.
А что же вас так радует, любезные друзья?
По чьей спине гуляла так «нагаечка твоя»?

Над нами ведь прошлась она, родимая земля,
Недаром мы запомнили «восьмое февраля»,
Коль будем мы раздумывать о том веселом дне,
Нагайка прогуляется еще раз по спине.

Над собственным позорищем мы шутим иногда.
Неужто мы, друзья мои, без всякого стыда?
Знать, песня не родилася, чтоб волю воспевать,
Коль кое-кто, как бешеный, пустился танцевать.

Неужто, как невольники, мы, упершись в бока,
Под плетками плантатора ударим трепака?
Иль мы хотим, отдав себя на божью благодать,
Такою «карманьолою» тиранов испугать?

1 июля 1905 г. Колодяжное

* * *

Мечта, не предай! По тебе я так долго тужила,
Столько безрадостных дней, столько бессонных ночей...
А теперь на тебя всю надежду свою возложила.
О, не угасни ты, светоч бессонных очей!

Мечта, не предай! Ты лила свои чары так долго,—
Жадное сердце мое насыщено ими до дна.
Обольщенья пустые меня от тебя не отторгнут,
Мне ни горе, ни мука, ни смерть не страшна.

Ради тебя от других отреклась я мечтаний,
Уж не мечту,— ныне жизнь я свою отдаю.
Пробил час, и, пылая, душа поднимает восстанье,
Не сверну я с пути, на котором стою.

Жизнь за жизнь! Только так! Пусть мечта моя
станет живою!
Слово оденется в плоть, если живое оно.
Кто моря переплыл и сжег корабли за собою,—
Обновленным вернуться тому суждено.

Раньше, мечта, ты парила орлом надо мною,—
Буду сама я летать, мне свои крылья отдай,
Я хочу пламенеть, я хочу жить твоею весною,
А придется погибнуть за это — пускай!

3 августа 1905 г.

* * *

Холодной ночью брошенный костер
Нашел однажды путник одинокий.
Вокруг чернел непроходимый бор,
При лунном свете полосой широкой
Зола белела. Хворост, щепки, сор
Торчали в ней, и кучкою убогой
Дрова лежали. Видно, кто-то здесь
Залил костер, но он сгорел не весь.

И путник осторожными руками
Потухший пепел начал шевелить.
Вот искорка мелькнула под ногами.
Он, раздувая, стал ее ловить,
Зола затлела звездами, но пламя
Не удалось дыханьем оживить,
И, потрудившись без толку, прохожий
Ушел ни с чем, унылый и продрогший.

Но искра не угасла под золой
И до рассвета, как живая рана,
Язвила мрак холодный и сырой,
И жар больной чуть тлел среди тумана.
Лишь на заре сквозь тонкий дым струей
Пробилось пламя, ярко и багряно.
Когда же солнце встало поутру —
Огонь, как зверь, свирепствовал в бору.

<Июнь (?) 1906>

* * *

За горой зарницы блещут,
А у нас темно и бедно,
Воды черные в затоне
Плещут неприметно.

В небе молния сверкает,
А у нас во мраке тонет,
В черный гроб вода глухая
Светлую хоронит.

Но сверкающему свету
Покорится мрак глубокий
В час, когда все небо вспыхнет
Бурей светлоокой.

В час, когда пронижет волны
Серебристыми мечами,
В час, когда на дно заглянет
Быстрыми очами.

И в ответ на это пламя
Свет в затоне разольется,
Если блеск высоких молний
В глубину прорвется.

28 августа 1907 г. Балаклава

«ВЕСНА В ЕГИПТЕ»

I

ХАМСИН[1]

Хамсин, томимый страстью, разгулялся,
Он — рыжий — в небе над Египтом мчался,
Песка своим сухим крылом касаясь,
И обжигает пламенным дыханьем.
Какая-то неистовая свадьба!
Песок поет, как будто в дудку дует,
Тяжелую нарушив неподвижность,
И, вторя, камешки как в бубны бьют.
Так кто же там в слепящей желтой мгле
Затеял править пляску в честь хамсина?
Кто веет покрывалами сквозными,
Кружась так быстро, быстро в легком танце?..
Таинственные нежные плясуньи —
Пустыни скорбной ветреные дети!
«Прикрой глаза! Засыплю, иностранка!»
И тут хамсин плащом своим ревниво
От взора моего закрыл танцорок.
Никто не смеет видеть их. Араб
К земле склонился посреди пустыни,
Как в час молитвы. «Так! Молись! Молись!
Я старый бог, я твой могучий Сет,
Я разорвал на части Озириса
И тело разметал по всей пустыне.
Ох, как тогда Изида зарыдала...»[2]
Былое вспомнив, весел стал хамсин,
И сдвинулась тогда пустыня с места
И в небо ринулась. И в желтом небе
Померкло солнце — око Озириса,
И показалось мне — весь мир ослеп...

5 апреля 1910 г. Гелуан

II

ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ

Пустыня дышит. Ровное дыханье.
Песок лежит — спокойный, золотой.
Но каждая гряда и холм любой —
Все о хамсине здесь воспоминанье.

Феллах трудолюбивый строит зданье,—
Здесь мимолетных иностранцев рой
Найдет гостиницу и сад густой.
Феллах могуч: все — рук его созданье.

Одна беда — оазисы в пустыне
Не для него... Вот он узоры пишет
Под самой крышей... Ткань на нем колышет,
Скользит горячий ветер по холстине,
Пот осушает... дальше по равнине
Летит... опять, опять... Пустыня дышит.

5 апреля 1910 г.

III

АФРА[3]

Тишь и безмолвие. Кажется воздух водою стоячей.
Оцепенели бананы, не вздрогнет их треснувший лист.
Даже мимозы и те изнывают в истоме горячей.
Грезят без грезы...
Откуда же грохот и свист?
Слышится дробь барабана, трубы раздается звучанье!
Эй, замолчите!
Кому эта песня нужна?
Им все равно! Маршируют, гремят англичане,
Грозно вдоль Нила идут, чтобы вся трепетала страна.
Только прошли, тишина опустилась за ними,
Будто завесой упала огромной, тяжелой, глухой.
Пальмы послушно, печально поникли ветвями сухими –
Можно подумать, сам бог придавил эти ветви рукой.
Небо от жара белеет и вот уже в пепле седеет,—
День без остатка сгорел в напоенной огнем тишине.

Бледная ночь; темнота растерялась, не смеет
В жгучую тишь снизойти. Ни единой звезды в вышине.
Мир будто мертв. Перед сном не откликнется птица.
Всюду летучие мыши бесшумно шныряют одни,
Будто восток призывают признать тишину и смириться.
Бархатным, тихим крылом тишину умножают они.

6 апреля 1910 г.

IV
СОН

Солнышко греет... Это Египет?
Это Египет... Синий шатер
Неба высокого полон сиянья.
Высь-то какая! — Вольно и радостно.
Это Египет...

Тихая ласка... Ты, Украина?
Да, Украина это моя...
Хата и садик, лужайки зеленые,
Пруд за ольхою, затянутый ряскою...
Вот — Украина...

Хватит скитаться... довольно блужданий...
Жизнь станет светлой... Край мой родной,
Вместе со мною от мук ты избавился.
Небо не плачет, и люди не хмурятся.
Спать бы и видеть всегда этот сон...
Жизнь станет светлой...

7 апреля 1910 г.

V
ВЕТРЕНАЯ НОЧЬ

Ночь черным-черна и глубока
(Знаю женские глаза такие),
Ветер крылья разбросал шальные.
Мчится он, бежит издалека.

Северный мой ветер разыгрался,
Стал горячим, как Сахары сын —
Пылкий и стремительный хамсин,—
С бедным севером давно ль расстался?

Там он, где кончается зима,
Мел снега одеждою сырою,
По глухим лесам стонал совою,
Забирался холодом в дома.

К золотой пустыне, как к подруге,
Может, страстью загорелся он
И несется, жаром опален,
Будто родился на знойном юге?

Будто пепел бросил мне в окно,
В темной комнате моей гуляет,
Зазвенел песком и улетает.
Что же, улетай, мне все равно.

Ты чужой уже — не прежний пыне,
Не принес ты никаких вестей
Из далекой стороны моей,
Только песнь своей любви пустыне.

9 апреля <1910 г.>

VI
ВЕСТИ С СЕВЕРА

Недаром ветер прилетал
Страны моей... Передо мною
Все — за туманной пеленою,
Накрапывать и дождик стал,
И ветерок в мое жилище
Влетел холодный. Что ж, дружище,
Утратил ты недавний пыл?
Что ж, добрый молодец, остыл?..
Иль не понравился пустыне,
Иль вспомнил милую свою —
Подружку в северном краю,—

Да и заплакал на чужбине?
И ветер шелестит листами:
«Из бедной стороны твоей
Спешил я с этими слезами,—
Просила ж ты сама вестей!»

10 апреля <1910 г.>

VII

ТАЙНЫЙ ДАР

Плачет Египет недолго. Умыл свои гордые пальмы,
Зелень полей плодородных над Нилом слезой окропил,
Возобновил позолоту блистающей светом пустыни
И улыбается снова: таинственны радости Сфинкса.
Вижу, глаза египтянок смеются под черной вуалью,—
Женщин рабынями сделал ислам, но глаза их свободны!..
Песней товары свои славят женщины здесь и мужчины,
Гордые головы их не склонились от ноши тяжелой,
Будто на них почивают Египта двойные венцы.
В красной одежде идет водонос, и как будто он шутит —
Чистой водою звенит и желающим пить предлагает,
Сладкую свежую влагу он льет из большого сосуда,
Шуткой приправив ее, улыбается, плату беря.
Нищие дети феллахов шалят, веселятся на солнце;
Глазки горят любопытством. Повсюду головки детей...
Только завидят туриста — бегут за ним, просят подачки.
Дал или не дал — хохочут, как будто им все нипочем.
Лишь бы тростинка нашлась, а ребята сосут и довольны,
Рады, как будто они государством-богатством владеют.
«Радость откуда такая?» — к себе обращаюсь с вопросом.
Мысль промелькнула в ответ — словно голос забытой легенды:
«В давние те времена, когда Нил родился здесь в пустыне,
Мать положила его в колыбель и в роскошной — качала,
Нежный отец над ребенком склонился, с небес наблюдая,
Как не по дням — по часам вырастает любимое чадо,
Как набирается сил и несет их уверенно в море...
Нил родился, и к нему поспешили с дарами Гаторы [4].
Семеро было богинь, и даров принесли они семь.
Первая молвила так: «Я дарю тебе тучную землю».
Проговорила вторая: «Три жатвы отбудешь в году».
Третья промолвила: «Ра [5] никогда о тебе не забудет».

Ветку простерла четвертая: «Это — защита от Сета» [6]
Пятая молча папирус и лотос пред ним положила.
«Тайны свои сбережешь»,— прошептала шестая ему.
И, улыбнувшись сквозь слезы, за нею седьмая сказала:
«Боги, завидуя детям твоим, обрекли их на рабство,
Дам я народу оружие — полное радости сердце,—
Ни фараон, ни пришельцы не смогут убить в сердце радость».
Так вот в начале веков обещали Гаторы!.. И верю:
Слово премудрых богинь нерушимо во веки веков.

14 апреля 1910 г. Египет, Гелуан

Примечания Леси Украинки

[1] *Хамсин* — южный ветер огромной силы, известный европейцам под именем самума. Зимой его не бывает, он начинает дуть весной.

[2] Древняя египетская легенда говорит о том, как злой бог Сет убил доброго брата Озириса и как потом Изида, жена Озириса, искала своего супруга, чтобы оживить его.

[3] *Афра* — тяжелая, горячая тишина.

[4] *Гаторы* — древнеегипетские богини судьбы.

[5] *Ра* — бог солнца.

[6] *Сет* — злой бог.

«ИЗ ПУТЕВОЙ КНИЖКИ»

НА СТОЯНКЕ

Вот на палубном настиле
Запылал костер высокий,—
То согреть хотят матросы
Коченеющие руки.

И я вижу: в снежной вьюге
Пламя красное пылает,
Словно солнце, что закрыто
Непроглядной белой мглой;

А вокруг него мелькают,
Словно тени птиц огромных,
Итальянские матросы,
Зябко кутаясь в плащи.

Те плащи в родном Палермо
Их неплохо согревали —
Что ж теперь случилось с ними
В этом крае басурманском?

Пропускают зимний ветер,
Словно кружева сквозные,
И дрожит любая жилка...
О, негодные плащи!

В густо-белой сетке снега
Юнга-мальчик пробегает,
Словно рыбка, что попала
В роковой проклятый невод.

Мальчик пробует согреться,—
Верит он палермской крови,
Что в его струится жилах,
Больше, чем чужим огням.

Он не слышит, как большие
На него кричат сердито:
«Все ты вертишься, бездельник!..
Что за скверное созданье!..»

От озлобленного крика
Нежный говор итальянский
Стал противным, как прибрежных
Диких чаек хищный крик.

Что ж, пускай! Давно привык он
К этим чайкам и ворчаньям,
Он не думает об этом,
И в мечтах его другое:

...Скоро он домой вернется,
И на площади под солнцем
Ловко он сыграет в бабки,
Каждый выигрыш возьмет!

И с товарищами вместе
В пыль горячую он ляжет
Среди улицы, так просто,
И начнет болтать, болтать...

Даже рты поразевают
Кекко, Джанни, Паолино:
Ведь они всему поверят,
Племя «раков сухопутных».

Сколько он чудес расскажет!
И про змей подводных страшных,
И про турок-людоедов,
Про Великого Могола.

А они ему за это
Самых сладких апельсинов
Непременно наворуют
У епископа в саду...

Тут его матрос ударил
По плечу, ругнув сердито:
«Да уйдешь ли ты с дороги?!
Вот душа без покаянья!»

У костра с другими рядом
Опустился он покорно
И к огню, как на молитве,
Протянул худые руки.

Легкий стан тихонько сгорбил
И застыл с лицом печальным,
Лишь в глазах перебегают
Яркоогненные искры.

Ох, когда б скорее, мальчик,
Все мечты твои свершились,
Чтоб завидовать не стал им
Злой какой-нибудь божок...

<17 января 1911 г.
Стоянка в море близ Самсуна>

ЭПИЛОГ

Кто не жил средь буйства бури,
Тот не знал цены и силе,
Тот не знал, как вечно люди
И борьбу и труд любили.

Кто не жил средь буйства бури,
Тот не ведал и веселья,
Тот не знал и горькой муки
Обреченных на безделье.

Как я завистью горела
К людям, преданным боренью,
До поры, пока усталость
Их сражала на мгновенье.

День и ночь они на вахте,
Долог труд, а смена кратка,
День и ночь они в работе
Силы тратят без остатка.

Верно, им тогда казалось,
Что страшней не сыщешь муки...
Ох, борцы, когда б вы знали,
Как томят в бессилье руки!

Как лежать в постели тяжко
Скорбным пасынком недоли,
Положась на милость бури,
На чужой талант и волю.

Чем же тешиться такому?
Только думою своею...
Вы, борцы, ее примите.
Это все, что я имею.

15—21 января 1911 г. Черное море, близ Анатолии

* * *

Кто вам сказал, что я хрупка,
Что с долей не боролась?
Дрожит ли у меня рука?
И разве слаб мой голос?
А если были в нем слышны
И жалобы и пени,
То это бурный плеск весны,
Не мелкий дождь осенний.
А если осень... Не беда,
Цветет ли кто иль вянет.
Увянув, ива у пруда
Злато-багряной станет.
Когда же саваном зима
Накроет лес раздетый,
Цветам на гроб она сама
Рассыплет самоцветы.
Что ж, буду жить я, как живет
Волна в часы покоя —
Как будто спит поверхность вод,
Но море ждет прибоя.

<21 января 1911 г. Перед Босфором>

В ГОДОВЩИНУ

Не он один ее любил.
Во славу Украины
Писали звучные стихи
И яркие картины.

Ловили звонкий смех ее,
Улыбки, шутки, пляски,
Сплетали в пестрые венки
Ее живые сказки.

Тот в ней лелеял старину,
Тот грезу молодую,—
Он первый полюбил ее,
Как мать свою родную.

Пусть мать убога и стара,
Бедна, темна, гонима,
Но сыном преданным она
По-прежнему любима.

Пускай она в кромешной тьме
Бредет, полуживая,—
Как рана, в нем горит любовь,
Горит, не заживая.

Видала родина не раз,
Как ветреники эти
Под вечер забывали все,
Что пели на рассвете.

С ее дарами шли к другой,
Спеша склонить колено;
Такие люди не могли
Любить самозабвенно.

В нем первом жгучая любовь
Пылала, словно рана,
Он шел в неволю за нее,
Служил ей без обмана.

Все тяготы перенесла
Любви сыновней сила,
Того великого огня
И смерть не погасила.

<8 марта 1911 г.>

ТРАГЕДИЯ

Рыцарь чувствует, сражаясь,
Что он ранен в грудь смертельно,
Прижимает панцирь к сердцу,
Чтобы кровь остановилась!

А прекрасной даме видно,—
Побледнел ее любимый,
Он рукою грудь сжимает,
Дама шлет слугу поспешно.

«Господин, вас просит дама
Хоть на миг покинуть битву,
Чтобы вашу рану, рыцарь,
В башне мы перевязали.

Там у нас бальзам целебный,
Там и мягкие повязки,
Там давно для господина
Белая постель готова».

«Друг слуга, скажи спасибо
Даме, что тебя послала,—
Мне воспользоваться трудно
Приглашением любезным.

Если бы хоть на минуту
Снял с себя я этот панцирь,
Кровь бы хлынула потоком,
Жизнь моя оборвалась бы.

В мире есть такие раны,
Для которых нет бальзама,
Для которых нет повязки,
Кроме панциря стального».

«Господин, слова такие
Могут ранить даме сердце».
«Если есть у дамы сердце,
Пусть его сожмет покрепче».

<6 июня 1901 г. Кимполунг>

ПРО ВЕЛИКАНА

(Сказка)

Когда ребенком я была,
Мне сказку рассказали,
Лишь раз я слышала ее —
Забуду же едва ли.

Был деревенский мальчуган
Рассказчиком — и ясно,
Что в ней тенденции искать
Поэтому напрасно.

В своем рассказе сохранил
Он простоту святую.
(Моя ошибка, может, в том,
Что сказку я рифмую.)

Мы в садике сидели с ним
Вечернею порою,
В тот час, когда закат пылал
Пожаром за горою.

Вечерний ветер шевелил
Над головами грушу,
И что-то темное тогда
Нам волновало душу.

Прижалась к мальчику тогда
Я, как сестрица к брату:
И «барышне» и «мужичку»
Вдруг стало страшновато.

Нас все пугало: и трава,
Что тихо шелестела,
И леса дальнего стена,
Что от зари алела.

И даже в старой груше той
Мы друга не видали,—
Кто б мог сказать, о чем ее
Листочки лепетали?

Но всех сильнее тополя
Страшили нас собою,
Что в длинный выстроились ряд,
Наверно, с целью злою!

Все это, уверял Лаврин
(Так мой приятель звался),
Растет на великане том,
Что с богом состязался.

Когда-то очень был силен
Тот великан,— недаром
Любые цепи разбивать
Он мог одним ударом.

Его осилить не могла
Ничья другая сила,
Но божья кара наконец
Пришла — и поразила.

За что — Лаврин того не знал,
Я спрашивала старых,
Но мне никто не объяснил,
За что такая кара.

Господь не сжег его огнем,
Громов не посылал он,
А только сном его накрыл,
Как мягким покрывалом.

Сон, говорят, есть божий дар,
Нет — божье наказанье!
Ведь великану этот сон
Принес одни страданья.

Лег отдохнуть он на часок,
А спит уже столетья,
Оброс землею и во сне
Все видит лихолетье.

То овладели им враги,
Охваченные злостью,
Пьют даром кровь его они,
Ему ломают кости.

Стянули накрепко его
Железными цепями,
К глубоким ранам, торопясь,
Припали жадно ртами.

До сердца самого не раз
Их проникали руки,
Но спит, как прежде, великан,
Хотя и терпит муки.

Когда ж болезненно во сне
Он брови вдруг нахмурит,
Шумят по рощам, по лесам
И по дубравам бури.

А если боль его доймет,
Слегка он шевельнется
И дрожь по телу пробежит,
Земля же содрогнется.

«Нас призрак этот не страшит!» –
Враги ликуют хором.
Но стихнет скоро божий гнев,
Беда минует скоро.

И встанет великан тогда,
Расправит плечи снова
И разорвет в единый миг
Железные оковы.

Все то, что мучило его,
Вмиг станет горсткой праха.
Смолк мальчуган. Сидели мы,
Едва дыша от страха.

«Скажи,— спросила я, дрожа,—
Когда ж случится это?»
«Иль через год, иль через сто,
А может, до рассвета!»

Тут разом ветер налетел,
Деревья зашатались,
Как пташки вспугнутые, мы
Домой скорей помчались...

Любимый мой далекий край!
Страна моя родная!
Когда я вспомню про тебя,
Ту сказку вспоминаю.

5 февраля 1913 г. Египет

Кто желает слушать сказку?
У меня она готова.
Но, пожалуйста, простите,
Что не все в ней будет ново.

Люди добрые! К чему нам
За новинками тянуться!
Иногда полезно очень
На былое оглянуться.

Нет! Никто нам не расскажет,
И таких рассказов нету,
Чтобы кто-нибудь не молвил:
«Э! Мы слыхивали это!»

Если все же интересно,
Эту сказку прочитайте,
Мне же вы не лавров пышных —
Хоть баранок связку дайте!..

I

В дни былые, в дальнем крае...
Выбирайте сами место —
В сказке и в стихотворенье
Все возможно, как известно!..

В дни былые, в дальнем крае
Проживал поэт когда-то.
Он владел большим талантом,
Напрокат нигде не взятым.

И хоть не был он красавцем,
Но уродом не был тоже,—
Человек обыкновенный,
На других людей похожий.

Наш певец — да что же делать,
Правду надо молвить смело:
Не певцом был, а поэтом —
Петь, признаться, не умел он!

Но его звучала песня
Звонкой радостью и смехом,
И неслась она по свету
Стоголосым звучным эхом.

Одиночества не знал он...
Под его убогим кровом
Молодежь не раз сходилась
Слушать новой песни слово.

Эта песня утешала
То улыбкой, то советом...
Благодарные за песню,
Помогали все поэту.

Что могли, то и давали —
Вот и вся его награда.
Холод с голодом неведом,—
Что еще поэту надо?

А когда зеленым шумом
Разговаривают травы,
Каждый день ходил поэт наш
Побеседовать с дубравой.

Так однажды рано утром
Он лежал в траве, мечтая...
Может, слушая дубраву,
Может, песню сочиняя...

Вдруг он слышит — шум и крики.
Зов охотничьего рога,
Лай борзых... На всю окрестность
Эхом поднята тревога.

Кони быстрые топочут,
Шум все ближе нарастает,
И охотники толпою
На дорогу выезжают.

А поэт наш — вот несчастье! —
Лег на самую дорогу...
«Эй! — кричит он.— Осторожно!
Дайте мне пожить немного!»

Хорошо, что не за зверем
Кровожадно люди гнались —
О, тогда б они с поэтом
И не очень посчитались!..

Впереди — сердитый рыцарь
Под кольчугою железной...
«Это, молвит, что за птица?
Ты не встанешь ли, любезный?»

«Не беда! — поэт ответил.—
Сам уйти с дороги можешь,
Если рифмы разбегутся,
Ты собрать их не поможешь!»

«Хороша твоя охота! —
Засмеялся громко рыцарь.—
От беды тебе скорее
Лучше с миром удалиться!»

«Я беды не испугаюсь!
О покое не забочусь!
Уходи-ка! Я — охотник,
На таких, как ты, охочусь!

Ведь ко мне с небес высоких
Рифмы-соколы слетают,
На того, кого мне надо,
Беспощадно нападают!»

«Ишь какой ты, дьявол, мудрый! —
Молвит рыцарь.— Не случалось
Мне встречать тебе подобных!..
Мало времени осталось,

А не то б мы поглядели,
Кто кого скорей поймает!..
Люди! Прочь его с дороги!
Пусть не очень рассуждает!»

«Что ж,— сказал поэт,— спасибо!
На руках меня несите!
Да о песнях не забудьте!
Вон, в траве листки возьмите!»

«Он, наверно, сумасшедший! —
Крикнул рыцарь.— Бог с тобою!
Знай, безумный, нашу милость —
Мы объедем стороною.

Подожди еще немного:
День пройдет, и ночь настанет —
Я подам тебе на бедность,
А сейчас я очень занят!»

«Ожидать тебя не буду,—
Так поэт наш отвечает,—
Кто кому подаст на бедность,
Этого никто не знает...»

Ничего на это рыцарь
Не ответил, прочь умчался.
Свист и топот... Лес дремучий
Гулким эхом отозвался.

Разбрелись ловцы повсюду,
Целый день они стреляли,
Только ни одной зверюшки
За день целый не поймали.

А когда к закату солнце
Над землей склоняться стало,
Смолкли трубы, шум и крики,
Тишина на луг упала.

Утомились люди за день,
Потихоньку голод гложет,
Кто еще в лесу блуждает,
Кто найти пути не может...

Едет рыцарь одиноко,
Смотрит сумрачный и строгий...
Глядь — поэт лежит, как раньше,
Поперек лесной дороги.

«Ты подачек ожидаешь?
Ждал, бедняга, целый день их! —
Рыцарь шарит по карманам.—
Я не взял с собою денег!»

Но поэт в ответ смеется:
«Золотом не дорожу я!
У меня богатства столько,
Что тебя еще ссужу я!..»

Загорелся гневом рыцарь —
Очень горд, упрям и смел он!
Только гордость и упрямство —
Все богатство, что имел он.

«Хватит шуток! — крикнул гневно.-
Я с тобой расправлюсь люто!..»
А поэт ему: «Мне тоже
С господами не до шуток.

Мной воспеты небо, море,
И дубрава мной воспета...
Это все мои богатства —
Драгоценности поэта.

И при всем богатстве этом
Я свободен, счастлив вечно...»
Тут воскликнул рыцарь: «Боже!
Он с ума сошел, конечно!»

«Может быть,— поэт ответил,—
Мы с тобою в божьей власти!
Но действительно я счастлив,
И с меня довольно счастья!

Я на мир гляжу свободно.
Пролетают думы-птицы,
Для которых нет на свете
Ни заставы, ни границы.

Все, что только захочу я,
Сотворю в одну минуту,
И летит над облаками
Мысль моя, на крыльях будто.

Вечно молод, вечно весел,
Словно звонкий ветер в поле,
Сам свободный, никогда я
Не сгибал чужую волю».

Но в ответ смеется рыцарь:
«Друг! Нельзя ли покороче?
Я тебе не очень верю —
Ты-то счастлив, да не очень!

Что мне все твои мечтанья?
Это — мнимая свобода.
Я бы все за графский титул,
За земной бы замок отдал.

Я бы отдал все богатства
Всей страны твоей незримой
Лишь за сладость поцелуя
Милой девушки любимой!..»

Что-то рыцарю ответить
Наш поэт уже собрался,
Но вот солнце закатилось,
Светлый месяц показался.

Молодежь пошла с работы
Под вечерним тихим светом
И сердечными словами
Поздоровалась с поэтом.

И поэт взял мандолину.
Струны тут заговорили,
И слова чудесных песен
Рядом с музыкой поплыли.

Очарованные песней,
Все задумчиво стояли,
А у девушек безмерно
Очи радостью сверкали.

Очарован, неподвижен,
Долго рыцарь слушал песню:
«Сколько силы в этом слове!
Он, наверное, кудесник!»

II

Летним вечером однажды
Наш поэт сидел без дела...
Целый день в своем жилище
В одиночестве сидел он...

Молодежь ушла с рассвета —
Дни горячие настали,
И товарищи поэта
Урожай с полей снимали.

Так сидел он неподвижно,
Слушал песни, что звучали
Всюду в поле — и к поэту
В мирный домик долетали.

Песни смолкли. Скоро ночка
Темнотою все укрыла,
С ветром спорили деревья,
Речка быстрая бурлила.

И поэт в своей лачуге
Молча слушал шум далекий,
Он глядел во тьму ночную,
Полон думою глубокой.

Вдруг он слышит — кто-то едет,
Лошадь у крыльца заржала,
Кто-то слез с коня, оружье
Еле слышно забряцало.

Что за чудо? Кто приехал?
Чья-то тень окно закрыла...
Удивлен поэт наш. «Кто там? —
Неизвестного спросил он.—

Если вор, то ты ошибся:
Ты у бедного поэта».
«Это я,— ответил голос,—
За услугой, за советом...»

«Кто же ты?» — опять спросил он.
«Я — Бертольдо, рыцарь славный!»
И поэт узнал тот голос.
«А! Охотник! Друг недавний!

Заходи, хотя, признаться,
Темноват приют поэта,—
Для себя, когда я дома,
Я не жгу напрасно света.

А для гостя мне не жалко...»
Огонечек заискрился —
В гости собственной персоной
Властелин Бертольд явился.

«Добрый вечер!» — «Добрый вечер!» –
Рыцарь хмуро отозвался...
Посидели, помолчали,
Разговор не начинался...

«Чем могу тебе помочь я?» —
Наш поэт сказать решился.
Рыцарь тихо отвечает:
«Я, мой друг, увы, влюбился!»

И поэт ему: «Скажи мне,
За каким пришел советом?
Может быть, и помогу я
В очень сложном деле этом...»

«Я влюблен, я погибаю,—
Молвил рыцарь,— дни и ночи
Вижу я перед собою
Изумительные очи!»

«Что ж,— поэт ему ответил.—
Взять за ручку да жениться!»
«Ох, другой, как видно, рыцарь
С ней навек соединится!

Под балкон любимой донны
Каждый вечер прихожу я,
И в безудержной печали
Ночи грустно провожу я.

Но в ответ на воздыханья
Ничего не получаю!
Чем привлечь к себе, скажи мне,
Сердце милой?.. Я не знаю!

Может быть, по вкусу милой
Будут больше серенады?..»
«Да,— сказал поэт,— для птички
Повкусней приманку надо!»

«Голос есть... Но со стихами,
Знаешь, не выходит что-то...»
«Да! — поэт ему ответил.—
Это трудная охота.

Поэтические лавры
Не для каждого, кто хочет,—
Конь поэзии крылатый
Норовист, капризен очень...»

«Помоги! — взмолился рыцарь.—
Для тебя нет дела проще!
Ты — волшебник! Ты — кудесник!
Помнишь дивный вечер в роще?

Ты своим стихом чудесным,
Песней все сердца растрогал...
Ты один найти мне можешь
К сердцу милому дорогу!

И за это все, что хочешь,
Я отдам тебе в награду!»
«Нет,— поэт ему ответил,—
Обещаний мне не надо.

Никакой не надо платы
Мне от друга дорогого!
Подожди — и серенада
Будет в миг один готова.

Но для этого мне нужно
Имя знать твоей любимой...»
«Имя милой — Изидора,
Красоты непостижимой!»

Призадумался поэт наш,
Глядь — и через миг единый
Что-то вывел на бумаге,
Снял со стенки мандолину,

Показал слова Бертольду,
Мандолину сунул в руки
И стихи учил запомнить,
Повторяя для науки:

«Начинаешь петь, а дальше
Струны так перебираешь:
Ut-fa-la-sol-fa, mi-re-sol...
Дальше сам ты подбираешь».

«Вот спасибо!» — молвил рыцарь...
Не успел поэт проститься,
А уж рыцарь в чистом поле
На коне летит, как птица.

Мчался рыцарь через степи,
Через долы, через горы.
И коня остановил он
У окошка Изидоры.

Под окошком у любимой
Мандолина заиграла...
Неизбывных чувств потоком
Серенада выплывала:

«Гордо, пышно и лучисто
Светят звездные просторы —
Ни одной звезде высокой
Не сравниться с Изидорой!

Светят чистые алмазы,
Красотой прельщают взоры,
Но чистейшим бриллиантам
Не сравниться с Изидорой!

Много спрятали жемчужин
Океанские просторы,
Ни одной из тех жемчужин
Не сравниться с Изидорой!..»

И лишь только серенада
Отзвучала по просторам,
Звездами полюбоваться
Тихо вышла Изидора.

И когда, устав от песни,
Мандолина замолчала,
Сверху вдруг к ногам Бертольда
Роза нежная упала.

И исчезла Изидора,
Тихо... Пуст балкон, как прежде,
И прильнул Бертольд устами
К розе — сладостной надежде.

III

Боже, боже! Что наделать
Может с сердцем серенада!
Не томится грудь Бертольда
Томной грустью и досадой.

И улыбка Изидоры
Все приветливей, яснее,
С очарованным Бертольдом
Все любезней и милее.

И колечко Изидоры
На руке его сияет,
Он невестою любимой
Изидору называет.

На богатой, пышной свадьбе
Длилось шумное веселье,
Танцевали, выпивали
Забавлялись всю неделю.

Всех приветствовали шумно,
Медом, винами поили...
Только нашего поэта
Пригласить на пир забыли.

Ясно,— хлопоты большие,
Отдохнуть минутки нету!
Где, кому какое дело
До забытого поэта?

Время птицею летело,
Жизнь, как сказка, протекала...
И не знал Бертольд, что горе
У ворот его стояло.

Захотел король могучий
Покорить чужие страны,
И герольдов разослал он
Звать бойцов на подвиг бранный.

И среди гостей веселых
В замке рыцаря Бертольда
Рог раздался громогласный
Королевского герольда.

«Ты прощай, моя супруга,
Миновали счастья годы!
Променять все это надо
На далекие походы».

И осталась молодая
Изидора одинокой,—
В воскресенье утром рано
Вышел рыцарь в путь далекий.

Толпы рыцарей отважных
Вышли в путь порою ранней —
Там, за морем за далеким,
Проживают басурмане.

Через дебри и пустыни
Войско шло, не уставая.
Не один вздохнул глубоко
О своем родимом крае.

Но когда уж слишком тяжко
Грусть людей одолевала,
Чтобы грусть рассеять, песню
Начинали запевалы:

«Не грусти, когда наскучат
Бесконечные скитанья.
О своем родимом крае
Не умрут воспоминанья!

В песнях родины найдешь ты
Утешенье в скорбной жизни.
Придадут тебе отваги
Думы о родной отчизне.

Не печалься — не напрасны
Это горе, эта мука:
Край родной любить сильнее
Учит долгая разлука!»

Над глухой пустыней дикой
Раздавалось это пенье,
И находит каждый воин
В этой песне утешенье...

Впереди большого войска —
Трое выбранных старейших:
Карлос, Гвидо и Бертольдо,
Трое рыцарей храбрейших.

Едут, едут... перед ними
Три дороги... Порешили,
Чтоб расстались командиры,
Три дороги разделили.

Карлос выбрал путь направо,
Гвидо — левую дорогу,
А Бертольд шагает прямо...
«Путь счастливый!» — «С богом!» — «С богом!»

Счастье храброму Бертольду
Улыбалось поначалу,—
По пути завоевал он
Городов чужих немало.

Вот уже столица вражья
Пред Бертольдом вырастает...
Тут-то счастье боевое
Полководцу изменяет.

То ли рыцари успели
От походов утомиться,
То ль решили басурмане
Не сдавать своей столицы —

Но держался город крепко
Перед рыцарской когортой.
Две атаки отразил он,
Так же с третьей и с четвертой.

И пришлось Бертольду плохо,–
Край чужой, чужие люди,
Страшный голод, войско гибнет...
Что-то будет? Что-то будет?

Месяц тянется осада,
Рыцарей погибло много.
Нарастает среди войска
Недовольство и тревога.

Воины идут к Бертольду,
Подступают с криком грозным:
«Выводи ты нас отсюда!
Прочь веди, пока не поздно!

Ты зачем сюда привел нас?
Это путь прямой к могиле,
Видно, хочешь, чтобы все мы
Даром головы сложили!

Ненавистен этот город!
Надоела нам осада!
Эту славу и победу —
Ну их к черту! — нам не надо!»

И хотел Бертольд утешить
Злое войско умным словом,
Но наполнился весь лагерь
Шумом диким, бестолковым.

Все схватились за оружье,
Смертью б дело завершилось...
Кто-то крикнул громко: «Стойте!»
Войско вдруг остановилось.

И певцы перед войсками
Вышли стройной чередою,
На плечах несут оружье,
Лютни держат пред собою.

И тогда пошли на приступ
«Ни к чему шуметь вам боле.
Наказать теперь Бертольда
Все равно ведь в вашей воле.

Мы вам многое расскажем,
Но язык у нас чудесней,
Так как нам присуща песня,
Мы про все расскажем песней!»

Тут один из них тихонько
Струны пальцем задевает,
Улыбается лукаво,
Песню тихо начинает:

«Жил да был отважный рыцарь,
Воевал он в жизни много —
Шел он в долгие походы
Лишь от печки до порога.

Языком своим длиннющим
Штурмовал он вражью силу.
Вы слыхали, как он хвастал:
«Я — один, их — триста было!»

Этот вот отважный рыцарь
Был в бою и после боя
Жив и цел домой вернулся:
Талисман имел с собою.

Талисман такой известен,
Рассказать о нем несложно,—
Талисман тот — изреченье:
«Убегай, пока возможно!»

«Убегай, пока возможно!»
Все певцы тут подхватили...
И солдатам стыдно стало,
Книзу очи опустили.

И оружье заблестело,
Загремело по просторам:
«Лучше смерть в бою отважном,
Чем прийти домой с позором!»

И тогда пошли на приступ
Так решительно и смело,
Что на милость город сдался,
Еле ночь прийти успела.

Басурманский царь сдается,
Вражье логово разбито.
И дорога в край родимый
Широко теперь открыта!

Светел, радостен Бертольдо,
Всех певцов своих созвал он,
И когда они собрались,
Им такую речь сказал он:

«Вечно будем мы гордиться
Трубадурами похода!
Я обязан дать награду
Вам от имени народа!»

И певцы в ответ: «Спасибо!
Нам наград твоих не надо!
Тот, кто выучил нас песням,—
Тот достоин лишь награды!»

«Где ж он? Где? — спросил Бертольдо.—
Что ж он прячется меж вами?»
«Он не здесь,— певцы сказали,—
На войне он не был с нами.

Он в родной стране остался,
Чтоб делить печали с нею,
Не одну семью утешить
Звонкой песнею своею...»

«Знаю этого поэта,
Песню вечно молодую,
И теперь его по-царски
Щедро отблагодарю я!

Дал бы бог теперь счастливо
Нам прийти к семье любимой —
Много золота насыплю
Я певцу страны родимой!..»

IV

Из намерений хороших
Сбита ада мостовая,
Здесь, конечно, потрудился
И Бертольд, не уставая.

Уж давно Бертольд вернулся
В мирный дом, в гнездо родное,
Снова зажил мирной жизнью
Вместе с милою женою.

Расцветает вечный праздник
В освещенных ярко залах...
Много у него богатства...
Много золота в подвалах,

И богатые трофеи,
Что добыл он в схватках жарких,
И награда за победу —
Королевские подарки.

Много денег и сокровищ!
Графом стал наш славный рыцарь!
Будто сам король могучий,
Он живет и веселится.

И кругом — куда ни глянешь —
Это все его владенья,
Вся округа, каждый житель
У Бертольда в подчиненье.

И сперва Бертольд казался
Благородным и счастливым,
Он с подвластными своими
Честным был и справедливым.

Но недолго это длилось,
Он менялся постепенно,
Все увидели, что в графстве
Наступили перемены.

На вино, на угощенье,
На роскошные наряды,
На турниры и забавы
Очень много денег надо.

Граф привык в далеких войнах
Грабить всех без сожаленья,
И теперь в краю родимом
В этом ищет он спасенья.

Бесконечные оброки,
Злая барщина, налоги,
Всюду крепкие заставы
Граф поставил на дороге.

Трудно даже рассказать вам,
Что за стон там раздавался.
Как в аду, страдали люди,
Как в раю, граф наслаждался.

Граф разгуливал по замку,
А в ярме стонали люди...
И казалось, бесконечно
Продолжаться это будет.

Всюду горькою волною
Стон народный разливался,
Этот стон в душе поэта
Тяжким эхом отзывался...

И однажды в пышном замке
Слышит граф плохие вести —
Стража верная доносит,
Что волнуются предместья.

Что певцы бунтарской песней
Недовольство разжигают
И к восстанью за свободу
В этой песне призывают.

И певцов сажают в тюрьмы,
В каземат сырой и тесный,
Но ничто не помогает —
Не смолкают эти песни.

Собираются толпою
Горожане и крестьяне,
Беспокоен край широкий,
Приближается восстанье.

И вскричал Бертольд: «Пустое!
Я возьму их жестко в руки!»
Вдруг он слышит — где-то рядом
Раздаются песни звуки:

«Мужика сыра землянка,
Барский замок — на помосте...
Что ж, недаром говорится:
«У господ белее кости...»

Может ли рука мужички
С белой ручкою сравниться?
«Кровь у графа голубая» —
Так недаром говорится...

Любопытствуют крестьяне:
Всюду ль эти кости белы?..
Кровь прольется ль голубая,
Если нож вонзить им в тело?..»

«Что за черт! — Бертольд воскликнул.–
Поскорей певца ловите,
В кандалы его закуйте!
Эй, скорей! Скорей бегите...»

Из-за стен огромных замка
Снизу голос вдруг ответил:
«Эй! Бегите, слуги графа,
Да поймайте в поле ветер!

И напрасно так — не стоит,
Граф вельможный, волноваться:
Ныне нас поймаешь десять —
Завтра нас увидишь двадцать!

Нас к боям ведет, к победам
Командир великой рати...
Он у нас отважный рыцарь,
Вы же с ним знакомы, кстати...»

Как сквозь землю провалился
Тот певец — следа не стало...
А Бертольд сидел и думал,
И тихонько прошептал он:

«Он у нас отважный рыцарь» —
Вот всего восстанья корень!
Но его забавам злобным
Положу конец я вскоре!»

Он к себе двух самых верных
Слуг покорных вызывает
И к поэту с порученьем
Прямо на дом посылает:

«От меня ему скажите:
Помню я еще доныне,
Как его прекрасной песней
Утешался на чужбине.

И теперь вот я желаю
Заплатить ему сторицей —
Я дарю ему прекрасный,
Лучший дом в моей столице.

Пред его большим талантом
Преклоняюсь я покорно,
И его намерен сделать
Я певцом своим придворным.

У меня его, скажите,
Ждут почет, богатство, слава,
Только должен он оставить
Все опасные забавы!»

Слуги выполнили точно,
Быстро это порученье,
Принесли они поэту
В графский замок приглашенье.

Он приветливо промолвил:
«Я прошу у вас прощенья,
Что не вышел вам навстречу —
Болен уж не первый день я.

Что ж, прошу — садитесь, гости!»
Все по-прежнему стояли
И немедленно поэту
Речи графа передали.

Он с усмешкой слушал речи
Соблазнительные эти
И, когда они замолкли,
Так спокойно им ответил:

«Передайте господину:
Платы я не принимаю!
Если что-нибудь дарю я,
То назад не отнимаю.

Я ему его богатства —
Пусть он вспомнит — заработал!
Очень я о том жалею,
Лучше бросил бы в болото!

Нет! Из рук его вовеки
Громкой славы не возьму я!
Могут дать такие руки
Славу лишь одну худую!

Золотых венков не надо,
С ними счастья не добуду,
Буду золотом увенчан —
И поэтом я не буду!

Не поэты те, чьи мысли
Вольно не живут на свете,—
Их опутали навеки
Золотые эти сети.

Не поэт, кто забывает
О страданиях народа,
Золотыми кандалами
Он сковал свою свободу.

Вы пойдите и скажите:
Не боюсь я графской мести!
И пока я жив, до гроба
Не сложу оружья чести!»

И вернулися обратно
Слуги в замок и сказали:
«Так и так поэт ответил,
Мы напрасно убеждали...»

И вскипел Бертольд, услышав
Слово гордого ответа,
Снова слуг он посылает
Уговаривать поэта.

«Передайте слово в слово:
Пусть опомнится, покуда
Я терплю, и передайте —
Больше я терпеть не буду!

Если он стихи не бросит
И восставших не покинет —
Я его в тюрьму отправлю,
Пусть он там, проклятый, сгинет!..»

И спешат к поэту слуги,
Вот они у цели скоро.
Слуги ближе, слуги слышат
Мандолины переборы.

Заглянули в окна слуги,
Видят — общество большое,
Все сидят вокруг постели
Молчаливою толпою.

Третий день лежит поэт наш,
Сокрушенный злым недугом,
Вкруг него сомкнулись люди
Тесным и печальным кругом.

А поэт или играет,
Или пишет торопливо,
Раздает народу песни...
Слуги входят молчаливо.

Сразу вышли все из дома,
Лишь один поэт спокойно
Посмотрел на слуг Бертольда,
Поздоровался достойно.

Молча слушает угрозы,
Улыбается при этом...
Слуги кончили. Певец их
Угостил таким ответом:

«Передайте господину,
Что поэт готов в дорогу,
Пусть еще двух слуг, скажите,
Он пришлет вам на подмогу.

Не могу я встать с постели,
Графу вы передадите...
Вам нести меня придется
В новую мою обитель.

Но останусь я свободным
В глубине сырой темницы —
Думам вольным нет на свете
Ни заставы, ни границы!

Слово вольного поэта
Не запрете вы в темнице,
Полетит оно по свету,
Полетит крылатой птицей!

Грусть, тоска со мною будут,
И от общества такого
Втрое крепче станет сила
Поэтического слова!

Если цепи и найдутся,
Чтоб мое сковали слово,
Звон их будет громче речи,
Громче языка любого.

От родимого народа
Не услышу я упрека
В день, когда в темницу вами
Буду брошен я жестоко!..»

В тесной каменной темнице,
За решеткой долго жил он,
За народ без сожаленья
Тихо голову сложил он.

Но остались на свободе
Те потомки молодые,
Что в наследство получили
Эти песни огневые.

Наступил конец терпенью,
И убили графа люди,
Угнетенья и неволи,
Люди думали, не будет.

Но осталось от Бертольда
Молодое поколенье,
Юный граф принял в наследство
Гордость, золото, именья...

А борьба не прекратилась
До сих пор в родимом крае,
И сейчас она ведется —
Страшная и затяжная.

Живы графские потомки,
Всюду тюрьмы воздвигают,
А наследники поэта
Слово правды закаляют.

Слово правды призывает
Добывать на счастье право.
Беспощадна эта схватка,
Хоть она и не кровава!

И когда трубой победы
Боевая песня грянет —
Сказка старая замолкнет,
Правда новая настанет...

12 ноября 1893 г. Киев

Боже, то не дивное ли диво?
Не нашел юнак [1] с кем побрататься,
Меж юнцов не встретил побратима,
Не нашел меж девушек посестры.
Вилу белую в горах он встретил,
Вилу белую с волшебным взглядом,
Обменялся с нею перначами.
Белое лицо ее целуя,
Руку ей пожал, назвал: «Посестра!»
«Побратим!» — она ему сказала,
И они помчались вместе в горы.
Едут рядом по горе зеленой.
И промолвил побратим посестре:
«Вила, вила, милая посестра,
Видишь ли, что там внизу чернеет?
Воронье ли черное слетелось,
Или гору турки обступили?»
«То не воронье внизу чернеет,
Это турки гору осаждают,
Осаждают, тучей окружают,
Скоро к нам со всех сторон подступят».
«Вила, вила, милая посестра,
Убегай, пока жива, отсюда!
У тебя крылатый конь волшебный, —
Как взовьется — не догонят турки
На своих арабских иноходцах!»
«Милый побратим, побойся бога!

[1] Витязь *(сербск.)*.

Что за слово ты сейчас промолвил?
Разве я затем с тобой браталась,
Чтобы изменить тебе позорно?
Хочешь — убежим с тобою вместе,—
Сильный конь мой вынесет обоих».
Побратим тогда ответил гордо:
«Рыцарю бежать не подобает!»

Ничего тут вила не сказала,
Буйные коню связала крылья,
Чтоб один не вздумал вверх подняться,
А потом связала и поводья,
Чтобы кони врозь не разбежались:
«Это судьбы наши я связала».
Побратим упрашивает снова:
«Вила, вила, милая посестра,
Хоть и разум у тебя волшебный,
Все же сердце у тебя девичье,—
Если нас враги кругом обступят,
Как бы ты, сестра, не испугалась!»
Не сказала вила тут ни слова,
Только взгляд загадочный метнула,
Как пернач сверкающий и острый.
Что-то витязь вновь хотел сказать ей,
Но кругом их турки обступили,
Воронами хищными закаркав,
Юнака с посестрою схватили,
На спине хотят связать им руки,
Увести в турецкую неволю.
Но глядят они орлиным взглядом
И врагу в неволю не сдаются,
Хоть и знают, что уж нет спасенья,—
Не хотят оружия позорить.
Покарай ты, боже, янычара!
Он рассек коню на крыльях путы.
Конь, почуяв крылья на свободе,
Как шарахнется, как вверх взовьется,
Разорвал шелковые поводья,
И взлетел он с вилой к самым тучам.
Проклял тут юнак свою посестру:
«Пусть тебя господь накажет, вила,
Братское нарушила ты слово!
Пусть вовеки не узнает счастья

Тот, кто побратается с тобою!»
Золотой пернач юнак отбросил,
Надвое сломал кривую саблю:
«Сгинь, оружье, если гибнет верность!»
Видит вила гибель побратима,
Падает с высот стрелой из лука,
Да не на гору она упала —
На зеленую сосну в долину,
Зацепилась белым покрывалом,
Словно тучка, что сплыла с вершины.
Вила саблю острую хватает,
Белое срезает покрывало,
Будто серна, вверх она взбегает,
К своему юнаку-побратиму.
Добегает до поляны горной...
Горе, горе! Ни следа не видно,
Только вся трава черна от крови.
Смотрит вила: скалы да обрывы.
Но какой дорогой скрылись турки
И куда девали побратима?
Жив ли он иль душу отдал богу?
Зарыдала, закричала вила:
«Ой ты, конь, крылатое виденье!
Где ты там под тучами гуляешь?
Загубил ты душу побратима,
Помоги же отыскать мне тело!»
Кличет вила, и зовет, и свищет,—
Говорят в долинах люди: «Буря!»
Кличет вила, а сама блуждает
По горам, заглядывает в бездны —
Побратима своего все ищет.
Помутился с горя вещий разум,
И померк в печали взгляд волшебный —
Не узнать в ней прежней вилы белой.
Так не день, не два она блуждала,
Все коня из тучи выкликая,
Наконец он зов ее услышал,
Прилетел из далей неизвестных
И упал на землю, словно пуля.
Закипело сердце вилы белой:
«Ой ты, конь, изменник ты проклятый!
Если бы тебя убить могла я,
Все бы мне на сердце легче стало!..»

Вещий конь тогда ответил виле:
«Госпожа, не проклинай напрасно.
Если б я тебя не вынес в небо,
Оба вы тогда бы в плен попались.
Не на то ты вилой уродилась,
Чтоб тебя вязали злые люди!»
Молча вила тут коня седлает,
А в груди змея как будто вьется...
Вещий конь ей говорит словами,
Госпожу свою он утешает:
«Госпожа моя, ты не печалься,
Не печалься, в горе не вдавайся,
Мы найдем с тобою побратима.
Если он живой — его спасешь ты,
Если мертвый — честно похоронишь.
И не будет между вас измены».
Молча вила на коня садится
И пускает по ветру поводья.
Конь под ней рванулся птицей вещей,
Где гора — орлом перелетает,
Мечет в бездну взгляд свой соколиный,
По долинам ласточкою вьется,
По-над городом летит совою,
Темень огненным пронзает взором.
Так три дня летели и три ночи
И в Стамбуле-граде опустились.
Вила здесь турчанкою оделась,
Попросту оделась, как крестьянка,
Улицами ходит, площадями,
Где идет невольников продажа,
Своего все ищет побратима:
Юношей встречается немало,
Да не видно побратима вилы...
Вот уж вила у палат султанских.
У султана белые палаты,
А под ними черные темницы,
Там в неволе пленники томятся,
Света солнца их глаза не видят.
Только ночь укроет все дороги,
Подойдет к стенам темницы вила,
Обволакивает все туманом,
Насылает крепкий сон на стражу,
Припадает ухом всюду к стенам,

Чтобы хоть единый звук услышать.
Вещий слух у вилы-чародейки,
Но молчит темница, как могила.
Лишь на третью ночь посестра слышит –
Кто-то тяжко застонал в темнице:
«Покарай, господь, посестру вилу!»
Как услышала те стоны вила:
«Горе мне! То голос побратима!»

Поясной кинжал снимает вила,
В стену бьет и твердый камень рушит,
Пробивает узенькую щелку,
Подает свой голос побратиму:
«Не кляни меня, любимый брат мой,
Вспомни бога со святым Иваном!
Я тебе не изменила, милый,
Предал нас обоих конь крылатый.
Враг ему рассек на крыльях путы —
Конь взлетел со мною к самой туче.
Видит бог — того я не хотела!
Вот стою я здесь у стен темницы,
Я пришла к тебе сюда на помощь».

Отозвался юный витязь виле:
«Что ж, спасибо, милая посестра,
Что пришла сюда ко мне на помощь.
Только жалко — поздно спохватилась,
Долго ж ты для турок наряжалась!»
Облилось тут кровью сердце вилы:
«Побратим, не гневайся напрасно!
Если б ты меня сейчас увидел,
Не сказал бы — вила наряжалась...»

Кротко виле побратим ответил:
«Что ж, давай помиримся, посестра.
Что прошло, то больше не вернется,
А меня спасать теперь уж поздно.
Вот спасибо — щелку прорубила,
Хоть увижу светлый луч в темнице,
Бог мою еще не принял душу.
Если б он ее скорее принял!
Верно, обо мне и смерть забыла».

И опять ему сказала вила:
«Побратим, к чему слова такие,
О живом живой и думать должен,
Стража спит, на улицах безлюдно.

Я окошко прорублю пошире,
Я спущу тебе покров свой белый,
По нему ко мне ты доберешься.
Только свистну — мигом конь примчится.
Будем мы в горах через минуту».
Побратим ей снова отозвался.
Говорит он, как ножами режет:
«Что прошло, того уж не воротишь,
Больше нет в горах мне прежней воли.
Тело мне ремнями переело,
И железо кости перегрызло,
А темница очи помутила,
Горький стыд повысушил мне сердце,
Что сломал я славное оружье
И живой попался в руки туркам.
Не мила и жизнь теперь мне стала
Ни в темнице, ни на вольной воле!»
Отвечает вила побратиму,
Заклинает побратима богом:
«Я сама спущусь к тебе в темницу,
Все-таки спасу тебя оттуда,
Лишь бы только нам добраться в горы,
Я тебя там вылечу, мой милый,
Я недаром вила-чародейка,
Исцелю тебе любые раны».
Ничего не отвечает виле
Побратим и только тихо стонет:
«Жаль трудов твоих, посестра вила!
Не от славных ран я погибаю.
Подойди — и все сама увидишь,
И лечить меня ты не захочешь.
Если ты мне верная посестра,
Сделай мне последнюю услугу:
Жизнь мою возьми чем только хочешь,
Было бы оружие почетным,
Схорони ты страждущее тело,
Чтоб над ним злой враг не надругался.
Если просьбе ты моей откажешь,
У тебя предательское сердце».
Зарыдала, загрустила вила
И кукушкою закуковала:
«Что сказал ты, побратим любимый?
Подыму ли на тебя я руку?»

Тут невольник обратился к богу
«Ты за что меня, господь, караешь?
Не дал ты мне, боже, побратима,
А послал в посестры эту вилу.
Вот теперь и помощи не вижу,
Слышу только жалобы девичьи.
У меня без них немало горя».
Тут ни слова не сказала вила,
Лишь махнула белым покрывалом.
Молния широкая блеснула,
Ослепила всех турецких стражей,
Все тюремные спалила двери,
Осветила путь посестры к брату.
Только раз на брата посмотрела
Вила белая — и сжалось сердце.
Перед ней лежал не юный витязь,
А старик совсем седой, как голубь,
Грубыми изрезанный ремнями,
А из ран просвечивают кости.
Он не встал навстречу виле белой,
Только тихо звякнул кандалами.
Вновь махнула вила покрывалом,
Осветила ясно всю темницу.
«Вот я здесь, взгляни на вилу, брат мой!»
Отозвался пленник еле слышно:
«Я не вижу — очи помутились!»
Сжала крепко грудь свою посестра,
Чтоб от муки сердце не порвалось,
Не могла она сказать ни слова,
Только еле слышно просвистела,
Чтоб к себе коня позвать скорее.
Мигом конь услышал тихий посвист,
Он уже в воротах бьет по камню,
На руки берет посестра брата
И перед собой в седло сажает.
Только не сидит он в нем, как рыцарь,
А дрожит и гнется, как ребенок.
Плача и стеная, вилу просит:
«Не неси меня, сестра, высоко!
Сердце ноет, жутко мне и тяжко!
Лучше ты оставь меня в темнице...»
Тихо, тихо вила отвечает,
Как из-под земли выходит голос:

«Побратим, прижмись ко мне покрепче,
Поддержу тебя я, ты не бойся».
Обняла посестра побратима,
Крепко левою рукой прижала,
Правой занесла кинжал блестящий
И вонзила так глубоко в сердце,
Что сразил бы он две жизни сразу,
Если б вила смертной уродилась.
Но осталась жить посестра вила,
Только сердце обагрилось кровью.
Конь почуял запах крови свежей,
Взвился вверх он искрою кровавой,
В горы дикие стрелой помчался
И в долине вдруг остановился.
Стал копать своим копытом землю,
Быстро яму черную он вырыл.
Вила белая с коня тут сходит,
Подымает вила побратима,
Пеленает белым покрывалом
И кладет на вечный сон в могилу.
Рядом с ним кинжал она хоронит,
Чтобы витязь не был безоружным.
Землю черную полою носит,
Высоко могилу насыпает,
И гора уже до неба встала.
Схоронила вила побратима,
На коня вскочила, закричала:
«Ой, неси меня, неси в просторы!
Горе давит! Сердцу стало тесно!»
Конь взлетел высоко, выше тучи —
Госпожу выносит на просторы.
Погребенья песнь заводит вила,
Люди говорят: «То гром весенний».
Вила слезы горькие роняет —
Люди говорят: «Весенний дождик».
Над горами радуги сияют,
По долинам оживают реки,
В горных долах травы буйно всходят,
И печаль заоблачная тихо
К нам на землю радостью спадает.

<1901>

ИЗОЛЬДА БЕЛОРУКАЯ[1]

I

Тристан, в лесу блуждая,
Ловил зеленый шум,
Хотел ему поведать
Тоску любовных дум.

Качает ли березу
Приветный ветерок —
Он тотчас вспоминает
Изольды голосок.

Проглянут ли сквозь ветки,
Синея, небеса —
Он вспоминает грустно
Изольдины глаза.

В отчаянье из чащи
Выходит он — и вот
Над рожью золотою
Звенящий зной плывет.

[1] Основой для этой поэмы послужил средневековый роман «Тристан и Изольда», который был широко распространен во многих вариантах, на разных языках, во всех европейских — в том числе и славянских — странах. Содержание романа — роковая и несчастная любовь рыцаря-вассала Тристана к королеве Изольде Златокудрой. Любовь возникает внезапно — от волшебного напитка, выпитого ошибочно. В некоторых вариантах упоминается также и вторая Изольда — Изольда Белорукая, которую Тристан любил во время разлуки с первой возлюбленной — Изольдой Златокудрой. *(Прим. Леси Украинки.)*

И он о Златокудрой
Изольде вспомнил вновь,
Упал в траву и плачет.
О, горькая любовь!

Пришла на поле жница,
Свою межу нашла,
Услышала рыданье
И ближе подошла.

Судьбою необорной
Была ее краса,
И черною печалью
Была ее коса.

Был сумрачен и грустен
Ее горящий взгляд.
Забудет рай небесный,
Кто взглянет в этот ад.

У девушки той голос —
Как будто скрипки зов,
Что собирает мертвых
На танец из гробов.

И вывела Тристана
Она из темных грез
Движеньем рук лилейных,
Умильным током слез.

Спросил он: «Как зовешься,
Скажи, коль тайны нет?»
«Изольдой Белорукой»,—
Он услыхал ответ.

«Единственное имя
В юдоли и в раю!
Изольда, ах, Изольда!
Прими любовь мою!»

II

«Так нежно меня ты ласкал,
Возлюбленный, милый,
Так в очи печально смотрел,—
Мне сердце щемило.

Ты губы мои целовал
И белые руки,
И слезы на косы текли
От счастья и муки.

Шептал ты недавно еще
Так пылко и страстно,
Зачем же, зачем же ты глух
На зов мой напрасный?»

«Изольда! Изольда моя!
В очах твоих черных
Хотел бы я видеть лазурь
Обителей горних.

Изольда! Изольда моя!
Когда бы волною
Твоя золотилась коса,
Как поле ржаное!

Твой голос, Изольда моя,
Порывист, мятежен,
Когда б он, как шелест берез,
Был ласков и нежен!»

«Не стоит о том горевать
И плакать Тристану!
У матери крестной я все,
Что хочешь, достану.

Моргана ведь крестная мне.
Поможет мне фея...»
«Беги же, Изольда, беги
К Моргане скорее!»

III

«Ах, крестная, фея Моргана.
Мою измени красоту!
Хочу быть светла и прекрасна,
Как ангелы в божьем саду».

«Нет, крестница, дочка Изольда!
Я прелесть твою создала
Еще в колыбели, младенцу
Подарок живой принесла.

Ведь в прелести гордой, Изольда,
Земное твое торжество...»
«Печален и темен мой облик —
Мой милый рыдал от него.

Дай золота мне и лазури,
Хочу быть светла и ясна,
Чтоб милый смотрел улыбаясь,
Как весело блещет весна!»

«Ну, что ж, моя дочка Изольда!
У солнца ведь золото есть,
Морскую попросим русалку
Осколок лазури принесть».

«Позволь еще, крестная фея,
Чтоб нежен был мой голосок,
Чтоб милый, заслушавшись песен,
От них оторваться не мог».

«Нежнее, чем листья березы,
Волшебная прялка шумит,
И каждый в том звуке услышит,
Что сердце людское томит.

Что хочешь, любимая дочка,
Тебе измененным даю.
Одно изменить я не в силах —
Не трону я душу твою».

IV

Опять в ночном лесу Тристан
Сам-друг с былою мукой
И ждет как будто и не ждет
Изольды Белорукой.

Вспорхнула пташка ли в кустах,
Иль ветерок пронесся —
Внезапно встретился Тристан
С Изольдой Златокосой.

Все те же очи и коса,
И тот же голос милый...
Душа Тристана в небеса,
Ликуя, воспарила!

«Привет, единая моя!
Привет, моя царица!
Из-за́ моря ли приплыла
Сегодня, чаровница?

Как отпустил тебя одну
Твой муж, король проклятый?
Иль для Тристана своего
Убить его смогла ты?

Но где же кубок золотой,
Где зелье колдовское?
Охотно выпью все до дна,
Не надо мне покоя!

Напиток нам зальет печаль,
Рожденную разлукой».
«Тристан! Ужель не помнишь ты
Изольды Белорукой?»

«Она забыта навсегда,
Как тень минувшей ночи».
«А что, Тристан, когда забыть
Она тебя не хочет?»

«Пускай идет в Ерусалим
Босой, простоволосой!
Теперь я встретился с тобой,
С Изольдой Златокосой!»

«Тяжки грехи твои, Тристан.
Их тьма неумолима!
Ты им прощенья не найдешь
В стенах Ерусалима».

«С тобой, любимая, готов
Идти на смерть и муки!»
«Тристан, довольно праздных слов,
Смотри на эти руки!

Ты помнишь ли, кого послал
Сегодня в грот Морганы?
Куда теперь меня пошлешь
С моей сердечной раной?

Пускай исчезла тьма очей,
Зато душа темнее,
Чем черный камень гробовой,
Мне не расстаться с нею.

Пускай же вновь моя коса
Цвет траурный наденет!
Пускай же мне печали цвет
До гроба не изменит».

V

Тристан, как ребенок, ослаб,
На сердце кручина.
Ему не помогут теперь
Все чары Мерлина.

А фея Урганда ему
Промолвила мудро:
«Изольде тебя излечить
Одной — Златокудрой.

От смерти она отвратит,
Спасет от недуга».
Он слышит и за море шлет
Любимого друга.

И другу дает он наказ:
«Воротишься с милой —
Ты белое на корабле
Поставишь ветрило.

А нет — черный парус поставь,
И мне бы хотелось,
Чтоб он, словно саван, потом
Укрыл мое тело».

VI

«Ступай же, Белорукая, на берег,
Прошу тебя, молю тебя, иди!
Там есть утес, высокая стремнина,
Взойди на кручу, в море погляди,

Где ветер гонит северные волны,
Вернись скорей и расскажи о том,
В тумане нет ли белого ветрила
На горизонте дальнем и седом».

И молча Белорукая Изольда
Взошла на кручу и глядит в туман...
Ах, что белеет — парус ли далекий,
Иль это гребня пенного обман?

Она вернулась, и спросил он жадно:
«Что там вдали, видны ли паруса?»
«Маячит чей-то парус на просторе...»
«Он бел?» — «Он черен, как моя коса».

И вмиг душа Тристана обрывает
Нить ожиданья, горя не тая,
И легкокрылой птицею несется
Далеко, в неизвестные края...

. . . . . .

«За мною, Златокудрая Изольда!
Тебя давно Тристан твой верный ждет.
Не бойся в этих скалах заблудиться,—
Изольда Белорукая ведет.

Мы две сестры. Нас имя породнило,
Как две зари: я — вечер, ты — рассвет;
Мы запылали заревом единым.
Так суждено, и в этом чуда нет.

Однажды в жизни светлый час недолгий,
Как и тебе, мне был судьбою дан...»
«Сестра моя! Страшит меня твой голос!
Скажи всю правду! Умер мой Тристан?!»

«Пусть, Златокудрая, господь рассудит,
Чьим был Тристан, твоим или моим,
Но все-таки склониться в час кончины
Досталось мне, а не тебе над ним.

Не подняла ты черного ветрила,
Не траурна — светла твоя краса,
Но милый в гроб не ляжет без покрова —
Его покроет черная коса».

21 июля 1912 г. Кутаис

I

Катакомбы близ Рима. В подземелье, слабо освещенном масляными плошками и тонкими восковыми свечами, собралась небольшая христианская община. Епископ кончает проповедь. Слушатели и слушательницы стоят набожно, покорно и тихо.

Епископ

Восславим, братья, господа Христа,
Что посадил с собою одесную
Замученного брата Хариклея.

Хор

На небе слава господу Христу,
Что от земных оков освобождает,
Что из тюрьмы грехов выводит души
К престолу света вечного.

Диакон

Аминь.

Епископ

Наш брат был у язычника рабом.
Он ныне раб господень, раб ничей.

Раб-неофит

Господень раб? Там тоже есть рабы?
А ты мне говорил, что в царстве божьем
Нет ни хозяев, ни рабов!

Епископ

Да, правда!
Мы все равны пред богом.

Раб-неофит

И рабы?

Епископ

Рабы *господни,* брат мой, не забудь!
Сказал Христос: мое не горько иго,
Не тяжко бремя. Понимаешь?

Раб-неофит
(после тяжелого раздумья)

Нет.
Не в силах. Этих слов не понимаю.

Рабыня-христианка
(внезапно прорицает в беспамятстве)

Уже легла у дерева секира!..
«Я ввергну древо срубленное в пламя»,—
Сказал господь!.. Приди, приди, приди,
Исус, сын божий! Преклонилась долу
Твоя пшеница,— ждет она серпа...
Доколе, господи?.. Рахиль рыдает,
Нет у нее детей...

Бессвязная речь переходит в исступленное бормотание. Некоторые женщины тоже начинают плакать. Не выдерживает кое-кто и из мужчин.

Епископ
(властно и громко)

Прочь, сатана!
Ты здесь бессилен.
(Подходит к пророчице, бьющейся в судорогах, и кладет руку ей на голову.)
Дочь моя, да будут
Тебе защитой вера и молитва
От наваждений дьявола.

Постепенно под его взглядом женщина стихает и бессильно склоняется на руки подруг, поддерживающих ее.

Христианка
(одна из тех, кто поддерживает пророчицу, робко отзывается)

Вчера,
Святой отец, ее ребенка продал
Хозяин греку из Коринфа...

Епископ

Смолкни!
Апостол нам на благо заповедал:
«Пусть женщина на сборищах молчит».

Между тем пророчицу уводят. Молчание.

Раб-неофит

(подходит к епископу; голос его дрожит, но полон отчаянной решимости)

Прости, отец, но я не понимаю,
Как это может быть не горьким иго
И легким то, что тяжело?

Епископ

Мой сын,
Когда ты добровольно склонишь выю
В ярмо Христово, сладостно то будет
Душе твоей; когда захочешь сам
Взять крест на рамена, ужели тяжек
Покажется тебе он?

Раб-неофит

Но зачем же
В ярмо по доброй воле нам впрягаться
И крест нести по своему желанью,
Когда и так замучила неволя?
Так натрудили душу и загривок
Кресты и ярма нам,— терпенья нет!
Не для того пришел я в вашу церковь,
Чтоб новый крест или ярмо найти.
Нет, я пришел сюда найти свободу
По слову: несть раба — несть господина.

Епископ

И ты найдешь свободу эту, сын мой,
Как только встанешь под ярмо Христово.
Равны рабы господни меж собою.
Свой путь мирской ты под ярмом пройдешь
И в царство божье внидешь. В оном царстве

Иных владык не будет, кроме бога,
Отца всевышнего. Твоя гордыня
Сравнилась бы с гордыней сатанинской,
Когда бы ты отцовой божьей власти
Не признавал.

Раб-неофит

Святой отец, помилуй,
Какая у раба еще гордыня!
Пусть будет так, пускай отец всевышний
Царит над нами! Но когда ж настанет
То царство божье? Где его искать?
Тот говорит: на небе царство божье,
А этот: на земле...
(Страстно ждет ответа, глядя на епископа.)

Епископ

Прав тот и этот.

Раб-неофит

Но где же на земле оно?

Епископ

Вот здесь.

Раб-неофит

Как, в Риме?

Епископ

В нашей церкви.

Раб-неофит

В катакомбах?

Епископ

Не говори «вон тут» иль «где-то там».
Оно везде, где бог в смиренных душах.

Раб-неофит

Когда ж он будет в душах всех людей?

Епископ

Тогда, когда Христос сойдет на землю
С небес еще раз.

Раб-неофит
(грустно)

Брат один сказал,
Что миновать должно тысячелетье
До нового пришествия Христова...

Епископ

Он еретик. Никто из нас не знает
Ни дня, ни часу...

Раб-неофит
(радостно перебивает)

Значит, царство божье
Начаться может каждый день и час?

Епископ

Конечно, да.

Раб-неофит задумывается и снова мрачнеет.

Что загрустил ты, сын мой?

Раб-неофит

Я думаю... ты говоришь, что здесь
Меж нами царство божье... Почему же
Меж нами есть патриции, плебеи,
Да и рабы?
(Оглядывает собравшихся, многие из них потупились.)

Христианин-патриций
(выступает несколько вперед)

Душа твоя, мой брат,
Смущается напрасно. Я — патриций,
А он — мой раб.
(Показывает на старика.)
Но то мирское дело,
А пред всевышним оба мы как братья.

Раб-неофит
(старому рабу)

Ты раб ему для видимости только?

Раб-старик

Нет, господину верно и смиренно
Служу я не за страх, служу за совесть,
Как бог велел.

Раб-неофит

Но если вы равны,
Зачем же ты служить ему обязан?

Раб-старик

По божьей воле он рожден владыкой,
А я рабом.

Раб-неофит

Есть, значит, в царстве божьем
Владыки и рабы?

Раб-старик молчит.

Патриций

Он здесь не раб.
Я ноги здесь ему согласен вымыть.
Вкушали мы Христову плоть и кровь
С ним рядом, за одним столом.

Раб-неофит
(старому рабу)

А дома
Вы тоже за одним столом едите?

Раб-старик

Нет, этого, мой брат, совсем не нужно.

Раб-неофит

А почему?

Раб-старик

Да так... Не подобает...

Епископ
(рабу-неофиту)

Не искушай его. Он духом прост.
А царство божье для таких ведь близко.

Кто терпит все смиренно, те блаженны.
Им все равно, как их зовут в миру —
Рабы или владыки.

Раб-неофит

Нет, отец мой,
Не все равно!
(С порывом.)
Когда бы ты услышал,
Как плакало вчера мое дитя,
Покорный этот, тихий наш младенец,
До вечера без молока остался,—
На оргии прислуживала мать,
И даже забежать не удалось ей,
Чтоб покормить ребенка. И теперь
Ребенок захворал, но и заплакать
Жена не смеет: господин не любит
Слез на глазах рабынь своих красивых.

Епископ

Не надо плакать, если б и скончался
Ребенок ваш. Ему большое счастье
На небе уготовано.

Раб-неофит

А детям
Господским разве меньше будет счастья,
Когда в невинном возрасте умрут?

Епископ
(несколько смущенный)

Невинные пред господом равны.

Раб-неофит
(мрачно)

Двойное счастье у детей господских:
Один раз на земле, второй на небе...

Раб-старик

Брат, не завидуй, не губи души,
Не загрязняй ее святыни чистой.

Хозяин твой язычник пусть глумится
(А христианам это не пристало),—
Он вашей чистоты не оскорбит,
Пока жена и ты смиренны духом.

Раб-неофит

Эй ты, старик, не жги словами сердце!
Прости, но знаешь... вымолвить мне стыдно.
Да что там стыд рабу!.. Скажу всю правду:
В чем «чистота» или «смиренье духа»?
Душа воспалена, когда я вижу,
Как с оргии порой жена приходит
В угаре пьяном и с огнем в глазах
От непристойных песен. В косах свежий
Венок цветущий,— кажется, что ярче
Пылает он в жилище нашем грязном...
Жена спешит господскую тунику
Скорей сменить на рабские лохмотья,
Чтоб в нашей «чистоте» не замараться.
И у жены не раз в минуты эти
Я слезы видел... К роскоши привычка,
Как ржавчина, ей разъедает сердце.
Ей тяжело без роскоши... И я
Не мог не бить ее за эти слезы,
Хотя и знал я, что еще противней
Ей станет бедный дом наш...

Патриций

Слушай, брат,
Ты обратил бы лучше в нашу веру
Жену свою,— рассталась бы смиренно
Она с мирским весельем.

Раб-неофит

Господин,
Иль брат мой, как здесь принято,— ты знаешь,
Что обращать жену в другую веру
Я не решаюсь. Пусть уж лучше плачет
О чистых платьях и домах господских,
Чем станет слезы лить о чистоте
Души своей и тела. Так иль этак,
Ей все равно спасенье недоступно.
Что в ней изменится, когда узнает
Про грех и святость? Лучше пусть не знает!

Епископ

Кто не по воле согрешил, невинен.

Раб-неофит

А мы, рабы, и сами ведь не знаем,
Что делаем невольно, что по воле.
Грех или нет, а мука остается.
Признаться трудно... Я не знаю сам,
Мой ли ребенок, иль господский отпрыск.
А может быть,— отцом был кто-то третий...
Да и жена не знает... И люблю я
Ребенка, но, бывает, ненавижу...

Старуха

Грех ненавидеть, ведь дитя невинно.
(Посмотрев на епископа, замолчала.)

Епископ

И женщина порою скажет мудро.

Молодая, изможденная, бедно одетая женщина шепчет что-то на ухо почтенной вдове диаконисе.

Диаконица
(епископу)

Дозволишь ли сказать, честной отец?

Епископ

Да, но короче.

Диаконица
(показывает на молодую женщину)

Юная сестра
Желает оказать услугу брату.
(Показывает на раба-неофита.)

Епископ

Но чем же?

Диаконица

Просит, чтоб его жена
Ребенка приносила к ней в то утро,
Когда на оргию служить уходит.

Сестра сама ребенка кормит грудью
И молоком поделится охотно;
Она старательно за ним присмотрит.

Епископ
(молодой женщине)

Благое дело, дочь моя, пред богом.

Молодая женщина покорно склоняет голову.

Диаконица
(рабу-неофиту)

Жене скажи, чтоб принесла ребенка
На Малый Форум. Пусть она отыщет
Дом Деодата-плотника и с верой
Отдаст дитя сестре Анцилодее
И может быть спокойна за присмотр.

Анцилодея
(молодая женщина, тихо говорит рабу-неофиту)

Ты мне окажешь милость, добрый брат!

Раб-неофит
(смущенно)

Благодарю, сестра!

Патриций

Я дам тебе
Какой-нибудь одежды, хоть не новой,
Изношенной рабынями, но чистой.
Мы выдаем так щедро, что излишком
С твоей женою могут поделиться.
Ваш господин, как видно, не из щедрых.

Раб-неофит
(сдержанно)

Спасибо, господин!

Епископ
(поправляет)

Твой брат...

Раб-неофит
(равнодушно)

Пускай!

Купец-христианин

Жена, сказал ты, любит чистоту,
А в доме грязь. Придешь ко мне ты в лавку.
Я мыла дам бесплатно. Господин ваш
Для вас жалеет мыла.

Раб-неофит
(едва скрывает насмешку)

Видно, так...

Диакон-старик

Ты, верно, часто голоден бываешь.
Язычники не слишком сытно кормят
Рабов своих. Так можешь приходить
По воскресеньям на агапы наши,—
Так называются у нас обеды
Для бедняков. Получишь пищу, брат мой,
Для тела и для духа, ибо часто
По окончании трапезы нашей
Епископ и старейшие приходят
Христовой плоти с нами причаститься,
Подать нам благочестия пример
И ноги братьям вымыть. Приходи же
Ко мне на крытый двор. Я маслодел.
Зовусь Агатофилом. Возле терм
Мое жилье. Тебе покажет каждый,
Где проживает «тот чудак богач,
Что любит угощать всю голытьбу»,—
Так обо мне язычники болтают.

Раб-неофит
(ничего не отвечает диакону и некоторое время стоит молча, схватившись за голову)

Вот до чего я дожил! Стыд и горе,
Что смолоду, как нищий, побираюсь!
Кого же мне проклясть? Отца ль родного,
Что продал за долги меня в неволю,
Иль те долги, иль богача того,
Торгующего душами людскими?
Иль день, когда на свет я родился?

Епископ

Одумайся, несчастный! Успокойся
И прогони от сердца злобный голос
Гордыни, ибо это смертный грех,—
Твои проклятья, да еще в то время,
Когда так щедро братья предлагают
Свою благую помощь.

Раб-неофит

Помощь, помощь!
Она пронзила сердце мне насквозь.
Взгляни на эту женщину больную!
(Показывает на Анцилодею.)
Сама в нужде, куда уж помогать!
Сама как тень. Моя жена здорова
И молода. И только сын мой бедный,
Как сирота, без молока остался.
Чужую грудь придется взять младенцу,
Не то умрет, пока родная мать
На оргиях прислуживает пьяным.
А мне придется нищие обноски
Сбирать с рабов по тряпке для рабыни,
Для женщины, что с горя загуляла.
Ведь некогда и прясть рукам здоровым.
Нет времени,— ведь что ни день, то праздник.
Ты говоришь: грешны мои проклятья,
А то не грех — голодных объедать
И голых обирать? Да и кого же?
Работников, рабов, своих же братьев...

Диакон

У нас дают и бедный и богатый.

Раб-неофит

Да, я забыл, что раздобуду мыло
У брата-торгаша совсем бесплатно,
Чтобы слегка прикрасить рабский облик,
Чтобы не так уже глаза колол он
Богатым братьям в царстве вашем божьем.
А то еще придет наш бедный брат
Хотя бы раз в неделю на агапу,

Разложит грязные свои лохмотья
На мрамор рядом с белою туникой
И тогой вышитой.

(Патрицию.)

Благодари
Товарища за даровое мыло,
Ведь, может быть, захочешь вымыть ноги
Мне ради христианского братанья,—
Пускай хотя бы выглядят почище.
Я дома их чуть-чуть обмою мылом,
Честь окажу патрицианским ручкам.

Патриций вспыхивает, но сдерживается и только посматривает на епископа.

Епископ

(еще тихо, сдержанно, но сурово)

Какой злой дух тебе смущает сердце?
За что ты братьев собственных поносишь
Обидными и едкими словами?
Чем провинились мы? Что против братьев
Имеешь ты?

Раб-неофит

Я с жалобой пришел,
С великой жалобой. Я был рабом,
Невольником. Я продан был в неволю,
Насильно был захвачен. А теперь
Меня вы нищим сделать захотели,
Чтобы спокойно руку я тянул
За коркой хлеба. Вы мне навалили
Сверх горького ярма — другое, слаще,
Сверх тяжкого — другое, чуть полегче.
И вы хотите, чтобы вам я верил,
Как будто легче станет мне от веры.

Епископ

Мы искренне с тобою говорили,
По слову божьему.

Раб-неофит

А я не верю
Ни искренности вашей, ни словам.
А если искренне помочь хотите,—

Вот ваш алтарь, там много серебра
И золота. Взамен агап могли бы
Вы из неволи выкупать рабов.
(Патрицию.)
Ты, господин, и даром отпустил бы.
А мы тогда добудем сами хлеба,
Сошьем одежду...

Епископ

Кто такие мы?
Как изменить посмеем волю божью —
Кому рабом, кому свободным быть?
О чем печешься? «Не единым хлебом
Жив человек, но так же добрым словом,
Из божьих уст услышанным».

Раб-неофит

Но мало
Мне слов и хлеба. Мне нужна свобода,
А иначе не жизнь, а прозябанье.
Я потому и с жалобой явился,
Что вы, взамен той жизни и свободы
Обетованной людям в царстве божьем,
Даете пищу, платье и слова.

Епископ

Не все слова равны друг другу, сын мой.
Слова господни нам спасают душу,
А не дела людские.

Раб-неофит

Где ж они?
«Терпи да покоряйся»,— я услышал
От вас сегодня. Именно они
Спасают наши души? И за них
Идут на крест, на казни, на мученья,
На растерзанье в цирках христиане?

Епископ

Идут с великим словом на устах,
Которого людской бессильной речью
Не передашь.

Раб-неофит

Какое ж это слово?

Епископ

То слово — бог. Он альфа и омега,
Начало и конец. Им мир наш создан,
Им все живет. Иных же во вселенной
Богов не существует, кроме бога.
Бог — это слово, это жизнь и сила.
А те, что некогда звались богами
В язычестве, то идолы слепые
Иль злые духи, слуги князя тьмы.
За то и мучат нас и распинают,
Что не хотим мы идолам служить,
Что князя тьмы не почитаем богом,
Что ходим не во мраке, а в сиянье.

Раб-неофит
(страстно подхватив последние слова)

«Что ходите не в мраке, а в сиянье»,—
И, значит, послушанье и терпенье,
Как маску мима, вы с лица сорвали,
Не служите, не слушаетесь кротко
Того, чьей власти не признали души,
С кем вам велит бороться ваша совесть?
Я верно понял речь твою, отец мой?

Епископ

Да, лишь одно мне следует прибавить:
Бороться послушаньем и терпеньем.

Раб-неофит
(упавшим голосом)

Я снова ничего не понимаю.
Бороться послушаньем,— как же это?

Епископ

Мы с духом боремся, а не с людьми.
Мы подати беспрекословно платим,
Мы цезаря смиренно почитаем,
Не восстаем ни действием, ни словом
Против земных властей. Но князю тьмы
Ни жертв, ни преклонений не справляем.

Раб-неофит

А кто же этот цезарь, эти власти,
Да разве же не слуги слуг того,
Кто вами наречен был князем тьмы?

Епископ

Да, если служат идолам. В ином же —
Начальники, поставленные богом.

Раб-неофит

Каким же это богом?

Епископ

Бог единый
На небеси, бог слово, бог любовь,
Господь наш, бог отец, бог сын, бог дух.

Раб-неофит

Так это он нам цезаря поставил,
Патрициев дал и преторианцев
И поднял над рабами богачей?

Епископ

«Нет в мире власти, аще не от бога».
Господь наш бог, предвечный наш владыка
Над прочими владыками земными.
Они в его руке. И он карает
Владык неправедных, отнюдь не мы.
«Отмщенье мне, и аз воздам»,— сказал он.

Раб-неофит

Когда ж случится это?

Епископ

Кто постигнет
Пути господни?

Раб-неофит

Может быть, когда
Наступит во вселенной божье царство,
Когда Христос придет вторично к людям?

Епископ

Тогда, мы верим, будет божий суд.

Раб-неофит

А что потом?

Епископ

Едино будет стадо,
Единый пастырь.

Раб-неофит

А при нем не будет
Помещиков, наместников господних,
Неправедных начальников над нами?
Тогда уже не будут больше люди
Свободны в мыслях и рабы телесно?

Епископ

Не знаю, не дано обетованья
Ни от Христа, ни от его посланцев.

Раб-неофит

Ах, вот как! Так пускай не наступает
То царство божье и вовеки!

Раб-старик
(в невыразимом ужасе)

Боже!
Спаси нас от греха! Что говорит он!

Вся христианская община выражает возмущение; отдельных слов не слышно, но говор и гул нарастают, как волны, наполняя все подземелье, и отголоски достигают темных переходов катакомб.

Епископ
(поднимает руку вверх, громко)

Мир, братья, вам!
(Рабу-неофиту.)
Покайся, нечестивец!
Назад возьми безумные слова.
Тебе на том придется свете горше,

Чем было в жизни. Кто на этом свете
Не хочет царства божьего дождаться,
Утратит царство божье и на небе,
Он будет ввергнут в лютую геенну,
Там пламень негасимый, плач и скрежет,
Там точит червь бунтующее сердце.

Раб-неофит
(страстно)

Нет, не покаюсь. Ты, отец, напрасно
Геенною страшишь меня. Я вижу
Геенну ежечасно, ежедневно,
Со мною рядом слышу плач и скрежет,
И точит червь мне сердце до сих пор.
Тот лютый червь привел меня и к вам
Искать свободы, правды и надежды.
А что я здесь нашел? Слова пустые
Да тщетные мечты о божьем царстве
И о царе царей в трех ипостасях,
Который над владыками владычит
И им дает владычествовать нами
Отныне до пришествия второго,
А может, и потом, и после смерти,
Там, в небесах, в грядущем царстве божьем
Жизнь временную вечная продолжит.
Придется, может быть, бесплотным душам
Бороться «послушаньем и терпеньем»,
И рабская душа
(показывает на раба-старика)
не перестанет
Служить смиренно, не за страх, за совесть
Душе патрицианской всемогущей,
Он
(на торговца)
взвесит на весах добро и зло
И чистоту разделит по крупице.
Тот
(на диакона)
раз в неделю будет угощать
Духовной пищей голых и голодных,
Таких, как мы. А мы-то, бедняки,
Стоять мы будем тихо и покорно,

Как нищие стоят пред господином,
Пока нам знак подаст отец епископ
Или хоть слово вымолвить позволит,
А может быть, велит пропеть осанну
Царю царей, всевышнему отцу,
Владыке всех рабов своих небесных.
Нет, право же, не лучше ли гореть
В геенне лютой до скончанья века,
Чем оставаться в рабстве беспросветном,
Откуда смерть освободить не может.

Епископ

(уже несколько раз пытался прервать эту речь и стучал посохом, гневно и грозно заглушает голос раба-неофита)

Прочь! Уходи от нас, исчадье тьмы!
Оставь собранье! Для чего ты здесь
Общину христианскую смущаешь?
В нору сокройся, отпрыск злой ехидны,
Откуда вылез на погибель душам!

Раб-неофит

О нет! Ты прогонять меня не смеешь!
Я к вам пришел по слову твоему,
Поверив обещаньям вероломным,
Что будто бы найду любовь и мир.
Вы отняли навеки у меня
Последний мир, последнюю любовь
Навеки отравили. И теперь
В душе моей пустыня. Я не знал,
Что значит грех, я знал одно несчастье.
Вы научили, что такое грех,
Бесчестье перед богом. Я-то верил,
Что смертию кончаются все муки.
А вы передо мной открыли вечность
Мучений адских за проступок легкий.
Так подарите же теперь защиту
И от бесчисленных грехов тяжелых.
Вы ближнего любить меня учили,—
Так научите защищать его!
А не любуйтесь, опустивши руки,
Как в тяжком рабстве погибают братья.

Все ваше милосердье — как заплата
На вретище дырявом и гнилом,—
И оттого еще заметней бедность.
Или чужого молока довольно
Ребенку вместо материнской ласки?
Иль чистая туника даст, как прежде,
Жене моей былую чистоту?
Иль я забуду на собранье вашем
Позор и горе моего жилища?
Не хлеба я прошу у вас, не слова,
Но жадно жду любви неосквернённой,
Без зависти, без подлых помышлений,
К надежде ясной сердцем порываюсь,
Хоть издалека увидать свободу,
Чтобы мой сын, мой внук, мой дальний правнук
Дождался дня, когда само названье,
Позорное названье «раб» исчезнет.
Хочу уверовать в святую силу,
Что просветит и самый темный разум,
Сберет людей в свободную общину,
Без пастыря, без сторожа-владыки,
Не в стадо с пастухом своекорыстным,
С овчарками, трясущееся вечно
От воя львов, волков, лисиц, шакалов,
Гиен и прочих хищников коварных.
Не я один томлюсь духовной жаждой,
Не я один изголодался сердцем.
Немало нас таких. Мне говорил
Один товарищ, раб, что здесь, за Тибром,
Недалеко от гнилостной мареммы,
Восставшие рабы разбили лагерь.
Они решили разорвать оковы
И сбросить с шеи вековое иго.

Патриций

Ты думаешь, надолго сбросят иго?

Раб-неофит

Хотя б на миг, а постараться стоит!
Я среди вас на вечную свободу
Рассчитывал. Но, видно, и на миг
Вы «легкого ярма» не в силах сбросить.

Так лучше не печалиться о *вечном,*
На *временном* пока остановиться,
Взамен агап — на оргии кровавой.

Патриций

Скажи уж — на позорной крестной казни!

Раб-неофит

Эй, христиане! А с какой поры
У вас позорной эта казнь зовется?
Зачем же вы пугаете крестом?
Ведь и Мессия ваш не устыдился
Висеть с двумя разбойниками рядом
На том кресте.

Патриций

Он освящает крест,
А не разбойники. Он спас их души,
А не они его...

Раб-неофит

Ого! Да так ли?
А может, он и не царил бы в небе,
Над душами людскими не владычил,
Когда бы эта кровь не проливалась
Разбойников, восставших и мятежных,
На страх рабам и всем, кто «духом прост»?
А может, «послушанье и терпенье»
С лица земли давным-давно б исчезли,
Когда бы призрак этих двух распятых
Разбойников кровавых не страшил нас
Угрозою погибели напрасной!

Молодой христианин

Кто терпит и покорен, не страшится
Идти на смерть во имя сына божья,
За всех за нас распятого.

Раб-неофит

Так, значит,
Он был распят, чтоб распинали нас?
Так где ж оно, в чем искупленье было
Вселенского греха, когда и ныне
Кровавое творится искупленье?

Епископ

Грех искуплен на небе. Не от мира
Сего господне царство. Смертно тело.
Душа блаженна присно и вовеки.
Спаситель отдал кровь и плоть свою
Насытить верных. А таким ничтожным
Рабам, как ты, совсем не пригодился
Тот дар святой, и гибнет он напрасно.

Раб-неофит

А разве мало гибли мы напрасно,
Закланные пред идолом неправым,
Да и доныне гибнем за царя,
Нам присудившего навеки рабство?
Кто смерил путь, уставленный крестами,
Рабами, нами пройденный в веках?
Кто взвесил кровь, что и досель не пала
На палачей и снова отягчает
Потомков тех замученных героев?
По этой крови, как по багрянице,
Разостланной для цезарских триумфов,
Прошла богов бесчисленных фаланга
С земли на небо. Сколько же ей стлаться,
Чтоб шли и шли бесплотные тираны,
Чтоб мертвенные, призрачные боги
Бесценный пурпур крови попирали?
Своей же крови я не дам и капли
За кровь Христову. Если это правда,
Что был он богом, пусть хоть раз прольется
Напрасно божья кровь и за людей.
Мне все равно, один ли бог на небе,
Три бога, или триста, хоть мирьяды,—
Ни за какого гибнуть не хочу:
Ни за царя в незнаемом Эдеме,
Ни за тиранов на горе Олимпе.
Ни у кого не буду я рабом —
С меня довольно рабства в этой жизни.
Я честь воздам титану Прометею.
Своих сынов не делал он рабами,
Он просветил не словом, а огнем,
Он мятежом боролся — не покорством,
Не трое суток мучился, а вечно,

И все же не назвал отцом тирана,
Но деспотом вселенским заклеймил,
Предвозвещая всем богам погибель.
Я вслед за ним пойду. Но я погибну
Не за него,— не требует он жертвы,—
Но лишь за то, за что и он страдал.
Пусть никого мой крест не ужаснет.
И если только запылает в сердце
Святой огонь и хоть короткий миг
Я проживу не как несчастный раб,
А вольный, непокорный, богоравный,—
Тогда и на смерть весело пойду,
Тогда без жалоб на кресте погибну.

Внезапно Анцилодея разражается безудержными рыданиями.

Раб-неофит
(ласково)

О чем, сестра? Что так тебя смутило?
Иль это я обидел дерзким словом?

Анцилодея

Нет, брат... ты не обидел... только грустно...
Мне жаль тебя... Наверно, ты погибнешь.

Епископ

Не плачь. Лукавый раб не стоит слез.
Он поклонился духом Прометею,
А это сатана, предвечный змий,
Что искушал на грех и непокорность.
Рабу такому нет у нас прощенья,
Нет благодати. Он уже погиб.
Оставим нечестивца. Отречемся.
Уйдем от зла и благо сотворим!

Раб-неофит

Я встану за свободу против рабства,
Я выступлю за правду против вас.

Вся община двинулась со свечами в руках. Епископ впереди. Раб-неофит уходит один, другим переходом, в другую сторону.

4 октября 1905 г.

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

Драма-феерия в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Пролог

Тот, кто плотины рвет.
Потерчата (двое).
Русалка.
Водяной.

Действие первое

Дядя Лев.
Лукаш.
Русалка.
Леший.
Мавка.
Перелесник.
Лихорадка (без слов).
Потерчата.
Куц.

Действие второе

Мать Лукаша.
Лукаш.
Дядя Лев.
Мавка.
Полевая русалка.
Килина.
Русалка.
Тот, кто в скале сидит.
Перелесник.

Действие третье

Мавка.
Леший.
Куц.
Злыдни.
Мать Лукаша.
Килина.
Мальчик.
Лукаш.
Дети Килины (без слов).
Доля.
Перелесник.

ПРОЛОГ

Старый, густой, девственный лес на Волыни. Среди леса просторная поляна с плакучей березой и огромным столетним дубом. С краю поляна переходит в кочки и тростник, а в одном месте в ярко-зеленую трясину — то берега лесного озера, образовавшегося из лесного ручья. Ручей этот струится из чащи леса, впадает в озеро, потом на другой стороне озера вновь вытекает и теряется в зарослях. Само озеро — тиховодное, покрытое ряской и водорослями, но с чистым плесом посреди. Вся местность — дикая, таинственная, но не мрачная,— она полна нежной, задумчивой красоты Полесья.

Ранняя весна. На опушке леса и на поляне зеленеет первая травка, цветут подснежники и сон-трава. Деревья еще без листьев, но покрыты почками, которые вот-вот распустятся. На озере туман то лежит пеленою, то клубится от ветра, то расступается, открывая бледно-голубую воду.

В лесу что-то заговорило, ручеек ожил и зажурчал, и вместе с его водою из леса выбежал Тот, кто плотины рвет, молодой, белый, синеглазый, с буйными и вместе с тем плавными движениями, одежда на нем переливается красками — от мутно-желтой до ярко-голубой — и сверкает острыми золотистыми искрами. Бросившись из ручья в озеро, он начинает кружиться по плесу, волнуя сонную воду; туман тает, вода синеет.

Тот, кто плотины рвет

С вершин в долину
Потоками я хлынул!
Мосты разбиваю,
Плотины размываю,
Все гати, все запруды
Свожу на нет повсюду,—
Весенняя вода,
Как воля, молода!

(Волнует воду еще больше, ныряет и вновь показывается, словно ищет что-то в воде.)

Потерчата

(двое маленьких бледных детей в беленьких рубашках выплывают из-под водорослей)

Первый

Чего ты здесь блуждаешь?

Второй

Зачем нам спать мешаешь?

Первый

Мать сама в постель нас клала,
Мягко-мягко нам постлала:
На кореньях, на каменьях

Настелила трав осенних,
Сверху листьями прикрыла,
Пела песню, говорила:
«Люли, люли, люленьки,
Спите, мои гуленьки!»

Второй

Чего же здесь ты рыщешь?

Первый

Кого же здесь ты ищешь?

Тот, кто плотины рвет

Любовь былую —
Русалку молодую.
Кого сравнишь с такою —
С царевной водяною!
Я шел горами,
Долинами, ярами,—
Нигде не встретил краше,
Чем озерянка ваша.
Всю воду разволную —
Найду свою родную.
(Бурно волнует воду.)

Потерчата

Не надо, погоди!
Наш домик пощади!
Убога наша хатка —
Бедна, тесна и шатка,
И нет у нас защиты,
Ведь мы отцом забыты...
(Умоляя, цепляются за его руки.)
Мы спустимся на дно,
Где холодно, темно,—
На дне русалка снова
Сидит над рыболовом...

Тот, кто плотины рвет

Так пусть не ожидает,
Ко мне наверх всплывает!

Потерчата ныряют в озеро.

Встреча настала!

Русалка выплывает и пленительно улыбается, радостно складывая ладони. На ней два венка: один — большой, зеленый, другой — маленький, вроде коронки, жемчужный, из-под него спускается прозрачное покрывало.

Русалка

О, радость долгожданная!

Тот, кто плотины рвет
(грозно)

Где пропадала?

Русалка
(бросается будто к нему, но проплывает дальше, мимо него)

Всю ночку, ночь туманную
Звала тебя, желанного,
Роняла слезы светлые
В ковши свои заветные.
Все до краев наполнила,
Как прошлое припомнила...
(Всплеснув руками, раскрывает объятия, снова бросается к нему и снова проплывает мимо.)
На дно червонец кинуть,—
Так через край и хлынут!
(Звонко смеется.)

Тот, кто плотины рвет
(ядовито)

Знать, золото в почете
И здесь, в глухом болоте!

Русалка приближается к нему, но он круто поворачивается от нее, будоража воду.

Тебе уж лучше снова
Торчать над рыболовом,
Следить в тиши подводной,
Чтоб рак да сом голодный
Вдруг не отгрызли чуба,—
И дорого и любо!

Русалка

(подплывает совсем близко, берет его за руки, заглядывает в глаза)

Уже придрался?

(Лукаво.)

Я что-то знаю тоже,
Мой душегуб пригожий!

(Тихо смеется, он смущается.)

Где сам-то шлялся?
Дочь мельникову встретил,—
Забыл про все на свете.
Зимою — долги ночи,
У той же — кари очи.
Немало панычей
Дарят червонцы ей.

(Грозит ему пальцем и заливается смехом.)

Вижу прекрасно —
Каков ты сокол ясный!
Но я простить согласна,
Ведь я ж тебя люблю!

(С шутливым пафосом.)

Весь долгий-долгий миг тебе я буду верной,
Минуту буду я покорной и примерной,
Измену ж утоплю!
Вода круги смыкает,
Следов не оставляет,
Как и любовь твоя,
Как и печаль моя!

Тот, кто плотины рвет

(порывисто протягивает ей руки)

Ну, мир-миром!
Плывем же по-над виром!

Русалка

(берет его за руки и быстро кружится с ним)

Ой, в виру-вирочке,
На желтом песочке,
В жемчужном веночке
Танцую с дружочком!
Ух! Ух!

Ухают, брызжутся, плещутся. Вода бьет в берега так сильно, что шумит осока и птицы стаями взлетают из камышей. Водяной вынырнул по-

среди озера. Это древний, седой старик. Длинные волосы и длинная белая борода его вместе с водорослями свисают до пояса. Одежда на нем — цвета ила, на голове — корона из раковин. Голос глухой, но сильный.

Водяной

Кто наши воды тихие волнует?

Русалка и Тот, кто плотины рвет останавливаются и бросаются в разные стороны.

Опомнись, дочка! Водяной царевне
И стыд и срам кружиться с чужаками!

Русалка

Отец, он не чужой. Ты не узнал?
Он Тот, кто рвет плотины.

Водяной

Знаю, знаю.
Он — не родной, хоть водяного роду.
Изменчивый, лукавый, своенравный,
Весной шумит, и рвет, и баламутит,
Срывает с озера венок роскошный,
Что целый год плетут мои русалки,
Пугает птицу мудрую лесную,
Вдовице-вербе корни подмывает,
Сиротам горьким — бедным потерчатам —
Водою огонечки заливает,
Он ровные мне портит берега
И старческий покой мой нарушает.
А где он летом? Где он колобродит,
Когда без меры солнце воду пьет
Из кубка моего — с утра до ночи,
Когда от жажды никнут тростники,
На берегу без влаги оставаясь,
Когда головки лилии мои
К воде нагретой клонят, умирая?
Где он тогда?

Во время этого разговора Тот, кто плотины рвет тайком кивает Русалке, соблазняя ее убежать с ним по лесному ручью.

Тот, кто плотины рвет
(со скрытой насмешкой)

Тогда я в море, дед.
Меня зовет на помощь океан,
Чтоб и его не осушилась чаша.

Раз царь морской зовет — я подчиняюсь,
На то и служба. Сам про это знаешь.

Водяной

Ага! Тогда ты в море... Ну, а мне,
Когда б не помогал мой друг давнишний,
Приятель верный мой — осенний дождик,
Пришлось бы сгинуть вместе с паром!

Тот, кто плотины рвет незаметно прячется в воду.

Русалка

Нет же!
Не может сгинуть пар — ведь из него
Вода родится вновь.

Водяной

Ишь умная какая!
Иди на дно! Довольно болтовни!

Русалка

Сейчас пойду. Его ведь здесь уж нету.
Лишь спутанную зелень причешу.
(Вынимает из-за пояса гребенку, сделанную из раковин, и причесывает прибрежную зелень.)

Водяной

Что ж, причеши. Я сам люблю порядок.
Чеши, чеши, а я здесь подожду,
Пока работу кончишь. Да поправь
И листья, чтоб ровнее расстилались,
Да почини ковер зеленый, что порвал
Пройдоха этот...

Русалка

Ладно, все исполню.

Водяной удобно укладывается в камышах, следя оттуда за работой Русалки; глаза его начинают закрываться.

Тот, кто плотины рвет
(вынырнул и тихо Русалке)

Укройся за лозою!

Русалка прячется, оглядываясь на Водяного.

Мы поплывем с тобою
Вдаль по протоке —
Под брызги, под потоки,
Сорвем, снесем плотину,
Дочь мельника — в пучину!

(Хватает Русалку за руку и быстро мчится с нею через озеро.)

Недалеко от другого берега Русалка останавливается и вскрикивает.

Русалка

Ой, зацепилась, видно, за корягу!

Водяной просыпается, бросается наперерез и перехватывает Русалку.

Водяной

Так вот ты как! Ты, баламут проклятый,
Еще узнаешь, как губить русалок!
Пожалуюсь я матери твоей —
Метели Горной,— не пеняй тогда.

Тот, кто плотины рвет
(с хохотом)

Покуда суд — успею нагуляться!
Прощай, Русалка, наполняй ковши!
(Бросается в лесной ручей и там исчезает.)

Водяной
(Русалке)

На дно спускайся! И не смей оттуда
Три лунных ночи наверх выплывать!

Русалка
(сопротивляясь)

С каких же пор, скажи, русалки стали
Невольницами в озере? Вольна я,
Вольна я, как вода!

Водяной

В моих владеньях
Знать берега обязана вода.
Иди на дно!

Русалка

Нет, не хочу!

Водяной

Не хочешь?
Отдай тогда венок жемчужный!

Русалка

Нет!
Мне подарил его морской царевич.

Водяной

Тебе венок носить не доведется,—
За ослушанье заберет тебя
Тот, кто в скале сидит.

Русалка
(с ужасом)

Нет, мой родимый,
Я буду слушаться!

Водяной

Тогда — на дно!

Русалка
(опускаясь в воду)

Иду, иду... А можно ль забавляться
Мне рыбаком?

Водяной

Ну, что же, забавляйся.

Русалка опустилась в воду по плечи и, горько улыбаясь, смотрит на отца.

Чудна́я ты! Я о тебе ж забочусь.
Да он тебя навеки погубил бы:
Увлек бы по камням да по корягам
Ручья лесного, тело молодое
Измял бы, изувечил, да и бросил
Там на безводье.

Русалка

Но ведь он красивый!

Водяной

Ты вновь свое?!

Русалка

Нет, нет, я ухожу.
(Ныряет.)

Водяной
(глядя вверх)

Весна уже, и солнце припекает...
Ух, душно как! Не время ль охладиться?
(Ныряет и сам.)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

То же самое место, только весна вступила уже в свои права. Опушка леса как бы окутана нежным зеленым покрывалом. Кое-где и верхушки деревьев покрылись зеленой листвой. Озеро стоит полное, в зеленых берегах, как в венке, сплетенном из руты. Из лесу на поляну выходит дядя Лев и его племянник Лукаш. Лев уже старый человек, почтенный и на вид очень добрый. Его по-полесски длинные волосы белыми волнами спускаются на плечи из-под серой войлочной шапки-рогатки. На нем полотняная светло-серая одежда, свитка почти белая. На ногах — постолы. В руках — рыболовная сеть; у пояса на ремешке — нож, за плечами на широком ремне — плетенный из лыка кошель (торба).

Лукаш — очень молодой хлопец, красивый, чернобровый, стройный; в глазах его еще что-то детское. Одет тоже в полотняную одежду, только из более тонкого полотна. Вышитая рубашка с отложным воротником у него навыпуск. Подпоясан он красным кушаком. Воротник и рукава застегнуты на красные пуговицы, свитки на нем нет. На голове широкополая соломенная шляпа. На поясе — ножик и ковшик из липовой коры.

Дойдя до берега озера, Лукаш останавливается.

Лев

Что ж ты остановился? В этом месте
Не жди улова: мелко здесь и топко.

Лукаш

Да вырезать свирель мне захотелось,—
Уж очень хороши здесь тростники.

Лев

Да у тебя ж и так свирелей много.

Лукаш

Ну, сколько ж их? Из вербы, из калины,
Из липы — вот и все они. А нужно
И тростниковую еще мне сделать,—
Та лучше всех!

Лев

Ну что же, забавляйся,
На то бог праздник дал. А завтра будем
Лачужку строить здесь. Уже пора
Сюда на выпас и скотину выгнать,—
Смотри, трава все больше зеленеет.

Лукаш

Да как же здесь мы можем поселиться?
Нечистое здесь место, говорят...

Лев

Как для кого. А я, племянник, знаю,
Как с кем и с чем мне надо обходиться:
Где кол забить осиновый, где плюнуть,
А где перекреститься. Вот и всё.
Посеем у лачужки мак-видюк,
Перед порогом мы тирлич посадим,—
И не возьмет нас никакая сила...
Ну, я пойду, а ты себе как хочешь.

Расходятся. Лукаш направляется к озеру и скрывается в тростниках. Лев идет по берегу и тоже скоро исчезает за вербами.

Русалка

(выплывает на берег и кричит)

Дедуся! Леший! Горе нам! Спасайте!

Леший

(небольшой бородатый старичок с серьезным лицом, быстрый в движеньях; на нем одежда цвета коры, на голове лохматая кунья шапка)

Чего тебе? Чего кричишь?

Русалка

Там хлопец
Тростник для дудки режет!

Леший

Э-ва!
И вся беда? Какая ж ты скупая!
Они лачужку здесь хотят поставить,
И я — не против. Пусть лишь не берут
Сырого дерева.

Русалка

Лачужку ставят?!
Здесь будут люди?! Ох, уж эти люди
Под крышей из соломы! Не терплю их!
Соломенный мне ненавистен дух.
И я топлю их, чтоб водою свежей
Смыть этот дух. И всех защекочу —
Пусть лишь придут!

Леший

Постой-ка, не спеши!
Сам дядя Лев в лачужке жить намерен,
А он — наш друг. И только в шутку нас
Осиною да тирличом пугает.
Люблю его. И если бы не он,
Давно б столетнего не стало дуба,
Того, что видел столько наших сборищ,
Того, что знает столько тайн лесных.
Его уж немцы мерили. Стояли
Втроем, друг друга за руки схвативши,
И руки их на нем едва сошлись.
За дуб сулили золота немало,
Но дядя Лев своей поклялся жизнью,
Что дуб рубить вовеки не позволит.
Тогда и я поклялся бородою,
Что дядю Льва и всю его родню
В моем лесу никто вовек не тронет.

Русалка

А мой отец их все равно утопит!

Леший

Пускай-ка тронет,— мигом завалю
Все озеро листвою прошлогодней!

Русалка

Ой, горюшко, как страшно! Ха-ха-ха!
(Исчезает в озере.)

Леший, ворча, закуривает трубку, усевшись на упавшем дереве. Из тростников слышится голос свирели — мягкий и переливчатый. И когда он делается слышнее, лес оживает: сначала на вербе и на ольхе появляются сережки, потом на березе распускаются листья. На озере раскрылись белые лилии и зазолотились цветы кувшинок. На шиповнике появились

нежные бутоны. Из дупла старой, расщепленной, полузасохшей вербы выходит Мавка в ярко-зеленой одежде. Черные с зеленым отливом косы распущены. Она разминается и проводит ладонью по глазам.

Мавка

Ой, как спала я долго!

Леший

Долго, дочка!
Уж сон-трава повсюду отцветает,
Вот-вот кукушка маслице сколотит
И, в красные сапожки нарядившись,
Начнет считать — кому и сколько жить.
Из дальних стран уже явились гости:
Вон желтыми пушинками плывут
На чистом плесе дикие утята.

Мавка

Кто разбудил меня?

Леший

Да кто ж,— весна.

Мавка

Весна не пела так еще ни разу,
Как в этот день. Иль это мне приснилось?

Лукаш вновь играет.

Нет... стой... Вот! слышишь?.. То весна поет?

Лукаш играет, только еще ближе.

Леший

Нет, то играет хлопец на свирели.

Мавка

Какой? Ужели Тот, кто рвет плотины?
Такого от него я не слыхала.

Леший

Нет, человек. Племянник дяди Льва,
По имени Лукаш.

Мавка

Не знаю что-то.

Леший

Он здесь впервые. Прибыл издалёка.
Пришел он к нам из тех боров сосновых,
Где наша бабка любит зимовать.
Осиротел он с матерью-вдовою,
И дядя Лев к себе их взял обоих...

Мавка

Хотела бы взглянуть я на него.

Леший

А для чего?

Мавка

Наверно, он красивый!

Леший

Встречаться с хлопцами людской породы
Лесным дивчатам — ох, не безопасно...

Мавка

Каким же, дедушка, ты стал суровым!
Ужель меня держать ты будешь так же,
Как Водяной Русалку?

Леший

Нет, родная!
Я не держу тебя. То Водяной
Привык в трясине топкой все живое
Засасывать безжалостно. А я —
Люблю я волю. Забавляйся с ветром,
И с Перелесником играй, как знаешь,
Всю силу леса, и воды, и гор,
И воздуха приворожи к себе,
Но не ступай ты на людские тропы:
По ним не воля ходит, а тоска
Свой груз проносит. Обходи их, дочка:
Раз только ступишь — и пропала воля!

Мавка
(смеется)

Ну, как же так, чтоб воля — и пропала?
Ведь так и ветер может вдруг пропасть!

Леший хочет что-то ответить, но выходит Лукаш со свирелью. Леший и Мавка прячутся. Лукаш хочет надрезать ножом березу, чтобы нацедить соку. Мавка бросается к нему и хватает его за руку.

Мавка

Не тронь! Не тронь! Не режь! Не убивай!

Лукаш

Да что ты, девушка? Я не разбойник.
Я лишь хотел березового соку
Попробовать.

Мавка

Но это кровь ее!
Не пей же кровь моей родной сестрицы!

Лукаш

Березу ты сестрицей называешь?
Кто ж ты сама?

Мавка

А я лесная Мавка.

Лукаш
(не столько удивленно, сколько внимательно смотрит на нее)

А, вот ты кто! От пожилых людей
Про мавок я слыхал, но сам ни разу
Не видел их.

Мавка

А видеть бы хотел?

Лукаш

Хотел бы, да... Что ж, ты совсем такая,
Как девушка... Нет, лучше,— словно панна:
И руки бе́лы, и стройна ты станом,
И как-то не по-нашему одета...

Вот только — не зеленые глаза.
(Присматривается.)
Да нет, теперь — зеленые... А были,
Как небо, синие... Вот потемнели,
Как эта тучка... черными вдруг стали...
Нет, карими... Диковинная ты!

Мавка
(улыбаясь)

А нравлюсь я тебе?

Лукаш
(застенчиво)

Я разве знаю?

Мавка
(смеясь)

Кому же знать?

Лукаш
(окончательно смущенный)

Ой, спрашивать такое!

Мавка
(очень удивленно)

А почему про это не спросить?
Вон, слышишь, роза дикая спросила:
«Ведь я красива?»
И стройный ясень тихо ей ответил:
«Всех краше в свете!»

Лукаш

Не знал я, что деревья говорят;
Я думал, дерево — всегда немое.

Мавка

У нас в лесу нет ничего немого.

Лукаш

А ты всю жизнь так и сидишь в лесу?

Мавка

Я из него не выходила сроду.

Лукаш

А ты давно живешь на свете?

Мавка

Право,
Я никогда не думала об этом...
(Задумывается.)
Сдается мне, что я жила всегда...

Лукаш

И все была такой же, как теперь?

Мавка

Видать, такой...

Лукаш

А кто ж твоя родня?
Иль, может, нет ее и вовсе?

Мавка

Есть!
Есть Леший — тот, кого зову я дедом,
А он меня то дочкою, то деткой.

Лукаш

Так кто ж он — дед или отец?

Мавка

Не знаю.
Не все ли мне равно?

Лукаш
(смеется)

Ну, и чудны́е ж
Вы здесь, в лесу!.. А кто же мать, скажи,
Иль бабушка, иль как вы их зовете?

Мавка

Мне кажется, что мать моя родная —
Вон эта старая, сухая верба.

Она меня зимою приютила
И устелила мягким белым пухом
Постель мою.

Лукаш

Ты там и зимовала?
А что ж, скажи, ты делала зимою?

Мавка

Спала — и все. Зимою что же делать?
Спит озеро, спит лес, и спит тростник...
«Усни»,— скрипела верба в тишине,
И сны слетались белые ко мне,
Сияли самоцветы по дубравам,
Стелились чудные цветы и травы —
Такие белые... А над землею
Кружились звезды тихим белым роем
И падали... Кругом — бело и чисто.
И, словно драгоценные мониста,
Все искрилось, блестело и сверкало...
А я спала. Так вольно грудь дышала...
И розовые думы прилетали,
На белых снах узоры вышивали
И ткали грезы — светлые, простые,
Спокойные, лазурно-золотые...

Лукаш
(заслушавшись)

Как говоришь ты!

Мавка

Нравится тебе?

Лукаш утвердительно кивает головой.

Твоя свирель получше говорит.
Сыграй! А я немножко покачаюсь.

Мавка сплетает длинные ветки березы, садится на них и качается тихо, как в колыбели. Лукаш играет, прислонившись к дубу, и не сводит с Мавки глаз. Лукаш играет веснянки. Мавка слушает, а затем невольно начинает тихо подпевать.

Сладко он играет.
Глубоко́ вздыхает.
Белу грудь мне разрывает,
Сердце вынимает.

На веснянку где-то откликается кукушка, потом соловей. Ярче зацвел шиповник, забелел цвет калины, стыдливо зарозовел боярышник, даже на черном безлистом терновнике появились нежные цветы. Мавка, зачарованная, тихо качается, улыбается, а в глазах у нее какая-то тоска до слез. Лукаш, заметив это, перестает играть.

Лукаш

Ты плачешь, девушка?

Мавка

Я разве плачу?
(Проводит рукою по глазам.)
И правда!.. Нет, то опустились росы.
Заходит солнце... Вон уж над водой
Встает туман...

Лукаш

Да нет, еще не поздно!

Мавка

Ты б не хотел, чтоб день уже кончался?

Лукаш кивает головой, что не хотел бы.

А почему?

Лукаш

В село нам с дядей нужно...

Мавка

А ты со мной остаться хочешь?

Лукаш утвердительно кивает головой.

Видишь,
Ты отвечаешь мне, как ясень розе.

Лукаш
(смеясь)

По-вашему я должен научиться,—
Все лето с вами жить придется...

Мавка
(радостно)

Правда?

Лукаш

Да, завтра здесь и строиться начнем.

Мавка

Шалаш хотите?..

Лукаш

Может быть, лачужку.
А может быть, и хату.

Мавка

Вы, как птицы:
Хлопочете и строите гнездо,
Чтобы потом оставить.

Лукаш

Нет, мы строим
Навеки.

Мавка

Как навеки? Ты ж сказал,
Что только лето проживешь здесь с нами.

Лукаш
(смущенно)

Да... я не знаю... Дядя Лев сказал,
Что даст он мне и землю здесь и хату
И осенью меня, наверно, женит.

Мавка
(тревожно)

На ком?

Лукаш

Не знаю. Дядя не сказал,
А может быть, невесты не наметил.

Мавка

Ужели ж сам ты не найдешь невесты?

Лукаш
(глядя на нее)

Нашел бы, может, только...

Мавка

Что?

Лукаш

Да так...

(Тихо наигрывает на свирели что-то очень грустное. Потом опускает руку со свирелью и задумывается.)

Мавка

(помолчав)

Скажи мне, люди сходятся надóлго?

Лукаш

На целый век.

Мавка

Вот так у голубей...
Я иногда гляжу на них: так нежно
Они воркуют... Я же ничего
Не знаю нежного,— одну березу,
Которую сестрицей называю,
Но только очень уж она грустна,
Бледна, понура, все скорбит о чем-то,—
Я часто плачу, глядя на нее.
Ольхи вот не люблю — она шершава;
Осина ж чем-то все меня пугает,
Да и сама боится — все дрожит.
Дуб слишком важен. А лесная роза
Задириста, как и терновый куст.
А клен и ясень слишком горделивы.
Своей красой упоена калина
И ничего кругом не замечает.
Сдается, что и я была такою,
А вот теперь мне почему-то грустно...
И если хорошенько поразмыслить,—
Совсем я одинока здесь...

(Печально задумывается.)

Лукаш

А верба?
Ведь матерью ее ты называла.

Мавка

Да верба что?.. В ней хорошо зимою,
А летом... глянь, она почти засохла
И все скрипит, напоминая зиму...
Нет, я совсем, совсем я одинока...

Лукаш

Но не одни ж в лесу живут деревья,—
Здесь, кроме них, полно различной твари.
(Немного колко.)
Да что скрывать? Мы много раз слыхали
Про ваши пляски, игры да затеи.

Мавка

Но это все, как тот внезапный вихрь,—
Он налетит, покружится и сгинет.
У нас не так, как у людей: «Навеки».

Лукаш
(подходя ближе)

А ты хотела бы?..

Вдруг слышится ауканье дяди Льва.

Голос

Ау, Лукаш, ау!
Го-го-го-го! Где ты?

Лукаш
(откликается)

Сейчас иду!

Голос

Иди скорей!

Лукаш

Ишь ты, нетерпеливый!
(Откликается.)
Иду, иду!
(Хочет уйти.)

Мавка

Придешь опять?

Лукаш

Не знаю.
(Уходит в прибрежные заросли.)

Из чащи леса стремительно выбегает Перелесник — красивый, молодой, в красной одежде, с рыжими, буйно развевающимися волосами, с черными бровями и сверкающими глазами.
Он хочет обнять Мавку, но та уклоняется.

Мавка

Не тронь меня!

Перелесник

А почему?

Мавка

Ступай
Взгляни, как в поле зеленеют всходы.

Перелесник

К чему мне эти всходы?

Мавка

Да ведь там же
Твоя Русалка полевая в жите.
Она давно уже плетет, наверно,
Ярко-зеленый для тебя венок.

Перелесник

Ее забыл я.

Мавка

И меня забудь.

Перелесник

Не смейся надо мной! Летим вперед!
Я понесу тебя к горам зеленым,—
Ведь ты же видеть пихты так хотела!

Мавка

Теперь уж не хочу.

Перелесник

Но почему?

Мавка

Так, расхотелось.

Перелесник

Вот еще причуды!
С чего бы это?

Мавка

Просто нет охоты.

Перелесник
(льстиво вьется около нее)

Полетим мы в горы! Там мои сестрицы —
Горные русалки — вольные, как птицы,
Будут в хороводе танцевать, резвиться,
Словно те зарницы.
Папоротник сыщем для тебя огнистый,
С небосклона снимем звездные мониста,
Покрывало снегом выбелим мы чистым —
Горным, серебристым.
Чтоб тебе лесную раздобыть корону,
Мы Змею-царицу властно свергнем с трона,
Сделаем мы горы нашей обороной.
Будь моим желанным
Счастьем долгожданным!
Я нарядов груду
Для тебя добуду,
Подарю веночек
Краше дня и почи,
Унесу, коль хочешь,
К тем морям багряным, где скрывает солнце
Золото литое, где ложится день.
После мы заглянем к звездочке в оконце,
И она, что пряха, даст нам волоконце,—
Из него мы выткем голубую тень.
А потом, с рассветом, когда тучки рядом
Станут в ясном небе, как овечье стадо,
Что в реке широкой воду пьет привольно,
Мы заснем с тобою на цветах...

Мавка
(нетерпеливо)

Довольно!

Перелесник

Как ты обрываешь речь мою сердито!
(Грустно и вместе с тем лукаво.)
Разве уж и лето прошлое забыто?

Мавка
(безразлично)

То, что было летом, так давно минуло!
Что в ту пору пело, все зимой заснуло.
Все я позабыла.

Перелесник
(таинственно и как бы напоминая)

А в лесу что было?..

Мавка

Что ж там? Я искала ягод да грибов.

Перелесник

А быть может, кстати и моих следов?!

Мавка

Там еще рвала я и пахучий хмель.

Перелесник

Чтобы постелить мне пышную постель?

Мавка

Нет, затем, чтоб хмелем волосы убрать.

Перелесник

Думала, что милый будет обнимать?

Мавка

Нет, меня береза нежно приласкала.

Перелесник

Все же ты о ком-то... кажется, вздыхала?..

Мавка

Ха-ха-ха! Забыла,
Если что и было!
Я пойду цветами разукрашу косы...
(Идет к лесу.)

Перелесник

Как бы на те косы да не пали росы!

Мавка

Солнышко проглянет —
И росы не станет,
И конец беде!
(Исчезает в лесу.)

Перелесник

Где ты скрылась, зорька?
Тяжко мне и горько!
Где ты? Где ты? Где?
(Также убегает в лес.)

Между деревьями несколько мгновений видна его красная одежда и слышатся перекаты эха: «Где ты? Где...» По лесу переливается красный закат солнца, потом он гаснет. Над озером встает белый туман. Дядя Лев и Лукаш выходят на поляну.

Лев
(сердито ворчит)

Проклятый Водяной! Чтоб ты засох!
Я, после ловли, только-только выплыл
На чистый плес на лодке, чтоб оттуда
На тот пробраться берег поскорей,
А он вцепился подлой лапой в днище —
И никуда! Чуть-чуть не утопил!
Да я не глуп,— за бороду схватил
И намотал ее, как ту мочалку,
Да ножик из-за пояса — и враз
Отрезал бы ее! Но он, проклятый,
Толкнул меня, и лодка кувыркнулась.
Едва-едва я выбрался на берег,
Всю рыбу растерял. Чтоб он закис!
(Лукашу.)
Да и тебя тут что-то зацепило,—
Аукаю, зову — хоть погибай!
Где пропадал?

Лукаш

Я был все время здесь,
Вырезывал свирель.

Лев

Долгонько что-то очень
Свирели ты, племянник, вырезаешь!

Лукаш
(смущенно)

Да право ж, дядя...

Лев
(улыбнулся и смягчился)

Не учись-ка врать!
Ты молод, и язык тебя подводит.
Вот лучше хворосту в лесу собрал бы,
Костер зажег бы. Надо обсушиться,—
Нельзя же мне таким идти домой.
Пока дойдем, еще и *та* прилипнет —
Не к месту будь помянута! — и станет
Из тела душу вытрясать мою...

Лукаш идет в лес; немного погодя слышно, как хрустят сухие ветки.

Лев
(садится под дубом на толстый корень и пробует высечь огонь, чтобы зажечь трубку)

Ну как же! Высечешь! Весь трут намок...
Чтоб ты, злодей, погиб от лихорадки!
Придется поискать — быть может, вырос
На дубе новый...
(Шарит по дубу, разыскивая трут.)

Из озера, из тумана подымается белая женская фигура, похожая больше на привидение, чем на человека. Она простирает белые длинные руки и, загребая, перебирает тонкими пальцами, надвигаясь на дядю Льва.

Лев
(в страхе)

Что за наваждение?
А! Знаю, знаю! Счастье, что заметил!
(Опомнившись, вынимает из кошеля какие-то корни и травы и протягивает их навстречу привидению, как бы защищаясь от него. Привидение немного отступает. Он начинает заговор, произнося слова все быстрее.)

Девица-шипучка,
Лихорадка-трясучка!
Ступай от меня ты в глухие болота,
Где люди не ходят, где куры не поют,
Куда не доходит мой голос.
Здесь тебе не пройти,
Белого тела не трясти,

Желтой кости не ломать,
Черной крови не сосать,
Жизни не отнимать.
Вот тебе полынь —
Сгинь, привиденье, сгинь!

Привидение отступает назад к озеру и сливается с туманом. Подходит Лукаш с охапкой хвороста, кладет его перед дядей, вынимает из-за пазухи кресало и трут и разжигает огонь.

Лукаш

Садитесь, дядя, грейтесь.

Лев

Вот спасибо,
Что угождаешь дяде-старику.
(У костра разжигает трубку.)
Теперь чего ж еще!

(Укладывается против костра на траве, положив кошель под голову. Курит трубку и жмурится на огонь.)

Лукаш

Вот если б, дядя,
Вы сказку рассказали мне.

Лев

Гляди,
Ребенком стал!.. А ты б хотел какую?
Про Оха-чудотворца? Про Тремсына?

Лукаш

Те я слыхал. Вы знаете другие,
Каких никто не знает.

Лев
(подумавши)

Ну, так слушай:
Я про Волну-царевну расскажу.
(Начинает спокойным, певучим, размеренным голосом.)
Когда б нам хата теплая
Да люди добрые,
Баяли б мы байки,

Сказывали б сказки
До самого рассвета...
За темными лесами,
Да за глубокими морями,
Да за высокими горами
Находится чудный-пречудный край.
Где царствует Урай.
В краю том солнце не садится
И месяц серебрится.
А ясные звезды по полю ходят,
Хороводы водят...
И вот у самой красивой звезды появился сын —
Белый Полянин.
Лицом белый,
Пригожий, смелый.
Золотые волосы по ветру играют,
Серебряная сабля в руках сверкает...

Л у к а ш

Вы ж про царевну мне...

Л е в

Да обожди!..
Как начал Белый Полянин расти да подрастать,
Стал он себе думать да гадать,
О своей жизни рассуждать.
«Я,— сказал он,— краше всех на свете,
А судьбы своей еще не встретил.
Дай мне совет, родная мать,
Где пару мне свою искать:
То ль среди боярства важного,
Средь рыцарства отважного,
То ль, может, среди князей,
А может быть, среди простых людей?
А когда б царевну мне,—
Я б доволен был вдвойне...»
(Начинает дремать.)
Вот и пошел он к синему морю.
Разложил на берегу жемчужные бусы...

Л у к а ш

Видать, вы, дядя, что-то пропустили.

Л е в

Неужто?.. Ты мне не мешай!
...Вот разбежалась на́ море волна большая,
И вылетели кони из волны,
Как жар, красны
И в красную коляску впряжены...
А в той коляске...
(Замолкает, одолеваемый сном.)

Л у к а ш

Да кто же в той коляске был? Царевна?

Л е в

(сквозь сон)

А?.. Где?.. Какая там царевна?..

Л у к а ш

Спит!

Некоторое время Лукаш задумчиво смотрит на огонь, потом встает, отходит от костра подальше, прохаживается по поляне и тихо, еле слышно, наигрывает на свирели. В лесу темнеет, но тьма не густая, а прозрачная, как бывает перед восходом месяца. Возле костра блики света и тени как бы пляшут какой-то призрачный танец; цветы, которые растут близко от костра, то сверкают своими красками, то исчезают в темноте. На опушке леса таинственно белеют стволы берез и осин. Вешний ветер нетерпеливо вздыхает, проносясь по опушке, и качает ветви плакучей березы. Туман на озере ширится и белыми волнами придвигается к темной чаще. Во мгле тростник перешептывается с осокою. Из лесу выбегает М а в к а. Бежит она быстро, словно от погони, волосы развеваются, одежда растрепалась. На поляне Мавка останавливается, оглядывается, прижимает руки к сердцу, потом бросается к березе и снова останавливается.

М а в к а

Ой, спасибо, ноченька, ночка — птица-птиченька,
Что крылом закрыла мое бело личико!
И вам, стежечки, вам, дороженьки,
Что меня довели до березоньки!
Ой, укрой меня, спрячь, сестриченька!
(Прячется под березу, обнимая ее ствол.)

Лукаш
(подходит к березе, шепотом)
Ты, Мавка?

Мавка
(еще тише)
Я.

Лукаш
Бежала?

Мавка
Словно белка.

Лукаш
Ты убегала?

Мавка
Да.

Лукаш
Но от кого?

Мавка
Да от того,
Кто как огонь.

Лукаш
А где ж он?

Мавка
Тсс!.. Не то он прилетит.

Молчание.

Лукаш
Ты так дрожишь! Я слышу, как береза
От этой дрожи шелестит листвой.

Мавка
(отрывается от березы)
Ой, горе! Я боюся прислониться,
А так шатаюсь.

Лукаш

Прислонись ко мне,—
Я удержать и защитить сумею.

Мавка прижимается к нему. Они стоят. Свет месяца начинает переливаться по лесу, стелется по поляне и проникает под березу. В лесу слышатся напевы соловья и все голоса весенней ночи. Ветер порывисто вздыхает. Из озаренного тумана выходит Русалка и тайком смотрит на молодую пару.

Лукаш, прижимая Мавку, все ближе наклоняется к ней лицом и неожиданно целует.

Мавка

(вскрикивает от счастья)

Ой, в грудь звезда упала!

Русалка

Ха-ха-ха!

(Со смехом и всплеском бросается в озеро.)

Лукаш

(испугавшись)

Что это там?

Мавка

Не бойся, то Русалка.
Я с ней дружна, и нас она не тронет.
Ей нравится порою насмехаться,
Но то — пустяк... Все для меня пустое
Теперь на свете...

Лукаш

Ну, а я?

Мавка

О нет!
Ты — сам мой свет. И этот свет прекрасней,
Чем тот, что знала я. Но даже тот
Мне краше стал, как мы соединились.

Лукаш

А мы соединились?

Мавка

Ты не слышишь,—
В честь нашей свадьбы соловьи поют.

Лукаш

Я слышу... вот... они уже не свищут,
Не щелкают, как раньше, а поют:
«Целуй! целуй! целуй!»
(Целует ее долгим, нежным, трепетным поцелуем.)
И зацелую
Тебя я на́смерть.

Поднимается ветер, и белый цвет метелицей вьется по поляне.

Мавка

Нет, я не умру...
А жаль... хотелось бы...

Лукаш

Ну, что ты говоришь?
Зачем я так сказал?!

Мавка

Нет, это сладко —
Сгореть звездой падучей...

Лукаш

Погоди!
(Говорит, лаская.)
Про это не хочу! Не говори!..
Нет, говори мне, говори еще!
Чудна́я речь твоя, но почему-то
Так сладко слушать... Что же ты молчишь?
Обиделась?

Мавка

Я слушаю тебя,
Твою любовь...
(Берет в руки его голову, поворачивает ее лицом к месяцу и пристально смотрит ему в глаза.)

Лукаш

Не надо так! Мне страшно,
Когда ты смотришь прямо в мою душу...
Я не могу так! Говори, шути,
Расспрашивай, скажи, что любишь, смейся...

Мавка

Твой голос чист, как ручеек лесной,
Но очи — непроглядны.

Лукаш

Может, месяц
Неясно светит.

Мавка

Может быть...
(Склоняется к его груди и замирает.)

Лукаш

Устала?

Мавка

Молчи!.. Я сердце слушаю... Оно
Неясно говорит — как ночь весною.

Лукаш

Зачем же слушаешь тогда? Не нужно!

Мавка

Не нужно слушать? Верно, что не нужно.
Не нужно, милый! Я не буду больше
Прислушиваться, счастье ты мое!
Свою любовь ласкать я жарко стану!
Ты знаешь ласки?

Лукаш

Я ведь не любился
Ни с кем ни разу и совсем не знал,
Что так сладка любовь бывает!

Мавка страстно ласкает его. Он вскрикивает от сладкой муки.

Мавка!
Ты мне всю душу вынешь!

Мавка

Выну, выну!
Певучую себе возьму я душу,
А сердце я словами зачарую..

Губы твои зацелую родные,
Чтобы краснели,
Чтобы горели,
Словно весенние розы лесные!
Заворожу я глаза голубые,
Чтобы играли,
Чтобы сияли,
Чтоб рассыпали огни золотые!
(Внезапно всплескивает руками.)
Да чем же я завлечь тебя хотела?!
Я до сих пор не убрана цветами!

Лукаш

Ты и без них прекрасна.

Мавка

Нет, хочу я
Себя украсить пышно и нарядно —
Под стать лесной царевне!
(Удаляясь от озера, бежит на другой край поляны к цветущим кустам.)

Лукаш

Подожди!
Я сам тебя украшу.
(Идет к ней.)

Мавка
(грустно)

Не нарядны
Цветы ночные... ночью спят их краски...

Лукаш

Тут светляки, я их насобираю,
Они в твоих светиться будут косах,
Как будто звездный дорогой венок.
(Бросает несколько светляков ей на волосы.)
Дай посмотреть... Ой, как же хороша ты!
(Полный счастья, обнимает ее.)
Я соберу еще. Украшу, наряжу
Тебя, что королевну, в самоцветы!
(В траве под кустами ищет светляков.)

Мавка

А я цветов с калины наломаю,—
Она не спит: ей соловей мешает.
(Ломает ветки с белыми цветами и украшает одежду.)

Русалка
(снова появляется из тумана. Шепчет, повернувшись к тростникам)

Потерчата, выходите,
Огонечки засветите!

В тростниках замерцали два блуждающих огонька. Потом вышли потерчата, в руках они держат плошки, которые то ярко вспыхивают, то совсем гаснут. Русалка прижимает их к себе и шепчет, указывая на белеющую вдали фигуру Лукаша, которая едва заметна во мраке меж кустов.

Взгляните на него, что там блуждает,—
Такой же он, как ваш отец родной,
Что бросил вас и вашу мать обидел.
Он жить не должен!

Первый потерчонок

Утопи его!

Русалка

Я не могу. Мне Леший запретил.

Второй потерчонок

А нам не сладить,— мы еще малы.

Русалка

Вы без стежки,
Без дорожки
Пронесите ваши плошки.
В тот кустарник — тише кошки —
Проберитесь в этот час,—
Не услышит Леший вас.
Если ж встретит,
Не заметит:
Свет погас!
Притворитесь светляками
Под кустами,
Над трясиной промелькните,

Закружите, заманите,—
Где он станет,
Там и канет
И не выйдет из болота.
А уж там моя забота...
Ну, раз-раз!

Потерчата
(приближаясь один к другому)

Ты — направо, я — налево,
Вот у нас и выйдет дело!

Русалка
(радостно)

Помчались!
(Подбегает к болоту, брызжет воду пальцами себе на спину через плечи.)

Из-за кочки выскакивает Куц — молодой чертик-паныч.

Куц мой, ну-ка,
Поцелуй мне руку!
(Протягивает ему руку, он целует.)

Куц

Но за что же это?

Русалка

Завтрак до рассвета
Я тебе сготовлю, только не зевай.
(Показывает вдаль, на Лукаша.)
Видишь? Что, по вкусу?! Твой он будет, знай!

Куц

Раз он не в болоте —
Что с него возьмете?!

Русалка

Будет он на дне!
Всем твоим на радость — бабке и жене!

Куц бросается за кочку и исчезает. Русалка из тростников наблюдает за потерчатами, огоньки которых вспыхивают, мигают, мельтешат то там, то здесь.

Лукаш
(ища светляков, замечает огоньки)

Вот это светляки! летают даже!
Таких я не видал еще! Большие!
Я должен их поймать!
(Гоняется то за одним, то за другим, и они незаметно увлекают его к болоту.)

Мавка

Не надо, милый!
Любимый, не лови! То — потерчата!
Они заманят в топь!

Лукаш, увлеченный погоней, не слышит и отбегает далеко от Мавки.

Лукаш
(внезапно вскрикивает)

Спасите! Гибну!
Попал в болото! Ой, все глубже тянет!..

Мавка прибегает на его крик, но не может дотянуться до него, так как он увяз далеко от твердого берега. Она бросает ему один конец своего пояса, держась за другой.

Мавка

Лови!

Руки Лукаша не могут дотянуться до пояса.

Лукаш

Не дотянусь! Ой, что же будет?

Мавка
(бросается к вербе, которая стоит, наклонившись над трясиной)

Ой, вербонька, родимая, спасай!

Быстро, словно белка, влезает на вербу, повисает над трясиной на суке и снова бросает пояс. На этот раз Лукаш хватает его за конец. Мавка тянет Лукаша к себе, потом подает ему руку и помогает влезть на вербу. Русалка в тростниках издает глухой стон досады и исчезает в тумане. Потерчата тоже исчезают.

Лев

(проснувшись от криков)

А?! Что такое? Снова наважденье?
Чур-чур меня! Исчезни!
(Оглядывается.)
Эй, Лукаш!

Лукаш

(откликается с вербы)

Я, дядя, здесь!

Лев

А почему ты там?
(Подходит и смотрит на вербу.)
На вербу влез, к тому же — с девкой!

Лукаш слезает с вербы. Мавка остается там.

Лукаш

Дядя!
Я здесь едва в болоте не погиб,
Наткнулся на «окпо», да вот она
(показывает на Мавку)
Спасла меня от смерти.

Лев

А зачем же
Ты на ночь глядя бродишь по болоту,
Как дух какой?

Лукаш

Я светляков ловил...
(Обрывает речь.)

Лев

(замечает светляков на Мавке)

Ба! Так бы сразу мне и говорил!
Теперь я вижу сам, чье это дело.

Мавка

Я, дяденька, спасла его — и только.

Лев

Ишь «дяденька»! Племянница нашлась!
А кто ж подстроил для него ловушку?
(Укоризненно качает головой.)
Эх, все вы так! Такая ваша правда!..
Ну, только пусть мне попадется Леший,—
Не вырвется из рук! Дубовым пнем
Я защемлю покрепче бородищу,
Так будет знать!.. Вишь, девок подсылает,
А сам в сторонке,— дескать, я не я!

Мавка
(быстро слезает с вербы)

Не виноват он! Пусть Змея-царица
Меня накажет, коль неправда это!
И я права!

Лев

Ну, вот теперь я верю:
Такою клятвой не клянутся зря.

Лукаш

Она спасла меня от смерти, дядя!
Ей-богу, я пропал бы без нее.

Лев

Ну, девонька, хоть нет в тебе души,
Но сердце — доброе. Прости меня,
Что сгоряча обидел...
(Лукашу.)
Да зачем же
За светляками ты полез в болото?
На кочках, что ли, светляки сидят?

Лукаш

Но не такие были, что летают!

Лев

Э-ге! Понятно. Это ж — потерчата!
Ну, обождите ж, приведу я завтра
Щеняток с волчьим зубом, и посмотрим —
Кто заскулит скорей!

Голоски потерчат
(звучат жалобно и похожи на квакание лягушек)

Нет, нет, дедуся!
Мы непричастны:
Ягоды красной
Здесь мы искали.
Если б мы знали,
Что вы явились,
Мы б не всплывали,
Мы б не светились...
Ой, мама, ой!
Спрячь нас, укрой!

Лев

Гляди, как скуксилась вдруг эта пара —
Отродье ведьмино! Но погоди,
Я отыщу, кто правый, кто виновный!..
(Лукашу.)
А не пора ль, племянник, нам домой?
Пойдем себе...
(Мавке.)
Будь, девушка, здорова!

Мавка

Вернетесь завтра? Я вам укажу,
Где есть для хаты дерево получше.

Лев

Я вижу, ты про все уж расспросила.
Быстра!.. Что ж, приходи, я к вам привык,
Теперь и вам привыкнуть к нам придется.
Ну, мы пошли. Прощай!

Трогаются.

Мавка
(больше Лукашу, чем дяде Льву)

Я буду ждать!

Лукаш отстает от дяди, молча стискивает обеими руками руки Мавки, беззвучно ее целует, потом, догнав дядю, идет с ним в лес.

Мавка
(одна)

Если б ты, ночка, скорей миновала!
Я ведь ни разу еще не встречала
Счастья под солнцем, счастья такого,
Как под твоим повстречала покровом!
Что ж ты, береза, так сиротлива?
Видишь, сестриченька,— я же счастли́ва!
Верба, не лей же слез над водою,—
Снова, родная, он будет со мною!
Лес мой, отец мой, скажи-посоветуй,
Как скоротаю я ноченьку эту?
Ночь коротка, но до́лга разлука...
Что суждено мне — счастье иль мука?

Месяц скрывается за темной стеной леса, темнота наплывает на поляну — черная, как бархат. Ничего не стало видно, лишь тлеют угли покинутого костра да по венку из светляков можно заметить, как между деревьями ходит Мавка. Венок этот то светится, как целое созвездие, то сверкает отдельными искрами. Но потом тьма покрывает и его. Глубокая полночная тишина, и лишь порой в лесу слышится легкий шелест, словно вздох во сне.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Позднее лето. На темной матовой листве в лесу кое-где легла осенняя позолота. Озеро обмелело, береговая кайма сделалась шире, тростники сухо шелестят редкими листьями. На поляне уже построена хата, засажен огород. На одной полоске — пшеница, на другой — рожь. По озеру плавают гуси. На березе сушится белье, на кустах висят горшки и крынки. Трава на поляне чисто выкошена. Под дубом сложен стожок сена. По лесу разносится звон колокольчиков — там пасется скотина. Недалеко слышны звуки свирели, которая играет бойкую танцевальную мелодию.

Мать Лукаша
(выходит из хаты и зовет)

Лукаш, ау! Эй, где ты?

Лукаш
(появляется из лесу со свирелью и палкой, на которой вырезаны узоры)

Здесь я, мама.

Мать

А не довольно ли тебе играть?
Играешь все, а дело-то стоит!

Лукаш

Какое ж дело?

Мать

Как какое дело?
А кто ж загон хотел загородить?

Лукаш

Да ладно же, загорожу, управлюсь.

Мать

Когда ж придет оно — твое «управлюсь»?
Тебе бы только бегать по оврагам,
Баклуши бить вон с этою приблудной!

Лукаш

Кто ж бегает? Скотину я пасу,
А Мавка помогает.

Мать

Отвяжись ты
С такой помогой!

Лукаш

Сами ж говорили,
Что больше молока дают коровы,
Коль Мавка их пасет.

Мать

Она ж ведьмачка!

Лукаш

Не знаю, право, чем вам угодить!
Она ли нам деревья не таскала,
Как хату строили? Кто засадил
Нам огород и кто засеял нивы?
А урожай бывал у нас такой?
А вон какие развела цветы
Под окнами, что просто загляденье!

Мать

Нужны ее цветы! У нас никто
Не женится, ни замуж не выходит...
Тебе ж цветы да песни подавай!

Лукаш нетерпеливо пожимает плечами и хочет уйти.

Куда уходишь?

Лукаш

Городить загон.

(Идет за хату, откуда вскоре слышатся удары топора.)

Мавка выходит из лесу, пышно убранная цветами, с распущенными косами.

Мать

(неприветливо)

Чего тебе?

Мавка

Где, тетушка, Лукаш?

Мать

Чего ты все за Лукашом? Дивчине
За парубком не следует гоняться.

Мавка

А мне про то никто не говорил.

Мать

Ну так теперь послушай,— пригодится.
(Недружелюбно смотрит на Мавку.)
Да что ты все растрепанная ходишь?
Взяла да причесалась бы получше,
А то совсем как ведьма. Неприлично.
Да что и за одежда на тебе?
Работать в ней — неловко, неудобно...
Там от покойной дочери моей
Кой-что осталось,— ты б переоделась,
А это все в сундук бы положила.

Мавка

Что ж, хорошо. Могу переодеться.

Идет в хату. Оттуда выходит Лев.

Мать

Спасибо хоть сказала бы!

Лев

Сестра,

За что грызешь ты и порочишь девку?
Чем пред тобой бедняга провинилась?

Мать

А ты, мой братец, лучше б помолчал,
Коли тебя не трогают! Ты, видно,
Всех ведьм лесных готов собрать сюда!

Лев

Когда б, сестра, ты дело говорила,
Так я тебя послушал бы, а то...
«Лесные ведьмы»! Где ж они такие?
Все ведьмы — в селах...

Мать

Да уж ты, видать,
Насквозь все знаешь... Что же, собирай
Лесную погань,— может, и дождешься
От них добра!

Лев

А что же, и дождусь.
Все, что в лесу,— не погань, а богатство.
Оттуда все достатки наши...

Мать
(насмешливо)

Как же!

Лев

Такие девки могут стать людьми!

Мать

Людьми?! Какими?! Пьян ты нынче, что ли?

Лев

Да что ты знаешь? Мой покойный дед
Мне говорил, что надо знать лишь слово,

Тогда войти и в лесовичку может
Душа совсем такая ж, как и наша.

Мать

Ну, а куда же дух ее бесовский
Тогда исчезнет?

Лев

Вновь ты за свое!..
Пойду уж лучше да займусь работой,
Чем эту жвачку тут жевать!

Мать

Иди!
Я не держу!

Лев, сердито мотнув головой, идет в хату. Мавка выходит из хаты переодетая; на ней грубая рубаха, плохо сшитая и с заплатами на плечах, узкая юбка из набивной ткани и полинявший полосатый фартук. Волосы гладко зачесаны, и две косы закручены вокруг головы.

Мавка

Ну, вот переоделась.

Мать

Совсем иное дело!.. Ну, теперь
Пойду пока с цыплятами управлюсь.
Хотела я пойти на конопляник,
Да тут еще не кончена работа,
А ты-то к ней не очень...

Мавка

Почему же?
Я, как умею, рада помогать.

Мать

То и беда, что мало ты умеешь,
Плохой ты и пололыцицей была,
И в сенокос все голова болела...
Вот так и жать, наверно, будешь...

Мавка
(со страхом)

Жать?!
Хотите вы, чтоб я сегодня жала?

А что ж такого? Нынче ведь не праздник.
(Берет за дверью в сенях серп и подает Мавке.)
Возьми вот серп, попробуй. Как управлюсь,
Сменю тебя.
(Уходит за хату, взявши из сеней сито с зерном. Вскоре слышится, как она зовет: «Цыпоньки, цыпоньки, цып-цып-цып!»)

Лукаш с топором в руках подходит к молодому грабу, чтобы срубить его.

Мавка

Не тронь его, любимый!
Оно живое.

Лукаш

Дай ты мне покой!
Мне некогда.

Мавка грустно смотрит ему в глаза.

Указывай сухое!

Мавка

(быстро выволакивает из лесу большое засохшее дерево)
Еще найду. Тебе ведь много надо?

Лукаш

Порядочно. Одним не загородишь.

Мавка

И ты со мной чего-то неприветлив...

Лукаш

Да видишь... мать ругает за тебя...

Мавка

А что ей надо? Ей какое дело?

Лукаш

Да как же? Я ведь сын...

Мавка

Ну, сын,— так что?

Лукаш

Невестка ей такая не по нраву...
Она не терпит племени лесного...
Тебе она плохой свекровью будет!

Мавка

В лесу не знают никакой свекрови.
Зачем свекрови эти да невестки —
Не понимаю!

Лукаш

Ей нужна невестка
Для помощи. Она уже стара.
Чужую на работу брать — неловко,
Нанять батрачку — тоже ведь не дочка...
Но, видно, ты того не понимаешь...
Чтобы в людских заботах разобраться,
Тебе бы нужно не в лесу родиться.

Мавка
(искренне)

А ты мне расскажи, и все пойму я,
Ведь я люблю тебя... Я ж поняла
Все песни, что играл ты на свирели.

Лукаш

Невелика наука — эти песни!

Мавка

Не унижай цветок своей души,
Ведь из него любовь возникла наша!
Он, словно папоротник, расцветает,
Тая в себе несметные богатства.
И сердце новое во мне забилось,
Лишь я его познала. В ту минуту
Со мной случилось чудо...
(Внезапно умолкает.)
Ты смеешься?

Лукаш

Да, право, как-то сделалось смешно...
По-будничному в старое одета,

А говоришь — как в праздник славословишь!
(Смеется.)

Мавка

(дергает на себе одежду)
Сожгу ее!

Лукаш

Чтоб мать совсем загрызла?

Мавка

Что ж делать, если в этом одеянье
Кажусь тебе другой?

Лукаш

Я так и знал!
Теперь пойдут и слезы и упреки...

Мавка

Нет, милый, я тебя не упрекаю,
Мне только грустно, что своею жизнью
Не можешь ты подняться до себя.

Лукаш

Не понимаю, что ты говоришь.

Мавка

Знай, что люблю тебя я больше жизни
За то, чего ты сам в себе не видишь,
Хотя душа твоя поет об этом
Чудесным, ясным голосом свирели...

Лукаш

А что же это?

Мавка

Да оно прекрасней,
Чем весь твой облик милый и любимый,
Но выразить его я не умею...
(Грустно, с любовью смотрит на него и несколько мгновений молчит.)
Сыграй же, мой хороший, на свирели,
Пускай она все горе зачарует!

Лукаш

Эх, мне играть теперь совсем не время.

Мавка

Так обними меня, чтоб я забыла
Размолвку эту.

Лукаш
(оглядываясь)

Тише! Мать услышит!
И так она твердит, что ты повисла
На шее у меня...

Мавка
(вспыхнула)

Знать, кто не с вами вырос,—
Вас не поймет! Ну, что все это значит —
«Повисла»? Что тебя я полюбила?
Что первая открылась? В том ли стыд,
Что сердцем я щедра и что сокровищ
Оно своих не прячет, а без счета
Любимого одаривает ими,
Не ожидая клятв и обещаний?

Лукаш

Была надежда — после расплатиться.

Мавка

Мне снова непонятно — «расплатиться»...
Да ты ж мне приносил дары такие,
Как сам хотел, как и мои тебе —
Не считаны, не мерены...

Лукаш

Отлично,
Что ничего друг другу не должны мы,
Об этом ты сама сказала, помни.

Мавка

А для чего мне нужно это помнить?

Мать
(выходит из-за хаты)

Ты так-то жнешь? А ты загон городишь?

Лукаш поспешно поволок дерево за хату.

Уж если жать ты, девонька, не хочешь,—
Неволить я не стану. Как-нибудь
Сама управлюсь. А настанет осень,
Даст бог, найду невестку на подмогу.
Вдова тут есть — проворная такая,
Сама она расспрашивала как-то...
Я согласилась, только бы Лукаш
Не заупрямился... Давай-ка серп,—
Другого у меня пока что нету.

Мавка

Я буду жать. Идите в конопляник.

Мать идет через поляну к озеру и скрывается за тростником. Мавка, замахнувшись серпом, склоняется к житу. Из жита внезапно вынырнула Полевая русалка; сквозь плащ, сотканный из золотистых волос и покрывающий ее небольшую фигуру, то там, то здесь просвечивает ее зеленая одежда: на голове — синий васильковый венок; в волосах запутались розовые цветы куколя, ромашка, повилика.

Полевая русалка
(с мольбой бросается к Мавке)

Сестрица, погоди!
Красу мою ты пощади!

Мавка

Я должна!

Полевая русалка

И так все изувечено,
Помято, искалечено.
Цветы мои без времени
Повырваны с кореньями!
Мак мой жаром пламенел,
А теперь он почернел,
Словно кровь текла, лилася
И в бороздке запеклася...

Мавка

Сестрица, я должна! Твоя краса
Весной распустится еще буйнее,
Мое же счастье, коль теперь завянет,
Вовек не встанет!

Полевая русалка
(ломает руки и качается от горя, как от ветра колос)

Ой, горюшко, коса моя!
Коса моя золотая!
Ой, лишенько, краса моя!
Краса моя молодая!..

Мавка

Сестра, твоя краса недолговечна,—
На то растет, чтоб под серпом ложиться.
И зря меня ты просишь,— срок придет —
Не я, так кто-нибудь другой сожнет.

Полевая русалка

Видишь, как в поле волна расходилась,
С ветром играя.
Горько лишиться нам этого рая:
Лето еще ведь не скрылось,
Рожь не склонилась, не полегла,—
Смерть неминучая к нам не пришла!
Хоть бы минуту! минутку! мгновение!
Скоро краса моя в горьком забвении
Ляжет на землю сама...
Сжалься! не будь, как зима,
Что не умолишь уже, не упросишь!

Мавка

Рада б я бросить,— не бросишь:
Нет во мне силы, и нет во мне воли.

Полевая русалка
(шепчет, склонившись Мавке на плечо)

А не случалось кому-нибудь в поле
Ранить серпом, повредить себе руку?
Сжалься! пойми мою муку!

Мне б для спасенья — лишь капельку крови,
не боле,—
Разве же это большая цена?

Мавка

(резанула серпом по своей руке, кровь брызнула на золотые косы Полевой русалки)

Вот тебе, ясонька, на!

Полевая русалка низко кланяется Мавке, благодаря ее, и исчезает во ржи. От озера приближается мать и с ней полнолицая молодица в красном платке с бахромой, в бордовой юбке, мелко и ровно собранной в складки, и зеленом переднике с нашитыми на нем белыми, красными и желтыми полосами; рубашка густо вышита красными и синими узорами. На белой пухлой шее монисто из серебряных монет, пояс тесно перетягивает стан, и от этого полная, плотная фигура молодицы кажется еще пышнее. Молодица идет размашисто, мать едва поспевает за ней.

Мать

(молодице, любезно)

Идем, Килинушка,— здесь, у березы,
Трава свежей. А вот и деревей,—
Вы ж собирались им попарить крышки?
Он, милая, хорош для молока.

Килина

Мне с молоком уж некуда деваться!
Скорей бы ярмарка — купить посуды.
Корова-то турецкого заводу,—
Купил покойный муж,— и бог ты мой,
Молочная какая!.. Хлеб на поле
Я кое-как убрала, да теперь
Домашние работы одолели.
Беда одной — хоть разорвись на части!..
(Прибедняется, поджимает губы.)

Мать

Ой, ласточка, так вы уже убрали?
Оно и правда: если кто проворен,
Тот сможет все... А тут одна полоска,
И то бог ладу не дает...

Килина

(смотрит на полоску, где стоит Мавка)

А кто же
Там жнет у вас?

Мать

Да так, одна сиротка...
(Шепотом.)
Прости господь, никчемная такая...

Килина
(подходит с матерью к Мавке)

День добрый, жница! Хорошо ли жнется?

Мать
(всплеснула руками)

Ой, горюшко, еще не начинала!
Да чем же ты, скажи мне, занималась?
Негодница! Лентяйка! Лежебока!

Мавка
(глухо)

Я руку ранила...

Мать
Нашлась причина!

Килина

А ну-ка, я! Давай скорее серп!

Мавка прячет серп за спину и враждебно смотрит на Килину.

Мать

Отдай, коль говорят! Ведь он не твой!

Вырывает серп из рук Мавки и отдает Килине, та бросается к ржи и жнет так быстро, как будто палит огнем,— даже солома трещит под серпом.

Мать
(с удовольствием)

Вот это жнет!

Килина
(не отрываясь от работы)

Когда бы кто-нибудь
Крутил мне свясла, так единым духом
Я сжала б все.

Мать
(зовет)

Лукаш, иди сюда!

Лукаш
(подходит, Килине)

Бог в помощь вам!

Килина
(продолжая жать)

Спасибо!

Мать

Вот, Лукаш,
Вязать снопы поможешь молодице,
А та «помощница» «калекой» стала.

Лукаш начинает вязать снопы.

Ну, жните, детоньки, а я пойду
Сварю кисель — обед вам приготовлю.
(Идет в хату.)

Мавка отошла к березе, прислонилась к ней и сквозь длинные ветви смотрит на жнецов.
Килина некоторое время усиленно жнет, потом разгибается, разминается и смотрит на склонившегося над снопами Лукаша; усмехается, тремя широкими прыжками подскакивает к нему и хлопает ладонью по плечу.

Килина

А ну, быстрей! Не ползай, как улитка!
Эй, увалень!
(Заливается смехом.)

Лукаш
(тоже разгибается)

Ишь прыткая какая!
Ты не дразни, не то переборю!

Килина

(бросает серп, упирается руками в бока)

А ну-ка! ну-ка! Кто кого — посмотрим!

Лукаш бросается к ней, она перехватывает ему руки, они «меряются силой», упершись ладонями в ладони. Некоторое время они не могут пересилить друг друга и стоят наравне. Потом Килина, смеясь и играя глазами, подалась немного назад. Разгоряченный Лукаш широко разводит ей руки и хочет ее поцеловать. Но в тот момент, когда их губы уже сблизились, она подставляет ему ножку, и он падает.

Килина

(стоит над ним, смеясь)

Ну, что? Кто поборол? Не я тебя?

Лукаш

(встает, тяжело дыша)

Ногой подбить — не дело!

Килина

Неужели?

В хате стукнула дверь. Килина снова бросается жать, а Лукаш вязать. Полоска быстро и густо покрылась снопами; несколько еще не связанных снопов лежат на свяслах, как побежденные, но еще не связанные пленники.

Мать

(с порога сеней)

А ну, жнецы, идите-ка обедать.

Килина

Я кончила свое, а вон Лукаш
Никак не справится.

Лукаш

Да мне недолго.

Мать

Ну, ты кончай. Килинушка, идите!

Килина идет в хату. Двери закрываются. Мавка выходит из-за березы.

Лукаш

(немного смутился, увидев ее, но быстро оправился)

Ах, это ты! Вот довяжи снопы,
А я пойду.

Мавка

Вязать их не могу я.

Лукаш

Ты, что ж, сюда подглядывать явилась,
Коли не хочешь помогать?
(Вяжет сам.)

Мавка

Лукаш,
Пусть эта женщина сюда не ходит,—
Я не люблю ее — она коварна,
Как выдра.

Лукаш

Ты ее совсем не знаешь.

Мавка

Нет, знаю! Слышала и смех и голос.

Лукаш

Но этого ведь мало.

Мавка

Нет, довольно.
Она хищна, как рысь.

Лукаш

И что же дальше?

Мавка

Пускай в наш лес она не ходит больше!

Лукаш
(разогнувшись)

А разве ты лесной царицей стала,
Что судишь так — кто смеет в лес ходить,
Кто нет?

Мавка
(мрачно, с угрозой)

В лесу такие есть провалы,—
Они закрыты щебнем и кустами,—
Ни человек, ни зверь про них не знает,
Пока не попадет...

Лукаш

А говорит
Про хищность, про коварство,— уж молчала б!
Как видно, я не знал твоей натуры!

Мавка

Я, может, и сама ее не знала...

Лукаш

Так вот же слушай: если у тебя
Я позволенья спрашивать обязан,
Кому ходить ко мне,— то лучше снова
Переберусь я из лесу в село.
Уж как-нибудь не пропаду с народом.
Сидеть с тобою, как лиса в ловушке,
Я не хочу.

Мавка

Ловушек для тебя
Не ставила. Ты здесь по доброй воле.

Лукаш

По воле и уйду, коль пожелаю,—
Никто меня ничем здесь не привяжет.

Мавка

Я разве привязать тебя хотела?

Лукаш

К чему ж тогда вся эта болтовня?
(Довязывает последний сноп и, не глядя на Мавку, идет в хату.)

Мавка села на борозде и, грустно задумавшись, наклонилась над стернею.

Лев
(выходит из хаты)

О чем ты так, бедняжка, загрустила?

Мавка
(тихо, грустно)

Проходит лето, дядя...

Лев

Для тебя
Все это горько... Я уж было думал,
Что вербы на зиму тебе не нужно.

Мавка

А где б я зимовала?

Лев

Да, по мне,
С тобой и в хате не было бы тесно...
Да вот сестру никак не уломаешь.
И так и этак говорил я с нею,
А толку нет... Вот если б был я здесь
Хозяином,— и спрашивать не стал бы.
Но отдал я и землю им и хату.
Здесь воля не моя. Я сам к зиме
Уйду в село, в свое жилье родное...
Когда бы там могла ты поселиться,
Я б взял тебя.

Мавка

В селе я не могу...
А то пошла б. Вы добрый и хороший.

Лев

Хорош и добр не человек, а хлеб.
Но это правда: очень мне по праву
Лесное племя ваше. Умирать
Я в этот лес приду, подобно зверю,—
Вот тут под дубом пусть и похоронят...
Эй, дуб-дубочек, будешь ли стоять,
Когда сложу я голову седую?..
Да где уж там! Дубы и не такие
Стояли, да и нет... Так зеленей же
Хоть до морозов, друг ты мой кудрявый,
А там пошлет ли бог весны дождаться?..
(Стоит, грустно опершись на палку.)

Мавка не спеша выбирает полуувядшие цветы из сжатого жита и складывает их в пучок. Из хаты выходят мать, Килина и Лукаш.

Мать
(Килине)

Чего спешить? Еще бы посидели.

Килина

Да нет уж, тетушка, пора идти.
Подходит вечер, и одной мне страшно.

Мать

Лукаш, ты проводил бы.

Лукаш

Что же, можно.

Килина
(смотрит на него)

Работа, может, есть?

Мать

Да нет, какая ж
Работа вечером? Иди, сынок, иди
Да проводи Килинку до дороги.
Одной под вечер боязно в лесу.
Она еще такая молодая,
Что могут и напасть...

Килина

Ой, что вы, тетя!
Теперь совсем меня вы запугали!
Идем, Лукаш, пока не свечерело,
А то опасно и вдвоем...

Лукаш

Чтоб я
В лесу боялся?! Ого-го! Пожалуй!

Мать

Он у меня, Килинушка, храбрец,—
У хлопца эту честь не отнимайте.

Килина

Да это ж в шутку все...
(Заметила дядю Льва.)
А? дядя Лев!
Вы тоже дома?

Лев

(будто не расслышал)

А? ступайте с богом!
(Идет в лес.)

Килина

Ну, оставайтесь, тетушка, здоровы!

Хочет поцеловать старухе руку, но та не дает, вытирает себе рот передником и трижды церемонно целуется с Килиной.

Килина

(уже на ходу)

Ну, оставайтесь да добром разживайтесь!

Мать

Весело живите да к нам приходите!
(Идет в хату и закрывает за собою дверь.)

Мавка встает и тихой, как бы утомленной походкой идет к озеру, садится на склонившуюся вербу, роняет голову на руки и тихо плачет. Начинает накрапывать дождик, густою сеткою заволакивая поляну, хату и лес.

Русалка

(подплывает к берегу и смотрит на Мавку с удивлением и любопытством)
Ты плачешь, Мавка?

Мавка

Разве ты ни разу
Не плакала, Русалочка?

Русалка

О, я!
Коль я заплачу на одно мгновенье,
То кто-то будет до́ смерти смеяться!

Мавка

Ты никогда, Русалка, не любила...

Русалка

Я не любила? Нет, то ты забыла —
Какой на свете быть любовь должна!
Любовь — как та вода: быстра, текуча,
Играет, кружит и, лаская, топит.
Где жар — она кипит, а встретит холод,—
Так станет камнем. Вот *моя* любовь!
А вот твоя — соломенного духа
Дитя больное. Клонится от ветра,
На землю валится. А встретит искру,—
Сгорает без борьбы, и остается
Лишь только гарь да серая зола.
Когда ж ее с пренебреженьем бросят,
Она лежит и киснет, как солома,
В воде досады горькой, и над нею
Дожди раскаянья шумят, шумят.

Мавка
(поднимает голову)

Раскаянья? А ты спроси березу —
Раскаялась ли та, что по ночам
Весенний ветер расплетал ей косу
Своей рукой?

Русалка

Чего ж она печальна?

Мавка

Что милого не может приласкать,
Обнять навеки длинными ветвями.

Русалка

Но почему ж?

Мавка

Да он ведь — вешний ветер.

Русалка

Зачем же было ей любить такого?

Мавка

Да он был нежный, ласковый, хороший;
Он с тихой песней колыхал листочки,

Ласкаясь, целовал ее веночек,
Кропил росою молодую косу...
Он был такой... он был совсем весенний.
Иного бы она не полюбила.

Русалка

Ну, и пускай теперь опустит траур
Аж до земли! — тот ветер обнимать
Ей не придется — он уже промчался.

(Тихо, без плеска, отплывает от берега и исчезает в озере.)

Мавка снова склонилась, длинные черные косы опустились до земли. Начинается ветер. Он гонит серые тучи, а вместе с ними и стаи черных птиц, отлетающих на юг. Потом от сильного порыва ветра дождевые тучи расходятся, и становится виден лес. Он стоит в искрящемся осеннем убранстве на фоне темно-синего предзакатного неба.

Мавка

(тихо, с глубокой грустью)

Так... он уже промчался...

Леший выходит из чащи. Он в длинной одежде цвета старого золота с темно-красной каймой внизу. Вокруг шапки обвита ветка созревшего хмеля.

Леший

Дочка, дочка!
Как тяжко ты страдаешь за измену!..

Мавка

(поднимает голову)

Кому же изменила я?

Леший

Себе.
Покинула могучие вершины
И вниз, на стежки узкие, спустилась.
Кому ты уподобилась? Служанке,
Батрачке, что своей работой горькой
Кусочек счастья заслужить хотела —
И не смогла! И только стыд, наверно,
Стать попрошайкой не дает тебе.
А вспомни-ка, такою ль ты была
В ту ночь, когда впервые полюбила?
Ходила ты царевною лесною,
Венок из звезд сверкал на темных косах,
И счастье жадно руки простирало,
Чтобы вручить тебе свои дары!

Мавка

Что ж делать мне, коли погасли звезды
И на венке и в сердце у меня?

Леший

Не все венки твои погибли, дочка.
Взгляни вокруг — какой повсюду праздник!
Весь в золото оделся ясень-князь,
Лесная роза убралась в кораллы.
И, белый цвет сменив на гордый пурпур,
Стоит калина, что тебя венчала
Под свадебные песни соловья.
И даже верба старая с березой
Малиновым и желтым прикрылись
На праздник осени. Лишь ты одна
Сорвать лохмотьев нищенских не хочешь.
Ты, знать, забыла, что тоска не может,
Не смеет быть сильнее красоты!

Мавка

(порывисто встает)

Давай мне праздничный убор, дедуся!
Я буду вновь царевною лесною,
И счастье упадет к моим ногам,
Меня о ласке умоляя!

Леший

Дочка,
Давно готово платье для царевны,
Она сама лишь где-то пропадала
И ради шутки нищенкой оделась.

(Распахивает свою одежду и достает запрятанную под ней пышную, вышитую золотом багряницу и серебряное покрывало на голову. Накидывает багряницу на Мавку поверх ее одежды.)

Мавка идет к калине, быстро ломает ветки с красными ягодами, свивает себе венок, распускает косы, украшает голову венком и склоняется перед Лешим; тот накидывает ей на голову серебряное покрывало.

Теперь уж за тебя я не боюсь.

(Важно кивнувши ей головой, быстрым шагом идет в чащу и исчезает.)

Из лесу выбегает Перелесник.

Мавка

Вновь ты?
(Собирается убегать.)

Перелесник
(снисходительно)

Не бойся, не к тебе. Хотелось
Мне навестить Русалку полевую,
Да вижу, что она заснула... Жалко...
А ты осунулась...

Мавка
(гордо)

Неправда это!

Перелесник

Неправда? Вряд ли... Дай-ка присмотреться.
(Подходит к ней.)

Мавка отступает.

Да ты чего пугаешься? Я знаю,
Что ты обручена, и я не трону.

Мавка

Прочь! Не глумись!

Перелесник

Да не гневись ты,— что ж,
Коли ошибся я... Послушай, Мавка,
Давай мы побратаемся.

Мавка

С тобою?

Перелесник

А почему бы нет? Настала осень,
И даже солнце, видишь, остывает.
И в нас остыла кровь... Да мы ж с тобою
Товарищами были, а потом
Любились иль шутили — неизвестно.
Теперь настал братанья час. Дай руку.

Мавка несколько нерешительно подает ему руку.

Позволь мне, Мавка, братским поцелуем
Поцеловать лицо твое.

Мавка уклоняется, но он все-таки ее целует.

Ой, сразу
Цветы на бледных зацвели щеках! —
Спокойные, осенние, простые...
(Не выпуская ее руки, смотрит на поляну.)
Взгляни, как там летает паутина,
И кружится, и вьется на ветру...
Вот так и мы...
(Внезапно увлекает ее танцевать.)
Так вот вдвоем
Кинемся, ринемся,
Танец начнем!
Звезды лучистые,
Зори цветистые,
Ясные, красные, искры огнистые —
Все, что сверкает,
Все, что сияет,—
Кружится, вьется, дрожит и играет!
Так вот и я...
Будь же как искра, любовь ты моя!

Все быстрее танец. Серебряное покрывало на Мавке взвилось вверх, как блестящая змея, черные косы рассыпались и смешались с огнистыми кудрями Перелесника.

Мавка

Стой же ты!.. хватит!..

Перелесник

Сердце растратить
В час иль в минуту — не все ли равно?
Счастье — измена,
Счастье мгновенно
Тем, что проходит, и сладко оно!

Танец становится безумным.

Взовьемся!
Сольемся!
Мы вихрем взметнемся!
Мчимся!
Помчимся
К огнистому раю!

Мавка

Пóлно!.. Пусти меня!.. Я умираю!..

Голова ее падает ему на плечо, руки опускаются. Обомлевшую, он продолжает кружить ее в танце. Вдруг из-под земли появляется темный, широкий, страшный Призрак.

Призрак

Отдай мое. Пусти ее ко мне.

Перелесник

(останавливается и выпускает Мавку из рук. Она бессильно опускается на траву)

Кто ты такой?

Призрак

Не знаешь разве? Я
Тот, кто в скале сидит.

Перелесник вздрагивает, быстрым движением бросается прочь и исчезает в лесу. Мавка очнулась, чуть-чуть приподнялась, широко раскрыла глаза и с ужасом смотрит на Призрака, который протягивает руки, чтобы взять ее.

Мавка

Я не хочу!
Я не хочу к тебе! Ведь я живая!

Тот, кто в скале сидит

Я поведу тебя в далекий край,
Туда, где темные глухие воды
Спокойно спят, как мертвые глаза;
Стоят над ними скалы молчаливо —
Свидетели давно угасших дней.
Спокойно там: ни травы, ни деревья
Не шелестят и грез не навевают
Несбыточных, что не дают заснуть;
Весенний ветер не заносит песен
О воле недоступной; не горит
Огонь всепожирающий; о скалы
Лишь молнии ломаются, не в силе
Пробить твердыню мрака и покоя.
Приют твой там: ты от огня бледнеешь,
И млеешь, цепенеешь от движенья;
Тень — счастье для тебя. Ты умерла.

Мавка
(поднимается)

Нет, я жива! И буду жить я вечно!
Есть в сердце то, что умереть не может.

Призрак

А почему ты это знаешь?

Мавка

Му́ку
Свою люблю и не хочу забыть.
Когда б забыть ее я захотела,
Я б за тобой пошла куда угодно,
Но никакая сила в целом свете
Желанного не даст мне забытья!

В лесу слышится шум шагов.

Вот он идет, кто дал мне эту му́ку!
Сгинь, Призрак, сгинь! Идет моя надежда!

Тот, кто в скале сидит отступил в темные кусты и там притаился. Из лесу выходит Л у к а ш.
Мавка идет навстречу Лукашу. От яркой одежды лицо ее кажется смертельно бледным, в широко раскрытых больших глазах светится надежда; движения ее порывисты и в то же время бессильны: как будто внутри нее что-то обрывается.

Лукаш
(увидя ее)

Какая страшная! Что тебе надо?
(Спешит к хате, стучится в дверь. Мать, не выходя наружу, открывает, Лукаш на пороге — матери.)
Скорее хлеб готовьте для сватóв,—
Я завтра, мама, сватаю Килину!
(Входит в хату.)

Двери закрываются.
Тот, кто в скале сидит выходит из кустов и приближается к Мавке.

Мавка
(срывает с себя багряницу)

Бери меня! Я забытья хочу!

Тот, кто в скале сидит прикасается к Мавке. Она, вскрикнув, падает ему на руки. Он закрывает ее своей черной одеждой, и оба они опускаются под землю.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Хмурая ветреная осенняя ночь. Последний желтый отблеск месяца гаснет в хаосе голых лесных вершин. Стонут филины, хохочут совы, назойливо кричат сычи. Вдруг все это покрывается протяжным тоскливым волчьим воем. Вой разрастается все больше и больше и сразу обрывается. Наступает тишина. Начинается тусклый болезненный рассвет поздней осени. Голый лес едва вырисовывается на пепельном небе черной щетиной, а вдали по опушке стелется растрепанный сумрак. Стены Лукашовой хаты начинают белеть, возле одной из стен чернеет какая-то фигура, бессильно прислонившаяся к косяку двери. В ней едва можно узнать Мавку; она в черной одежде, на голове — серое покрывало. Только на груди краснеет маленький пучок калины.

Когда немножко посветлело, на поляне стал заметен большой пень на том месте, где когда-то стоял столетний дуб. Недалеко от него — свеженасыпанная, еще не поросшая травой могила.

Из лесу выходит Леший в серой свитке и в шапке из волчьего меха.

Леший

(приглядывается к фигуре, которая стоит у стены)

Ты, дочка?

Мавка

(немного приблизившись к нему)

Я.

Леший

Ужели ж отпустил
Тебя назад Тот, кто в скале сидит?

Мавка

Ты вызволил своим преступным делом.

Леший

Ты преступленьем называешь месть,
Которой справедливо отомстил я
Изменнику, любимцу твоему?
Да разве ж он познал не по заслугам
Отчаянье, тоску и безнадежность,
Блуждая по лесу, подобно волку?
Теперь он бродит диким вурдалаком,—
Так пусть визжит, и голосит, и воет,
И жаждет крови, но смертельной муки
Он не погасит!

Мавка

Радуешься зря.
Его спасла я. Отыскала в сердце

Волшебное живительное слово,
Что зверя превращает в человека.

Леший

(злобно топает ногой и с треском ломает свою палку)

Быть дочерью лесов ты не годишься!
Дух у тебя не вольный, не лесной,
А избяной и рабский!

Мавка

Если б знал ты,
О, если б знал, как страшно это было!..
Спала я каменным холодным сном
В пещере темной, скользкой и глубокой.
Когда пробился искаженный голос
Сквозь мрачную скалу и над водою
Послышалось в пещере завыванье —
Тоскливое, протяжное, глухое —
И разбудило умершее эхо...
И я проснулась. Пламенем подземным
Склеп взорвала моя любовь и жалость,
И вновь я вырвалась на свет. И слово
Мои уста немые оживило.
Я совершила чудо... Я узнала,
Что мне вовек не будет забытья.

Леший

Где ж он теперь? Чего он не с тобою?
Знать, велика его неблагодарность,
Как и любовь твоя к нему.

Мавка

Дедуся!
Ты б поглядел!.. Лишь стал он человеком,—
Как ясень срубленный, упал к ногам...
И так смотрел тоскливо, безнадежно,
С таким раскаяньем, с такой мольбою!..
Лишь только люди могут так смотреть!
Я не успела вымолвить и слова,
Как он вскочил и тотчас от меня
Закрыл лицо дрожащими руками
И бросился, не проронив ни звука,
В густой терновник,— там и скрылся с глаз.

Леший

А что ж теперь надумала ты делать?

Мавка

Не знаю... Я теперь брожу, как тень,
У этой хаты: не хватает силы
Ее оставить... Чует мое сердце,
Что он вернется...

Леший молча и грустно качает головой. Мавка снова прислоняется к стене.

Леший

Бедное дитя!
Зачем от нас ушла ты в край унылый?
Ужель покоя нет в родном лесу?
Смотри, тебя вон ожидает верба,
Она давно постель твою постлала.
И все грустит, что ты пропала где-то.
Иди и ляг.

Мавка
(тихо)

Я не могу, дедуся.

Леший, глубоко вздохнув, тихонько пошел в лес. Из лесу доносится бешеный топот. Кажется, что кто-то во весь опор гоняет по лесу коня, потом останавливается.

Куц

(выскакивает из-за хаты, потирая руки, и, увидев Мавку, останавливается)
Ты, Мавка, здесь?

Мавка

А ты чего блуждаешь?

Куц

Я их коня за гриву приволок,
Ох, повозил меня он напоследок!
Теперь на нем никто уж не поедет.

Мавка

Негодник ты! Весь лес наш осрамил!
Ведь мы же клятву дяде Льву давали!

Куц

Та клятва вместе с дядей умерла.

Мавка

Как, умер дядя Лев?

Куц

Вот и могила.
Под дубом старика похоронили,
А возле пня приходится лежать.

Мавка

Упали оба... Чувствовал старик,
Что зимовать ему уж не придется...
(Подходит к могиле.)
Ой, как же плачет сердце по тебе,
Единый друг мой! Если б я имела
Живые слезы,— оросила б землю,
Бессмертный бы взрастила я барвинок
Здесь на могиле. Да теперь бедна я,
И скорбь моя, как мертвый лист, ложится...

Куц

Мне жалость не к лицу. И все ж я должен
Сказать, что очень жалко старика:
Всегда умел он с нами жить в согласье.
Он черного козла держал в конюшне,
Чтоб только было мне на чем кататься.
Лечу, бывало, на козле стрелою,
А лошади стоят себе спокойно.
А этим бабам с нами не ужиться:
Срубили дуб и продали козла —
Нарушили свое же обещанье.
Зато и я их лучшего коня
Заездил на́смерть. Купят — вновь заезжу.
Еще к тому ж уговорил я ведьму,
Чтоб их коров попортила она,—
Пускай узнают, как не ладить с нами!
А Водяной им сено подмочил,
А семена сгноили потерчата.
И Лихорадка треплет их нещадно,
Что озеро пенькою завалили.
Не будет им добра у нас в лесу!
Уже и злыдни бродят возле хаты.

Злыдни

(маленькие заморыши в лохмотьях, голодные и жадные, появляются из-за угла хаты)

Мы здесь! Кто нас зовет?

Мавка

(загораживает им путь к двери)

Никто. Уйдите!
Никто вас не зовет!

Один злыдень

Слетело слово —
Обратно не вернешь.

Злыдни

(садятся на пороге)

Хотя б скорее
Открылись двери — мы изголодались!

Мавка

Я не пущу туда!

Злыдни

Так дай нам есть!

Мавка

(со страхом)

Нет у меня ни крошки.

Злыдни

Дай калину,
Вон ту, что ты на сердце носишь. Дай!

Мавка

То кровь моя!

Злыдни

Так что же,— кровь мы любим.

Один из злыдней бросается к ее груди и сосет калину, остальные пытаются оттащить его, чтобы попробовать самим. Они толкаются, грызутся и урчат, словно собаки.

Куц

Прочь от нее,— она не человек!

Злыдни останавливаются, щелкают зубами и воют от голода.

Злыдни

(Куцу)

Давай нам есть, пока тебя не съели!

(Набрасываются на Куца, но он отскакивает.)

Куц

Ну-ну! Потише!

Злыдни

Есть! Мы голодны!

Куц

Постойте! Баб я разбужу сейчас,—
Еда вам будет, ну, а мне забава.

(Берет комок земли, бросает в окно и разбивает стекло.)

Голос матери

(в хате)

Ой, что такое? Снова нечисть ходит!

Куц

(злыдням шепотом)

Вот видите, проснулась. А теперь
Покличет вас. Сидите только тише,
А то старуха так начнет вас клясть,
Что вмиг провалитесь,— она такая.

Злыдни скопляются у порога темной грудою. Сквозь разбитое стекло слышно, как в хате встает мать, потом раздается ее голос, а немного погодя голос Килины.

Голос матери

Уже светло кругом, а та все спит.
Килина! Эй, Килина! Ну и спит же!
Чтоб ты навек заснула!.. Эй, вставай!
Чтоб ты вовек не встала!..

Голос Килины

(сонно)

Да чего там?

Мать
(ядовито)

А не пора ль тебе доить корову —
Молочную, турецкого заводу,
Что муж-покойник для тебя купил?

Килина
(проснувшись)

Да нет, уж лучше подою я ваших
И нацежу три капли молока —
Фунт масла будет.

Мать

Не смолчит ни разу.
Кто ж виноват, что молока не стало?
С такой хозяйкою... ой, горе, горе!
Ну и невестка! Где взялась такая
На нашу голову?

Килина

Да кто ж просил
Меня в невестки брать? У вас была ведь
Какая-то сиротка-замарашка,—
Ее бы вы получше приодели,
Вот и была б невестка вам по праву.

Мать

А что ж,— она б действительно была!
Глупец Лукаш, что за тобой погнался;
А та была покорна и добра,—
Хоть к ране приложи... Ты замарашкой
Ее зовешь, а вот поди сама
Ее одежду мигом перешила
И носишь,— как тебе не стыдно только?

Килина

У вас похвалишься обновкой!.. Как же!..
Вон муженечка где-то ветер носит,
А ты горюй с проклятою свекровью,—
И ни жена и ни вдова — никто!

Мать

Какой же муж с тобою мог ужиться?
Лихое лихо! все, что было, съела
С детьми своими,— вон они сидят!
Чтоб вам на шею злыдни понасели!

Килина

Пусть на того насядут, кто зовет их!

При этих словах она открывает дверь. Куц убегает в болото. Злыдни вскакивают и вбегают в сени. Килина с ведром в руках быстро бежит к лесному ручью, шумно черпает воду и возвращается обратно уже более спокойной походкой. Замечает у двери Мавку, которая стоит обессиленная, закрыв лицо серым покрывалом.

Килина
(останавливается и ставит ведро на землю)

Ты кто такая?.. То ли опьянела,
То ль, может быть, замерзла...
(Тормошит Мавку за плечи.)

Мавка
(через силу, словно борясь с тяжелой дремотой)

Зимний сон
Берет меня...

Килина
(открывает ее лицо и узнает ее)

Зачем сюда явилась?
Тебе не заплатили за работу?

Мавка
(так же, как и раньше)

Никто, никто мне заплатить не может.

Килина

К кому же ты пришла? Его здесь нет.
Я знаю, ты к нему! Признайся,
В любви он клялся?

Мавка
(так же)

День разгорался —
Ясный, веселый, не тот, что сейчас...
Он уж погас...

Килина

Бредишь?! Довольно!

Мавка
(так же)

Во́льна я, во́льна...
Тучка скитается в небе раздольном,
Тихая, грустная, плачет и мчится...
Где ж голубая зарница?

Килина

(хватает ее за руку)
Прочь! Не морочь меня! Чего стоишь?

Мавка
(устало, отходя от дверей)

Стою да смотрю, как счастли́во живете.

Килина

А чтоб ты засохла, как верба в болоте!

Мавка мгновенно превращается в вербу с сухой листвой и плакучими ветвями.

Килина
(опомнившись от изумления, враждебно)

Ага! Знать, в добрый час тебе сказала!
Ну-ну, теперь недолго настоишься!..

Мальчик

(выбегает из хаты. Килине)
Ой, мама, где вы? Есть нам захотелось,
А бабка не дает!

Килина

Да отвяжись ты!
(Шепотом, наклонившись к нему.)
Я там пирог припрятала за печкой,—
Как бабка выйдет, вы его и съешьте.

Мальчик

То вы сухую вербу посадили?
Зачем она?

Килина

Все знать тебе охота!

Мальчик

Я дудку вырежу из вербы.

Килина

Режь!

Мальчик срезает с вербы ветку и возвращается в хату. Из лесу выходит Лукаш, худой, с длинными волосами, без свитки, без шапки.

Килина

(радостно вскрикивает, увидев его, но тотчас же радость сменяется досадой)

Пришел, явился! Где тебя носило
Так долго?

Лукаш

Не расспрашивай...

Килина

Ну, вот!
Шатался где-то, пропадал, носился,
А где — так даже и спросить нельзя!
Ох, милый мой, и спрашивать не стоит...
Уж где-нибудь корчма нашлась, наверно,
А в ней и свитка с шапкой загуляли!

Лукаш

В корчме я не был...

Килина

Кто ж тебе поверит?
(Начинает причитать.)
Навек свою головушку сгубила
За пьяницею горьким!

Лукаш

Не скули!

Килина умолкает и со страхом смотрит на него.

Теперь тебя расспрашивать начну я!
Где старый дуб? Зачем его срубили?

Килина

(сначала смутилась, но быстро оправилась)

Что ж было делать? С голоду подохнуть?
Пришли купцы, купили и — конец!
Большое счастье — дуб!

Лукаш

Но дядя Лев
Поклялся не рубить.

Килина

Твой дядя помер.
Какой же толк теперь от этой клятвы?
А мы с тобою клятвы не давали.
Да я весь лес продать была бы рада
Иль вырубить его,— как у людей
Была бы пашня, а не чертов угол,
Где вечером и высунуться страшно!
Скажи, какая польза нам от леса?
Скитаемся, подобно вурдалакам,—
Того гляди, по-ихнему завоем!

Лукаш

Молчи! молчи! не говори!
(В голосе его слышится безумный страх.)
Ты хочешь
Продать весь лес... срубить его... тогда уж
Не будет так... как ты сказала?

Килина

Как?
Подобно вурдала...

Лукаш
(зажимает ей рот)

Молчи!

Килина
(вырвавшись)

О боже!
Ты пьян, иль сглазили тебя, быть может?
Иди-ка в хату.

Лукаш

Я пойду... сейчас...
Вот только... выпью чуточку водицы...
(Становится на колени и пьет из ведра. Потом поднимается и задумчиво смотрит перед собой, не двигаясь с места.)

Килина

Ну? Что задумался?

Лукаш

Я? Так... не знаю...
(Нерешительно.)
Никто тут не был без меня?

Килина
(жестко)

А кто же
Прийти бы мог?

Лукаш
(опустив глаза)

Не знаю.

Килина
(злобно усмехаясь)

Ты не знаешь,
Так я, быть может, знаю.

Лукаш
(встревоженно)

Ты?

Килина

А что ж?
Известно мне, кого ты ожидаешь,
Да только — нет! — напрасны ожиданья!
Была — сплыла. Знать, в дерево пошла...

Лукаш

Что ты сказала?

Килина

То, что слышал.

Мать

(выбегает из хаты и бросается обнимать Лукаша. Он холодно ее встречает)

Сын мой!..
Сыночек мой! Ой, сколько ж натерпелась
Я с этой ведьмою!

Лукаш

(содрогнувшись)

С какою?

Мать

(указывая на Килину)

С этой!

Лукаш

(с горькой усмешкой)

И эта стала ведьмой? Знать, судьба
Судила вам свекровью быть у ведьмы.
Чья ж тут вина? Ведь вы ж ее хотели.

Мать

Когда б я знала, что она такая
Неряха, никудышная...

Килина

(вмешивается в разговор)

Ой, горе!
Кто б говорил!.. Таких нерях и ведьм,
Как ты сама, еще и свет не видел!
Ну, уж и мать, мой милый, у тебя,—
Железо разгрызет.

Лукаш

А ты, я вижу,
Покрепче, позанозистей железа.

Килина

Вот от тебя и дождалась защиты!
Какая мать — такой, видать, и сын!
На что ж ты брал меня? Чтоб измываться,
Чтоб мною помыкать?

Мать
(Лукашу)

Да неужели ж
Не скажешь ей, чтоб рот она заткнула?
Я, что же, на издевку ей досталась?

Лукаш

Да дайте ж мне покой! Вы, знать, хотите,
Чтобы не только я ушел из хаты,
А чтоб и свет покинул? И покину!

Килина
(матери)

Что? Дождалась?

Мать

Чтобы тебе от сына
Дождаться так!
(Разозленная, идет в хату, на пороге встречается с сыном Килины, который выбегает со свирелью в руках.)
Уйди отсюда, злыдень!
(Толкает мальчика и входит в хату, хлопнув дверью.)

Мальчик

Уже вернулись, татку?

Лукаш

Да, мой сын.
(Слова «мой сын» он произносит с оттенком иронии.)

Килина
(злобно)

А как же называть тебя он должен?
Быть может, дядей?

Лукаш
(несколько пристыженный)

Нет... я ничего...
Поди сюда, мой маленький, не бойся.
(Гладит мальчика по белой головке.)
Ты сам свирель такую сделал?

Мальчик

Сам.
Да не умею я играть. Вот вам бы...
(Протягивает свирель Лукашу.)

Лукаш

Эх, мальчик, кончилось мое игранье!
(Грустно задумывается.)

Мальчик
(хныкая)

Вы не хотите? Мама, почему он
Не хочет поиграть мне на свирели?

Килина

Еще чего! Нужна его игра!

Лукаш

Ну, дай-ка мне свирель свою.
(Берет свирель.)
Отлична.
Из вербы сделал?

Мальчик

Да, из этой самой.
(Показывает на вербу, в которую превратилась Мавка.)

Лукаш

Я что-то раньше здесь ее не видел.
(Килине.)
Ты посадила?

Килина

Кто ее сажал!
Торчал отросток — вот он и разросся,—
Земля сырая, да к тому ж дожди!

Мальчик
(капризно)

Чего ж вы не играете?

Лукаш
(задумчиво)

Сыграть?..

(Начинает играть сначала тихо, потом громче. Переходит на ту веснянку, которую играл когда-то Мавке.)
Внезапно свирель начинает говорить человеческим голосом:

Сладко он играет,
Глубоко вздыхает,
Белу грудь мне разрывает,
Сердце вынимает...

Лукаш
(роняет свирель)

Что это за свирель? Здесь колдовство!

Мальчик, испугавшись крика, убегает в хату.

Ответь, колдунья, что это за верба?
(Хватает Килину за плечо.)

Килина

Да отвяжись! Я ничего не знаю:
С лесным отродьем дружбы не вожу,
Как весь твой род! Сруби ее, коль хочешь,—
Мне все равно. На вот, бери топор!
(Приносит из сеней топор.)

Лукаш
(взявши топор, подошел к вербе, ударил один раз по стволу. Она качнулась и зашелестела сухими листьями. Он замахнулся в другой раз, но тут же опустил руки)

Рука не поднимается чего-то,
И больно сердце сжалось...

Килина

Дай-ка я!

(Вырывает у Лукаша топор и широко замахивается на вербу.)

В это мгновение с неба огненным змеем-метеором слетает Перелесник и обнимает вербу.

Перелесник

Спасу тебя, любовь моя, спасу!

Верба сразу вспыхивает пламенем. С ее вершины пламя перекидывается на хату, загорается соломенная крыша, пожар быстро распространяется. Мать Лукаша и дети Килины выбегают из хаты с криком: «Горим! Горим! Спасайте! Ой, пожар!» Мать и Килина мечутся, выхватывая из огня все, что только можно. На мешках и узлах, вытаскиваемых из хаты, сидят, скрючившись, злыдни. После они прячутся в эти мешки и узлы. Дети носят воду и заливают огонь, но он разгорается все сильней.

Мать

(Лукашу)

Чего стоишь? Спасай свое добро!

Лукаш

(вперив глаза в стропила, охваченные пламенем)

Добро? А может, там сгорит и горе?..

Стропила с треском рушатся. Искры столбом взвиваются вверх. Потолок проваливается, и вся хата превращается в пылающий костер. Надвигается тяжелая белая туча, и начинает идти снег. Скоро белая снеговая мгла закрывает все. Никого не видно. Только багряный свет пламени указывает место пожара. Немного погодя, когда пламя гаснет и снегопад уменьшается, становится видно черное место пожарища. Оно еще дымится и трещит от влаги. Ни матери Лукаша, ни детей Килины, ни узлов с пожитками уже нет. Сквозь снег виден только недогоревший сарай, нагруженная повозка и кое-какие предметы сельскохозяйственного обихода.

Килина

(с последним узлом в руках, дергая Лукаша за рукав)

Лукаш! Лукаш!.. Ты что, остолбенел?
Хотя б помог мне выносить пожитки!

Лукаш

Да вы ж давно повынесли всех злыдней.

Килина

Молчал бы лучше! Что пустое мелешь?

Лукаш

(смеется тихим странным смехом)

Я вижу то, чего ты не увидишь...
Теперь я мудрым стал...

Килина

(со страхом)

Ой, муженек мой,
Ты говоришь такое... я боюсь!

Лукаш

Чего ж бояться? Дурня не боялась,
А мудрого боишься?

Килина

Мой Лукаш!
Уйдем скорей в село!

Лукаш

Нет, не пойду я.
Я из лесу не выйду. Здесь останусь.

Килина

Да что ж ты будешь делать?

Лукаш

Разве нужно
Мне что-то делать?

Килина

Как же будем жить мы?

Лукаш

А жить зачем?

Килина

Лукаш, побойся бога!
С ума сошел ты, или что еще,
Быть может, с перепугу приключилось.
Пойдем в село, там позовем мы бабку,
Чтобы сняла испуг.

Лукаш

(смотрит на нее с пренебрежительной усмешкой)

А кто же здесь
Остатки эти сторожить нам будет?
(Показывает на нагруженную повозку и различные разбросанные предметы.)

Килина

(озабоченно)

Ой, правда, правда,— все порастаскают!
Проведают, что был у нас пожар,
Да и нахлынут из села толпою.
Так ты уж здесь пока что оставайся.
Я побегу, в селе достану лошадь,—
Ведь наша лошадь, знаешь сам, сгорела,

Все сложим на воз, да и увезем
К твоей родне... Быть может, нас и примут...
Ой, горе! Надо как-нибудь спасаться...

Последние слова Килина произносит уже на ходу, по дороге в лес. Лукаш провожает ее тихим смехом. Скоро она исчезает. Из лесу выходит какая-то высокая женская фигура в белой длинной рубашке и в завязанном по-старинному повойнике. Она идет, шатаясь, как будто валится от ветра, иногда останавливается и низко кланяется, словно чего-то ищет. Подойдя поближе к кустам ежевики, что стоят недалеко от пожарища, она выпрямляется, и тогда становится видно ее изможденное лицо, похожее на лицо Лукаша.

Лукаш

Кто ты? Чего ты тут ходишь?

Фигура

Я несчастная Доля.
Завела меня в дебри
Неразумная воля.
И теперь, чуть живая,
По лесам я блуждаю,
К земле припадаю, где найти, не знаю,
Путь к ушедшему раю.
Позасыпаны снегом
Все тропинки глубóко...
Знать, придется мне в дебрях
Погибать одиноко!..

Лукаш

Ты сломай, моя Доля,
Хоть вон ту хворостинку,
Чтобы снег размести, чтоб себе провести
Хоть одну бы тропинку!

Доля

Здесь когда-то весною
Я ходила-гуляла,
Я цветы для приметы
По дорожкам сажала.
Ты их с корнем повырвал,
Побросал их под ноги...
Ничего теперь нет, не осталось примет,
Где искать мне дороги.

Лукаш

Разгреби, моя Доля,
Ты сугробы руками,—
Хоть единый цветочек
Отыщи под снегами.

Доля

Отморожены руки,
Трудно пальцами двинуть...
Плачу я, тоскую, вижу я и чую,
Что придется мне сгинуть.
(Со стоном падает.)

Лукаш
(протягивает к ней руки)

Ой, скажи, посоветуй,
Как прожить мне без доли!

Доля
(указывает на землю у него под ногами)

Как засохшая ветка,
Что брошена в поле!
(Уходит, шатаясь, и исчезает в снегах.)

Лукаш наклоняется над тем местом, на которое указала Доля, и находит свирель, сделанную из вербы, ту, которую он бросил; берет ее в руки и идет через белую поляну к березе. Садится под длинными ветвями, покрытыми снегом, вертит в руках свирель, иногда усмехаясь, как ребенок. Легкая белая фигура, напоминающая Мавку, появляется из-за березы и склоняется над Лукашом.

Фигура Мавки

Сыграй, сыграй, дай сердцу голос!
Оно одно осталось от меня.

Лукаш

Опять?.. Ко мне явилась ты вампиром,
Чтоб выпить кровь мою? Так пей же, пей!
(Раскрывает грудь.)
Живи моею кровью! Так и нужно
За то, что я сгубил тебя...

Мавка

Нет, милый!
Да ты ж мне душу дал, как острый нож
Дает отростку вербы тихий голос.

Лукаш

Я душу дал? А тело загубил!
Что ты теперь? Тень! Призрак! Привиденье!
(С невыразимой тоскою смотрит на нее.)

Мавка

О, не жалей мое тело!
Ясным огнем засветилось оно,
Чистым, сверкающим, словно вино,
Вольными искрами ввысь улетело.

Примет родная земля
Пепел мой легкий и вместе с водою
Вербу взрастит материнской рукою,—
Станет началом кончина моя.

Тихими стежками люди
Станут весною ко мне приходить.
Радость и горе свое приносить
И отвечать им душа моя будет.

Встречу я всех, как родных,
Шелестом листьев и ласковой тенью,
Тихою песней свирели весенней,
Теплой росою на ветках моих.

Я расскажу им, сыграю
Все, что когда-то мой милый играл,
Все, что когда-то он мне доверял,
Грезы в лесу собирая...
Милый, играй, умоляю!

Лукаш начинает играть. Вначале мотив грустный, как шум зимнего ветра, как печаль о чем-то погибшем, но незабываемом, но вскоре победная мелодия любви покрывает тоскливый напев. Вместе с песней изменилась и природа: береза шелестит кудрявой листвой, весенние звуки раздаются в зеленеющем лесу. Темный зимний день превращается в ясную лунную весеннюю ночь. Появляется Мавка в звездном венке, такая же, как вначале. Лукаш бросается к ней с возгласом счастья. Ветер сбивает с деревьев белый цвет. Этот цвет летит, летит, закрывая влюбленную пару, и дальше переходит в сильный снегопад. Когда снегопад немного уменьшается, перед глазами снова зимняя природа. Деревья засыпаны снегом. Лукаш сидит одиноко со свирелью в руках, прислонившись к березе. Глаза его закрыты, на устах застыла счастливая улыбка. Он сидит без движенья. Снег шапкой лег ему на голову, запорошил всю фигуру и падает, падает без конца...

25 июля 1911 г.

КАМЕННЫЙ ХОЗЯИН

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Командор дон Гонзаго де Мендоза.
Донна Анна.
Дон-Жуан[1].
Долорес.
Сганарель — слуга Дон-Жуана.
Дон Пабло де Альварес } отец и мать
Донна Мерседес } донны Анны.
Донна Соль.
Донна Консепсьон — грандесса.
Марикита — горничная.
Дуэнья донны Анны.
Гранды, грандессы, гости, слуги.

I

Кладбище в Севилье. Пышные мавзолеи, белые фигуры статуй, мрамор между кипарисами, много ярких тропических цветов. Больше красоты, чем печали. Донна Анна и Долорес. Анна одета в светлое, с цветком в волосах, вся в золотых украшениях. Долорес в глубоком трауре, стоит на коленях у могилы, убранной свежими венками из живых цветов.

Долорес
(встает и вытирает платком глаза)
Пойдем, Анита.

[1] Здесь имя дано во французском, а не испанском произношении: «Жуан», а не «Хуан»; такое произношение освящено вековыми традициями в мировой литературе. По той же причине дана итальянская форма слова «донна», а не испанская — «донья». *(Прим. Леси Украинки.)*

Анна
(садится на скамью под кипарисом)

Погоди, Долорес.
Тут хорошо.

Долорес
(садится рядом с Анной)

Ужель тебе мила
Могильная краса? Тебе, счастливой!

Анна

Счастливой?..

Долорес

Да, ты счастлива, Анита.
Ведь ты идешь по собственной охоте
За командора?

Анна

Кто б меня заставил?!

Долорес

И нареченного ведь ты всем сердцем,
Наверно, любишь?

Анна

Разве дон Гонзаго
Того не стоит, милая Долорес?

Долорес

Я этого не говорю. Но странно
Ты отвечаешь на мои вопросы.

Анна

Ты ставишь необычные вопросы.

Долорес

Ну, что тут необычного, Анита?
Ведь мы с тобою верные подруги,
И ты могла бы мне сказать всю правду.

Анна

Сначала покажи пример, Долорес.
Ведь у меня нет тайны от тебя,
А у тебя их много.

Долорес

Много тайн?

Анна
(смеется)

Ну что, признайся, разве ни одной?
Нет, дай я загляну в твои глаза.
(Заглядывает ей в глаза и смеется.)

Долорес
(со слезами в голосе)

Не мучь меня, Анита!

Анна

Даже слезы!
О господи, здесь подлинные страсти!

Долорес закрывает лицо руками.

Довольно же! Прости!
(Берет в руки серебряный медальон, висящий на черном шнурке на груди у Долорес.)
А это что?
Что в этом медальоне? Тут, наверно,
Портрет твоих родителей покойных?
(Раскрывает медальон раньше, чем Долорес успевает схватить ее за руку.)
Кто он такой, прекрасный этот рыцарь?

Долорес

Он... мой жених.

Анна

Жених? А я не знала,
Что ты невеста, милая Долорес.
Что ж никогда я вас не вижу вместе?

Долорес

И не увидишь.

Анна

Почему? Он умер?

Долорес

Нет, жив.

Анна

Он изменил тебе, Долорес?

Долорес

Он мне ни в чем не изменял.

Анна

(нетерпеливо)

Довольно
С меня загадок. Скрытничай, коль хочешь.
Я не люблю вторгаться в душу силой.
(Хочет встать.)

Долорес удерживает ее за руку.

Долорес

Сядь, Анна, рядом. Разве ты не знаешь,
Как трудно сдвинуть каменную глыбу?
(Кладет руку на сердце.)
А у меня лежит на сердце камень,
Такой тяжелый... так давно... что, право,
Он вытеснил из сердца все стремленья
И все желанья, кроме одного.
Ты думаешь, я плачу по моим
Умершим близким? Нет, моя Анита,
То камень выдавил из сердца слезы...

Анна

Так ты давно невеста?

Долорес

От рожденья.
Иль раньше? Наши матери — подруги.
Они еще тогда нас обручили,
Когда рожденья ждали моего.

Анна

Как это неразумно!

Долорес

Нет, Анита.
То, верно, воля неба, чтобы я
Его своим по праву называла,
Хотя он и не мой.

Анна

Да кто же он?
Как странно мне, что я его не знаю.

Долорес

Он — Дон-Жуан.

Анна

Какой? Ужели тот?..

Долорес

Да, тот, тот самый. Кто еще другой
Из сотен тысяч всяческих Жуанов
Так просто может зваться «Дон-Жуан»,
Без титула и без других отличий?

Анна

Теперь я понимаю... Впрочем, как же?
Ведь много лет, как нет его в Севилье...
Ведь изгнан он?

Долорес

Я видела его
В последний раз, как в Кадиксе мы были.
Скрывался Дон-Жуан тогда в пещерах,
Жил контрабандой... И порою плавал
С пиратами... Тогда одна цыганка
Покинула свой табор и бежала
С ним за море и где-то там исчезла.
А он вернулся в Кадикс и привез
Какую-то алжирскую пиратку.
Пиратка эта отравила брата
Из-за Жуана... А потом пошла
В монахини.

Анна

Все это точно сказка.

Долорес

Однако это правда.

Анна

А за что
Его изгнали? Что-то я слыхала
Неясное...

Долорес

Он, будучи пажом,
На поединок вызвал принца крови
Из-за инфанты.

Анна

А инфанта эта
Его любила?

Долорес

Говорят. Но я
Не верю.

Анна

Почему?

Долорес

Когда б любила,
То для него покинула б Мадрид
И королевский двор.

Анна

Легко ли это?!

Долорес

Любви не надо легкого пути.
Ведь стала же толедская еврейка,
Дочь старого раввина, для Жуана
Отступницей.

Анна

А после?

Долорес

Утопилась.

Анна

Он, право, странен, нареченный твой.
И вкус его, признаться, тоже странен...
Цыганка, басурманка и еврейка.

Долорес

Ты забываешь про инфанту!

Анна

Ну,
С инфантою еще неясно дело!

Долорес

Однако он в изгнание бежал
С благочестивой, гордой аббатисой.
Сам инквизитор — дед ее.

Анна

Да что ты?

Долорес

И после аббатиса та держала
Таверну для контрабандистов.

Анна
(смеется)

Ах,
Он не без юмора, твой Дон-Жуан!..
А ты как будто этим всем гордишься,
Своих соперниц помнишь, как трофеи,
Что жениху достались на турнире.

Долорес

Я горько им завидую, Анита.
Зачем я не цыганка, не могу
Отречься от свободы для Жуана?

Зачем я не еврейка? Я бы веру
Втоптала в прах, чтобы ему служить!
Корона — дар ничтожный! Я бы, Анна,
Родных бы для него не пожалела...

Анна

Долорес, бойся бога!

Долорес

Ах, Анита,
Завидую я этой аббатисе,
Что отдала спасение души,
Что отреклась от рая для Жуана!
(Сжимает руки Анны.)
О, этой страшной зависти и боли
Тебе вовек, Анита, не понять.

Анна

А я бы не завидовала им,
Покинутым, несчастным... Ах, прости,
Забыла я,— он и тебя покинул!

Долорес

Меня он не покинет никогда!

Анна

Опять загадки! Почему, Долорес?

Долорес

Ходила я к Жуану в ту пещеру,
Где он скрывался...

Анна
(с горячим интересом)

Ну и что же, что же?

Долорес

Лежал он раненый. Жену алькальда
Хотел украсть и увезти. Алькальд
Жену убил, а Дон-Жуана ранил...

Анна

Но как же добралась ты до него?

Долорес

Теперь уж я сама не понимаю...
Все было как в горячечном бреду...
Ходила я за ним, носила воду,
Запекшиеся раны обмывала,
И выходила...

Анна

Ну, а дальше что?
Иль это все?

Долорес

И это все. Он встал,
Здоров и цел, а я домой вернулась.

Анна

Такой же, как была?

Долорес

Такой же, Анна,
Как от причастия. И ты не думай,
Что он добился моего согласья.
О, никогда!

Анна

Но ты, Долорес, любишь
Его безумно.

Долорес

Это не безумье!
Таится в сердце у меня любовь,
Как будто кровь таинственная в чаше
Святого Грааля. Да, невеста я.
И чистоты моей не замарает
Никто на свете, даже Дон-Жуан.
Он это знает.

Анна

Как?

Долорес

Душою знает.

Конечно, он ко мне питает чувство,
Но только это чувство — не любовь,
Ему названья нету... На прощанье
Он перстень снял с руки моей и молвил:
«О, благороднейшая сеньорита,
Когда вас будут мною попрекать,
Ответьте им, что я жених ваш верный,
Я перстнями с другой не обменяюсь
Уже вовек, даю вам слово чести».

Анна

Он так сказал? Быть может, это значит,
Что он одну тебя на свете любит?

Долорес
(грустно качает головой)

Лукавым словом сердца не обманешь...
Меня с любимым лишь мечта связала.
Такими обрученными, как мы,
Пристало быть на небе райским духам,
А тут — какое адское страданье!
Ты не поймешь. Ведь у тебя, Анита,
Сбываются все сны и все мечты...

Анна

«Все сны и все мечты...» Да так ли это?

Долорес

Чего ж еще тебе недостает?
Есть у тебя любовь, богатство, юность
И скоро будет честь и уваженье,
Пристойное супруге командора.

Анна
(засмеявшись, встает)

Но где же тут «все сны и все мечты»?

Долорес
(со слабой усмешкой)

Они тебе уж не нужны, пожалуй.

Обе девушки прогуливаются между памятниками.

Анна

Кто может без мечтаний жить, Долорес?
Одну мечту я с детства сохранила.
Она, наверно, выросла из сказок,
Что бабушка рассказывала в детстве.
Я так любила их...

Долорес

О чем мечта?

Анна

Да так, причуды!.. Вижу, как в тумане,
Я неприступную, крутую гору,
На той горе суровый, крепкий замок —
Орлиное гнездо... И в этом замке
Принцесса молодая... И не может
Никто добраться до ее покоев
По страшной круче... Рыцари и кони,
Срываясь, разбиваются, и кровь
Багровыми ручьями омывает
Подножье...

Долорес

О, жестокая мечта!

Анна

В мечтах все можно. А потом, Долорес...

Долорес
(перебивает)

Потом один герой достиг вершины,
Добился он руки и сердца девы...
Сбываются уже твои мечтанья:
Прекрасная принцесса — ты, Анита,
А рыцари разбившиеся, верно,
Те женихи, которых ты отвергла,
А тот счастливый рыцарь — дон Гонзаго.

Анна
(смеется)

Нет, командор мой — он сама гора,
А рыцаря счастливого как будто
И нет на свете...

Д о л о р е с

Это даже лучше.
Ну, что ты можешь рыцарю вручить
В награду?

А н н а

Приготовлю лимонад
Для прохлажденья!
(Замолкает. Меняет тон.)
Посмотри, Долорес,
Как странно свет мерцает в этом склепе...
То ярче, то слабее. Видишь?.. Видишь?..
Там кто-то есть.

Д о л о р е с

Да нет же, это мыши
Летучие вокруг лампады вьются.

А н н а

Постой, я загляну туда, Долорес.
(Заглядывает в решетчатые двери склепа, хватает Долорес за руку и указывает внутрь склепа. Шепотом.)
Смотри — там вор. Я тотчас кликну стражу...
(Бросается бежать.)

В эту минуту раскрываются двери склепа. Долорес вскрикивает и опускается без чувства на скамью.

Д о н - Ж у а н
(выходя из гробницы, к Анне)

Прошу вас, сеньорита, не бегите
И не пугайтесь, я совсем не вор.

Анна возвращается и наклоняется над Долорес.

Д о л о р е с
(очнувшись, стискивает ей руку)

Он, Анна, он!.. В своем ли я уме?

А н н а

Вы Дон-Жуан?

Дон-Жуан
(кланяясь)

К услугам вашим, донна.

Долорес

Как вы сюда попали?

Дон-Жуан

На коне,
Потом пешком.

Долорес

О боже мой, он шутит!
Вы головой рискуете своею!

Дон-Жуан

Впервые слышу я, чтобы ценилось
Во мне не сердце, полное до края,
А голова, в которой, сеньорита,
Хоть мысли есть, да небольшого веса.

Анна

А что тяжелого есть в вашем сердце?

Дон-Жуан

О сеньорита, пусть узнает это
Лишь та, что сможет взять его в ладони.

Анна

Так ваше сердце взвешено не раз.

Дон-Жуан

Вы думаете?

Долорес

Прячьтесь! Вы погибли,
Коль вас увидят!

Дон-Жуан

Если уж теперь,
Прекрасных глаз выдерживая взгляды,
Я не погиб, то где ж моя погибель?

Анна улыбается. Долорес опускает на лицо черную вуаль и отворачивается.

Анна
(махнув рукой)

Ступайте уж назад в свое жилище!

Дон-Жуан

О, только ручка женская одна
Беспечно может посылать в могилу.

Долорес
(снова поворачиваясь к Дон-Жуану)

Ужели вы живете в этом склепе?

Дон-Жуан

Как вам сказать? Я должен тут прожить
Лишь день один да ночь — с меня довольно.
Здесь, при дворе могильном, этикет
Суровее, чем при дворе кастильском,
А я и там, при всем своем усердье,
Всех церемоний выдержать не мог,
Так где уж тут!

Анна

Куда же вы отсюда?

Дон-Жуан

И сам еще не знаю.

Долорес

Дон-Жуан,
Здесь есть тайник под церковью, вы спрячьтесь.

Дон-Жуан

О, вряд ли веселее там, чем здесь.

Долорес

А вам бы все веселье!

Дон-Жуан

Почему же
Не веселиться?

Анна

Ну, а если б кто
На маскарад позвал вас — вы пошли бы?

Дон-Жуан

С великой радостью.

Анна

Тогда, прошу вас,
Сегодня ночью в нашем доме бал
Дает отец мой Пабло де Альварес,
Последний бал перед моею свадьбой.
Все будут в масках, кроме стариков,
Родителей, меня и жениха.

Дон-Жуан
(Долорес)

Вы будете, надеюсь, сеньорита?

Долорес

Как видите, я в трауре, сеньор.
(Отходит в сторону.)

Дон-Жуан

Я траура совсем не признаю
И ваше приглашенье принимаю.
(Кланяется.)

Анна

Какой у вас костюм?

Дон-Жуан

Еще не знаю.

Анна

Жалею. Я б хотела вас узнать.

Дон-Жуан

Узнаете по голосу.

Анна

Ужели
Я голос ваш запомню с первой встречи?

Дон-Жуан

Тогда по перстню, что ношу на пальце.
(Показывает перстень на мизинце.)

Анна

Он постоянно с вами?

Дон-Жуан

Постоянно.

Анна

Вы так верны?

Дон-Жуан

Так верен, сеньорита.

Долорес
(выходя из боковой аллеи)

Сюда идут! Я вижу, дон Гонзаго!

Дон-Жуан скрывается в склепе. Анна идет навстречу Командору.

Командор
(медленно приближается; он не очень молод, важен и сдержан, с большим достоинством носит белый командорский плащ)

Вы тут одни? А где ж дуэньи ваши?

Анна

Они в соборе. Милая Долорес
Не любит лишних глаз, когда бывает
На дорогих могилах!

Командор
(сдержанно кивая Долорес)

Понимаю.
(Анне.)
А я искал вас, дорогая Анна,
Затем, чтобы спросить, в каком наряде
Вы будете сегодня на балу.

Анна

Я буду в белом. А зачем вам это?

Командор

Так, некоторые соображенья...

Анна

Меня узнаете в любом наряде.
Я не надену маски.

Командор

Превосходно.
Я даже и представить не хотел,
Что будете вы в маске.

Анна

Почему же
Вы мне о том ни слова не сказали?

Командор

Я вашу волю не хотел стеснять.

Долорес

Как странно слышать мне, что нареченный
Стеснять боится малым принужденьем
Желанья той, которую так скоро
С собою свяжет узами навек.

Командор

Ее свяжу не я: закон и небо.
Я сам ее свободнее не буду.

Долорес

Мужчины так не часто говорят,
А говорят — так редко держат слово.

Командор

Теперь я понимаю, сеньорита,
Зачем не вышли замуж вы доныне.
Без веры в брак не следует вступать.

Анна

А все ль питают веру?

Командор

Донна Анна,

Когда б я вам или себе не верил,
Я б тотчас возвратил вам ваше слово,
Пока не поздно. А когда дадим мы
Великий тот обет...

Анна

Мне стало страшно!

Командор

Любви глубокой не страшны обеты.
Ужель вам страшно, Анна?

Анна

Это шутка.
(К Долорес.)
Ведь я тебе сказала: он — гора!

Командор

Вы шутите? Вы веселы сегодня.

Анна

А почему бы мне не веселиться,
Когда на вас падеяться могу я
Не меньше, чем на каменную гору!
Не правда ли?

Командор
(подает Анне руку, чтобы вести ее. Анна принимает)

Надеюсь, донна Анна,
И постараюсь доказать вам жизнью,
Что вы не ошибаетесь.

Идут. Долорес немного позади.

Анна
(неожиданно громко обращается к Долорес)

А знаешь,
Он на портрете мне казался лучше,
Чем в жизни.

Долорес испуганно, молча глядит на Анну.

Командор

Кто это?

Анна

Жених Долорес.

Командор

Кто он такой?

Анна

Покуда это тайна.
Он будет на балу у нас сегодня.

Все трое уходят.

Сганарель
(слуга Дон-Жуана; выходит, оглядывается, приближается к склепу)

Эй, господин!

Дон-Жуан
(выходит)

Как? Ты уже вернулся?

Сганарель

Привет от донны Соль. Она не хочет,
Чтоб к ней вы шли. Она молвы боится.
У ней дуэнья старая и злая.
Она решила вырваться из дому,
Прийти сюда одна...

Дон-Жуан

Уже? Так быстро?

Сганарель

Вы словно недовольны?

Дон-Жуан
(не слушая его)

Раздобудь
Мне где-нибудь костюм для маскарада,
Да понарядней.

Сганарель

Как же вы узнали,
Что будет донна Соль на маскараде
У молодой невесты Командора?
Вы, значит, там с ней встретиться решили,
Чтоб взять сюда?

Дон-Жуан
(занятый другими мыслями)

Кого?

Сганарель

Да донну Соль!
Кого ж еще? Иль не из-за нее
Сюда мы прискакали?

Дон-Жуан

Я не знаю.
Посмотрим.

Сганарель

Ну, а если вы, сеньор,
Идя на маскарад, с ней разминетесь?
Она придет и не застанет вас,
То что тогда велите делать с нею?

Дон-Жуан

Ступай в таверну, а ее пошли
Обратно к мужу.

Сганарель

Ах, сеньор, сеньор!
Я выказал бы больше благородства,
Будь господином — я, а вы — слугой.

Уходит. Дон-Жуан скрывается в склепе.

II

Внутренний дворик (patio) в доме сеньора Пабло де Альварес в мавританском стиле, засаженный цветами, кустами и невысокими деревьями, окруженный строениями с галереей под аркадами, расширенной выступом крыльца и лоджией (глубокой нишей); кровля галереи — плоская, с балюстрадой, как восточная крыша, расширенная в середине так же, как и галерея внизу; на оба этажа галереи ведут из двори-

ка отдельные лестницы, широкие и низкие — вниз, высокие и узенькие — вверх. Дом и галерея ярко освещены. Внутри дворика света нет. На переднем плане беседка, заросшая виноградом. Дон Пабло и донна Мерседес — отец и мать Анны — разговаривают с Командором во дворике. Наверху по галерее прогуливаются несколько гостей, их еще не много — с ними донна Анна.

Командор

Могу ли попросить я донну Анну
Спуститься на минуту к нам сюда?

Донна Мерседес

Спустись, Анита, к нам! Здесь дон Гонзаго!

Анна
(наклоняясь через балюстраду, глядя вниз)

А вам так трудно к нам наверх подняться?
Иль вверх всходить горе не подобает?
(Смеясь, сбегает по лестнице во дворик.)

Донна Мерседес

Анита, ты смеешься слишком громко.

Дон Пабло

И шутки мне не нравятся твои.
Обязана ты помнить...

Командор

Не браните
Сегодня молодую сеньориту
За то, что даже близкое венчанье
Веселости девичьей не смутило.
Я привыкаю к шуткам донны Анны.

Донна Мерседес

Пожалуй, нам пора к гостям подняться.

Командор

Побудьте здесь. В Кастилии у нас
Не принято, чтобы жених с невестой
Наедине до свадьбы оставались.
Но я не задержу вас, донна Анна.

Примите этот маленький подарок
В знак искренней любви и уваженья.
(Вынимает из-под плаща дорогой жемчужный головной убор и склоняется перед Анной.)

Донна Мерседес

Какие жемчуга!

Дон Пабло

О Командор!
Не слишком ли подарок этот дорог?

Командор

Для донны Анны?!

Анна

Вот вы для чего
Меня спросили утром о наряде!

Командор

Быть может, неудачен выбор мой.
Но мне казалось — к белому наряду
Подходит белый жемчуг...

Анна

Дон Гонзаго,
Вы быть хотите полным совершенством,
А это слишком, это угнетает.

Донна Мерседес
(тихо толкая Анну)

Опомнись, Анна! Поблагодари!

Анна молча отвешивает Командору глубокий церемонный поклон.

Командор
(подымает диадему над ее головой)

Так разрешите возложить мой жемчуг
На эту непокорную головку,
Склоненную впервые предо мною.

Анна
(сразу поднимая голову)

А разве вам иначе не достать?

Командор
(надевая диадему на голову Анны)

Как видите, достал.

Дворик наполняется толпой нарядных гостей в масках и без масок; одни спустились с верхней галереи, а другие вошли через входные ворота. Между теми, которые вошли в ворота, маска в черном, очень широком домино, лицо тщательно закрыто маской.

Голоса из толпы гостей
(которые спустились с галереи)

Где наш хозяин?
Хозяйка где?

Дон Пабло

Здесь, дорогие гости.

Донна Мерседес
(к вновь прибывшим)

Толпа гостей нарядных, благородных
Наш дом украсит.

Пожилая гостья
(из вновь прибывших, другой шепотом)

Верно, уж смекнула,
И сколько нас, и сколько будет стоить...

Вторая гостья
(тоже шепотом к первой)

Да, Мерседес в подсчетах не замедлит,
Скорей замешкает в гостеприимстве...

Гостья-девушка
(здороваясь с Анной)

Анита, как же ты нарядна нынче!
(Тише.)
Но только в белом ты бледна немного.

Анна

О, ничего, теперь такая мода.
(Еще тише.)
Могу я одолжить тебе белила,
А то твой лоб, пожалуй, слишком красен.

Девушка

Спасибо, не хочу.
(Отворачивается и начинает поправлять маску и волосы так, чтобы закрыть лоб.)

Молодая дама
(тихо, указывая глазами на Анну)

Какой убор!

Другая молодая дама
(с иронией)

Единственная радость бедной Анны!..

Старый гость
(дону Пабло)

Ну что, дон Пабло, вас теперь, наверно,
Его величество к себе приблизит,—
Такого зятя тесть вы...

Дон Пабло

Наш король
Не по зятьям, а по заслугам ценит.

Старый гость

Порой мы слишком долго ждем оценки.

Дон Пабло

Ну, это вам, пожалуй, лучше знать.
(Поворачивается к другому гостю.)
Вы, граф? Как счастлив я! Какая честь!

Хозяин, хозяйка, Командор и гости идут в дом по широкой лестнице. Маска «Черное домино» остается во дворике, незаметно отступая в тень кустов. Анна с молодыми дамами появляется на верхнем крыльце. Слуги разносят лимонад и другие прохладительные напитки.

Дон-Жуан
(в мавританском костюме, в маске, с гитарой появляется во дворике, останавливается против галереи и поет)

У меня в краю родимом
Есть одна гора крутая,
И сверкает на вершине
Диамантовый дворец.
Горе мое, Анна!

В том дворце в хрустальном зале
Чудо-роза распустилась,
На атласных лепесточках
Не роса, а жемчуга.
Горе мое, Анна!
И на ту крутую гору
Нет ни лестниц, ни тропинок.
Во дворце из диамантов
Ни дверей, ни окон нет.
Горе мое, Анна!
Но кому-то и не надо
Ни ступенек, ни тропинки,—
С неба спустится он к розе
На живых крылах любви.
Счастье мое, Анна!

Во время песни «Черное домино» слегка выступает из кустов, в конце песни снова скрывается.

Командор

(выходит на верхнее крыльцо к концу песни)

Что это тут за песни, донна Анна?

Анна

Не знаю, мавританские, должно быть.

Командор

Я спрашиваю не о том.

Анна

О чем же?

(Не дождавшись ответа, берет у слуги стакан лимонаду и спускается к Дон-Жуану. Подает ему лимонад.)

Угодно ли вам жажду утолить?

Дон-Жуан

Благодарю. Не пью я лимонада.

Анна бросает стакан в кусты.

Командор
(идя следом за Анной)

По вкусу ли вам песня, донна Анна?

Анна

А вам?

Командор

Признаться, вовсе не по вкусу.

Дон-Жуан

Жалею, что не угодил сеньору.
Мне думалось, счастливым обрученным
Приятна будет песня о любви.

Командор

Припев у вашей песни неуместный.

Дон-Жуан

Его, увы, не мог я опустить,—
Ведь эта песня в мавританском стиле.

Анна

А вы к костюму подобрали песню?

С галереи спускается толпа молодежи; заметив Анну, окружает ее.

Голос из толпы

О донна Анна, донна Анна, просим
Поласковее быть в последний вечер
Девической несвязанной свободы!

Анна

Чем, господа, могу я вам служить?

Первый рыцарь

Мы просим, чтоб вы сами указали,
С кем танцевать желаете сегодня.

Анна

Чтоб я сама просила?

Второй рыцарь

Не просите,—
Приказывать вы можете, мы будем
Рабами в этот вечер!

Анна

Хорошо,
Что только в этот вечер. Я не знаю,
Что вам на это скажут ваши дамы.
Иль, может, вас от них спасают маски?

Третий рыцарь
(срывая маску)

Все звезды меркнут перед солнцем!

Анна

Верно.
Ваш комплимент без маски обойдется.
Он слишком стар для этого, пожалуй.

Рыцарь снова надевает маску и скрывается в толпе.

Анна
(к молодежи)

Что ж, станьте в ряд, я буду назначать!

Все встают в ряд. Дон-Жуан тоже.

Командор
(тихо, Анне)

Что это, местный ваш обычай?

Анна

Да.

Командор

Мне тоже стать?

Анна

Не надо.

Командор отходит в сторону.

Кавалеры,
Готовы ль вы?
(Дон-Жуану.)
Зачем же вы, поклонник
Изменчивой планеты, тоже стали?
Ведь вам обычай запрещает танцы?

Дон-Жуан

Для необычной я забыл обычай.

Анна

За это я даю вам первый танец.

Дон-Жуан кланяется по-восточному: прикладывает правую руку к сердцу, к губам и ко лбу, потом складывает руки накрест на груди и склоняет голову. При этих движениях на мизинце его блестит золотой перстень.

Дон-Жуан

Один?

Анна

Один. Второго вам не будет.
(Обращается к остальным рыцарям.)
А вам, сеньоры, дам я знак рукою.
Пусть каждый помнит очередь свою.
(Быстро показывает рукою на каждого кавалера по очереди. Один кавалер остается неуказанным.)

Последний кавалер

А как же я? Когда же мой черед?

Один из толпы

Вы будете последним, очевидно.

Смех. Кавалер стоит смущенный.

Анна
(последнему)

Со мной танцует первым мусульманин
Лишь потому, что в светлом царстве божьем,
По-видимому, будет он последним.

А вы, сеньор, я думаю, католик,
И вам не страшно танцевать последним.

Последний кавалер

Впервые в жизни я хочу быть мавром!

Дон-Жуан

Не в очередь попал ваш комплимент,—
Вам, видно, суждено души спасенье!

Анна
(хлопает в ладоши)

Мои рабы! Довольно! Время танцев!

Первая поднимается наверх, за ней молодежь. Со второго этажа гремит музыка. Начинаются танцы, которые распространяются на оба этажа галереи. Донна Анна идет в первой паре с Дон-Жуаном, потом ее перехватывают по очереди и другие кавалеры. Командор стоит в углу ниши, прислонившись к выступу стены, и смотрит на танцы. «Черное домино» следит снизу и незаметно для себя выходит в освещенное место перед крыльцом. Дон-Жуан, окончив танец, склоняется через перила, замечает «Черное домино» и сходит вниз. «Черное домино» в это время поспешно скрывается в тень.

Маска подсолнечник
(подходит сбоку и хватает Дон-Жуана за руку)

Ты Дон-Жуан! Я знаю!

Дон-Жуан

Я хотел бы
Знать так же верно, кто под этой маской.

Маска подсолнечник

Ты знаешь хорошо! Я донна Соль!
(Срывает с себя маску.)

Дон-Жуан

Простите, но в подсолнечнике трудно
Узнать большое солнце [1].

Донна Соль

Ты смеешься?
Ты мало надо мною насмеялся?

[1] Игра слов: имя донны Соль означает по-испански «солнце».

Дон-Жуан

Когда же? Где?

Донна Соль
(запальчиво)

Я с кладбища иду.

Дон-Жуан

Кто видел вас?

Донна Соль

Еще недоставало!
Никто, конечно.

Дон-Жуан

Ну, так в чем же дело?
Как будто встретиться на маскараде
Не веселее, чем среди могил?

Донна Соль
(шарит рукой за поясом)

О, я забыла дома свой кинжал!

Дон-Жуан
(с поклоном подает ей свой стилет)

Прошу, сеньора.

Донна Соль
(отталкивает его руку)

Прочь!

Дон-Жуан
(пряча кинжал)

Не понимаю!
Чего же хочет милая сеньора?

Донна Соль

Не знаете?

Дон-Жуан

Нет, признаюсь, не знаю.

Донна Соль

Вы помните, что вы мне написали?

Дон-Жуан

Я вам писал, сеньора: «Бросьте мужа,
Коль он вам ненавистен, и бегите».

Донна Соль

С кем?

Дон-Жуан

Разве непременно нужен спутник?
Ну что же, я могу вас проводить.

Донна Соль

Куда?

Дон-Жуан

До Кадикса.

Донна Соль

Зачем?

Дон-Жуан

Не понимаю!
Ужели мало вырваться на волю?

Донна Соль

Так вы затем назначили свиданье,
Чтоб это мне сказать?

Дон-Жуан

А для чего же
Вы на свиданье шли? Иль вы хотели
Лишь подсластить немного горький ужин
Супружеских обязанностей? Право,
Я сладких блюд готовить не учился.

Донна Соль

(направляясь к ступенькам крыльца)

Вы мне еще заплатите за это!

Черное домино

(выходя на свет, преграждает путь донне Соль. Неестественно измененным голосом)

Твой муж тебе позволил плату брать?

Донна Соль вскрикивает и стрелой выбегает за ворота. «Черное домино» хочет скрыться в тень, но Дон-Жуан преграждает ему путь.

Дон-Жуан

Ты кто такая, маска?

Черное домино

Тень твоя.

(Стремительно убегает от Дон-Жуана, прячась за кустами, вбегает в беседку и стоит там, притаившись.)

Дон-Жуан, потеряв из виду «Черное домино», направляется в поисках его в другую сторону. На верхнем выступе галереи донна Анна танцует сегидилью.

Первый рыцарь
(когда Анна окончила танец)

Сейчас вы танцевали, донна Анна,
По рыцарским сердцам.

Анна

Да неужели?
Я думала, что по полу танцую.
Иль так сердца у рыцарей тверды?

Второй рыцарь
(подходит к Анне и кланяется, приглашая ее танцевать)

Теперь со мной.

Анна
(складывая ладони)

Помилуйте, сеньор.

Второй рыцарь

Я подожду. Но очередь за мною?

Анна

О да, сеньор...

(Смешавшись с толпой гостей, исчезает из виду. Появляется снова на узенькой лестнице, спускается во дворик и направляется к беседке. «Черное домино» поспешно, но бесшумно выбегает оттуда и прячется в кусты. Анна в изнеможении падает на широкую скамью, стоящую в беседке.)

Дон-Жуан
(приближаясь к Анне)

Вы здесь одна? Вам дурно, сеньорита?

Анна
(садится прямее)

Нет, я устала.

Дон-Жуан

На гору взбираться?

Анна

Признаться вам, всего сильней устала
Я нынче от бесчисленных острот.

Дон-Жуан

Я не острил.

Анна

Но что ж еще?

Дон-Жуан

Я думал
О том, что заставляет сеньориту
Стремиться так в нагорную темницу?

Анна

В темницу? Мне казалось, просто в замок,
А замки на горе стоят обычно.
Величественней там и неприступней.

Дон-Жуан

Я очень уважаю неприступность,
Когда основа у нее не камень,
А что-нибудь живое.

Анна

На живом
Не долго устоишь, устанешь скоро.
Нет, властная и гордая душа
Жить может только на горе высокой.

Дон-Жуан

Нет, донна Анна, там не будет воли.
С вершины горной видны человеку
Свободные просторы, только сам он
Навек привязан к узкому пространству.
Неверный шаг — и он сорвется в пропасть.

Анна
(задумчиво)

Так где же в мире нам искать свободу?..
Ужель она в такой судьбе, как ваша?
Вы меж людьми живете диким зверем,
Затравленным охотниками в поле.
Лишь маска вас спасает.

Дон-Жуан

Между нами
Взаимная охота, сеньорита.
А маска — лишь охотничья уловка.
Сейчас ее не будет.
(Срывает маску.)
Донна Анна,
Поверьте мне, лишь тот свободен в мире,
Кого отвергло общество. В изгнанье
Я лишь обрел желанную свободу.
Видали вы людей, идущих смело
За верным зовом собственного сердца,
Не думая о том, что скажут люди?
Смотрите, я таков. И потому-то
Мир никогда не будет мне темницей.
Я легкою фелукой пролетаю
В морских просторах. Перелетной птицей
На берега далекие лечу
И узнаю манящие красоты
Чужих краев, неведомых доныне.
В лучах свободы все края прекрасны,
Все рощи представляются Эдемом,
Все воды отражают небеса!

Анна
(тихо)

Да... это жизнь!

Пауза. Наверху снова музыка и танцы.

Дон-Жуан

Как странно! Снова танцы...

Анна

Что ж странного тут?

Дон-Жуан

Если умирает
Больной и старый, все вокруг рыдают.
А тут хоронят юную свободу,
А все танцуют...

Анна

Разве вы, сеньор мой,
Не танцевали?

Дон-Жуан

О, когда б вы знали,
Что думал я тогда!

Анна

А что?

Дон-Жуан

Я думал:
«Когда б, не выпуская из объятий,
Домчать ее на лошади горячей
До Кадикса!»

Анна
(встает)

Однако слишком много
Вы позволяете себе, сеньор!

Дон-Жуан

Ужели так нужны вам, донна Анна,
Ничтожные законы этикета,
Расшатанная изгородь, которой
Окружено достоинство сеньоры?
О донна Анна, никогда я силой
Не посягну на вашу честь, не бойтесь.
Не тем я страшен женщинам.

Анна
(снова опускается на скамью)

Сеньор,
Я не боюсь вас.

Дон-Жуан

Я впервые слышу
Такую речь из женских уст. Быть может,
В себе вы этим будите отвагу?

Анна

Моя отвага мне не изменяла
Еще ни разу в жизни.

Дон-Жуан

И сейчас
Вы в ней уверены?

Анна

Как никогда!

Дон-Жуан

Скажите мне всю правду, донна Анна,
Знавали ль вы хотя бы миг свободы?

Анна

Во сне.

Дон-Жуан

И в грезах?

Анна

Да, в мечтах чудесных.

Дон-Жуан

Что ж вам мешает гордую мечту
Осуществить? Ведь только за порог
Переступить — и целый мир широкий
Откроется для вас! Я вам готов
И в счастье и в несчастье быть опорой,
Быть другом вам, хотя б вы даже сердце,
Жестокая, передо мной замкнули.
Всего дороже для меня — спасти

Ваш гордый, вольный дух! О донна Анна,
Я вас искал так долго!

Анна

Вы искали?
Ведь вы меня не знали до сих пор!

Дон-Жуан

О, я не знал лишь вашего лица
И как зоветесь вы. Но я искал
По разным странам, в разных женских лицах,
Хотя бы отблеск ясного сиянья,
Пылающего в вашем гордом взоре,
И если нам не суждено быть вместе,
То, значит, в мире, сотворенном богом,
Нет правды, справедливости и смысла!

Анна

Молчите! Не дурманьте разум мой
Горячей речью. Дон-Жуан, мне хватит
Отваги и решительности твердой,
Чтоб вместе с вами выйти в мир широкий.

Дон-Жуан

(вскакивает и протягивает Анне руку)

Идемте!

Анна

Нет. Одной отваги мало.

Дон-Жуан

Что ж держит вас? Ужели этот жемчуг?
Колечко это, может быть?

Анна

Нисколько!

(Снимает жемчуга с головы, кладет их на скамью. Снимает с пальца обручальное кольцо и держит его на протянутой ладони.)

Сюда же положите этот перстень.

(Показывает на кольцо Дон-Жуана.)

Дон-Жуан

Зачем он вам?

Анна

Не бойтесь, не надену.
В Гвадалквивир хочу швырнуть все это,
Когда мы будем мост переезжать!

Дон-Жуан

Нет, перстня я отдать вам не могу.
Просите, что хотите...

Анна

Я не стану
Вас ни о чем просить. Хотелось мне
Проверить лишь на деле, есть ли в мире
Хотя б один свободный человек,
Иль это только «мавританский стиль»
И жалко вам во имя вашей воли
Пожертвовать несчастным этим перстнем.

Дон-Жуан

Всю жизнь мою берите!

Анна

(снова протягивает руку)

Перстень!

Дон-Жуан

Анна!
Что в перстне этом! Он — не знак любви.

Анна

А что ж? Кольцо из цепи? Дон-Жуан,
И вам не стыдно в этом признаваться?

Дон-Жуан

Я слово чести дал его носить.

Анна

Ах, слово чести?

(Встает.)

Что ж, спасибо, сударь,—
Вы мне напомнили об этом слове.

(Надевает снова жемчуга и кольцо и порывается отойти.)

Дон-Жуан
(падая на колени)

Я умоляю, донна Анна!

Анна
(возмущенно)

Будет!
Что это за комедия! Вставайте!
(Оборачивается и видит приближающегося к беседке Командора.)
Прошу вас, дон Гонзаго, проводите
Меня на галерею.

Командор

Донна Анна,
Скажите имя этого сеньора.

Анна

Жених Долорес, вот кто этот рыцарь,
Иначе он не смеет называться.

Дон-Жуан

Но у меня есть имя — Дон-Жуан.
Испании знакомо это имя!

Командор

Вы тот преступник изгнанный, лишенный
По королевской воле привилегий,
Лишенный чести? Как же вы посмели
Сюда явиться, в честный дом?

Дон-Жуан

Права
Король дает, король и отнимает.
А честь моя со мной, как эта шпага.
Ее никто и никогда не сломит!
Быть может, вы испробовать хотите?
(Вырывает шпагу из ножен и становится в позу, готовый к поединку.)

Командор
(складывает руки накрест)

С изгнанником встречаться в поединке

Не к чести командору короля.

(К Анне.)

Идемте.

(Берет Анну под руку и, повернувшись спиной к Дон-Жуану, уходит.)

Дон-Жуан бросается вслед за Командором и хочет проткнуть его шпагой. Из кустов появляется «Черное домино», хватает Дон-Жуана за руку обеими руками.

Черное домино

(не меняя голоса, так что можно узнать голос Долорес)

Неблагородно сзади нападать.

Анна оглядывается. Дон-Жуан и Долорес убегают за ворота.

Командор

Не оборачивайтесь!

Анна

Их уж нет.

Командор

(выпускает руку Анны и меняет спокойный тон на грозный)

Как он сюда пробрался, донна Анна?

Анна

Я вам сказала: он жених Долорес.

Командор

Зачем же было падать на колени?

Анна

Кому?

Командор

Ему, конечно, перед вами!

Анна

Но ведь не мне? О чем же ваш вопрос?

Командор

И вы могли позволить...

Анна

Боже правый!
Ну кто на это просит разрешенья?
Быть может, ваш кастильский этикет
Приказывает спрашивать у дамы:
«Позвольте опуститься на колени».
У нас за это просто осмеяли б.

Командор

Как любите вы надо всем смеяться!

Анна

Но смилуйтесь! Когда б я всякий раз,
Отказывая, проливала слезы,
То я б давно проплакала глаза!
Ужели вам бы этого хотелось?
Иль странно вам, что я за ним вослед
Не простираю рук, не плачу горько,
Не каюсь перед вами на коленях
В любви преступной, налетевшей бурей
На сердце беззащитное мое.
Была бы я Изольдой из романа,
Да что-то нет сегодня настроенья,
Хотела б я в фанданго закружиться.
О, там уже играют! Ла-ла-ла...
Пойдемте, дон Гонзаго, я помчусь,
Как белая волна, в певучем танце,
А вы спокойно стойте, точно камень,
Который знает: танец своевольный
Волна окончит у его подножья.

Командор ведет Анну под руку наверх, туда, где танцуют.

III

Пещера на берегу моря вблизи Кадикса. Дон-Жуан сидит на камне и точит свою шпагу. Рядом стоит Сганарель.

Сганарель

И что вы точите все эту шпагу?

Дон-Жуан

Привычка.

Сганарель

Вы теперь на поединки
Уже ведь не выходите.

Дон-Жуан

Да не с кем.

Сганарель

Людей не стало, что ли?

Дон-Жуан

Есть, да только
Не стоят этой шпаги.

Сганарель

Может, шпага
Кого не стоит?

Дон-Жуан
(грозно)

Помолчи!

Сганарель

Простите
Бессмысленную шутку. Сам не знаю,
Откуда эта дурь во мне берется.
Как будто кто толкает!

Дон-Жуан

Не мешай!

Сганарель, усмехнувшись, отходит в сторону. Дон-Жуан продолжает точить шпагу.

Ах, зазубрилось лезвие! Проклятье!
(Отбрасывает шпагу.)

Сганарель
(бегом возвращается, шепотом)

Сеньор, бежим скорее!

Дон-Жуан

Что случилось?

Сганарель

Открыли нас. Поблизости, я видел,
Монах какой-то бродит.

Дон-Жуан

Что ж такого?

Сганарель

Наверно, инквизиции шпион
Или палач с отравленным стилетом.

Дон-Жуан

Шпионов не боюсь, я к ним привык,
А шпага у меня длинней стилета.
Веди его на краткую беседу,
Скажи ему, что исповеди просит
Великий грешник Дон-Жуан.

Сганарель

Отлично.
Вы не дитя, а я при вас не нянька.

(Выходит и сразу же возвращается, ведя за собой монаха невысокого роста, стройного, в одежде «невидимок», с черным капюшоном, закрывающим все лицо, с прорезанными отверстиями для глаз.)

Дон-Жуан

(встает навстречу со шпагой в руке)

Отец мой, или, может, лучше, брат мой,
Скажи мне, чем обязан я такому
Святому посещению?

Монах делает рукой знак в сторону Сганареля.

(Сганарелю)

Ступай.

(Видя, что тот медлит, говорит ему шепотом.)

А у монаха женская рука!

Сганарель

Чтоб их!

(Махнув рукой, выходит.)

Дон-Жуан кладет шпагу на камень. Монах откидывает капюшон, открывается лицо Долорес.

Дон-Жуан

Долорес?! Вы? Опять в пещере этой...

Долорес

Я снова здесь, чтоб снова вас спасти.

Дон-Жуан

Меня спасти? Но кто же вам сказал
О том, что я в спасении нуждаюсь?

Долорес

Сама я знала это.

Дон-Жуан

Я не болен.
Как видите, силен, свободен, весел.

Долорес

Вам хочется, чтобы казалось так.

Дон-Жуан

(на миг задумывается, но тотчас резким движением вскидывает голову)

Я вижу, сеньорита, вас одежда
В монашеские ввергла настроенья.
Но вам в грехах моих я не покаюсь.
Мои грехи не для девичьих ушек.

Долорес молча вынимает два пергаментных свитка и протягивает их Дон-Жуану.

Простите, сеньорита. Не хотел я
Обидеть вас. Мне было б это горько.
А это что такое?

Долорес

Прочитайте.

Дон-Жуан

(быстро разворачивая пергаменты)

Здесь булла папы... Короля декрет.
Прощаются мне все мои проступки
И все грехи... Но почему? Откуда
Бумаги эти взяли вы, Долорес?

Долорес
(потупив глаза)

Вы не догадываетесь?

Дон-Жуан

Долорес!
Я понимаю. Снова перед вами
В долгу великом я. Но вам известно,
Что я привык платить свои долги.

Долорес

А я сюда пришла не за долгами.

Дон-Жуан

Я верю вам. Но я-то не банкрот.
Я вам в залог вручил когда-то перстень,
Теперь готов я выплатить весь долг.
Уж не изгнанник я, а гранд испанский,
И не должно быть стыдно вам, Долорес,
Стать под венец со мною.

Долорес
(стонет)

Боже правый!
Я думала, что может так случиться...
Зачем должна я схоронить навеки
Последнюю мечту...

(Голос ее прерывается спазмой долго сдерживаемых рыданий.)

Дон-Жуан

Я оскорбил вас?
Но чем, Долорес?

Долорес

Вы не догадались?
Вы думаете, если гранд испанский
Осиротевшей дочери гидальго,
Как будто нищей кошелек с деньгами,
Швыряет обручальное кольцо,
То девушка должна запеть от счастья,
Не захлебнуться горечью?

Дон-Жуан

Долорес,
И вы меня обязаны понять.
Ни пред одною женщиной на свете
Не виноват я от рожденья.

Долорес

Правда?
Пред женщинами вы не виноваты
Совсем ни в чем?

Дон-Жуан

Ни в чем не виноват.
Я каждый раз давал им очень много:
Порыв, мечту и счастья краткий миг.
С них этого хватало. А иным
И этого бывало слишком много.

Долорес

А вы-то сами большего хотели?

Пауза.

На этот раз платить вам не придется.
Назад возьмите золотой залог.
(Хочет снять перстень с правой руки.)

Дон-Жуан
(задерживает ее руку)

Но это ваше по святому праву.

Долорес

Нет. Я сама отныне не своя.
И видимое тело не мое.
Душа, что в этом теле,— только дым
Зажженной мною жертвенной лампады,
Которая горит за вашу душу
Пред богом...

Дон-Жуан

Ничего не понимаю!
У вас глаза сейчас такими стали,
Как у заколотой, кровавой жертвы...

Откуда эта булла и декрет?..
Как вы добыли их? Я умоляю,
Скажите мне!

Долорес

Зачем вам это знать?

Дон-Жуан

Быть может, должен я от них отречься.

Долорес

Отречься вы не можете, я знаю.
А как они добыты? Не впервые
Для вас погубит женщина себя.
Хоть это было бы в последний раз!

Дон-Жуан

Скажите мне, не то я буду думать,
Что их позорным способом добыли,
Затем что честного скрывать не надо.

Долорес

«Позорный»... «честный»... Как теперь далеко
Все это от меня... Ну что ж, скажу:
Я за бумаги заплатила телом.

Дон-Жуан

Что?!

Долорес

Больше не могу я объяснять.
Вы знаете обычаи двора,
Велят за все платить, когда не златом,
Так...

Дон-Жуан

Боже мой! Как страшно мне, Долорес!

Долорес

Вам страшно, Дон-Жуан? Не ожидала.

Дон-Жуан

А вам не страшно?

Долорес

Мне ничуть не страшно.
Зачем мне беспокоиться о теле,
Когда не побоялась я и душу
Свою отдать, чтоб заплатить за буллу?

Дон-Жуан

Но кто ж душою платит?

Долорес

Все, кто любит
Душою чистой. Я горда, Жуан,
Тем, что душою выкупаю душу.
Не каждой женщине такое счастье!
Святой отец освобождает вас
От адских кар за то, что я решилась
Окончить жизнь в суровом покаянье
За ваши все грехи. В монастыре
Я по жестокому уставу буду
Простой монахиней. Обет я дам
Молчанья, бичеванья и поста.
Должна я отказаться от всего...
От самых дорогих воспоминаний
И от мечты... Вы слышите, Жуан?
Я о душе лишь вашей помнить буду,
Забыв свою. Пускай моя душа
Пойдет за вас на вечное страданье.
Прощайте.

Дон-Жуан стоит молча, потрясенный, подавленный. Долорес делает шаг к выходу, но сразу останавливается.

Нет! Еще последний раз!
Я загляну в глаза его. Отныне
Уж больше мне они светить не будут
В могильной тьме того, что будет зваться
Моею жизнью... Этот ваш портрет
Возьмите у меня, Жуан. Навеки.
(Срывает с себя медальон и кладет его на камень.)
Должна я помнить только вашу душу
И больше ничего...

Дон-Жуан

А если б я
Сейчас сказал вам, что одно мгновенье
Земного счастья с вами для меня
Дороже рая вечного без вас?

Долорес
(в экстазе, как мученица во время пытки)

Я не прошу меня не искушать!
Полуобман!.. Когда б он мог до края
Наполнить недоверчивое сердце!
Святая дева, дай мне принести
И эту жертву за него!.. Жуан,
О, говорите мне слова любви,
Твердите мне слова любви! Не бойтесь,
Я не поверю в них!.. О Дон-Жуан,
Возьмите перстень ваш.
(Снимает и протягивает Дон-Жуану перстень, но рука бессильно опускается, и перстень падает наземь.)

Дон-Жуан
(поднимает перстень и надевает снова на руку Долорес)

Нет, никогда
Я не возьму. Носите вы его
Или мадонне дайте. Как хотите.
На этот перстень можно в покаянье
Глядеть монахине. Он не пробудит
В ее душе воспоминаний грешных.

Долорес
(тихо)

Да, это так.

Дон-Жуан

А вашего вовеки
Я не отдам.

Долорес

Зачем он вам, Жуан?

Дон-Жуан

Есть у души желанья и привычки,
Как и у тела. Я б хотел, Долорес,
Чтоб вы могли меня понять сейчас.

Долорес

Пора уж мне идти... Я вас прощаю
За все, что вы...

Дон-Жуан

За что? Не омрачайте
Воспоминания об этом миге!
За что меня прощать? Теперь я вижу,
Что я ни в чем не виноват пред вами.
С моею помощью достигли вы
Высокой и пречистой благодати!
Ужель меня прощать за это надо?
О нет, наверно, вы ошиблись в слове?
Могло ли ваше ласковое сердце
Родить такое слово? Не нужны вам
Слова такие. Вы отныне выше
И чести и позора. Так, Долорес?

Долорес

Мне кажется, что больше слов не нужно.
(Хочет идти.)

Дон-Жуан

Еще одно мгновенье... Вы в Мадриде
Проведали сеньору де Мендоза?

Долорес
(останавливается)

Вы... спрашиваете меня о ней?

Пауза.

Дон-Жуан

По-моему, вам рано в монастырь.

Долорес
(превозмогая себя)

Я видела ее.

Дон-Жуан

Как ей живется?

Долорес

Я, кажется, счастливее ее.

Дон-Жуан

Меня она уже забыла?

Долорес

Нет.

Дон-Жуан

Почем вы знаете?

Долорес

Я чую сердцем.

Дон-Жуан

Ну, это все, что мне хотелось знать.

Долорес

Я ухожу.

Дон-Жуан

Вы даже не спросили,
Зачем мне это нужно?

Долорес

Не спросила.

Дон-Жуан

И вам не тяжко?

Долорес

Легкого пути
Я не искала никогда. Прощайте.

Дон-Жуан

Прощайте. Я всегда вам буду верен.

Долорес поспешно опускает капюшон и, не оглядываясь, выходит из пещеры. Входит Сганарель и с укором глядит на Дон-Жуана.

Дон-Жуан
(скорее самому себе, чем слуге)
Чудеснейшую выковал я душу!

Сганарель

Свою небось?

Дон-Жуан

Вопрос ты задал едкий
Без умысла.

Сганарель

Вы думаете так?

Дон-Жуан

А ты как думаешь?

Сганарель

Сказать по правде,
Я видел вас, сеньор, и наковальней
И молотом, но кузнецом ни разу.

Дон-Жуан

Еще увидишь.

Сганарель

Поздно!

Дон-Жуан

Почему?

Сганарель

Судьба сеньора в монастырь ушла.

Дон-Жуан

Так ты подслушивал?!

Сганарель

А вы не знали?
Кто держит слуг, тот должен бы привыкнуть,
Что он находится в исповедальне.

Дон-Жуан

Но чтобы так бесстыдно признаваться!..

Сганарель

Ведь ваша искренность, сеньор, известна.

Дон-Жуан

Ну, замолчи!.. То тень моя ушла,
А не судьба. Судьба моя в Мадриде.
Седлай коня! Мы полетим за нею!

Сганарель уходит. Дон-Жуан берет в руку шпагу и, усмехаясь, проводит ладонью по лезвию, пробуя, насколько оно отточено.

IV

Дом Командора в Мадриде. Спальня донны Анны — большая, пышно, но в темных тонах убранная комната. Высокие узкие окна с балконами доходят почти до полу. Жалюзи на них спущены. Донна Анна в сером с черным полутраурном платье сидит у столика, перед открытой шкатулкой, перебирая драгоценности и примеряя их перед зеркалом.

Командор
(входя)

Куда вы собираетесь?

Анна

На завтра
К наряду выбираю ожерелье.
Хочу пойти взглянуть на бой быков.

Командор

Как, в полутрауре?

Анна
(с досадой отодвигая шкатулку)

Ах, этот траур!
Когда ему конец!

Командор
(спокойно)

Еще дней восемь.
По дяде траур тянется недолго.

Анна

Но любопытнее всего, что я-то
Его ни разу даже не видала.

Командор

О, это безразлично! Вы отныне
Принадлежите к дому де Мендоза,
И всех усопших родственников память
Должны вы чтить.

Анна

Пошли им долгой жизни,
Великий бог! Теперь по дяде траур,
А раньше был по тете, перед ней же —
Не ошибиться бы! — мы чтили память
Какого-то троюродного, что ли,
Не то четвероюродного брата...

Командор

Но на кого вы сердитесь?

Анна

Я только
Припомнить захотела, сколько дней
Я не носила траура по ком-то
С тех пор, как вышла замуж.

Командор

Целый месяц!

Анна
(с иронией)

Ах, целый месяц? Это много, правда?

Командор

Не понимаю я досады вашей.
Ужели вы для праздного веселья
Готовы пренебречь так беззаботно
Старинными обычаями?

Анна
(встает)

Что вы?
Когда обычаи я нарушала?
Что сделала позорного? Скажите!

Командор

Но о позорном речи быть не может.
Ничтожный самый маленький проступок —
Уже ступенька в пропасть. Не забудьте,
Что мне достался командорский плащ
Не просьбами, не силой, не деньгами,
А только честностью. В роду Мендоза
Все доблестные рыцари без страха,
Все дамы без упрека. Допустимо ль,
Чтоб были вы осуждены толпою,
Когда вы завтра...

Анна
(раздраженно)

Не пойду. Довольно!
Запру все двери, за порог не выйду.

Командор

Но почему же нужно запираться?
Мы с вами завтра вместе выйдем в церковь.

Анна

Но я совсем не собиралась в церковь!

Командор

Однако мы обязаны пойти.
Там проповедь читает брат Иньиго.

Анна

Но он скучнейший в мире проповедник!

Командор

Согласен с вами я, но королеве
Он нравится, и потому-то ходит
Весь двор туда, а если из грандесс
Лишь вас одной не будет, все заметят.

Анна тихо вздыхает. Командор вынимает из кармана молитвенные четки из дымчатого хрусталя.

Я к полутрауру купил вам четки,
А позже закажу из аметистов.

Анна
(берет четки)

Спасибо, но зачем...

Командор

Затем, что надо
Вам пышностью всех дам превосходить.
Я вас прошу, когда придем мы в церковь,
Не позволяйте донне Консепсьон
Сесть рядом с королевой. Это место
Принадлежит лишь вам. Прошу вас помнить,
Что наше место первое повсюду
И нас никто не может заменить,—
Да будет в том порукой честь Мендоза
И ордена священный чистый стяг.
Когда не только донна Консепсьон,
Забыть захочет это королева,
Я, не замешкаясь, покину двор,
Все рыцари мои пойдут за мною;
И пусть его величество король
Тогда корону держит хоть руками,
Чтоб не слетела. Верьте, я сумею
Хранить отважно рыцарское право,
Но нужно, чтобы рыцари мои
Во всем и всюду были безупречны.
И потому должны мы соблюдать
Не только предписанья нашей чести,
Но всякое веленье этикета,
Хоть вам оно и кажется порой
Назойливым, бессмысленным и лишним...

Анна

Терпение святое!

Командор

Это верно,
Поможет лишь терпение святое
Тому, кто хочет устоять на гребне
Высоких прав и трудных обязательств.
Права без обязательств — произвол.

Анна снова вздыхает.

Вздыхаете? Что ж, было вам известно,
Какие вас обязанности ждут.
Сознательно судьбу вы избирали,
Раскаянье пришло к вам слишком поздно.

Анна
(гордо)

Раскаиваться я не собираюсь.
Я отдаю вам должное. Вы правы.
Мои причуды вовсе не серьезны,
Они прошли уж. Позабудьте их.

Командор

Вот это речь, достойная грандессы!
Теперь я узнаю свою супругу.
Какой-то миг я был в вас не уверен,
И так тогда мне стало одиноко,
И показалась трудною борьба,
Борьба за то, что нас должно поставить
Ступенью выше.

Анна
(оживляясь)

Но ступенью выше
Лишь трон один!

Командор

Да, только трон.

Пауза.

Давно бы
Я вам поведал план свой, если б видел,
Что вы живете тем же, чем и я.

Анна

Вы этого не видели?

Командор

Я каюсь.
Отныне же хочу я верить в это.
Все вместе с вами делать — каждый шаг.
Так знайте: высочайшая вершина

Увенчана достойно лишь тогда,
Когда совьет на ней гнездо орлица.

Анна

Орлица?

Командор

Да. Одна орлица может
На самом остром, самом гладком пике
Надежное гнездо себе построить
И жить в гнезде том, не боясь ни жажды,
Ни солнечных лучей, ни грозных молний.
За это ей наградой — высота...

Анна
(подхватывая)

...В кристально чистом воздухе нагорном,
Где нет влекущих запахов долин!
Не так ли?

Командор

Так.
Анна подает руку, он крепко пожимает ее.
Спокойной ночи, Анна.

Я на совет капитула иду.
Быть может, задержусь. Спокойной ночи.
(Выходит.)

Анна сидит задумавшись. Входит горничная Марикита.

Анна

Ты, Марикита? Где моя дуэнья?

Марикита

Она себя почувствовала худо
И прилегла. Когда велит сеньора,
Я тотчас позову ее.

Анна

Не надо,
Пусть отдыхает. Заплети мне косы
И уходи.

Марикита
(заплетает Анне косы)

Сеньора, я хотела
Вам кое-что сказать. Я дожидалась,
Пока сеньор отправится...

Анна

Напрасно.
От мужа у меня секретов нет.

Марикита

Я знаю это. Вы, моя сеньора,
Совсем святая! Так я и сказала
Тому слуге, когда брала цветы.

Анна

Какой слуга? Что за цветы?

Марикита

Под вечер
Один слуга принес цветы граната
Сеньоре от кого-то.

Анна
(гневно)

Быть не может!
Цветы граната, говоришь ты? Мне?

Марикита

Не знаю... Он сказал... Оно, пожалуй,
Немножко дерзко. Ведь цветы граната –
Знак страсти. Но зачем я поясняю!
Ведь это всем известно.

Анна

Марикита,
Я знать должна, кто оскорбил мєня!

Марикита

Он не назвал себя. Он лишь сказал,

Цветы мне отдавая: «Донне Анне
От мавра верного».

Анна вскрикивает.

Сеньора знает,
Кто их прислал?

Анна
(растерянно)

Не надо мне цветов...

Марикита

Я принесу, хоть взглянете.

Анна

Не надо!

Марикита, не слушая, выбегает и тотчас же возвращается с гроздью гранатовых цветов.

Анна
(отталкивая цветы рукой и отворачиваясь)

Прочь выбрось их!

Марикита

Я б их себе взяла,
Когда они сеньоре не угодны...
Я так люблю цветы...

Анна

Возьми, конечно...

Марикита

Вот завтра и цветами уберусь.

Анна

Ступай, ступай!

Марикита

Не отворить ли окна?
Здесь душно!

Анна
(задумчиво, безразлично)

Отвори.

Марикита
(отворяя)

И жалюзи?

Анна

Нет, будет видно с улицы.

Марикита
(отворяя жалюзи)

Ну, где там!
Теперь на улицах совсем безлюдно.
Тут не Севилья! Ах, теперь в Севилье
Все улицы звенят, гремят от песен
И воздух вьется в быстрой мадриленье!
А тут... тут воздух каменный...

Анна
(нервно)

Довольно!

Марикита, болтая, высовывается из окна и оглядывается по сторонам; неожиданно делает рукой какое-то резкое движение, словно выбрасывая что-то.

Анна
(заметив это)

Ты что там, Марикита?

Марикита
(невинно)

Ничего.

Анна

Ты бросила цветок кому-то?

Марикита

Что вы?
Я отгоняла муху... Что, сеньоре
Я не нужна уж больше?

Анна

Нет, ступай.

Марикита
(кланяется, приседая)

Хороших снов сеньоре!

Анна

Доброй ночи!

Марикита вышла, оставив в комнате гранатовый букет. Анна, оглянувшись на дверь, замечает это и, взяв букет дрожащей рукою, с грустью глядит на него.

(Тихо.)

От мавра верного...

Дон-Жуан бесшумно появляется в окне, ловко спрыгивает в комнату, падает на колени перед Анной и покрывает поцелуями ее платье и руки.

Анна
(роняя букет, вскрикивает)

Вы?!

Дон-Жуан

Я! Ваш рыцарь!
Ваш верный мавр!

Анна
(опомнившись)

Сеньор, кто вам позволил?..

Дон-Жуан
(устало)

Зачем нам лицемерить, донна Анна?
Ведь я видал, как вы сейчас держали
Цветы мои.

Анна

О, это я случайно!

Дон-Жуан

Благословляю случаи такие!
(Простирает руки к Анне. Она пытается оттолкнуть их.)

Анна

Я умоляю вас меня оставить!

Дон-Жуан

Боитесь вы меня?

Анна

Я не должна
Вас принимать...

Дон-Жуан

Бессильные слова!
Когда-то я слыхал от вас другое!
О Анна, Анна, где же те мечты
Прекрасные?

Анна

Девические грезы...
Пустая сказка...

Дон-Жуан

Все на свете сказка:
На кладбище,— вы помните ли, Анна,—
Сквозь смех и слезы родилась та сказка,
В веселом танце расцвела впервые,
А выросла, печальная, в разлуке...

Анна

Пора уж ей окончиться.

Дон-Жуан

Но как?
Пусть верный рыцарь вызволит принцессу
Из каменной темницы, и возникнет
На смену сказке песня о свободе.

Анна
(качает головой)

Нельзя ли, чтобы тем кончалась сказка,
Что рыцарь возвращается обратно,
Поняв, что опоздал спасать принцессу?

Дон-Жуан

О нет! Такого в сказке не бывает!
Так может получиться только в жизни,
И то в ничтожной только.

Анна

Ничего мне
От вас не нужно. Я вас не просила
Спасать меня, жалеть иль веселить.
Я ни на что не жалуюсь.

Дон-Жуан

О Анна,
А разве сам не вижу я?..
(Нежно.)
Глаза,
Когда-то гордые и огневые,
Теперь надели траур, погасили
Лучистые огни... А эти руки
Когда-то были нежными стеблями,—
Теперь они как из слоновой кости,
Как руки мученицы... Это тело...
Оно волною вольной изгибалось,
Теперь оно, как та кариатида,
Что вечно держит каменную тяжесть.
(Берет ее за руку.)
Любимая, стряхни же эту тяжесть!
Разбей холодный камень!

Анна
(бессильно)

Не могу...
О, этот камень... он не только давит,
Он душу каменит... всего страшнее...
Усталость, словно каменная глыба...

Дон-Жуан

Нет, это только страшный сон под камнем!
Я разбужу тебя своей любовью!
(Жадно обнимает Анну, она склоняет голову к нему на плечо и рыдает.)
Ты плачешь? Эти слезы просят мести!

Слышно, как издали звенит ключ в замке, потом по лестнице слышны тяжелые уверенные шаги Командора.

Анна

Шаги Гонзаго! Дон-Жуан, бегите!

Дон-Жуан

Бежать? О нет! Теперь, когда я вправе
Ему уже не уступать дороги...

Командор
(входит и видит Дон-Жуана)

Вы? Здесь?

Дон-Жуан

Я здесь, почтенный Командор!
Пришел благодарить вас за любезность,
Оказанную мне когда-то. Ныне
Я ровня вам. Известно ли вам это?

Командор молча обнажает свою шпагу, Дон-Жуан — свою, и оба вступают в поединок. Донна Анна вскрикивает.

Командор
(оглядываясь на нее)

Приказываю вам молчать!

В эту минуту Дон-Жуан вонзает шпагу ему в шею. Командор падает мертвым.

Дон-Жуан

Конец!
(Вытирает свою шпагу краем плаща Командора.)

Анна
(бросается к Дон-Жуану)

Что сделали вы?

Дон-Жуан

Только победил
Противника на честном поединке.

Анна

Но это не признают поединком.
Вы понесете кару за убийство.

Дон-Жуан

Мне это, право, все равно.

Анна

Но мне
Не все равно, чтоб люди называли
Меня двойной вдовою — и по мужу
И по любовнику.

Дон-Жуан

Но мы ведь с вами
Любовниками не были.

Анна

И это
Известно только *нам*. А кто поверит?
Я не хочу с позорною печатью
Изменницы нечестной и коварной
В гнезде осином этом оставаться.

Дон-Жуан

Бежим отсюда!

Анна

Вы с ума сошли!
Нести с собой в дорогу тяжкий камень?
Уйдите от меня, иначе криком
Я созову людей и всем скажу,
Что вы меня хотели обесчестить,
Предательски убивши командора,
Сеньора де Мендоза.

Дон-Жуан

Донна Анна,
Ужель вы это скажете?!

Анна
(твердо)

Скажу.

Дон-Жуан

А если я скажу, что вы моя
Любовница, что вместе мы убили?

Анна

Так не по-рыцарски?!

Дон-Жуан

А вы, сеньора?
Вы по-какому поступить хотите?

Анна

Я только защищаюсь. Если вы
Оставите мой дом сию минуту,
То я скажу, и все тому поверят,
Что ночью к нам разбойники проникли.

Дон-Жуан стоит в нерешительности.

Ну, что еще? Вам не о чем и думать!

Дон-Жуан молча удаляется через окно. Анна несколько минут глядит в окно, ожидая, пока он отдалится от дома. Потом хватает драгоценности из шкатулки, выбрасывает их в окно и начинает отчаянно кричать.

Разбой! Грабеж! Сюда! Спасите! Люди!

На ее крик сбегаются л ю д и. Она падает как бы без чувств.

V

Кладбище в Мадриде. Памятники преимущественно из темного камня, строгий стиль. В стороне гранитная часовня старинной архитектуры. Ни цветов, ни растений. Холодный сухой зимний день. Д о н н а А н н а в глубоком трауре медленно проходит аллеей, неся в руках серебряный надгробный венок. За ней идет старая д у э н ь я. Обе подходят к могиле, на которой возвышается памятник Командору — большая статуя с командорским жезлом в правой руке, опирающаяся левой рукой на меч с развернутым над рукоятью меча свитком. Анна молча опускается на колени перед могилой, кладет венок к подножью статуи и, перебирая четки, шевелит губами.

Дуэнья
(дождавшись, пока Анна перебрала все четки)

Осмеливаюсь я просить сеньору
О разрешенье на одну минутку
Мне удалиться. Рядом, у ворот
Живут мои родные, я хотела
У них себе перчатки попросить.

Свои я, как на грех, забыла дома,
А холод лютый.

Анна

Это непристойно —
Мне оставаться здесь совсем одной.

Дуэнья

Прошу прощенья, добрая сеньора.
Ведь я стара, страдаю ревматизмом.
Сеньора видит, как опухли руки,
От боли не спала я в эту ночь.

Анна
(взглянув на протянутые руки дуэньи)

Опухли, верно. Что ж, тогда ступайте,
Но только возвращайтесь поскорее.

Дуэнья

Моя сеньора — ангел милосердья!
(Уходит.)

Как только дуэнья ушла, из-за ближайшего памятника появляется Дон-Жуан. Анна вскакивает.

Дон-Жуан

О, наконец я вижу вас!

Анна

Сеньор!
Так это вы дуэнью подкупили?

Дон-Жуан

О нет, я только улучил минуту.
Но если б даже это было правдой,
То были б виноваты только вы.

Анна

Я? Почему?

Дон-Жуан

Но кто еще другой
Виновен в том, что я брожу часами
По кладбищу и поджидаю вас?

И лишь затем, чтоб издали увидеть,
Как вы здесь под охраною дуэньи
Читаете притворные молитвы
Над гробом «незабвенного»...

Анна
(останавливает его движением руки)

Молчите!
Во-первых, вас никто не заставляет,
А во-вторых, честны мои молитвы,
Затем, что я, хотя и против воли,
Была причиной смерти человека,
Что так любил и чтил меня.

Дон-Жуан

Сеньора,
Безмерно велики успехи ваши.

Анна

В чем?

Дон-Жуан

В лицемерии.

Анна

Я не желаю
Выслушивать все это!
(Хочет уйти.)

Дон-Жуан
(удерживает ее за руку)

Донна Анна!
Я не пущу вас!

Анна

Я начну кричать.

Дон-Жуан
(выпускает ее руку)

Прошу вас, Анна, выслушать меня.

Анна

Согласна я, но вы, сеньор, оставьте
Язвительность. И говорите кратко.

Я не хочу, чтоб кто-нибудь увидел
Нас тут вдвоем.

Дон-Жуан

Не понимаю, Анна,
Зачем носить вам цепи добровольно?
Я думал — наконец разбился камень,
Исчезла тяжесть, ожил человек!
Но нет, непроницаемей и тверже
Покров из камня. Замку в час осады
Подобен дом ваш. Двери на замках,
На окнах жалюзи не пропускают
Ни взгляда, ни луча. И даже слуги
Мрачны, суровы, неподкупны...

Анна

Значит,
Уж вы пытались подкупать их?

Дон-Жуан

Анна,
Есть у отчаянья свои права!
Ведь, приходя к вам честно, слышишь только:
«Сеньора никого не принимает».

Анна

Ну, посудите сами: разве можно
Вдове недавней в трауре глубоком
С таким беспутным рыцарем, как вы,
Наедине встречаться?

Дон-Жуан

Анна, Анна!
Мне кажется, что я теряю разум!
Ужели это в самом деле вы?
Черты все те же, и осанка та же...
Но вот слова... Кто научил вас им?
Кто подменил вам душу?

Анна

Дон-Жуан,
Моя душа такая же, как прежде.
Моя душа была с рожденья гордой,

Такой же и осталась. Потому
Живу я, как в твердыне неприступной,
Чтоб никогда никто не смел сказать:
«Обрадовалась вдовушка, как видно!»
Ужели вы стерпели бы такое?

Дон-Жуан

Но у меня есть шпага, донна Анна!

Анна

Так что ж — вы обезлюдите Мадрид?
Не уничтожить вам своею шпагой
Косые взгляды, шепоток, усмешки,
Намеки, пожимания плечами,
Которые меня встречали б всюду
И всюду провожали бы, Жуан.

Дон-Жуан

Бежим отсюда!

Анна

Ха-ха-ха!

Дон-Жуан

Смеетесь?!

Анна

Когда б не засмеялась, то зевнула б.
Вам было бы приятнее?

Дон-Жуан

Сеньора!!

Анна

Я в третий раз выслушиваю это.
Уж, право, надоело мне.

Дон-Жуан

Я вижу,
Вы сами камень, без души, без сердца.

Анна

Однако не без разума — признайтесь!

Дон-Жуан

Не отрицаю.

Анна

Но тогда, скажите,
Зачем нам убегать? Какой в том смысл?
Когда невинных дев вы обольщали
И крали мужних жен, вам приходилось
Скрываться с ними, убегать от света.
А кто изгнанник, тот всегда беглец.
Но самого себя послать в изгнанье,
И для чего? Чтобы связать судьбу
С вдовою независимой? Нелепость!
И чем была б я вам, когда пошла бы
Сейчас вослед за вами? Верно, только
Короткою забавой.

Дон-Жуан

Донна Анна,
Я никого так не любил, как вас!
Всегда вы были для меня святыней.

Анна

Зачем же вы все время порывались
Свою святыню свергнуть с пьедестала?

Дон-Жуан

Но мне она была нужна живая,
Не мертвая, не каменная!

Анна

Камень
Необходим для тех, кто хочет строить
Свою судьбу и счастье.

Дон-Жуан

Неужели
Доныне верить в каменное счастье
Вы продолжаете? Но я-то видел,
Как задыхались вы под этим камнем!
Но я-то слышал, как рыдали вы,

Мне на плечо склонясь! За эти слезы
Он жизнью заплатил.
(Указывает на статую.)

Анна

Не провинившись.

Дон-Жуан
(отступает от нее, пораженный)

Ну, если так...

Анна

Не он виновен был
В моей неволе. Он страшнее тяжесть
Носил всю жизнь.

Дон-Жуан

По собственной охоте.

Анна

И я пошла по собственной охоте
На этот брак. Но он меня любил
И потому без ропота сносил
Свою судьбу. Большое это счастье
Поставить пред собою на вершине
Того, кого ты любишь.

Дон-Жуан

Ах, вершины...
Вы знаете мои об этом мысли.

Анна

Что стоят мысли перед светом счастья?
Ну, разве мне страшна была б неволя
За каменной стеною этикета,
Когда б я знала, что в моей твердыне
Меня любимый ждет? Что все замки
И жалюзи на окнах лишь скрывают
От праздных глаз святилище мое...

Дон-Жуан

Опять, как раскаленное железо,
Вонзаются мне в сердце ваши речи!

Вы мне рисуете картину счастья,
Чтобы опять сказать: «Не для тебя!»
Когда и чем я заслужу вас, Анна?
Я из-за вас в стыде каком-то тайном
Скитаюсь неприкаянной душою
Среди чужих людей, врагов лукавых.
Живу я жизнью серой и бесцветной,
Пустой, негодной, я сказал бы — даже
Бессмысленной! И что вам нужно, Анна?
Иль должен я сложить у ваших ног
Свою так буйно вскормленную волю?
С отчаянья, поверите ли, Анна,
Мне даже это в мысли приходило
Настойчиво.

Анна

С отчаянья, сеньор?

Дон-Жуан

Ужели вы хотите между нами
Поставить принужденье? Не боитесь,
Что победит оно любовь живую,
Дитя свободы?

Анна
(указывая на статую Командора)

Он сказал однажды:
«Любви глубокой не страшны обеты».

Дон-Жуан

В минуту эту ничего другого
Вы не нашли, одно воспоминание
О нем?!

Анна

Но что еще мне вам сказать?

Дон-Жуан
(хватая ее за руку)

Нет, так не может дальше продолжаться!
Иначе я клянусь вам, что тотчас же
Я расскажу, что я убил...

Анна

Угрозы?

Дон-Жуан

Нет, не угрозы, а предсмертный стон.
Я изнемог под каменною ношей,
И стынет сердце! Не могу я, Анна,
С остывшим сердцем дальше жить. Спасите
Или добейте!

(Стискивает ее руки в своих и весь дрожит, глядя ей в глаза.)

Анна

Стойте... я должна
Еще подумать...

(Задумывается.)

От стены по аллее медленно идет донна Консепсьон — важная грандесса — с девочкой и дуэньей. Анна их не видит, так как стоит спиною к дорожке. Дон-Жуан первый замечает идущих и выпускает руки Анны.

Девочка

(подбегает к Анне)

Добрый день, сеньора!

Донна Консепсьон

Сеньора молится. Оставь, Розина.

Анна

(растерянно)

О донна Консепсьон, дитя! Я рада
Увидеть вас... Такая неприятность...
Моя дуэнья к родичам зашла
И задержалась... А идти домой
По городу одной мне...

Донна Консепсьон

Донна Анна,
Ведь с вами рыцарь, он проводит вас.

(Дон-Жуану.)

Приветствую сеньора де Маранья,
Не знала я о том, что вы в родстве.
Обязаны развлечь вы донну Анну,

А то недолго захворать с тоски.
(Девочке, убежавшей вперед.)
Розина, подожди! *(Анне.)* Мое почтенье!

Дон-Жуан кланяется. Донна Консепсьон едва кивает ему в ответ и проходит дальше за девочкой. Дуэнья, идущая позади нее, несколько раз с любопытством оглядывается на Анну и Дон-Жуана.

Анна

Ступайте и убейте эту даму.
Но это не конец. Еще немало
Работы вашей шпаге предстоит.
Что ж, радуйтесь! Уже вам не придется
Карабкаться до замка на вершине.
Сама принцесса упадет с горы!
(В отчаянье хватается за голову.)
Я знаю, вы надеялись на это,
Меня подстерегая из засады.
На то, что я, покрытая позором,
В отчаянье теряя силу воли,
Достанусь вам, как легкая добыча!
Не будет этого!

Дон-Жуан

Клянусь вам, Анна,
Я этого не мог желать, поверьте!
Я презираю легкие победы.
Скажите мне, что я могу исправить?
Готов я сделать все, что вы велите,
Чтобы не видеть вас в таком смятенье.

Пауза. Анна думает.

Анна

Я завтра созову гостей на ужин.
Вы приходите тоже. Я приму вас.
Пристойнее нам видеться на людях.
И я, быть может... Ах, идет дуэнья!

Дуэнья
(приближаясь, извиняющим тоном)

Моя сеньора...

Анна

Вы не виноваты
В том, что стары для службы.

Дуэнья
(жалобно)

О!..

Анна

Пойдемте!

(Молча кивает головой Дон-Жуану. Тот низко кланяется. Анна с дуэньей уходят.)

Сганарель
(выходя из часовни)

Могу ли я поздравить господина?
Вы, кажется, приглашены на ужин?
Не рады вы как будто... Это правда...
В том доме ужин... Угостят, пожалуй,
Еще с тарелок этого сеньора...
(Указывает на статую Командора.)

Дон-Жуан

Так что ж такого?

Сганарель

Ничего такого.
Но если б находился Командор
Напротив вас на завтрашней пирушке...

Дон-Жуан

Ты думаешь, я дрогнул бы? Нисколько!
Ведь я уже встречался с ним не раз.

Сганарель

До смерти. Но мертвец страшней живого
Душе христианина.

Дон-Жуан

Не моей!

Сганарель

Однако вы б его не пригласили
Туда на завтра...

Дон-Жуан

Разве приглашают
Хозяина?

Сганарель

Ну, хоть оповещают.

Дон-Жуан

Так что ж, ступай, оповести его.
Ты, видно, стал держаться этикета
С тех пор, как служишь у меня, у гранда,
А не изгнанника.

Сганарель

А как сказать?
От имени сеньора?

Дон-Жуан

Ну, конечно.

Сганарель

Зачем же мне? Пожалуй, проще вам.

Дон-Жуан

То беспокоился об этикете,
А то внезапно ищешь простоты!
Эх, Сганарель, ты заячьей породы!
Нет, не пошел тебе Мадрид на пользу.

Сганарель

А вам Мадрид ничем не повредил?

Дон-Жуан

Ну, ну, ступай, оповести его!

Сганарель

(делает шаг вперед, но останавливается и оглядывается на Дон-Жуана)

А если я вам принесу ответ?

Дон-Жуан

Еще бы! Я его и дожидаюсь!

Сганарель

(подходит к статуе, низко кланяется и произносит насмешливо, но с дрожью в голосе)

О господин, недвижно величавый!
Я вам принес привет от Дон-Жуана,
Сеньора де Маранья из Севильи,
Маркиза де Тенорио и гранда.
Мой господин достиг высокой чести,
Он приглашен в ваш дом сеньорой Анной,
Супругой вашей доброю, на ужин.
Но если это каменному гранду
Хоть в малой мере будет неугодно,
Мой господин на ужин не придет.

Дон-Жуан

Ну это ты напрасно!

Сганарель

Нет, сеньор.
Иначе ни к чему все это.
(Вскрикивает.)
Сударь!
Он отвечает! Даже на бумаге!

Дон-Жуан

Еще чего?! Что ты несешь, несчастный?
Что ты бормочешь?

Сганарель
(читает)

«Приходи, я жду».

Дон-Жуан подходит. Сганарель указывает на свиток пергамента в левой руке статуи.

Дон-Жуан
(после паузы)

Ну что ж, я тоже помню свой девиз.

Уходят с кладбища.

VI

Парадная зала для приемов в доме Командора. Не очень большая, но красиво убранная резными шкафами, буфетами с дорогой посудой, оружием и пр. Посредине длинный стол, накрытый для званого ужина, вокруг стола массивные дубовые стулья. Стол упирается в стену, на которой висит большой портрет Командора с черным крепом на раме. На противоположной стене, над другим концом стола, висит длинное узкое зеркало, доходящее до пола. Стул, стоящий на почетном месте, находится напротив портрета, спиной к зеркалу. Слуги становятся за стульями, готовые прислуживать у стола. Один из слуг распахивает дверь в соседнюю комнату. Донна Анна вводит группу гостей. Гости преимущественно пожилые, важные, надменные. Почти все в темном. Сама Анна в белом платье, отделанном широкой черной каймой.

Анна

Прошу садиться, дорогие гости.
(Самому старшему из гостей, указывая на центральное место.)
Сеньор, вот ваше место.

Старший гость

Нет, сеньора,
Простите, я не сяду. Пусть сегодня
Оно пустует. Будет нам казаться,
Что наш хозяин где-то задержался
И очень скоро должен появиться.
Мы без него впервые собрались,
И трудно привыкать к печальной мысли,
Что взгляд его закрыт рукою смерти.

Анна

(садится в конце стола под портретом Командора, против центрального места, оставшегося свободным; подает знак слугам, чтобы начинали обносить гостей уже занявших свои места)

Мои друзья и гости, угощайтесь,
Бокалы подымайте, пейте, ешьте.
Простите, если плохо занимает
Беседа вдовья. Нелегко вдове
Поддерживать в хозяйстве тот порядок,
Какой приличен рыцарскому дому
Достойному.

Донна Консепсьон
(шепотом своей соседке, более молодой даме)

Как будто бы достойно

Без уваженья, нарушая траур,
Устраивать парадные приемы.

Донна Клара
(соседке донны Консепсьон)

Но донна Анна до сих пор во всем
Вела себя достойно.

Донна Консепсьон

Донна Клара!
Я знаю то, что знаю.

Донна Клара
(бросив на Анну косой взгляд)

Неужели?..

Слуга
(с порога)

Маркиз Тенорио.

Анна

Проси сюда!

Дон-Жуан входит и останавливается у дверей.

Анна
(отвечая на поклон, обращается к гостям)

Позвольте вам представить, господа,
Сеньора де Маранья из Севильи.
Маркиза де Тенорио.
(Дон-Жуану.)
Сеньор,
Прошу садиться.

Дон-Жуан ищет глазами место за столом и садится на центральное место. Увидев против себя портрет Командора, вздрагивает.

Анна
(слуге)

Дай вина сеньору.

Слуга подносит Дон-Жуану самый большой и лучший кубок.

Первый гость
(сосед Дон-Жуана)

Я узнаю ваш кубок. Надо вспомнить
Того, кто из него недавно пил.
(Протягивает свой кубок к Дон-Жуану.)
Да будет вечно дух его отважный
Витать над этим благородным домом.
Да будет вечной память...

Дон-Жуан
(чокаясь с гостем)

...и покой.

Старая грандесса
(сидящая справа от Анны, шепотом, склоняясь к хозяйке)

Я плохо знаю этих де Маранья.
Не Дон-Жуан ли это?

Анна

Он зовется
Антонио-Жуан-Луис-Уртадо.

Старая грандесса

Ага, тогда не тот!

Донна Консепсьон
(услышав этот разговор, иронически улыбаясь, шепчет соседке)

Как раз тот самый!

Старый гранд
(своему соседу, молодому гранду)

Не знаете, чем этот де Маранья
Достойнее других, что так нескромно
На это место сел?

Молодой гранд
(мрачно)

Не знаю, право.

Старый гранд

Наверно, тем, что честь его *моложе,*
А наша уж состарилась.

Молодой гранд

Должно быть.

Донна Консепсьон
(Дон-Жуану, громко)

Скажите мне, пожалуйста, сеньор,—
Вчера я расспросить вас не успела,—
Мне не хотелось прерывать беседу,
Которую вели вы с донной Анной
Над свежею могилой Командора,—
Но все-таки мне интересно знать:
В каком же вы родстве между собою?

Дон-Жуан

Мы с донной Анной не в родстве.

Донна Консепсьон

Ах, так!..
Тогда у вас отзывчивое сердце!
И вы верны Священному писанью:
«Скорбящего утешь...»

Анна
(слегка повышенным голосом)

Мои родные!
Позвольте мне сейчас вам пояснить,
Зачем я так внезапно, необычно
На ужин позвала вас...

(Дон-Жуану.)

Ах, простите,
Вы, кажется, сказать хотели что-то?

Дон-Жуан

Прошу вас, продолжайте, донна Анна.

Анна
(рыцарям)

К почтенным родственникам обращаюсь!
Скажите мне, мои родные, прямо,
Бывало ль, что ронять мне приходилось
Честь рода вашего?

Рыцари

О, никогда!

Анна
(дамам)

Но вы, сеньоры, знаете отлично,
Как женщине, живущей в высшем свете,
Защита и совет необходимы.
А где искать защиты и совета
Вдове несчастной, если бог всевышний
Ее не взял в святейшую обитель?
Мой траур — слишком тонкая преграда
Для всех сердец, надменных и недобрых,
Желающих колючим осужденьем
Невинную пронзить несправедливо.
Скажите, братья, укажите сестры,
Где мне искать защиты?

Донна Консепсьон

Было б лучше,
Чтоб не от чего было защищаться!

Дон-Жуан

Еще верней — насмешек не бояться,
Не отдавать себя им на съеденье.

Старейший гость
(пытливо глядя на Дон-Жуана)

О, донна Анна ведь вполне свободна
И может делать все, что не пятнает
Достоинства семейства де Мендоза.
А если кто-нибудь ей помешает
Держать высоко знамя нашей чести,
Кто б ни был он — пускай запомнит твердо:
В роду Мендоза рыцарей довольно
И шпаги их всегда к услугам дамы.

Дон-Жуан

Так много шпаг не надобно сеньоре,
Пока еще остра моя одна!
(До половины вытаскивает свою шпагу из ножен.)

Старейший гость
(Анне)

Достаточно ль вам только этой шпаги,
Чтоб защититься?

Дон-Жуан

Если мало шпаги,
То я найду защиту и другую.

Старейший гость
(снова Анне)

Он вправе так держаться, Анна?

Анна

Да.

Старейший гость

Мы лишние, сеньоры, в этом доме.
(Встает. За ним другие гости.)
Маркиз еще, как видите, не выбрал
Единственного средства для защиты.
Наедине он, может быть, решится
Быстрее, чем публично, и решенье
Он сообщит нам не позднее, чем завтра,
Иначе сами мы его найдем.
(Кланяется Анне и выходит.)

Следом за ним удаляются все гости. Донна Анна и Дон-Жуан остаются наедине.

Дон-Жуан

Вот и сомкнулись каменные стены!
(Горько, желчно усмехаясь.)
Нежданно сказка кончилась! И рыцарь
С принцессою в темнице оказался!

Анна

Чем неприятен вам такой конец?
Зачем вам этот замок называть

Темницею, а не гнездом орлиным?
Его сама свила я на утесе,
Преодолев и труд, и страх, и муку,
Привыкла к поднебесной высоте.
Так почему бы вам со мною вместе
На этой высоте не поселиться?
Ужель боится ваш крылатый дух
Скалистых круч и пропастей бездонных?

Дон-Жуан

О нет, боюсь я лишь того, что может
Сгубить свободу.

Анна

Нет у вас свободы,
Ее давно лишила вас Долорес.

Дон-Жуан

Она меня свободы не лишала.
Долорес за меня распяла душу
И умертвила сердце!

Анна

Для чего?
Чтоб возвратить вам цепи светской жизни,
Когда-то ненавистные для вас!

Дон-Жуан

О, верно, я б не выдержал их долго,
Когда б не вы. Я б разорвал их снова,
Другого, видно, нет пути к свободе.

Анна

Кто их на миг наденет добровольно,
Тому они навек вопьются в душу —
Я это знаю хорошо, поверьте! —
Уже с души стряхнуть их невозможно,
Но можно силой и упорством духа
Их сделать неразрывной цепью власти,
Которая скует весь мир и кинет
Вам под ноги как жалкую рабыню!
Без власти нет свободы!

Дон-Жуан

Может быть.
Я власть имел над душами людскими.

Анна

Так вам казалось только. Эти души
Под вашей властью лишь испепелялись
И превращались в прах. И лишь одна
Осталась неразрушенной — моя,
Затем, что я равна вам.

Дон-Жуан

Потому-то
Я так стремлюсь вас победить!

Анна

Напрасно.
Не лучше ли, соединяя силы,
Нам вместе овладеть крутой горою?
С таким трудом я на нее всходила,
А вам довольно только этот перстень
С мизинца снять и мне надеть на палец.

Дон-Жуан

Я должен вам отдать кольцо Долорес?!

Анна

А почему бы нет? Ведь я ее
Не убивала, между тем как вы
Убили в этом доме человека,
Который должен бы лежать меж нами
Порогом страшным, непреодолимым.
Но я готова преступить и этот
Крутой порог. Отваги мне достанет.

Дон-Жуан

Меня во многом обвиняли люди,
Но признавали все мои враги
И все друзья мою отвагу.

Анна

Хватит

Отваги вам, чтоб выбраться отсюда.
Вас не пугают шпаги де Мендоза,
Я это знаю.

Дон-Жуан

Что же будет с вами?

Анна

Ах, обо мне, сеньор, не беспокойтесь.
Любое горе легче мне, чем помощь
Неискренняя ваша.

Дон-Жуан

Вот мой перстень!

(Срывает перстень с мизинца и протягивает его Анне.)

Анна

(меняясь с ним перстнями)

А вот и мой. И скоро я вручу вам
Еще один, чтобы печати ставить
На командорских актах.

Дон-Жуан

Что вы!

Анна

Да,
Добьюсь — и сделаю вас командором.
Избранник мой, должны вы стать высоко
В глазах двора и света. Всем известно,
Что рыцарем бесстрашным были вы
И в горестные времена изгнанья,
А уж теперь вы станете примером
Всех рыцарских достоинств. Вам легко!

Дон-Жуан

По-вашему, легко мне захлебнуться
В бездонном океане лицемерья,
Каким давно привык я называть
Суровый кодекс рыцарских достоинств?

Анна

Жуан, Жуан, к чему слова пустые?
Что значит «лицемерие»? Признайтесь,

И вы порой неискренни бывали,
И вам порой случалось лицемерить,
Чтоб обольстить девическую душу.
Откуда же теперь такая строгость?
Иль цель для вас чрезмерно высока?

Дон-Жуан
(в раздумье)

Так мне дается место Командора
От мертвого хозяина в наследство?..
Как это странно... рыцарю свободы
Дается в руки каменный таран
Для добыванья городов и замков...

Анна

Но, кажется, в изгнании вы были
Морским пиратом?

Дон-Жуан

Был я принужден...

Анна

Принуждены? Так где же тут свобода?
Лишь принужденье убивать и грабить,
Чтоб не убили люди или голод.
Свободы я не вижу тут.

Дон-Жуан

Но власть
За мною признаете?

Анна

Никогда.
Была то лишь «взаимная охота»,—
Я помню, как вы это называли,—
А ловчим быть — невелико уменье!
О, вы еще не видывали власти,
Не знаете, что значит обладать
Не парой рук, а тысячею сильных,
Вооруженных рук, готовых к бою,
Умеющих и разрушать и строить
И добывать всемирные престолы.

Дон-Жуан
(увлеченный)

О, гордая мечта!

Анна
(приближаясь, страстно шепча)

Добыть престол!
Да, вы должны в наследство получить
Мечту и эту вместе с командорством!
(Подбегает к шкафу и достает оттуда белый командорский плащ.)

Дон-Жуан вздрагивает, но не может отвести глаз от плаща, увлеченный словами Анны.

Анна
(продолжает)

Жуан, взгляните! Этот белый плащ —
Одежда командора! Он, как знамя,
Вокруг себя отважных собирает,
Всех тех, кто не боится слез и крови,
Чтобы спаять навеки воедино
Гранит и мрамор, мужество и власть
Для памятника славы!

Дон-Жуан

Донна Анна!
Не женщина вы! Я не знал вас раньше.
И чары ваши больше женских чар!

Анна
(приближается к Дон-Жуану с плащом в руке)

Наденьте этот плащ.

Дон-Жуан
(хочет взять плащ, но останавливается)

Не надо, Анна.
Мне кровь на нем мерещится еще.

Анна

Он этот плащ не надевал ни разу.
А если б даже так? А если кровь?
С какой поры вы так боитесь крови?

Дон-Жуан

Да, это верно. Нечего бояться.
Давайте плащ мне. Я его надену.
Я полностью наследство принимаю.
Теперь хозяин в этом доме — я!

Анна

О, это вы по-новому сказали!
Я жажду вас скорей таким увидеть,
Каким должны вы сделаться навек.
(Протягивает ему плащ. Дон-Жуан надевает его. Анна снимает со стены и дает ему меч, командорский жезл и шлем с белыми перьями.)
Взгляните, как величественны вы!

Дон-Жуан подходит к зеркалу, вглядывается и вдруг вскрикивает.

Анна

Что с вами?

Дон-Жуан

Он!.. его черты!
(Бросает меч и жезл и закрывает лицо руками.)

Анна

Не стыдно ль?!
Что вам привиделось? Взгляните снова.
Да вы ли это, смелый Дон-Жуан?

Дон-Жуан
(со страхом открывает лицо. Смотрит. Сдавленным от сверхъестественного ужаса голосом)

Не я!.. Он... каменный!.. Меня не стало...
(Шатаясь, отскакивает от зеркала в сторону и прижимается к стене, дрожа всем телом.)

В это время в зеркале появляется фигура Командора, такая же, как на памятнике, только без меча и жезла, выступает из рамы, идет тяжелой каменной походкой прямо на Дон-Жуана. Анна бросается между Командором и Дон-Жуаном. Командор левой рукой ставит ее на колени, а правую кладет на сердце Дон-Жуана. Дон-Жуан застывает, пораженный смертельным оцепенением. Донна Анна вскрикивает и падает ниц к ногам Командора.

29 апреля 1912 г.

ОРГИЯ

Драматическая поэма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антей — певец.
Гермиона — его мать.
Эвфрозина — его сестра.
Нерисса — его жена.
Хилон — его ученик.
Федон — скульптор.
Меценат — богатый, знатный римлянин, потомок известного Мецената.
Префект.
Прокуратор.
Гости на оргии, рабы, рабыни, танцовщицы, мимы, хор панегиристов.

Действие происходит в Коринфе во время римского господства.

I

Садик у дома певца-поэта Антея, небольшой, обнесенный глухими стенами, с калиткой в одной из них; в глубине садика — дом с навесом на четырех столбах и с двумя дверьми: одна ведет в андронит, другая — в гинекей.

Гермиона, старуха мать Антея, сидит на пороге гинекея и прядет шерсть.

Слышен стук в калитку.

Гермиона
(не поднимаясь с места)

Кто там стучит?

Голос
(за калиткой)

Хилон Алкмеонид.

Гермиона
(кричит в другие двери)

Антей, к тебе твой ученик пришел!
(Сидит по-прежнему, только ниже спускает покрывало.)

Антей
(молодой, но мужественный, выходит и открывает Хилону калитку)

Сегодня ты, Хилон, явился поздно.
Ученики все разошлись.

Хилон
(совсем молодой человек, говорит заикаясь, с явной неловкостью)

Прости...
Но... я, признáюсь, не пришел учиться...

Антей
(приветливо)

Будь гостем.
(Садится на скамейку под деревом и указывает Хилону место рядом с собой, но тот стоит.)
И садись же.

Хилон

Я по делу...

Антей

Столь неотложному, что сесть не можешь?

Хилон

Да нет, конечно... но прости... я должен
Тебе сказать спасибо за ученье...
Я больше не приду.

Антей

Как так?

Хилон молчит.

А впрочем,
Мне спрашивать об этом не пристало.
Должно быть, я тебе не угодил
Своим ученьем? Что же, не стыдись,—
Мне — не тебе — приходится стыдиться.

Хилон
(искренне)

Нет, нет, учитель мой! Ты так не думай,
Свидетель Аполлон, что я ученье
Твое не меньше чту, чем культ мистерий!

Антей

Тогда не понимаю...
(Перебивает сам себя, ударив ладонью по лбу.)
Догадался!
(Видно, что и ему несколько неловко.)
Хилон, послушай... подождать могу я,
Пока окончишь ты мою науку...
Да и совсем не брать хотел бы деньги
Я от тебя, когда платить не можешь...

Хилон

Учитель мой, и ты ведь не богат.

Антей

Хилон, тебе скажу я откровенно,
Хоть молод ты еще, чтоб это слышать,
Но трудно мне иначе объяснить...
Да, песня, слово, музыка приносят
Мне заработок, но свое искусство
Ценю неизмеримо выше денег.
Я никому еще не дал таланта
И дать не мог — во власти бога это,—
Так если я учу людей, простых,
Не тронутых рукою Аполлона,
Я обучить могу их в малой мере:
Перебирать рукой умелой струны
И выражать возможно ярче мысли,—
За это мне они немного платят —
И с ними мы в расчете. Если ж бог
Избранника пошлет мне молодого,
Чтоб я служил ему своим уменьем,
И вижу я, что мертвые те формы,
Которые ему я излагаю,
Воспринятые им, вдруг оживают,
А гений молодой и в старой форме
Бурлит, сверкая самоцветом, точно

Сок виноградный в хрустале старинном,—
Тогда мой труд оплачен. Даже больше,
Я словно чувствую свою вину,
Что не могу ему служить как надо,
Как бы хотел. Теперь ты понимаешь?

Хилон

Учитель мой...

(Волнение мешает ему говорить, он низко опускает голову и прикрывает лицо ладонью.)

Антей

Когда теперь твой гений
Уж перерос те формы, ту науку,
Которой я владею, что ж, мой мальчик,—
Покинь меня, советую тебе я.
Но только — заклинаю Аполлоном! —
Ученье не бросай. Иди в Афины,
Ты сможешь там найти, наверно, то,
Чего нельзя найти у нас в Коринфе.
А после, школы разные окончив,
Учись еще и знанье добывай
Из книг и у людей, повсюду в мире,
Но никогда не говори себе:
«Окончил я ученье».

Хилон

Твой совет,
Учитель мой, в меня вливает смелость.
Признаюсь я тебе, что не покину
Ученья, удалившись от тебя,
Ведь я вступаю в школу...

(Снова замолкает.)

Антей

А в какую?

Хилон

В ту школу, что открыл здесь Меценат.

Антей

Латинскую?!

Хилон

Да все латинским стало...

Антей

Как? Я, и ты, и наша речь родная —
Уже латинские?

Хилон

Что ж, я ошибся,
Их римскими скорей назвать бы мне.

Антей

Когда ты у меня не научился
Ошибки понимать, то в новой школе
Ошибок больше сделаешь *таких*.
И я не знаю, что ты там усвоишь,—
Ошибки лишь. В поэзии латинской,
Мне кажется, тебе ведь я открыл
Все то, что изученья достойно.
Не верю я, чтоб риторы в той школе
Тебе могли бы новое открыть,
Ведь я их знаю. Думаю, ты мог бы
Их поучить.

Хилон

И я уверен тоже,
Что там учителя ни в чем не могут
С тобой сравниться. Все же я обязан
Пойти туда.

Антей

А кто тебя заставил?

Хилон

Когда б остался я с тобой, учитель,
Моя судьба с твоей была бы схожа.

Антей

А почему тебя пугает это?
Неужто я среди певцов последний?

Хилон

Нет, не среди певцов...

Антей

Среди людей?

Хилон

Я не скажу последний, только все же
Ты в обществе не занимаешь места,
Которого достоин по таланту.

Антей

А ты чего добиться в жизни хочешь,
Когда окончишь школу Мецената?

Хилон

Могу я ритором стать в этой школе,
А позже в академии, пожалуй.
А то поеду в Рим. Там хорошо
Живут воспитанники Мецената,
Ведь род его ту силу сохраняет,
Которой Августом был наделен.
Но и теперь, пока еще учусь я,
Вступить могу я в хор панегиристов
На службу к Меценату.

Антей
(возмущенно)

Ты? Ты вступишь
В тот хор панегиристов, в эту свору
Врагов искусства жалких и продажных?
О, лучше б ты навеки онемел,
Лишился рук, оглох, чем пасть так низко!
И это был мой лучший ученик!..

Пауза

Хилон

Прими ж, учитель, эту благодарность...
(Подает Антею деньги, достав их из кошелька.)

Антей
(отводит его руку)

Я ничему тебя не научил!
Уйди ты с глаз моих!

Хилон, понурившись, уходит.

Гермиона

Антей, напрасно
Не взял ты денег. Ведь стократ богаче
Его отец, чем мы. И как-никак,
А все ж ты честно заслужил.

Антей

Нет, мама!
Позор я только заслужил — не больше.

Гермиона

А в чем же твой позор? Не понимаю.
Быть может, в том, что заработок свой
На ветер ты пускаешь. Так, сынок мой,
Как нищим нам с тобой придется жить.
И хорошо ли это будет, если
Твоя семья пойдет просить подачек
У римлян тех, что ты так ненавидишь?

Антей

Еще нам хлеба своего хватает.
Ты не гневи богов.

Гермиона

На все их воля...
Наверно, так хотелось, Афродите,
Чтоб вместо девушки богатой я
Взяла в свой дом невестку — дочь рабыни,
Танцовщицы...

Антей

Опять ты упрекаешь?

Гермиона

Нет, это не упреки, только правда.
И разве ты не выкупил Нериссу,
Отдав отца наследство и свои
Доходы?

Антей

Все-таки не Афродиту
Вини ты. Эллинские боги *все*
Мне выкупить велели из неволи

Ребенка эллинского рода. Так же
Могла попасть бы в рабство дочь твоя,
Моя сестра...

Гермиона

Ох, сын мой, между ними
Различия почти не существует!
Хватило денег выкупить Нериссу,
А вот приданое для Эвфрозины
Мы дать едва ли сможем. Чем же доля
Рабыни хуже доли старой девы?

Антей

И без приданого сестра дороже
Всех дочек богачей.

Гермиона

Кто это знает?
Она у нас — не римлянка, не ходит
Везде и всюду. Вечно в гинекее
И за работой. Если ж и пойдет
Она на праздник, то в таком наряде
Никто и не посмотрит на нее.

В дверях гинекея появляется Эвфрозина, но Гермиона, не замечая ее, продолжает.

Нерисса все ж принарядиться может,
У Эвфрозины же и ленты нет.

Эвфрозина

(молодая, но не совсем юная, одета по-будничному, видно, только что оторвалась от работы. Нагибается и обнимает мать)

Ах, мамочка! Зачем мне эти ленты?
Для красоты не нужно украшенье,
А нет ее, и ленты не помогут!
(Смеясь, целует мать и поднимается.)
Как, мамочка, заправить голубей?
Я уж сварила их.

Гермиона
(встает)

Не тронь, не тронь,
Я их сама заправлю — ты не сможешь!
(Поспешно идет в дом.)

Эвфрозина
(подходит к Антею и кладет ему руку на плечо)

Ты почему печалишься, мой братик?
Наверно, мама снова тут ворчала?
Пустое — лишь старушечья привычка.

Антей
(отвечает не сразу, словно не слышит ее. После паузы слова прорываются у него как бы через силу)

Хилон меня покинул.

Эвфрозина
(удивленно)

Что случилось?

Антей

Вступить он хочет в хор панегиристов.

Эвфрозина

Да что ты говоришь?!
(На минуту немеет от удивления и гнева, затем овладевает собой.)
А впрочем, ясно,
Он в мыслях неустойчив.

Антей

А талантом
Учеников всех превзошел, как на смех!

Эвфрозина

Мне кажется, Аполлодор, который
Пришел к тебе из школы Мецената,
Не только мыслями, талантом тоже
Хилона превосходит. Я слыхала,
Как он читал отрывок «Антигоны» —
Речь Гемона,— и я едва смогла
Сдержать душившие мне горло слезы!

Антей
(с мягкой улыбкой, обнимая сестру за плечи)

Ты у меня сама ведь Антигона!
Мне кажется, что я б простил Хилону,

Когда бы совершил он свой поступок,
Чтобы спасти в беде сестру такую.

Эвфрозина

Зато уж *я* сестре той не простила б!

Антей

О, ты б не приняла ни этой жертвы
И ни другой. Однако же, сестричка,
Когда бы стать хотел я богачом,—
То для тебя лишь.

Эвфрозина

О, напрасно это,
Я не хочу.
(Смеется.)
Мне мама бы тотчас же
За деньги жениха купить сумела,
И это было бы плохой покупкой.

Антей

Да где уж там богатство! Если б мог я
Тебя избавить от нужды...

Эвфрозина

Нужды?
А в чем ее ты видишь?

Антей

Коль не вижу,
То в этом я тебе одной обязан.

Эвфрозина

И маме и Нериссе.

Антей

Нет, ты знаешь...
Мать отработала уже свое...
А вот Нерисса...

Эвфрозина

Та еще успеет.
И разве жизнь твоя уж так сладка,
Что и медовый месяц вам не нужен?

Антей

Мне как-то стыдно наслаждаться счастьем,
Когда я думаю, что за него
Ты платишь тяжкою работой... Счастье
Берем себе, а что тебе досталось?

Эвфрозина

Мне брат достался. Пусть навеки буду
Безбрачной я — завидовать не стану
Ни женщинам, ни матерям счастливым,
Ведь их любовь семье одной лишь служит,
Моя ж — Элладе всей. В тебе, Антей мой,
Надежда наша вся.

Антей

О Эвфрозина,
Как можно всю надежду возлагать
На одного?

Эвфрозина

Один лишь Аполлон
Из всех богов не разлюбил Элладу,
И есть еще у ней надежда жить.
Пока жив на Парнасе Аполлон,
И музы будут с ним.

Антей
(с улыбкой)

Я не бесславен,
Хоть ты одна приносишь мне триумфы,
Ты Ника для меня!

Эвфрозина

Но Ника знать
Должна свою работу. Подожди.
(Отламывает с лаврового куста две ветки, сплетает их в венок и становится на цоколе колонны в позе богини Победы — Ники, простирая руки с венком.)
Приди, склоняя гордое чело!

Антей подходит, не переставая улыбаться, и склоняет голову перед Эвфрозиной, а у нее улыбка борется со слезами искренней взволнованности, когда она возлагает на голову брата лавры.

Нерисса

(молоденькая, стройная, очень изящная, красиво одетая, появляется на пороге гинекея и удивленно вскрикивает)

Что тут такое?

Эвфрозина, застыдившись, соскакивает с цоколя.

Антей

Ника тут венчает
Поэта своего. Когда ж Харита
Ему гранат протянет или розу,
Тогда иметь он будет все дары,
Которые лишь смертный пожелает.

Эвфрозина

(неловко чувствует себя от холодного взгляда Нериссы)

Вот роза расцвела...
(Антею.)
Но все же Ника
Должна идти на кухню — маме в помощь.
Сегодня прямо оргия у нас:
Купили рыбы, и как раз нам тетка
Дала вина и пару голубей.
А если я медовики спекла бы,
Сам Меценат завидовал бы пиру!
(С несколько вынужденным смехом исчезает в дверях гинекея.)

Нерисса

Чудная Эвфрозина — все смеется.

Антей

Что ж, молода...
(Снимает лавры с головы, держит их в руке, а потом кладет рядом с собой на скамейку, на которую садится.)

Нерисса

Но я моложе, верно,
И все ж...

Антей

«И все ж есть у меня причуды»,—
Хотела ты сказать?
(Смеясь, обнимает ее, она сдержанно принимает его ласки.)
Да что с тобой?
Уж не больна ли ты, иль кто обидел?

Нерисса

А ты не знаешь? Верно, и соседи
Все выучили наизусть те речи
О выкупе моем и о приданом
Твоей сестры, что мать твердит все время.

Антей

Уж так все время!

Нерисса

Что же, это правда.
Мне и самой неловко Эвфрозине
Глядеть в глаза.

Антей

Тебя ведь Эвфрозина
Ни в чем не обвиняет.

Нерисса

Знаю это.
Она твоя недаром Антигона...

Антей

Нериссочка! Вот это просто стыд,—
Подслушать, а потом прийти с упреком.

Нерисса

Подслушать! Не такие здесь палаты,
Чтобы повсюду не было все слышно.

Антей
(немного обиженный)

Палаты есть теперь у римлян только.
Тебе за Мецената надо б выйти.

Нерисса
(мягче, чем до сих пор)

За бедность я тебя не укоряю,
Но разве каждая жена не хочет
Для мужа своего больших достатков?

Антей

И для себя притом.

Нерисса

И для себя.
А разве это плохо? Я, признаться,
Не приспособлена ходить в ярме
Так, как твоя сестра.

Антей

Ты и не ходишь.

Нерисса

Ты думаешь, от этого мне легче?

Антей

А раз не легче, так сама работай.

Нерисса

Есть у людей на то рабыни.

Антей

Это,
Нерисса, странно слышать от тебя.

Нерисса

Не оттого ль, что я была рабыней?
Так что ж, я б заработала на воле
Тем, чем тогда, коль ты бы мне позволил.
А если никому я не нужна
И всем мешаю, как порог высокий,
Ты виноват один.

Антей

Родная, хватит...

Нерисса

Так разреши мне выступать в театре,
И я твою сестру озолочу,

А матери невесткой стану милой.
Я больше заработаю за танцы,
Чем ты за пенье и свое искусство.

Антей

Нерисса, будет! Это голос горя,
И в *этом* я повинен. Извини!
(Целует ее, она прижимается к нему с видом обиженного ребенка.)
Любимая! Сокровище! Не дам,
Не дам тебя толпе на поруганье!
И к ней на оргию ты не пойдешь,—
Она понять не может, что такое
Святая оргия, служенье богу!

Нерисса

А ты бывал на оргиях?

Антей

Давно.
Еще подростком. Здесь, в Коринфе, тайно
Гетерия певцов существовала:
Ведь римляне содружество любое
Считают преступленьем.

Нерисса

Что же, были
Те оргии пышны?

Антей

Представь себе:
В таких домах мы собирались часто,
Как этот мой...

Нерисса
(разочарованно)
Ах, так!..

Антей

У нас в кратерах
Вода торжествовала над вином.
Цветы у нас бывали лишь в ту пору,
Когда они цвели в садах и в поле,

Когда ж сходила в тартар Персефона,
Она все украшенья отнимала.

Нерисса

А оргии бывают без цветов?

Антей

У нас бывали, шумные какие!

Нерисса

Они же были тайными, сказал ты?
Так что же, буйство оргий не слыхали
Чужие со двора?

Антей

А разве можно
Услышать было, как сердца стучали,
И разве глаз горячее сиянье
Могло пройти сквозь каменные стены?

Нерисса

А ваши песни?

Антей

Вдохновеньем были
Они сильны,— не гулом голосов,
И в сдержанном вздыханье тихих струн
Угадывать могли мы ураганы,
Что бушевали у певца в душе.
А кудри буйные вились как тирсы,
Кричали взоры там: «Эвоэ Вакх!»
Когда б одна вода была в кратерах,
И то бы пьяными мы возвращались.
Хотел бы я, чтоб ты хоть раз попала
На нашу оргию! В святом безумстве
Ты в танце бы менадою зашлась.

Нерисса

Бывала я на оргиях не раз.

Антей

А все ж не на таких!

Нерисса

Зато на лучших,

Антей

Не может это быть.

Нерисса

Не знаю, право,
Какими были ваши, только те,
Которые ребенком я видала,
Как сон прекрасный были.

Антей

Преступленье
Водить детей на оргии такие!

Нерисса

Но мать моя *должна* была!

Антей

Я знаю...
Прости меня, сказал я, не подумав,
Я должен был бы знать, как тяжело
Танцовщицы-рабыни билось сердце,
Когда она единственную дочку,
Едва забывшую свои пеленки,
Вела на то позорище.

Нерисса

Об этом
Мне мама ничего не говорила.
Всегда на оргию я шла веселой,
Там лакомства я получала вдоволь,
Мне иногда игрушки доставались.
Ласкали все меня...

Антей

Не вспоминай!
Меня бросает в дрожь при мысли... Ясно,
Что ласки их бесстыдными все были,
А слово каждое дышало грязью!

Нерисса

Не знаю, я тогда не понимала
Ни взглядов грязных, ни бесстыдных слов,

Но красоту я знала и ребенком,
Мое сердечко от похвал дрожало,
Как струночка под плектроном на лире.
И мы вдвоем на возвышенье были —
Две радуги — большая с малой — вместе.
На ясной высоте. А покрывала,
Прозрачные и пестрые, мелькали,
Вились дугой средь облачков густых
Курений золотисто-ароматных.
Тогда казалось мне, что я танцую
На облаках небесных, а с земли
Ко мне цветы одни лишь долетают.
То гости нам наверх цветы бросали,
Теряя свой разгоряченный разум...

Антей

А в тех цветах невидимо таился
Холодный змей разврата и бесстыдства.

Нерисса

Я ж говорю, что я того не знала!

Антей

Зато теперь ты знаешь, что́ для римлян
Танцовщицы-рабыни означают,
И понимаешь, что с тобою было б,
Когда б ты выросла средь этих оргий,
Подобно матери твоей несчастной,
Погибшей, как разбитая игрушка,
Больной, покинутой, презренной всеми.

Нерисса

Тебя должна благодарить я, знаю.
Не бойся, этого я не забуду.

Антей

Я разве этого хочу, Нерисса?

Нерисса

Нет, нет, забыть я не имею права,
Что из меня ты сделал человека,
Из «маленькой танагрской обезьянки».

Антей

Оставь! Я не люблю речей подобных
И прозвища того я не терплю,
Что грубо римляне ребенку дали,
Прекрасной нежной девочке Эллады.
Их зависть разбирала: неуклюжи,
Грузны все римлянки, когда сравнить
С моею «ветроногою» Нериссой!

Нерисса
(задумчиво)

Зачем мне это?..

Антей

Что, моя родная?

Нерисса

Вот эта «ветроногость», как сказал ты...
Уж не танцовщица я больше.

Антей

Как?
Ужель тебя не радует, Нерисса,
Хвала моя, моих друзей сердечных?
И разве мало в нашем скромном доме
Сокровищем сокрытым быть, но ценным,
Таким, что даже цезарь не владеет?

Нерисса

«Сокровищем сокрытым»... Так, признаться,
Тебя счастливее я уродилась,
«Сокровище сокрытое» ведь ты,
А я, Антей, не радуюсь, что лиры
Твоей не слышит свет широкий,— я лишь
И узкий круг твоих учеников.
Когда бы я могла, то я тебя бы
Поставила на пьедестал высокий,
Подобно Аполлону-Кифареду!
Пускай весь мир твои узнал бы песни,
Творимые тобой на пьедестале!

Антей

Ты, верно, думаешь, что вдохновенье
От пьедестала подниматься может?

Нерисса

Я в том уверена!

Антей

Да ты ребенок...
Но если ты так любишь пьедесталы,
Так утешайся: изваял Федон
По твоему подобью Терпсихору
И дал ей пьедестал вполне высокий.

Нерисса

Что будет с этой статуей он делать?

Антей

Нам принесет.

Нерисса

Оставит здесь?

Антей

Наверно,
То будет от Федона дар в знак дружбы.

Пауза

Ты приумолкла, словно загрустила.
О чем, Нерисса?

Нерисса

Думаю о том,
Как много этот дом еще схоронит
Сокровищ скрытых, будто бы гробница...

Антей

Я не люблю подобных разговоров.

Нерисса

Вот будет каменная Терпсихора,
Я у нее молчанью научусь.

Антей

Нерисса, ты капризная сегодня.

Нерисса

Раз так, я ухожу...
(Встает.)

Антей
(задерживает ее, обнимая)

Нет, нет, родная!

Нерисса
(освобождаясь)

Пусти меня!

Слышен стук в калитку.

К тебе стучится кто-то.

Нерисса уходит в гинекей. Антей открывает калитку и впускает Федона — молодого скульптора.

Антей

Привет, Федон!

Здороваются.

Федон

Я только на минутку,
Мне некогда.

Антей

А что? Работать надо?

Федон

Свою работу я пока закончил,
Но есть еще заботы — должен быть я
На оргии в палатах Мецената!

Антей
(пораженный)

Ты приглашен туда?

Федон

С тобою вместе.

Антей

Что это, шутка иль издевка?

Федон

Правда,
Я и пришел затем, чтоб приглашенье
Вручить.

Антей

А кто тебе его принес?

Федон

Сам получил у Мецената в доме.

Антей

Ты у него был? Для чего?

Федон

По делу...
И знаешь, я никак не мог подумать,
Что он такой.

Антей

Какой?

Федон

Он так приветлив,
И странно, чтобы знатный господин
Так разговаривал...

Антей

Чему дивишься?
Что бедняка-художника пускает
Вельможа знатный на порог? Тому ль,
Что кое-как и римлянин приемлет
Красу искусства?

Федон

Нет не «кое-как»,
Ведь он знаток большой и настоящий!
Вот и тебя он первый оценил.

Антей

Он первый? Но давно имел я школу,
Когда в Коринфе Меценат и не был!

Федон

Что школа! Далека она от славы,
Как глиняная чаша от скульптуры.

Антей

Похожее на славу что-то было,
Раз господин услышал обо мне.

Федон

Сказать по правде, случай лишь слепой
Помог тебе: один твой ученик,
Вступить желая в хор панегиристов,
Пропел, чтоб показать свое искусство,
Эпиталаму ту, что ты сложил
На собственное бракосочетанье.

Антей делает жест оскорбленного, но Федон, не обращая внимания, продолжает.

Мы с Меценатом этого коснулись,
Я рассказал ему, кто автор песни,
И он мне дал тотчас же порученье
Позвать тебя на оргию к нему,
А это стоит многого, мой друг.

Антей
(сдерживая досаду, вызванную последними словами Федона)

С каким ты мог к нему явиться делом?

Федон

Купил мою скульптуру он недавно,
Так я ее к нему доставил, чтобы
Рабы-носильщики не повредили.

Антей

Какую ты ему скульптуру продал?

Федон

Прости... Мне не мешало б заручиться
Твоим согласьем... только господа
Не любят ждать...

Антей

Так ты Нериссу продал?

Федон

Нет, статую богини Терпсихоры.

Антей

Ты б самую богиню тоже продал,
Когда сумел бы, в римский дом разврата!

Федон
(встает обиженный)

Ты этого не смеешь говорить мне!

Антей

Обидчивость тебе ведь не к лицу:
Ты лучшее творенье продал тем,
Кто презирает все для нас святое.

Федон
(с запальчивостью)

Никто там ничего не презирает!
Там ценят гений, и там дарят славу,
Не только деньги. Я не продавал
Скульптуру Терпсихоры. Я оставил
Ее для созерцанья, словно в храме.
Не слишком ли она свята для храма,
По-твоему?

Антей

По-моему, кощунство —
Приравнивать дом римлянина к храму!
За деньги иль за славу,— ты продался,
Отдав творение свое.

Федон

Антей!
Ты хочешь привести меня к тому,
Чтоб я пошел и выкупил обратно

Скульптуру. Но едва ли вероятно,
Чтоб Меценат ее вернул за деньги.
А может, вдохновенье не угасло
Во мне, и я еще создать сумею
Получше что-нибудь — на выкуп ей.

Антей

Ты купишь новый грех потяжелее.

Федон

Я не пойму, что от меня ты хочешь!
Чтоб был я вынужден весь век сидеть,
Как ты, без хлеба и без славы?

Антей

Должен
Терпеть все эллин, если хлеб и славу
Добыть он может лишь из римских рук.

Федон

Кто к славе не стремится, тот не эллин,—
Влеченье к ней отцы нам завещали,
Наследовав от предков.

Антей

Предки брали
Свои венки от матери-Эллады,
Отцы позволили связать ей руки
И тем своих детей венков лишили.
Но вот когда в бесславии Эллада,
Пойми, Федон, что каждый эллин должен
Желанье славы в сердце заглушить.

Федон

И увеличить родины бесславье?
А чем прославится сама Эллада,
Когда ей дети лавров не добудут?

Антей

Но не из вражьих рук их принимать!

Федон

А почему? Гомер сказал, что «сладко
Хвалу врага принять».

Антей

На поле боя,
А не в плену!

Федон

Пускай в плену —
Все слава будет славой.

Антей

Не надейся!
Не славою теперь венчают нас,
А славу Рим берет, как будто дань.
Тобою проданная Терпсихора
Прославит не Элладу, не тебя,
А тот богатый Рим, что все ограбил
Во всех краях руками Меценатов.
Твое создание его прославит,
А не тебя, ты только раб, который
Своим искусством оргию украсит,
Та оргия останется господской,
Хотя б рабы трудились для нее.

Федон

Рабам на оргии не будет чести,
Но тот, кто гостем должен быть на ней,
Как я и ты...

Антей

Не льсти себя надеждой,
Что я пойду на оргию с тобою!
Ищи господского расположенья,
А я «без хлеба и без славы» буду,
Как ты сказал, но, может, не без чести.

Федон

Я от души советую пойти.

Антей

Конечно! И волам сподручней в паре
Носить ярмо.

Федон

Я вижу, ты не веришь,
Что я тебе могу желать добра.
А все ж, хоть сильно ты меня обидел,
Я не забыл, что мы друзья с тобою.

Антей

Так я тебя, не ты меня обидел?!

Федон

Я Терпсихору все же откуплю,
А ты обидных слов вернуть не можешь.

Антей

И ты не выкупишь того, что сделал.
Ты ведь свое искусство опозорил.
Богиню сделал ты простым товаром.
Пускай из плена выйдет Терпсихора,
Она богиней все равно не будет.
А мрамор — коль не бог, так просто камень.

Федон

Но если богом стал он,— снова в камень
Не обратится. Так, твое творенье
Всегда созданием искусства будет.
Твоя эпиталама прозвучала
Не хуже и в просторной римской школе,
Чем у тебя в убогом, тесном доме.
А если б ты еще и сам пропел
Ее в палатах гулких Мецената,
На дорогой подыгрывая лире...

Антей

Федон! Не говори мне этих слов,
Тебя я навсегда возненавижу!

Федон

Антей! Твое упрямство непонятно.
Ведь не впервые эллинам хвалу
От чужеземцев слышать,— в чем позор тут?

Антей

Мне от захватчиков хвалы не надо.
Захватчик лишь тогда хвалить согласен,
Когда чело склоняет побежденный
К его ногам и пыль от ног его
Целует.

Федон

Так у персов лишь бывало
И у восточных варваров. Но в Риме
Никто от нас не требовал такого.

Антей

Не требовал? А кто прошел по грекам,
Как по мосту в храм славы мировой?
Кого на спинах мы своих несли
Из бездны варварства к вершинам горным?
Ложился кто краеугольным камнем
Под мавзолей захватчиков из Рима?
И мы еще должны быть очень рады,
Когда в палатах гулких нам позволят
Играть на лире, краденной у нас?

Федон

Безмолвствовать той лире лучше, что ли?

Антей

Да, лучше!

Федон

Нет, я думаю, что хуже.
Все ж лучше созидать нам мавзолеи,
Хотя бы не себе, чем просто быть
Травою придорожной под ногами
Захватчика того же. Лишь захочет,
Растопчет вмиг железною пятою
Всю нашу гордость, буйные мечтанья...

Антей

Что ж? Лучше нам самим все растоптать,
Чтоб не давать врагам работы лишней?
Жрец красоты так говорит и мыслит?
Осталось лишь одно — вот так и сделать.
Ты не продался,— хуже! Ты отдался
Своим врагам, как мертвенная глина,

И каждый может вылепить, что хочет.
Так кто ж вдохнет в тебя огонь живой,
Коль из творца ты сделался твореньем?
Иди, прислуживайся Меценату,
Забудь великие заветы красоты,
Забудь тираноборца Прометея
Бессмертный образ, и Лаокоона,
За правду мученика, и забудь
Самоотверженную Антигону,
Электру-мстительницу. И не помни
Эллады, скованной, как Андромеда,
Чудовищу оставленная в жертву,
Что ждет в тоске защитника Персея.
Ты не Персей, ты в камень обращен,
Не сознаешь ты высшей красоты
Стремления, хотя бы без надежды...

Федон

Нет красоты в упрямстве от бессилья...
С тобою, вижу, мне не сговориться!
Так будь здоров. Я ухожу.

Антей

Прощай!

Федон

Уже мы не друзьями расстаемся?

Антей

Боюсь, как бы не встретились врагами.

Федон, поведя плечами, уходит.

Нерисса

(выходит из гинекея, едва закрылась калитка за Федоном)

Антей, я не могу понять тебя!
Так резко ты с Федоном обошелся,
А чем он виноват?

Антей

Ты все слыхала?
Так надо было слушать хорошенько.
Быть может, это по сердцу тебе,
Что на позор для нас твоя фигура
Поработителя украсит дом?

Нерисса

Какой позор? И кто поработитель?
Чем Меценат виновен, если дед
Его иль прадед с эллинами бились?
Теперь же Меценат не отбирает
У нас сокровищ никаких насильно,
А покупает и недурно платит...

Антей

Тем золотом, что римляне сдирают
С порабощенных, даже с нас самих.

Нерисса

Не сам же Меценат его сдирает.
Ты, получив отцовское наследство,
Не спрашивал, кто, как его добыл.

Антей

Я знал — оно добыто было честно.

Нерисса

Так, верно, думает и Меценат
О том наследстве, что отец оставил.
Немало он Элладе возвращает,
А ты его за это ненавидишь.
По-твоему, так нужно, чтоб у нас
Произведения искусства чахли,
Чтоб с голоду творцы изнемогали,
Чтоб мрамор плесень ела, струны — ржа,
Чтоб эллины, как варвары, тупели,
Все для того, чтоб Риму не служить?

Антей

Довольно служат им, а я не буду.

Нерисса

Никто тебя служить не принуждает.
И разве презирает Меценат
Тебя, к себе как гостя приглашая?

Антей

Как гостя? Думаешь и в самом деле,
Что Меценат певца зовет к себе

На оргию для дружеской беседы,
А не для пения гостям в усладу?

Нерисса

А если б ты и спел гостям немного?
Там все равно твои звучали песни.

Антей

Но я тут ни при чем.

Нерисса

Как «ни при чем»?
Ты дал ученикам списать те песни
И, значит, сам их выпустил на свет.
А то, что римлянин их оценил
Получше земляков,— другое дело,
Вини, коль хочешь, в этом Мецената.
Теперь в Элладе только тот прославлен,
Кого похвалит Рим. Коринф оценит
Певца, когда его он потеряет.
Когда б ты в Рим собрался с Меценатом
И там стяжал заслуженный триумф,—
Ведь Рим умеет прославлять таланты! —
А после этого в Коринф вернулся,
Родные лавры вешнею травою
Тебе бы под ноги тогда стелились.

Антей

Топтать родные лавры не хочу я.
Триумфы в Риме — для меня позорны.

Нерисса

Чего ж ты ждешь?

Антей

На родине признанья
Без помощи захватчиков любезных.

Нерисса

Когда ж оно придет? Когда умрешь?
Посмертной славой жить — удел обычный
Таких певцов, как ты. Пока живут,
Никто о них не знает, их не слышит,
Как будто похоронены в могиле.

Уйдя глубоко в мысли и мечтанья,
Певцы такие словно недвижимы,
А мимо вакханалией несется
Цветами разукрашенная жизнь,
Бросает розы и венки из лавра
Тому, кто их подхватит на лету.
А вот таким, как ты, достаться могут
Надгробные венки из вялых листьев.
Уж не собрался ль ты повергнуть Рим
Могильной неподвижностью такою?
Будь я, как ты, его б я ослепила
И гением Эллады и своим,
На всех бы сценах царствовала я,
Все фóрумы и портики взяла бы,
Мое бы имя прозвучало громче,
Чем имя Цезаря. Была бы это
Победа подлинная!

Антей

Все б сказали:
«Каких певцов купить умеет Рим!
Совсем уже Эллада обнищала!»
(Берет в руки лавровый венок Эвфрозины.)
Нерисса, вот единственный венок,
Который я стяжал, но он дороже,
Чем все твои хваленые триумфы.
И коль на гроб венки такие лягут,
Так что ж, пускай скорей приходит смерть!
(Надевает на голову венок с гордой, спокойной улыбкой.)

Нерисса

Антей, пойми! Я больше не могу
Терпеть все это. Можно задохнуться
В могильном воздухе у нас в дому.
Хоть одному из нас быть нужно в свете.
Я так тебя люблю, что я согласна
На то, чтоб славою твоею жить,
Но не могу я жить совсем без славы —
Я эллинка!

Антей

И хочешь добиваться
У римлян этой славы?

Нерисса

Пусть у них
Иль у других, но мне потребна слава,
Как хлеб, как воздух, как вода. И если
Ты для меня того добыть не можешь,
Что мне дороже жизни, я сумею
Сама добыть, а только умирать
Я не хочу,— еще я молодая.

Антей

Так чем же ты себе добудешь славу?

Нерисса

Тем, чем добыл бы ты,— своим искусством.

Антей

Ты все-таки пойти на сцену хочешь?
(После паузы.)
Ну, что ж, Нерисса, я скажу открыто —
Когда тебя туда влечет не прихоть,
А муза Терпсихора, я не смею
С богиней состязаться. Может, правда,
Ты для Коринфа возродить сумеешь
Таинственные игры Диониса.

Нерисса

О нет, не для Коринфа! Знай, меня
Не здешние рукоплесканья манят.
Хочу, чтоб первенство живой Нериссы
Над каменною Терпсихорой было,
Когда она Танагры танец спляшет
У Мецената нынче.

Антей

Что ты, бредишь?

Нерисса

Нет, не в горячке я.

Антей

Но ты не можешь
На оргию пойти!

Нерисса

А почему?
Повсюду ходят римлянки — и мы
Могли бы перенять такой обычай...
Приду, скажу: «Мой муж теперь болеет,
Но, чтобы не обидеть Мецената,
Прислал меня, свою жену, к вам в гости»...

Антей

Нет, не пойдешь ты!

Нерисса

Ты меня запрешь?
Тогда уже я твердо буду знать,
Что ты меня перекупил для рабства.
Но помни, и рабыни убегают.
Ты не надейся на замки.

Антей

Нерисса!!

Нерисса

Что, господин мой?

Пауза.

Так решай сейчас же:
Ты или я.

Антей

Когда б имел я силу
Из сердца вырвать навсегда тебя,
Как ядовитую змею, и бросить
Под ноги римлянам!

Нерисса
(с открывистым, злым смехом)

Раз ты не можешь,
Так должен покориться. И, пожалуй,
Потом меня благодарить ты будешь.
От слова своего не отступлюсь я,—
Не ты, так я добыть сумею славу,
Сегодня же. Достаточно ждала я.

Антей
(после тяжелого молчания)

Так я пойду. Приятнее мне будет
Там, среди римлян, чем с тобою здесь.

Нерисса

Иди. Но прежде надо с головы
Снять ветки — неужели так пойдешь ты?

Антей прикасается к голове, снимает лавры, с проникновенной тоской смотрит на них и молча кладет туда, где стояла Эвфрозина, когда надевала на него венок.

Голос Эвфрозины
(раздается из глубины дома)

Нерисса! Где Антей? Пора обедать!
Уже большая оргия готова!

Антей мгновенно бросается к калитке.

Нерисса
(догоняя его)

Куда же ты? Переодеться надо!

Антей

Пусти меня! Нас ищет Эвфрозина,
А я не смею ей взглянуть в глаза.
(Выбегает за калитку.)

Эвфрозина
(выходит из дверей)

А где ж Антей?

Нерисса

На оргию пошел.
Он приглашен сегодня к Меценату.

Эвфрозина

Ты шутишь очень странно.

Нерисса

Не шучу я.
Вот там венок домашний вялых лавров,—
Сегодня он нам свежий принесет,
Приняв от знатоков...
(Гордо подняв голову, уходит в дом.)

Эвфрозина
(хватаясь за голову)

Так это правда?!

II

В доме Мецената, потомка того знаменитого Мецената, который жил при Августе.

Большая, пышно убранная для оргии комната, разделенная аркой на две неравные части: в первой, меньшей (на переднем плане), поставлен триклиниум для хозяина дома — Мецената и двух самых почетных гостей — Прокуратора и Префекта, и устроен невысокий помост, застланный коврами, для выступления певцов, мимов и прочих артистов; в другой, большей (на заднем плане), много столов то с ложами вокруг — на греческий лад, то с табуретами — на римский, там сидят и возлежат гости разного положения и возраста, греки и римляне. Пир еще только начался и идет как-то вяло, видно, что гости еще мало знакомы между собой и чувствуют себя неловко перед взорами знатного триклиния, расположенного в основной части комнаты. На помосте хор панегиристов, среди них Хилон заканчивает пение.

Хор панегиристов
(поет)

Свет лишь от света
Вечно родится,
Так и пресветлый
Род Мецената
Светит лучами,
Переливаясь
Блеском своим!

Когда хор закончил петь, Меценат слегка кивнул головой корифею и сделал рукой жест, не то приказывающий, не то пригласительный, чтобы хористы заняли места на пире в задней части комнаты. Хор размещается за самыми дальними столами, в глубине. Рабы разносят напитки и яства, рабыни раздают цветы.

Меценат
(движением пальца зовет раба-домоправителя)

Пускай попрыгают немного мимы,
Потом давай «бескостных» египтянок,

Что будут делать фокусы с мечами,
Но чтобы это все недолго длилось:
Минуту-две даю для выступленья,
И чтоб никто не смел являться дважды.
(Прокуратору и Префекту.)
Подумайте, и эти обезьяны
Неравнодушны к славе: им похлопай —
И трудно их потом согнать с помоста.

Тем временем домоправитель вышел с поклоном, и на помосте стали появляться мимы, разыгрывая коротенькие фарсы без слов, акробатки-египтянки с мечами, жонглеры и жонглерки с пестрыми мечами и т. п. Гости награждают их хлопками, иногда бросают им цветы и лакомства. Мало обращая внимания на все это, Меценат и двое его почетных гостей беседуют между собой. Меценат чуть приглушенным голосом, Префект мерно, однотонно и несколько небрежно. Прокуратор громко и непринужденно.

Меценат

Вся эта оргия, признаться должен,
Слегка напоминает царство теней
Перед Плутоновым триумвиратом.
Вы не поверите, как я стараюсь,
Чтоб одолеть немного эту дикость
И недоверчивость, чтобы сплотить
В одну семью две части населенья
Коринфского — и эллинов и римлян.

Префект

Мой друг, и так ты многого добился:
Завел прекрасный хор панегиристов,
Такой и в Риме не всегда услышишь.

Меценат
(махнув рукой)

Э, что это за хор!.. Сказать по правде,
Такой поэзии на кухне место,
Объедки для нее — милей награда,
Чем лавры... Я прошу у вас прощенья,
Что жалким зрелищем вас угощаю.
(Еще тише.)
Пригодно это все лишь для толпы,—
Но я в дальнейшем постараюсь дать вам
Иное нечто. Мне певца назвали
Чудесного. Не очень он прославлен,
Но грекам в том позор, а не ему.

Я покажу коринфянам, что нужен
Им римлянин, чтоб оценить искусство,
Иначе ни к чему искусство это.

Прокуратор

А скоро явится певец?

Меценат

Не знаю.
Я пригласил его, но был ответ
Мне не совсем понятен.

Прокуратор

Вот еще!
Их приглашать... ты просто б приказал!

Меценат

Приказывать никак тут не годится.
Антей не раб, а вольный гражданин.

Префект

Он *римский* гражданин?

Меценат

О нет, конечно,
Но все ж он рода честного. В Коринфе
Его семью глубоко уважают,
Когда-то из нее герои вышли.

Прокуратор

У этих греков все подряд герои!
Кто в ссоре бросит миску через стол
И в лоб соседу влепит — уже зовется
Discobolos!..[1]
(Смеется.)
Такие ж их поэты:
Горация по-гречески испортит,
И вот уже в венке лауреата!
В Афинской академии ты купишь

[1] Метатель диска *(греч.)*.

Лауреатов пару за обол —
Один поэт, другой философ будет!
Но все ж разумней — не давать обола.

Меценат

Не надо забывать, мой друг, что боги
Неблагодарности не любят. Помни,
Что римляне у греков обучались.

Префект

Известно, что негоден ученик,
Когда учителя не превзойдет он.

Меценат

Пусть так, но должен быть он благодарен.

Префект

Рим щедро заплатил за ту науку:
Он Греции покой дал и закон,
Чего ей спокон веку не хватало.

Прокуратор
(в том же тоне)

А Греция, прославленная школой,
Рим научила только бабским сказкам,
Религию подвергла поношенью
И разумом вилять нас приучила
Без всякой цели, словно пес хвостом.
И в этом вся наука. Больше греки
Не знали ничего, не сотворили.
У них и языка нет своего!

Меценат

Ну что ты! Почему же нет? Ты, друг,
Нам говоришь неслыханные вещи.

Прокуратор

У них был ионийский диалект,
Аттический, еще какой, не знаю,—
Что ни писатель, то другой язык,
Но крепкого, устойчивого слова,
Единого, всемирного, как наше,
У греков сроду не бывало.

Меценат

Верно.

Префект

А их поэзия, скажу я честно,
Не стоит ничего в сравненье с нашей.
Изящества Горация достигнуть
Грек не сумел и никогда не сможет.

Меценат

А все же уважать родную речь
Нас грек учил. Поэзии латинской
Отец — не римлянин, а пленный грек.

Прокуратор

Он речь господ усвоить был обязан,
А господин имел важнее дело,
Чем речь родную превращать в трохеи.

Префект
(Меценату)

Но ты, мой друг, не станешь уверять,
Что этот стих не выглядел дубовым,
А тот язык сплошным уродством не был?

Меценат

Кто знает, друг мой, чем была та искра,
Что людям принесла огонь на землю?
Быть может, это уголек, чуть тлевший,
А все же чтить ее нам надлежит
И прославлять титана Прометея,
Хотя, возможно, был он просто вором.

Прокуратор
(Префекту, кивая на Мецената)

Вот это плод от греческой науки!

Префект

Наш Меценат известный «грекофил»,—
Еще возьмет и отделит от Рима
Коринфскую республику!
(Смеется.)

Прокуратор

Ты шутишь,
А Риму от такого грекофильства
Все ж может выйти вред.

Меценат

Не беспокойся,
Учительница старая ведь знает,
Что ей при дряхлости нужна опора;
Когда бы, рассердясь, отвергнул Рим
Ее, она бы закричала: «Гибну!»

Префект

И все же прав наш друг: вред несомненен.
Заигрыванье наше с чужаками
Уже нас привело к тому, что мы
В каких-то варваров преобразились,
Напичкавшись «латынью африканской»
От «римских граждан», только черномазых.

Меценат

Ну что ж, без варваров не обойтись нам:
Ведь обновлять необходимо кровь,
Трудом испорченную и пирами.
Хотел бы ты, чтоб наши все народы
Всегда по-варварски бы говорили?
Едва ли то прибавит славы Риму!

Прокуратор

Пускай молчат, пока не овладеют
Как следует латынью!

Меценат

Трудновато!
Овладевать произношеньем молча —
И Демосфен того бы не добился.

Прокуратор

Так что же делать?

Меценат

То же, что и я:
Учите милостью, дарами даже,

Всех знатных чужеземцев Рим любить.
Кто любит, тот становится подобен
Любимому и телом и душою.

Прокуратор

Ну, ты совсем размяк от грекофильства!
Хотел бы знать, как ты бы собирал
С них подати лишь «милостью с дарами»?
Вот много бы собрал!

Меценат
(смеясь)

Ну, тут я должен
Сложить оружие. Сильней ты в этом.

Раб-атриензий
(входит)

Пришел певец Антей.

Меценат

Зови сюда.
Постой! Когда он петь начнет, я знак
Подам,— пускай танцовщицы выходят
Сюда, но ты смотри, чтобы не раньше!
Иди и точно выполняй.

Атриензий выходит.

Рабы

Мне постоянно портят распорядок.
Им не понять, что оргия — не скачки.

Антей
(у порога)

Привет вам, достославные.

Меценат

Привет!
Поближе подойди. Любимцу музы
Стоять не подобает у порога.

Антей подходит ближе, но места для него нет, он стоит перед возлежащими гостями.

Меценат
(гостям)

Друзья, вот самый драгоценный перл
Коринфского залива.

Антей

Ты, преславный,
Чрезмерной милостью меня осыпал,
Коринфу же воздал ты мало чести.

Меценат

Как, мало чести?

Антей

Но ведь невозможно
Все перлы сосчитать в заливе нашем,
Чтобы решить, какой из них дороже.

Префект

Всем надлежит любить родимый город,
Но забывать при том не надо правду
И благодарность. Если есть в Коринфе
Жемчужины искусства и науки,
То в этом лишь заслуга Мецената.

Меценат

Заслуга петушиная, мой друг.

Прокуратор

Как это, Меценат, понять прикажешь?

Меценат

Я, как петух, в навозных кучах роюсь,
Выискивая перлы дорогие.

Префект

Но ты их не глотаешь, как петух,
А им даешь оправу.

Антей молча идет.

Меценат

Стой, Антей!
Куда идешь?

Антей

Туда, где быть я должен.

Меценат

Я вижу, ты обиделся.

Прокуратор

На диво
Обидчивы все греки!

Антей

Это верно,
И как же до сих пор мы не привыкли,
Что победитель волен звать наш край
Навозной кучею, а нас, пока мы
Не вставлены в «оправу»,— лишь навозом.

Меценат

Моим словам *ты* придаешь колючки,
Не я. И вся моя вина лишь в том,
Что мой язык немного поскользнулся,—
Его ведь боги скользким сотворили.
Вини Юпитера иль Прометея,—
Кто больше виноват, ты лучше знаешь.

Префект

Я обойду на этот раз виновных
И обращусь к заслугам. Меценат,
Сейчас хочу поднять я тяжбу против
Тебя.

Меценат

Не понимаю.

Префект

Этот жемчуг
Не ты, а я открыл впервые.

Меценат

Правда?

Префект

И тем еще моя заслуга больше,
Что я, найдя, его не проглотил,
Хоть проглотить, конечно, был обязан.

Меценат

Хотел бы это я понять яснее.

Префект

Здесь тайны нет! В Коринфе я когда-то
Открыл или, верней сказать, закрыл
Гетерию, что скрыто собиралась.
Среди певцов, туда входивших, этот
Был самым младшим. Пощадил его я,
Принявши во вниманье возраст нежный,
И он один из всех остался жив.
Я знаю хорошо, что в целом крае
Гетерий больше нет и их не будет.

Антей

Ты ошибаешься,— все ж есть одна.

Префект

Где?

Антей

На Парнасе. Девять и один —
Для тайных оргий сходятся они там
И закрываются от глаза власти
Густыми тучами.

Меценат

Ха-ха! Вот метко!

Префект

(сменив свой однообразно-небрежный тон на резкий)

Не так-то уж и метко, Меценат!
Те «девять и один» — Феб и камены —
Не тайная гетерия все это,
А хор панегиристов. Им ведь нужно
Амброзию и нектар заработать,
Вот и должны они кого-то славить.

Антей

Кого?

Префект

Конечно, только гений Рима.
Парнас, Олимп и все святые горы
Теперь его империи достались,
И только тем богам живется сладко,
Кого мы взяли в римское гражданство,
К кому благоволит наш Меценат,
Всемирный, знаменитый гений Рима.
Те ж боги, что ему не покорились,—
Те были изгнаны или распяты.

Антей

И что ж? Они от этого погибли?

Меценат
(шепотом, наклоняясь к Префекту)

Любезный друг, прости, но для толпы
Все эти шутки выглядят кощунством.

Префект
(снова сдержанно)

Простят пусть боги,— римлянин не мог
Слова последние оставить греку.

Меценат
(громко Антею)

Пресытились людскими мы словами,
Пора ответить языком богов
Тебе, Антей.

Антей

Прости меня, преславный,
Но муза помогать мне не желает,
Не голодна она сегодня, верно,
Я без нее — как лира без струны.

Меценат

Мой друг у ней отбил охоту, что ли?

Префект

За правду извиняться я не буду,
А музе, что не голодна *сегодня,*
Знать надо, что и у богов есть *завтра,*
Но лишь тогда, когда его заслужат.

Антей

Не раз пред тем, кто забывает завтра,
Открыта вечность.

В атриуме слышен шум.

Меценат

Что это за шум?

Атриензий
(с порога)

Преславный господин, одна гречанка
Пришла и просит разрешить войти,
Чтоб постоять у вашего порога,
Пока певец Антей исполнит песни.

Меценат

Да кто ж она? Какого рода?

Атриензий

Будто
Она себя зовет женой Антея.

Меценат

Что ж, пусть войдет.

Атриензий уходит. На пороге появляется Нерисса и молча кланяется.

Антей

Зачем ты здесь, Нерисса?

Нерисса молчит и стыдливо закрывается покрывалом.

Вернись домой!

Меценат

Антей, прошу прощенья!
Здесь я хозяин и не разрешаю
Своих гостей отсюда прогонять.

Ты волен оставаться или нет,
Но и твоя жена свободна тоже,
Пока она в гостях у Мецената.

Антей
(Нериссе)

Ты хочешь здесь остаться?

Нерисса
(тихо, но твердо)

Я останусь.

Прокуратор
(тихо Меценату)

Ты сделал хорошо,— она смазлива.
И где он раздобыл такую нимфу?

Меценат

Такие ножки лишь найдешь в Танагре.
Уж мне поверь, я разбираюсь в этом.
(Нериссе.)
Вы замужем давно?

Нерисса

Нет, первый месяц.

Меценат
(Антею)

Антей, ужель тебе еще нужна
Подмога музы в твой медовый месяц?
И так ты должен петь, подобно богу,
Коль эта грация перед тобою!
Но почему она под покрывалом?

Антей

Так ей велит наш эллинский обычай.

Меценат

Но в доме у меня обычай римский,
И у него свои права. Ты должен
Позволить ей откинуть покрывало.

Нерисса, не ожидая ответа Антея, открывает лицо и стыдливо смотрит на Мецената.

О боги! На нее, друзья, взгляните!
Ведь это мраморная Терпсихора,
Которую купил я у Федона!
Случайность? Нет, случайности такой
Не может быть!

(Нериссе.)

Он изваял тебя?

Нерисса

Да, господин.

Меценат

Ты танцевать умеешь?

Нерисса

Не знаю...

Меценат

Как не знаешь? Терпсихора
Не знает, что она богиня танца?

Антей

Нет, вовсе не танцовщица она
И танцевать вне дома не умеет.

Меценат

Так я приду когда-нибудь в твой дом.

Антей

Мне этим честь окажешь. Но не знаю,
Придется ли тебе Нериссу видеть:
Ведь у меня жена и мать с сестрою
Лишь в гинекее могут находиться,
А я тебя там принимать не смею.

Меценат

Плохой у вас обычай!

Антей

Он — старинный,
Не я его установил, преславный.

Прокуратор

Но ты его охотно принимаешь!

Меценат

Не удивительно. Я понимаю
Антея ревность. Вот и я поставил
Не в атриум фигуру Терпсихоры,
А в свой таблин, подальше от людей.

Антей
(искренне)

За то благодарить тебя я должен.

Меценат

Так докажи нам делом благодарность
И спой.
(Рабу.)
Эвтим, ты принеси скорее
Ту лиру, что сегодня я купил.

Эвтим приносит большую, пышно украшенную лиру.

Антей, вот эта лира — дар всемирный:
Рога у ней от туров пущ германских,
Слон Африки дал кость для украшенья,
Край аравийский золото прислал,
А дерево — индийский лес дремучий,
Мозаика — из дальнего Китая,
И струны итальянские, всех лучше,
Оправлены британским серебром.

Антей

Лишь эллинского ничего нет в лире?

Меценат

Вся будет греческой, твоей лишь станет,
Ты в дар ее получишь от меня,
Коли захочешь. Прикоснись же к струнам.

Антей
(небрежно касается струн, не беря лиру из рук раба. Струны отзываются тихим, но удивительно красивым и чистым звуком. Антей вздрагивает от удивления)

Какой прекрасный, небывалый звук!
Дай лиру, мальчик!
(Берет в руки лиру.)
Тяжела она!

Меценат

Держать ее тебе ведь не придется.
На то есть раб. Эвтим, стань на колени!
И как певец прикажет, так держи.

Эвтим становится на колени и поддерживает Антею лиру.

Антей

Нет, к этому ей привыкать не надо.
Рабов в своем я доме не имею,
Ей, верно, в воздухе висеть придется,
На ремешке.

Меценат

Как у рапсодов древних!
Прекрасно! Так повесь ее, Эвтим,
Туда, где, видишь, та большая лампа.

Эвтим вешает лиру на большой канделябр, сняв с него светильник. Антей поднимается на помост и ударяет по струнам сильнее, чем прежде. Услышав аккорд, Хилон и Федон одновременно вскакивают со своих мест.

Хилон

(товарищам-хористам, которые сидят там же, за задними столами, занятые едой и разговорами)

Внимание, друзья! Антей играет!

Федон

Антей! Пропой свою эпиталаму!

Антей останавливается, опускает руки и склоняет голову. Пауза.

Меценат

Скажи, Антей, мне, что с тобой? Ты болен?
Иль, может, эта лира неудобна?

Нерисса

(Меценату, говоря с порога)

Мой муж недавно перенес болезнь.
(Антею, заботливо и нежно.)
Антей, ты слишком напрягаешь силы.
Прошу, позволь мне лучше за тебя

Здесь выразить большую благодарность
Преславному. Танцовщицей не бывши,
Станцую по обычаю Танагры,
Как мать меня учила. Пусть простят мне.

Меценат

Согласен я, хотя бы лучше было,
Когда бы сочетались в вас обоих
И музыка и танец воедино.

Антей

Моя жена сказала, не подумав.
Я нахожу в себе довольно силы,
Могу играть и петь — без всяких танцев.
Меня просили так,— я дал согласье,
А танец твой, Нерисса, не для оргий.
Остановился я, перебирая
В уме те песни, что сейчас уместны.

Федон

Пропой эпиталаму! Это кстати!

Антей

Совсем некстати,— мы ведь не на свадьбе!

Меценат

А почему? Представь, что в этом доме
Мы Рим с Элладою венчаем нынче.

Антей

Я вижу оргию перед собою,
Не свадебный напев я вспоминаю,
Скорей вакхический.

Прокуратор

Вот это лучше!

Антей снова подходит к лире. Меценат делает знак, чтобы гости замолчали; шум голосов затихает, только изредка слышен звон посуды там, где гости пьют.

Антей первую строчку произносит медленно и без музыки, затем быстро без прелюдии начинает петь, подыгрывая себе, громко, уверенно, в темпе вакхического танца.

Антей

Теперь, талант могучий, послужи певцу.
Звени! Звени! Играй! Играй!
Духа оргии пробуди!
Голос дай немоте рабов!
Оживи в нас вялую кровь!
Волю дай нашей силе скрытой!

Меценат делает знак атриензию, вбегают танцовщицы и корибанты и пускаются в вакхический танец.

Вакхический танец начнем!
Сменит оргию пыл весны!
Сгинет в душах холод и страх,
Как от солнца нагорный снег!
Дионис! Ты яви нам чудо!

Играет в том же темпе наигрыш без слов и не видит, что Нерисса незаметно очутилась в группе танцовщиц. Спустя некоторое время Антей меняет темп на более медленный и мягкий, переходя на другой тон.

Мерного танца
Лад гармоничный,
Тихое, ясное лето
Вслед за безумной, шумной весной —
И воцарится торжественный праздник.

При перемене темпа танцовщицы остановились, только Нерисса танцует, все время находясь позади Антея; танцует беззвучно, тихо, плавно, мерно. Антей все не видит ее, захваченный игрой, и снова берет прежний темп, с еще большим пылом.

Звени! Звени! Играй! Играй!
Дай изведать нам страсти мощь!
Дай упиться избытком сил!..

Танцовщицы и корибанты снова окружили Нериссу в вакхическом хороводе, но Меценат останавливает их внезапным движением и громким окриком.

Меценат

Все стойте! А Нерисса пусть танцует!

При этом окрике Антей останавливается, оборачивается и не может сразу опомниться от удивления и обиды, увидя Нериссу во главе танцовщиц. Меценат, заметив это, хлопает в ладоши.

Меценат

Эй, музыка! Вакхическую пляску!

Появляются музыканты с двойными флейтами, кимвалами, тимпанами, играют вакхический танец. Нерисса, после недолгой растерянности, блеснув глазами, пускается в быстрый танец с неистовыми, но прекрасными движениями менады. Некоторые из гостей прихлопывают им в лад ладошами и прищелкивают пальцами. Меценат, движением позвав Эвтима, шепнул ему что-то на ухо, тот приносит изящную шкатулку и подает ее Меценату.

Антей

Нерисса! Стой!

Меценат

О нет, танцуй, богиня!
Танцуй, прекраснейшая Терпсихора!
(Вынимает из шкатулки бриллиантовое ожерелье, поднимает его обеими руками вверх и манит им к себе Нериссу.)

Нерисса, не переставая танцевать, приближается к Меценату, глаза ее горят, движения напоминают ловкие увертки хищного звереныша. Гости вскакивают с мест и толпятся, каждый стараясь лучше увидеть Нериссу. Ее осыпают цветами и рукоплесканиями.

Голос из хора панегиристов

Вот наша муза!

Прокуратор
(с вожделением)

Лакомый кусочек!

Префект

Да, эта муза голодать не будет.

Нерисса, приблизившись к Меценату, опускается перед ним на одно колено и откидывается назад, словно готовая упасть в изнеможении, но прекрасная и манящая улыбка играет на ее устах. Прокуратор бросается, чтобы поддержать ее, но Меценат опережает его, надев ожерелье на шею Нериссе и тем же движением поддержав ее.

Нерисса

Спасибо, господин!
(Хочет поцеловать его руку.)

Меценат

Не так, богиня!
(Целует ее в губы.)

Нерисса встает.

Префект
(с места, немного приподнимаясь с ложа и протягивая чашу с вином)

Иди, вакханка, отдохни у тигра!

Нерисса, улыбнувшись, направляется к нему. В толпе сдержанный смех. Антей вдруг срывает лиру с канделябра и с размаху бросает ее в Нериссу. Нерисса, пошатнувшись, падает.

Нерисса

Спасите! Он меня убил!

Антей наклоняется к ней и видит, что она умирает.

Антей
(тихо и как будто спокойно)

Убил...

Префект
(кричит рабам)

Сюда вигилов!

Антей

Стой, дай мне закончить.
(Срывает с лиры одну струну. Обращается к Хилону и Федону, которые стоят впереди толпы.)
Друзья мои, вот вам пример хороший.
(Душит себя струною и падает мертвый рядом с Нериссой.)

28 марта 1913 г. Египет

ПРИМЕЧАНИЯ

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

М. М. Коцюбинский начал печататься с 1890 г. в периодических изданиях, а потом и отдельными сборниками на Западной Украине, главным образом во Львове. Цензура Австро-Венгрии, в состав которой входила Западная Украина, не раз, как и царская цензура, запрещала или искажала сочинения украинских писателей. Особенным гонениям подвергались там антиклерикальные произведения и «безнравственные», под которыми подразумевались нападки на мещанское лицемерие и ханжество, поддержка эмансипации женщины и браков, не освященных церковью.

Украинские писатели, жившие в пределах царской империи, вплоть до революции 1905 г. почти не имели возможности публиковать свои произведения на родном языке, а издаваемые за границей их книги были запрещены к ввозу. При таких тяжелых условиях протекала сподвижническая деятельность М. М. Коцюбинского и его соратников — писателей-демократов.

При жизни писателя вышли следующие издания на украинском языке: шеститомное собрание сочинений, печатавшееся во Львове с 1899 по 1913 г.; «Оповідання», Київ, 1903; «З глибини», «Оповідання», Львів, 1909.

Русский читатель получил возможность основательно познакомиться с творчеством Коцюбинского по двум томам рассказов, вышедшим в 1910—1911 гг. в издательстве Горького «Знание».

За годы Советской власти сочинения Коцюбинского издавались огромными тиражами и отдельными сборниками, и собранием сочинений.

В 1961—1962 гг. в Киеве вышло наиболее полное издание на украинском языке, подготовленное Институтом литературы имени Т. Г. Шевченко АН УССР, в шести томах.

На русском языке наиболее полным надо признать последнее, четырехтомное издание сочинений Коцюбинского («Художественная литература», М. 1965). Переводы этого издания сверены по вышеназванному украинскому шеститомнику. Тексты данного издания взяты из русского четырехтомного собрания сочинений.

Данный сборник открывается повестью «Fata morgana», как основной в творчестве Коцюбинского. Остальные произведения размещены в хронологическом порядке.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

«Fata morgana»

Повесть была задумана в 1902 г., в преддверии первой русской революции. Подготавливая работу над повестью, писатель тщательно собирал материалы — исторические, экономические, общественно-политические, изучал жизнь украинской деревни, охваченной брожением.

Вторая часть повести была создана под непосредственным впечатлением от событий первой русской революции. В письме к своему шведскому переводчику Альфреду Иенсену (28 ноября 1909 г.) Коцюбинский рассказывал: «Я теперь занят большой работой. Пишу повесть под заглавием «Fata morgana», в которой будет изображена жизнь нашей деревни во время последней революции, а также подавление революции и одичание наших крестьян, потерявших надежды. Первая часть этой повести (дореволюционный период) напечатана еще в 1904 г., две последние части будут обширнее». К сожалению, третья часть повести не была написана.

Стр. 32. *Фомина* — первая неделя после пасхальной.

Стр. 33. *Филипповки* — пост перед рождеством. *Проводы* — поминальное воскресенье.

Стр. 39. *Намитка* — покрывало из кисеи у замужних женщин.

Стр. 45. *Злот* — старинная монета, равняется 15 коп.

Стр. 53. *...каждая дивчина, подавшая полотенце...* — По народному украинскому обычаю, просватанная девушка подает жениху вышитое полотенце.

В грешный мир

Когда Коцюбинский в 1904 г. совершил поездку по Крыму, у него была мысль пожить в горном Козьмодемьянском монастыре (вблизи Алушты). «Я очень интересовался,— писал Коцюбинский в автобиогра-

фии,— жизнью монахов (как беллетрист, конечно, а не как богомольный человек)... У меня было намерение поступить в монастырь на некоторое время для наблюдения, стать послушником, надеть подрясник, ходить в церковь, есть и спать с братией». Из этих замыслов и возникла новелла «В грешный мир».

Он идет

Из писем Коцюбинского к близким друзьям видно, что этот рассказ возник на почве личных впечатлений от погрома в Чернигове, учиненного после манифеста 17 октября 1905 года и покушения на губернатора. «Вы не можете себе представить,— писал он М. Ф. Чернявскому,— что я пережил, видя это все собственными глазами, и как это повлияло на мои больные нервы. Мне теперь еще хуже, чем было: не могу ни спать, ни есть. Едва пишу Вам».

По свидетельству дочери писателя Ирины Михайловны, он долго изучал быт еврейского населения, советовался со знакомым врачом А. М. Утевским по поводу обрядов и обычаев евреев и заносил в записную книжку названия праздников и значение отдельных еврейских слов (Ірина Коцюбинська, Спогади і розповіді про М. М. Коцюбинського, Київ, 1965, стр. 143).

Тени забытых предков

В 1910 г., возвращаясь из Италии, Коцюбинский прожил некоторое время на Карпатах, среди украинских горцев — гуцулов. Природа и люди Гуцульщины очаровали писателя и дали материал для его повести «Тени забытых предков». В письмах к украинскому этнографу В. Гнатюку, с которым он вместе был в Криворовни, Коцюбинский не раз вспоминал Гуцульщину, которая «как волшебный сон раскинулась перед глазами».

На писателя произвели сильнейшее впечатление обычаи гуцулов, где еще стойко держались языческие представления, в частности вера в злых и добрых духов.

После опубликования этой повести Коцюбинский собирался снова на Гуцульщину, чтобы собрать материал «для большой повести из гуцульской жизни». «Теперь я себе ставлю иное задание, нежели в «Тенях забытых предков», хочу присмотреться к гуцулам с иной стороны»,— писал он Е. Чикаленко 7 июня 1912 г. Но тяжелая болезнь помешала осуществлению этого замысла.

Стр. 240. *Нявка.*— По поверьям гуцулов, нявки и мавки — лесные русалки, коварно завлекающие людей в чащу леса.

Хвала жизни

Тема рассказа навеяна посещением Мессины, разрушенной в 1908 г. большим землетрясением.

На острове

В письме к жене (2 января 1912 г. с Капри) Коцюбинский сообщал: «Хочется мне написать что-нибудь о Капри, природе, солнце, море, людях и немножко о себе. Это будут все мелочи, но, быть может, они кому-нибудь пригодятся. Думаю: кто его знает, удастся ли еще попасть на Капри, а пока грешно смотреть на этот чудесный остров и ничего о нем не написать». В другом письме сказано: «По вечерам буду писать каприйские картинки, как материал» (4 марта 1912 г.).

Из этих высказываний писателя видно, что он рассматривал этюд «На острове» как собрание отдельных зарисовок, которые могли впоследствии послужить материалом для более крупного произведения.

ЛЕСЯ УКРАИНКА

При жизни Леси Украинки вышли следующие сборники стихотворений и поэм:

1. «На крилах пісень». Твори Лесі Українки, Львів, 1893.
2. «На крилах пісень». Збірник творів, Київ, 1904.

Львовское издание сборника выходило под наблюдением Ивана Франко, которого Леся Украинка просила присмотреть за изданием (письмо от 20 апреля 1892 г.). Поэтесса выражала слабую надежду на то, что ее первая книжка «проникнет на Украину».

Киевское издание сборника «На крыльях песен» 1904 г. значительно отличалось от львовского: в нем много цензурных пропусков, искажений, отдельные стихотворения были изъяты целиком.

Кроме этих изданий, вышли еще два сборника Леси Украинки при ее жизни:

3. «Думи і мрії». Поезії Лесі Українки, Львів, 1899.
4. «Відгудки». Поезії, Черновці, 1902.

За годы Советской власти было предпринято несколько собраний сочинений поэтессы, кроме многочисленных отдельных изданий. Наиболее полное собрание сочинений на украинском языке вышло в Киеве в издательстве Держлітвидав — Дніпро, 1963—1965, в десяти томах. Русское собрание сочинений Леси Украинки в четырех томах (Гослитиздат, М. 1956—1957) содержит лирику, драматические поэмы, избранную прозу, литературно-критические статьи и письма.

Надежда (стр. 293).— Стихотворение написано по поводу ссылки тетки поэтессы Елены Антоновны Косач в 1878 г. за революционную деятельность.

Фа (стр. 297).— Сонет входит в цикл «Семь струн», построенный как музыкальная гамма, где каждое из стихотворений обозначено одной из нот.

Запев (стр. 300).— Стихотворение из цикла «Крымские воспоминания», посвящается Михаилу Петровичу Косачу (1869—1903) — старшему брату Леси Украинки. Математик, воспитанник Киевского и Дерптского университетов, профессор Харьковского университета, Михаил Косач не был чужд писательских интересов, писал под псевдонимом Михайло Обачный.

Слезы-перлы (стр. 302).— Этот цикл является ярким образцом политической лирики Леси Украинки.

Мать-невольница (стр. 309).— В этом стихотворении запечатлен разговор Леси Украинки с подругой Галей (Ганной Николаевной Ковалевской), дочерью политической ссыльной М. П. Воронцовой-Ковалевской. Мать-невольница — Мария Павловна Воронцова, в замужестве Ковалевская (1849—1889). За революционную деятельность на Украине она была сослана на вечную каторгу в Сибирь и находилась в Карийской женской тюрьме. В 1889 г. М. Ковалевская вместе с другими ссыльными в знак протеста против расправы над заключенной Н. Сигидой отравилась («Карийская трагедия»).

«Слово мое, почему ты не стало...» (стр. 318).— Это одно из программных стихотворений Леси Украинки, раскрывающее значение поэзии для революционной борьбы. Интересно отметить, что в одной из прокламаций РСДРП, выпущенной в 1902 г., эпиграфом взяты слова Леси Украинки из этого стихотворения (пятая строфа):

Звякнет клинок о железо цепей,
Эхо пойдет по твердыням царей,
Встретится звяканье многих мечей
С гулом иных, не тюремных, речей.

(59 том журнала «Красный архив», 1933). Имя автора стихотворения и переводчика в прокламации не указано, но самый факт помещения эпиграфа в революционной листовке лишний раз подчеркивает связь Леси Украинки с социал-демократическим движением.

В данном томе это стихотворение печатается в переводе С. Маршака.

Ифигения в Тавриде (стр. 326).— Живя в Ялте в 1898 г., на вилле «Ифигения», Леся Украинка задумала написать драматическую

поэму об Ифигении. Но она написала только драматический отрывок, который включила в цикл «Крымские отзвуки». *Ифигения* — по древнегреческой легенде, дочь царя Агамемнона и его жены Клитемнестры. Когда греческая рать под предводительством Агамемнона должна была отплыть для завоевания Трои, богиня Артемида наслала безветрие, и греческий флот не мог двинуться в путь. Артемида мстила Агамемнону за то, что он убил на охоте посвященную ей лань. Прорицатель Колхас объявил, что необходимо принести в жертву Артемиде любимую дочь Агамемнона Ифигению. Агамемнон подчинился настояниям войска, и Ифигения была обречена. Но Артемида сжалилась над Ифигенией в момент жертвоприношения, заменила ее козой и унесла девушку на облаке в Тавриду. Там Ифигения стала ее жрицей. Впоследствии брат Ифигении Орест прибыл в Тавриду со своим другом Пиладом и нашел там Ифигению. *Гадесовы поля* — царство подземного бога Гадеса (Аида). *Латона* — мать Артемиды и Аполлона. *Электра* — сестра Ифигении. *Арголида* — древнегреческая область на Пелопоннесе. *Аргос* — главный город Арголиды, области Древней Греции.

Памяти С. М. (стр. 332).— Стихотворение посвящено памяти Сергея Мержинского. В 1897 г. в Крыму Леся Украинка познакомилась с Сергеем Константиновичем Мержинским, одним из видных русских марксистов, членом киевской, а потом минской социал-демократической организации. С. К. Мержинский, по свидетельству товарищей-революционеров, был человеком исключительных душевных качеств.

Дружба с Мержинским оказала большое влияние на Лесю Украинку. В это время она изучает «Капитал» Маркса, переводит социал-демократическую литературу, выступает с острыми публицистическими статьями в петербургском журнале «Жизнь».

В 1901 г. Мержинский заболел туберкулезом легких. Леся Украинка отправилась в Минск и окружила нежной заботой умирающего друга. Многие ее лирические стихотворения (1898—1901 гг.) связаны с именем Мержинского.

Забытая тень (стр. 333).— Стихотворение посвящено жене Данте — Джемме Донати. В 1302 г. Данте был изгнан из Флоренции восторжествовавшей партией гвельфов и скитался по Италии. В современной науке домысел поэтессы о том, что Джемма Донати последовала за мужем-изгнанником, подвергается сомнениям.

Возвращение (стр. 335).— Стихотворение характеризует высокий патриотизм Леси Украинки. У себя на родине поэтесса страдала от самодержавного гнета, и ей казалось, что в более свободных странах она будет легче дышать. Но на чужбине Леся Украинка томилась и рвалась на родину.

«Как я люблю часы моей работы...» (стр. 336).— При жизни поэтессы стихотворение опубликовано не было. *Перелесник* (укр.

фольклор) — бес-соблазнитель, являющийся к женщинам в виде огненного змея или красивого юноши.

Еврейские мелодии (стр. 338).— Стихотворение из цикла «Невольничьи песни». *Иеремия* — древнееврейский пророк, оплакивавший гибель еврейского народа. *Израиль* — по библейским преданиям, имя патриарха Иакова, богоборца, а также название всего древнееврейского народа.

Вече (стр. 342).— *Орифламма* — в средние века французское боевое знамя.

Ритмы (стр. 345).— Этот цикл, созданный в 1900—1901 гг., отражает сложные и противоречивые настроения Леси Украинки, сознающей свое высокое призвание поэта-борца и томящейся в бессилии.

«Уста твердят: ушел он без возврата...» (стр. 354).— Очевидно, отклик на смерть С. К. Мержинского.

«Острым блеском вдруг волны...» (стр. 356).— Исследователи отмечают перекличку этого стихотворения с гражданскими стихами Некрасова, поэзию которого Леся Украинка хорошо знала с детства.

Дым (стр. 357).— *Полента* — каша из маисовой муки, итальянское национальное блюдо. *Рейнская скала* — скала Лорелей на Рейне, воспетая немецкими романтиками и Гейне.

Надпись в руине (стр. 359).— *Тутмес, Рамзес, Тарак, Менефт* — имена египетских фараонов.

Песни про волю (стр. 362).— Три стихотворения под этим заглавием написаны в 1905 г. как непосредственный отзвук на революционные события.

I. «Люди идут и знамена вздымают...» (стр. 362).— *«Смело, друзья!»* — известная революционная песня 60-х годов. В эпоху революции 1905—1907 гг., по мнению Леси Украинки, эта песня звучала слишком пессимистически.

II. «Откуда льется гимн Марселя?..» (стр. 363).— Поэтесса говорит о «Марсельезе», возникшей во время французской революции XVIII в. На мотив этой песни, сочиненной марсельцем Руже де Лиллем, народоволец П. Л. Лавров сочинил «Отречемся от старого мира». Эта песня стала широко популярной среди русских революционеров.

III. «Нагаечка, нагаечка!» — поет иной подчас...» (стр. 365).— Студенческая революционная песня с припевом: «Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя, так вспомни же, нагаечка, восьмое февраля» (8 февраля 1899 г. во время революционной демонстрации казаки секли студентов нагайками). Сатира Леси Украинки направлена против либералов, которые весело поют эту песню под свист карательных отрядов. *Карманьола* — французская революционная песня 1792 г.

Весна в Египте (стр. 368).— Цикл «Весна в Египте» был написан во время пребывания поэтессы в Гелуане (курорт в Египте, близ Каира) зимой 1909/10 г. В стихотворениях этого цикла с большой точностью отражены впечатления Леси Украинки от своеобразной природы Египта. Примечания Леси Украинки к этому циклу даны в тексте, после цикла.

Из путевой книжки (стр. 373).— Стихотворения этого цикла написаны на Черном море, по пути в Египет.

На стоянке (стр. 373).—Исследователи указывают на сходство этого стихотворения со стихотворением Гейне «Морская тишь» (из первого цикла «Северного моря»). Леся Украинка любила и хорошо знала творчество Гейне, переводила его стихотворения на украинский язык.

«Кто вам сказал, что я хрупка...» (стр. 377).— Последняя строфа не закончена Лесей Украинкой. С. Маршак при переводе заполнил строфу по смыслу.

В годовщину (стр. 377).— Стихотворение написано к пятидесятилетию со дня смерти Тараса Шевченко.

Про великана (стр. 379).— Третье стихотворение из цикла «Триптих». Впервые весь цикл был напечатан после смерти Леси Украинки в 1916 г. Эта сказка, написанная в народном духе, имеет явно политическую тенденцию, хотя Леся Украинка иронически замечает вначале, что рассказ про великана (олицетворение народа) — просто детская сказка и в ней не надо искать тенденций. За несколько месяцев до смерти, живя в далеком Египте, Леся Украинка неустанно думала о родине, страстно надеясь, что недалеко время революции, когда восставший великан «расправит плечи снова и разорвет в единый миг железные оковы».

ПОЭМЫ

Старая сказка

Поэма «Старая сказка» ставила вопрос о положении поэта в обществе и о роли поэзии для народа. Эту же проблему Леся Украинка поднимала и в ряде лирических стихотворений, и в ранней, незрелой поэме «Лунная легенда». Иван Франко, высоко оценивая «Старую сказку», подчеркивал необычность для всей тогдашней поэзии боевого тона произведения.

Вила-посестра

Поэма начата Лесей Украинкой приблизительно в 1901 г. и окончена около 1911 г. Сюжет поэмы навеян сербскими народными сказаниями, и образ вилы, мифического существа, живущего в горах, тоже является созданием сербского народного творчества. Но трактовка ха-

рактера вилы вполне оригинальна. Леся Украинка изобразила стойкую, решительную девушку, верную долгу «посестримства» — дружбы, возведенной в степень кровной близости.

Стр. 409. *Пернач* — жезл, символ власти сербских военачальников.

Стр. 410. *Янычары* — отборная турецкая пехота, набиравшаяся из пленных христиан, обращенных в мусульманство.

Изольда Белорукая

Стр. 419. *Моргана* — волшебница из средневековых рыцарских времен.

Стр. 422. *Урганда* — волшебница, встречающаяся в средневековых романах.

ДРАМЫ

В катакомбах

Леся Украинка посвятила эту драматическую поэму своему другу, ученому-востоковеду и писателю А. Е. Крымскому. 3 ноября 1905 г. поэтесса писала Крымскому: «Я слишком горела, когда писала, и ее (поэмы.— *А. Д.)* идея слишком мне близка... она рвется в мир, хоть я и не знаю, суждено ли ей увидеть его скоро. Я удерживать ее не буду, пусть летит,— если попы не заедят, так как она затрагивает религиозно-социальную тему еще сильней, чем «Одержимая».

Действие поэмы происходит во II в. н. э. в катакомбах близ Рима, где собираются первые христиане, скрываясь от преследований язычников-римлян. Леся Украинка тщательно изучила исторические материалы, относящиеся к эпохе, глубоко проникла в суть классовой структуры христианских общин, где высший клир подчинил себе мирян-бедняков. Драматическая поэма насыщена атеистическими мотивами и направлена против проповеди «непротивления злу».

Стр. 427. *Неофит* — новообращенный; так называли первых христиан.

Стр. 446. *Маремма* — болотистая местность близ Рима.

Лесная песня

В письмах Леси Украинки содержатся интересные высказывания о возникновении и развитии замысла «Лесной песни». Поэтесса связывала образы своей драмы-феерии с воспоминаниями о родных волынских лесах, с богатым миром украинского народного творчества. 27 октября 1911 г. она писала сестре: «Правда, писала я ее («Лесную песню».— *А. Д.*) очень недолго, десять — двенадцать дней, и не писать никак не могла, таково уж было непреодолимое настроение; но после нее

я была больна и довольно долго приходила в себя...» В письме к Крымскому (14 октября 1911 г.) она сообщала: «...я не поминаю лихом волынские леса. Этим летом, вспомнив о них, я написала драму-феерию в их честь, и она дала мне много радости, хотя я отболела за нее (без этого уже нельзя). Это, собственно, Märchendrama [1] по терминологии Гауптмана (так он называет свой «Потонувший колокол»), но я не знаю, как бы это на нашем языке назвать. Знаете ли вы, что я очень люблю сказки и могу их выдумывать миллионы, а вот до сих пор не осмеливалась писать».

Стр. 450. *Потерчата* — фантастические создания украинского фольклора, внебрачные дети, утопленные матерями и ставшие болотными огоньками. *Куц* — черт-лесовик (укр. фольклор). *Злыдни* — маленькие существа, олицетворяющие горе-злосчастье (укр. фольклор).

Каменный хозяин

24 мая 1912 г. Леся Украинка сообщала А. Е. Крымскому: «Я написала Дон-Жуана! Вот того самого, «всемирного и мирового», не дав ему даже никакого псевдонима. Правда, драма (опять драма!) называется «Каменный хозяин», так как идея ее — победа каменного, консервативного начала, воплощенного в Командоре, над раздвоенной душой гордой, эгоистической женщины (донны Анны), а через нее и над Дон-Жуаном, «рыцарем свободы». Не знаю, конечно, что у меня получилось, хорошо или плохо, но скажу Вам, что в этой теме что-то дьявольское, таинственное, недаром она уже скоро триста лет мучит людей. Говорю — «мучит», ибо написано на нее много, а хорошего написано мало; может быть, на то ее и выдумал «враг рода человеческого», чтобы разбивались о нее подлинное вдохновение и самые глубокие мысли... Так или иначе, но вот уже и в нашей литературе есть Дон-Жуан, собственный, не переведенный; оригинальный тем, что его написала женщина (это, кажется, впервые случилось с этой темой)».

Стр. 546. *Алькальд* — должностное лицо, иногда судья в Испании.

Стр. 547. *В чаше // Святого Грааля...* — чаша, в которую якобы была собрана кровь распятого Христа,— популярный образ в средневековой литературе.

Стр. 566. *Изменчивая планета* — Луна, по средневековой астрологии.

Стр. 596. *Капитул* — собрание духовных и светских лиц при кафедральных соборах для помощи епископу.

Стр. 599. *Мадриленья* — испанский национальный танец.

Стр. 617. *Сеньора де Маранья из Севильи // Маркиза де Тенорио...* — В развитии легенды о Дон-Жуане существовало два образа: Дон-Жуан

[1] Сказочная драма *(нем.)*.

Тенорио, нечестивец, попадающий в ад, и Дон-Жуан де Маранья, раскаявшийся грешник, умирающий в монастыре, «в благоухании святости». Леся Украинка, давая своему Дон-Жуану оба имени, как бы подчеркивает, что слила воедино два образа.

Оргия

Последнее завершенное драматическое произведение Леси Украинки. Оно было задумано во второй половине 1912 г. и закончено в 1913 г. в Гелуане (Египет).

В ту пору, когда создавалась «Оргия», над странами Европы нависала угроза первой мировой войны. Ее преддверием были балканские войны 1912—1913 гг. Леся Украинка, проезжая морским путем в Египет, чувствовала грозное дыхание войны, видела человеческое горе и ужасы балканской бойни. Естественно, что при такой международной обстановке мысль Леси Украинки была обращена к актуальным вопросам самоопределения малых наций. Поэтесса в драматической поэме «Оргия» глубоко проникла в исторический процесс столкновения идеологии побежденных и победителей.

В процессе работы над «Оргией» видоизменялись ее образы и даже имена действующих лиц: например, Нерисса называлась первоначально Элидой.

Стр. 630. *Андронит* — мужская половина в древнегреческом доме. *Гинекей* — женская половина древнегреческого дома.

Стр. 644. *Гетерии* — тайные общества в Древней Греции. *Кратер* — чаша, в которой смешивали вино с водой (г р е ч.).

Стр. 645. *Персефона* — в античной мифологии жена Плутона, владыки Тартара (подземного царства), олицетворявшая весеннее возрождение в зимнее умирание природы.

Стр. 645. *«Эвоэ Вакх!»* (Да здравствует Вакх!) — возглас участников оргий в честь Вакха. *Менады* — в Древней Греции жрицы бога вина и веселья Вакха (Диониса), предававшиеся неистовым пляскам на празднествах в честь Диониса.

Стр. 648. *Аполлон-Кифаред* — бог поэзии, музыки и искусства, играющий на кифаре (старинный инструмент у древних греков).

Стр. 649. *Терпсихора* — муза танцев в античной мифологии.

Стр. 658. *Лаокоон* — в древнегреческой мифологии жрец Аполлона, препятствовавший введению в Трою деревянного коня, за что боги наслали на него змей, которые задушили жреца и двух сыновей. *Антигона* — дочь фиванского царя Эдипа, добровольно ушедшая в изгнание вслед за ослепившим себя отцом; она самоотверженно предала земле останки своего брата вопреки запрету нового царя Креона и за это была осуждена на смерть. *Электра* — дочь царя Агамемнона, помогавшая

брату Оресту отомстить за убийство отца. *Андромеда* — по древнегреческому мифу, дочь царя Кефея, прикованная к утесу и терзаемая морским чудовищем по приказу разгневанной Геры, жены Зевса. Андромеду спас герой Персей, расковав ее.

Стр. 662. *Таинственные игры Диониса...*— Речь идет о Дионисиях — празднествах в честь бога Диониса (Вакха) у древних греков.

Стр. 665. *Триклиниум* (триклиний) — обеденный стол в Древнем Риме, окруженный с трех сторон ложами для возлежания во время еды.

Стр. 666. *...перед Плутоновым триумвиратом...*— Намек на трех судей в подземном царстве Плутона, перед которыми предстают тени умерших.

Стр. 668. *Обол* — мелкая монета у древних греков.

Стр. 669. *Поэзии латинской // Отец — не римлянин, а пленный грек.*— Речь идет о пленном греке Андронике, который перевел на латинский язык «Одиссею» Гомера и положил начало латинскому литературному языку.

Стр. 670. *Напичкавшись «латынью африканской» // От «римских граждан», только черномазых.*— После упорной борьбы римляне подчинили себе Северную Африку и насильно насаждали латинский язык, который туземцы искажали. *Демосфен* (383—322 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор.

Стр. 671. *Атриензий* — раб, обслуживающий атриум (приемная комната в древнеримском доме).

Стр. 674. *...«девять и один»...*— Девять муз (камен) и Аполлон (Феб), по античным мифам, жили на горе Парнас.

Стр. 682. *Корибанты* — фригийские жрецы, известные неистовой пляской в честь богини Кибелы. Здесь — актеры, исполняющие вакхический танец.

Стр. 684. *Вигилы* — стража у древних римлян.

Ал. Дейч

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Дейч. Два современника 5

М. КОЦЮБИНСКИЙ

Повести и рассказы

Fata morgana. *Перевод И. Ушакова* 31
На камне. *Перевод Е. Нежинцева* 124
В грешный мир. *Перевод Е. Егоровой* 138
Смех. *Перевод Е. Егоровой* 150
Он идет. *Перевод Е. Егоровой* 161
Неизвестный. *Перевод Ал. Дейча* 170
Intermezzo. *Перевод Л. Кремневой* 178
Что записано в книгу жизни. *Перевод И. Ушакова* 190
Тени забытых предков. *Перевод И. Ушакова* 201
Лошади не виноваты. *Перевод Ал. Дейча* 250
Хвала жизни! *Перевод Г. Шипова* 268
На острове. *Перевод А. Деева* 273

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Стихотворения. Поэмы. Драмы

Стихотворения

Надежда. *Перевод В. Звягинцевой* 293
«Порою, едва лишь примусь за работу...». *Перевод В. Звягинцевой* 293
Contra spem spero! *Перевод И. Ушакова* 294

Мой путь. *Перевод П. Карабана* 295
Fa. *Перевод Р. Минкус* 297
«Когда я утомлюсь привычной жизнью...». *Перевод П. Карабана* 297
«Повсюду плач и стон глубокий...». *Перевод В. Звягинцевой* 299
Из цикла «Крымские воспоминания»
Запев. *Перевод Вс. Рождественского* 300
Бахчисарай. *Перевод П. Карабана* 300
Бахчисарайский дворец. *Перевод Вс. Рождественского* 301
Бахчисарайская гробница. *Перевод Вс. Рождественского* 301
«Слезы-перлы». *Перевод Н. Заболоцкого*
I. «О милая родина! Край мой желанный!..» 302
II. «В слезах я стою пред тобой, Украина...» 303
III. «Все наши слезы мукой огневою...» 303
«Как придет грусть-тоска...». *Перевод А. Глобы* 304
Предрассветные огни. *Перевод В. Звягинцевой* 305
Из цикла «Мелодии»
«Ночь была и тиха и темна...». *Перевод В. Звягинцевой* 306
«Этой песни не пойте, не надо...». *Перевод В. Звягинцевой* 306
«Горит мое сердце — горячая искра...». *Перевод В. Звягинцевой* 306
«Вновь весна, и вновь надежды...». *Перевод В. Звягинцевой* 307
«Гляжу я на ясные звезды...». *Перевод В. Звягинцевой* 307
«Стояла я и слушала весну...». *Перевод В. Звягинцевой* 307
«Я песнею стать бы хотела...». *Перевод В. Звягинцевой* 308
«Эта тихая ночь-чаровница...». *Перевод. М. Комиссаровой* 308
«В неистастную тучу кручина моя собралась...». *Перевод М. Комиссаровой* 309
«Невольничьи песни»
Мать-невольница. *Перевод М. Комиссаровой* 309
«И все-таки к тебе лишь мысль стремится...». *Перевод В. Звягинцевой* 311
Врагам. *Перевод Н. Чуковского* 311
Товарищам. *Перевод Н. Ушакова* 311
Другу на память. *Перевод Н. Ушакова* 312
Минута отчаяния. *Перевод М. Алигер* 314
«О, знаю я, немало прошумит...». *Перевод А. Глобы* . . 315
Fiat nox! *Перевод М. Комиссаровой* 316
Вечной памяти листка, сожженного дружеской рукой в тяжелое время. *Перевод В. Звягинцевой* 318
«Слово мое, почему ты не стало...». *Перевод С. Маршака* 318
«Когда умру, на свете запылают...». *Перевод Н. Брауна* 319

Товарищу. *Перевод Н. Ушакова* 320
«Упадешь, бывало, в детстве...». *Перевод С. Маршака* . 321
Из цикла «Крымские отзвуки»
Отрывки из письма. *Перевод П. Брауна* 321
Мечты. *Перевод М. Алигер* 323
Ифигения в Тавриде. *Перевод Ал. Дейча* 326
Зимняя весна. *Перевод Ал. Дейча* 331
«...На полуслове разговор прервался...». *Перевод А. Глобы* 332
Забытая тень. *Перевод М. Зерова* 333
Возвращение. *Перевод Н. Ушакова* 335
«Как я люблю часы моей работы...». *Перевод Н. Чуковского* 336
Из цикла «Невольничьи песни»
Еврейские мелодии. *Перевод В. Державина* 338
Эпилог. *Перевод А. Островского* 339
Забытые слова. *Перевод М. Комиссаровой* 341
Вече. *Перевод М. Комиссаровой* 342
«Ритмы». *Перевод П. Брауна*
1. «Вы, слова мои громкие, где вы теперь...» 345
2. «Иль молниями только им носиться...» 345
3. «Когда бы солнца ясные лучи...» 346
4. Adagio pensieroso 346
5. Presto appassionato 347
6. «Когда б вся кровь моя вот так же уплыла...» . . . 349
7. «Как тяжело идти мне той дорогой...» 349
8. «Зачем я не могу взлететь к высотам...» 350
Из цикла «Мгновения»
«Талого снега платочки раскиданы...». *Перевод В. Звягинцевой* 351
«Гей, пойду в зеленые я горы...». *Перевод В. Звягинцевой* 352
«Туча, дождь, а радуга дугою...». *Перевод В. Звягинцевой* 352
«Ой, как будто не печалюсь...». *Перевод А. Прокофьева* 353
«Ой, пойду я в бор дремучий...». *Перевод А. Прокофьева* 353
«Тебя, как плющ, держать в своих объятьях...». *Перевод М. Сандомирского* 354
«Уста твердят: ушел он без возврата...». *Перевод А. Островского* 354
Калина. *Перевод В. Звягинцевой* 355
«Острым блеском вдруг волны заискрились...». *Перевод В. Звягинцевой* 356
Дым. *Перевод С. Липкина* 357
Надпись в руине. *Перевод Н. Брауна* 359

I. «Когда мне очи милого сверкают...». *Перевод Н. Чуковского* 361
II. «Как жаль, что не дано мне струн живых...». *Перевод Н. Чуковского* 361
III. «Когда б я всеми красками владела...». *Перевод Н. Чуковского* 361
«Не погибли золотые терны...». *Перевод А. Островского* 362
«Песни про волю». *Перевод Н. Заболоцкого*
I. «Люди идут и знамена вздымают...» 362
II. «Откуда льется гимн Марселя?..» 363
III. «Нагаечка, нагаечка!» — поет иной подчас...» . . . 365
«Мечта, не предай!..». *Перевод А. Островского* 366
«Холодной ночью брошенный костер...». *Перевод Н. Заболоцкого* 366
«За горой зарницы блещут...». *Перевод Н. Заболоцкого* . . 367
«Весна в Египте». *Перевод Н. Ушакова*
I. Хамсин 368
II. Дыхание пустыни 369
III. Афра 369
IV. Сон 370
V. Ветреная ночь 370
VI. Вести с севера 371
VII. Тайный дар 372
«Из путевой книжки»
На стоянке. *Перевод Н. Брауна* 373
Эпилог. *Перевод Н. Славинской* 376
«Кто вам сказал, что я хрупка...». *Перевод С. Маршака* . . 377
В годовщину. *Перевод Л. Длигача* 377
Трагедия. *Перевод Н. Ушакова* 378
Про великана. *Перевод Б. Лебедева* 379

Поэмы

Старая сказка. *Перевод М. Светлова* 385
Вила-посестра. *Перевод М. Комиссаровой* 409
Изольда Белорукая. *Перевод П. Антокольского* 417

Драмы

В катакомбах. *Перевод П. Антокольского* 427
Лесная песня. *Перевод М. Исаковского* 450
Каменный хозяин. *Перевод М. Алигер* 539
Оргия. *Перевод Ал. Дейча* 630

Примечания Ал. Дейча 687

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 157

Михаил Михайлович Коцюбинский
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Леся Украинка
СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ДРАМЫ

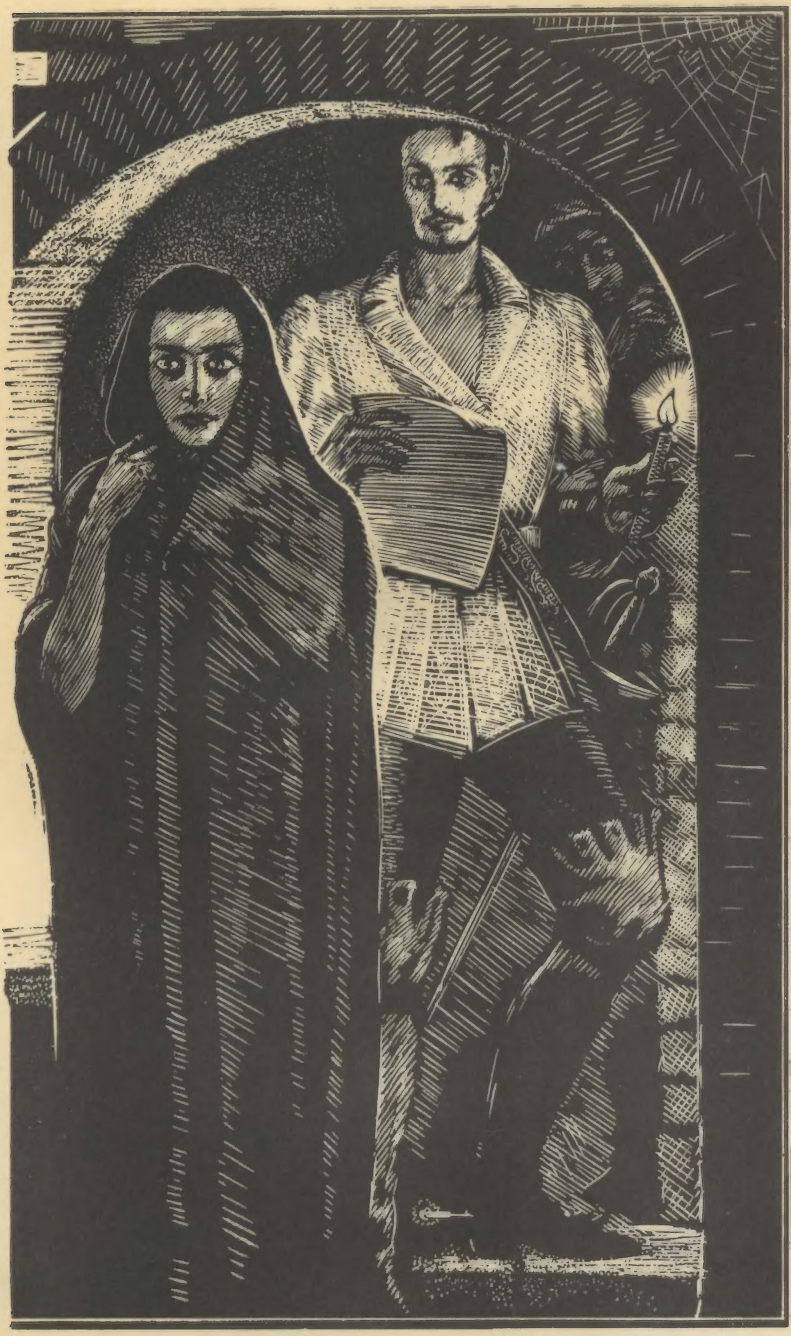
*

Редактор Т. Блантер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
На суперобложке гравюры
Г. Якутовича
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
М. Позднякова
Корректор М. Муромцева

*

Сдано в набор 24/II 1968 г. Подписано к печати 28/VII 1968 г. Бумага типографская № 1 60 × 84¹/₁₆. 44 печ. л. = 41,05 усл. печ. л. 36,61 уч.-изд. л.+ 5 накидок = 37,11 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2523. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28